

НОВОБЫИ  
МИР

12

---

1969

12

НОВОБЫИ МИР

Трифонд

1969

# НОВОЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLV

№ 12

Декабрь, 1969 г.

---

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВАДИМ ШЕФНЕР — Новые стихотворения	3
АЛЕКСАНДР ЯШИН — Сладкий остров. Предисловие Васнлия Белова	6
А. ВЕЛИЧАНСКИЙ — Из дневников, стихи	25
ЮРИЙ ТРИФОНОВ — Обмен, повесть	29
В. КОБРИН — По избам за книгами (Из записок собирателя)	66
ЧЕЗАРЕ ПАВЕЗЕ — Луна и костры, повесть. Перевел с итальянского Г. Брейтбурд	95

### ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

КОНСТАНТИН СИМОНОВ — Читая Толстого... (К столетию со дня вы- хода «Войны и мира»)	162
---	-----

### ЛЕНИНСКИЕ СТРАНИЦЫ

А. БИРМАН — Самая благодарная задача	173
--------------------------------------	-----

### ПУБЛИЦИСТИКА

Е. ПОЛЯКОВА — И наступает время отдыха...	192
---	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ЛАКШИН — «Мудрецы» Островского — в истории и на сцене	208
--	-----

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	245
-------------------------------	-----

И. Борисова. Напоминание.— А. Гуркв. С гордо поднятой головой.—  
Вл. Канторович. Размышления над книгой забытого писателя.— М. Рубин-  
чик. После дебюта.— В. Шестаков. Когда машина останавливается ..

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	261
<b>Г. Целмс.</b> Динамика общественной структуры.— <b>Г. Лисичкин.</b> Капиталовложения и эффективность.— <b>В. Рубин.</b> Шан Ян и его идеи.— <b>З. Альпер.</b> Технология будущего.	
<b>КОРОТКО О КНИГАХ</b>	275
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	279
<b>СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА ЗА 1969 ГОД</b>	281

---

---

**ВАДИМ ШЕФНЕР**

★

## **НОВЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ**

### **ВЕСТЬ**

Когда мне приходится туго,  
Читаю в ночной тишине  
Письмо незабытого друга,  
Который погиб на войне.

Читаю сухие, как порох,  
Обыденные слова,  
Неровные строки, в которых  
Доныне надежда жива.

И все торопливое, злое  
Смолкает, стихает во мне,  
К душе подступает былое,  
Как в грустном возвышенном сне.

Весь мир этот вечный и новый  
Я вижу как будто с горы —  
И вновь треугольник почтовый  
В шкатулку кладу до поры.

### **НА ПОПОЛНЕНИЕ**

Мерещатся во мраке,  
Встают из дальней мглы  
Военные бараки,  
Холодные полы.

Военные бараки,  
Дощатые столы,  
Учебные атаки,  
Вино из-под полы.

Но отперты ворота,  
И ветер по лицу,  
И маршевая рота  
Застыла на плацу.



Вся выкладка в порядке —  
Винтовки и штыки,  
Саперные лопатки,  
Заплечные мешки.

Шагай в шинели новой,  
Гляди в глаза беде  
(А в сумочке холщовой —  
Гранаты РГД).

...Товарные вагоны,  
И рельсов синева,  
В саду пристанционном  
Прощальные слова.

Подруга в блузке тесной  
И с челочкой на лбу  
Уходит в неизвестность,  
В неясную судьбу.

И, выбывшим на смену,  
Мы едем в ночь, куда  
Война, как гвозди в стену,  
Вбивает поезда.

## ПЛАСТИНКА

Вспомни эту вечеринку,  
Рядом стопочки составь,  
Довоенную пластинку  
На проигрыватель ставь.

Холостяцкое раздолье  
Возникает изо мглы,  
Воскресая с тихой болью  
Под уколами иглы.

И летя от света в темень,  
У бессмертья взаперти,  
На стене танцуют тени —  
На паркет им не сойти.

В ритмах румбы беззаботной  
Ты вдруг ритмы узнаешь  
Очереди пулеметной,  
Хлебной очереди дрожь.

И со свитком всадник скачет,  
Вея хлоркой и золой,  
И пластинка хрипло плачет  
Под безжалостной иглой.

\*\*\*

Стремясь в несбыточные дали,  
Весь мир взбрат в себя спеша,  
По кругу, а не по спирали  
Растет и движется душа.

Путь бытия она проходит,  
В себе замкнув весь белый свет,—  
И вновь к самой себе приходит —  
Не на поклон, а на совет.

1969.



---

АЛЕКСАНДР ЯШИН

★

## СЛАДКИЙ ОСТРОВ

*Есть писатели, которые с возрастом не только не теряют молодой горячности, но чем дальше, тем они совестливее и бескомпромисснее по отношению к себе. Болезни, давление внешней среды, боль и забота о родных и близких — ничто не влияет на их убеждения.*

*Мне кажется, Александр Яшин был именно таким человеком.*

*Летом 1960 года, когда он жил с семьей в Белозерье в Вологодской области, мне посчастливилось провести рядом с ним несколько дней. «Посчастливилось» звучит сейчас задним числом: к несчастью, наше понимание, осознание подобных встреч чаще всего происходит неоправдано поздно...*

*Живя на глухом, заброшенном озерном островке, Александр Яшин написал цикл прозаических миниатюр, которые позже должны были оформиться в развернутое и цельное произведение.*

*Вообще в архиве писателя, помимо нескольких неопубликованных повестей и рассказов, осталось множество незаконченных рукописей, набросков, записей, в том числе и материалы для большой прозаической вещи о деревне.*

*Писатель умер, как и жил, очень мужественно. Однако горечь невоплощенных замыслов чуялась в каждом его предсмертном слове. Физические страдания не могли заглушить эту горечь. В больнице, страдая после операции невероятно, он говорил: «Если бы мне еще один год работы... Не год, хотя бы полгода! Хотя бы два, нет, хотя бы полтора месяца...».*

*Мысль о том, что писателю нельзя ни минуты терять впустую, что его время ему не принадлежит,— эта мысль звучит и в последних письмах Александра Яковлевича. Словно мальчик, боящийся проспать озерные сказки, писатель боялся сна, торопился жить и обращаясь ко всем людям, говорил: «...Спешите делать добрые дела!»*

*Вологда.*

*Василий Белов.*

### КОГДА ЖЕ МЫ УЕДЕМ?

**М**ы не знали, куда едем, какой такой необитаемый Сладкий остров вдруг обнаружился в Белозерье и как мы там будем жить. Думалось — едем дней на десять, не больше. Отдохнем, половим рыбку и обратно. Почему-то представлялось, что этот остров находится вблизи Кирилло-Белозерского монастыря, куда в свое время не раз наезживал Иван Грозный, где была заточена одна из его жен, либо этот остров около другого архитектурного памятника русской старины — Ферапонтова монастыря, где отбывал ссылку архиепископ Никон и где еще и поныне живы фрески гениального Дионисия.

Казалось даже, что Сладкий остров находится на самом Белом озере. Но на Белом озере никогда не было и сейчас нет никаких островов.

Сладкий остров мы нашли в не менее примечательных местах — на Нов-озере. И не там и не таким, каким представляли его по рассказам.

Обычная история: сколько ни читаешь, сколько ни слушаешь о чем-нибудь, а когда сам увидишь и испытаешь — оказывается все не так. Северные сияния видали на картинках, все видали и читали о них много, все читали. А, уверяю вас, они совсем не такие, какими вы их себе представляете. Никакая литература, никакие очевидцы, даже отец родной, не могли мне дать правильного представления о войне, пока я на ней сам не побывал. Зато, побывав и в огне, и в ледяной воде, я совершенно по-новому стал читать Льва Толстого. Он лучше всех передает состояние человека на войне.

Итак, мы переправляемся на лодках из деревни Анашкино на Сладкий остров, сначала в большой компании. Почему остров этот называется Сладким? Всегда ли для всех ли он был сладким?

Местные люди рассказывают, что вблизи острова Сладкого, на острове Красном, процветал в свое время Нов-озерский монастырь. О красоте его можно судить по сохранившимся до наших дней крепостным стенам, которые вырастают прямо из воды, и по остаткам церкви и прочих монастырских строений. На каком бы берегу Нов-озера люди ни находились, на низком болотистом, где собирают клюкву и морошку, на лесистом ли высоком, где грибы и малинники и всякая боровая дичь, — отовсюду, конечно, видны были золотые луковицы куполов, и далеко по озерной глади разносился медный гул и звон с высокой колокольни — «малиновый звон». Красного острова по существу не было и нет — ни клочка голый, не огороженной камнем землей. Просто посреди озера вознесся к небу сказочный град-крепость, будто один расписной волшебный терем, подобие которому можно найти лишь на самых замысловатых лубках и древних иконах. Он был весь «как в сказке» и в то же время был на самом деле, существовал, красовался.

А на примыкающем к монастырю, тоже небольшом, но совершенно плоском и очень зеленом островке господствовало и процветало православное купечество. В престольные праздники, особенно в дни «Тихвинской», здесь работали и лавки, и палатки, и лотки, бродили шумные коробейники — шла оживленная торговля. Купить можно было все — от заморских шалей и полушалков до детских приличных пелушков.

Но особенно славились нов-озерские базары сладкими винами и сбитнем. Что такое сбитень — выяснить точно не удалось. Это какой-то безалкогольный напиток, горячий, приготовленный на патоке или подожженном меду со специями, с пряностями.

Христоробивым чадам, только что приобщившимся святых тайн и отведавшим сладкого причастия, не менее сладкой казалась и русская горькая и сивуха. Большие народные гулянья с торжественными обрядами и недолгие пиры скрашивали нелегкую крестьянскую жизнь — в престольные праздники, на миру, она казалась порой и обильной и сладкой. Потому будто бы и остров этот стали звать Сладким. Так рассказывают старые люди.

Позднее оба острова были использованы для других надобностей. А сейчас монастырская крепость пустует. Летом в ее стенах сторож Сергей Федорович, колхозник из деревни Карлипки, заготавливает сено для своей коровы — это его собственное угодье, и тут никто ему не указ.

Опустел и Сладкий остров. Догнивают на корню и рушатся березовые аллеи. Догнивают и разваливаются всевозможные постройки, постепенно исчезает разное мелкое имущество. Все оно небесхозное, все где-то зарегистрировано, занесено в книги, но бывшим хозяевам оно теперь ни к чему, а передать его тем, кому оно необходимо или может пригодиться, они не удосужились. Вероятно, когда все служебные помещения, жилые дома и прочие постройки догниют, а имущество будет до



конца расхищено — все будет просто списано по акту как непригодное. Так у нас часто водится.

Поговаривают, что после этого на Сладком острове будет строиться дом отдыха леспромхоза либо колхоз организует здесь крупную утиную ферму.

Первое, что нас поразило на острове, — тишина.

Приехали мы туда поздно вечером, и это особенно усилило впечатление удивительной устойчивости, непоколебимости всего, что нас окружало. Воздух был неподвижен, вода тоже. На Нов-озере даже ряби никакой не было, не только волны, разве что иногда рыба всплеснет. Деревья стояли на земле прочно, ни один листочек не вздрагивал. Свистели утиные крылья, да гудели, пели, звенели комары. Комариный писк воспринимался, как вечный шум в морской раковине, как пенье самой земли. Он не нарушал тишины, а только усиливал ее. Ночью вокруг озера запели петухи, да где-то далеко-далеко вскрикивали журавли.

Эхо отзывалось на всякий звук. В горах эхо, кажется, присутствует всегда, оно не исчезает. А здесь эхо — гость нечастый, и потому, когда оно появляется, с ним хочется разговаривать, дурачиться и детям и взрослым.

— Какой цветок вянет от мороза? — кричит почтенная мать семейства. И радуется, когда эхо отвечает ей: «Роза! Роза! Роза!»

— Что болит у карапуза? — озорно вопрошает отец. — Пузо!

Ах, до чего весело, до чего остроумно!

И вдруг эхо замолчало. Почему?

Старший сын едет за молоком, и в вечерней тишине плеск весел разносится по водной глади и повторяется многократно. Это тишина. Что может быть дороже тишины на свете?

Посмотрите кинокартину «Встречи с дьяволом» — люди, побывавшие в кратерах действующих вулканов, утверждают, что самое большое в мире достояние — тишина. Я понимаю их. Я живу в большом городе.

Тишина осталась и утром, и на весь день и уже казалась непреходящей. Утром по берегу из деревни Карлипки в деревню Анашкино и дальше к деревне Артюшино — центральной усадьбе колхоза «Заря» — проходила грузовая машина с молоком, только одна грузовая машина, — вот и весь шум, а хватало его на весь день. След машины отмечался скорей не шумом, а пылью. Пыль, как дым, клубами поднималась над лесом вдоль берега озера и долго-долго не рассеивалась. По пыльному следу хорошо было видно, где проходит дорога, все изгибы, все неровности ее.

Но до Сладкого острова не доплывала и эта пыль. Здесь воздух был абсолютно стерильным. И потому так ярко горели здесь закаты и восходы, тысячекратно повторенные в воде. Весь остров просвечивался, вода была видна отовсюду, и он всю ночь сиял в огнях снизу доверху — летние ночи здесь очень коротки. Не успевал погаснуть закат, как рядом с его кострами возникало зарево восхода.

— Когда же мы спать будем? — радостно и восторженно спрашивали мы друг друга.

Для детей наших, питомцев большого города, все казалось особенно диковинным и волнующим.

-- Как? Это и есть белые ночи? Значит, мы уже на настоящем Севере?

Мы облюбовали один из домов, заняли половину его, наносили в

комнату, предназначенную служить спальней, свежего сена, расположились и сказали себе:

— Десять дней мы здесь проживем. Это уже ясно. Сможем ли только уехать отсюда через десять дней?

Новый быт складывался сам собой. Мы стали ходить сначала в трусах и майках, потом только в грусах. Затем перешли к плавкам, чтобы лучше загореть. Под конец кое-кому и плавки показались лишними. Умывались мы в озере, завтракали на берегу озера, прямо у костра. Купались по нескольку раз в день. Обыкновенные пластмассовые мыльницы нас перестали удовлетворять, и мы заменили их створчатыми ракушками. Любой кусок мыла на перламутре казался совершенством. Зубы продолжали чистить, но неохотно: вероятно, надо было заменить простой зубной порошок святым озерным песочком.

Миша мыл руки в озере и удивлялся: не скрипят.

— Почему-то мыло не смывается? — спрашивал он.

— Потому что здесь вода мягкая.

— Как это — мягкая?

— Не могу тебе объяснить, — в свою очередь удивлялась мать. — Наверно — ласковая!

— А, понятно! — удовлетворялся Миша.

Конечно, легко сказать: завтракали, пообедали, ужинали на берегу озера, прямо у костра. Но ведь скатерти-самобранки у нас с собой не было. Не захватили. Значит, кто-то должен был разжигать костер, готовить завтраки, обеды, ужины, мыть посуду. Кто же? Конечно, мать. Мать и на озере оставалась матерью. Отдыхала ли она сама — трудно сказать. Но нам казалось, что она больше всех довольна, что приехала сюда. Она ликовала. Она во всем находила что-то прекрасное и радовалась не одним закатам и восходам. Она сочиняла сказки для всех. Отец, конечно, писать не смог: здесь было слишком хорошо и это ему мешало. Ему всегда что-нибудь мешало. Слишком хорошо — плохо, и слишком плохо — нехорошо. А мать мыла посуду в озере и радовалась: как хорошо, оказывается, и в озере вода течет. Полоскала с мостика наши трусы и майки и говорила:

— Удивительно, как быстро и легко прополаскивается!

Теперь я понимаю, почему в русских городах, где есть уже и водопровод и ванны в квартирах, женщины все-таки предпочитают полоскать белье в реке, на речке. В Вологде у причалов стоят новые обтекаемые катера, теплоходы с канала Москва — Волга, по асфальтированным улицам носятся сверкающие лаком и никелем автомобили, а на берегу реки, напротив педагогического института, вологодские хозяйки, как и восемьсот лет тому назад, с мостков, с дощечек полощут свое белье, выжимая и перекадывая его с левой стороны на правую, с правой стороны на левую. Складывают его в плетеные корзины и на коромысле уносят домой. Зимой они полощут его в прорубях, обставленных вокруг зелеными елочками — от метелей, — а потом развешивают на морозе на веревках. Вот и становится белье белоснежным и попахивает ледком, морозом. Как хорошо!

Мы радовались всем маминым радостям и на многое смотрели ее глазами. Интересно было, когда она вдруг замечала в жизни, в природе что-то такое, мимо чего мы проходили, не обращая на это внимания. Она часто заставляла нас как бы прозревать.

— Обыкновенная лебеда, а тень от нее богатая, узорная, как от диковинного цветка...

Узнала от рыбаков мать, что лещ — рыба мирная, не хищная. питается насекомыми, червяками, любит жить в траве, в хвоще, а растет быстро и достигает размеров необыкновенных. Силища у этого водяно-

го вегетарианца страшная. Посмотрела мать на леща, подняла золотистого, влажного, чешуйчатого великана и сказала:

— Вот, ребята, озерный лось. Заходит он в камыши, как лось в осиновою рощу. питается травкой, личинками, червячками, сам никого не обижает, а его все боятся. Озерный лось!

— Это надо записать,— сказал папа,— может пригодиться.

Серебристую плотву мама сравнила с сыроежкой. Сыроежка — гриб вкусный, но портится быстро, легко крошится, белая гребеночка ее снизу шляпки осыпается. Плотвичку тоже надо немедленно чистить и варить или жарить, не то загниет. А чуть переваришь — вся разлезется, есть станешь — костей не оберешься. Некрепкая рыба, что и говорить.

— Записать надо, это интересно: плотвичка что сыроежка. А ведь похоже! — восхищался отец, отдавая должное маминой наблюдательности.

Мы купались ежедневно и утром, и днем, и вечером, а почувствовали всю прелесть лишь после того, как выкупалась в озере мать и, выкупавшись, повернулась к озеру и поблагодарила его, а затем наклонилась к воде и поцеловала ее.

— Когда купаешься, плывешь — все тело пьет воду.

— Это правильно,— сказал отец,— это надо записать.

А Миша сказал:

— Не понимаю, почему папа писатель, а мама не писатель.

— Что ж, сынок, бывает и так. У нас это бывает,— согласился отец. Он не обижался. Кажется, он думал так же.

VIII—IX—60.

Череповец — Москва.

## ЧАЙКА

Какой только рыбы не водится в Нов-озере, каких только птиц не летает над ним. Однажды утром Миша вышел на песчаную косу, чтобы послушать, как далеко-далеко на болотах, за береговой излучиной, кричат журавли. Солнце уже всходило, и озеро то и дело меняло цвета, будто примеряло разные наряды — какой из них больше подойдет на сегодняшний день. На небе солнце взошло одно, а в озере их отразились тысячи.

Журавлей Миша никогда не видел. Не увидел он их и сегодня. Зато на песчаную косу вдруг спустилась с неба удивительная птица: вся розовая, только клюв черный да черное пятнышко на голове. Миша видел, когда птица летела, и ее длинные тонкие крылья показались ему похожими на гребни волн. Он всегда рисовал море с такими волнами. Села розовая птица на песчаный откос и так неторопливо сложила свои волнистые крылья, будто кружевной подол платья подобрала.

Прибежал Миша домой, рассказал маме, какую он удивительную птицу видел, а мама выслушала и сказала, что это была чайка.

— Нет, мама, это была не чайка. Чайка же белая.

Вечером того же дня Миша увидел еще одну необыкновенную птицу — совершенно голубую. Голубую, как вечернее предзакатное небо.

Рассказал он маме и об этой птице, а мама подумала и опять сказала, что и это была чайка.

— Нет, мама, это была не чайка, а какая-то небывалая птица. Чайка же белая.

— Да, чайка бывает белая — это верно. Сходи на берег, присмотришь к ней хорошенько еще раз...

Вернулся Миша на берег озера, когда солнце уже садилось и его нетленный огонь разгорался все больше и больше. Это уже был целый костер. Казалось, коснется солнце своим краем озерной глади — и закипит, забрызжет, запенится под ним вода.

В этом закатном огне увидел Миша в небе целую стаю птиц, похожих на чаек, и все они были золотые, огненно-золотые.

— Как в сказке! — сказал про себя Миша. — Но это же чайки. Это все одни и те же чайки.

— Это чайки, мама! — согласился наконец Миша.

— Ты их видел белыми?

— Нет, я не видел их белыми. Они белые, но на этом озере все, как в сказке, все сказочное — и восходы, и закаты, и лунные ночи. И птицы и люди — как в сказке.

5—VIII—60.

## ЩУКА

За месяц до отъезда из Москвы у нас не стало денег — это папа готовился к рыбной ловле. Зато появился спиннинг в чехле, удочки в чехах, садок для рыбы, сачок, наборы всевозможных лесок, поливиниловых и хлоридных жилков, разных блесен, в том числе даже для зимнего подводного лова (это в июле-то!), глубокомер, разные грузила, поводки, карабинчики, колечки, коробочки — чего только там не было! Приобретены были и резиновые рыбацкие сапоги-бродни с голенищами, которые подвязывались к ремню.

— Чем же я вас кормить буду? — говорила мать, обозревая все это снаряжение.

— На этот раз кормить буду вас я, — убежденно заявлял отец. — Рыбой!

И вот началась ловля.

Уселся отец на берегу, разложил все свое хозяйство, опустил садок в воду, закинул удочки — нет рыбы. Посидел он с часок, свернул удочки, перенес все добро в лодку и выехал на середину озера, к тресте — так называют здесь озерную траву — хвощи, камыши. Слышал он, что где-то около травы на середине озера проходит каменная гряда, на которой хорошо берет окунь. Облюбовав местечко, отец опустил якоря — кормовой и носовой (это были шестеренки от какой-то машины и обыкновенный кирпич), закрепил лодку на месте и опять принялся за работу. Нет рыбы! Тогда он решил сменить червей: слышал, что окунь любит красных червей. Вернулся отец на берег, разыскал глинистое место, накопал красных червей — загляденье, а не черви, один к одному! — и снова принялся за лов с неослабевающим азартом. Ключуло. Вытащил несколько окуньков, каждый сантиметров на десять в длину, с трепетом опускал их в садок, но скоро заметил, что в садке окуньков нет. Оказалось, что ячейки садка таковы, что сквозь них легко проскальзывает и более крупная рыба.

Многое из закупленного отцом рыболовецкого снаряжения оказалось либо ненужным, либо непригодным совсем. Но каждое утро он вставал на заре и снова отправлялся на рыбалку, как на службу.

— Плохо я сделал, что барометр с собой не взял, — сожалел он уже не в первый раз. — Вот посмотрел бы и знал, куда на сегодня садиться надо.

Отец от кого-то услышал, что рыба меняет места в зависимости от атмосферного давления: высокое давление — рыба стоит на мели, на солнышках; понижается давление — она уходит на глубину. Конечно, без барометра какая рыбалка! Да и крючки оказались неподходящи-



ми — и великоваты, и не остры, и цвет у них не тот. Вот если бы раздобыть где-нибудь крючки норвежские, или чехословацкие, или датские — вот это крючки! Для таких и наживка не обязательна. А есть еще крючки с искусственными червями, с имитацией мотыля — класс!

— Папа, возьми меня хоть раз! — попросился как-то Миша.

— Тебе же скучно будет!

— Я тоже удить буду.

— Клев плохой.

— Надо же мне учиться.

Удочка у Миши маленькая, полутораметровая, а у папы составная трехколенная и с катушкой; леска у Миши — грубоватая, белая, поплавков простой пробковый, крючок мушечный, а у папы — леса цвета воды, поплавок с колокольчиком. Червяков своих Миша положил в спичечную коробку, а у папы черви в специальной мотыльнице с отверстиями на крышке.

Измерил папа глубину озера, закинул свой автомат, вытянул ноги в лодке, положил в рот мятную лепешку, сидит посасывает, на поплавок поглядывает, ждет — не клюнет ли. Нет, не клюет. Закинул Миша свою хворостинку у самой лодки, потянуло его поплавок — течением, что ли? — под лодку, потом лег поплавок на бок — испугался Миша, не зацепило ли, дернул и потащил по воде что-то большое да тяжелое — и удочка дугой. Папа вскрикнул, схватился за сачок, и если бы не сачок, не поднять бы леща в лодку. А лещ оказался здоровый, золотистый, шириной в две Мишиных ладошки. (После взвесили — килограмм шестьсот граммов.) Миша визжит, папа чуть не плачет от радости.

— Как это я успел вовремя сачком полхватить. Если бы не я, ни почем бы тебе, сынок, леща не вытащить на такую удочку.

— Ой, спасибо тебе, папочка! — кричит Миша. — Сейчас я всех вас буду рыбой кормить.

Три дня после этого папа не брал с собой Мишу.

— Мешает он мне! — говорил он.

Мама подумала и сказала:

— Кажется, мы и недели здесь не проживем.

Но папа не сдался, не покинул острова раньше времени, страсть его не остыла, только оставил он удочки и взялся за спиннинг.

Ловля на спиннинг забрасыванием с берега и с лодки удачи не принесла, хотя были перепробованы на авось десятки блесен. Тогда отец решил использовать спиннинг в качестве дорожки. При этой ловле важно удачно выбрать блесну и установить наиболее подходящую скорость, с которой нужно тянуть эту блесну за лодкой, чтобы игра блесны напоминала игру рыбки. По-видимому, для каждой блесны скорости движения должны быть разные.

Поначалу отец сидел за веслами сам, и по этой причине, только по этой причине, щуки не шли на блесну. Тогда он пригласил за весла старшего сына.

— Сколько полагается распускать лески? — спросил Саша.

— Я сам не знаю, сынок. Попробую побольше.

Спиннинговая катушка раскручивалась бесшумно и быстро, и почти все пятьдесят метров жилки скоро были спущены за борт. Результат оказался немедленно — щука попалась на дорожку. Это могла быть только щука — рывок был мощным, катушка, поставленная на тормоз, затрещала сильно и нервно и не перестала грешать, пока отец не взвыл: «Назад, назад!» — а Саша не дал задний ход. Весла скрипнули, вода забурилась, последние метры жилки размотались, удилище на мгновение выпрямилось, напряжение его ослабло, а потом дернуло снова, и оно опять пригнулось к воде.

Отец встал в лодке во весь рост.

— Наконец-то попалась! — торжествовал он. — Миленькая, не сорвись, миленькая, не сопротивляйся! Саша, гребни назад, родненький, назад!

Лодка стала подвигаться в обратном направлении, жилка ослабла, и отец начал сматывать ее, то ускоряя, то замедляя вращение катушки.

— Только бы не сорвалась! — молил он. — Главное, сейчас не натягивать сильно, чтобы щуке губу не порвать. Или за что она там зацепилась? Ведь бывает, что щука не берет блесну, а просто идет рядом с ней и играет, и якорек прихватывает ее. Бывает, даже за живот или за спину зацепит. В таком случае все решается мастерством спиннингиста... Вот опять дернула, вот потянула!.. — переполошился он. — Только бы не сорвалась! Ну и щучка, я тебе скажу, сынок, ну и экземплярчик! Вот опять потянула. Гребни сильнее! Знать бы только, крепко ли она взялась?

Отец, по-видимому, совершенно отчетливо представлял себе, как огромная щука хапнула блесну, с остервенением сжимая сверкающий металл в мощных челюстях, рвала и метала и подвигалась навстречу лодке, как стальная торпеда: вот-вот взорвется, что-то тогда будет... У него выступил пот на лбу, лицо его было испуганным — и кажется, он не так боялся, что щука сорвется, как того, что ее, такую, придется в лодку поднимать.

— Главное, Сашенька, на сегодняшний день — поймать хоть одну, а там пойдет. Начать важно, чтоб перспектива была, чтобы мама веру в нас не потеряла. Бросай весла, сынок, давай сачок!

Саша бросил весла, леска сразу натянулась, отец изогнулся и начал выбирать ее руками. Саша опустил сачок в воду и ждал. Ему тоже стало страшно. Наконец у самого борта лодки из воды всплыла небольшая разлапистая елка, украшенная, словно новогодними игрушками, зелеными водорослями, ракушками, тинной.

— Вот, — выдохнул отец, — так я и знал, что это не щука. Не похоже было. Щука, она рвет, дергает, а елка, понимаешь, просто тянет, тянет и цепляется, потому что лодка-то движется.

Саша тоже выдохнул с облегчением.

— Папа, — сказал он, — а может быть, щука все-таки была? Просто она метнулась на дно и сорвалась, а потом уже блесна зацепилась за елку.

— Представь себе, я тоже так думаю, сынок. Щука все-таки была. Была, и не маленькая. Даже очень большая, прямо тебе скажу.

Как известно, с крючка срывается только самая крупная рыба, спросите об этом любого рыбака. И хорошо, что мы поволновались, пережили все это, хоть и не поймали щуки. Мы ее тащили — вот что важно! Когда первая схватилась, второй взяться будет уже легче. Значит, блесна хорошая и действовали мы правильно. Завтра начнем сначала.

На другой день они так же с утра ходили с дорожкой целый день, но, кроме травы и коряг, ничего им озеро не дало. А вечером пошли за молоком и попутно, когда уже ничего не ждали, ни на что не надеялись, поймали двух щук. Это было началом. Оказывается, и впрямь важно было начать.

Потом отец научился ловить рыбу и удочками. Мать едва успевала ее чистить.

— Теперь дней десять проживем наверняка, — говорила она.

Десять дней отец удил рыбу, не разгибаясь с утра до ночи. Даже спать некогда было. А после десятидневного рыбного угара появились раки.

## РАКИ

Утром по побережью мимо нашего дома пробрела группа деревенских ребятишек, напомнившая нам рыболовов с картины Перова. В мелкой воде ребята переворачивали камни, коряги, ощупывали руками всякие углубления в берегу и время от времени чего-то клали в ведро. Что?

Мы к ним, к ведру:

— Что у вас?

А у них полведра раков.

— Значит, здесь и раки есть?

— Сколько пожелаете,— важно, по-взрослому сказал один из раколовов.

— Вот как, значит, их ловят!

— Да, вот так, значит, их и ловят!

— А вы любите есть раков?

— Кто же их ест? Мы их для наживки — окуни хорошо берут.

— Здорово! Но почему же мы тут живем, а раков не видим?

— Смотреть надо уметь!

Ребятишки ушли, а мы снарядили целую экспедицию и двинулись по отмели вокруг острова раков ловить. Вместо ведра взяли с собой садок, купленный в Москве в магазине «Спортсмен-рыболов» и предназначенный для рыбы, но для рыбы-то и непригодный из-за того, что у него слишком крупные ячейки: рыба чуть поменьше ста граммов из него просто вываливалась.

Но раков нигде не было. Мы их не видели. Мы привыкли видеть раков красных, а живые они были не красные.

Первого живого рака в воде увидела мать спустя несколько дней после этого.

— Я счастливая,— хвалилась она,— мне во всем везет.

Рак вылез из-под мостков, из груды камней, когда мать чистила свежую рыбу. Он был нетороплив и осмотрителен — вылез и пополз к рыбным отбросам, пополз нормально вперед и не назад. Мать ахнула от неожиданности, и он, видимо, заметил ее. Его хвост, знаменитая раковая шейка, вдруг быстро-быстро заработал, загребая воду под себя, клешни вытянулись, и рак поплыл, поплыл на этот раз назад, а не вперед, и быстро, как рыба, и мгновенно очутился у самого берега. Теперь его ничего не стоило взять. Но как взять? Чем взять?

На истошный крик матери: «Рак, рак!» — мы сбежались все, как если бы она закричала: «Волк, волк!»

Чем взять рака? Руками? Эге! Дураков нет, он живой! И пока мы гадали, мудрили, пока нашли сачок — рак исчез, уплыл от берега так же быстро, как рыба. Не такой уж он неуклюжий.

Но после этого случая мы стали видеть раков в воде: оказывается, очень важно было разглядеть, усмотреть первого. Потом от них уже отбою не было. Они попадались даже на удочку, когда мы ловили окуней на кусочки плотвы. Схватит рак наживку, клешнями поведет, ну, думаешь, сейчас вытянешь из воды какую-то большую рыбу, а это рак, только рак.

Ловлей раков мы увлеклись на несколько дней. О выезде со Сладкого острова опять и думать было нечего. Тревожило только то, что в Москве остались дочери, жалко было, что их нет с нами. Уж мы бы их попотчевали ухой, придумали бы путешествия и по Нов-озеру и по Анд-озеру, угостили бы их раками!.. А главное, куда было бы нам торопиться — вся семья в сборе. Оттого и торопятся домой, что там кто-нибудь ждет, кто-то остался.

По утрам мы заглядывали сначала под лодки, перегаскивали их с места на место и собирали раков под ними. Пользовались сачком. Но понемногу стали привыкать брать их руками. Это оказалось не так просто: надо было преодолеть условный страх перед ними. Рак пугал, поднимал свои клешни, и нападал. Но шипки его были слабыми: ухватится он за палец,— его и вытащишь. Попробуйте!

Самым бесстрашным из нас оказался младший — Миша, на него условные рефлексы пока не действовали вовсе. Он только удивлялся, что живые раки оказались очень мягкими и что они умели быстро плавать.

— Это они скорости переключают! — пояснял ему Саша.— У каждого, видно, есть коробочка скоростей, как у машины.

Раков мальчишки научились есть быстро, как семечки лушить.

9—VIII—60.

### КРАПИВНОЕ СЕМЯ

Недобрых людей в народе называют крапивным семенем. Немало на свете и самой крапивы.

Вокруг нашего дома крапива разрослась густыми большими кустами. Высокая, жирная, ядовитая, она не дает никому проходу. Я говорю сейчас о крапиве настоящей, псдлинной, о крапиве в прямом, а не в переносном смысле. Молодую ее можно еще использовать для шей, а разрастается, закрубеет, не выполешь вовремя — тогда беда с ней. Берет верх, наступают, теснит, наглая, жжет, житья не дает.

Каково же семя у этой, у настоящей крапивы? Кто его видал — это крапивное семя? Как оно растет, откуда берется? Хоть бы из интересу взглянуть на него. А попробуй взгляни! Как его возьмешь — жжется крапива. Пропадает у людей всякий интерес к крапивному семени. «Лучше не связываться!» — говорят. Строняются. И растет крапива рядом с жильем человеческим на самых обжитых местах, на самых тучных землях — под окнами изб, вдоль заборов и стен, на приусадебных участках, — растет на глазах у всех. Где люди, там и крапива. Растет и жжется.

А этим летом одолели нас еще комары. Погода стояла дивная весь июль — только бы радоваться, снять с себя всю лишнюю одежку, загорать по целым дням с книжкой в руках, спать на открытом воздухе. А попробуй позагорай, когда вместе с хорошей погодой появились сонмища оводов. Попробуй поспи на воздухе, когда с сумерек, неизвестно откуда взявшись, налетают полчища комаров, как исчадия ада, как тьма тмутараканская, и всю ночь бесчинствуют, жалят, нудят неторопливо, лезут в нос, в глаза, в рот, в уши. Они изводят, выматывают все силы, а слабого да еще городского, не привыкшего с детства к такому комариному глумлению над человеком, они могут довести до истерики.

Перед сном мы топили плиту и наполняли всю квартиру дымом и нередко спали в дыму, потому что открывать окна для проветривания или снимать с них марлю боялись. Вдобавок мы натирались кремом «тайга» — от чего он помогает, мы так и не смогли понять, только не от комаров, — и еще старались на ночь одеться так, чтобы открыт был один нос. Но, кажется, ничего по-настоящему не помогало. Комары грызли нас.

Было лишь одно радикальное средство против них — усталость. Усталость до смерти, до отупения, до апатии, до полного равнодушия ко всему окружающему. При такой усталости — а уставали мы в основном на рыбалке — чувствуешь комариные укусы только пока падаешь в сено.



— А, проклятые! Крапивное семя! — скажешь, бывало, добравшись до постели.— Ешьте! Все равно придет и на вас погибель. Время свое возьмет. И вас прихватит морозом, осень не за горами.

Скажешь и не уснешь до утра.

А утром пригреет солнце, и комары исчезают. Куда? Да куда бы ни исчезли, только бы исчезли — вероятно, туда, откуда и появились. Не хватает еще, чтобы мы этим интересовались. Обидно только, что ни дожди, ни ветры не могут с ними покончить раз и навсегда.

Если бы не случай, так ничего и не узнали бы мы ни о комарах, ни о крапивном семени.

Как-то поздно вечером мы поленились или не успели почистить рыбу, и мать положила ее на ночь в крапиву. Утром за ней пришел Саша и взвыл:

— Там пчелы, рой! — закричал он.

А потом:

— Это комары! Сколько же их тут! Вот оно, крапивное семя!

Взяли мы палки и пошли вокруг дома по крапивным местам. Ударишь палкой по кусту — действительно комары. Ударишь по другому — и больше того. Но только в тени. На солнце днем комары не хоронятся, как, впрочем, всякая нечисть.

Так вот ты какое, крапивное семя!

Разыскали мы косу и скосили всю крапиву вокруг дома. Честное слово, легче жить стало. Только надолго ли? Разве всю нечисть можно извести? Только и надежды что на время — оно должно взять свое.

13—VIII—60.

Мичуринск.

## НЕ СОБАКА И НЕ КОРОВА

Моя сестра, возвращаясь однажды поздней зимней ночью с посиделок с прясницей и с горящим пучком лучины в руках, встретила среди деревни с волком. Должно быть, очень голодный, он сидел, скалил зубы — не хотел уступать ей дорогу.

— Ты что, Шарик, с ума сошел? — прикрикнула на него девушка.— Пошел вон.

«Шарик» оскалил зубы еще больше и зарычал, глаза его нехорошо сверкнули. Сестра ткнула ему в морду горячей лучиной.

— Ошалел, что ли? Нет у меня ничего для тебя.

Волк отступил, прыгнул в сторону, в снег.

Когда испуганные родители сказали моей сестре, что это был волк, а не Шарик, она удивилась и не поверила:

— Какой же это волк, когда он на собаку похож. Собака, она собака и есть!

Недавно в Подмоскowie к нашей даче подошел лось. Он был так невозмутимо спокоен, с таким хладнокровием, даже равнодушием смотрел на меня, что подумалось: не ранен ли, не болен ли? Самая настоящая корова, домашнее животное.

Я быстро собрал своих ребятшек, крикнул жену, и мы толпой, всей оравой, двинулись к лосю за забор, в мелкий осинничек. Дети радовались: наконец-то они налюбуются диким зверем.

— Какой же он дикий, какой зверь? — возмутился я.— Захватите с собой хлеба побольше да соли, сейчас мы его будем кормить.

— Что ты папочка?

— А вот увидите!

Мы осторожно, чтобы не испугать, подходили к лосю все ближе и ближе, а он повернул голову и смотрел на нас совершенно спокойно. Без всякого интереса, даже как-то устало. Возможно, он думал, это неприкосновенный владыка подмосковных рощ, стоит ли, дескать, связываться с этой пазойливой мелкотой? Возможно, думал что-то другое. Только вид у него был до того домашний, коровий, до того ручной, что я совершенно осмелел, а вернее сказать обнаглел — особенно с точки зрения лося.

— Тпруконь, тпруконь, тпруконь! — стал звать я его, как зовут в деревнях корову, и, протягивая вперед руку с густо посоленным хлебом, пошел к его влажной, к его мокрогубой коровьей морде. Иллюзия была слишком заманчивой.

Но когда я подошел к нему совсем близко, когда до него оставалось не больше десяти шагов и лось вдруг нервно переступил, я, должно быть, все-таки испугался его величественных размеров и особенно его огромной горбоносой чушки. А может быть, я побоялся, что лось, вдруг переступивший с ноги на ногу и на мгновение обернувшийся назад, убежит от меня? Во всяком случае я остановился, замер. Затем решился и кинул хлеб ему под ноги.

Этого не надо было делать. Я забылся. Передо мной, конечно, был зверь, а не корова. Зверь, не уступающий в силе медведю.

Лось не побежал от меня, а бросился на меня. Он решил, что я на него нападаю, и сам пошел в атаку. Но бросился на меня он не быстро, без ярости, без воодушевления, лениво, только затем, должно быть, чтобы образумить наглеца и отвязаться от него.

Я закричал. Еще сильнее и, вероятно, еще менее красиво закричали мои дети, моя жена, моя семья. И лось не тронул нас. Он повернулся и, широко раскидывая в сторону огромные голенастые задние ноги, не спеша скрылся в осиннике. «Ну вас к богу, лучше не связываться!» — казалось, сказал его белый короткохвостый зад.

— Какая же это корова, папочка! — испуганно упрекали меня дети.

— Да ведь очень уж похож на корову, совсем ручной!

39—1—62.

## КАМЕННАЯ ГРЯДА

Всю жизнь ищет каждый свою  
каменную грядку, каменную грядку  
жизни. Не всякий ее находит.

Умелый выбор места для ужения — едва ли не самое главное в мастерстве рыболова. Отец обычно уезжал в камыши к соседним островкам, либо на середину озера, где также торчала трава из воды, либо на противоположный берег.

Кто-то сказал, что посередине озера проходит каменная гряда; называли ее даже окуневой. Но где она — никто не открывал. Отец искал ее настойчиво, он готов был промерить шестом все озеро вдоль и поперек, но где взять шест такой длины? И что это за гряда такая — каменная, окуневая? Вероятно, не зря люди секретничают, скрывают ее? Нападешь на грядку — вернешься с ведром пятисотграммовых окуней. А то и по килограмму красноперых наберешь. Вот что такое гряда! Вот где душу бы отвести! В надежде на такую удачу можно бродить по озеру целый день и забираться в отдаленные уголки за два-три километра

И отец бродил далеко. С утра он исчезал, и мы не видели его по целому дню.

А однажды к нашему дому подошли другие рыбаки, колхозники с неводом. И за несколько минут поймали у нас под носом, прямо у мостков, где мать обычно белье стирала, несколько пудов лещей и щук. Закинули они невод с лодки, пслукругом, один конец на берегу и другой подвели к берегу, а потом вышли из лодки и стали вытягивать невод на берег за оба конца. Невод — это длинная однорядная сеть мелкой вязки с кошелом посередине. По низу сети подшиты грузила — во всю длину холщовая кишка, набитая песком, а чтобы верхняя часть невода не тонула, она оснащена поплавками — деревянными пластинками и берестяными грубочками.

Я не назвал бы прогрессивным способ ловли рыбы неводом, но зато он добычлив: несколько заметов — и весь колхоз обеспечен. И времени на это уходит не много. А в горячую пору сенокоса время все же ценится.

Как горевал отец! Волос на себе, конечно, он не рвал, но неистовствовал в полную силу и заново пересматривал всю свою жизнь.

— Вот, — говорил он, — всю жизнь так. Все куда-то рвешься, бежишь, летишь, а на поверку выходит — никуда летать не надо было. Недаром сказано: не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Неисповедимы пути наши. Темна вода во омутах. Хочешь больше — ничего не получаешь. Не жадничаешь — и жить легче, и удачи — вот они! В детстве так же бывало: спешешь за грибами, за ягодами в Лубники, в Городцы, в даль несусветную, там, дескать, всего много, а какая-нибудь бабка костыляет около деревни, около твоего же дома, и — что тебе грибов, что ягод! Ну, не обидно ли: всю рыбу забрали у нас под носом, у нас на глазах. Нашу рыбу! Можно сказать, собственную, домашнюю нашу! Даже не выловили, а выгребли, будто из аквариума вычерпали. Только представить себе, что около нас все дно теперь пустое, голое. Даже раков подмели всех до одного, даже ракушек на дне не осталось ни единой. На этом берегу и жить теперь неинтересно. Переселяться надо куда-нибудь.

Неводом впрямь выгребли все живое, что оказалось в этот час на дне вблизи нашего берега. В илистой грязи, в тине вместе с крупными рыбами барахтались раки, бились десятисантиметровые окуньки и подвязки, плотва и ершики — всякая мелочь и молодежь. Полупудовые щуки в этом черном месиве выглядели, как огромные плахи на паровозном тендере.

А рыбаки были недовольны.

— Откуда столько грязи взялось? — ворчал то один, то другой. — Совсем недавно чистое дно было. Видно, ветер нагнал. Вся рыба ушла под невод с этой грязью.

— Как вся рыба? А это что?

— Ну, какая это рыба — пуд, два, не больше.

Отец нервничал целый день, ночью плохо спал, обижался на самого себя. А утром снова отплыл с удочками в какой-то кривоколенный озерный переулочок.

Саша и Миша никуда не пошли и не поехали, а с разрешения матери привязали свою лодочку к траве метрах в трех от берега, как раз там, где вчера колхозники зачистили все дно неводом, и начали таскать лещей точно таких же, какие в невод попали. И Саша решил:

— Как быстро рыба растет. За одну ночь и — лещи!

## МАМИНЫ СКАЗКИ

*Утро*

Миша лег в постель и просит:

— Мама, расскажи сказку!

— Но сейчас поздно,— отбрыкивается мать.— Все сказки на покой ушли, в камыши спрятались.

— Как это? — удивляется Миша.— Разве они птицы или рыбы?

Миша удивляется притворно, он только делает вид, что всему верит на слово, а на самом деле он все понимает.

— Как это сказки спрятались? — переспрашивает он.

— А вот так. Встань завтра пораньше, выйди на берег и, может быть, увидишь, как сказки начнут из камышей выплывать. Может быть, они и тебе покажутся. Только пораньше встать надо, засыпай скорей.

— Хитрая ты, мама! — говорит Миша, все понимая.

Но поутру он поднялся раньше всех и, наскоро одевшись, вышел к озеру. Ноги сразу стали мокрыми, влажный холодок проник под рубашку, на руках выше локтей появились гусиные пупырышки. Небо чуть-чуть порозовело, но сзади острова, поэтому казалось, что утро еще не наступило. Миша спрятался за кустиком напротив камышей и стал ждать.

Долго ничего не происходило. Густой белый туман над озером побелел еще больше и начал медленно передвигаться. Вдали за озером объявились верхушки деревьев, только верхушки, до этого лес не был виден совсем. Говорят, что утром туман поднимается. Как же он поднимается, если из тумана сначала показались верхушки леса?.. Значит, туман не поднимается, а опускается, а затем уходит в воду. «Хитрые!» — думает Миша.

Крякнула утка в камышах. Очень интересно крякнула и громко. Еще раз крякнула. Может, она не в камышах, а где-нибудь на чистом месте, только из-за тумана ничего не видно и кажется, что она в камышах. Утром каждый звук далеко-далеко слышно. Опять крякнула утка. Как-то странно она все-таки крякает... «Не обманешь! — говорит про себя Миша.— Это самая настоящая утка, а никакая не сказка!»

Почти у самого берега плавают круглые листья, словно зеленые тарелочки, и между ними белые твердые цветы. Это водяные лилии, их очень много. Одни совсем распустились, а есть такие, что как маленькие горшочки с трещинками. А в горшочках белое молоко.

Лилий становилось все больше, они видны уже за камышами, потому что туман уходит в воду. Утром цветы, наверно, холодные и хрупкие. Миша вспоминает, что лягушка-царевна со стрелой во рту сидела около таких вот лилий. А где это он ее видел и когда? Но видел же ведь точно, без обмана.

Миша почти не дышит и внимательно вглядывается в чашечки цветов на озерной глади. Тихо-то как! И вдруг из воды, прямо из воды, на глазах у Миши вылезает новый цветок и разворачивает во всю ширину свои лепестки. Да нет, Мише это не показалось! Так вот прямо взял, да и развернулся целый белый цветок, хоть кричи. Это же удвительно! Это же здорово!

Но Миша не закричал и даже не пошевелился. И правильно сделал. А вдруг это не цветок вовсе? Вдруг это и есть сказка, самая настоящая? Скрывалась всю ночь под водой, а когда пришло время, когда посветлело да потеплело, она и появилась и развернулась. Ух ты!

Потом из камышей выплыла утка. Нарядная, разноцветная и большая. Очень большая. И глаза у нее черные, блестящие, как при-



шитые круглые пуговицы. Миша никогда не видел дикую утку так близко. Только вот в чем дело. если бы утка была далеко, конечно, это была бы утка — понятно. Дикие утки все боязливые, дикие. Но эта совсем рядышком, ну просто невозможно как. Разве могут настоящие утки подплывать к человеку так близко? Не могут — в этом все дело. Это же сказка! Видно, мама не обманывала его. Хитрая! Конечно же, это и есть сказка, да еще с серыми утятами — вот они!

Утята, серые комочки, выкатились из тростника, как из глухой таежной трущобы, и заскользили вокруг своей матери, брызгаясь и попискивая. Они были очень похожи на куриных цыплят, только сказочные и катались не по земле, а по воде.

Теперь Миша уже мог поверить во все. Он сидел как замороженный, как зачарованный и ждал: что же будет дальше?

А дальше было вот что: утка исчезла, утята исчезли и на воде появилась змея. Это была третья сказка. Черный уж плыл по озеру, извиваясь, тела его не было видно, над водой торчала одна черная голова, но почему-то само собой разумелось, что и сам он весь черный. Черный змей плыл по воде, а след за собой оставлял красный, почти кровавый. И Мише стало страшно. Но когда он обернулся, словно хотел найти защиту, то увидел, что с другой стороны острова всходит красное солнце и потому все вокруг становится розовым и красным. Зеленые листья на деревьях побагровели, будто осенью; травяной луг покрылся цветами, на оконных стеклах заиграли отсветы огня, словно в каждой избе затопилось по несколько печей. Лодка, стоявшая у мостков, с веслами, опущенными в воду, вдруг стала прозрачной, и вокруг нее заиграли солнечные зайчики. Порозовели даже камышинки на воде, и в этих густых розовых зарослях запела птичка. Вероятно, это была птичка, кто же еще?.. Но какая?.. А черный уж доплыл до берега и пропал. Все как в сказке! Начинаясь день.

Миша встал на ноги. Начинаясь день, и он хотел идти домой. Наверно, мама заждалась его, волнуется. Не может быть, чтобы она не заметила, когда он уходил из дому. Но в это время на озере кто-то чмокнул — смачно, влажно. Целуются? Нет. Скорее кто-то чавкает. Все как в сказке. И поет, поет птичка в камышах.

Чавканье продолжалось. Миша стал догадываться, что под зелеными тарелочками лилий рыба ловит воздух. А может быть, это не рыба? Как же не рыба, если ее даже видно? И зеленые тарелочки вздрагивают и покачиваются после каждого поцелуя.

А здорово было бы, думает Миша, если бы сейчас вдруг приплыла к нему щука и спросила: «Чего тебе надобно, Миша?» А он бы ей: «По щучьему велению, по моему хотению...» Вот бы все ребята удивились! И девочки тоже! И мама бы с ума сошла! И папа бы...

— По щучьему велению, по моему хотению,— шепчет Миша,— чего бы мне такого пожелать?

Огромная щука подплыла к самому берегу, и Миша ее увидел, но у нее была такая пасть, что ни с каким делом обращаться к ней он не захотел. Это была не та щука, эта щука была из страшной сказки.

— Миша! Где ты? — звала его мать. — Не заснул ли где-нибудь?

Нет, Миша не заснул. Разве можно было бы столько всего увидеть и услышать, если бы он заснул.

— Иду, мама! — крикнул он, и сразу все сказки исчезли, и страшная щука уплыла от берега. Только невидимая птичка все пела и пела в камышах, хорошо пела. Она так и не показалась Мише. Наверно, это была самая интересная сказка.

## ГРИБНЫЕ ШАШЛЫКИ

На Сладком острове наша мама с утра до вечера чистила свежую рыбу. Бывало, только управится с одной порцией окуней — мы несем вторую, больше первой. Разделает шук — мы ей подбрасываем лещей да налимов. Исколола она себе руки и наконец взмолилась:

— Не могу больше, дайте передохнуть!

Особенно трудно было с заготовкой рыбы впрок: для засолки не хватало посуды, а сушить на плите, без всяких приспособлений — мурторное дело: плита раскалена, рыба на ней не сохнет, а горит. Разумеется, мы не переставали ловить рыбу, а в ответ на ее мольбы и почти истерические слезы взяли удочки и снова ушли на озеро.

Не управлялась наша мама с рыбой.

То же самое получилось и с грибами. В грибную пору мы почти перестали спать. От жилья до ближайшего леска не больше половины километра, и обычно нам еле хватало этого расстояния, чтобы протереть глаза да прожевать утренние бутерброды.

Кто знает, как возникает, с чего начинается страсть? Первое время мы охотились только за белыми да за рыжиками и возвращались домой с полупустыми корзинами. Терпения и настойчивости было с избытком, умение накапливалось с каждым выходом, но корзины не становились полнее. В чем дело? Неужели грибы в лесу перевелись? Мы изощрялись, лазили в самые густые кусты, куда не забирался ни один грибник, обследовали придорожные канавы, не брезговали уже ни сыроежками, ни волнушками, не отказывались от любых корней. Но все-таки грибов находили мало. Их стало много, когда мы узнали, что в лесу на каждые два десятка съедобных грибов приходится не больше одной поганки. Значит, мы топчем съедобные грибы только потому, что не знаем их.

В здешних местах все неизвестные грибы называются собачьи губы. Их даже в руки брать брезгуют. Зато подберезовики называют здесь обабками, подосиновики — красными грибами. А собачьими губами оказались и вкуснейшие опята всех видов, и удивительные сочные чушки, или свинушки, или дуньки, — где как их назовут, и белые, как грузди, ореховики, и, конечно, лисички, сморчки, чернушки... О грибной лапше, трюфелях и говорить не приходится, здесь о них просто не слыхали.

А мы вычитали из книжек, что даже мухоморы многие вполне пригодны для пищи. Вот когда лес заговорил с нами и открыл нам свои кладовые. Чем больше узнавали мы грибов, тем полнее становились наши корзины и ненасытнее страсть. Теперь радостям нашим не было конца. Не радовалась только наша мама.

Первая ее работа была — выкидывать из наших корзин все собачьи губы. Делалось это втайне от нас. При этом она хвалила нас за хороший улов. Затем она сортировала остатки нашей добычи, раскладывая ее на три кучки: для соленья, для варенья, для сушения. Солить было почти нечего, так как рыжиков мы приносили незначительное количество, а груздей вообще не находили. На варево шли старые подберезовики и подосиновики, огромные и рваные, как ошметки, как лапотные обноски, да изредка белые царские грибы, похожие на заплесневевшие пироги-колобаны. Зато сушить было что. Но как сушить, где сушить?

Хорошо тем, у кого есть широченная русская печь, за челом которой на поду, как на мощеном дворе, может развернуться любая телега. А если вместо пекарки в доме только плита, а в городском доме и плита не дровяная, а газовая, тогда как быть?

У нас плита дровяная. Пока ее топишь, она раскаляется докрасна, закроешь трубу — с полчаса еще не остывает, а через полчаса хоть снова топи, в духовке даже заварка чая в фарфоровом чайнике через полчаса становится теплой, как помой.

Мать поначалу раскладывала грибные шляпки прямо на чугунную доску плиты. Они мгновенно пускали сок, пузырились, закипали и не сохли, а варились. После этого она попробовала нанизывать грибы на нитки и развешивать их над жаркой топящейся печкой. Работы было много, а толку мало, потому что требовалось, чтобы печка топилась беспрерывно день за днем. К тому же и нитки то и дело обрывались. Тогда мать раздобыла камышовой соломы и, застав ею внутренность духовки, раскладывала грибы на камыше. Получалось неплохо, но велики ли под у плиты? На нем умещалось самое большее десять хороших шляпок и столько же корешков в промежутках. Забраковав и этот способ, мама стала в тупик: требовалось что-то придумать новое, а что? На солнышке, что ли, развешивать грибные цепочки? Так ведь осень, когда его, солнышка, дождешься? А может, просто под навесом, на воздухе попробовать? Заготавливает же белка грибы на зиму и сушит их на воздухе, в том же лесу... Нанизывает она по грибочку на сучок и — ничего, получается. Накалывает на сучок по грибочку... Накалывает...

Мало-помалу мама нашла способ сушить грибы, вышла из положения. Она стала накалывать грибы на лучинки, как шашлык на палочке, и раскладывать эти палочки в духовке на боковых ее выступах, предназначенных для противня. Грибы просыхали быстро и хорошо, не подгорая, не теряя соков. Мы так и называли палочки «грибными шашлыками».

— Может быть, и лучку добавлять надо между белыми грибами по несколько кружочков? — спросил однажды отец. — Чтобы уж шашлык так шашлык!

Грибные шашлыки выручили нас всех. Теперь мы, не боясь ничьей воркотни, могли по целым дням собирать грибы, а мать обрабатывала их быстро и надежно, даже с охотой. Видно, шашлыки готовить все же интереснее, чем просто грибы сушить.

Записал я сейчас эту историю и задумался: а для чего, собственно, я ее записал? Мелко, не проблемно и вряд ли высокохудожественно. Правда, реализм налицо, но, может быть, это уже не реализм, а ползучий натурализм и, стало быть, ничего, кроме вреда, от него ждать нечего. Скажет кто-нибудь, будто я вместо того, чтобы заниматься своим кровным делом, служить народу, составляю заметки для поваренной книги. Для чего все это?

А может, не «для чего», а «для кого»? Может, мою заметку и впрямь прочтает не одна домашняя хозяйка и будет при случае сушить грибы точно таким же простым способом, как я описал. А от них научатся другие, и пойдет... И получится, что я все-таки послужу своей заметкой о грибных шашлыках народу и не думая, что служу...

17—IX—61.

## ЖУРАВЛИ

*Сила слов...*

Были в детстве моем и праздники, и весна не одна, и не одна золотая осень. Много было всего. Были и свои журавли в небе.

Когда с полей убирали хлеб, поля становились шире и светлее, чем прежде, горизонт отодвигался куда-то вдаль. И над этой ширью и золо-

том появлялись треугольники журавлей. Для детей это время птичьих перелетов всегда празднично. Мы выбегали из домов, неслись за околицу и кричали вдогонку журавлям:

Журавли, журавли,  
Выше неба и земли  
Пролетайте клином  
Над еловым тыном,  
Возвращайтесь домой  
По дороге прямой!

Или много раз повторяли, приплясывая, одни и те же слова:

Клин, клин-журавлин,  
Клин, клин-журавлин!..

Птицы шли по небу ровно, спокойно, красиво.

Но находились озорники, которые не желали добра птицам, хотели расстроить их порядок. Бывало, какой-нибудь босоногий заводила вдруг вопил истошным голосом:

Передней птице  
С дороги сбиться,  
Последнюю птицу —  
Вицей, вицей.  
Хомут на шею!  
Хомут на шею!

Переднему хомут на шею,  
Заднему головешку под хвост!

И часто журавлиный треугольник неожиданно начинал ломаться, птицы, летевшие сзади, рвались вперед либо уходили в сторону, а вожак, словно испугавшись, что он остался впереди совсем один, круто осаживал, делал поворот и пристраивался в хвост колонны. Мы удивлялись силе наших слов, визжали от удовольствия. Но кто-нибудь из взрослых давал подзатыльник озорнику, и хорошие чувства брали верх в детской душе. Мы в раскаянье кричали уже хором, чтобы слышно было:

Клин, клин-журавлин!  
Путь-дорога!  
Путь-дорога!

Кричали до тех пор, пока журавли не выравнились.

И вот опять вспомнилось мне детство.

В этом году дожди затяжные, упрямые начались так рано, что стало казаться, будто вовсе не было лета. Свету неоставало даже в полях, и утром и в полдень было одинаково пасмурно. Сырость пронизала небо и землю, в самом густом лесу не оставалось ни одного сухого места. Дороги испортились, поплыли, шипели, как тесто в квашне, вылезая на стерню, на луговую отаву. Листья на деревьях, всегда мокрые, не желтели и не облетали, сколько ни свистел ветер по ночам. Где же «бабье лето»? Где золотые рощи? Где кружевная паутина на скошенных лугах? Наверно, и птицы уже улетели давно...

Но вот выдался солнечный денек. Потом другой, третий... И стала осень делаться заново. Пришла тишина, мягко пригрело солнце, подсохла земля, даже дороги стали проезжими. А когда просохли на деревьях листья, оказалось, что они давно желтые. Как-то утром, пропувшись, дочка моя глянула в сад на засверкавшую всю осинку и ахнула: «Папа, у тебя под окном красавица!» Потом закружилась и лист-

ва в воздухе, облетели осинки, березки, тополя, даже дубы начали понемногу оголяться. Совсем сквозным стал орешник, и, откуда ни возьми, на опушку рощи выступили вдруг елочки.

А солнце с каждым днем становилось нежнее к земле, ласковее. Казалось, и так красиво кругом, а оно как выглянет, как начнет наводить порядок — не палюбуешься, не парадуюшься.

Наконец затрубили, закурлыкали журавли в небе. Все-таки взяла свое осень и на этот раз: появились над полями птички греугольники. Станным показалось это: зачем они покидают нашу землю? Все устроилось так хорошо, стало тепло и тихо, сейчас бы жить да жить, а вот улетают...

Стою я на крыльце, вспоминаю детство, слежу за журавлями и вдруг вижу — нарушился их строй, сблизилась птицы в кучу, заходили кругами, стремительно набирая высоту. Словно самолет пронесся близко — завертело их ветром, подкинуло.

Но мне представилось, что это опять ребяташки-озорники из какой-нибудь соседней деревни сбили журавлей с толку обидными словами. Я поверил в это, и такое хорошее, доброе чувство к летящим птицам охватило всю мою душу, что я не заметил, как начал — правда негромко, почти про себя, но все-таки вслух — шептать слова дружеского напутствия, которые знал с детства:

Клин, клин-журавлин!  
Летите не сбивайтесь,  
Домой возвращайтесь!  
Путем-дорогой!

И вот уже выправились журавли моего детства, уgomонились их всполошенные голоса, и благодарные, мирно переговариваясь между собой, полетели птицы все дальше и дальше под ясным солнцем родного края.



---

---

А. ВЕЛИЧАНСКИЙ

★

## ИЗ ДНЕВНИКОВ

\* \* \*

Покой? Запомни хоть такой,  
когда кружились над рекой  
высокие крутые кроны,  
и неземные ив поклоны,  
и чащи внутренний покой,  
лесных полян цветные складки,  
полей глухой переполох,  
и сеновал густой и сладкий,  
в котором сенокос заглох;  
всю деревянную деревню,  
чужую тучу за бугром,  
и горизонта видимые гребни,  
и тишина — как в летописи древней,  
мы жили здесь и здесь опять умрем.

\* \* \*

Уходит лето по почам тайком  
через окраин сумраки и свалки,  
и смотришь — птицы почернели, смолкли,  
и утром воздух свеж и незнаком.

Приходит осень по утрам тайком,  
как будто возвращается с попойки,  
разворошив непрошеным звонком  
жнлища воздух  
зимостойкий...

\* \* \*

У реки приземистой —  
водянистый запах.  
У земли обрывистой  
травы все в слезах.  
На речном течении  
много лун внезапных —  
как бы в изначальную  
снова их связать!

\* \* \*

Прилети ко мне тот листопад!  
Простирая крыла золотые...  
Мне минувшее дышит в затылок,  
чтобы к горлу потом подступать.

(Ты гори, листопад, чтобы память моя не остыла!)

Прилети ко мне — ну хоть на миг,  
покрывая часы и провалы,  
чтобы речь моя вся состояла  
из тогдашних молчаний моих...

(Прилети, листопад, голубой, дорогой, небывалый!)

### СНЕГОПАД

Закат за осиновой сетью померк,  
и лед выступает дыханья поверх.  
Квадратик дверной, что ведет в магазин,  
зажегся с исходом небес и осин.

И снег заскрипел высоко в небесах  
и падал потом, попадая впросак,  
как в чашку лохматую сахар-песок —  
исчез на губах, на ресницах просох.

А люди в засыпанных избах сидят.  
Спасибо, соседи когда посетят:  
ведь время не сахар и сердце не лед,  
и снежная баба за водкой идет.

\* \* \*

Наконец-то мне стало ясно —  
о, не надо большей примера! —  
что любовь — это только вера  
без сомнения, без боязни!

Всем я плох — без стыда и секрета,  
но люблю так светло и спокойно!  
И ответной любви достойна  
лишь моя уверенность эта.

\*.\*

О, не плачь, моя прекрасная,  
я молиться научусь,  
чтоб печаль твоя безгласная  
полегчала хоть чуть-чуть...

О, не плачь, моя печальная —  
это мне не по плечу!  
Чистым золотом отчаянья  
я за все им заплачу!

О, не плачь, не плачь, не мучайся —  
ждут нас тяжкие года:  
ты же знаешь, никогда  
счастье горю не научится...

\*.\*

Мы мстим, и мстим, и мстим кому невесть:  
отмщенья ярость зверская — для нас большая честь!  
Веками вечными одно лишь мщенье длилось...

О, если справедливость только месть  
и если в зверстве добродетель есть, —  
будь они прокляты, добро и справедливость!

\*.\*

Не поможет больше друг,  
не поможет доктор,  
как замкнется этот круг  
навсегда — надолго.

Не поможет прежний труд,  
сделанная польза:  
поблагодарив, умрут  
те, что будут после.

Не поможет больше снесь!  
Не поможет влага!  
Не поможет даже —  
смерть  
почитать за благо.

...Не всплывем из лона вод  
в будущем несметном,  
не воскреснем — оттого,  
что не верим в смерть мы.



\* \* \*

Каменистый, угловатый,  
ты порос плюшом  
и кирпич твой розоватый  
розовой еще.

Твои темные строеня  
из дождей и туч  
озаряет на мгновенье  
солнца свежий луч.

А на улицах литвины —  
корабельный люд,—

и глядят они в витрины  
или пиво пьют.

Переулки по брусчатке  
ходят в магазин.  
И, перебирая четки,  
дождик моросит.

В свитера уйти по ворот,  
в море — кораблю...  
Дорогой портовый город,  
я тебя люблю.

---

Величанский Александр Леонидович родился в Москве в 1940  
году Печатается впервые.



---

ЮРИЙ ТРИФОНОВ

★

## ОБМЕН

*Повесть*

**В** июле мать Дмитриева Ксения Федоровна тяжело заболела, и ее отвезли в Боткинскую, где она пролежала двенадцать дней с подозрением на самое худшее. В сентябре сделали операцию, худшее подтвердилось, но Ксения Федоровна, считавшая, что у нее язвенная болезнь, почувствовала улучшение, стала вскоре ходить, и в октябре ее отправили домой, пополнившую и твердо уверенную в том, что дело идет на поправку. Вот именно тогда, когда Ксения Федоровна вернулась из больницы, жена Дмитриева затеяла обмен: решила срочно съезжаться со свекровью, жившей одиноко в хорошей, двадцатиметровой комнате на Профсоюзной улице.

Разговоры о том, чтобы соединиться с матерью, Дмитриев начинал и сам, делал это не раз. Но то было давно, во времена, когда отношения Лены с Ксенией Федоровной еще не отчеканились в формы такой окостеневшей и прочной вражды, что произошло теперь, после четырнадцати лет супружеской жизни Дмитриева. Всегда он наталкивался на твердое сопротивление Лены, и с годами идея стала являться все реже. И то лишь в минуты раздражения. Она превратилась в портативное и удобное, всегда при себе, оружие для мелких семейных стычек. Когда Дмитриеву хотелось за что-то уколоть Лену, обвинить ее в эгоизме или в черствости, он говорил: «Вот поэтому ты и с матерью моей не хочешь жить». Когда же потребность съязвить или надавить на больное возникала у Лены, она говорила: «Вот поэтому я и с матерью твоей жить не могу и никогда не стану, потому что ты — вылитая она, а с меня хватит одного тебя».

Когда-то все это дергало, мучило Дмитриева. Из-за матери у него бывали жестокие перепалки с женой, он доходил до дикого озлобления из-за какого-нибудь ехидного словца, сказанного Леной: из-за жены пускался в тягостные «выяснения отношений» с матерью, после чего мать не разговаривала с ним по нескольку дней. Он упрямо пытался сводить, мирить, селил вместе на даче, однажды купил обеим путевки на Рижское взморье, но ничего путного изо всего этого не выходило. Какая-то преграда стояла между двумя женщинами, и преодолеть ее они не могли. Почему так было, он не понимал, хотя раньше задумывался часто. Почему две интеллигентные, всеми уважаемые женщины — Ксения Федоровна работала старшим библиографом одной крупной академической библиотеки, а Лена занималась переводами английских технических текстов и, как говорили, была отличной переводчицей, даже участвовала в составлении какого-то специального учебника по переводу, — почему две хорошие женщины, горячо любившие Дмитриева,

тоже хорошего человека, и его дочь Наташку, упорно лелеяли в себе твердевшую с годами взаимную неприязнь?

Мучился, изумлялся, ломал себе голову, но потом привык. Привык оттого, что увидел, что то же — у всех, и все — привыкли. И успокоился на той истине, что нет в жизни ничего более мудрого и ценного, чем покой, и его-то нужно беречь изо всех сил. Поэтому, когда Лена вдруг заговорила об обмене с Маркушевичами — поздним вечером, давно отужинали, Наташка спала, — Дмитриев испугался. Кто такие Маркушевичи? Откуда она их взяла? Двухкомнатная квартира на Малой Грузинской. Он понял тайную и простую мысль Лены, от этого понимания испуг проник в его сердце, и он побледнел, сник, не мог поднять глаз на Лену.

Так как он молчал, Лена продолжала: материнская комната на Профсоюзной им понравится наверняка, она их устроит географически, потому что жена Маркушевича работает где-то возле Калужской заставы, а вот к их собственной комнате потребуется, наверно, доплата. Иначе не заинтересуешь. Можно, конечно, попробовать обменять их комнату на что-то более стоящее, будет тройной обмен, это не страшно. Надо действовать энергично. Каждый день что-то делать. Лучше всего найти маклера. У Люси есть знакомый маклер, старичок, очень милый. Он, правда, никому не дает своего адреса и телефона, а появляется сам как снег на голову, такой конспиратор, но у Люси он должен скоро появиться, она ему задолжала. Это закон: никогда нельзя давать им деньги вперед...

Разговаривая, Лена стелила постель. Он никак не мог посмотреть ей в глаза, теперь он хотел этого, но Лена стояла к нему то боком, то спиной, когда же она повернулась и он взглянул ей прямо в глаза, близорукие, с расширенными от вечернего чтения зрачками, увидел — решимость. Наверно, готовилась к разговору давно, может, с первого дня, как узнала о болезни матери. Тогда же ее и осенило. И пока он, подавленный ужасом, носился по врачам, звонил в больницы, устраивал, терзался, — она обдумывала, соображала. И вот нашла каких-то Маркушевичей. Странно, он не испытывал сейчас ни гнева, ни боли. Мелькнуло только — о беспощадности жизни. Лена тут ни при чем, она была частью этой жизни, частью беспощадности. Кроме того, можно ли сердиться на человека, лишнего, к примеру, музыкального слуха? Лену всегда отличала некоторая душевная — нет, не глухота, чересчур сильно, — некоторая душевная неточность, и это свойство еще обострялось, когда вступало в действие другое, сильнейшее качество Лены: умение добиваться своего.

Он зацепился за то, что было вблизи: зачем нужен маклер, если квартира на Малой Грузинской уже найдена? Маклер нужен, если придется менять их комнату. И вообще чтоб ускорить весь процесс. Она не заплатит ему ни копейки до тех пор, пока не получит ордер на руки. Стоит это не так уж дорого, рублей сто, максимум полтора. Так и есть! Его мрачность она расценила по-своему. Какая тонкая душа, какой психолог. Он сказал, что лучше бы она подождала, пока он начнет этот разговор сам, а не начнет, значит, не нужно, нельзя, не об этом сейчас надо думать.

— Витя, я понимаю. Прости меня, — сказала Лена с усилием. — Но... (Он видел, что ей очень трудно, и все-таки она договорит до конца.) Во-первых, ты уже начинал этот разговор, правда же? Много раз начинал. А во-вторых, это нужно всем нам, и в первую очередь твоей маме. Витька, родной мой, я же тебя понимаю и жалею как никто, и я говорю: это нужно! Поверь...

Она обняла его. Ее руки стискивали его все сильнее. Он знал: эта внезапная любовь неподдельна. Но почувствовал раздражение и отодвинул Лену локтем.

— Ты не должна была сейчас начинать! — повторил он угрюмо.

— Ну, хорошо, ну, извини меня. Но я же забочусь не о себе, правда же...

— Замолчи! — почти крикнул он шепотом.

Лена отошла к тахте и продолжала раскладывать постель молча. Она вынула из ящика, стоявшего в головах тахты, толстую клетчатую скатерть, служившую обыкновенно подкладкой под простыню, но иногда применявшуюся и по своему прямому назначению для обеденного стола, на скатерть положила простыню, которая вздулась и легла не очень ровно, и Лена нагнулась, вытягивая вперед руки, чтобы достать до дальнего края тахты — лицо ее при этом мгновенно налилось краской, а живот низко провис и показался Дмитриеву очень большим, — и расправила завернувшиеся углы (когда стелил Дмитриев, он никогда не расправлял углов), потом бросила на простыню, к ящику, две подушки, одна из которых была с менее свежей наволочкой, эта подушка принадлежала Дмитриеву. Вытанув из ящика и кладя на тахту два ватных одеяла, Лена сказала дрожащим голосом:

— Ты меня как будто обвиняешь в бестактности, но, честное слово, Витя, я действительно думала обо всех нас... О будущем Наташки...

— Да как ты можешь!

— Что?

— Как ты можешь вообще говорить об этом сейчас? Как у тебя язык поворачивается? Вот что меня изумляет. — Он чувствовал, что раздражение растет и рвется на волю. — Ей-богу, в тебе есть какой-то душевный дефект. Какая-то недоразвитость чувств. Что-то, прости меня, недочеловеческое. Как же можно? Дело-то в том, что больна моя мать, а не твоя, правда ведь? И на твоём бы месте...

— Говори тише.

— На твоём бы месте я никогда первый...

— Тихо! — Она махнула рукой.

Оба прислушались. Нет, все было тихо. Дочка спала за ширмой в углу. Там же за ширмой стоял ее письменный столик, за которым вечерами она готовила уроки. Дмитриев смастерил и повесил над столиком полку для книг, провел гуда электричество для настольной лампы — сделал за ширмой особую комнатку, «одиночку», как называли ее в семье. Дмитриев и Лена спали на широкой тахте чехословацкого производства, удачно купленной три года назад и являвшейся предметом зависти знакомых. Тахта стояла у окна, ее отделял от «одиночки» дубовый, с резными украшениями буфет, доставшийся Лене в наследство от бабушки, — вещь нелепая, которую Дмитриев много раз предлагал продать, Лена тоже была не против, но возражала теща. Вера Лазаревна жила недалеко, через два дома, и приходила к Лене почти ежедневно под предлогом «помочь Наташеньке» и «облегчить Ленусе», а на самом деле с единственной целью — беспардонно вмешиваться в чужую жизнь.

Вечерами, ложась на свое чешское ложе — оказавшееся не очень-то прочным, вскоре оно расшаталось и скрипело при каждом движении, — Дмитриев и Лена всегда долго прислушивались к звукам, доносившимся из «одиночки», стараясь понять, заснула дочка или нет. Дмитриев звал, проверяя, вполголоса: «Наташ! А Наташ!» Лена подходила на цыпочках и смотрела сквозь щелку в ширме. Лет шесть назад взяла няньку, она спала на раскладушке здесь же в комнате. Фандеевы, соседи, возражали против того, чтоб в коридоре. Старуха страдала бессонницей и обладала острейшим слухом, ночами напролет она что-то

бормотала, кряхтела и прислушивалась: го мышь скребется, го бежит таракан, го кран на кухне забыли закрутить. Когда старуха ушла, у Дмитриевых началось что-то вроде медового месяца.

— Опять сидела с физикой до одиннадцати часов, — сказала Лена шепотом. — Надо брать кого-то... У Антонины Алексеевны есть хороший репетитор.

То, что Лена перевела разговор на Наташкины невзгоды и смирилась со всеми дмитриевскими оскорблениями, пропустила их мимо ушей — что было на нее непохоже, — означало, что она твердо хочет примириться и довести дело до конца. Но Дмитриеву еще не хотелось мириться. Наоборот, его раздраженность усиливалась оттого, что он вдруг осознал главную бестактность Лены: она заговорила так, будто все предрешено и будто ему, Дмитриеву, тоже ясно, что все предрешено, и они понимают друг друга без слов. Заговорила так, будто нет никакой надежды. Она не смела так говорить!

Объяснять все это было невозможно. Дмитриев рывком вскочил со стула, схватил пижаму и полотенце и, ни слова не говоря, почти выбежал из комнаты.

Когда через несколько минут он вернулся, постель была готова. В комнате стоял запах духов. Лена в незастегнутом халате расчесывала волосы, стоя перед зеркалом, и ее лицо выражало безучастность и даже, пожалуй, хорошо скрытую обиду. Но запах духов выдавал ее. Это был зов, приглашение к перемирню. Придерживая полы халата одной рукой у подбородка, а другою на животе, Лена быстрым и деловым шагом, не посмотрев на Дмитриева, прошла мимо него в коридор. Ему снова вспомнились стихи, которые он бормотал все последние дни: «О, господи, как совершенны дела твои...» Закрыв глаза, он сел на край тахты. «Думал больной...» Просидел так несколько секунд. Он знал, что в глубине души Лена довольна, самое трудное сделано: она сказала. Теперь надо заливать ранку, впрочем и не ранку, а небольшую царапинку, сделать которую было совершенно необходимо. Вроде внутривенного укола. Подержите ватку. Немножко больно, зато потом будет хорошо. Важно ведь, чтоб потом было хорошо. А он не закричал, не затопал ногами, просто выпалил несколько раздраженных фраз, потом ушел в ванную, помылся, почистил зубы и сейчас будет спать. Он лег на свое место к стене и повернулся лицом к обоям.

Скоро пришла Лена, щелкнула дверным замком, зашуршала халатом, зашелестела свежей ночной рубашкой, выключила свет. Как ни старалась она двигаться легко и быть как можно более невесомой, тахта под ее тяжестью затрещала, и Лена от этого треска зашептала с некоторой даже шутливостью:

— Ой, боже мой, какой кошмар...

Дмитриев молчал, не двигался. Прошло немного времени, и Лена положила руку на его плечо. Это была не ласка, а дружеский жест, может быть, даже честное признание своей вины и просьба повернуться лицом. Но Дмитриев не шелохнулся. Ему хотелось сейчас же заснуть. С мстительным чувством он наслаждался тем, что погружается в неподвижность, в сон, что ему уже некогда прощать, объясняться шепотом, поворачиваться лицом, проявлять великодушие, он может лишь наказывать за бесчувственность. Рука Лены стала слегка поглаживать его плечо. Окончательная сдача! Робкими прикосновениями она жалела его, вымаливала прощение, извинялась за черствость души, которой, впрочем, можно найти оправдание, и призывала его к мудрости, к доброте, к тому, чтобы и он нашел в себе силы и пожалел ее. Но он не уступал. Что-то неостывшее в нем мешало повернуться, обнять ее правой рукой. Сквозь надвигавшуюся дремоту он видел крыльцо деревянного дома,

Ксению Федоровну, стоявшую на самой верхней ступеньке крыльца и вытиравшую руки мятым вафельным полотенцем, и ее медленный взгляд прямо в глаза Дмитриеву, мимо русой головы, мимо ярко-голубого шелкового платья, и услышал глухой голос: «Сынок, ты хорошо подумал?» Глухой потому, что издали, из того ледяного майского дня, когда все были очень молодые, Валька полез купаться, Дмитриев поднимал двухпудовую гирю, Толик мчался куда-то на своем «вандерере» за вином, по дороге сломал забор, вызывали милицию, а потом на холодной верандочке, по стеклам которой шатался свет фонаря, Лена плакала, мучилась, обнимала его, шепча, что никогда, никого, на всю жизнь, это не имеет значения. Мама села утром на мопед, повесила на руль бидончик и поехала на станцию за молоком и хлебом. Ее несчастье: говорить сразу то, что приходит в голову. «Сынок, ты хорошо подумал?» Что могло быть бессильнее этой нелепой и жалкой фразы? Он ни о чем не мог думать. Май с ледяными ветрами, обрывавшими нежную, едва родившуюся листву, — вот что было тогда, чем они дышали. Мама учила английский просто так, для себя, чтоб читать романы, а Дмитриев собирался в аспирантуру, они вместе занимались с Ириной Евгеньевной и вместе вдруг прекратили, когда появилась Лена. Концом зонтика мама стучала в стекло верандочки — было не поздно, часов семь вечера: «Вставай! Ирина Евгеньевна ждет!» Дмитриев и Лена, притаясь под просторным ватным одеялом, делали вид, что спят. Раза два еще нерешительно стучал зонтик в окно, потом хрустели шишки под туфлями — мама уходила в молчании. Она сама не желала больше заниматься английским и утратила интерес к детективным романам. Однажды она услышала, как Лена, смеясь, передразнивает ее произношение. Вот оттуда, с той деревенской верандочки в мелком оконном переплете, началось то, что теперь поправить нельзя.

Рука Лены проявляла настойчивость. За четырнадцать лет эта рука тоже изменилась — она была раньше такой легкой, прохладной. Теперь же, когда рука лежала на плече Дмитриева, она давила немалой тяжестью. Дмитриев, ни слова не говоря, повернулся на левый бок, обнял Лену правой рукой, сдвинул ее ближе, сонно втирая себе, что имеет право, потому что уже спал, видел сны и, может быть даже, все еще спит. Во всяком случае он ничего не говорил, глаза его были закрыты, как у человека действительно спящего, и в те секунды, когда Лене очень хотелось, чтобы он ей что-нибудь сказал, он продолжал молчать. Только потом, когда он глубоко и по-настоящему заснул, часа в два ночи, он бормотал со сна какую-то невнятицу.

Дмитриеву в августе исполнилось тридцать семь. Иногда ему казалось, что еще все впереди.

Такие приступы оптимизма бывали по утрам, когда он просыпался вдруг свежим, с нечаянной бодростью — много содействовала тому погода — и, открыв форточку, начинал в ритме размахивать руками и сгибаться и разгибаться в поясе. Лена и Наташка вставали на четверть часа раньше. Иногда с раннего утра, чтобы проводить Наташку в школу, являлась Вера Лазаревна. Лежа с закрытыми глазами, Дмитриев слышал, как женщины шаркали, двигались, переговаривались громким шепотом, гремели посудой, Наташка ворчала: «Опять каша! Неужели у вас фантазии нет?» Лена реагировала с привычным утренним гневом: «Я тебе покажу фантазию! Сядь как следует!» — а теща бубнила: «Если б другие дети имели все то же самое и даже гораздо больше. Но в те утра, когда Дмитриев просыпался, охваченный невразумительным оптимизмом, его ничто не раздражало. Он смотрел с высоты пятого этажа на

сквер с фонтаном, улицу, столб с таблицей троллейбусной остановки, возле которого сгущалась толпа, и дальше он видел парк, многоэтажные дома на горизонте и небо. На балконе соседнего дома, очень близко, в двадцати метрах напротив, появлялась молодая некрасивая женщина в очках, в коротком, неряшливо подпоясанном домашнем халате. Она присаживалась на корточки и что-то делала с цветами, стоявшими на балконе в горшках. Она их трогала, поглаживала, заглядывала под листочки, а некоторые листочки поднимала и нюхала. Оттого, что она садилась на корточки, халат раскрывался, и становились видны ее крупные синевато-белые колени. Лицо женщины было такого же тона, как колени, синевато-белое. Дмитриев наблюдал за женщиной, сгибаясь и разгибаясь в поясе. Он смотрел на нее из-за занавески. Непонятно почему — женщина ему совсем не нравилась, — но тайное наблюдение за ней вдохновляло его. Он думал о том, что еще не все потеряно, что тридцать семь — это не сорок семь и не пятьдесят семь и он еще может кое-чего добиться.

Топоча по коридору, в суматохе, сопровождаемые криками Лены: «А мешки взяли? Не бегите через дорогу! Attention, дети, attention!» — Наташка и фандеевская Валя, шестиклассница, покидали дом в тридцать минут девятого. Под их прыжками содрогалась лестница. Дмитриев проскальзывал в ванную, запирался, через три минуты легкий стук прерывал его размышления: «Виктор Георгиевич, сегодня пятница, у меня стирка, я вас умоляю — побыстрее!» Это был голос соседки Ираиды Васильевны, с которой теща Дмитриева не разговаривала, Лена была в холодных отношениях, но Дмитриев старался быть корректен, оберегая свою объективность и независимость. «Хорошо! — отвечал он сквозь шум воды. — Будет сделано!» Он быстро брился, включив газовую колонку и полоская кисточку под горячей струей, потом мыл лицо над старым, пожелтевшим, с отбитым краем умывальником — его давно полагалось сменить, но Фандеевым один черт, над каким умывальником мыться, а Ираида Васильевна жалела деньги — и вскоре, слегка насвистывая, с газетами в руке, которые он успевал на пути из ванной по коридору достать из ящика, возвращался в комнату. Стол еще был загроможден посудой после недавней еды Наташки и Лены. Теперь торопилась Лена: она уходила на десять минут позже Наташки, и утреннее обслуживание Дмитриева принимала на себя теща. Дмитриеву это не особенно нравилось, теща тоже ухаживала за зятем без энтузиазма — это была ее маленькая утренняя жертва, один из тех незаметных подвигов, из которых и состоит вся жизнь таких тружениц, таких самозабвенных натур, как Вера Лазаревна.

Иногда Дмитриев замечал, что Лена лишь старается показать, что ей некогда, а на самом деле у нее вполне хватило бы времени приготовить ему завтрак, но она нарочно уступала эту миссию матери: как бы затем, чтобы Дмитриев был чем-то, пускай незначительным, пускай на минуту, теще обязан. Она даже могла шепнуть ему мимоходом на ухо: «Не забудь поблагодарить маму!» Он благодарил. Он видел все эти уловки по регулированию семейных связей и в зависимости от настроения то не обращал на них внимания, то тихо раздражался. На тихое раздражение Вера Лазаревна всегда отвечала по-своему — нежнейшим ехидством. «Как быстро-то Виктор Георгиевич освободил ванную! Вот молодец! — улыбаясь, говорила она и влажным кухонным полотенцем вытирала на клеенке местечко для Дмитриева. — Что значит — соседка попросила...» Лена решительно пресекала: «При чем тут соседка? Витя всегда моется быстро». — «Я и говорю: молодец, молодец, по-военному...»

В то утро начального октября за окном была синь, комната наполнилась светом, отраженным от залитого солнцем белокирпичного торца противоположного дома, и голоса Веры Лазаревны не было слышно. В

первый миг, едва разлепив глаза, Дмитриев бессознательно — из-за солнца и света — ощутил радость, но уже в следующую секунду все вспомнилось, синева смеркла, за окном установился безнадежно ясный и холодный осенний день. До завтрака ни он, ни Лена не сказали друг другу ни слова. Но после того, как Дмитриев позвонил Ксении Федоровне — он звонил сестре Лоре в Павлиново, где сейчас мать жила, и Ксения Федоровна бодрым голосом рассказала, что вчера поздно заезжал Исидор Маркович, нашел состояние хорошим, давление в норме, советовал с первым снегом поехать в какой-нибудь подмосковный санаторий, затем следовали вопросы насчет Наташкиных дел, как ее глаза, исправил ли тройку по физике, дают ли ей морковку сырую тертую, самое полезное питание для глаз, и что слышно с командировкой Дмитриева, — он испытал внезапное облегчение, точно отлив боли от головы. Вдруг показалось, что все, может, и обойдется. Бывают же ошибки, самые невероятные ошибки. И с этой ничтожной радостью и минутной надеждой он пришел после телефонного разговора в комнату — Наташка уже убежала, а Лена поспешно что-то шила, наполовину одетая, в юбке и в черной нижней рубашке, с голыми плечами, — и, проходя мимо Лены, он легонько шлепнул ее пониже спины и спросил дружелюбно:

— Ну-с, как настроение?

Вдруг сухо Лена ответила, что настроение у нее плохое.

— Да что ты? — сказал Дмитриев, задетый тем, что так сухо отвечают на его дружелюбие. — Это отчего же?

— Причин, по-моему, больше чем достаточно. Мама заболела.

— Твоя мама?

— Ты думаешь, только твоя может болеть?

— А что с Верой Лазаревой?

— Что-то очень серьезное с головой. Второй день лежит, я уж тебе не говорила вчера, но сегодня утром позвонила... Какие-то мозговые спазмы.

Лена закончила шитье, надела кофточку и подошла к зеркалу, глядя на себя высокомерно. Кофточка была с короткими рукавами, что было некрасиво — руки у Лены вверху толсты, летний загар сошел, белеет кожа в мелких пупырышках. Ей надо носить только длинные рукава, но сказать ей об этом было бы неосмотрительно. Какая выдержка — ни звука о своем вчерашнем предложении! Может, ей стало стыдно, но скорей тут была некоторая амбиция: ее обвинили в бестактности, в отсутствии чуткости, как раз в тех качествах, которые ей самой особенно неприятны в людях, и она проглотила эту несправедливость и даже просила прощения и как-то унижалась. Но теперь она будет молчать. Зачем всегда ходить в плохих? Нет уж, теперь станете просить — не допроситесь. К тому же ей не до того, она озабочена болезнью матери (Дмитриев готов был отвечать ста рублями против рубля за то, что у тещи ее обычная мигрень). Господи, как он научился читать вслепую в этой книге! Но не успел Дмитриев насладиться последней мыслью, полной самодовольства, как Лена ошеломила его. Совершенно буднично и мирно она сказала:

— Витька, я тебя прошу — поговори сегодня же с Ксенией Федоровной. Просто предупреди, что Маркушевичи могут смотреть ее комнату, и надо взять ключ.

Помолчав, он спросил:

— Когда они хотят смотреть?

— Завтра, послезавтра, не знаю точно. Они позвонят. А ты, если поедешь сегодня в Павлиново, не забудь возьми ключ у Ксении Федоровны. Кефир, пожалуйста, поставь в холодильник, а хлеб — в мешочек. А то всегда оставляешь, и он сохнет. Пока!



Махнув приветственно, она вышла в коридор. Хлопнула входная дверь. Загудел лифт. Дмитриеву что-то хотелось сказать, какая-то мысль, неясно-тревожная, возникала на пороге сознания, но так и не возникла, и он, сделав два шага вслед за Леной, постоял к коридору и вернулся в комнату.

От ранней синевы не осталось и помину. Когда Дмитриев вышел к троллейбусной остановке, сеялся мелкий дождь и было холодно. Все последние дни дождило. Конечно, Исидор Маркович прав — он опытный врач, старый воробей, его приглашают на консультации в другие города — надо вывозить мать за город, но не в такую же гриппозную сырость. Но если он советует подмосковный санаторий, значит, не видит близких угроз — вот же что! И Дмитриев второй раз за сегодняшнее утро с робостью подумал о том, что, может быть, все и обойдется. Они обменяются, получат хорошую отдельную квартиру, будут жить вместе. И чем скорее обменяются, тем лучше. Для самочувствия матери. Свершится ее мечта. Это и есть психотерапия, лечение души! Нет, Лена бывает иногда очень мудра, интуитивно, по-женскому — ее вдруг осеняет. Ведь тут, возможно, единственное и гениальное средство, которое спасет жизнь. Когда хирурги бессильны, вступают в действие иные силы... И это то, чего не может добыть ни один профессор, никто, никто, никто!

Уже ни о чем другом не мог думать Дмитриев, стоя на троллейбусной остановке под морозящим дождем, и потом, пробираясь внутрь вагона среди мокрых плащей, толкающих по колену портфелей, пальто, пахнущих сырым сукном, и об этом же он думал, сбегая по грязным, скользким от нанесенной тысячами ног дождевой мокряди ступеням метро, и стоя в короткой очереди в кассу, чтобы разменять пятиалтынный на пятаки, и снова сбегая по ступеням еще ниже, и бросая пятак в щель автомата, и быстрыми шагами идя по перрону вперед, чтобы сесть в четвертый вагон, который остановится как раз напротив арки, ведущей к лестнице на переход. И все о том же — когда шаркающая толпа несла его по длинному коридору, где был спертый воздух и всегда пахло сырым алебастром, и когда он стоял на эскалаторе, втискивался в вагон, рассматривал пассажиров, шляпы, портфели, куски газет, папки из хлорвинила, обмякшие утренние лица, старух с хозяйственными сумками на коленях, едущих за покупками в центр, — у любого из этих людей мог быть спасительный вариант. Дмитриев готов был крикнуть на весь вагон: «А кому нужна хорошая, двадцатиметровая?..»

Без четверти девять он выбрался из подземелья на площадь, без пяти пересек переулок и, обогнув стоявшие возле подъезда автомобили, вошел в дверь, рядом с которой висела под стеклом черная таблица «ГИНЕГА».

В этот день решался вопрос о командировке в Голышманово, в Тюменскую область. Командировку утвердили еще в июле, и ехать обязан был не кто иной, как Дмитриев. Насосы — его вотчина. Он один отвечал за это дело и один в нем по-настоящему разбирался. Если не считать Сниткина. Неделю назад Дмитриев затеял с ним разговор, но Паша Сниткин, хитромудрый деятель (в отделе его называли «Паша Сниткин С-миру-по-ниткин» за то, что ни одной работы он не сделал самостоятельно, всегда умел устроить так, что все ему помогали), сказал, что поехать, к сожалению, никак не может — тоже по семейным обстоятельствам. Наверное, врал. Но тут было его право. Кому охота ехать в ненастье, в холода в Сибирь? Сниткину было неловко отказывать, и у него вырвалось с досадой: «Ты же говорил, что твоей матушке стало лучше?»

Дмитриев не стал объяснять, только махнул рукой: «Где лучше...» А ведь Паша всегда так внимательно расспрашивал о здоровье Ксении Федоровны, давал телефоны врачей, вообще проявлял сочувствие, и в его согласии Дмитриев был почему-то совершенно уверен. Но почему? С какой стати? Теперь стало ясно, что эта уверенность была глупостью. Нет, они не фальшивят, когда проявляют сочувствие и спрашивают с проникновенной осторожностью: «Ну, как у вас дома дела?» — но просто это сочувствие и эта проникновенность имеют размеры, как ботинки или шляпы. Их нельзя чересчур растягивать. Паша Сниткин переводил дочку в музыкальную школу, этим хлопотливым делом мог заниматься один он — ни мать, ни бабушка. И если б он уехал в октябре в командировку, музыкальная школа в этом году безусловно пропала бы, что причинило бы тяжелую травму девочке и моральный урон всей семье Сниткиных. Но, боже мой, разве можно сравнивать — умирает человек и девочка поступает в музыкальную школу? Да, да. Можно. Это шляпы примерно одинакового размера — если умирает чужой человек, а в музыкальную школу поступает своя собственная, родная дочка.

Директор ждал Дмитриева в половине одиннадцатого. Склонив голову набок и глядя с каким-то робким удивлением Дмитриеву в глаза, директор сказал:

— Так что же будем делать?

Дмитриев ответил:

— Не знаю. Ехать я не могу.

Директор молчал, трогая белыми широкими пальцами кожу на щеках, на подбородке, словно проверяя, хорошо ли побрился. Взгляд его становился задумчивым. Он действительно о чем-то крепко задумался и даже бессознательно замурлыкал какую-то мелодию.

— Н-да... Так как же быть, Виктор Георгиевич? А? А если дней на десять?

— Нет! — отрывисто сказал Дмитриев.

Он понял, что может стоять, как скала, и его не сдвинут. Только не надо ничего объяснять. И директор, подумав, назвал фамилию Тягусова, молодого парня, год назад окончившего институт и, как казалось Дмитриеву, порядочного балбеса.

Еще недавно Дмитриев стал бы протестовать, но теперь вдруг почувствовал, что все это не имеет значения. А почему не Тягусова?

— Конечно, — сказал он. — Я посижу с ним дня два, все ему объясню. Он справится. Парень толковый.

Придя в свою комнату на первом этаже, Дмитриев полтора часа работал не разгибаясь: готовил документацию для Голышманова. Хотя он и раньше не верил в то, что его заставят поехать, все же мысль о командировке давила, была ко всем его тягостям еще одной гирькой, и теперь, когда гирьку сняли, он испытал облегчение. И подумал с надеждой, что сегодня, может быть, будет удачный день. Как у всех людей, которых гнетет судьба, у Дмитриева выработалось суеверие: он замечал, что бывают дни везения, когда одна удача цепляется за другую, и в такие дни надо стараться проворачивать как можно больше дел, и бывают дни невезения, когда ни черта не клеится, хоть лопни. Похоже на то, что начинается день удач. Теперь надо занять деньги. Лора просила привезти хотя бы рублей пятьдесят. На одного Исидора Марковича ушло за месяц — четырежды пятнадцать — шестьдесят рублей. А где взять? Такая радость: занимать деньги. Но делать надо сегодня, раз уж сегодня день удач.

Дмитриев стал думать, к кому бы ткнуться. Почти все — он вспомнил — жаловались недавно, что денег нет, прожились за лето. Сашка Прутьев строил кооперативную квартиру, сам был весь в долгах. Васи-

лий Герасимович, полковник, партнер по преферансу и по поездкам на рыбалку, всегда выручавший Дмитриева, переживал трагедию — ушел от жены, просить его было неловко. Приятели Дмитриева по КПЖ (клуб полуженатиков), к которым Дмитриев кидался в минуты отчаянья, когда ссорился с Леной, были люди малоимущие — их состояния заключались у кого в автомобиле, у кого в моторной лодке, в туристской палатке, в бутылках французского коньяка или виски «белая лошадь», купленных случайно в Столешниковом и хранящихся на всякий пожарный дома в книжном шкафу, — и могли одолжить не больше четвертака, сороковки от силы, а достать необходимо было не меньше полутора сот. Была, конечно, последняя возможность, предел мучительства: попросить у тещи. Но это уж значило — докатиться. Дмитриев еще мог бы сделать над собой усилие, перемучиться, но Лена переживала такие вещи чересчур болезненно. Она-то знала свою мать лучше. Внезапно Дмитриеву пришло в голову — это была та самая мысль, что неясно тревожила, а теперь вдруг прорезалась, — как же сказать матери насчет обмена? Она прекрасно ведь знает, как Лена относилась к этой идее, а теперь почему-то предложила съезжаться. Почему?

Дмитриева даже бросило в пот, когда он все это вдруг сообразил. Он вышел в коридор, где на тумбочке стоял телефон, и позвонил Лене на работу. Обычно дозваться ее было нелегко. Но тут повезло (день удач!): Лена оказалась в канцелярии и сама сняла трубку. Дмитриев, торопясь, одной длинной сумбурной фразой высказал свои сомнения. Лена молчала, потом спросила:

— Значит, что же, ты не хочешь говорить?

— Я не знаю как. Не могу же я внушить ей мысль — ты понимаешь?

Лена, снова помолчав, сказала, чтобы он позвонил через пять минут по другому телефону, откуда ей удобней говорить. Он позвонил. Лена говорила теперь громко и энергично:

— Скажи так: скажи, что ты очень хочешь, а я против. Но ты настаивал. То есть вопреки мне, ясно? Тогда это будет естественно и твоя мама ничего не подумает. Вали все на меня. Только не перебарщивай, а так — намеками... — Неожиданно она заговорила изменившимся, льстивым голосом: — Извините, пожалуйста, одну минуточку, я сейчас уйду! Значит, все ясно? Ну, пока. Да, Витя, Витя! Поговори там с кем-то у вас на работе, кто удачно менялся, слышишь? Пока!

То, что Лена говорила, было, конечно, правильно и хитро, но тоска стиснула сердце Дмитриеву. Он не мог сразу вернуться в комнату и несколько минут бродил по пустому коридору.

До обеда он ни к кому не пошел и не стал ничего узнавать, а после обеда поднялся на третий этаж к экономистам. Лишь только он отворил дверь, Таня сразу же увидела его и вышла. Ничего не спрашивая, она испуганно смотрела на него.

— Да нет, ничего плохого, — сказал он. — Даже, может, немного лучше. Тань, ты не знаешь: у вас кто-нибудь менялся? Квартиры менял?

— Не знаю. Кажется, Жерехов. А что?

— Мне надо посоветоваться. Мы должны срочно меняться, понимаешь?

— Вы?

— Да.

— Вы хотите... — лицо Тани покраснело, — съезжаться с Ксенией Федоровной?

— Да, да! Это очень важно. В общем, долго объяснять, но это просто необходимо сейчас.

Таня молчала, опустив голову. В ее волосах, упавших на лицо, было много седых. Ей тридцать четыре, еще молодая женщина, но за послед-

ний год она здорово сдала. Может, больна? Уж очень она похудела, тонкая шея торчит из воротника, на худом лице из просяной, веснушчатой бледности одни глаза — добрые — сияют во всегдашнем испуге. Этот испуг — за него, для него. Таня была бы, наверное, ему лучшей женой. Три года назад это началось, длилось одно лето и кончилось само собой: когда Лена с Наташкой вернулись из Одессы. Нет, не кончилось, тянулось слабой ниткой, рвалось на месяцы, на полгода. Знал, что, если рассуждать разумно, она была бы ему лучшей женой. Но ведь — разумно, разумно... У Тани был сын Алик и муж, носивший странную фамилию Товт. Дмитриев никогда его не видел. Знал, что муж сильно любил Таню, простил ей все, но после того лета три года назад она больше не могла с ним жить, и они расстались. Дмитриев очень жалел, что так получилось, что муж сделался несчастным человеком, бросил работу, уехал из Москвы, и Таня тоже стала несчастным человеком, но ничего поделать было нельзя. Таня хотела уйти из ГИНЕГА, чтобы не видеть каждый день Дмитриева, но уйти оказалось трудно. Потом она постепенно смирилась со всем этим и научилась спокойно встречаться с Дмитриевым и разговаривать с ним, как со старым товарищем.

Дмитриев вдруг понял, о чем она сейчас думает: значит — все, никогда.

— Ну, что можно сделать? — сказал он. — Понимаешь, это какой-то шанс, какая-то надежда. Мать же мечтала со мной жить.

— О чем ты говоришь? Она мечтала, наверное, не об этом.

— Я знаю.

— Ой, Витя... Ну, поговори с нашим Жереховым. Я его сейчас вызову. Только он большой болтун и враль, имей в виду. — Вдруг она спросила: — Тебе деньги нужны?

— Деньги? Нет.

— Витя, возьми. Я знаю, что значит болеть. Моя тетка болела восемь месяцев. Отложены двести рублей на летнее пальто, но лето, как видишь, кончилось, а я ничего не купила. Так что совершенно спокойно могу дать до весны.

— Нет, деньги мне не нужны. У меня есть. — Он поморщился. Еще чего: одалживать у Тани! Вдруг усмехнулся. — Действительно, какой-то странный день! Одно за другим...

— Зайдем ко мне после работы, и я тебе дам, хорошо?

Помолчав, он сказал:

— Я вру, денег у меня нет. Но не хочу брать у тебя.

— Дурак! — Она шлепнула его по щеке.

Дмитриев видел, что она обрадовалась. Она даже взяла его за руку, когда они вместе подошли к дверям комнаты, в которой сидел Жерехов.

— Леонид Григорьевич! — крикнула Таня. — Можно вас на минутку?

Жерехов, маленького роста, приветливый старичок, совершенно лысый, с ровными и белыми вставными зубами, очень любезно и с охотой стал рассказывать, как он менялся. Дмитриев знал Жерехова немного, но заметил, что тот любезен и приветлив со всеми — наверное, потому, что, находясь в жалком пенсионном возрасте, старичок боролся за место и желал со всеми подряд находиться в наилучших отношениях. Оттого он рассказывал невыносимо подробно и длинно. Кто-то уехал за границу. Кто-то оказался в безвыходном положении. Кому-то пришлось заплатить. Все это было не то. Но затем Жерехов вдруг воскликнул, и его голубые старческие глаза от прилива любезности расширились:

— Да! Вот с кем вам надо — с Невядомским! Вы Невядомского знаете, Алексея Кирилловича? Из КБ-3? У него такая же история, он

тоже менялся, оттого... — Жерехов понизил голос, — что теща безнадежно хворала. У нее была отличная комната, чуть ли не двадцать пять метров, где-то в центре. А Алексей Кириллович жил на Усачевке. Все надо было делать очень срочно. И удалось, вы знаете, замечательно удалось! Вот он вам расскажет. Правда, у него были зацепки в райжилотделе. Словом, так: он успел оформить обмен, сделал ремонт в той квартире — это его обязали через ЖЭК, — перевез тещу, получил лицевой счет, и через три дня старушка померла. Представляете? Он, бедняга, в ту зиму натерпелся, я помню. Чуть не слег. Но сейчас у него квартира исключительная, просто генеральская, люкс. Лоджии, два балкона, масса всякой подсобной кубатуры. Он на одном балконе даже помидоры выращивает. Вы зайдите, зайдите, он расскажет! Желаю успеха!

Жерехов благожелательно кивал, пятясь, и задом вперся назад в свою комнату. Пока он говорил, Таня стояла рядом с Дмитриевым и незаметно держала его за кончик мизинца.

— В шесть спускайся вниз и сразу поедем, — сказала шепотом.

— Ты понимаешь, я должен сегодня к Лоре в Павлиново. Меня ждет мать. Она сейчас у Лоры.

Он знал, что наносит удар некоторым надеждам Тани, но лучше уж было сказать сразу.

— Ну, хорошо. Делай, как тебе нужно. — На ее лице все отпечатывалось мгновенно: оно смеркло.

— Нет, я к тому, что...

— Я понимаю! Неужели думаешь, что я не понимаю! Ни на секунду тебя не задержу. Возьмешь деньги и тут же — катись.

Кивнув, она быстро пошла от него по коридору. Еще недавно, год назад, в ее высокой фигуре было что-то, волновавшее Дмитриева. Особенно в те минуты, когда она уходила от него и он смотрел ей вслед. Но теперь ничего не осталось. Все куда-то исчезло. Теперь это была просто высокая, худая, очень длинноногая женщина с пучком крашенных хною волос на тонкой шейке. И все-таки каждый раз, глядя на нее, он думал о том, что она была бы для него лучшей женой.

Дмитриев вернулся в отдел, посидел полчаса над документацией — мысли его вертелись вокруг того же: мать, Лора, Таня, Лена, деньги, обмен — и понял, что надо уйти с работы раньше, иначе попадет в Павлиново чересчур поздно. Таня жила в неудобнейшем месте, хуже не придумаешь — в Нагатине. Дмитриев пошел в кабинетик Сотниковой Варвары Алексеевны, своей начальницы, и сказал, что хотел бы, если можно, уйти сегодня в пять. Варвара Алексеевна согласилась. Все в отделе знали, что происходит в жизни Дмитриева, и относились с пониманием: каждую неделю разок-другой он мог уйти с работы раньше срока. Однажды даже, был такой грех, он бегал под этой маркой в универмаг «Москва», покупал форму для Наташки. Вновь Дмитриев поднялся на третий этаж и сказал Тане, чтоб она тоже отпросилась уйти в пять. Потом пошел в КБ-3 к Невядомскому — тут же, на третьем этаже.

Идти к Невядомскому Дмитриев решил после некоторых колебаний. Отношения между ними были прохладные — по вине одного дмитриевского приятеля, который уже полгода, правда, не работал в ГИНЕГА. У Невядомского с этим приятелем были какие-то скандалы в профкомс. И они не здоровались. А когда Невядомский встречал Дмитриева в компании этого приятеля, он — заодно уж — не здоровался и с Дмитриевым, и точно так же из солидарности с приятелем поступал Дмитриев. Однако когда Невядомский и Дмитриев встречались по отдельности, они вполне корректно, хотя и несколько прохладно здоровались и даже обменивались двумя-тремя фразами. Все это была чепуха собачья, и Дмитриев

решил наплевать и пойти. А вдруг у Невядомского действительно есть зацепки и он ими поделится?

Невядомский, худощавый брюнет с черновато-рыжей курчавой бородкой, удивленно вскинул брови, когда Дмитриев, зайдя в комнату, попросил у него «краткой аудиенции». За столиком в углу двое рубились в шахматы, очень быстро переставляя фигуры. Невядомский стоял рядом и смотрел. У «кабетришников» любимым занятием были шахматы, они играли блицы, пятиминутки, а у «кабедвашников» процветал пинг-понг. Сражения происходили в обеденный перерыв, но иногда прихватывали и от рабочего времени, особенно к концу дня. Невядомский, сказав: «Одну минуту! Сейчас, сейчас!» — продолжал наблюдать за игроками. Те хлопнули фигурами по доске со скоростью автоматов, пока один не вскрикнул: «Ах, черт!» — и ударом пальца не опрокинул своего короля. Невядомский рассмеялся злорадно и произнес:

— И сказал тут балда с укоризною: не гонялся бы ты, поп, за дешевизною!

После этого с выражением злорадной улыбки на лице он двинулся к дверям, но, наткнувшись взглядом на Дмитриева, согнал улыбку, и его брови опять с удивлением поднялись. Дмитриев стал нескладно излагать свою просьбу, вернее, намек на просьбу, окутанный торопливым и мало-содержательным бормотаньем. Невядомскому следовало догадаться: его просили поделиться советом о том, как поступать в известных ему обстоятельствах. Но Невядомский не догадывался. Его черновато-рыжая курчавая бородака поднималась выше, глаза смотрели все более холодно и, как показалось Дмитриеву, высокомерно.

— Простите, я не пойму, собственно...

— Сейчас я объясню. Дело в том, что причины, побудившие вас и меня... Словом, у нас одинаковая ситуация...

— Что вы имеете в виду?

— Что я имею в виду? — Дмитриев почувствовал, как его шея и щеки наливаются краской. — Я имею в виду вот что: мне тоже надо меняться как можно скорей. Я и хотел с вами посоветоваться, как это делается, вообще? С чего начинать?

— С чего начинать? Как — с чего начинать? С бюро обмена, разумеется. Заплатить три рубля и дать объявление в бюллетене.

— Но вы же понимаете, что, если человек серьезно болен, очень серьезно, и дорог каждый час...

— А никак иначе вы начать не можете. С бюро обмена. Других путей я не знаю. — Невядомский засунул большой палец в ноздрю, указательным прижал ее сверху и стал сосредоточенно что-то оттуда выкручивать. По-видимому, напряженно соображал, стоит или не стоит посвящать Дмитриева в свои зацепки. Решил: не стоит. — У меня не было никаких иных путей. — Вдруг Невядомский фыркнул. — Знаете, вы напомнили мне глупейшую историю! Когда я был студентом, у меня умер отец. Прошло месяца два или три... — Рассказывая, он продолжал большим пальцем выкручивать что-то из носа. — И неожиданно ко мне заходит сосед, незнакомый человек из другого подъезда, и говорит: «У меня умер отец, а я слышал, что у вас тоже недавно умер отец. Вот я пришел к вам познакомиться и попросить вас поделиться опытом». Каким опытом? Что? Как? Я его, разумеется, вежливо выставил.

«И это вынести тоже, — думал Дмитриев, ощущая оцепенение. Повернуться и уйти, но он продолжал стоять, глядя в черновато-рыжую бороду. — На тишиной могиле помидоры. Ну, все равно. И это тоже. И будет еще другое».

— Если хотите, у меня где-то есть телефон некоего Адама Викентьевича, маклера. Могу поискать...

Преодолевав оцепенение, Дмитриев повернулся и пошел по коридору прочь. В пять вышли с Таней на площадь и тут же — редкий случай! — подвернулось пустое такси. Дмитриев свистнул, они вскочили, поехали. Переулок был заполнен толпой, двигавшейся в одном направлении, к метро. Кончила заводская смена. Такси ехало медленно. Люди заглядывали в кабину, кто-то постучал ладонью по крыше. Когда проехали метро и вырвались на проспект, Дмитриев заговорил — о Невядомском, со злобой.

Таня взяла его за руку.

— Ну, зачем злишься? Не надо. Перестань...

Он чувствовал, как ее спокойствие и радость переливаются в него. Таня, улыбаясь, сказала:

— Все мы очень же разные. Мы — люди... У моей двоюродной сестры умер маленький сынок. Конечно, безумное горе, переживанья, и при этом какая-то новая, страстная любовь к детям, особенно больным. Она всех жалела, старалась, чем могла, помочь. И есть у меня знакомая, у которой тоже умер мальчик, от белокровия. Так эта женщина всех возненавидела, она всем желает смерти. Радует, когда читает в газете, что кто-то умер...

Таня придвинулась. Положила голову ему на плечо, спросила:

— Можно? Тебе не мешает?

— Можно, — сказал он.

Ехали окраинами, через новые районы. Дмитриев рассказывал о Ксении Федоровне. Таня спрашивала с сочувствием — это было истинное, Дмитриев знал, к его матери она испытывала симпатию. А Ксении Федоровне нравилась Таня, они виделись раза два летом, в Павлинове. Таня держала его руку в своей, иногда начинала тихо щекотать его ладонь пальцем. Ласки Тани всегда были какие-то школьные.

Не отнимая руки, он подробно рассказывал о матери: что говорил профессор Зурин, что сказал Исидор Маркович. Таня засмеялась:

— Ах, гнусная баба! Одалживает деньги и пристает с нежностями, правда? — Она вдруг ткнулась носом к его щеке, прижалась. — Прости меня, Витя... Я не могу...

Он гладил ее голову. Долго ехали молча. Проехали Варшавку.

— Ну, что ты? — спросил он.

— Ничего. Не могу...

— Что?

— Жалко — тебя, твою маму... И себя заодно.

Дмитриев не знал, что сказать. Просто гладил ее голову, и все. Она стала хлюпать носом, он почувствовал на щеке мокрое. Тогда она отодвинулась от него и, отвернувшись, стала смотреть в окно. Наконец миновали набережную, поехали по трамвайным путям, мимо какой-то фабрики, вдоль глухого длинного каменного забора. Возле пивного ларька густела черная толпа мужчин. Некоторые в одиночку и парочками с кружками в руках стояли поодаль. Дмитриев почувствовал, что сушит горло — захотелось хлебнуть чего-то, взбодриться. «Надо спросить, — подумал он. — У Танюшки бывало. Хоть что-нибудь».

Новый шестнадцатизэтажный дом стоял на краю поля. Дорога шла в объезд, вокруг поля.

— Вот здесь, — сказала Таня.

Дмитриев отлично помнил, что здесь. Последний раз он был тут около года назад.

— Ты машину оставишь? — спросила Таня.

Конечно, надо было оставить. Но его всегдашнее слабодушие — он видел, что Тане страстно этого не хотелось, — заставило ответить:

— Да ладно, пусть едет. Я тут найду.

— Конечно, найдешь! — сказала Таня.

Поднялись на одиннадцатый этаж. Таня вдвоем с сыном жила в большой трехкомнатной квартире. Бедняга Товт выстроил этот корабль в кооперативном доме, только успели въехать, и тут все случилось. Алик был тогда в лагере, Товт трудился где-то в Дагестане — он был горный инженер, — и Таня жила одна в пустых, без мебели комнатах, пахнущих краской. На полах лежали газеты. В одной комнате стоял громадный диван, больше ничего. И любовь Дмитриева была неотделима от запаха краски и свежих дубовых полов, еще ни разу не натертых. Босой, он шлепал по газетам на кухню, пил воду из крана. Таня знала множество стихов и любила читать их тихим голосом, почти шептать. Он поражался ее памяти. Сам он не помнил, пожалуй, ни одного стихотворения наизусть — так, отдельные четверостишия. «Ты жива еще, моя старушка, жив и я, привет тебе, привет». А Таня могла шептать часами. У нее было штук двадцать тетрадей, еще со студенческих времен, где крупным и ясным почерком отличницы были переписаны стихи Марины Цветаевой, Пастернака, Мандельштама, Блока. И вот в минуты отдыха или когда не о чем было говорить и становилось грустно, она начинала шептать. «О господи, как совершенны дела твои, думал большой...» Или еще: «Сними ладонь с моей груди, мы провода под током».

Иногда, устав от однообразного шелестения губ, он говорил: «Ну, хорошо, моя радость, передохни. А почему это ваш Хижняк с Варварой Алексеевной не здороваются?» После паузы она отвечала печально: «Не знаю». Все ее обиды были мгновенны. Даже тогда, когда она могла бы обидеться по-серьезному. Почему-то он был уверен в том, что она не разлюбит его никогда. В то лето он жил в этом состоянии, не испытанном прежде: любви к себе. Удивительное состояние! Его можно было определить как состояние привычного блаженства, ибо его сила заключалась в постоянстве, в том, что оно длилось недели, месяцы и продолжалось существовать даже тогда, когда все уже кончилось.

Но Дмитриев не задумывался: за что ему это блаженство? Чем он заслужил его? Почему именно он — не очень уже молодой, полноватый, с нездоровым цветом лица, с вечным запахом табака во рту? Ему казалось, что тут нет ничего загадочного. Так и должно быть. И вообще, казалось ему, он лишь приобщился к тому нормальному, истинно человеческому состоянию, в котором должны — и будут со временем — всегда находиться люди. Таня же, наоборот, жила в неизбывном страхе и в каком-то страстном недоумении. Обнимая его, шептала, как стихи: «Господи, за что? За что?»

Она ни о чем не просила и ни о чем не спрашивала, и он ничего не обещал. Нет, ни разу ничего не обещал. Зачем было обещать, если он твердо знал, что все равно она не разлюбит его никогда. Просто ему приходило в голову, что она была бы для него лучшей женой.

В комнатах появилась новая мебель — в одной комнате сервант и круглый полированный стол, в другой — полупустой книжный шкаф. Но паркет по-прежнему был не натерт и выглядел грязновато. Из комнаты вышел Алик, заметно подросший, бледное веснушчатое создание лет одиннадцати в очках на тонком носике. Голову он держал слегка откинув назад и набок, может быть, оттого, что был нездоров, а может быть, так лучше видел через очки. Эта посадка головы и маленький сжатый рот придавали мальчику выражение надменности.

— Мам, я пойду к Андрюше. Мы будем марками меняться, — проговорил он скрипучим голосом и метнулся через коридор к двери.

— Постой! Почему ты не поздоровался с Виктором Георгиевичем?

— Здравсте, — не глядя, бросил через плечо Алик.



Торопясь, отомкнул замок и выскочил, хлопнув дверью.

— Приходи не позже восьми! — крикнула в закрытую дверь Таня. — Воспитанием юноша не блещет.

— Он, наверно, забыл меня. Я давно все-таки не был.

— А даже если пришел незнакомый человек? Здраваться не нужно? — Таня прошла в большую комнату, открыла боковую дверцу серванта и сказала: — Он тебя не забыл.

Из-под кипы чистого белья она достала газетный сверток, развернула и дала Дмитриеву пачку денег. Он спрятал деньги в карман.

— Ну, иди, — сказала Таня. — У тебя же времени нет.

Он вдруг выдвинул стул и сел к полированному столу.

— Посижу малость. Что-то я устал. — Он снял шляпу, ладонью потрогал лоб. — Голова болит.

— Хочешь покушать? Дать что-нибудь?

— А выпить ничего нет?

— Нет... Постой! — Глаза ее обрадованно засияли. — Кажется, где-то осталась бутылка коньяку, которую мы с тобой не допили. Помнишь, когда ты был последний раз? Сейчас посмотрю!

Она побежала на кухню, через минуту принесла бутылку. На дне было граммов сто коньяку.

— Сейчас будет закуска. Одну минуту!

— Да зачем тут закуска?

— Сейчас, сейчас! — Она снова опрометью кинулась на кухню.

Дмитриев встал, подошел к балконной двери. С одиннадцатого этажа был замечательный вид на полевой простор, реку и темневшее главами собора село Коломенское. Дмитриев подумал, что мог бы завтра переселиться в эту трехкомнатную квартиру, видеть по утрам и по вечерам реку, село, дышать полем, ездить на работу автобусом до Серпуховки, оттуда на метро, не так уж долго. Таня принесла в стеклянной посуде шпроты, два помидора, масло, хлеб и рюмки. Он налил себе полную рюмку, а Тане — что осталось. Она всегда пила мало, сразу пьянела.

— За что мы пьем? — спросила Таня.

— За то, чтоб тебе было хорошо.

— Ну, давай! Нет. За это не надо. Мне и так будет хорошо. А вот давай за то, чтоб тебе было хорошо. Давай?

— Ладно. — Ему было все равно. Он уже выпил и жевал помидор. Хмыкнул: — Эти помидоры не с могилы геши Невядомского?

— Потому что тебе, Витя, — сказала она, — вряд ли когда-нибудь будет хорошо. Ну, а вдруг, а все-таки? Вот за это.

Он не стал спрашивать, что она имела в виду. Лишние разговоры. После коньяка стало тепло, он с удовольствием жевал помидор и смотрел на Таню, которая сгорбилась в задумчивости, опершись локтями о стол и глядя в угол комнаты.

— Не сутулься! — Он по-отечески слегка шлепнул ее по лопаткам.

Таня выпрямилась, продолжая глядеть в угол комнаты. На ее застывшем лице с зарозовевшими от капли коньяка пятнами на скулах было отчетливо видно страдание. На одно мгновение он очень остро пожалел ее, но тут же вспомнил, что где-то далеко и близко, через всю Москву, на берегу этой же реки его ждет мать, которая испытывает страдания смерти, а Танины страдания принадлежат жизни, поэтому — чего ж ее жалеть? В мире нет ничего, кроме жизни и смерти. И все, что подвластно первой, — счастье, а все, что принадлежит второй... А все, что принадлежит второй, — уничтожение счастья. И ничего больше нет в этом мире. Дмитриев поднялся рывком, с внезапной поспеш-

ностью, точно кто-то сильный схватил и дернул его за руки, и сказав: «Пока! Я бегу!» — понесся быстрыми шагами по коридору к двери. Таня ничего не успела ему сказать. Может быть, она ничего и не хотела ему говорить.

Дмитриев доехал автобусом до метро — никакого такси, конечно, не было, — сделал две пересадки и вышел на последней станции нового радиуса. Накрапывал мелкий дождь. Москва была далеко, белела громадными домами на горизонте, а тут было поле, изрытое котлованами, на мокрой глине лежали трубы и возле столба на шоссе стояла очередь, ждавшая троллейбус. Небо было в тучах, располагавшихся слоями — наверху густело что-то неподвижное, темно-фиолетовое, ниже двигались светлые, рыхлые тучи, а еще ниже летела по ветру какая-то белая облачная рвань вроде клочьев пара.

Лет сорок назад, когда отец Дмитриева Георгий Алексеевич строил дом в поселке Красных партизан, это место, Павлиново, считалось дачным. Оно было дачным и до революции, ездили сюда конкой от заставы. В тридцатые годы мальчик Витя, посредственный ученик, но прилежный велосипедист, рыболов, игрок в «пятьсот одну», флотатель Сенкевича и Густава Эмара, приезжал сюда летними днями на скрипучем старом автобусе, отходившем с часовыми промежутками от булыжной Звенигородской площади. В автобусе всегда было душно, окна не открывались, пахло дерюгами. Мимо волоклись пустыри, огороды, одна деревенька, другая, холодильник, радиополе, школа за каменным, из белого кирпича забором, снова поле, огороды, церкви на бугре, и вдруг открывалась дуга запруды, где чернели неподвижные лодки рыболовов, и у мальчика Вити сжималось сердце. Дорога от автобусной станции шла среди сосен, мимо почерневших от дождей, годами не крашенных заборов, мимо дач, скрытых за кустами сирени, шиповника, бузины, поблескивающих сквозь зелень мелкозастекленными верандочками. Надо было идти по этой дороге долго, гудрон кончался, дальше шел пыльный большак, справа на взгорке была сосновая роща с просторной проплешиной — в двадцатых годах упал самолет, и роща горела, — а слева продолжали тянуться заборы. За одним из заборов, никак не замаскированный молодыми березками, торчал бревенчатый дом в два этажа с подвалом, вовсе не похожий на дачный, скорее на дом фактории где-нибудь в лесах Канады или на гаспенду в аргентинской саванне.

Дом был построен кооперативом, звучно называвшимся «Красный партизан». Георгий Алексеевич не был красным партизаном, его пригласил в кооператив брат Василий Алексеевич, красный партизан и работник ОГПУ, владелец двухместного спортивного «опеля». Неподалеку на том же участке жил в маленькой дачке третий брат, Николай Алексеевич, тоже красный партизан, служивший во Внешторге, месяцами живший то в Японии, то в Китае. Николай Алексеевич привез из Китая игру ма-чжонг — в шкатулке красного дерева на четырех выдвижных полочках помещались сто сорок четыре камня, с одной стороны бамбук, с другой слоновая кость. В ма-чжонг сначала резались взрослые на деньги, потом, когда взрослым надоело или стало не до того, игра перешла во владенье детей Николая Алексеевича и всей оравы павлиновской детской коммуны. Ничего не осталось от тех вечеров с патефонной музыкой «Утомленное солнце нежно с морем прощалось», с громким разговором двух глухих красных партизан, всегда споривших о чем-то на втором этаже, со стуком китайских костяшек на верандочке Николая Алексеевича. В этом мире, оказывается, исчезают не люди, а

целые гнездовья, племена со своим бытом, разговором, играми, музыкой. Исчезают дочиста, так, что нельзя найти следов. Хотя там, в Павлинове, осталась Лора. Но кроме Лоры — никого, ни единого человека. Из братьев раньше всех умер старший, Георгий Алексеевич. Мгновенная смерть от инсульта — тогда это называлось апоплексическим ударом — случилась душным днем прямо на улице.

Дмитриев помнил отца плохо, отрывочно. Помнил — темные усы и борода, очки в золотых ободках, очень тонкая и мягкая на ощупь желтоватенькая чесучовая рубашка в табачных крошках, толстый живот под ней и всегдашний, надо всем, всеми, смешок. Георгий Алексеевич был инженером-путейцем, но всю жизнь мечтал оставить эту работу и заняться сочинением юмористических рассказиков. Ему казалось, что в этом его призвание. Всегда он ходил с записной книжечкой в кармане. Дмитриеву запомнилось, как быстро и легко сочинял отец смешные истории — шли вечером на огород поливать огурцы и увидели, как Марья Петровна, тетка одного красного партизана, пытается сбить с сосны мячик своего внука Петьки. Сначала бросила палку, палка застряла на сосне, тогда стала кидать туфлю, туфля тоже застряла. Пока дошли до огорода, отец рассказал Дмитриеву уморительную сказку о том, как Марья Петровна забросила на сосну вторую туфлю, потом кофту, пояс, юбку, все это висело на сосне, а Марья Петровна голая сидела внизу, потом прибежал дядя Матвей, тоже стал кидать ботинки, штаны. А через несколько дней отец приехал из города и привез журнал, где был напечатан рассказ «Мячик». Над братьями Георгий Алексеевич подсмеивался, считал их недалекими, звал в шутку «колунами». Сам он окончил университет, а братья даже в гимназии не успели доучиться: завертела гражданская война, кинула одного на Кавказ, другого на Дальний Восток. Иногда удивлялся, разговаривая с матерью: «И как это таких людей за границу посылают, когда они ни бе ни ме ни по-каковски?» Еще корил братьев за жадность, за сытую жизнь, издевался над китайскими костяшками, над вечной по выходным дням автомобильной возней — братнин «опель» называл не иначе как с буквы «ж». А в Козлове родные тетки голодали, мерли одна за другой, племянникам не на что было приехать в Москву. Один Георгий Алексеевич помогал как мог.

Ссоры между братьями бывали большие — месяцами ни он к ним, ни они к нему. Мать считала, что в ссорах и во всех последующих несчастьях братьев виноваты были жены, Марьянка и Райка, зараженным мелкобуржуазным мещанством, но потом им, беднягам, тоже пришлось несладко.

Вообще отец был лучше, умнее братьев, человек неплохой. Только неудачливый. Рано умер, ничего не успел. Что сохранилось от его записных книжечек, в которых было столько смешного, прекрасного? Книжечки исчезли, как и все остальное. Как исчезла Райка, жена Николая Алексеевича, бывшая когда-то красавицей и самой большой модницей поселка Красных партизан. Как исчез песчаный откос на берегу реки, где по утрам, очень рано, бывал отличный клев. После восьми рыба уходила отсюда — между причалом и деревней начинал тарыхтеть речной трамвайчик, появлялись моторные лодки. Надо было переезжать на другой берег, там были тихие бухточки, где пряталась рыба, но в солнцепек сидеть было невыносимо — ни дерева, ни куста, голый луг в жесткой траве.

Дмитриев неожиданно выскочил из троллейбуса на одну остановку раньше, чем нужно. Захотелось подойти к тому месту, где был когда-то его любимый откос. Он знал, что там сейчас бетонированная на-

бережная, но рыбаки приходят все равно. Новые рыбаки, из пятиэтажных домов, что за мостом. Им очень удобно — подъезжают на троллейбусе.

Он спустился по каменным ступеням — все было сделано фундаментально, как в парке культуры, — и прошел низом по бетонным плитам, возвышавшимся метра на два над уровнем воды. Так, вдоль реки, можно было дойти почти до самого дома. Теперь уж берег не поползет. Каждую весну здесь рушились ломти берега, иногда прямо со скамейками, с соснами.

На мокрых плитах блестело небо и не видно было ни одного дурака. Хотя нет, вдалеке сидел кто-то скрюченный, и Дмитриев медленно пошел к нему. Вода казалась очень чистой, незамусоренной, но темной — осенняя вода. Дмитриев остановился за спиной рыболова и стал глядеть на поплавок. Он глядел минут пять, со все большей тревогой и каким-то внезапным ослаблением духа думая о том, как тяжело будет говорить. Невозможно тяжело. И с Лорой тоже. Может быть, с Лорой даже тяжелее, чем с матерью. Что же делать? Они все, конечно, поймут. Впрочем, мать может и не понять — если представить дело именно так, как предлагает Лена, мать же очень простодушна, — но Лора-то поймет сразу. Лора хитра, прозорлива и очень не любит Лену. Если мать при всем неприятии Лены все же с нею смирилась, научилась чего-то не замечать, что-то прощать, то Лора с годами твердеет в неприязни — из-за матери. Она сказала однажды: «Не знаю, каким надо быть человеком, чтобы относиться к нашей матери без уважения». Верно, Ксению Федоровну любят друзья, уважают сослуживцы, ценят соседи по квартире и по павлиновской даче, потому что она доброжелательна, уступчива, готова прийти на помощь и принять участие. Но Лора не понимает... Ах, она не понимает, не понимает! Лора так и не научилась заглядывать немного глубже того, что находится на поверхности. Ее мысли никогда не гнутся. Всегда торчат и колются, как конский волос из плохо сшитого пиджака. Как же не понимать, что людей не любят не за их пороки, а любят не за их добродетели!

Все правда, истинная правда: мать постоянно окружают люди, в судьбе которых она принимает участие. В ее комнате подолгу живут какие-то пожилые полужнакомые люди, друзья Георгия Алексеевича, и еще более ветхие старухи, друзья деда, а то и случайные приятельницы по домам отдыха, желающие попасть к московским врачам, или провинциальные девочки и мальчики, дети отдаленных родственников, приехавшие поступать в институты. Всем мать старается помогать совершенно бескорыстно. Хотя где там — помогать! Связи давно порастеряны и сил нет. Но все-таки — кровом, советом, сочувствием. Очень любит помогать бескорыстно. Пожалуй, точнее так: любит помогать таким образом, чтобы, не дай бог, не вышло никакой выгоды. Но в этом-то и была выгода: делая добрые дела, все время сознать себя хорошим человеком. И Лена, учуяв маленькую слабость матери, в минуты раздражения говорила про нее Дмитриеву: ханжа. А он приходил в ярость. Орал: «Кто ханжа? Моя мать ханжа? И ты посмела сказать...» И — начиналось, катилось... Ни мать, ни Лора не знали, как он буйствует из-за них. Кое о чем они, конечно, догадывались и кое-чему бывали свидетелями, но в полной мере — со всем набором оскорблений, с плачем Наташки, неразговором в течение нескольких дней, а порой даже с легким рукоприкладством — это было им неизвестно. Они считали, особенно твердо считала Лора, что он их тихонько предал. Сестра сказала как-то: «Витька, как же ты олукился!» Лукьяновы — фамилия родителей Лены.

Дмитриев вдруг решил, что надо продумать что-то важное, последнее. Не было сил идти в дом, и он оттягивал минуту.

Он сел неподалеку от рыбака на деревянный ящик — тоже рыбацкая чья-то принадлежность, — лежавший тут давно, побуревший и насквозь сырой. Как только Дмитриев сел, ящик стал мягко крениться, и пришлось очень крепко упереться ногами, чтоб удержать равновесие. На противоположном берегу, где когда-то был луг, теперь устроили громадный пляж с балаганами, ларьками. Лежаки были сложены штабелями, но два лежака до сих пор почему-то стояли у самой воды, смутно голубея на темно-сером песке. Все на том берегу было темно-серого, цементного цвета. За пляжем курчавилась молодая роща берез, насаженная лет десять назад, а за рощей туманно-белыми глыбами высились горы жилья, среди которых стояли две особенно высокие башни. Все изменилось на том берегу. Все «олукьянилось». Каждый год менялось что-то в подробностях, но, когда прошло четырнадцать лет, оказалось, что все олукиянилось — окончательно и безнадежно. Но, может быть, это не так уж плохо? И если это происходит со всем — даже с берегом, с рекой и с травой, — значит, может быть, это естественно и так и должно быть?

Первый год Дмитриеву и Лене пришлось жить в Павлинове. Лора, тогда еще без Феликса, жила в Москве с Ксенией Федоровной, дача пустовала, а Дмитриеву и Лене хотелось побыть одним. Но это все равно не удалось. Дачная квартира в Павлинове давно пришла в запустенье. Протекала крыша, прогнило крыльцо. Больше всего забот доставляла канализационная яма — то и дело переполнялась, особенно с дождями, и невыносимая вонь распространялась по участку, мешаясь с запахами сирени, лип и флоксов. Жители давно смирились с этим переплетением запахов, который сделался для них неизбежной принадлежностью дачной жизни, и с мыслью о том, что ремонт ямы безнадежен, стоит баснословные деньги, каких ни у кого нет. Поселок-то обеднел, жители стали не те, что прежде, — бывшие владельцы перемерли, сгнули кто куда, а их наследники, вдовы и дети, жили довольно трудной и вовсе не дачной жизнью. Петька, например, внук Марьи Петровны и сын красного профессора, работал простым грузчиком на лесоторговой базе. А Валерка, сын Василия Алексеевича, двоюродный брат Дмитриева, сошелся со шпаной, стал вором и пропал где-то в лагерях. Иные из наследников, утомившись дачными поборами и заглядывая вперед — город-то надвигался, — продали свои паи, и в поселке появились вовсе чужие люди, не имевшие к красным партизанам никакого отношения. И только березы и липы, посаженные сорок лет назад отцом Дмитриева, страстным садоводом, выросли мощным лесом, сомкнулись листвой и горделиво оповещали прохожих, заглядывавших через забор, о том, что все в поселке кипит, цветет и произрастает, как должно.

И вдруг Иван Васильевич Лукьянов, отец Лены, который заехал проведать молодых и погостить денек, сказал, что Калугин, водопроводный мастер, чинивший трубы в поселке в течение тридцати лет, — жулик и негодяй, и что он вкупе с ассенизаторами, приглашаемыми регулярно для откачки ямы, грабит красных партизан, и что ремонт ямы можно произвести быстро и недорого. Все были ошеломлены. Собрали деньги. Иван Васильевич привез рабочих, и через неделю ремонт был закончен. Наследники красных партизан очень боялись, что Калугин, разобидевшись, покинет их поселок, бросит на произвол судьбы, но

Иван Васильевич сделал как-то так, что старый пьянчужка ни на кого не обиделся, а к Ивану Васильевичу даже проникся почтением — стал называть его «Василич».

Лора с ее манерой высказываться прямолинейно заметила тогда, что это, наверно, потому, что Калугин почувал в Иване Васильевиче родного человека. Где он нанял рабочих? Откуда достал кирпич? Цемент? Ясно, что слева. Путиами не очень благородными. Мать была возмущена: «Откуда ты знаешь? Какое у тебя право так грубо, бездоказательно наговаривать на людей?» — «Ну, не знаю, не знаю, мама. Может быть, я ошибаюсь.— Лора таинственно улыбалась.— Это просто предположение. Поглядим...»

А Иван Васильевич был действительно человек могучий. Главной его силой были связи, многолетние знакомства. Через полгода он поставил телефон на павлиновской даче. По профессии Иван Васильевич был кожевником. начинал когда-то у хозяина в городе Кирсанове, но уже в 1926 года, когда его выдвинули на директора фабрики — маленькой, реквизированной у нэпмана фабрички на Марьиной Роще,— он двинулся по линии административной. Когда Дмитриев познакомился с ним, Иван Васильевич был уже сильно стар, грузен, страдал одышкой, пережил инфаркт, всяческие невзгоды и бури вроде снятия с работы, партийных взысканий, восстановлений, назначений с повышением, клевет и наветов разных мерзавцев, норовивших его погубить, но, как признавался сам, «в отношении этих моментов спасался только одним: был начеку».

Привычка к постоянному недоверию и неусыпному бдению втерлась в его натуру настолько, что Иван Васильевич проявлял ее повсюду, по малейшим пустякам. Спросит, например, Дмитриева вечером перед сном: «Виктор, вы крючок на дверь накиннули?» — «Да». — ответит Дмитриев и слышит, как тесть шлепает по коридору к двери проверять. (Это было уже после, когда жили на лукьяновской квартире в городе.) Иногда Дмитриева так разопрет, что он крикнет: «Иван Васильевич, да зачем же вы спрашиваете, ей-богу?» — «А вы не обижайтесь, золотой человек, это я автоматически, без злого умысла». Забавно было, что таким же недоверием ко всем и каждому — и в первую очередь к людям, живущим бок о бок,— была заражена и Вера Лазаревна. Иногда позвонит откуда-нибудь по телефону, спросит Лену. Дмитриев ответит, что Лены нет. Через некоторое время снова звонок, и Вера Лазаревна, изменив голос, опять зовет Лену. А какие комические сцены разыгрывались иногда вечерами, когда тесть и теща поили друг друга лекарствами! «Что ты мне дал, Иван?» — «Я тебе дал то, что ты просила». — «Ну, что, что именно? Произнеси!» — «Ты просила, по-моему, дибазол». — «Ты мне дал дибазол?» — «Да». — «Это точно?» — «А почему ты подняла этот вопрос?» — «Вот что: принеси, пожалуйста, обертку, обертку, из которой ты взял,— мне почему-то кажется, что это не дибазол...»

Дмитриева такие разговоры, слышанные мимоходом, когда-то потешали, так же как манера тестя выражаться: «В этом отношении, Ксения Федоровна, я вам скажу от себя следующую аксиому». Или вот эдакое: «Я никогда не был технический исполнитель отца и от Елены требовал аналогичного». Посмеивались потихоньку. Мать называла нового родственника «ученый сосед» — за глаза, разумеется,— и считала его человеком недурным, в чем-то даже симпатичным, хотя, конечно, вовсе, к сожалению, не интеллигентным. И он и Вера Лазаревна были другой породы — из «умеющих жить». Ну что ж, не так плохо породниться с людьми другой породы. Впрыснуть свежую кровь. Попользоваться чужим умением. Неумеющие жить при долгом совместном житье-бытье на-

чинают немного тяготить друг друга — как раз этим своим благородным неумением, которым втайне гордятся.

Разве могли бы Дмитриев, или Ксения Федоровна, или кто-нибудь другой из дмитриевской родни организовать и повернуть так лихо ремонт дачи, как это сделал Иван Васильевич? Он и денег одолжил под всю эту музыку. Дмитриев и Лена уехали в первое свое лето на юг. Когда вернулись в августе, старые комнатки было не узнать — полы блестящие, рамы и двери сверкали белизной, обои во всех комнатах были дорогие, с давленным рисунком, в одной комнате зеленые, в другой синие, в третьей красновато-кирпичные. Правда, мебель среди этого блеска стояла прежняя, убогая, купленная еще Георгием Алексеевичем. Раньше было незаметно, а сейчас бросалось в глаза: до чего ж бедность! Какие-то железные сетки на козлах вместо кроватей, столы и шкафы из крашеной фанеры, плетеный топчан, еще что-то плетеное, ветхое до невозможности. Из большой комнаты, с зелеными обоями, где расположились молодые, Лена всю рухлядь, конечно, вынесла и купила несколько вещей самых простых, но новых: матрац на ножках, ученический письменный столик, два стула, лампу, занавеску, а из других комнат принесла два ковра, старых, но очень хороших, бухарских, один на стену, другой на пол. Дмитриев удивлялся: как все чудесным образом изменилось! Даже матери говорил: «Смотри, какой у Лены вкус! Мы столько лет жили и ни разу не догадались повесить этот ковер на стену. Нет, у нее очень тонкий вкус!»

В средней комнате, синей, поселились временно, на август и сентябрь, чтоб помочь Леночке, уже ждавшей ребенка, Вера Лазаревна и Иван Васильевич, а в маленькой, красновато-кирпичной, жила Ксения Федоровна и изредка останавливалась Лора. У Лоры начался тогда ее нудный роман с Феликсом, ей было не до дачи. Был еще жив дед, отец Ксении Федоровны, тоже приезжал иногда погостить — спал в проходной комнате на топчане. Чудно вспоминать. Неужто было так: сидели все вместе на веранде за большим столом, пили чай, Ксения Федоровна разливала, Вера Лазаревна нарезала пирог? И Лору когда-то называла Лорочкой и устраивала ей своих лучших портних? Было, наверно. Было, было. Только не осталось в памяти, пронеслось мимо, провалилось, потому что ничем не мог жить, никого не видел, кроме Лены. Был юг, духота, жаркий Батум, старуха Властопуло, у которой снимали комнату рядом с базаром, какой-то абхазец, с кем он дрался из-за Лены на ночной набережной, абхазец пытался всучить Лене записку в ресторане; сидели без денег на одних огурцах, телеграфировали в Москву, Лена лежала без сил голая и черная на простыне, а он бегал продавать фотоаппарат. И потом все это продолжалось, хотя было другое, Москва, он уже работал — летело с разгона одно дикое лето, — опять Лена лежала мулаткой на простыне, опять были купанья почти ночью, заплывы на тот берег, остывающий луг, разговоры, открытия, неутомимость, гибкость, ничего не стыдящиеся пальцы, губы, всегда готовые к любви. И между прочим: чертовская наблюдательность! Ого, она так умела подметить слабое или смешное! И ему все нравилось, он всему поражался, удивлялся про себя, отмечал.

Ему нравилась легкость, с какой она заводила знакомства и сходилась с людьми. Это было как раз то, чего не хватало ему. Особенно замечательно ей удавались нужные знакомства. Едва поселившись в Павлинове, она уже знала всех соседей, начальника милиции, сторожей на лодочной станции, была на «ты» с молодой директоршей санатория, и та разрешала Лене брать обеды в санаторской столовой, что считалось в Павлинове верхом комфорта и удачей, почти недостижимой для простых смертных. А как она отчесала Нижнюю Дусю, жившую в полупод-

вале, когда та с обычной наглостью явилась требовать, чтобы очистили их собственный, дмитриевский сарай, которым, правда, Нижняя Дуся пользовалась самовольно последние десять лет! Нижняя Дуся так и слетела с крыльца, как будто ее ветром сшибло. Дмитриев восхищался, шептал матери: «Ну, как? Это не то, что мы с тобой, мямли?» Но все его тайные восторги скоро сами собой отпали, потому что он уже знал, что нет и не может быть женщины красивее, умнее и энергичнее Лены. Поэтому — чего ж восхищаться? Все было естественно, в порядке вещей. Ни у кого не было такой мягкой кожи, как у Лены. Никто не умел так увлекательно читать романы Агаты Кристи, тут же переводя с английского на русский. Никто не умел любить его так, как Лена. А сам Дмитриев — тот далекий, худой, с нелепым кудрявым чубом — жил оглушенный и одурманенный, как бывает в жару, когда человек плохо соображает, не хочет ни есть, ни пить и только дремлет, валяется в полусне на кровати в комнате с занавешенными окнами.

Но однажды вечером, в конце лета, Лора сказала: «Витька, на два слова...» Они спустились с крыльца на дорожку и, пока были в квадрате света, падавшего с веранды, шли молча, а как только вошли в тень, под липы. Лора, неуверенно засмеявшись, сказала: «Вить, я хочу поговорить о Лене, можно? Ничего особенного, не пугайся, это пустяки. Ты знаешь, я отношусь к ней очень хорошо, она мне нравится, но главное для меня то, что ты ее любишь». Это вступление его сразу задело, потому что главное было вовсе не то, что он ее любил. Она была прекрасна относительно к нему. И, уже настороженный, стал слушать дальше.

«Меня просто удивляют некоторые вещи. Наша мать никогда сама не скажет, но я вижу... Витька, ты не обидишься?» — «Нет, нет, что ты! Говори». — «Ну, это действительно вздор, чепуха — то, что Лена, например, забрала все наши лучшие чашки и то, что она ставит ведро возле двери в мамину комнату...» («Господи! — подумал он. — И это говорит Лорка!») «Я не замечал, — сказал он вслух. — Но я скажу ей». — «Не надо, не надо! И не надо было тебе замечать. — Лора опять как-то сконфуженно засмеялась. — Еще не хватало замечать тебе всякий вздор! Но я ругала маму. Почему просто не сказать: «Леночка, нам нужны чашки и не ставьте, пожалуйста, ведро здесь, а ставьте там». Я сегодня так сказала, и она, по-моему, на меня вовсе не обиделась. Хотя говорить о таких мелочах, поверь, очень неприятно. Но меня покорило другое — она зачем-то сняла портрет папы из средней комнаты и повесила его в проходную. Мама очень удивилась. Вот об этом должен знать ты, потому что это не бытовая какая-то мелочь, а другое. По-моему, просто бестактность». Лора замолчала, и некоторое время они шли, не говоря ни слова. Дмитриев проводил раскрытой ладонью по кустам спиреи, чувствуя, как колются мелкие острые веточки. «Ну, пожалуйста! — сказал он наконец. — Насчет портрета я скажу. Только вот что: а если б ты, Лорхен, попала в чужой дом? Не делала ли бы ты каких-нибудь невольных бестактностей, промахов?» — «Возможно. Но не в таком роде. В общем, надо не молчать, а говорить — я думаю, это правильно — и тогда все образуются».

Он сказал Лене насчет портрета не в этот вечер, а наутро. Лена была удивлена. Она сняла портрет только потому, что нужен был гвоздь для настенных часов, и никакого иного смысла в этом поступке не было. Ей кажется странным, что о такой совершеннейшей ерунде Ксения Федоровна не сказала ей сама, а посылает послом Виктора, чем придает ерунде преувеличенное значение. Он заметил, что Ксения Федоровна с ним вовсе об этом не говорила. А кто же говорил? Тут он брякнул по глупости — сколько по глупости будет «брякнуто» потом! — что говорила Лора. Лена, покраснев, сказала, что его сестра взяла, по-видимо-



му, на себя роль делать ей замечания: то самостоятельно, то через третьих лиц.

Когда Дмитриев вернулся в этот день из города, в квартире было необычно тихо. Лена не вышла его встречать сразу, а появилась через минуты две и задала ненужный вопрос: «Тебе разогревать обед?» Лора уехала в Москву. Мать не выходила из своей комнаты. Затем появилась Вера Лазаревна, одетая по-городскому, напудренная, с бусами на мощно выдававшемся вперед бюсте, и сказала, улыбаясь, что они с Иваном Васильевичем благодарят за гостеприимство и ждали его, чтоб попрощаться. Иван Васильевич сейчас приедет с машиной. В открывшуюся на миг дверь Дмитриев увидел, что портрет отца висит на прежнем месте. Он поинтересовался: почему же так вдруг? Хотели жить весь сентябрь. Да, но возникли дела — у Ивана Васильевича на работе, а у нес домашние, надо варить варенье, и вообще — дорогие гости, не надоели ли вам... Ксения Федоровна вышла попрощаться с родственниками — вид у нее был обескураженный, — приглашала приезжать еще. Вера Лазаревна не обещала. «Боюсь, что не удастся, милая Ксения Федоровна. Уж очень много всевозможных забот. Нас столько друзей хотят видеть, зовут тоже на дачу...»

Они уехали, а Дмитриев с Леной пошли на соседнюю дачу играть в покер. Поздно ночью, когда Дмитриев вернулся, Ксения Федоровна зазвала его в свою комнату в красновато-кирпичных обоях и сказала, что у нее скверное настроение и она не может заснуть из-за этой истории. Он не понял: «Какой истории?» — «Ну вот из-за того, что они уехали».

Дмитриев выпил у соседей две рюмки коньяку, был слегка взвинчен, неясно соображал и, махнув рукой, сказал с досадой: «Ах, чепуха, мать! Стоит ли говорить?» — «Нет, все же Лора невыдержанная. Зачем она все это затеяла? И ты зачем-то передал Лене, та — своей матери, тут был глупейший разговор... Полная нелепость!» — «А потому что не перевешивайте портретов! — сказал Дмитриев, твердея голосом и со строгостью покачивая пальцем. Вдруг он ощутил себя в роли семейного арбитра, что было даже приятно. — Ну и уехали, ну и на здоровье. Ленка не сказала мне абсолютно ничего, ни единого слова. Она же умная баба. Так что не волнуйся и спи спокойно». Он чмокнул мать в щеку и ушел.

Но когда пришел к Лене и лег рядом с ней, она отодвинулась к стене и спросила, зачем он заходил в комнату Ксении Федоровны. Почувяв какую-то опасность, он начал темнить, отнекиваться, говорил, что устал от разговоров и хочет совсем другого, но Лена, действуя то строгостью, то лаской, все же выудила из него то, что ей нужно было узнать. Она сказала затем, что ее родители очень гордые люди. Особенно горда и самолюбива Вера Лазаревна. Дело в том, что она всю жизнь ни от кого не зависела, поэтому малейший намек на зависимость воспринимает болезненно. Дмитриев подумал: «Как же не зависела, когда она никогда не работала и жила на иждивении Ивана Васильевича?» — но вслух не сказал, а спросил, чем ущемили независимость Веры Лазаревны. Оказывается, когда Лена передала Вере Лазаревне разговор насчет портрета, та просто ахнула: боже, говорит, неужели они подумали, что мы можем претендовать на эту комнату? Дмитриев что-то ничего уж не понимал: «Как претендовать? Почему претендовать?» Кроме того, ему хотелось другого. Кончилось тем, что Лена заставила его пообещать, что он завтра же с работы позвонит Вере Лазаревне и мягко, деликатно, не упоминая ни о портрете, ни об обидах, пригласит в Павлиново. Они, конечно, не приедут, потому что люди очень гордые. Но позвонить нужно. Для очистки совести.

Он позвонил. Они приехали на другой день. Почему вспомнилась эта древняя история? Потом было много похуже и почерней. Но, наверное, потому, что, первая, она отпечаталась навеки. Он помнил даже, в каком пальто была Вера Лазаревна, когда приехала на другой день и с видом непоколебленного достоинства — гордо и самолюбиво глядя перед собой — подымалась по крыльцу, неся в правой руке коробку с тортом.

Потом были истории с дедом. Той же осенью, когда Лена ждала Наташку. Ах, дед! Дмитриев не видел деда много лет, но с каких-то давних, безотчетных времен тлела в сердце эта заноза — детская преданность. Старик был настолько чужд всякого лукавства — просто не понимал многих вещей, — что было, конечно, безумием приглашать его на дачу, когда там жили эти люди. Но никто тогда еще ничего не понимал и не мог предвидеть. Деда пригласить было необходимо, он недавно вернулся в Москву, был очень болен и нуждался в отдыхе. Через год он получил комнату на Юго-Западе.

Дед говорил, изумляясь, Дмитриеву: «Сегодня приходил какой-то рабочий перетягивать кушетку, и твоя прекрасная Елена и не менее прекрасная теща дружно говорили ему «ты». Что это значит? Это так теперь принято? Отцу семейства, человеку сорока лет?» В другой раз он затеял смешной и невыносимый по нудности разговор с Дмитриевым и Леной из-за того, что они дали продавцу в радиомагазине — и, веселясь, рассказывали об этом — пятьдесят рублей, чтобы тот отложил радиоприемник. И Дмитриев ничего не мог деду объяснить. Лена, смеясь, говорила: «Федор Николаевич, вы монстр! Вам никто не говорил? Вы хорошо сохранившийся монстр!» Дед был не монстр, просто был очень стар — семьдесят девять, — таких стариков осталось в России немного, а юристов, окончивших Петербургский университет, еще меньше, а тех из них, кто занимался в молодости революционными делами, сидел в крепости, ссылался, бежал за границу, работал в Швейцарии, в Бельгии, был знаком с Верой Засулич, — и вовсе раз, два и обчелся. Может быть, в каком-то смысле дед и был монстр.

И какие у него могли находиться разговоры с Иваном Васильевичем и Верой Лазаревной? Как ни тужились обе стороны, ничего общего не подыскивалось. Ивана Васильевича и Веру Лазаревну прошлое деда не интересовало начисто, а в современной жизни дед смыслил настолько мало, что тоже не мог сообщить ничего полезного, поэтому они и относились к нему безучастно: старичок старичком. Шаркает по веранде, чадит дешевыми вонючими папиросками. Вера Лазаревна обыкновенно разговаривала с дедом насчет куренья.

Дед был маленького роста, усохший, с сизовато-медной дубленой кожей на лице, с корявыми, изуродованными тяжелой работой, негнущимися руками. Всегда аккуратно одевался, носил рубашки с галстуком. Ботиночки свои мальчишковые, сорокового размера, начищал до блеска и любил гулять по берегу. Было какое-то воскресенье, последнее теплое в сентябре, когда собрались все на прогулку, — давно уже возникла натуга в разговорах, никому эта вылазка была не нужна, но как-то так сошлось: собрались одновременно и побрели вместе.

Народу в тот день было полным-полно. Толклись в лесочке, по берегу, обсели все скамейки: кто в спортивных костюмах, кто в пижамах, с детьми, собачками, гитарами, пол-литрами на газетке. И Дмитриев стал иронизировать над нынешними дачниками: шут, мол, знает, что за публика. А до войны, помнится, гуляли тут эдакие с бородками, в пенсне... Вера Лазаревна неожиданно его поддержала, сказав, что Павлиново и до революции было чудесное дачное местечко, она девочкой бы-

вала здесь у своего дяди. Ресторан был с цыганами, назывался «Поречье», его сожгли. Вообще жилали солидные люди: биржевые игроки, коммерсанты, адвокаты, артисты. Вон там на просеке шалыпинская дача стояла.

Ксения Федоровна поинтересовалась: кто был дядя? На что Вера Лазаревна ответила: «Мой папа был простой рабочий скорняк, но очень хороший, квалифицированный скорняк, ему заказывали дорогие работы...» — «Мамочка! — засмеялась Лена. — Тебя о дяде спрашивают, а ты рассказываешь про отца». Дядя, как выяснилось, имел магазин кожаных изделий: сумки, чемоданы, портфели. На Кузнецком, на втором этаже, где сейчас магазин женской одежды. Там и во время нэпа был магазин кожаных изделий, но уже не дядин, потому что дядя в девятнадцатом году, в голодное время, куда-то пропал. Нет, не сбежал, не умер, а просто куда-то пропал. Иван Васильевич прервал супругу, заметив, что эти данные автобиографии мало кому интересны.

И тут дед, до того молчавший, вдруг заговорил, обращаясь к Дмитрию: «Так, милый Витя, представь себе, если б дядя твоей теши дожил до тех времен, когда тут гуляли бородки и пенсне, что бы он сказал? Наверно бы: ну и публика, мол, теперь в Павлинове! Какая-то шпана в толстовках, в пенсне... А? Так ли? А еще раньше тут именье было, помещик разорился, дом продал, землю продал, и лет полста тому какой-то наследник заскочил бы сюда мимоездом, для печального интереса, глядел на купчих, на чиновниц, на господ в котелках, на дядюшку вашего, — дед поклонился Вере Лазаревне, — который прикатил на извозчике, и думал: «Фу, гадость! Ну и дрянь народишка!» А? — засмеялся. — Так ли?»

Вера Лазаревна заметила с некоторым удивлением: «Не понимаю, почему — дрянь? Зачем же так говорить?» Тогда дед объяснил: презрение — это глупость. Не нужно никого презирать. Он сказал это для Дмитриева, и тот вдруг подумал, что дед в чем-то прав... В чем-то, близко касающемся его, Дмитриева. Все немного задумались, затем Ксения Федоровна сказала, что нет, она не может согласиться с отцом. Если мы откажемся от презрения, мы лишим себя последнего оружия. Пусть это чувство будет внутри нас и абсолютно невидимо со стороны, но оно должно быть. Тогда Лена, усмехаясь, сказала: «А я совершенно согласна с Федором Николаевичем. Сколько людей кичатся непонятно чем, какими-то мифами, химерами. Это так смешно!» — «Кто именно и чем кичится?» — спросил Дмитриев в полушутливом тоне, хотя направление разговора стало его слегка тревожить. «Мало ли! — сказала Лена. — Все тебе знать...» — «Кичливость, Леночка, и спокойное презрение — вещи разные», — произнесла Ксения Федоровна, улыбаясь. «Ну, это смотря откуда глядеть», — ответила Лена. — «Вообще я ненавижу гонор. По-моему, нет ничего отвратительнее». — «Вы говорите таким тоном, будто я доказываю, что гонор — это нечто прекрасное. Я тоже не люблю гонор». — «Особенно когда для него нет оснований. А так, на пустом месте...»

И вот отсюда, с невинного препирательства, возрос тот разговор, который завершился ночным сердечным припадком у Лены, вызовом неотложки, криками Веры Лазаревны об эгоизме и жестокосердии, их поспешным отъездом на такси утром, а затем отъездом Ксении Федоровны и тишиной, наступившей на даче, когда остались двое: Дмитриев и старик. Они гуляли у озера, подолгу говорили. Дмитриеву хотелось разговаривать с дедом о Лене — ее отъезд мучил его, — ругать ее за вздорность, родителей за идиотизм, а может быть, проклинать себя, как-то терзать эту рану, но дед не произнес ни о Лене, ни об ее родителях ни слова. Он говорил о смерти и о том, что не боится ее. Он выполнил

то, что ему было назначено в этой жизни, вот и все. «Боже мой,— думал Дмитриев,— как же она там? А вдруг это серьезно, с сердцем?»

Дед говорил о том, что все, что позади, вся его бесконечно длинная жизнь, его не занимает. Нет глупее, как искать идеалы в прошлом. С интересом он смотрит только вперед, но, к сожалению, он увидит немного.

«Звонить или нет? — думал Дмитриев.— Все же, какое бы ни было состояние, это не дает права...»

Он позвонил вечером. Дед умер через четыре года.

Дмитриев приехал в крематорий прямо с работы и выглядел глупо со своим толстым желтым портфелем, в котором лежало несколько банок «сайры», купленных случайно на улице. Лена очень любила сайру. Когда вошли со двора в помещение крематория, Дмитриев быстро прошел направо и поставил портфель на пол в углу, за колонной, так, чтоб его никто не видел. И мысленно твердил: «Не забыть портфель, не забыть портфель». Во время траурной церемонии он несколько раз вспоминал о портфеле, поглядывал на колонну и в то же время думал о том, что смерть деда оказалась не таким уж ужасным испытанием, как он предполагал. Было очень жалко мать. Ее поддерживали под руку с одной стороны тетя Женя, с другой Лора, и лицо матери, белое от слез, было какое-то новое: очень старое и детское одновременно.

Лена тоже пришла, сморкалась, терла глаза платком, а когда наступил миг прощания, вдруг громким низким голосом зарыдала и, вцепившись в руку Дмитриева, стала шептать о том, какой дед был хороший человек, самый лучший из всей дмитриевской родни, и как она его любила. Это была новость. Но Лена рыдала так искренне, на глазах ее были настоящие слезы, и Дмитриев поверил. Ее родители тоже появились в последнюю минуту, в черных пальто, с черными зонтами, у Веры Лазаревны была даже черная вуалька на шляпке, и они успели бросить в отплывавший в подземелье гроб букетик цветов. Потом Вера Лазаревна говорила с удивлением: «Как много людей-то было!» С этим и пришли, стариковским любопытством: поглядеть, много ли придет провожать. Пришло, к удивлению Дмитриева, много. И, главное, приползли откуда-то в немалом числе те будто бы исчезнувшие, а нет, еще живые странные старики, старухи курильщицы с сердитыми сухими глазами, друзья деда, некоторых из них Дмитриев помнил с детства. Пришла одна горбатенькая старушка с совсем подслеповатым древним личиком, про которую мать когда-то говорила, что она отчаянная революционерка, террористка, бросала в кого-то бомбу. Эта горбатенькая и говорила речь над гробом. Во дворе, когда все вышли и стояли кучками, не расходясь, к Дмитриеву подошла Лора и спросила, поедут ли они с Леной к тете Жене, где соберутся близкие и друзья. До той минуты Дмитриев считал, что поедет к тете Жене непременно, но теперь заколебался: в самом вопросе Лоры заключалась возможность выбора. Значит, и Лора и мать полагали, что он, если захочет, может не ехать, то есть что ему ехать не обязательно, ибо — он вдруг это понял — в их глазах он уже не существовал как частица семьи Дмитриевых, а существовал как нечто другое, объединенное с Леной и, может быть, даже с теми в черных пальто, с черными зонтами, и его надо было спрашивать, как постороннего.

«Вы поедете к тете Жене?» Вопрос был задан бегом, но как много он означал! И среди прочего: «Если б ты был один, мы не стали бы спрашивать. Мы всегда хотим тебя видеть, ты знаешь. Но когда у нас горе, зачем нам чужие люди? Если можно, лучше обойтись без них. Если можно, но — как ты хочешь...» Дмитриев сказал, что они, пожалуй, не поедут к тете Жене. «Почему? Ты поезжай! — сказала Лена.— Я себя

неважно чувствую, а ты поезжай! Конечно, поезжай!» Нет, он не поедет, у Лены сильно болит голова. Лора понимающе кивнула, даже улыбнулась Лене с сочувствием и спросила, не дать ли ей таблетку. «Да! — сказал Дмитриев. — Я же забыл портфель!» Он вернулся в помещение крематория, где на постаменте лежал в гробу уже новый покойник, вокруг которого ютилась жидкая кучка людей, и на цыпочках прошел за колонну. Взяв портфель, остановился, чтоб побыть минуту в одиночестве. Чувство непоправимости, отрезанности, которое бывает на похоронах — одно безвозвратно ушло, отрезалось навсегда, а продолжается то, да не то, что-то уже новое, в других комбинациях, — было самой томящей болью, даже сильнее, чем печаль о дед. Дед был ведь стар, должен был угаснуть, но вместе с ним исчезало что-то, прямо с ним не связанное, существовавшее отдельно: какие-то нити между Дмитриевым и матерью и сестрой. И это исчезновение обнаружилось так неумолимо и сразу, спустя несколько минут после того, как вышли из тяжелого цветочного запаха на воздух. Лора спокойно согласилась с тем, что он не поедет к тете Жене, а он легко примирился с ее спокойствием. И только мать, полуобернувшись, сделала слабое, прощальное движение кистью, и он вдруг почувствовал, что добавил ей боли, рванулся догнать — рванулось внутри, секундно, — но было уже поздно, непоправимо, отрезалось, Лена тянула его к такси, чтобы ехать домой.

Вместе с матерью, Лорой, Феликсом, тетей Женей и другими родственниками шел в удалявшейся толпе Левка Бубрик. Может быть, он приехал и раньше, но Дмитриев заметил его, только когда вышли на двор. Левка был без шапки, черный, всклокоченный, слепо блеснул очками. К Дмитриеву он не подошел, кивнул издали. Лена спросила шепотом: «Откуда здесь Бубрик?» Дмитриев, подавив в себе чувство неприятного удивления, сказал: «Ну как же? Он какой-то наш родственник, седьмая вода на киселе».

Впервые за несколько месяцев после той тягостной истории с институтом Дмитриев увидел Левку Бубрика. И сразу вспомнил, что покойный дед осуждал его за Левку. Был даже какой-то разговор, когда дед сказал: «Мы с Ксеной ожидали, что из тебя получится что-то другое. Ничего страшного, разумеется, не произошло. Ты человек не скверный. Но и не удивительный».

А с Левкой были знакомы с детства, учились в одном институте. Не то что друзья «водой не разольешь», но связанные крепью домов и семей товарищи. Отец Левки, доктор Бубрик, лечивший Дмитриева еще в малолетстве, был братом мужа тети Жени, погибшего на войне. То есть Левка был неродным племянником тети Жени. Сразу после института Левка поехал в Башкирию и проработал там три года на промыслах, в то время как Дмитриев, который был постарше и на год раньше получил диплом, остался работать в Москве на газовом заводе, в лаборатории. Ему тоже предлагали разные заманчивые одиссеи, но согласиться было трудно. Мать очень хотела, чтоб он поехал в Туркмению, в Дарган-Тепе, потому что недалеко от родного Лориного Куня-Ургенча — каких-нибудь шестьсот километров, пустяки! — и брат с сестрой могли бы встречаться за пиалой кок-чая и скучать вместе по дому. Наташка родилась слабенькой, болела, Лена тоже болела, не было молока, нашли кормилицу Фросю, школьную уборщицу, жившую в бараке на Таракановке, Дмитриев ездил к ней вечерами за бутылочками. Какой там Дарган-Тепе! Да и не было никакого Дарган-Тепе. Были грезы по утрам, в тишине, когда он просыпался с нечаянной бодростью и думал: «А хорошо бы...» И все представлялось так прозрачно, четко, как будто он поднимался ясным днем на гору и смотрел оттуда далеко вниз. «Витя, — говорила Лена (или «Витенька», если был период безмятежности и люб-

ви), — зачем ты себя обманываешь? Ты же не можешь никуда от нас. Я не знаю, любишь ли ты нас, но ты не можешь, не можешь! Все кончено! Ты опоздал. Надо было раньше...» И, обняв, смотрела ему в глаза синими ласковыми глазами ведьмы. Он молчал, потому что это были его собственные мысли, которых он боялся. Да, да, он опоздал. Поезд ушел. Прошло уже четыре года с тех пор, как он окончил институт, потом прошло пять, семь, девять. Наташка стала школьницей. Английская спецшкола в Утином переулке, предмет вожделения, зависти, мерило родительской любви и расшибаемости в лепешку. Другой микрорайон, почти немисливо. И никому, кроме Лены, было бы не под силу. Ибо: она вгрызалась в свои желания, как бульдог. Такая милостивая женщина-бульдог с короткой стрижкой соломенного цвета и всегда приятно загорелым, слегка смуглым лицом. Она не отпускала до тех пор, пока желания — прямо у нее в зубах — не превращались в плоть. Великое свойство! Прекрасное, изумительное, решающее для жизни. Свойство настоящих мужчин.

«Ни в какие экспедиции. Не дольше чем на неделю» — это было ее желание. Бедное простодушное желание со вмятинами от железных зубов.

Другим желанием Лены, которое ее занимало в течение нескольких лет, было: устроиться в ИМКОИН. О, ИМКОИН, ИМКОИН, недостижимый, заоблачный, как Джумолунгма! Разговоры об ИМКОИНЕ, телефонные звонки насчет ИМКОИНА, слезливое отчаянье, вспышки надежды.

«Папа, ты разговаривал с Григорием Григорьевичем по поводу ИМКОИНА?» — «Леночка, тебе звонили из ИМКОИНА!» — «Откуда?» — «Из ИМКОИНА!» — «О боже мой, из отдела кадров или просто Зойка?» Две идеально устроенные в этой жизни приятельницы работали в ИМКОИНЕ — Институте международной координированной информации. Наконец удалось. ИМКОИН стал плотью и хрустел на зубах, как хорошо прожаренное куриное крылышко. Удобно, сдельно, прекрасно расположено — в минуте ходьбы от ГУМа, — а прямой начальницей была одна из приятельниц, с которой вместе учились в институте. Приятельница давала переводить столько, сколько Лена просила. Потом-то они поссорились, но года три все было «о'кей». В обеденный перерыв бегали в ГУМ смотреть, не выбрали ли каких кофточек. По четвергам показывали иностранные фильмы на языках. Но подготовить диссертацию вместо Дмитриева Лена, к сожалению, не могла. Дмитриев получал тогда, в лаборатории, сто тридцать, а его институтский знакомец, однокурсник — серый малый, но большой трудяга, хитрый Митрий, который во всем себе отказывал и даже не женился до поры, — получал вдвое больше потому, что высидел свинцовым задом диссертацию. Лене страшно хотелось, чтобы Дмитриев стал кандидатом. Всем хотелось того же. Лена помогала в английском, мать одобряла, Наташка по вечерам разговаривала шепотом, а теща присмирела, но через полгода он сдался. Наверное, потому же: поезд ушел. Не хватало сил, каждый вечер он приходил с головной болью, с единственным желанием — поскорей завалиться спать. Он и заваливался, если по телевизору не было чего-нибудь стоящего — футбола или старой комедии. И, сдавшись, возненавидел всю эту муть с диссертацией, говорил, что лучше честно получить сто тридцать целковых, чем мучиться, надирать здоровье и унижаться перед нужными людьми. И Лена теперь тоже так считала и презрительно называла знакомых кандидатов дельцами, пройдохами. В это время как нельзя более кстати — а может, некстати — подкатился Левка Бубрик со своей просьбой насчет Института нефтяной и газовой аппаратуры, сокращенно ГИНЕГА.

Левка, возвратившись из Башкирии, долго не мог найти подходящей работы. И вот нашел ГИНЕГА. Но туда еще надо было попасть. Никогда бы ни Левка, никто другой не попал бы в ГИНЕГА, если бы Иван Васильевич не позвонил Прусакову. А потом даже поехал к Прусакову сам на казенной машине. Прусаков держал это место для кого-то другого, но Иван Васильевич нажал, и Прусаков согласился. В конце концов не Левкин же тесть ездил к Прусакову, а дмитриевский! Правда, ради Левки. Это верно. Потому что Лена попросила отца, она жалела Левку и его жену, эту толстую клушу Инночку. Потом Инночка устроила хороший бенц в гостях у общих друзей, кричала: «Ты жуткий человек!» Но Лена на все это пошла сознательно и держалась очень стойко и хладнокровно. Друзья говорили, что Лена держалась великолепно. Она все взяла на себя и говорила, что Дмитриев не хотел, но она настояла. «Виновата я, одна я, Витьку не вините! А вы бы хотели, чтоб мы жили на сто тридцать и Витька убивал три часа на дорогу?»

Конечно, так и было. Мысль пришла ей первой, когда Иван Васильевич приехал и рассказал, что за место. И Дмитриев действительно не хотел. Три ночи не спал, колебался и мучился, но постепенно то, о чем нельзя было и подумать, не то что сделать, превратилось в нечто незначительное, миниатюрное, хорошо упакованное, вроде облатки, которую следовало — даже необходимо для здоровья — проглотить, несмотря на гадость, содержащуюся внутри. Этой гадости никто ведь не замечает. Но все глотают облатки. «Я Леву уважаю,— говорила Лена,— и даже люблю, но почему-то моего мужа я люблю больше. И если уж папа, старый человек, который терпеть не может одолжаться, собрался и поехал...»

Надо было сказать им сразу, но не хватило духу — тянули, отмалчивались. Они узнали стороной. И как отрезало: не приходили, не звонили. Черт их знает, может, они были и правы, но так тоже не делается: придите, поговорите по-хорошему, узнайте, как и почему. А когда встретились у друзей, Бубрик отвернул нос, а Инночка орала, как торговка на рынке. Ну что ж, наплевать и забыть. И только года через четыре или пять — был день рождения Ксении Федоровны, зима, конец февраля — вся эта история опять всколыхнулась. Мать с дедом и раньше пилили Дмитриева, но не очень злобно, потому что и вправду считали, что все завела Лена. А с Лены какой же спрос? С Леной приходилось мириться, как с дурной погодой. Но вот тогда, в день рождения матери...

Отчетливо, как сейчас: поднимаются по лестнице, остановились у двери. Наташка держит подарки, коробку конфет и книгу на английском языке Теккерера «Ярмарка тщеславия», а Лена прислонилась плечом к двери и, закрыв глаза, шепчет как бы про себя, но, конечно, для Дмитриева: «Ой, боже мой, боже мой, боже мой...» Вот, мол, на какие испытания иду ради тебя. И он начинает привычно закипать. Лена не любит ходить к свекрови. С каждым годом — все больше через силу. Что поделат? Ну, не любит, не может, не выносит. Все ее раздражает. Как бы сладко ни кормили, как бы любезно ни разговаривали, бесполезно: все равно что отапливать улицу. Нарочно ласково Дмитриев говорит с дочкой, обняв ее: «Как, мартышка, довольна, что пришла к бабушке?» — «Ага!» — «Любишь сюда ходить?» — «Люблю!» А Лена, улыбаясь, добавляет: «Люблю, скажи, но я должна рано ложиться спать. И пусть папочка, скажи, не засиживается, чтоб не тащить его из-за стола силой. В половине, скажи, десятого встаем и едем».

Все бы обошлось тогда, если б не эта дура Марина, двоюродная сестра. Как увидел ее красную физиономию за столом над пирогами и вафлями, сразу понял: несдобровать. Лена гораздо умнее ее, но чем-то они схожи. И всегда, как встречаются на семейных сборах, затевается

между ними какая-то петуховина. То спорят в открытую, а то пикируются хитро, так что со стороны и не заметишь. Вроде ватерполистов, которые бьют друг друга ногами под водой, чего зрители не видят. Ночью Дмитриева вдруг ошеломляли: «Почему твоя кузина весь вечер меня язвила?» — «Как язвила?» — «А ты не слышал?» — «Что именно?» — «Ну, хотя бы то, что она говорила насчет женщин Востока? Насчет их задов и ног?» — «Позволь, но ты ведь, кажется, не женщина Востока?» — «Ах, что с тобой говорить...»

И тогда, в феврале — почему-то запомнилось до последнего слова, — началось с невиннейшего, с подводных толчков. А запомнилось потому, что — последний раз Лена в гостях у матери. С тех пор никогда. Уже лет пять ни разу. Ксения Федоровна заходит, навещает внучку, а Лена к ней — нет. «Как поживаешь, Марина? У тебя все по-прежнему?» — «Конечно! А как у тебя? Служишь все там же?» Эти фразы, сказанные с улыбкой и в рамках правил, означали на самом деле: «Ну как, Марина, никто на тебя по-прежнему не клюнул? Я-то уверена, что никто не клюнул и никогда не клюнет, моя дорогая старая дева». — «А меня это не волнует, потому что я живу творческой жизнью. Не то что ты. Ведь ты служишь, а я творю, живу творчеством». Марина работала тогда редактором в издательстве. Сейчас где-то на телевидении. «А что-нибудь хорошее вы издали за последнее время?» — «Кое-что издали. Это у тебя что за материал? Брала в ГУМе?» И тут были упругие удары под водой: «О каком творчестве ты там лепечешь? Хоть одну хорошую книгу ты лично отредактировала, выпустила?» — «Да, конечно. Но говорить с тобой об этом нет смысла потому, что тебя это не может интересовать. Тебя же интересует ширпотреб». Были какие-то споры о стихах, о всемирном мещанстве. Эту тему Марина очень любила, не упускала случая потоптать мещанство. У, мещане! Когда она клокотала по поводу тех, кто не признает Пикассо или скульптора Эрзю, во рту ее что-то клубилось и даже как будто сверкало.

Все ненавистное, что для Марины соединялось в слове «мещанство», для Лены было заключено в слове «ханжество». И она объявила, что «все это ханжество». Марина изумилась: «Ханжество?» — «Да, да, ханжество». — «Любить Пикассо ханжество?» — «Разумеется, потому что те, кто говорит, что любит Пикассо, обычно его не понимают, а это и есть ханжество». — «Бог мой! Держите меня! — хохотала Марина. — Любить Пикассо ханжество! Ой-ой-ой!» Лица обеих горели, глаза пылали нешуточным блеском. Пикассо! Ван Гог! Сублимация! Аксельрация! Поль Джексон! Какой Поль Джексон? Не важно, потому что ханжество! Ханжество? Ханжество, ханжество. Нет, ты объясни тогда: что ты называешь ханжеством? Ну, все то, что делается не от сердца, а с задней мыслью, с желанием выставить себя в лучшем виде. «А-а! Значит, ты занимаешься ханжеством, когда приходишь к тете Ксене на день рождения и приносишь ей конфеты?»

Лена, поглядев на Дмитриева с улыбкой, в которой было почти торжество (я предсказывала, но ты настоял, так что получай, кушай!), сказала, что у нее с Ксенией Федоровной отношения действительно не самые лучшие, но она пришла ее поздравить не из ханжества, а потому, что просил Витя. Что-то вроде того. Дальше провал. Гости прощались. Мать спотыкалась. Тетя Женя заговорила о Левке Бубрике, зачем — неизвестно. Она всегда хочет сделать как лучше, а получается наоборот. Мать сказала: возмутительная история, и она долго не верила, что Витя мог так поступить. «Ах, вы считаете, что во всем виновата я? А ваш Виктор был ни при чем?» — «Виктора я не оправдываю». — «Но все-таки — я?!» Щеки Лены покрывались бурным румянцем, а в лице Ксении Федоровны проступали гранитные черты.



«Да, конечно, я способна на все. Ваш Виктор хороший мальчик, я его совратила». Тетя Женя сказала, трясая благожелательной сивой головой: «Милая Лена, вы же сами так объясняли Левочке, я очень хорошо помню». — «Мало ли что я объясняла! Я заботилась о своем муже. И вы не имеете, не имеете...» — «Перестань кричать!» — «А ты предатель! Не хочу с тобой разговаривать». Схватив Наташку, рванулась из-за стола. «Почему ты всегда молчишь, когда меня оскорбляют?» И — на лестницу, на мороз, навсегда.

Он бежал вниз, поскальзывался на обледенелых лужах. Лена и Наташка глупо прыгали от него в троллейбус, дверь замыкалась, и он не знал, куда дальше, что же будет. Не мог никуда. Когда дом разрушался, он не мог никуда, ни к кому. Нет, еще однажды после того февраля она пришла к матери — не было выхода, Иван Васильевич лежал с инсультом, теща дни и ночи проводила с ним, а у Дмитриева и Лены горели путевки на Золотые пески — не с кем было оставить Наташку. В Болгарии вечерами гуляли в свитерах и очень сильно любили друг друга. Днем номер накалялся, хотя опускали штору, вода в душе была теплая. И никогда так сильно не любили друг друга.

Дмитриев стоял перед домом и смотрел на единственное освещенное окно — кухни. Второй этаж и левая сторона дома были темны. В это время года здесь никто не жил. В кухне что-то делала Лора. Дмитриев видел ее опущенную к столу голову, черные с сединой волосы, блестящие под электрической лампочкой, загорелый лоб — ежегодные пять месяцев в Средней Азии сделали ее почти узбечкой. Из темноты сада он рассматривал Лору точно на светящемся экране, как чужую женщину — видел ее немолодость, болезни, заработанные годами жизни в палатках, видел грубую тоску ее сердца, охваченного сейчас одной заботой.

Что она там делает? Гладит, что ли? Он почувствовал, что ничего не сможет ей сказать. Во всяком случае сегодня, сейчас. К черту все это! Никому это не нужно, никого не спасет, только принесет страдания и новую боль.

Потому что нет дороже родной души.

Когда он поднимался по ступенькам крыльца, сердце его колотилось. Лора резала ножницами на кухонном столе газету на длинные полосы. Вошел Феликс с миской, где был разведенный клейстер. Дмитриев стал им помогать. Сначала заклеили окно в кухне, потом перешли в среднюю комнату. Мать с шести часов заснула, но скоро, наверное, проснется. Примерно около половины пятого ей сделалось плохо, начались боли, Лора очень перепугалась и хотела вызывать неотложку, но мать сказала, что бесполезно, надо звать Исидора Марковича или врача из больницы. Приняла папаверин, боли прошли. В чем дело? Мать очень подавлена. Такое внезапное ухудшение. После больницы это впервые. Она говорит, что все совершенно как в мае: боли такой же силы и в том же месте.

Разговаривали вполголоса.

— Я тебе звонил в четвертом часу!

— Да, и все было хорошо. А через час...

Феликс, мурлыча что-то, запикивал кухонным пожом старый нейлоновый чулок в щель между створками рам, Лора намазывала газетные полосы клейстером, а Дмитриев клеил. Потом сели пить чай. Все время прислушивались к комнате матери. Глаза у Лоры были жалкие, она отвечала невпопад, а когда Феликс зачем-то вышел из комнаты, быстро прошептала:

— Я тебя прошу: сейчас он начнет о Куня-Ургенче, скажи, что ты решительно против... Что не можешь...

Феликс вернулся с черным пакетом, в котором были фотографии. Все еще мурлыча, стал показывать. Это были цветные фотографии куня-ургенчских раскопок: черепки, верблюды, бородатые люди, Лора в брюках, в ватнике, Феликс на корточках с какими-то стариками тоже на корточках. Феликс сказал, что в конце ноября нужно ехать. Самое позднее — начало декабря. К пятнадцатому быть там как штык. Лора сказала, что он будет, будет, пусть не волнуется. Она его отпустит. Конечно, ехать необходимо, восемнадцать человек ждут. Собирая фотографии и засовывая их в черный пакет — пальцы слегка дрожали, — Феликс сказал, что Лора, к сожалению, тоже должна ехать. Потому что восемнадцать человек ждут и ее.

— Мы же договорились: сначала едешь ты...

— Как ты себе это представляешь?

Очки подпрыгивали на крупном носу Феликса, он приподнимал их каким-то особым движением щек и бровей.

— А как ты себе все представляешь?

— Но есть Витя, по-моему, родной сын...

— Ну, хватит! Витя, Витя. Мало ли что Витя... Не сегодня это обсуждать.

Феликс спрятал пакет в карман байковой курточки, направился к двери в другую комнату, но остановился в дверях.

— А когда прикажешь обсуждать? Надо давать телеграмму Мамедову.

Лора еще раз махнула рукой, более энергично, и Феликс исчез, тихо затворив дверь. Лора сказала, что Феликс очень хороший, любит маму, мама любит его, но он бывает туп. Редкостно туп. Лоре даже кажется иногда, что тут некоторая патология. Есть вещи, которые ему невозможно объяснить, тогда надо просто категорически сказать: так и так, мол, и никаких! И он смиряется. Спорить он не умеет. Надо, чтобы Дмитриев твердо сказал, что не может остаться с мамой, и тогда он перестанет нудить. А как действительно Дмитриев может остаться? Взять маму к себе? Переехать на Профсоюзную? Лена не согласится ни на то, ни на другое. Феликсу, конечно, важно поехать в Куния, ей тоже важно, все верно, но что поделаешь?

В комнате Ксении Федоровны по-прежнему было тихо. Феликс взял угольное ведро и протопал через веранду вниз по лестнице, в сарай. Гремел там лопатой, набирая уголь. Дмитриев сказал, что можно, конечно, попробовать обменять две комнаты на двухкомнатную квартиру — то, что он пытался сделать когда-то, — чтоб жить вместе с мамой, но это целая история. Не так-то просто. Хотя сейчас такая возможность есть.

Не хотелось это говорить, но как-то удобно и кстати сказало само. Лора поглядела на Дмитриева слегка удивленно. Потом спросила:

— Это идея Лены, что ли?

— Нет, моя. Старая моя идея.

— Только не сообщай эту свою идею Феликсу, хорошо? — сказала Лора. — Потому что он ухватится. А маме это совершенно не нужно. Когда она в таком состоянии, еще испытывать что-то... Я же знаю: сначала все будет мило, благородно, а потом начнется раздражение. Нет, это ужасная идея. Какой-то кошмар. Бр-р, я себе представила! — И Лора перевернула плечами с выражением мгновенного страха и отвращения. — Нет уж, я буду с мамой, никуда не поеду, а Феликс как-нибудь обойдется.

Вернулся Феликс с ведром угля. Было слышно, как он тихо, чтоб не будить Ксению Федоровну, шебаршит руками в ведре, вынимая уголь по кускам, и с осторожностью кладет куски на железный лист

перед печкой. Раздался легкий, со звоном, скрежет чугунной заслонки. Лора ухмыльнулась, желая что-то сказать, но промолчала.

— Что? — спросил Дмитриев.

— Нет, ничего. Я, между прочим, часто удивлялась: почему вы не построите себе кооперативную квартиру? Не так уж дорого. Родственники помогут. Они же так любят внучку... — Ее лицо улыбалось, но в глазах была злоба. Это было старое, знакомое по давним годам лицо Лоры. В детстве они часто дрались, и Лора, рассвирепев, могла ударить чем угодно, что подворачивалось: вилкой, чайником.

— О чем вы там? — спросил Феликс из кухни. Он почуял что-то в голосе Лоры.

— Я говорю: почему бы Виктору и Лене не построить кооперативную квартиру? Маленькую, в две комнаты. Верно?

— Не нужно нам никакой квартиры, — сказал Дмитриев задыхающимся голосом. — Не нужно, понятно тебе? Во всяком случае мне не нужно. Мне, мне! Ни черта мне не нужно, абсолютно ни черта. Кроме того, чтобы нашей матери было хорошо. Она же хотела жить со мной всегда, ты это знаешь, и если сейчас это может ей помочь...

Лора закрыла ладонями лицо. Только губы остались видны: они мутились, сжимались. Дмитриев думал с отчаяньем: «Идиот! Зачем я это говорю? Мне же действительно ничего не нужно...» Ему хотелось броситься к сестре, обнять ее. Но он продолжал сидеть, прикованный к стулу. Феликс, стоя в дверях, с рассеянным видом смотрел то на жену, то на брата жены. Он ходил как хозяин по этим комнатам — знакомый коротышка в байковой курточке с накладными карманами, что-то галочье, круглое, чужое, в скрипучих домашних туфлях со стельками, — по комнатам, где прошло детство Дмитриева. Смотрел на плачущую сестру с недоумением, как на непорядок в доме. Как на зачем-то открывшуюся дверцу буфета. Дмитриев пробормотал:

— Феликс, сгинь на минуту!

Человек в байковой курточке сгинул. Дмитриев подошел к Лоре, с неловкостью пошлепал ее по плечу:

— Ну, перестань...

Она мотала головой, не в силах ее поднять.

— Как хотите, как хотите... Если хочет — пускай...

Ровно через минуту за дверью был голос Феликса: «Можно, друзья?»

Он вошел с каким-то конвертом.

— Сегодня, смотри вот, пришло послание от Аширки Мамедова. Бедняга спрашивает, покупать ли на нашу долю спальные мешки. Это в Чарджоу, на базе у Губера. Деньги у него есть, но надо ответить медленно: брать или нет. Даже телеграфом.

Он мурлыкал и скрипел стелькой, стоя возле стула Лоры с конвертом в руке. В комнате Ксении Федоровны послышался шум. Дмитриев на цыпочках рванулся к двери. Сразу увидел, что у матери другое лицо.

— Ну, ты видишь это безобразие? — сказала Ксения Федоровна слабым голосом и попыталась прилечь.

Лежавшая на одеяле книга скользнула на пол. Дмитриев нагнулся: все тот же «Доктор Фаустус» с закладкой на первой сотне страниц.

— Я же разговаривал с тобой сегодня утром! — сказал Дмитриев с каким-то страстным упреком, точно этот факт был крайне важен для состояния матери и всего хода болезни.

— А как сейчас, мама? — спросила Лора. — Вот лекарство. И поставь градусник.

Ксения Федоровна мгновение сидела на кровати не двигаясь, с вы-

ражением отрешенно-сосредоточенным — всеми чувствами впивалась в себя. Потом сказала:

— А сейчас как будто бы... — Осторожно протянула руку и взяла у Лоры чашку с водой. Немного наклонилась вперед. — Как будто ничего. Вроде нет. Фу ты, какая чепуха! — Она улыбнулась и сделала Дмитриеву знак, чтобы он сел на стул рядом с кроватью. — Все-таки ужасная гадость эта язвенная болезнь. Я возмущена, мне хочется писать протест. Требовать жалобную книгу. Только вот у кого? У господ бога, что ли?

— Тебе удобно так лежать? — спросила Лора. — Придвинься сюда поближе. Сейчас подержи градусник, а потом я принесу чай. Дай мне грелку.

Лора вышла. Дмитриев сел на стул.

— Да, Витя! Хорошо, что ты приехал, — сказала Ксения Федоровна. — Мы с Лорой сегодня поспорили. На плитку шоколада. Ты видишь свой детский рисунок? Вон там, на подоконнике. Лорочка нашла его в зеленом шкафу. По-моему, ты рисовал это летом тридцать девятого года или в сороковом, а Лорочка говорит, что после войны. Когда тут жил, помнишь, этот, как его... ну? Неприятный такой, с восточной фамилией. Я забыла, скажи сам.

Дмитриев не помнил. Рисунка тоже не помнил. Все, что касалось его искусства, было вычеркнуто навсегда. Но мать лелеяла эти воспоминания, поэтому он сказал: да, тридцать девятый или сороковой. После войны фигурного забора уже не было, его сожгли. Ксения Федоровна спросила про командировку Дмитриева, и он сказал, что как раз сегодня решилось, что он не едет.

Ксения Федоровна перестала улыбаться.

— Надеюсь, не из-за моей болезни?

— Нет, просто отложили. При чем тут твоя болезнь?

— Я не хочу, Витя, чтобы нарушались малейшие ваши дела. Потому что дело прежде всего. А как же? Все старухи болеют, такова профессия. Полежим, покряхтим, встанем на ноги, а вы теряете драгоценное время и ломаете свою работу. Нет, так не годится. Например, сейчас меня мучает... — она понизила голос, — Лорочка. Она же мне бессовестно врет, говорит, что в этом году ехать не обязательно, Феликс тоже мямлит, отвечает уклончиво. Но я-то знаю, что у них происходит! Зачем же они так делают? Разве я беспомощная старуха, которую нельзя оставить одну? Да ничего подобного! Конечно, могут быть ухудшения, как сегодня, даже сильные боли, я допускаю, потому что процесс идет медленно, но в принципе я же иду на поправку. И прекрасно справлюсь одна. Тетя Паша будет приходить. Ты рядом, есть телефон — господи, какие проблемы? Есть, наконец, Маринка, есть Валерия Кузьминична, которая с удовольствием... — Она умолкла, потому что в комнату вошла Лора с чаем.

— Мама, не возбуждайся, — сказала Лора. — Пусть Витька разговаривает, а ты слушай. Что это ты так возбудилась?

— Некоторые люди меня возмущают, которые говорят неправду.

— А! Ну-ну. Дай-ка сюда градусник... — Лора взяла градусник. — Нормальная. Витька, не давай матери возбуждаться, слышишь? А то я тебя прогоню. И через десять минут приходи ужинать.

Когда Лора вышла, Ксения Федоровна опять зашептала о том же: как устроить так, чтобы старые люди могли спокойно болеть и у детей ничего бы не нарушалось. Как всегда, мать говорила полушутя, полусерьез. Дмитриев стал потихоньку раздражаться. Зачем говорить об этом так много? Ведь пустые разговоры. Все равно ничего нельзя изменить. Потом Дмитриева позвали к телефону. Лена спрашивала, придет

ли он домой или останется ночевать в Павлинове. Был уже одиннадцатый час. Дмитриев сказал, что останется здесь. Лена велела передать Ксении Федоровне большой привет и спросила, взял ли он ключ. Он ответил: «Спокойной ночи» — и повесил трубку.

Это касалось его одного. Он один мог решить: спрашивать ключ или нет. Часа через полтора, перед тем как ложиться спать, он улучил минуту, когда Ксения Федоровна была одна, и сказал:

— Есть еще такой вариант: можно обменяться, поселиться с тобой в одной квартире — тогда Лора будет независима....

— Обменяться с тобой?

— Нет, не со мной, а с кем-то, чтобы жить со мной.

— Ах, так? Ну, конечно, понимаю. Я очень хотела жить с тобой и с Наташенькой... — Ксения Федоровна помолчала. — А сейчас — нет.

— Почему?

— Не знаю. Давно уже нет такого желания.

Он молчал, ошеломленный.

Ксения Федоровна смотрела на него спокойно, закрыла глаза. Было похоже, что она засыпает. Потом сказала:

— Ты уже обменялся, Витя. Обмен произошел... — Вновь наступило молчание. С закрытыми глазами она шептала невнятицу: — Это было очень давно. И бывает всегда, каждый день, так что ты не удивляйся, Витя. И не сердись. Просто так незаметно...

Посидев немного, он встал и вышел на цыпочках.

Дмитриев лег спать в комнате, где когда-то жил с Леной, в первое лето. Там по-прежнему висел на стене ковер, прибитый Леной. Но красивые, зеленого цвета обои с давленным рисунком заметно выцвели и полысели. Засыпая, Дмитриев думал о старом акварельном рисунке: кусок сада, забор, крыльцо дачи и собака Нельда на крыльце. Была такая похожая на овцу собачонка. Как же Лора могла забыть, что после войны Нельды уже не было? После войны он рисовал как помешанный. Не расставался с альбомом. Особенно здорово получалось пером, тушью. Если бы не провалился на экзамене и не бросился с горя в первый попавшийся, все равно какой — химический, нефтяной, пищевой... Потом стал думать о Гольшманове. Увидел комнату в бараке, где прожил в прошлом году полтора месяца. И подумал о том, что Таня была бы для него лучшей женой. Один раз он проснулся среди ночи и слышал, как в комнате за стеной Феликс и Лора разговаривают вполголоса.

Утром Дмитриев уехал рано, когда Ксения Федоровна еще спала. Он дал Лоре сто рублей. Лора сказала, что очень кстати. Позавтракали наспех, и он побежал к троллейбусу. Был темный рассвет. С деревьев в саду сбежал ночной дождь. На остановке стояли два человека и чуть поодаль сидела на земле большая немецкая овчарка. Непонятно было, кому она принадлежит. Подошел пустой троллейбус, все влезли, после всех неожиданно впрыгнула в троллейбус овчарка. Собака была брюхата, впрыгнула тяжело и села на пол возле кассы. Двое испуганно прошли вперед, а Дмитриев остановился в нерешительности. Овчарка смотрела в окно. Ей что-то было нужно в троллейбусе. Дмитриев подумал, что водитель может завезти ее далеко, и она погибнет. Ведь никому не понять, что с ней происходит и почему она в троллейбусе. На ближайшей остановке, где люди шарахнулись от двери, Дмитриев сошел, позвал: «Выходи, выходи!» — и собака спрыгнула послушно и села на землю. А Дмитриев успел вскочить обратно. Через стекло отъезжающего троллейбуса он видел собаку, которая смотрела на него.

Ксения Федоровна позвонила через два дня Дмитриеву на работу и сказала, что согласна съезжаться, только просила, чтоб побыстрее.

Началась эта волынка. Маркушевичи, конечно, отпали, потом отпало много других, потом появился мастер спорта по велосипеду, и с ним-то все совершилось в середине апреля. Ксения Федоровна была не так уж плоха. Устроили даже новоселье, пришли родственники, не было только Лоры и Феликса, которые не вернулись еще из своего Куня, где торчали, как обычно, до большой жары. Но хлопоты на этом не кончились: нужно было перевести оба лицевого счета на имя Дмитриева, что оказалось делом не менее тяжким, чем обмен. Поначалу исполком отказал потому, что заявление было составлено неудачно и не хватало каких-то бумаг. Старичок Спиридон Самойлович, маклер, который все хвастался, что юрист райжилотдела его добрый знакомый, оказался просто лгуном. Юрист с ним даже не поздоровался, когда они столкнулись лицом к лицу. А этот юрист был главным винтом дела, потому что заявителей на заседание не вызывают и решение выносится лишь на основе заключения юриста и представленных документов. В конце июля Ксении Федоровне сделалось резко хуже, и ее отвезли в ту же больницу, где она была почти год назад. Лена добилась вторичного разбора заявления. На этот раз юрист был настроен как нужно, и все документы были в порядке: а) документ, подтверждающий родственные отношения, то есть свидетельство о рождении Дмитриева; б) копия ордеров, выданных в свое время на право занятия жилых площадей; в) выписки из домовых книг; г) копии финансовых лицевых счетов, выданных бухгалтерией ЖЭКа; д) выписку из протокола общественно-жилищной комиссии при ЖЭКе, в которой ОЖК просила исполком удовлетворить просьбу об объединении лицевых счетов. Ну, и на этот раз решение было благоприятное. После смерти Ксении Федоровны у Дмитриева сделался гипертонический криз, и он пролежал три недели дома в строгом постельном режиме.

Что я мог сказать Дмитриеву, когда мы встретились с ним однажды у общих знакомых и он мне все это рассказал? Выглядел он неважно. Он как-то сразу сдал, посерел. Еще не старик, но уже пожилой, с обмякшими щечками дяденька. Я ведь помню его мальчишкой по павлиновским дачам. Тогда он был толстяком. Мы звали его «Витучный». Он младше меня года на три, и в те времена я больше дружил с Лорой, чем с ним. Дмитриевскую дачу в Павлинове, так же, как все окружающие дачи, недавно снесли и построили там стадион «Буревестник» и гостиницу для спортсменов, а Лора со своим Феликсом переехала в Зюзино, в девятиэтажный дом.



---

В. КОБРИН

★

## ПО ИЗБАМ ЗА КНИГАМИ

*(Из записок собирателя)*

### ЗАПЛАНИРОВАННОЕ ЧУДО

**У**же пять раз ездил я в экспедиции за рукописями, но до сих пор для меня это чудо: в простой крестьянской избе, ничем не отличающейся от остальных, лежит рукописная книга, писанная три-четыре века тому назад. Не занесенная в машинописные и печатные каталоги, не вложенная в ледериновый футляр с наклеенным номером-шифром, не поставленная на стеллаж системы «Компактус» за железной дверью хранилища, а вот в этой неприметной избе. Может, в старинном сундуке, может, на чердаке («вышке» или «подловке»), а то на почетном месте, на полочке под иконами. В прекрасном состоянии, словно только вчера припорошил писец мелким песком бурые железистые чернила, или слипшаяся от многовековой сырости так, что плесень безвозвратно съела целые куски текста, а отделить один лист от другого невозможно без вмешательства реставратора. Где бы и какой бы она ни была, это все равно чудо.

Мы запланировали чудо, когда разрабатывали маршрут, оно было утверждено планово-финансовым отделом, включившим в смету «расходы на командировку для разыскания и приобретения рукописных книг». И все же чудо осталось чудом. А в чудеса мы верим. И даже сердимся, если они запаздывают.

Впервые я встретился с этим чудом, когда мы бродили по одному из заволжских районов. Мы шли из райцентра к бабушке Кате в деревню Малинцы.

Жилье бабушки оказалось чем-то средним между банькой и избушкой. От пола до потолка иконостас с огромным деревянным распятым распятием. Согнутая глаголем старушка в больших очках радостно несет нам «письменную» книгу.

Чудо? Не то, которого мы ждем: отпечатанное в конце прошлого века Обществом любителей древней письменности литографированное воспроизведение рукописной книги. Как попало это дорогое издание, рассчитанное на узкий круг знатоков, в избу на краю деревни? Тогда, у бабушки Кати, мы думали о другом — как долго мы здесь сидим! Ведь здесь ничего нужного нам нет, это уже ясно. Мы и так уже в пятнадцать километрах от своей гостиницы, время близится к вечеру, а мы все разбираем для полуслепой и глухой старушки надписи на «лицах» — миниатюрах.

Бабушка растрогана: невесть откуда явились три юноши, по-славянски читают, в «божественных книгах» разбираются...

— Как звать-то вас, за кого богу молиться?— И вдруг, совсем внезапно:— Благословите меня.

Нет, этого мы не ожидали, ответа не подготовили и, краснея, бежали, сделав вид, что не расслышали.

Мы уходили довольные. Пока, правда, ничего не получили, но не беда. Во-

первых, мы завоевали доверие (стало быть, у старушки в самом деле нет рукописей), а во-вторых, мы теперь знаем, что в соседней деревне, в Больших Холмах, есть «Лукиан Фатьяныч, божественный старичок». Догадавшись, что «Фатьяныч» — это Севастьянович, идем в Холмы.

Ну, конечно, старуха все напутала. К кому она нас послала? Городские кровати, полированная мебель, радиоприемник, свежая газета, на туалетном зеркале поверх кружевных салфеток висят награды хозяина — ветеринарного фельдшера: орден Ленина и медаль «За победу над Германией». Упавшими голосами спрашиваем, не осталось ли чего-нибудь от отца и дедов?

Фатьяныч усмехается — дескать, ну и занятие нашли себе эти молодые люди.

— Сам я давно от всего этого отстал.

Все усмехаясь, выносит тетрадные листки с переписанными семьдесят—восемьдесят лет тому назад духовными стихами. Что ж, и это мы приобретаем. Ведь такие стихи — своеобразный фольклор, в каждом списке всегда есть различия.

Обязательный вопрос — у кого еще здесь могут быть книги?

— Тут у одной женщины есть, говорила мне.

Идем для очистки совести. Чуда больше не ждем.

Но тут-то оно и началось. Не говоря ни слова, женщина пошла в дом и вынесла книгу.

— Вот, на подложке лежала. Я ее не читаю: она никонская.

В Москве, прежде чем написать в описи «рукопись втор. четв. XVI в.», мы постараемся на каждом листке разглядеть водяной знак, будем разыскивать точную его копию в толстых справочниках Лихачева и Брикe, Тромонина и Хивуда. Здесь нам отпущены минуты. Глаз уже привык к особенностям почерков разных времен. И то, что это XVI век, мы увидели сразу. Боясь поверить первому впечатлению, смотрели на просвет и находили знаки, какие бывают только в XVI веке (иногда чуть раньше), — голову быка с длинным крестом, растущим из середины лба, щетинистого кабана и рыцарскую перчатку с покривившейся розеткой над средним пальцем.

Да, как же, «никонская»! Дед Никона был грудным младенцем, когда была переписана эта книга.

Книга была ценна не только своей древностью, хотя четыре века — немалый срок. Здесь была новая редакция одного из знаменитейших произведений древней Руси — Киево-Печерского патерика, сборника сказаний о монахах Киево-Печерского монастыря в XI—XIII веках. И с подложка избы на краю Больших Холмов рукопись перекочевала в витрину из оргстекла на постоянной выставке рукописей в нашем отделе, туда, где лежат несколько самых ценных рукописных книг из тридцати тысяч, что хранятся у нас. А «лист использования», где расписывается каждый исследователь, работавший над рукописью, за несколько лет заполнился почти до конца.

Всего этого мы даже и предположить не могли, стоя в Больших Холмах. Нам была нужна эта книга.

— Вы согласитесь продать ее нам для библиотеки?

— Да чего ж продавать? Коли нужная, берите так, Христа ради. Я ж ее не читаю, никонская.

Через несколько дней мы узнали, что Фатьяныч — один из самых почитаемых старообрядческих наставников в округе.

### НЕОБХОДИМОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

Нас часто спрашивают: откуда вы знаете, куда ехать? Почему бы вам не отправиться на Север — куда-нибудь на Мезень, Печору или в другой край с таким же заманчивым названием?



... Отвечаю, что на Север мы бы и рады поехать, да ничего не поделаешь: туда уже давно ездят ленинградцы и сам Владимир Иванович Малышев, с чьим именем связано возобновление экспедиций за рукописями. Надеемся же мы что-то найти в среднерусских перелесках, хотя они и не так урожайны, как северные реки, только потому, что и там и тут живут старообрядцы и их потомки.

Триста лет тому назад собор русской православной церкви вместе с приехавшими в Москву «вселенскими патриархами» с Востока утвердил реформы патриарха Никона, который изменил сложившиеся в русской церкви обряды, приведя их в соответствие с греческими. Тем самым был окончательно закреплен раскол.

Ничтожными кажутся сегодня эти обрядовые различия: двумя ли «перстами» креститься или тремя — «щепотью», дважды ли петь «аллилуйя» или трижды, ходить священнику в церкви «посолюнь» или против солнца, признавать ли наряду с исконно православным восьмиконечным крестом четырехконечный или считать его еретическим «латынским крестом», писать Иисус или Иисус... Право, и для религиозного человека эти расхождения должны казаться несущественными.

Так нет же, столетиями миллионы людей жертвовали благополучием, свободой, жизнью, только бы не отступить от «старой веры». Отказ от новых обрядов стал лишь флагом, под которым выступал кто угодно. И фанатик-изувер. И мужик, стремящийся к освобождению от идущего рука об руку с полицейским урядником попа. И народный мыслитель, мечтающий об осуществлении идеалов христианства, но не находящий их в государственной церкви. Богатый купец, что выше церковного старосты в синодской церкви не пойдет, а здесь может и «свою веру» основать, и своего епископа поставить, и как брат во Христе со всеми удобствами эксплуатировать своих единоверцев. Знатный боярин, что не приемлет новин петровского времени. И даже — ближе к нашим дням — наследник славянофилов, философ-мистик, мечтающий восстановить через старообрядчество связь интеллигенции с народом. Вот почему «расколу» сочувствовали люди совершенно разные.

В декабре 1861 года в Лондон приехал кагульский купец первой гильдии Поликарп Петрович Овчинников. Он же — старообрядческий епископ Коломенский Пафнутий. Его видели с Герценом, Огаревым, Бакуниным. Велись долгие переговоры: об издании в Лондоне старообрядческих книг и газеты, об основании там старообрядческой епископской кафедры и строительстве собора. Герцен надеялся найти в старообрядцах союзников в борьбе с царским самодержавием. Но тщетно. Революционная пропаганда не привлекала и даже пугала купцов-миллионеров, заправлявших делами на знаменитом Рогожском кладбище.

В те же годы старообрядчеством заинтересовались и при царском дворе. Наследника престола цесаревича Николая Александровича в путешествии по Волге сопровождал «знаток раскола» чиновник министерства внутренних дел Мельников. Наследник посоветовал Мельникову написать книгу о раскольниках. Когда через десять лет она появилась в свет, ставшему наследником после смерти старшего брата будущему царю Александру III она очень понравилась. В этой сложной и противоречивой диалогии государь, отпустивший мужицкую бороду и нарядивший генералов в кучерские шаровары, нашел и немало такого, что соответствовало его представлениям об истинно народном духе. Не случайно при Александре III было несколько облегчено положение старообрядцев.

Как трудно, читая «В лесах» и «На горах», поверить, что друг старообрядцев писатель Печерский и чиновник Мельников, предлагавший отбирать у старообрядцев детей в кантонисты, отправивший десятки людей в монастырские тюрьмы и в Сибирь «за совращение в раскол», — одно лицо!

Свободное от пут «святейшего правительствующего синода», старообрядчество раздробилось на множество ответвлений, «согласий» или «толков». Это и понятно — никакая сила не скрепляла принудительно его единство. Инакомыслящие могли спорить со своими собратьями и даже отделяться от них, не рискуя

попасть за это в монастырскую тюрьму: ведь в глазах правительства и синода все старообрядцы были в равной степени еретиками. Может быть, поэтому старообрядчество стало своеобразной отдушиной для искателей философской истины, поэтому в идеологии многих старообрядческих согласий сохранился значительный пласт народного, крестьянского мировоззрения.

Все старообрядческие согласия объединяло одно: неприятие того, что вошло в церковные обряды и быт при Никоне и после него. Существование или отсутствие того или иного обряда до Никона — один из основных предметов спора между старообрядческими согласиями. А жаркие дискуссии продолжались вплоть до начала XX века. И главным аргументом в них всегда была книга — «святое писание», творения «отцов церкви»... Чем древнее книга, тем больше гарантии, что она не «переделана никонианами», что описываемый там обряд, утверждающийся там обычай — «древлеправославный», существовавший искони. Как правило, это рукописная, «древлеписьменная» книга: книг дониконовской печати сравнительно немного. Если же рукопись на пергамене, «харатье», то такой харатейной древлеписьменной книге цены нет. Так интересы науки и старообрядческих полемистов совпали: и ученому и начетчику нужна древняя рукописная книга. Так старообрядчество стало хранителем русской рукописной старины.

У старообрядцев долго не было своих типографий, синодская цензура не пропускала в печать ни их богослужебных книг, ни тем более полемических сочинений. Приходилось братья за гусиное перо. В XVII веке рукописная и печатная книги на Руси сосуществовали потому, что еще было мало типографий. В XVIII—XIX веках рукописной становилась та книга, которую не пропускала цензура. В основном это старообрядческая книга. Так получилось, что у старообрядцев пережила века и сохранилась традиция создания рукописных книг. Для многих из старообрядцев рукописная книга и сейчас живая книга, а не памятник старины. Вспоминается пенсионер из старинного уездного города на Владимирщине, владелец большого собрания рукописных книг. Он наотрез отказался продать нам сборник житий святых XVI века:

— Там ведь Житие Александра Невского. Я его часто перечитываю: очень уж патриотично написано — слеза прошибает.

Сборник житий был для него такой же книгой, таким же чтением, как и взятый в городской библиотеке том собрания сочинений Луи Арагона, лежавший на тумбочке у кровати.

Без рукописных книг мы многого бы не досчитались в нашей культуре и истории. Летописи и «Задонщина», «Русская правда» и судебники Ивана III и Ивана IV, повесть о Петре и Февронии со сказанием о граде Китеже и украшенное Андреем Рублевым знаменитое «Евангелие Хитрово». Все это — рукописные книги. И найти их можно (кроме коллекционеров и государственных хранилищ) только у старообрядцев.

Потому-то прежде, чем поехать в экспедицию, нам приходится заниматься синодской статистикой конца прошлого — начала нашего века. Каждый сельский священник был обязан представлять по начальству сведения о том, сколько лиц «уклоняющихся от православия», живет на территории его прихода. Статистика эта неточна. Большинство, чтобы доказать свое усердие, во много раз занижало число «раскольников». И все же это ориентир. Если в уезде показано процентов пять-шесть старообрядцев, туда можно ехать.

## ПРЫЖОК

Но бывает, и статистика подводит. Вот хотя бы последняя экспедиция, в которой я участвовал. Перед выездом мы подготовились на редкость основательно: собрали не только данные по уездам, а даже знали, сколько старообрядцев было в каждом приходе. Только одного мы, оказывается, не учли: географических названий. Еще в Москве, рассматривая карту, мы дивились странным названиям:

Кармалей, Размазлей, Журелейка... А потом мы ходили и ездили от одной кончающейся на «лей» деревни к другой, подолгу беседовали со старообрядцами, но нам почти не встречались рукописи.

История, география и стоящая на их стыке топонимика мстили нам за пренебрежение. «Лей» — слово мордовское, означающее овраг. Названия деревень были мордовскими. Крестьяне — русскими. Но их предки были мордвинами, принявшими в XVIII веке христианство и постепенно обрусевшими. Естественно, русских рукописных книг старше XVIII века у них быть не могло.

И тут мы совершили прыжок. Отправились совсем в другие края, за пятьсот километров от прежних. Без адресов. Прыжок отчаяния.

Мы снова в пути. Катером перебрались из города на противоположный берег Оки. Перед нами поросшие кустарником крепостные валы. Только они да названия деревни, Старое Городище, — вот и все, что осталось от многолюдного стольного града, разрушенного войнами Батыя.

Наша цель — село Корзенево. Там, мы это точно знаем, должны быть старообрядцы. Именно там синодские миссионеры устраивали диспуты и собеседования, чтобы вернуть «раскольников» в лоно православной церкви. Отсюда выходили знаменитые старообрядческие начетчики. В «Епархиальных ведомостях» и «Миссионерских листках» мы читали о «происках расколуучителей» из Корзенева, об успехах корзеневского отделения созданного для борьбы со старообрядчеством Братства святого Петра митрополита.

Но в этой прежней цитадели старообрядчества мы никого не знаем. Главный районный атеист, которого мы прождали часа два в кабинете партпросвещения, не мог назвать ни одного старообрядца:

— Мы больше баптистами занимаемся.

Оставалось только... пить воду.

В первой же избе Старого Городища мы попросили напиться. Бабушка Таня налила нам по кружке холодной и прозрачной воды.

— У нас вода очень сладка, а в том колодце, — показала рукой дальше, — уж очень груба. А сами-то вы по какому делу?

Этого вопроса мы как раз и ждали.

Старушка оказалась замечательной. Через десять минут мы знали, что «горы эти (валы) — для войны, по случаю», что на огороде у себя она «цапала цапкой» и нашла «грудь железную», которая теперь в области, в музее, что такие вещи здесь находят часто, вот и ее «хозяин был по мелочи, археолог», что домик стоял раньше ниже, на самом берегу Оки, но «река донимала нас, донимала, да и прогнала», и, наконец, самое главное, что в деревне Башенки, километрах в трех отсюда, умер полгода тому назад старик Курашев, а у него книг был «цельный сундук». Это было уже начало цепочки.

Пришли в Башенки.

— Книжки-то все, как дед помер, корзеневские забрали. Старик один приходил, читал над покойником, он и взял. Тебе, говорит, ни к чему. Как старика звать? Не помню. А вот с Корзенево рядом деревня есть, Антипкино, там Василь Васильич живет Мархоткин, дом у него каменный, от больницы третий, он все и расскажет. Бывалый такой мужик и примистый. Всех корзеневских знает,

Что же, теперь можно и в Корзенево: адрес есть.

Василий Васильевич выслушал нас, снял с гвоздя картуз, односложно сказал: «Пошли», — и повел в Корзенево, к Порфирию Панкратьевичу, главе здешних старообрядцев. По дороге мы узнали, что еще больше книг у другого старика — Егора Аристарховича.

— Да тот раньше был не с нами: мы окружные, а он из раздорников.

Егор Аристархович недавно соединился с «окружными», но остальные «раздорники», или, вернее, раздорницы — несколько старушек, — остались тверды в вере и не последовали примеру своего наставника. Все же, если надо отпеть покойника или окрестить младенца, делать нечего — идут к Егору, ведь он всю службу знает, а старушки — нет.

Впервые мы столкнулись здесь с тем, что живы следы этой старой внутри-старообрядческой распри. Дело в том, что в 1862 году собор старообрядческих епископов выпустил так называемое «окружное послание», в котором заявлялось, что православная синодская церковь — не еретическая, разница между старообрядцами и «великороссийскими» лишь в несущественных обрядовых тонкостях, а вина синодской церкви только в том, что она без оснований отвергла и проклала старые обряды.

Многие из ортодоксов возмутились таким кощунством. Среди старообрядцев-поповцев Белокриницкого согласия начался раскол. Кроме двух основных ветвей — сторонников и противников «окружного послания», — появлялись и дополнительные ответвления.

Мы не встретили в нашей поездке ни одного старообрядца, включая самых «начетных», который помнил бы сегодня об «окружном послании». Но каждый твердо знает, что у него «вера округная» или «вера неокругная».

Изда Порфирия Панкратьича просторная, старая, но крепкая. В большой комнате старуха укачивает в люльке внучку. Ах, как жаль, что не было портативного магнитофона, чтобы записать эту великолепную колыбельную, которой, верно, не одно столетие, со всеми особенностями местного говора, с этими «бау-баушки-бау», с предельно ласковыми и какими-то сказочными обращениями к малышу, с тонким и скрипучим старческим голосом.

Порфирий Панкратьич был тот самый старик, который бывал в Башенках и отведал Курашева. Мы пересмотрели все, что осталось от Курашева, все, что было у самого Порфирия Панкратьича, — увы, только две очень поздних и не слишком интересных рукописных книги удалось нам найти.

— Порфирий Панкратьевич, а к Егору Аристарховичу нам стоит сходить?

— Почему не сходить? Сходите. Вот есть ли что у него, не знаю.

Большой обветшалый дом. Старик в опорках на босу ногу, с хитрой усмешкой, бодрый — и не поверишь, что девятый десяток идет. На столе сразу появляются книги — одна за другой.

— Вот эта вам подойдет.

Именно такие старики нам нужны, таких ищем. Отец был попом<sup>1</sup>, а два дяди — даже епископами.

Вот пузатенькая книжица в «восьмерку» (один из самых малых форматов). Это «Устав церковный», датированный списком 1620 года. Уже удача!

— А эта, не знаю, подойдет ли. Я ее одной старушке дал почитать, а та на чердаке положила, крыша протекла...

Действительно, вид у книги ужасный. Листы от сырости и плесени слиплись, с большим трудом находим наконец такой, чтобы можно было посмотреть его на просвет и разглядеть бумажный знак. Готическое Р! Значит, во всяком случае XVI век, а может быть, и раньше.

Да и содержание интересно: это так называемый «Пролог», сборник кратких повестей, поучений, житий святых.

Мы наперебой показываем образованность — читаем то тот, то этот кусок текста, рассуждаем об особенностях разных «божественных книг». Пусть старик поймет, что книги просят у него люди знающие, не на посмеих пойдут.

В седьмом часу выходим с драгоценной ношей.

## НАШ СВЕРСТНИК ПАВЛИН ИВАНОВИЧ

Деревни Костровка больше нет. Есть Октябрьская улица на окраине большого города. Избы стоят прежние, деревенские, усадьбы те же, только жители работают не в колхозе, а на заводах и фабриках, в мастерских и магазинах.

<sup>1</sup> Старообрядцы сами называют своих священников попами.

Добраться в Костровку просто: от Горького до самых Вязников теперь ходит электричка, интервалы всего по часу, а Октябрьская улица выходит прямо к станции.

Мы приехали сюда к Матрене Филипповне Хренниковой. Что и почему у нее есть, не знаем. Дали адрес: к ней, мол, зайдите. И все.

Идем не без страха: как-то примет? Это очень важно — больше адресов в городе у нас нет, а начинать свои хождения с женщины мы не любим. Мужчины — отслужившие в армии, поездившие по стране — легко сходятся с незнакомыми людьми. С ними и работать нам легко. Не то женщина. Перенесла, может, больше, чем иной фронтовик, но у себя в деревне. Тяжелая жизнь научила осторожности, часто недоверчивости. Наши цели туманны для нее, а потому и мы сами нажмемся опасными гостями.

Войти в дом и то не всегда удавалось. Сколько раз хозяйка, не дав нам вымолвить и слова, не узнав толком, в чем дело, торопливо начинала приговаривать:

— Ничего у меня нет, мы люди малограмотные.

И все-таки в Костровке нам повезло: Матрена Филипповна ничуть не напугана; спокойно-приветливая, говорит неторопливо, слушает внимательно.

— Что ж, книги-то есть, да показать не могу. Вот сын с работы придет, все вам расскажет. Он ведь у меня хоть и с тридцатого года, а не обижаюсь — верующий. Да, Павлик вам все и покажет и расскажет.

— А как его полностью зовут?

— Павлин Иваныч.

Мы отправились на другой конец города — в другую бывшую деревню, к трем сестрам-монашкам. Привычная неловкость оттого, что незваными гостями мы приходим к чужим, недоверчивым, настороженным людям, здесь усугубилась: сестры молились. Вторжение в этот момент чужаков, «мирских», почти кощунственно. Мы хотели было уйти, но вежливые сестры нас остановили. Возможно, чтобы поскорей избавиться от гостей, они, едва узнав, в чем дело, дали нам рукопись. Позднюю, богослужебную (хотя и нотную), но все же рукопись XVIII века. Мы даже не успели как следует разглядеть обрамленных туго натянутыми черными платками лиц старушек. Только обратили внимание, как просветлели они при одном упоминании Павлина, как согласно закивали, улыбаясь приговаривая:

— Павлик, Павлик.

Это он лучше стариков знает божественную службу. Это он, когда горсовет запретил было молитвенные собрания на дому, написал письмо в Москву, и им теперь никто не мешает молиться.

Да, заручиться поддержкой Павлина для нас сейчас важнее всего.

Хотя мы и знали, что Павлину за тридцать, мы все же почему-то представляли его себе немного не от мира сего, слегка нестеровским отроком, любимцем старушек... И вдруг нас встретил здоровеннейший мужчина с повадками и речью секретаря сельсовета или председателя сельпо, с важным и даже несколько торжественным ликом. В углу сидел щуплый паренек с тонким лицом, и впрямь немного нестеровский. Сын. Кончил в этом году восемь классов, собирается в техникум.

Своей огромной ручищей Павлин погладил мальчика по голове: вот навестил отца. И, не стесняясь сына, начал рассказывать.

Два месяца тому назад от Павлина ушла жена с двумя детьми. Вся беда пошла с того, что она поступила на работу. Самому Павлину не работать нельзя, он и служит где-то агентом по снабжению. Но жене-то к чему? Хозяйство ведь большое: две коровы, парники. Одной помидорной рассады несколько тысяч корней в год продает, из других районов, за десятки километров приезжают.

Хозяин повел нас во внутренний дворик. Пройдя в незаметную для чужьго глаза дверь, мы спустились на десять—пятнадцать ступенек и попали в большую комнату без окон — вероятно, бывший погреб. С потолка свисала ничем не прикрытая стопятидесятисвечовка.

Здесь было все, как полагается в молельной: иконостас, огромные медные подсвечники, аналой с на престольном евангелием, сшитые из разноцветных лоскутков коврики-подушечки, которые старообрядцы подкладывают под колени во время земных поклонов. Благолепие нарушал только старый велосипед хозяина в углу.

Книги лежали на полке, идущей по низу иконостаса. Много книг. Большие и малые, в переплетах из досок, обтянутых кожей, и в бумажных обложках. Одно для нас плохо — все печатные. Хозяин сокрушался:

— И эта не подойдет? Что ж поделаешь, у меня все такие.

Наконец попалась рукописная — «Обиход» церковного пения на крюковых нотах, «солях», как их здесь называют. Эти древнерусские нотные знаки до сих пор в ходу у старообрядцев.

— Я ведь тоже умею по солям петь, — говорит Павлин и, открыв рукопись, затягивает.

Мне только один раз приходилось видеть подобное: Ираклий Андроников рассказывал, как ленинградский актер Певцов играл Павла I, и внезапно стал похож на шубинский бюст императора с курносой коротышкой между пухлых щек. И сейчас — огромный Павлин Иваныч сразу показался меньше ростом, плечи сузились, даже фигура стала почти щуплой.

Пение кончилось, и мы снова увидели прежнего Павлина Иваныча — гордо и даже самоуверенного.

— Так подойдет?

Я бы, вероятно, сильно преувеличил, если бы сказал, что этот «Обиход» был нужен библиотеке позарез. Да, самая древняя система нотного письма — кондакарная — до сих пор не расшифрована, мы не знаем, как пели на Руси в XI и XII веках. Путь этой расшифровки лежит через тщательное сравнение рукописей с кондакарными нотами с рукописями с другой системой нот, тоже крюковых, но более поздних. Для этого надо внимательно изучить все сохранившиеся древнерусские нотные рукописи. Даже и поздние. Но их сохранились сотни, а наша уж очень поздняя. Конечно, пригодится, но это совсем не первоклассный материал.

— Подойдет! Мы были бы очень рады, если бы вы...

Чтобы понять наш ответ, нужно себе представить, как мы будем дальше работать в этом районе. Каждый старообрядец спросит нас:

— А у Павлина Иваныча были? У него, чай, книг побольше.

И недоверчиво поморщится, услышав наш ответ:

— Смотрели мы его книги, да они все печатные, нам не подошли.

Чтобы у самого Павлина Иваныча не было таких книг, какие надо этим людям, он себе представить не может. Значит, не поверил им Павлин Иваныч, не открылся.

Мы вернулись в избу, Павлин Иваныч протянул нам книгу.

— Самому нужна, да уж гостей надо принять как следует. Вам надписать?

Об этом мы заикнуться не смели: вещественное доказательство того, что Павлин Иваныч нас принял.

Сын подал авторучку (только гусиное перо раньше прикасалось к этим листам), и Павлин Иваныч четким, немного витиеватым почерком вывел: «Дар в Государственную библиотеку от Павлина Ивановича Хренникова».

Мы еще часа с полтора сидели у Павлина Иваныча, вели светские разговоры, пили домашнюю бражку, закусывая, увы, только зелеными солеными помидорами (ничего другого нельзя — Петров пост). И с печальным любопытством смотрели на худощавого подростка, в чьей голове должны уместиться и подпольная молельная отца, и ушедшая из дома, где «полная чаша», мать, и химический техникум.

## ПО ЦЕПОЧКЕ

В Клязьминце мы приехали рано утром. Оставив в гостинице рюкзаки, мы вышли в город. Куда идти? Адреса ни одного.

По пыльной площади, мимо автобусной станции, мимо собора XVI века, мимо великолепно сохранивших свою планировку жилых домов XVII века (их фотографии можно видеть в любом альбоме по истории древнерусской архитектуры) идем в райисполком.

В исполкоме нам дали адрес местного краеведа, учителя на пенсии Аркадия Герасимовича Кривогубова.

Аркадий Герасимович — высокий бодрый старик в красной в белую полоску косоворотке, с острой бородой клинышком и подкрученными кверху усами — лицо испанского гранда. На тумбочке стоит граммофон с огромной трубой (точь-в-точь как на рекламе в газете начала века). На стене фотография молодого человека в пенсне и фуражке с кокардой, в крылатке — Кривогубов в молодости.

— Чем могу служить?

Мы объяснились.

О многом мог рассказать нам Аркадий Герасимович: и когда и как татары подходили к Клязьминцу, и как молодым московским учителем он узнал, что умер отец, учить детей в городском училище в Клязьминце некому, бросил все, уехал сюда и остался навсегда, и как он написал книгу об истории Клязьминца, да издать никак не удается.

Обо всем было рассказано, но вот о старообрядцах у Аркадия Герасимовича было, увы, весьма смутное представление. Среди крестьян окрестных деревень у него почти не было знакомых. Ничего нужного для работы мы у него не узнали.

Итак, для экспедиции потерян уже целый день, а к цели мы ни на шаг не приблизились.

Мы не бездельничали: мы ходили по улицам, ждали в учреждениях, с горя даже решили посмотреть, нет ли чего-нибудь в заброшенной церкви. Мы, конечно, знали, что еще в XVIII веке из всех церквей изъяли рукописные книги, да и впредь держать запретили: ведь они не прошли духовной цензуры. Но чем черт не шутит! Тем более что и Аркадий Герасимович, и старичок — смотритель памятников Сергей Иванович, и деятели из исполкома говорят, что там что-то есть.

Вместе с Сергеем Ивановичем и сотрудником райфо идем на кладбище, где стоит церковь. Мы так до конца и не поняли юридического статуса этого здания. Среди закрытых церквей не числится, не было заявления на сей счет. С другой стороны, церковная «двадцатка» распалась. В общем, ключи в райфо. Старуха сторожиха напугана. Финотделец подозревает (и, кажется, не без оснований), что за небольшую плату она пускает в церковь отпевать покойников.

В церкви среди голубинового помета лежали старые, грязные книги. Да еще маленькие листки, исписанные почти современными почерками — поминания «за здравие» и «за упокой». Ни эти книги — поздние и широко распространенные синодские издания, — ни тем более поминания нам не были нужны. Но грустно было не только оттого, что мы ничего не достали для библиотеки.

Только к вечеру среди полной безнадежности что-то начало проясняться. От случайного прохожего мы узнали, что во Взвозе есть Авдотья Макаровна, женщина пожилая, но бодрая. Она, говорят, «кулугурка».

Кулугуры — местное презрительное прозвище старообрядцев. Интересно, что происходит оно от греческого слова «калугер», означающего монаха, старца, человека святой жизни. Калугерами торжественно называли себя первые старообрядцы в здешних местах.

До Взвоза недалеко, всего километров пять. Изба Авдотьи Макаровны стоит в самом начале. Хозяйки нет. Дверь, ведущая на остекленную террасу, на замке. Возле дома покуривает слегка подвыпивший старик в полувоенной одежде. Ему не терпится узнать, кто мы, а мы не спешим удовлетворить его любопытство.

Наконец все темы от погоды до урожая исчерпаны. Замок висит по-прежнему. Делать нечего, мы рассказываем старику, кто мы.

Наше долгое нежелание воспользоваться его помощью связано не с особенностями нашего характера. Нет, мы просто боимся его помощи. Бритый подбородок, папироса, защитная гимнастерка — все обличает в нем «местного работника». Такой, конечно, может рассказать немало, да вот прийти к старообрядцу с рекомендацией от него неудобно. Если бы такой местный работник только рассказывал — мы можем и не говорить, откуда получили адрес. Но ведь местный работник обычно приходит в восторг от нашей миссии и любезно соглашается нас сопровождать. Из вежливости мы не решаемся отказаться достаточно твердо. И начинается:

— Здравствуй, тетка Марья! Принимай гостей. Из самой Москвы люди — старух забирают.

Старушка уже напугана, и наши интеллигентские улыбки и бормотанье, что, дескать, зачем же так, проходят мимо нее.

Не успеваем мы начать объяснять, кто мы и зачем приехали, как следует прямой вопрос нашего спутника:

— У тебя книги божественные есть? Вот люди их собирают.

И у напуганной и без того старушки «собирают» превращается в «отбирают», «забирают»... Нет, лучше по наитию, лучше пить воду, чем пользоваться такими услужливыми помошниками.

Наш собеседник оказался, к счастью, умнее и в спутники не навязывался.

— Да, хорошо, что теперь за старину взялись. Поздно только. Сколько раньше книг этих пожгли-то! Не понимали. Я и сам не понимал.

— А я вам людей укажу. Тут у нас кулугуров много. Старички упорные. Книги почитывают. Указать укажу, а пойти, извините, не смогу.

Мы узнали у него об Иване Семеновиче Бородине и Венедикте Константиновиче Тучкове.

— Их тут кулугурскими попами зовут. Венедикт-то сейчас уж очень стар, не служит. А Иван Семеныч — тот пободрее.

И вот мы у ворот Ивана Семеновича. Неужели этот высокий старик с аккуратно подстриженной бородкой (а бороду ведь нельзя не только брить, но и стричь), в майке (видели бы этот соблазн не только калугеры конца XVII века, но хотя бы истовые наставники начала XXI) и есть Иван Семенович? Оказывается, да.

Дом полон молодежи: два сына — инженеры, один из Горького, другой из Новосибирска, с женами, с детьми приехали в отпуск к отцу. Нас усаживают за стол, угощают ледяным, прямо из погреба квасом с изюминками (долго нам еще вспоминались запотевший стакан и сознание неприличия того, что мы никак не можем остановиться), наконец появляются книги. Пузатые, объемистые, почти в пуд весом каждая, в новехоньких переплетах из желтой тисненой кожи, со стандартной надписью вязью: «Книга глаголемая»... Мы уже издали узнаем поздние печатные издания «единоверцев» и старообрядческих общин.

Молодежь тоже смотрит. Об этой стороне жизни отца дети совсем забыли, а внуки видят эти книги впервые.

— Разве это русскими буквами написано? — любопытствует шестиклассник.

И радуется, что, оказывается, русскими и даже можно узнать почти каждую. Мы тоже радуемся — случаю ненавязчиво проявить эрудицию.

Вот появляется еще одна книга. Хозяин предупреждает:

— Ну, уж эта такая, как вам надо — рукописменная.

Увы, снова издали видно, что это не так. Конечно же, печатное издание конца XIX века.

Никогда не надо смотреть только издали. Мы не могли прийти в себя от изумления, когда раскрыли книгу. Перед нами была рукопись — «Великое зерцало» в списке конца XVII века.



Люди, далекие от занятий древнерусской письменностью, часто путают «Великое зеркало» и «Юности честное зеркало» — наставление по правилам хорошего тона, переведенное при Петре I. «Великое зеркало» тоже переводное произведение, но совсем другого рода. Оно возникло в Германии в XV веке как подспорье для проповедника.

Проповедь без примеров скучна. И вот для каждого из моральных правил и церковных догматов были найдены или сочинены короткие истории. В сборник «Спекулюм магнум» вошло несколько сот нравоучительных повестей.

В XVI веке в одной из польских типографий был отпечатан его перевод под названием «Вельке зверцядло». В XVII веке книгу дважды перевели на русский язык. Появилось «Великое зеркало».

Переходя из страны в страну, потом на Руси — из рукописи в рукопись, «Великое зеркало» менялось. Переписчик и редактор совмещались в средние века в одном лице. Авторское право еще не появилось. И ничего зазорного не было в том, что переписчик выбрасывал те повести, которые ему не нравились, а взамен вписывал новые. Постепенно из пособия для проповедника «Великое зеркало» превращалось в занимательное чтение, в средневековую нравоучительную беллетристику. Читатель не только размышлял над нравоучениями. Его волновали сам сюжет, часто острый и динамичный, необычность ситуации, мистическое вмешательство потусторонних сил.

Вот, например, содержание одной из таких повестей. Рассказывается, что в одном городе жила вдова с единственным сыном, которого она «не в меру любяще». Сына по ложному навету посадили в тюрьму. Несчастливая мать почти каждый день приходила теперь к статуе богородицы и молила ее спасти сына. Тщетно.

И однажды мать обратилась к богородице с кощунственными словами:

— Ты мне не помогла, сколько я тебя ны молила. Забираю у тебя твоего сына и не отдам, пока не вернешь мне моего.

С этими словами вдова сняла с руки статуи небольшое изваяние младенца Христа, отнесла домой, спрятала в приготовленную коробку и заперла на замок.

В ту же ночь к несчастному узнику явилась богородица, открыла перед ним все двери и привела домой.

— Скажи матери, чтобы вернула мне сына, — напутствовала она юношу.

Что-то глубоко народное есть в этой короткой повести. Да и мораль мало подходит для проповеди.

А повестей, и самых разнообразных, здесь, повторяю, сотни.

Чтобы исследовать «Великое зеркало», как и всякий памятник древнерусской письменности, нужно изучить как можно больше списков: ведь они отличаются друг от друга, иной раз весьма значительно. Вот почему мы так обрадовались, когда Иван Семенович показал нам рукопись. К тому же список был на редкость полным — больше восьмисот повестей. Письмо четкое, ясное. Первые тридцать три листа заняты оглавлением: названа каждая повесть. А после той же рукой аккуратно выведено: «Конец оглавлению книги сея Великого зерцала. А трудивыйся и писавый книгу сию Нижегородьского уезду вотчины бояр князь Петра Ивановича да князь Бориса Ивановича Прозоровских села Лекеева церкви Рождества Иоанна Предтечи поп Димитрий в лето 7205 года месяца септеврия в 9 день».

Итак, 9 сентября 1696 года кончил поп Димитрий переписывать эту книгу.

В меру расхвалив, почитав кое-что вслух, заводим разговор о продаже.

— Да что вы! Я ж ее не покупал. Так, знакомая старушка дала. Ее теперь уж и на свете нет.

Жена неожиданно поддержала:

— Отдай людям, коли им надо. Ты-то ее теперь и не читаешь. — И обратившись к нам: — Совсем перестал божественные книги читать: как начнет, так сразу и заснет. Все больше теперь за романами сидит.

Старик смущенно улыбается:

— Да, эту книгу считаешь — и жить не хочется.

Короче, книга была получена, получена в дар, но с твердым предписанием Венедикту Костянтинычу не говорить.

— А то вы-то уедете, а он меня со свету сживет — зачем святую книгу отдал.

С Венедиктом Константиновичем у нас, как нам показалось, ничего не получилось: старик за восемьдесят сидел возле дома в теплых валенках, несмотря на июльскую жару. Из-за каких-то двух прохожих он, конечно, не захотел идти в избу. Значит, и книг не смотрели. Так, поговорили и разошлись. Да адрес на всякий случай оставили.

Мы не знали, что уже осенью придет к нам трогательное письмо с торжественным обращением «Многоуважаемая чета», где Венедикт Константинович Тучков сообщит о желании принести в дар библиотеке для науки рукописную книгу — Евангелие толковое (то есть с толкованиями) Феофилакта Болгарского. Венедикт Константинович писал, что книгу можно взять у его сестры в Ростокине, а нам советовал приехать к нему следующим летом.

Итак, на будущий год летом мы сидели в избе Венедикта Константиновича как старые знакомые. Тучковы — род популярный среди здешних старообрядцев. Дядя нашего хозяина жил в Нижнем и был там главным наставником на всю губернию. Сам Венедикт, когда был помоложе, ездил далеко от родной деревни наставлять братьев по вере. И сегодня его изба — странное смешение старого уклада и веяний времени.

Как водится, все стены в фотографиях. Мы видим и самого хозяина, стройным молодым солдатом с Георгием на груди («В японскую получил, под Мукденом. Сам его превосходительство генерал Линевиц вручал»), и группу участников старообрядческого собора, и девушку в лихо заломленной пилотке, в гимнастерке с тремя кубиками и крылышками на петлицах. Вот эта девушка сидит рядом с молодым военным, вот она же в комбинезоне и шлеме... И тут же на стене — лестовка: старообрядческие четки. Отрывной календарь самого современного вида. На листке с карикатурой на стилисту красными чернилами старинным полууставом написано: «Мученицы Агриппины, мучеников Евстохия, Гаия и с ними отроков: Урвана, Провия, Лоллия, преподобного Иосифа, Иоанния...» На том же гвозде, что и лестовка, — термометр, на столе поздравительная открытка к Первому мая с надписью карандашом: «Епитимия — 20 кафизм». Иконы тщательно занавешены, чтобы не осквернил чужой взгляд.

Венедикт Константинович остался очень доволен, что мы прислали ему благодарность на красивом и внушительном бланке библиотеки.

— Я этот ваш отзЫв берегу. Он для меня теперь как охранная грамота. Есть еще старички, они у меня ваш отзЫв видели. Тоже хотят иметь. У них и книги есть, какие вам надо. Только вот далеко они живут, ноги у меня больные, не добраться. А без меня вам ничего не дадут — очень уж они пужливые.

Меня осенило:

— А вы дайте нам к ним письмо. Ведь они знают ваш почерк?

У меня и сейчас хранится копия этого необычного рекомендательного письма:

«Здравствуй, дорогой брат Никодим Сергеевич. Шлю Вам мое глубочайшее почтение и прошу принять моих уважаемых знакомых. Имъ нужны рукописныя книги, а посему прошу Вас передать Окуневу, Александру Логиновичу, чтобы он был знаком с нима: может быть, он продаст имъ, если окажется для них полезным и нужным. И я Вас предъ упряждаю, что еты<sup>1</sup> люди очень хорошие, и они собирают древние книги для библиотеки. Если у вас найдутся таковыя, продайте без сомнения или отдайте бесплатно, его ваше дело, но не бойтесь ничего.

С почтением к Вам, Ваш доброжелатель Венедикт Конст. Тучков».

Но все это было потом, на будущий год.

---

<sup>1</sup> Это не неграмотность: старообрядцы не признают «э».

А пока мы ходили и ходили по Взвозу. В руках у нас уже было «Великое зеркало» — одно из лучших приобретений экспедиции.

Мы со спокойной совестью могли растянуться на поляне в соседней роще и начать рассматривать полученную рукопись. Самый блаженный момент.

Пройдет еще несколько недель, и только в читальном зале отдела рукописей, под бдительным взглядом дежурного можно будет читать эту книгу. Даже внутри библиотеки ее не выпустят дальше лаборатории гигиены и реставрации, да и то под конвоем хранителя, снабженного специальной картонкой: «Пропуск на право переноски книг по библиотеке».

А пока... Пока мы ее листаем, лежа на траве. А потом будем рассматривать, сидя на кроватях в тесном гостиничном номере. И в самом этом вынужденном нарушении строгих библиотечных правил было что-то особенно приятное.

Как раз в лесочке мы и углядели главную особенность нашего списка. После оглавления шла не повесть, а «Предисловие трудившегося писанием честных книги сея», предисловие писца. Значит, подлинник?

Мы читали вслух, читали о том, как поп Димитрий давно мечтал «написать книгу сию», как искал ее, «от многих убо лет желая улучшить ея, но не возмогах», ибо владельцы отказывали ему, «нас лишая сих благих». Наконец, писал Димитрий, я нашел братолюбивого мужа и «скоро желаемая улучих». С заветной книгой поп не шел, а бежал — «с радостию скорым течением под кров дома своего притекох», — долго трудился над ней...

Мы были рады не меньше, чем за 265 лет до этого поп Димитрий. Это была настоящая находка.

## НАСЛЕДНИКИ

Из Клязьминца мы съездили в Бочково. Сообщение хорошее: всего пятнадцать километров по отличному шоссе, где днем и ночью во всех направлениях ходят машины. Когда-то Бочково входило в Клязьминский уезд, а потому мы и собирали о нем сведения вместе с Клязьминцем. Теперь же из Клязьминца туда можно проехать только попутной машиной, а автобусы не ходят: это не только другой район, но и другая область.

В огромном селе (здесь еще совсем недавно был райцентр, а обширная усадьба РТС стояла и при нас) мы не знали никого, хотя кое-какие фамилии здешних старообрядцев начала века у нас были записаны. Дело в том, что у Аркадия Герасимовича Кривогубова нашелся губернский адрес-календарь, выпущенный в 1906 году, вскоре после провозглашения свободы вероисповеданий (мы зря ругали себя, что не посмотрели его в Москве: потом оказалось, что у нас в библиотеке его нет). Там были указаны и имена руководителей старообрядческих общин в некоторых селах. В Бочкове их было трое: священник церкви старообрядцев, приемлющих священство от Белокриницкой иерархии, отец Константин Павлович Прозоров, наставник молитвенного дома Поморского согласия Михаил Иванович Бутусов и председатель общины Спасова согласия Филарет Яковлевич Перепелицын.

В сельсовет мы шли с некоторым волнением. Во-первых, не дай бог старики увидят. Примут за «власть», и пиши пропало. Во-вторых, как в сельсовете встретят? Нам не раз случалось, отметив командировку в одном райцентре, забредать на территорию другого района: ведь цепочки адресов редко совпадают с административным делением. При проверке документов это часто встречало подозрения:

— Почему ж это вы в нашем районе не отметились? Разве можно без согласования с нашими работниками здесь находиться?

А тут не в чужой район, а в чужую область попали.

Ничего, обошлось. Женщина — председатель сельсовета отнеслась к нам спокойно. Беда другая: она сама человек новый, стариков не знает. Прозоровых по спискам оказалось в селе около пятнадцати семей — у всех не побываешь. Зато Бутусовых и Перепелицыных нет совсем.

— Вот разве вам к Рыкунову зайти, к Игнатию Васильичу? Игнат Васильич на пенсию вышел года три тому назад. Он человек грамотный, развитой, «всехстаринок знает». Гордый, правда, очень. Да ничего, вы с ним поладите.

И впрямь мы поладили с Игнатом Васильевичем. С нами он горд не был; напротив, был рад случаю отвести душу. Обо всем говорили: с кого Крамской писал «Незнакомку», получится ли у Бондарчука «Война и мир» («У американцев мне не понравилось — разве это Пьер?»), о том, что в здешних местах бывал Достоевский...

— Вот вы изволили спросить о Прозоровых. Нынешние Прозоровы к староверскому батюшке отношения не имеют. Более того, атеисты. Бутусовы же все были раскулачены, так что опять-таки ничем не могу быть вам полезен. Остаются Перепелицыны. Как вы имя-отчество назвали? Филарет Яковлевич? Помню его, помню. С сыном его, с Иваном Филаретовичем, учился два года в реальном. Потом же Филарет Яковлевич забрал его из училища: испугался шатости в вере. А то у другого наставника сын в последнем классе социал-демократом стал.

— А где же сейчас Иван Филаретович?

— Умер в прошлом году. Немного запоздали. Я, когда вернулся в родные палестины, его еще застал. От отца по наследству настоятель был.

Мы выяснили, что родных у Ивана Филаретовича не осталось, выморочный дом продан инженеру из РТС Ивану Ивановичу Лесукову, да он, верно, еще с работы не пришел. Так что можно не торопиться, а выпить чайку с домашним вареньем.

...Мы долго стучали в дом к Лесукову, пока не появился заспанный хозяин. Он повертел в руках наше удостоверение, явно ничего не понял, кроме того, что у людей удостоверение есть, и стал нас слушать.

Наконец что-то разобрав из наших объяснений, Лесуков поднялся, сказал: «А, книги», махнул рукой и повел нас на чердак. Здесь в пыли и грязи лежала небольшая стопка книг. Мы перебирали, а Иван Иванович пока приговаривал:

— Теперь немного осталось. Я как дом купил, их тут полно было, не повернешься. Ну, кой-что богомолкам отдал, приходили. А остальное пожег. Мне они ни к чему.

Мы извлекли из хлама и пыли настоящее произведение искусства. Это был объемистый фолиант поучений Василия Великого — византийского проповедника, одного из «отцов церкви». Рукопись была переписана на больших листах лощеной александрийской бумаги, изящным и четким полууставом. Таким четким, что Лесуков долго не мог поверить, что это рукопись, а не печатная книга.

Поучений было около сорока. Перед каждым вверху листа была помещена заставка из переплетающихся кругов — орнамента, который очень любили в XVI веке в книжных мастерских Троице-Сергиева монастыря. Мягкие, тускловатые цвета — желтый, голубой, салатный — кажутся особенно нежными рядом с рыжей густотой чернил. Все заставки одного стиля, но не найдешь и двух одинаковых — часами можно рассматривать книгу. Оставим это удовольствие на вечер.

— Неужели вы в самом деле жгли книги?

— Что я, обманывать буду? — обиделся Лесуков. — Это я вам точно говорю. Я сперва богомолкам отдавал, а они здесь трех вер. Так переругались из-за книг. Наговаривают мне друг на друга, еретицами ругаются. Я и плюнул.

— И много сожгли?

— Да десятков пять.

Простой расчет: из оставшихся шести книг одна была рукописной, причем редкой ценности. Из сожженных пятидесяти книг рукописных могло быть приблизительно восемь. Кто знает, какой ценности.

А сколько разошлось по старухам! Страшно подумать.

Нас огорчает не только то, что мы не смогли пополнить фонды библиотеки. Мы слишком хорошо знаем, что из книг, которые не удалось собрать сейчас, через десять лет сохранится не больше половины. Старообрядческая религия постепенно умирает, умирают ее служители, умирают верующие. Их наследникам не нуж-

на старинная книга. Но они не представляют себе, что, кроме культового значения, у нее есть и другое — научное. Как, впрочем, не представляет себе этого и большинство верующих старообрядцев. Что не переходит к другим верующим (гибель отсрочена, но опасность ее не ликвидирована), обычно уничтожается.

То сам владелец, чтобы книга после смерти не пошла «на посмеих», чтобы не играли ею дети, раздергивая по листику, чтобы не скручивали из них парни папироски-самокрутки, уничтожает книгу: сжигает, топит, завещает зарыть с собой в могилу.

То наследники избавляются от того, что считают старым хламом.

То книги оставляют в покое: уносят подальше, с глаз долой, туда, где они гибнут от сырости, от плесени, от мышей. Да мало ли от чего. От того, от чего гибнет все, брошенное на произвол судьбы.

И кто может сказать, что уже поггло, каких памятников литературы, каких произведений искусства мы уже лишились навсегда, чего никогда не прочитаем и не увидим.

### ИСТОРИЯ ОДНОГО ЛЕТОПИСЦА

Четыре дня мы без толку ходили по Курокше и окрестностям. Где мы только не побывали за это время! Но ни одной рукописи не прибавилось в списке наших приобретений. Казалось, надо переезжать на новое место. Все же приходилось еще поработать в Курокше: нельзя оставлять необследованные деревни. Вдруг там и лежит то, что нам нужно.

У нас оставалась последняя надежда: Чибисово. Там нам называли двоих — Наума Григорьевича Староверова и Ивана Ивановича Чибисова. В Чибисово мы и пришли на пятый день нашей курокшинской жизни.

Нау́м Григорьевич, старик лет восьмидесяти, с отрешенным видом сидел на крыльчке. Мы долго и тщательно объясняли, зачем нам нужны книги, для какого доброго дела они пойдут. Мы сыпали именами знакомых старообрядцев, рассказывали, как книги гибнут после смерти стариков, читали наперебой избранные места из рукописного Жития Евстафия Плакиды, которое мы носили с собой как наглядное пособие...

Лицо старика оставалось каменным. Мы начинали снова и снова.

Часа через полтора мы облегченно замолчали. Пауза длилась минут пять. Наконец старик поднял голову, усмехнулся и бесстрастным голосом спросил:

— И что же вы теперь будете делать?

Здесь дело было кончено.

Страшно было подумать, что надо начинать снова. Но что поделаешь!

И вот мы у избы Ивана Ивановича. Нас встречает замок. Вскоре прибегает милостивая женщина лет тридцати—тридцати пяти.

— Вам папу? Он во Владимир уехал, маму в больнице проведать. Завтра утром вернется. А на что он вам?

Мы рассказали.

— Что ж, книги у него какие-то есть. Приходите завтра. Вы в котором часу придете? В три? Он куда не уйдет, ждать вас будет.

Назавтра ровно в три мы были в Чибисове. Старик нас действительно ждал: в белоснежной косоворотке, тщательно расчесанный, с промытыми до синевы белыми кудрями и бородой, весь тихий и благостный, он сидел за столом. В избе все блестело: дочь тоже готовилась к приему гостей.

— У меня книг немного, я хоть и грамотный, да не очень начетный. Вот у брата моего родного, у Петра Иваныча Захарова, у того сундук книг был. Да теперь их нет. В пожар сгорели.

(Не удивляйтесь двум родным братьям с разными фамилиями: когда Иван Иванович в 1912 году был призван в армию, в роте оказалось два Захарова.

— Ты какой деревни? — спросил новобранца ротный. — Из Чибисова? Впредь будешь Чибисов.)

Не помню, сколько и каких печатных книг, вплоть до букваря издания 1937 года, мы перебрали, пока появилась рукописная книга. Хороший XVII век. Не евангелие, не триодь<sup>1</sup>, даже не жития. Мы и надеяться не смели — летописец. Вязью выведено заглавие: «Временник русский от Рюрика Варяжска по степеням».

Похоже на какую-то переработку Степенной книги — обобщающего труда по русской истории, созданного митрополитом Афанасием при Иване Грозном.

«Веселыми ногами» возвращались мы в этот вечер домой. И не знали мы тогда, какой ценной окажется рукопись, что купили мы у Ивана Ивановича Чибисова. Только в Москве удалось изучить наше приобретение.

«Временник русский» был известен лишь в четырех списках. Наш — пятый. Нет, это не переработка Степенной книги, а оригинальное произведение, созданное примерно тогда же, когда и наш список. Он древнее и исправнее всех известных. Один из его владельцев, еще в XVII веке, читал сразу две летописи — нашу и еще какую-то. И на полях отмечал разночтения. Например, летописец говорит о событиях в Золотой Орде: «Тогда же убиен бысть злочестивый Бердибек царь, а на царстве сяде Нулпай». А на полях читаем: «В ином летописце Кулла».

Таких записей множество. Они часто пространны. То поправляют деталь. То даже излагают новую версию события. И самое любопытное — часть этих приписок вошла в других списках в основной текст. Не был ли чибисовский летописец источником для них? Заманчивая мысль. Но, чтобы ее подтвердить или отвергнуть, надо еще много покопаться. Увы, на все интересные темы времени не хватает.

В наших ученых записках мы поместили подробное описание рукописи, дали фотографию... Пусть исследователь летописания займется этим сочинением. Мы свое дело сделали.

## НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Чибисовская удача была добрым началом. Кроме книги, Иван Иванович дал нам с десятков адресов по району. Уже на следующий день в Пискунове мы набрали на листок, где выцветшими водянистыми чернилами были записаны решения собора «христиан поморского законо-брачного согласия» из окрестных сел и деревень — из Чибисова, Пискунова, Мокрушина, Зверева... А сам собор состоялся «в богоспасаемом граде Курокше лета 7430-го», то есть в 1922 году!

Многое волновало в те бурные годы отцов-наставников. И «можно ли ходить в чайныя для питья горячей воды, хоша и со своею посудой», и как быть с девицами, которые водят хороводы, и с вернувшимися со службы красноармейцами, «принявшими камуниста», и можно ли употреблять сахарный песок и карамель. Кстати, ответ на последний вопрос был категоричен: «Песок принять, карамель — под запрещением». А в чайные гоже ходить нельзя — за это положено было наказание: триста поясных поклонов. Мы никак не могли взять в толк почему. Чай старообрядцам, понятно, пить было нельзя: его при Алексее Михайловиче на Руси еще не было. Но ведь речь идет только о горячей воде. С иноверцами общаться в еде и питье было нельзя. Но ведь люди идут со своей посудой. И все же суровый запрет.

Не знаю, как в других местах, но в центральной России сейчас от этой средневековой фанатичности не осталось и следа: и чай пьют (сами видели), и карамель едят, и в чайные ходят. Кстати, и сообщение в еде и питье с иноверцами бытует. Свои собственные дети и внуки — иноверцы, «мирские». А ведь с ними и едят и пьют.

И не только с ними. Как нас предупреждали! «К кержакам идете, к староверам, кружки воды не подадут, обмирщить побоятся...» Может быть, лет три-

<sup>1</sup> Триодь постная и цветная — сборники церковных песнопений соответственно на дни великого поста и на пасхальную и послепасхальные недели.

дцать — сорок тому назад так и было, но сейчас мы ничего подобного не встречали. Только иногда отказывались, старательно при этом извиняясь («закон не позоляет»), поздороваться с нами за руку.

Вероятно, в большинстве домов есть для гостя «мирская» посуда, но когда тебя сажают за один с собой стол, любезно угощают, то не все ли тебе равно, отдельно или нет будет потом мыть хозяйка твою чашку.

Более или менее твердо сохраняют старообрядцы два запрета: брить бороду и курить. Но и здесь возможны разные отклонения. Например, Павлин Иванович бороду бреет.

Да, горожане-старообрядцы бороды обычно отращивают уже на пенсии.

— Разве мог я в литейном с бородой работать? Всю бы попалило. Только два года как отпустил, — говорил нам один рабочий-пенсионер.

Некоторые и покуривают, но стесняются. Тот же пенсионер, когда я застал его слегка хмельного и с папироской, смущенно повертел головой:

— Табашник я, мне по-старому ноздри вырвать надо.

А в одной из деревень старообрядческий наставник, выходя на улицу, чтобы вести нас в моленную, привычным движением положил в карман пачку «прибоя»...

Листок с соборным решением был для нас не менее ценен, чем рукописи XVII века: от старообрядчества XX века, особенно времен революции, осталось так мало, а это интереснейшее явление еще ждет своего исследователя.

Мы внимательно вглядывались в подписи под листком. Вдруг знакомое имя: «Наум Староверов из Чибисова». Да, понятно, что тот, кто сорок лет тому назад запрещал карамель, сегодня презрительно молчал, пока мы рассыпались мелким бесом.

Впрочем, дело не кончилось листком с соборным решением. В том же Пискунове мы зашли к Игнатию Захаровичу Соколову. Я плохо помню сейчас внешность старика, смутно припоминаю ход наших бесед. Но результат был у нас в руках: сборник поучений XVI века, извлеченный из сырого подвала, где разместились тайная моленная.

На следующее утро мы пошли в Марково, к Порфирию Павловичу Синюхову.

Сначала нам везло: автобусом доехали до Козьмодемьянского, а оттуда до Маркова рукой подать. Порфирий Павлович растрогался до слез:

— Думал уж, не нужен никому. Спаси Христос Иван Иваныча, вспомнил обо мне, последнем во человецех, первом во грешницех.

Но книг, увы, не было. Лет десять тому назад Порфирий Павлович горел, книги спасти не удалось.

— А кроме меня, тут христиан нет, одни церковные.

Правда, старик дал нам новый адрес. Километрах в пятнадцати от Маркова, дальше от Курокши, живет старушка одна, Авдотья Николаевна. С ней он в Курокше на базаре разговорился.

— Ведь как в святых книгах все предвидено было! И что птицы железные полетят, и проволокой все опутают, и в церквях овощехранилища будут. Я ей это толкую, а она все знает. Очень умная женщина, христианка.

— Спасибо, Порфирий Павлович.

— А уж это вы не по-нашему. «Спасибо» говорить — нечистого тешить. Бо — ведь это идол такой был, языческий. «Спаси Христос» говорить надо. Или — «покорнейше вам благодарю».

Прошли немного по дороге в лесу, попили воды из колодца в деревне (благо складная кружка всегда с собою) — попутная подвернулась. Проехали с ветерком минут десять, отдохнули и опять пешком до следующей попутной. Часа за полтора до Привалова добрались.

Здесь везение кончилось. Как раз привезли хлеб, возле палатки стояла толпа женщин с мешками; среди них, вероятно, была и Авдотья Николаевна. Нам

оставалось только сидеть на бревнах у ее дома, ждать и разглядывать огромных свиней — почти единственных живых существ на улице села.

Приход Авдотьи Николаевны ничем не помог. Стоило добираться за тридцать земель, чтобы узнать, что она и не старообрядка вовсе, книг, а особенно рукописных, дома не держит. Да к тому же и вообще в Привалове «столоверов нынче вовсе нет. Какие были, те все примерли». В довершение всех бед последний автобус на наших глазах ушел за десять минут до срока. До курокшинской гостиницы, где мы остановились, оставалось тридцать пять километров...

Мы пошли. Рассчитывали, что в Козьмодемьянском найдем если не автобус, то хоть попутку. В десять мы проходили по Маркову. Дочка Порфирия Павловича увидела нас и предложила заночевать. Мы вежливо отказались. Тогда хозяйка вбежала в избу и тотчас выскочила с двумя свежими батонами в руках:

— Возьмите на дорогу.

Мы опять отказывались. Но тщетно.

— Что вы! Вы люди прохожие, в Курокшу придете — магазины закрыты будут.

Когда мы вошли в Козьмодемьянское, было одиннадцать часов вечера. Темень полная. Куда идти? Пешком в Курокшу? Еще пятнадцать километров, ноги уже не слушаются. Ночевать здесь? Где? У кого?

То и дело появлялись яркие огни фар. Шоферы аккуратно останавливались, спрашивали, куда нам ехать, отвечали: «Нет, мы только до поворотки» — и уезжали.

Мы съели один из двух батонов и уже решили стучаться в первую же избу, когда (было уже начало первого) возле нас остановился самосвал с дровами. Его шофер подвозил нас по пути от Маркова и не взял денег.

— А вы, товарищи, сами откуда?

— Сейчас из Привалова, а вообще из Москвы.

— Из самой Москвы? Нет, тут я вас не брошу. Я сам кандидат партии, не оставлю москвича на дороге.

Тесно уплотнившись, мы забрались в кабинку.

Мы не получили в тот день ни одной рукописи, но все равно было приятно, что свет и впрямь не без добрых людей.

## В НАГОРСКЕ

В этом живописном городке, стоящем на высоком обрывистом берегу Оки, заполненном домами отдыха и вишневыми садами, у нас был только один адрес: учитель русского языка и литературы Евгений Александрович Сыромятников. Одна сельская учительница, которая до замужества два года работала в Нагорске, рассказывала нам, что Евгений Александрович, ее «первый завуч», — большой любитель и знаток истории.

— Когда я со своими ребятами в Нагорск на экскурсию приезжаю, их Евгений Александрович всегда водит.

Приятно попасть во время экспедиции в дом к учителю, увидеть на стене не иконы, а Пушкина, поговорить, не заботясь ни о доходчивости, ни о тактичном отношении к вере, без всякой дипломатии с интеллигентным человеком. Первым таким интеллигентным человеком в Нагорске оказалась жена Евгения Александровича, учительница-пенсионерка.

— Евгений Александрович в школе. Вы его легко найдете. Пройдите вверх по площади, поверните направо и через три квартала увидите старый купеческий дом. Это и есть наша школа номер один. А то спросите — где тут Бугров дом, вам всякий скажет. Этот дом у Мельникова-Печерского описан.

По школьному зданию, заляпанному известкой и купоросом, раздавались зычные, хорошо натренированные голоса педагогов. Только ребячьих голосов не было слышно. Школу ремонтировала в свое личное время бригада учителей.



Мы никак не могли взять в толк, почему они должны в свой отпуск малярничать, пока их достаточно великовозрастные питомцы загорают на пляже. Трудно представить себе что-либо более антипедагогическое.

Вечером Евгений Александрович у себя дома, где стоял аромат десятков роз, росших в палисаднике, снабжал нас адресами. Нам очень повезло: родители Евгения Александровича были старообрядцами. В отличие от некоторых выходцев из старообрядческих семей, ставших интеллигентами, Евгений Александрович не стыдился своей родни и не смотрел свысока на тех своих сверстников и сверстниц, которые не получили образования и остались верующими. И это его симпатичное качество было полезно и нам: его знали и уважали повсюду. Привет от Евгения Александровича действовал почти магически. Неделя, проведенная в Нагорске и его окрестностях, — одна из лучших в нашей экспедиционной жизни. Нас всюду принимали без недоверия. Книги и показывали и отдавали охотно.

Почему-то больше всего нам попадалось «солевых» — нотных рукописей. Одна милая старушка долго и сокрушенно глядела на свой «Октай»<sup>1</sup>, сама с собой рассуждала:

— Уж я одна только в деревне и могу по солям петь, а одной — что за петьё? Отдам уж, что ли? Спою в последний раз.

Старуха запела. Мы было огорчились, что лишаем ее книги, но тут заметили, что она только делает вид, что поет по книге, а сама переворачивает страницу через каждые два-три слова.

Другая — верховодящая среди местных старообрядцев (нас долго предупреждали: «К ней так просто не придешь, а придете — ничего не получите»), оказалась веселой и ироничной.

— Вас и солевые интересуют? Не перевелись любители гнусавого старообрядческого пения?

— Вот если бы вы, Мария Дормидонтовна, дали нам эту книгу...

— И что тогда бы было?

— Хорошо бы было, — ответили мы единственное, что оставалось ответить. Старушка улыбнулась и отдала нам рукопись.

Лучше всего нам запомнилась бабушка из деревни Нижний Голец, вошедшей сейчас в городскую черту.

У нас есть правило: даже если нам уже показали, куда идти — мы спрашиваем дорогу у всех стариков и старушек: иначе можно разминуться. И увидев согбенную бабушку, которая шла от родника с бидончиком (на ведро уже не было сил), мы сразу подумали: не она ли?

— Не скажете, где здесь Авдотья Михайловна Бирюкова живет?

— А я она самая и есть. А вы чьи ж будете?

— После расскажем.

Мы помогли старухе донести ее небольшую ношу. Вросшая в землю и покоившаяся избушка в два оконца, дверь, которую из-за перекоса невозможно ни закрыть, ни открыть как следует, вместо кровати — сундучок, покрытый каким-то тряпьем, две колченогие табуретки; вся посуда — стеклянные банки из-под консервов...

— Чем же мне вас угостить, сыночки? А вы к кому взошли? А то могу и к себе пригласить. Верно, палаты у меня не царские, да все же как хорошим людям не услужить. А, вы в номерах. Ну, там, чай, лучше, чем у меня. Да вы садитесь, садитесь, вот грамотку-то почище подложу, — приговаривала Авдотья Михайловна, суетясь и застилая газетой табуретку.

От нашей помощи старушка наотрез отказалась и с большим трудом залезла на полати, где в каких-то коробочках лежали книги. Одна из них была нам нужна. Небольшая, в восьмерку, изящная нотная рукопись XVII века с элегантной заставкой так называемого «старопечатного» стиля. В ней поражала соразмерность всего: почерка, полей, скромных, неброских, сплошь черно-белых укра-

<sup>1</sup> Правильнее «Октоих» («Восьмигласник») — сборник церковных песнопений.

шений. В избушке Авдотьи Михайловны она выглядела бы случайно залетевшей гостьей, если бы не сама хозяйка: очень уж милая и по-настоящему благородная женщина.

— Возьмите, сыночки, коли вам нужно. Я уж стара, не читаю.

Нет, нельзя у этой старушки брать книгу бесплатно.

— Бабушка, мы вам заплатим хотим.

— Что вы, что вы, грешно святую книгу продавать.

— А вы и не продаете. Вы нам очень помогли, и мы хотели бы отблагодарить вас, купить что-нибудь, да времени у нас в обрез и боимся не угадать, что вам нужно. Вот мы и хотим дать вам деньги, чтобы вы сами себе, что пожелаете, купили.

— Да я все же опасуюсь, как бы греха не нажать.

С большим трудом мы буквально всунули деньги.

Прошло три дня, и мы снова шли мимо Авдотьиной избушки. Было солнечно, Авдотья Михайловна стояла в дверях и грелась. Мы поздоровались. Она заулыбалась:

— Я так рада, так рада, что вижу вас. Я ж еще нашла книги-то. Не знаю, подойдут ли.

Мы увидели несколько разрозненных листочков. Здесь был «духовный стих» об осаде Соловецкого монастыря — «Как во славном было царстве, во Московском государстве, не из царского-де роду выбирали воеводу...», — список любимого старообрядцами Слова Ипполита, папы Римского, о втором пришествии Христе и небольшая тетрадка с каким-то поучением о поминовении душ умерших.

Мы собирались взять все, чтобы только не обижать бабушку. Но, посмотрев внимательнее, убедились, что эту тетрадку надо не просто брать, а умолять отдать. Перед нами было оригинальное произведение старообрядца XIX века.

Плоть от плоти именитейшего российского купечества (ведь именно из старообрядцев вышли Морозовы, Гучковы, Рябушинские), автор нашего поучения говорил о делах загробного мира языком биржи.

Страшную картину рисует проповедник: к престолу божьему стекаются души тех, за которых не молятся их родные. Они грозно требуют отмщения: «О господи, накажи их! Если у них есть нива, побей ее, если у них есть капитал, отними». Затем те же обездоленные души обращаются к тем, за кого молятся: — Дайте нам займы ваша милосыни. Аще за ны будут молитися, и мы вам отдадим».

Да, за такую тетрадку не грех и заплатить. Но бабушка тверда:

— Что вы, мне и так боязно. Слишком уж много вы мне заплатили.

Мне стыдно написать, какая сумма показалась слишком большой Авдотье Михайловне.

Как правило, мы получали в дар большую часть рукописей, в том числе и очень ценных. Но редко их хозяева жили в такой бедности, как бабушка Авдотья.

Впрочем, если уж брали деньги, то легко. Иногда и торговались.

Покупка книги — всегда дело сложное и тонкое. Начать хотя бы с того, что мы обычно не можем сговориться, сколько платить. Только один раз за все экспедиции владелец, отпрыск старинного купеческого рода, разложил перед нами рукописи и вышел, чтобы не мешать нам спокойно обсудить цену.

А какова цена? Нетрудно определить, сколько стоит пара ботинок или пиджак. А как можно сказать, сколько стоит рукопись XVI века? Есть ли у нее вообще цена? Как только любую, самую высокую цену вы приведете в соответствие с ценами на «ширпотреб», получится вопиющая нелепость. Нельзя же в самом деле приравнять украшенное заставками Евангелие XVI века к шевиотовому костюму, а сборник поучений XVIII века — к нейлоновой рубашке!

Увы, можно негодовать по поводу этой нелепости, можно смеяться над ней (получится даже остроумно), но ничего нельзя поделать. За рукописи придется

платить теми же денежными знаками, что и за пиджаки и ботинки. И цена эта, конечно, только условная, по соотношению с другими рукописями.

Впрочем, в экспедициях приходится платить иначе, чем в Москве. Сами поездки стоят государству немалых денег. Вместе с зарплатой получается, что на одну экспедицию расходуется на двоих что-то около пятисот—шестисот рублей. Эти деньги нужно оправдать, значит, и платить дешевле, чем дома. Но главное не в этом.

Сегодня, например, мы купили за большие деньги рукопись XVI века. Это был сборник русских житий в интересных редакциях. Но это книжица малого формата, без украшений, без переплета, невзрачная на вид. И если завтра в той же деревне мы будем покупать роскошно и безвкусно украшенную богослужебную нотную рукопись XIX века, то с нас потребуют в лучшем случае столько же, сколько за рукопись XVI века. Разговоры да убеждения ничем не помогут. Это тоже надо учитывать.

Увы, слишком часто не удается посокрушаться, что не так платим — нет книг, деньги не расходуются.

### ИЩЕМ НАСЛЕДСТВО

Осенью 1957 года в нашу библиотеку пришло короткое письмо: «Тот человек умер. Приезжайте немедленно и забирайте все».

Командировочные были выписаны как никогда быстро — в два дня. Двое сотрудников уже на третий день были в Окатьева. Сойдя с автобуса, они прошли на окраину этого старинного городка. На обрывистом берегу одного из многочисленных здесь оврагов стояла изба Прасковьи Тихоновны, где и умер «тот человек». Заметили, как быстро отодвинулась занавеска, мелькнуло старушечье лицо в платочке, снова задернулась занавеска. На стук никто не откликнулся.

Трижды в этот день командировочные стучали в окна и двери избы у оврага, трижды стучали назавтра и уехали назад не достучавшись. Автор таинственного письма совершил ошибку: приезжать, пока не отметили сороковины, пока не минуло сорок суток, как преставился покойник, — верх бестактности. Увы, и библиотечные работники в своем нетерпении забыли о сороковинах.

«Тот человек» — это печник Авдей Иванович Жарков. И где бы в окрестностях Окатьева ни побывала экспедиция, всюду слышалось примерно одно и то же:

— Что были книги, так верно — были. Да все их Авдею Иванычу отдали. Их у него, чай, цельные сундуки.

— Печку мне Авдей Иваныч клал. Его печки всякий узнает — нет ладней жарковских. Я ему деньги, а он мне: «Не нужны мне они, меня и так добрые люди прокормят. (Пока печь кладет, его уж всегда кормят.) А вот книгу я у тебя видел древнюю. Вот ею благослови меня, добрый человек, коли не жалко». Так и отдал.

— Хворала я. Авдей Иваныч приходит, лекарство приносит, помолился со мною вместе. Глядишь, и поправилась. А совсем плоха уже была. А потом посмотрел на меня и говорит: «Отдай мне, Марья, книгу одну. Гранограф. Она у тебя праздно лежит. И сын ведь у тебя коммунист, того и гляди божественную книгу порвет». Что поделаешь, жалко было, конечно, — отцово благословенье, да как хорошему человеку откажешь.

Авдей Иванович, разумеется, знал о сотрудниках библиотеки, но встретиться с ним не удавалось: на месте он не сидел, в своей главной квартире в Окатьева бывал лишь изредка, да и избегал к тому же своих соперников. К избе Прасковьи Тихоновны подходили и тогда, раз даже видели на окне початую бутылку водки, но стук, как и раньше, оставался без ответа. Стало ясно, что при жизни Авдея Ивановича у него ничего не получить. Пришлось договориться с одним из местных жителей. Так появилось загадочное письмо.

Все это рассказали мне еще в Москве мои спутники, уже бывалые участники экспедиций. Теперь нам надо было отыскать Авдеево наследство.

Мы начали с единственного сына Авдея — Архипа. Профессию он унаследовал отцовскую, дома потому бывает редко, и застать его мы смогли только на второй раз. Живет Архип Авдеич бобылем, жены никогда и не было. Изба огромная, просторная, но вся в упадке. Странно обрублена стена — большой крытый двор Архип сжег в печке: однажды не запаса дровами на зиму. Только у него одного из всей деревни горит керосиновая лампа: пожалел денег на электричество.

Хозяин нас встретил мрачный:

— Я сам ничего вам не скажу. Надо к дяде Петру сходить.

Петр Иванович — брат покойного Авдея — живет рядом. Мы слегка побаивались этого непредвиденного осложнения. Но с дядей оказалось проще, чем с племянником. Старик был просто вне себя от радости, что о его брате помнят, интересуются его делами.

— Чем же мне вас угостить, ребятушки? Вот смороды не хотите ли? Красная, сладкая. С медком. Да вы кушайте, кушайте.

Начинаются воспоминания о брате. На глазах у Петра Ивановича слезы.

— Очень уж хороший человек был. С Архипом он давно не жил. Поссорился. Книги тогда Авдеюшка дома держал, а Архип их на подложке положил. Крыша прохудилась, книги дождем замочило. Увез тогда Авдей Иванович книги, почти все увез. Только два сундука оставил — некуда положить было.

Он ведь большой любитель был! Последнее продаст, а книгу или икону купит.

Мы с волнением слушали рассказ о старом печнике, энтузиасте-собирателе, восхищались его страстностью и бескорыстием. И тут же размышляли о его наследстве. «Книга на коже» — значит, пергаменная. А книги на пергамене обычно не моложе XV века. В XIV веке на Русь проникает бумага и к концу XV века полностью вытесняет более дорогой пергамен. «Княжеских времен» — значит, по крайней мере до 1547 года, до принятия Иваном Грозным царского титула. Опять выходит. Да и сам Авдей называл такой же возраст. Только здесь ли она, кожаная книга княжеских времен? В тех ли двух сундуках, что остались у Архипа?

Возвращаемся в избу Архипа. Пока хозяин возится с замками и отпирает кладовку, Петр Иванович продолжает рассказывать о брате:

— Очень он верующий был. Таких теперь и нет. А объяснял как хорошо! Вот как он про святых всем хорошо разъяснил. Я, конечно, не так хорошо скажу. К нам представители из района приезжают, говорят: у вас не один бог, а много. Николай Угодник — бог, Иоанн Предтеча — бог, Иоанн Златоустый — бог, Василий Великий — бог. Вы ж не господу молитесь, а святым. А Авдей так им отвечал: «Не-е-т, не так дело обстоит. Вот возьми к примеру, надо тебе в суд идти. Что ты судье? Знает он тебя? Как к нему подступишься? Боязно. Ты в городе, где судья живет, и поищешь земляка. Он и тебя поймет, и судья его знает, и с судьей он говорить умеет. Так и святые: люди они, слабость твою поймут, тебе перед ними не так страшно, как перед богом. А молитва их господу внятна. Мы ж не святым молимся. Мы так говорим: «Святой преподобный отче Сергие, Радонежский чудотворче, моли бога за нас, грешных». Мы земляков своих перед господом заступиться за нас просим». Вот как объяснял.

Трудно поручиться, что в те «княжеские времена», когда писались «кожаные книги», автора подобного благочестивого и одновременно поэтического объяснения не сожгли бы торжественно как еретика.

В конце рассказа Петра Ивановича Архип уже стоял, нерешительно переминаясь: все это он наверняка слышал не впервые, а сейчас ему хотелось скорее покончить с хлопотным делом, получить деньги и выспаться как следует.

Рукописных книг оказалось двенадцать. Да, не зря бродил по деревням Авдей Иванович, не зря мы искали его наследство: книги были сплошь редкостями. Два Евангелия XVI века с великолепными заставками, хрснограф — своеоб-

разный курс всеобщей и русской истории, составленный в XVII веке, сборники оригинальных русских житий святых... Всего не перечислишь. В цене мы сошлись без спора, даже получили в придачу мешок, куда сложили книги.

Вечером в гостинице мы говорили о покойном Авдее Ивановиче. Нам так и не довелось повидать его. А жаль. Это была фигура, редкая среди нынешних старообрядцев. Судя по всему, для него древняя рукопись и старинная икона были одновременно и святыней, и памятником старины, шедевром искусства. Синтез религиозного экстаза с благородной страстью коллекционера дал богатые плоды. Но собирать их нам было нелегко. Мы не знали, где же остальные книги Авдея Ивановича, где кожаная книга княжеских времен. Дорога снова вела нас в Окатьев, к домику Прасковьи Тихоновны.

После ночевки в маленьких «заезжих дворах» сельпо, после странствий по проселкам Окатьев показался нам столичным городом. В ресторане — эскалоп с тонко поджаренной картошкой, столики с накрахмаленными скатертями, в гостинице — вода, текущая из крана, на улицах — даже киоски с газировкой.

Город очень колоритен, весь изрезан оврагами, и все время идешь то по лестнице, то по мосткам. Резьбы на домах много больше, чем в деревнях, да она и позатейливее. А набережная Волги выглядит даже торжественно.

Мы просидели у Прасковьи Тихоновны три часа, стали для нее совершенно своими людьми. Она даже советовалась с нами, как лучше написать заявление о пенсии. И мы вполне поверили, когда услышали:

— Верно, хотел меня Авдей Иваныч своей святыней благословить. А я ему сказала: «Нет, недостойна я. Сын у меня безбожник, икону топором порубил, боюсь, не порвал бы книг».

— А кому ж он все отдал?

— Не знаю, не спрашивала. Слыхала, что в Ильинское старушке одной, по покойникам читает. Катей, кажись, зовут.

Что ж, в Ильинское так в Ильинское. Путь для одного из нас знакомый, побывал там три года назад в первой экспедиции. Но раз уж мы попали в Окатьев, надо поработать немного и здесь. Не без страха идем к спасовской наставнице Аграфене Кондратьевне.

Высокая и широкая старуха Аграфена приняла нас за проповедников веры. Ее маленькие глаза-щелки увлажнились. Она радостно сообщила, что сама отдала в соседнюю деревню Селезнево «святую книгу».

— Вы сходите, сходите, вам дадут, там христиане хорошие.

Наученные опытом с Венедиктом Константиновичем, мы попросили у нее рекомендательное письмо. Недоверчиво повертев в руках мою авторучку, Аграфена Кондратьевна вывела: «Евдокия Дмитривно, пишу вам, Петрова Агрофена Кондративно. Ест ли у вас сборник дома, которой у меня был, то покажите етим людям. Ити люди по нынешнему время очень дороги. Можити и дать им навсегда для душевного спасения. Петрова Агрофено Кондративно».

— Да, как же, для душевного спасения, — иронически сказала Евдокия Дмитриевна, прочитав послание. — Чай, в музей отдадите, а там, в глядилище том, в шапках ходят, книги божественные да иконы на посмеях выставляют.

— Да мы не в музее работаем, в библиотеке. У нас зал читальный. Туда люди эти книги читать ходят.

— Ну, полно.

— Да мы правду вам говорим. У нас там ведь много таких книг. Будете в Москве, приходите, посмотрите.

— Ну, полно.

Мы совсем отчаялись. Главное, книгу нам уже показали, мы знали, что там есть и повести, и духовные стихи, и заговоры. И заговоры замечательные. «Пойду спрошу у мертвых, у мертвых зубы и десны болят? У мертвых зубы и десны не болят. И у меня, раба божьего имярек, зубы и десны не болят же». Или «Заговор от бед-напастей, от злых человек, от колдунов-волхунов, от разбойников, от урощливых заугольников (кто они? не те ли, что живут в «урочищах» и напа-

дают из-за угла?), от ушильников, от двоезубов, от троезубов, от бабы самокрутки, от девки простоволоски». Как же получить книгу?

— Да вы посмотрите.— И мы даем хозяйке отгиск с описанием новых поступлений в отдел рукописей.— Вот видите, мы же о каждой такой книге пишем, чтобы ученые люди узнали, пришли, почитали.

— Ну вот я и говорю: чай, все спишете, да и потом смеяться будете.

Наконец Евдокия Дмитриевна начинает поддаваться. И тут, на нашу беду, в избу входит высокая старуха, истово крестится на иконы и к нам:

— А это чьи ж?

Мы начинаем сызнава. Старуха недоверчиво смотрит на нас.

— Молодые люди, я вас по-стариковски прошу: оставьте нам эту книгу. Нужна она нам очень. В том дому счастье, где эта книга живет.

Мы узнаем о книге удивительные вещи: ею и больных отчитывают, и беса изгоняют, она всегда по людям ходит.

Три часа мы уговаривали бабушек. Когда шли от них, даже не верилось, что книга с нами.

Назавтра выходим в Ильинское. Дорога идет через Столково. Заходим к старому знакомому — Герасиму Захаровичу Коноплянникову. Это человек ищущий. Был старообрядцем, разочаровался, ушел в единоверие<sup>1</sup>.

Разговор идет беспорядочный, сразу обо всем. Герасим Захарович намолчался и рад слушателям.

— Вот на днях с Еннафой Феофановной поругался. Совсем наши староверы заплутали. Я ей толкую: клятвы Московского собора 7174 году отменены и по правилам Третьего вселенского собора, и собора иже во Анкире...

Мы с трудом следим за нитью богословских рассуждений нашего хозяина.

— Я ей так и сказал: «Прах твой с ног моих отрясаю. Проклята буди еси и ныне и присно и во веки веков по правилом святых отец!» И ушел. Топерь скучно: поговорить не с кем. Спасибо, вы пришли. А скажите: книжку я читал про космогонические теории.— «Космогонические» он выговаривает с особым удовольствием.— У академика Шмидта — одна космогоническая теория, у академика Фесенкова — другая; да ведь еще Канта — Лапласа есть! И все космогонические теории разнствуют. Не могут ученые люди договориться. Так почему же не принять еще одну космогоническую теорию — из святой Библии? Молчите? То-то!

Открывается дверь, и в избу робко входит женщина:

— Дядя Герасим, я насчет косы, обещал отбить.

— Обещал — отобью, а сейчас занят. Не видишь — с людьми говорю! Вот ведь народ! Чуть что — к Герасиму. Я, видите ли, один здесь косы отбивать умею, вот и ходят. Ты подожди, подожди, часа через три зайдешь. А с матерью ее, с бабкой Лушей, что в тридцатом году было!..

Разговор хорош, но время-то идет. Пока солнце все выше, а потом, глядишь, пойдет все ниже. А дела еще нет.

Об Авдеевом наследстве Герасим Захарыч ничего не знает.

— Только вот что. Вы как в прошлый раз у меня были, книгу я вам дал. А потом мне сосед Лука Семеныч пенял: зачем, мол, ко мне не послал, у меня тоже книга есть. Я на него, признаться, и не думал — совсем уж не грамотей. Небось от кого по наследству досталась.

Лука Семеныч столярничал на улице возле избы.

— Хорошо, что пришли. Книга есть, а мне ни к чему: я аза в глаза не видал, все больше по столярной части.

Рукопись оказалась растрепанной, богослужебной, но зато древней — XVI века. Надо же нам было, уже получив книгу, согласиться на любезное предложение попить кваску!

В Ильинском мы были часов в пять. Жара уже спала. Вся деревня — на

<sup>1</sup> Единоверцы — небольшая группа; придерживаются старых обрядов, но не считают еретическими новые и признают власть церковных иерархов.

улице. Во главе одной из групп, устроившейся на бревнах, торжественно восседал Игнатий Артемьевич, старый знакомый экспедиции, последний единоличник.

Он не сидел, а именно восседал почтенным патриархом, в окружении стариков и старух. У «прогона», что вел в деревню, висела явно написанная им табличка: «По деревнѣ на улицахъ не курить».

Нет, Авдей Иваныч не бывал никогда в этой деревне. Это, верно, другое Ильинское.

Мы показываем наше приобретение. Старики оживляются, внимательно рассматривают, охают, удивляются, когда мы говорим, что книге этой лет 370—380. Каждому хочется подержать в руках такую редкость. Маленькая беззубая старушка радостно шамкает:

— А у меня татая же есть.

— Да откуда у тебя книга, Прасковья? Ведь отроду ты неграмотная, и отец с матерью у тебя неграмотные.

— Говорю, татая же. Как моленную разоряли, я ночью подобралась — мне тогда еще только пятьдесят было, помоложе была да посмелее, — да и десяток книг-то унесла. Потом ко мне многие приходили, брали христиане — и в Столково брали, и в самый Окатьев, и в Перуново, всюду брали. А одну-то не взяли: говорят, не очень внятно писана, связано как-то, не прочитать. А мне помирать пора. Боюсь, после меня на посмех пойдет. Хотела уж сжечь. Да вот как свет проводили, монтеры у меня жили. Так они говорят: «Ты, бабушка, эту книгу береги, она старинная, может, кому и пригодится». Как думаешь, Игнаша, отдать им книгу-то?

— Дело твое, Параша.

— Ну коли так, на твоей душе грех. Отдам.

Спасибо вам, неизвестные монтеры, что сохранили для нас рукопись XV века, самое древнее, что мы привезли из экспедиции.

Кожаную книгу мы не нашли. Ее еще предстоит отыскать. Кто знает, кому и когда, но хочется надеяться, что предстоит. А две другие, неожиданные, — с нами. Так что не зря ходили в не то Ильинское через Столково.

## ОТКРОЙТЕСЬ

— Мне ваша цель теперь ясна, — важно и отчетливо проговорил семидесятилетний Феодул Савинович. Помолчал и повторил: — Ясна мне ваша цель. Это — атеистическая пропаганда.

Стоило нам два часа сидеть в его избе, растолковывать, кто мы и откуда, чтобы нас приняли за маскирующихся пропагандистов!

Это было в одной из самых тяжелых наших экспедиций. В официальном отчете дирекции мы по окончании писали: «Серьезно затрудняла работу экспедиции озлобленность верующих старообрядцев в связи с неудачным характером атеистической пропаганды в избранном районе, заключающейся зачастую в административных запретах и оскорблении религиозных чувств верующих». За этой скучной, как и положено в официальном отчете, фразой — изнурительные своей почти полной безрезультатностью десятки километров исхоженных проселочных дорог, томительные часы разговоров с не доверяющими нам людьми, всего двенадцать рукописей за три недели (а ведь бывало и по пятьдесят!).

— Вы мне вот что объясните, — говорил Феодул Савинович. — Вы эти книги собираете, а власть их отрицает. Как же так? Ко мне недавно двое из района пришли. Говорят: «Брось ты, дед, эти глупости. Ведь бога-то нету». — «Вы говорите, нету, а я — есть». — «А зачем у себя дома народ собираешь? В районе церковь есть, туда и ходи». — Феодул Савинович гневно простирает руку: — Да я лучше вот эту руку дам отрубить, чем в церкву еретицкую пойду.

Районный «представитель» не понимал, что пропагандирует не атеизм, а православие.

Вот почему напрасно мы убеждали Феодула Савиновича, что занимаемся наукой, что книги нам нужны, чтобы узнать, как раньше жили люди. Наш хозяин хмуро смотрел и наконец сказал:

— Да вы небось из района, узнаете, кто ходит богу молиться, да с пенсии и сымете.

— Что вы?!

— Ну-ну, ничего, не обижайтесь, это я так, в шутку,— примирительно сказал Феодул Савинович.

Увы, мы знали, что не в шутку. Накануне мы заходили в поссовет. Немолодая усталая женщина с добрым лицом, председатель, любезно снабжая нас сведениями о старообрядцах в окрестных деревнях, вдруг, к нашему удивлению, произнесла:

— Упорные они. Я уж одному из них, Ивану Мокрушину (тяжелый он, не нашего воспитания человек) сказала: «Не перестанут к тебе ходить молиться — с пенсии съемем». — И увидев, как нас непроизвольно передернуло, добавила: — Не знаю, может быть, и неверно я сказала.

Но все же постепенно лед, казалось, растаял. Феодул Савинович уже не смотрел на нас волком, пригласил пообедать, показывал сад и клятвенно уверял, что книг у него просто нет:

— Кабы были, то, конечно, с радостью. Как хорошим людям не дать? Да вот беда, нет.

— А вы не посоветуете, у кого еще спросить можно?

Старуха, видно, приняв слова мужа за чистую монету, назвала одного из соседей. Но тут Феодул Савинович, не стесняясь гостей, рассвирепел:

— Зачем людей подводишь? Мало тебе, что ли, что к нам пришли?

Мы снова начали рассказывать, для чего нам нужны рукописи. Феодул Савинович внимательно слушал, потом прервал:

— Вы уж извините, если не так скажу. Откройтесь все же, зачем книги собираете.

Мы повторили все сказанное. Старик помолчал и удовлетворенно произнес:

— Понял. Это как при Никоне-патриархе: соберете все книги и будете их передельвать.

Мы начали объяснять снова. Оттиск с описанием новых поступлений Феодул Савинович принял, вероятно, за преискурант...

— Понял. За границу продавать будете.

— Да нет же!

— Так зачем же тогда собираете? Откройтесь.

Пора «открыться» и мне.

Конечно, ездить за рукописями интересно: новые места, встречи со своеобразными людьми. Появляется даже нечто вроде охотничьего азарта. Но какова цель наших экспедиций? Зачем мы стараемся обойти как можно больше сел и деревень, почему на работе с таким нетерпением ждут посылок и бандеролей с обратным адресом: «Экспедиция отдела рукописей. Город Н. Проездом»? Зачем вообще нужны теперь древние рукописные книги? Этого не скажешь в двух словах.

Мне часто кажется, что чувство истории — одно из важнейших человеческих чувств. Мы тем и люди, что живем не только сегодняшним днем. Ущербен человек без детских воспоминаний. Не вправе и человечество забывать свою историю. Знать, что было до меня на той земле, где я живу, — одна из благороднейших потребностей человека. Вот, кстати, почему свести историю к социологии прошлого, отвести факту роль лишь доказательства концепции — значит, как мне кажется, убить историю. Нам дорог факт истории не только потому, что он позволяет вывести из него в совокупности с другими основные закономерности развития человеческого общества. Нет, он и сам по себе культурная ценность.

А каждая рукописная книга — это факт истории. Так как она всегда уникальна. Какой тираж выйдет из-под печатного станка — пятьдесят, пятьдесят ты-



сяч или пятьдесят миллионов — дело техники. Но без автографа или посвящения, без помет читателя на полях все экземпляры одного тиража — близнецы.

С годами чувство удивления притупилось. Пришел профессионализм. Но я хорошо помню, как аспирантом я впервые пришел в читальный зал отдела рукописей. Конечно, я деловито разносил на карточки нужные для диссертации сведения, но все же долго не мог перестать удивляться, что через этот бумажный лист я вплотную прикасаюсь к средневековью.

Это трудно постичь до конца. Я смотрю на свет и вижу сетку продольных и поперечных полос — вержеров и понтюзо, а посередине бычью голову с острыми рогами. Но ведь эту самую сетку-основу, этого самого быка выкладывал из проволоки в XVI веке на бумажной мельнице где-то в Шампани или в Безансоне мастер в кожаном фартуке.

Я читаю текст. Но ведь каждая буква — это след движений руки человека, жившего во времена Ивана Грозного. На сотни лет запечатлелся он на бумаге.

А через сколько рук прошла книга. Любимое чтение для одного, гордость коллекции для другого, насущная религиозная потребность для третьего... Кто оставил владельческую запись, кто — пометку на полях, кто — как будто ничего. Но ведь тоже читал книгу, держал в руках.

Одного этого было бы достаточно, чтобы с почтением отнести к старинным листам. Они всюду хранят следы чужой, но становящейся близкой жизни.

Доска переплета из липы, срубленной сотни лет тому назад; обтягивающая ее кожа, покрытая сложным тиснением, — такая же древняя. Застывшая капля воска на листе. Если ее сквырнуть и размять в пальцах, она обретет прежнюю мягкость. Словно не прошло нескольких сот лет с того дня, когда капнула она со свечи, горевшей в тесной и дымной келье переписчика или читателя книги.

Можно долго представлять себе, как тщательно точил писец свое гусиное перо, как настаивал в воде чернильные орешки, добавляя туда для густоты ржавых гвоздей, и с волнением ждал результата, как проводил на бумаге шильцем едва заметные линии при помощи карамсы — рамки с натянутыми жилами, чтобы строчки получились ровными...

Иногда прочитаешь запись, оставленную переписчиком на одном из листов, и обожжет прикосновение к чужой беде. Помню одну такую — на Евангелии XVI века. Писец по обычаю просит прощения за возможные ошибки и прибавляет, что «глад был тогда велик в Русской земле. За медлел есмь в сердце моем. Коли ел, коли не ел».

По рукописным книгам мы можем себе представить внутренний мир, круг интересов и знаний образованного человека русского средневековья. Он читал в Хронографе о Юлии Цезаре и Навуходносоре, об открытии Колумбом Америки и людях с песьими головами, размышлял о знаках Зодиака и «кругах солнца», углублялся в суть богословских споров в Византии III—IV веков и задумывался над пределами свободы воли — «самовластием» человека. Его любимым чтением была превращенная в христианское житие древнеиндийская повесть о царевиче, ставшем пустынноиком, и биография Александра Македонского. И, вероятно, с еще большим волнением он читал о трогательном прощании рязанской княгини Агриппины с мужем, отправлявшимся на верную гибель в бою с Батыем, и о другой рязанской княгине — Евпраксии, которая, как рассказывает то же поэтическое сказание, чтобы не попасть в гарем чужеземного владыки, «ринуся из прывысокого терема своего с сыном своим князем Иваном на среду земли. И заразися до смерти». Отсюда, говорит легенда, и Зарайск — Заразск древней Руси.

Сколько поэзии в рассказе о том, как княгиня Агриппина при прощании «безгласна бысть, яко мёртва, держама некими. Слезам же ее гекущим, яко источнику, изо очю ея. Рече ж великий князь: «Прости мя, горлица, супруга милая моя, иду бо чашу смертную пити». В ответ же на горькие рыдания княгини великий князь «утешив ю мужественными словами и утешив надеждою благ вечных и объём ю, даде ей любезное последнее целование».

Прощание женщины и воина, которым никогда больше не увидеть друг друга, — вот уже тысячелетия эта сцена волнует читателя, и перестанет ли когда-нибудь волновать?

Разные люди читали эти книги, к разным приходили и выводам для себя. Воевода и дипломат Федор Иванович Карпов четыре с лишним столетия тому назад написал строки, которые словно вышли из-под пера нашего современника: «Милость без правды — малодушество есть, а правда без милости — мучительство».

Всего через несколько десятилетий грозный царь Иван Васильевич, человек, не менее Карпова начитанный, «словесной премудрости ритор», целыми «паремьями» цитировавший на память Библию и «отцов церкви», создал наиболее законченную формулу деспотизма: «Жаловати есмя своих холопей вольны, а и казнити вольны же».

До XVIII века, кроме богослужебных книг, практически все русские книги были рукописными. Печатные были на первых порах очень дороги, гораздо дороже рукописных. И печатали только те книги, где особенно важна точность каждой буквы, каждого слова, — богослужебные.

Кстати, и изучать печатные книги помогают рукописные. Все знают, что первой книгой, которую напечатал Иван Федоров, был «Апостол» — Деяния и Послания апостольские. А какой перевод из ходивших по Руси он выбрал? Тщательное сравнение первопечатного «Апостола» с рукописными показало, что Иван Федоров выступил не только как первопечатник, но и как редактор, стремившийся приблизить к живой речи тяжелый язык церковных книг.

Впрочем, древнерусская книжность — тема большая, говорить и писать об этом можно бесконечно. Важно лишь, чтобы было ясно, что собирание древнерусских рукописей — это не чудачество, а важное для отечественной культуры дело.

Когда мы возвращаемся из экспедиции, то редко можем назвать какую-нибудь одну рукопись вроде «Великого зеркала» или чибисовского летописца, которая была бы сама по себе исключительно ценной. И все же мы не унываем.

П. П. Вершигора писал о чувствах разведчика, в руках которого оказался чемодан с военными документами врага.

«Наверное, здесь весь план войны, и, узнав его, я сразу поставлю врага на колени», — честолюбиво думает разведчик, вчера только взявшийся за это дело.

«Может быть, я добыл план важной операции фронтового масштаба?» — с надеждой раздумывает разведчик этак с полугодичным стажем.

«Возможно, я достану документы, и они, подкрепленные еще другими данными, помогут моему командованию распутать сложную цепь замыслов противника?» — мучается сомнениями опытный разведчик, знающий толк в своем деле.

Как похоже на нас! Вначале мечтаешь: найдем рукопись, а в ней такое открытие, что наши дотоле неизвестные имена окажутся навеки вписанными золотыми буквами в историю отечественной науки. Походишь немного — и уже боишься поверить, что найденная рукопись в комплексе с другими, уже известными, окажется ценной для исследователя, обернувшись через несколько лет двумя-тремя строками петита в сноске объемистой монографии.

## НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Я много рассказывал друзьям о своих впечатлениях об археографических экспедициях, в которых мне приходилось участвовать. Кое-что казалось интересным не только для специалиста по культуре древней Руси. Нам удалось заглянуть в уголки исчезающего мира, в старообрядческую Русь, увидеть смесь фанатизма и практической сметки, крестьянской патриархальности и купеческой хитрости.

Некоторые из друзей утверждали, что об этом стоит написать. Наиболее вежливые прибавляли, что я должен и даже обязан написать об этом. В конце концов я им поверил.

Сейчас мне и самому кажется, что эти записки нужны. Конечно, профессионал-литератор справился бы с ними лучше. Но ни в одной из известных мне экспедиций за рукописями не было писателей.

Все, что здесь описано, было. Но так как речь идет о живых людях, не дававших разрешения на то, чтобы их имена появились в печати, все без исключения фамилии, имена, отчества и названия населенных пунктов изменены.

Отдавая на суд читателя эти беглые зарисовки с натуры, я хотел бы закончить их обычной формулой древнерусских книжников:

«Аще где в книге сей грубостию моею пропись или небрежением писано, молю вас: не зазрите моему окаянству, не клените, но поправьте, писал бо не ангел божий, но человек грешен и зело исполнен неведения».



---

---

ЧЕЗАРЕ ПАВЕЗЕ

★

## ЛУНА И КОСТРЫ

*Повесть*

*Чезаре Павезе (1908—1950) — один из самых известных писателей послевоенной Италии. Перу Павезе принадлежит несколько стихотворных сборников, повести «Прежде, чем пропоет петух» (1938—1939), «Пляж» (1942), «Товарищ» (1946), «Дом на холме» (1948) и другие.*

*Повесть «Луна и костры», которую мы публикуем, была написана Павезе за несколько месяцев до его трагической смерти и стала одной из самых известных и значительных книг в современной итальянской литературе. До сих пор этот своеобразный художник был известен у нас лишь отдельными стихотворениями и повестью «Товарищ», вышедшей на русском языке в 1960 году.*

*For C.*

*Ripeness is all!*

### I

**Д**олжна же быть причина тому, что вернулся я в эту деревню — сюда вернулся, а, скажем, не в Канелли, в Барбареско или в Альбу. Бог знает, где я родился, но почти наверняка не здесь: нет в этих местах ни родного мне дома, ни родного клочка земли, ни родной могилы — ничего такого, чтобы я мог сказать: «Вот я откуда». Кто его знает, где я на свет появился — в горах, в долине, в лесу или в господском доме. Может, женщина, бросившая меня на ступеньках собора в Альбе, и не была деревенской, может, она дочь владельца замка; может, меня притащили в корзинке для винограда две бедные старухи из Монтичелло, или из Нейве, или, почем знать, даже из Краванцаны. Кто может сказать, чья во мне кровь? Я немало бродил по свету и знаю, что люди везде хороши, везде стоят друг друга, где бы ни родились, но рано или поздно устаешь мыкаться как неприкаянный и тянет пустить корни, смешаться с деревней, с землей, чтобы жизнь твоя обрела смысл и память о тебе не исчезла с приходом новой весны.

А вот рос я здесь, в этой деревне, и за это спасибо Виржилии и Крестному, которых уже нет на свете, хоть они меня взяли и вырастили лишь потому, что приют в Александрии платил им за это помесечно. Здесь, на этих холмах, сорок лет назад жили бедолаги, которые за пять золотых лир готовы были растить, кроме своих ребятишек, пащенка из городского приюта. Иные брали девочек — вырастет, глядишь, у тебя и прислуга послушная, — а Виржилия решила взять меня: у них и так были две девчонки, и они мечтали, когда я подрасту, обзавестись большой сыроварней, работать всем вместе и жить в достатке. Крестный в то время имел в Гаминелле домишко и хлев, козу и орешник над самым берегом реки. Я подрастал вместе с девчонками, мы воровали друг у друга лепешки, спали

---

<sup>1</sup> Посвящается К. (Констанс Даулинг — американская киноактриса). Здесь и далее примечания переводчика.

В зрелости — все (англ.).

на одном мешке с сеном; старшей, Анжолинс, было на год больше, чем мне; лишь в ту зиму, когда умерла Виржилия — мне тогда было десять,— я случайно узнал, что не брат им. После этой зимы рассудительная Анжоллина уже не бегала с нами в лес, не слонялась по берегу, а хозяйничала в доме, пекала хлеб, делала козий сыр, сама ходила в мэрию получать за меня деньги; а я хвастался перед Джулией, что мне цена пять лир, а от нес никакого дохода, и спрашивал у Крестного, почему он не берет в дом других сирот.

Теперь-то я знаю, что мы были нищими, потому что только нищие берут из приюта детей. Но в те времена, когда я бегал в школу и меня дразнили ублюдком, я думал, что это просто ругательство вроде подлеца или бродяги, и не оставался в долгу. Но я подрос, мэрия перестала платить за меня пять лир в месяц, а я все еще не понимал, что раз я не сын Крестного и Виржилии, значит, и родился я не в Гаминелле, появился на свет не в орешнике, не из уха нашей козы, как обе девчонки.

В прошлом году, впервые возвратившись сюда, я чуть ли не тайком отправился взглянуть на орешник. Вьется по холму Гаминелла река, тянутся по склонам виноградники, вершина плавно уходит вдаль, и там, на самом верху, снова виноградники, леса, тропы. Зима в тот год словно ободрала склоны, обнажила корни деревьев. В ясном и ровном свете хорошо виден протянувшийся до самого Канелли холм — там кончается наша долина.

По тропке вдоль берега Бельбо добрался я до мостка у камышей. Отсюда видеть сложенную из больших почерневших камней стену домишка, искривленный ствол инжирного дерева, окно. Я вглядывался и вспоминал: до чего же суровы здесь зимы. Но поля и деревья вокруг переменились: там, где прежде темнел орешник, теперь — по стерне видать — сеяли сорго. Из хлева донеслось мычанье вола, в холодном вечернем воздухе запахло навозом. Значит, те, кто живет здесь теперь, были уже не такими голодранцами, как мы. Я всегда боялся, что здесь все переменится, думал — может, и дом уже раззалился. Сколько раз я представлял себе, как буду стоять здесь, на мостике, и спрашивать себя: неужели я мог столько лет прожить в этой дыре, шагать по этим тропкам вслед за козой, подбирать скатившиеся к берегу яблоки и верить, что мир кончается за крутым поворотом дороги к реке Бельбо? Но мог ли я подумать, что не застану орешника? Раз его нет, значит, всему конец. Это так меня огорчило, что я никого не окликнул, даже не заглянул на ток. Вот тут-то я понял, что значит родиться не здесь, не знать, покоится ли в здешних могилах родной тебе прах, не быть кровно связанным с этими местами, не врасти в эту землю корнями так прочно, чтобы тебя не могли смутить любые перемены.

На склонах холма темнели пятна других орешников, и там я снова мог бы обрести себя. Да будь я хозяином на этом клочке земли у берега, я, может, и сам выкорчевал бы лощину и посеял сорго. Все так, но вот не стало орешника, и я почувствовал себя здесь неприятно, как в комнате, что снимаешь в городе: жил человек в ней то ли день, то ли годы, а уехал — остались голые стены, мертвая, пустая скорлупа.

Хорошо еще, что в тот вечер, став спиной к Гаминелле, я увидел прямо перед собой, по ту сторону реки, холм Сальто — большие зеленые луга тянулись до самой вершины. А ниже — сплошь виноградники, и вьется меж ними река, и темнеют купы деревьев, и любая тропинка, любая из разбросанных по холму усадеб точь-в-точь такие, какими я видел их изо дня в день, из года в год, сидя на бревнышке у дома или на перилах мостка. И когда Крестный, продав дом в Гаминелле, отправился с дочками в Коссано, а я до самого призыва батрачил на ферме в Море, по ту сторону Бельбо, где такая добрая земля,— все эти годы, стоило мне оторвать глаза от пашни, я видел, как сверкают в лучах солнца виноградники Сальто на спуске к Канелли, у железной дороги, где вечером и утром мчались вдоль Бельбо поезда и паровозный гудок говорил мне о чудесах, о горьках и вокзалах.

Хоть и не здесь я родился, а эта деревня долго была для меня всем миром. Теперь, когда я на самом деле повидал свет и знаю, что весь он из маленьких деревень, выходит, что мальчишкой я не так уж ошибался. Я вдоволь шатался по чужим морям и землям, которые манили меня к себе, как праздники в окрестных деревнях манили парней, — они выпивали, плясали, дрались и героями возвращались домой в садинах и синяках.

Здесь, в наших местах, выращивают виноград и продают его в Канелли, собирают трюфели и относят в Альбу. А Нуто, мой друг из Сальто, снабжает дачными прессами и чанами всю долину до самого Камо. Что я хочу этим сказать? Значит, деревня нужна — хотя бы для того, чтобы тебе захотелось из нее уйти. Есть деревня — значит, ты не один, значит, в людях, в растениях, в самой почве есть что-то твое, и оно остается и ждет тебя, даже когда ты далеко. Но как трудно обрести покой. Вот уже год, как я приглядываюсь к деревне, удираю сюда из Генуи при первой возможности, но она все ускользает от меня. Многого начинаешь понимать с годами, с опытом. Неужели же в сорок лет, объездив весь свет, я не пойму, что такое моя деревня?

Кое-что мне мешают. Здесь все вбили себе в голову, что я приехал купить себе дом, зовут меня Американцем, выставляют напоказ своих дочерей. Такому человеку, как я, который, когда уезжал отсюда, даже имени своего не имел, это должно бы нравиться, да мне и на самом деле приятно. Но мне этого мало. Мне и Генуя нравится, нравится знать, что земля круглая и что я всегда одной ногой на палубе.

С тех пор, как я, еще мальчишкой, опираясь на мотыгу у изгороди в Море, прислушивался к болтовне проходивших по дороге бездельников, с тех самых пор холмы Канелли стали для меня воротами в мир. Нуто, который не в пример мне никуда не уходил из Сальто, говорит, что жить в этой долине может лишь тот, кто отсюда не уезжал. И это говорит Нуто, который молодым парнем играл на кларнете и бывал со своим оркестром далеко за Канелли, в той стороне, где всходит солнце, — даже в Спиньо, даже в Оваде. Мы порой вспоминаем об этом, и он смеется.

## II

В это лето я остановился в гостинице «Анжело», что на площади; тут, в деревне, меня не знают, да кто и знал, не узнал бы. И я никого здесь не знаю, в свое время редко сюда заглядывал — бывало, день-деньской проводил у реки, на току, на дороге. Деревня забралась высоко в горы, отсюда быстрым водам Бельбо, обогнув сельскую церковь, не меньше получаса бежать до моих холмов.

Приехал я сюда отдохнуть на полмесяца, а тут как раз храмовой праздник, августовский день богоматери. Тем лучше — в деревне полно пришлого народа. Тут и негра за местного примут. Шум, гам, песни, где-то гоняют мяч, а стемнеет — фейерверк, хлопушки. Но вот кончилось шествие, все выпили — ночь и еще три ночи кряду танцует вся площадь; гудки машин, вселые рожки, трескотня выстрелов в тире. И все, как было когда-то: и гофон тот же, и то же вино, и лица те же. И мальчишки, что снуют под ногами у взрослых, и упряжки волов, и запахи духов и пота, и пестрые платки, и чулки на дочерна загорелых ногах женщин — все, как было когда-то. И чья-то беда, и чье-то веселье, и обещания на берегу Бельбо. Все, как было когда-то. Разве что тогда, зажав в кулак два сольдо из первого своего заработка, я ринулся в гущу праздничной толпы, пробился к тиру, к качелям, вместе с другими ребятами дразнил девчонок с косичками, доводя их до слез, и никто из нас не знал еще, почему мужчины и женщины, напояженные парни и разодетые девушки тянулись друг к другу, брались за руки, смеялись и танцевали, прижавшись друг к другу.

Новым было лишь то, что теперь я знаю все, а те времена прошли. Я ушел из этой долины, когда только начал кое в чем разбираться. А Нуто остался. Нуто — плотник из Сальто, мой старый приятель, с которым мы вместе удирали в Канелли, потом он еще десять лет играл на кларнете; без него здесь, в долине, ни один

праздник не обходился, мир был для него постоянным праздником, он знал всех выпивох, всех циркачей, всех заводил на деревенских гулянках...

Вот уж год, как я стал ездить в эту деревню, и каждый раз захожу к нему. Дом его на склоне Сальто, окна выходят прямо на дорогу; тут пахнет свежей древесинной, цветами, стружками; когда я прибежал сюда в первое время из Моря, мне, вырвавшемуся из хлева или с гумна, казалось, что здесь другой мир: здесь веяло дорогой, музыкой, виллами Канелли, городом, где я тогда еще ни разу не был.

Нуто теперь женат, и кларнет он повесил на шкаф. Он теперь человек самостоятельный, работает, дает работу другим, но живет все в том же доме; здесь в разогретом солнцем воздухе пахнет геранью и олеандрами — горшки с цветами и перед домом, и на подоконниках. Шагаешь по стружкам, их корзинами сваливают на берегу пересыхающей летом речки, где растут акации, бузина, папоротник.

Нуто сказал мне, что ему пришлось выбирать — музыкант или плотник, и вот после смерти отца кончился десятилетний праздник, и кларнет был отложен в сторону.

Я рассказал ему, где побывал, и он мне ответил, что кое о чем уже слышал от людей из Генуи и что в деревне поговаривали, будто перед отъездом я нашел горшок с золотыми монетами под сваей моста. Мы посмеялись.

— Может, теперь у меня и отец объявится, — сказал я.

— Ты сам себе отец, — сказал он.

— Вот уж чем хороша Америка — все там пашенки, — ответил я.

— И с этим тоже пора кончать, — заметил Нуто. — Не должно быть таких, у кого ни имени нет, ни дома. Разве они не люди?

— Брось... Я вот и без имени пробился.

— Ты пробился, — сказал Нуто, — с той-ой об этом никто и заговорить не посмеет; а как с теми, кто так и не вышел в люди? Ты не знаешь, сколько еще в наших местах несчастных. Ходишь, бывало, с оркестром из деревни в деревню — у каждой кухни ждет подачки то придурок, то и впрямь идиот или просто калека. Отец алкоголик, мать неграмотная в прислугах, дети растут на сухарях да на кочерыжке капусты. А другие еще над ними подшучивают. Ты пробился оттого, что хоть в чей-то дом попал: как ни плохо кормил тебя Крестный, а все же кормил. Нельзя говорить: пусть и другие пробиваются, — помочь им надо.

Мне нравится беседовать с Нуто, теперь мы взрослые и друг с другом на равной ноге; а прежде, когда я жил на Море, работал в усадьбе, Нуто — он старше меня на три года — уже играл на кларнете и на гитаре, ему каждый был рад. Каждый готов был его послушать, он и со взрослыми толковал, и женщинам подмигивал. Я еще в ту пору за ним следом ходил и не раз удирал из поместья побродить с ним по берегу Бельбо — мы всё птичьи гнезда искали. Он учил меня, как добиться, чтоб меня уважали на Море, а вечерами приходил к нам во двор, сидел с нашими.

Теперь он рассказывал мне о своей музыкантской жизни. Деревни, где он побывал, — вокруг нас; днем они сверкают на солнце, зеленеют, а ночами — как звездные россыпи на черном небе.

Субботними вечерами он под навесом на станции обучал других музыкантов из оркестра. Веселые и бодрые, они отправлялись на праздник, ну, а там уж дня два-три ни рта, ни глаз не закроешь; отложишь кларнет — бери стакан, покончил со стаканом — вилку бери, потом снова кларнет, рожок, трубу, потом снова ешь, знай себе ешь да пей; днем перекусишь, вечером ужин, потом гуляй до зари. Праздники, церковные шествия, свадьбы, состязания с другими оркестрами... Утром на второй, на третий день в глазах мутится; хорошо тогда окунуть голову в ведро с водой и повалиться на траву посреди повозок, пролеток, конского помета. А платил кто? — спрашивал я. Мэри, семьи, те, кто желал прослыть щедрым, когда как. За едой, говорил он, собирались всегда одни и те же.

Стоило послушать, что они ели. Я припоминал, что рассказывали на Море про такие ужины в других деревнях и в другие времена. И сейчас еда была та же, и когда доносились запахи кухни, мне казалось, что я снова на Море, снова

вижу, как женщины трут сыр, месят тесто, фаршируют, поднимают крышки кастрюль, подбавляют огня, и я ощущал во рту тот же вкус и слышал треск сухих сучьев.

— Ты тогда пристрастился к этой жизни, — сказал я как-то Нуту, — отчего же бросил? Оттого, что отец умер?

И Нуту отвечал, что, во-первых, музыкой на жизнь не заработаешь, в дом мало что принесешь, а во-вторых, все это одно расточительство и неразбериха, да же толком не знаешь, кто платит. А потом война началась. Может, у девчонок и тогда пятки чесались, но кому было с ними плясать? В войну люди развлекались по-другому.

— И все ж я музыку люблю, — продолжал Нуту, подумав, — беда только в том, что музыка — плохой хозяин... Как дурная привычка — бросать ее нужно. Отец мой говорил: лучше уж за юбками гоняться.

— Да, — вспомнил я, — а как у тебя по этой части? В свое время ты женщин не обходил. На танцах только выбирай...

Нуту посвистывает, смеется.

— Ты-то приют в Алессандрини не пополнил?

— Надеюсь, нет, — говорит он. — Но там и без меня бедняг хватает.

А потом добавил, что если уж выбирать из двух зол, так он выберет музыку, и вспомнил, как, бывало, соберутся они вместе, идут ночью по дороге. играют: кто на рожке, кто на мандолине. Идут в темноте, подальше от домов, от баб, от собак, что откликаются залившимся лаем, и всё играют.

— Вот серенадами не занимался, — сказал он. — Если девушка собой хороша, ей не музыка нужна. Ей бы перед подругами покрасоваться, мужчину найти. Не встречалась мне ни разу девушка, которая знала бы толк в музыке. — Нуту увидел, что я смеюсь, и тут же добавил: — Вот я тебе расскажу. Был у нас один музыкант, Арборето. Играл на бомбардоне. Он столько серенад сыграл, что люди говорили: «Да он с девушкой как немой, только знай играет...»

Так мы с ним беседовали, то гуляя по дороге, то сидя у окна за стаканом вина, а внизу расстилалась долина Бельбо, где деревья пунктиром обозначили путь реки и холм Гаминелла поднимался перед нами весь в виноградниках. Сколько лет прошло, как не пил я этого вина?

— Я уж говорил тебе, — роняю я, — что Кола хочет землю продать?

— Только землю? — спрашивает Нуту. — Смотри, как бы он тебе в придачу постель не продал.

— Из пуха или соломы? Ведь я уж старик, — цежу я сквозь зубы.

— Постель из пуха со временем тоже станет жесткой, — отвечает Нуту. — А ты уж ходил взглянуть на Мору?

А в самом деле, не был я там. Мора в двух шагах отсюда, а я не зашел. Знал, что нет ни старика, ни дочерей, ни ребят, ни прислуги — всех разогнало, разбросало по свету, кто умер, а кто далеко. Остался один Николетто, полоумный племянник хозяина, который столько раз орал на меня, топоча ногами, и обзывал ублюдком. Знал я и то, что половина усадьбы уже продана.

Я ответил:

— Схожу как-нибудь. Я ведь вернулся.

### III

Свежие новости о Нуту-музыканте дошли до меня даже в Америке. Когда это было? Я в то время еще не думал возвращаться, бросил работу на железной дороге и, пересаживаясь с поезда на поезд, добрался до Калифорнии. Увидел — солнца много, холмы тянутся длинной грядой, и сказал себе: «Тут мой дом». Америка тоже кончалась у моря, но теперь уж не к чему было снова искать пароход, и я остался там, среди сосен и виноградников.

«Вот бы дома посмеялись, — говорил я про себя, — если бы узнали, что и здесь я землю мотыжу». Но в Калифорнии обходясь без мотыг. Работа — как



у садовника. Встретил там наших, из Пьемонта, и взяла меня тоска — стоило забираться на край света, чтобы повстречать таких же, как я, бедолаг, которые еще вдобавок на меня косятся. Бросил я батрачить и стал работать молочником в Окленде. Вечерами по ту сторону залива сверкали огни Сан-Франциско. Отправился я туда, поголодал с месяц, в тюрьму попал, а когда вышел оттуда, до того мне туго пришлось, что даже китайцам завидовал. Я спрашивал себя, стоило ли ради этого объехать полсвета. Потом я вернулся на холмы.

Прожил там немало, завел себе девушку, но она мне разонравилась с тех пор, как стала работать со мной в баре, что по дороге в Черрито. Поначалу она каждый вечер поджидала меня у выхода, а потом уговорила взять ее кассиршей, и теперь целый день глядела, как я за стойкой жарю сало и наполняю стаканы. Вечером я уходил, и она бежала вслед за мной, постукивая каблукками по асфальту, брала меня под руку и требовала, чтобы мы остановили машину, спустились к морю, пошли в кино. Стоило только выйти из ярко освещенного бара, и мы оставались одни под звездами, среди оголтелого стрекота цикад и кваканья лягушек. Мне хотелось увести ее к яблоням, или в лесок, или просто на луг с невысокой травой, хотелось повалить ее на землю, чтоб был хоть какой-то смысл во всей этой сумятице под звездным небом. Но об этом она и слышать не желала. Орет на меня, требует, чтобы мы зашли в первый попавшийся бар. Была у нас комната в одном из переулков Окленда, но Нора, пока не напьется, не давала до себя дотронуться.

В один из таких вечеров я и услышал рассказ о Нуто. От земляка из Буббио. Я распознал его по походке, по стати, прежде чем он рот открыл. Он вел грузовик с тесом и спросил кружку пива, пока ему заправляли машину.

— Лучше бы взяли бутылку, — сказал я на нашем диалекте, почти не разжимая губ. Глаза у него засияли от радости. Мы с ним проговорили весь вечер, пока на шоссе не стали сигнальть.

Нора, сидя за кассой, нервничала, прислушивалась, но она никогда не бывала в деревнях под Алессандрией и ничего понять не могла. Я даже налил другу в чашку запретного виски. Он рассказал мне, что дома был возчиком, рассказал о деревнях, которые объездил, рассказал, почему приехал в Америку.

— Знал бы я, что здесь пьют это дерьмо... Ничего не скажешь — согревает, только стоящего вина здесь нет.

— Ничего здесь нет, — сказал я ему, — здесь, как на луне.

Нора раздраженно поправляла прическу. Повернув свое вращающееся кресло, она включила радио — передавали танцевальную музыку. Мой приятель пожал плечами, наклонился к стойке и сказал мне, показывая рукой в ее сторону:

— А тебе эти женщины нравятся?

Я провел по стойке тряпкой и ответил:

— Мы сами виноваты, что приехали. Для них эта страна — родной дом.

Он стоял и молча слушал радио. Мне в этой музыке слышалось все то же кваканье лягушек. Нора, надувшись, с презрением разглядывала его спину.

— Все здесь, как эта музыка, — сказал он. — Разве с нашей сравнится? Совсем они не умеют играть.

И он рассказал мне о прошлогоднем состязании в Ницце-Монферрато, когда собрались оркестры отовсюду: из Кортемилии, из Сан-Марцано, из Канелли, из Нейве. Играли без конца, а народ не расходился, пришлось перенести на другой день скачки, даже приходский священник слушал, как играли танцы; вино пили, только чтоб силы поддержать, в полночь еще продолжали играть, а победителем вышел Тиберно, из оркестра в Нейве. Но прежде немало поспорили, поругались, кое-кому попало бутылкой по голове. Сам-то он считал, что премию заслужил другой, Нуто из Сальто...

— Нуто? Да я его знаю!

И тогда земляк рассказал мне, каким стал Нуто и чем занимается. Он рассказал, что в ту самую ночь, чтобы показать невеждам, что такое настоящая музыка, Нуто вышел на дорогу со своим оркестром и играл, не умолкая, до самой

Каламандраны. Мой приятель ехал за музыкантами на своем велосипеде, ночь была лунная, а играли так, что женщины в домах вскакивали с постелей, подходили к окнам, хлопали в ладоши, и тогда оркестр останавливался, исполнял новую мелодию. Нуто шагал посередине, его кларнет задавал тон.

Нора потребовала, чтобы машина перестала сигналить. Я налил приятелю еще стопку и спросил, когда он вернется в Буббио.

— Я бы хоть завтра вернулся, — сказал он, — Если бы только мог...

В ту ночь, прежде чем спуститься в Окленд, я присел на траве, подалее от дороги, по которой мчались машины, и закурил сигарету. Ночь была безлунная, но в небе пропасть звезд, не меньше, чем лягушек и цикад, не умолкавших ни на миг. Если бы Нора в ту ночь дала повалить себя на траву, мне и этого было бы мало. Все равно не умолкли бы лягушки, все равно доносился бы скрежет машин, переключающих скорость перед спуском, все равно не кончилась бы Америка, все равно гудели бы ее дороги, все равно сверкали бы огнями города ее побережья.

Сидя там, на траве, я вдыхал в темноте ночи запах садов и сосен, и я отдавал себе отчет в том, что эти звезды в небе мне чужды, что я боюсь их, как боюсь Нору и посетителей бара. Ячница на сале, хороший заработок, огромные, с арбуз апельсины — все это ничего не значило, все было, как те цикады и лягушки. Стоило ли сюда забираться? Куда мне податься еще? Вниз головой с мола?

Теперь я понимал, почему то и дело в машине на автострате, или в доме, или в глухом переулке находили задушенных девушек. Им, эгим людям, тоже хотелось повалиться на траву, хотелось, чтобы их не раздражали лягушки, хотелось владеть хоть клочком земли, на котором уместилась бы женщина, хотелось спать настоящим крепким сном, без тревоги и страха. Ведь страна большая, и земли хватает для всех. И все у них есть — женщины, земля, деньги. Но им всего этого мало, и никто из них, как бы ни разбогател, не остановится, все здесь будто проездом, и даже поля, даже виноградники — и те у них, как городской сквер. Повсюду клумбы, как у нас у вокзалов, или выжженная целина да груды искореженного металла. Нет, не та это страна, где человек может успокоиться, преклонить голову, сказать другим людям: «Вы меня знаете. Дайте мне спокойно пожить». Вот что пугало. Они и меж собой живут чужаками: едешь через горы, как через пустыню, — видно, никто из них здесь никогда не остановится, никогда не коснется земли теплыми руками. Вот отчего пьяного здесь пинают ногами и сажаят за решетку. И пьют они злобно, и женщин любят со злобой. Чтобы хоть как-то себя утвердить, душат женщин, стреляют в них, когда они спят, бьют по голове гаечным ключом...

Нора, выйдя на шоссе, позвала меня. Пора в город. На расстоянии ее голос походил на стрекот цикады. Я рассмеялся, подумав, что было бы, если бы она разгадала мои мысли. Но о таком ни с кем не говорят, это ни к чему. Как-нибудь утром она просто не застанет меня на месте, вот и все. Но куда направиться? Я забрался на край света, дошел до последнего берега, и с меня, пожалуй, хватит. Тогда-то я и стал подумывать, не вернуться ли назад в наши края.

#### IV

Нуто не пожелал взять в руки кларнет даже в праздник августовской богоматери. Он сказал: «Это — что курево: хочешь бросить, значит, бросай по-настоящему». Вечерами он приходит ко мне в гостиницу, и мы сидим с ним у меня на балкончике, дышим свежим воздухом. Балкон выходит на площадь — там столпотворение, но мы глядим поверх крыш на побеленные луной виноградники на холме.

Нуто, которому во всем надо разобраться, сидит, опершись локтями о перила, слушает, хочет узнать от меня, что творится на свете, о чем люди говорят, и сам объясняет мне, что к чему, рассуждает о жизни.

— Умей я играть, как ты, не поехал бы в Америку, — говорю я. — Знаешь, как в таком возрасте бывает... Стоит увидеть девушку, подраться с кем-нибудь,

вернуться домой под утро... Хочешь что-нибудь сделать, стать человеком, на что-то решиться. Чтоб все по-другому пошло. И кажется, что для этого лучше всего уехать. Вдобавок слушаешься рассказней. В молодости такая площадь для тебя — целый мир. Думаешь, что весь мир вроде нее...

Нуро молча разглядывает крыши.

— Сколько тут на площади парней, — говорю я, — которые охотно ушли бы сначала в Канелли, а потом...

— Но они не уходят, — ответил Нуро. — А ты вот ушел. Почему?

Разве на это ответишь? Может, я ушел оттого, что на Море меня прозвали Угрем? Может, оттого, что однажды утром я видел, как на мосту в Канелли машина сшибла быка? Может, оттого, что я даже на гитаре играть не умел?

Я ответил:

— Мне на Море слишком хорошо жилось. Вот я и поверил, что на свете везде хорошо.

— Нет, — сказал Нуро, — живут здесь плохо. Но никто не уходит. Значит, у тебя судьба такая. Должно быть, в Генуе, в Америке, бог знает где тебе суждено что-то сделать, понять что-то важное.

— Мне? Для этого не стоило так далеко забираться.

— Может, тебе выпала счастливая доля, — упорствует Нуро. — Разве ты не заработал денег? Может, ты и сам не заметил главного, что с тобой произошло за эти годы. Но с каждым в жизни что-нибудь случается. — Он говорил, опустив голову, и голос его звучал глухо. Внезапно Нуро поднял голову. — Когда-нибудь расскажу тебе о здешних делах. Судьба каждому что-нибудь поберегла. Посмотри вон на тех парней, что толкуются на площади, — ничего в них нет особенного, ни хорошего, ни худого, но придет день, и настанет их черед.

Я понял, что ему трудно говорить. Он проглотил слюну. С тех пор, как мы снова свиделись, я все никак не могу привыкнуть к мысли, что передо мной не прежний Нуро — сорвиголова, который учил нас всему и за которым всегда оставалось последнее слово. Я ни разу не подумал, что теперь догнал его и что у нас за спиной равный опыт. Мне даже казалось, что он не изменился, разве что раздался в плечах, сделался степеннее, а лицо его с кошачьими глазами стало спокойней и строже. Я ждал, что он наберется духу и выговорится. Если к человеку не приставать, он рано или поздно сам выложит, что у него накопело на сердце.

Но в этот вечер Нуро не стал откровенничать. Он заговорил о другом:

— Ну и праздник — там драка, там ругань. Священник дает им душу отвести — лишь бы пришли потом помолиться. А они, чтоб только душу отвести, готовы зажечь свечу перед мадонной. Кто же кого за нос водит?

— Друг друга по очереди надувают.

— Нет, нет, — ответил Нуро. — Тут священник всегда в выигрыше. Кто платит за иллюминацию, за фейерверк, за музыку? А кто посмеивается на другой день после праздника? Бедняки, как проклятые, гнут спину на двух вершках земли, а в праздник просаживают весь свой заработок.

— Разве ты не говорил, что бо́льшая доля расходов падает на тех, кто побогаче, кто хочет пустить пыль в глаза?

— А те откуда деньги берут? Заставляют работать прислугу, батрака, батрачку? А земля? Где они взяли землю? Почему у одних ее много, а у других совсем нет?

— Ты что, коммунист?

Нуро насмешливо посмотрел на меня. Дал оркестру доиграть, а потом, все не сводя с меня глаз, заговорил:

— В этой деревне все мы слишком большие невежды. Не каждый, кто захочет, может стать коммунистом. Был тут у нас один, по прозвищу Образина, торговал на базаре зеленым перцем, он тоже себя за коммуниста выдавал. А сам умел только напиваться да орать по ночам. От таких больше вреда, чем пользы. Коммунисты должны многое знать и имени своего не марать. От Образины здесь

быстро избавились — перестали у него перец брать. Этой зимой пришлось ему отсюда уйти.

Я сказал, что он прав, но им надо было браться за дело в сорок пятом, ковать железо, пока горячо. Тогда и такие, как Образина, могли бы согдиться.

— Думал, вернусь в Италию, а здесь уже что-то сделано. Ведь оружие было в ваших руках.

— Оружие? Стамеска да рубанок! — ответил Нутто.

— Нищету я повсюду видал, — сказала я. — Есть страны, где мухи живут лучше людей. Но для восстания этого мало. Людям нужен толчок. В то время у вас был толчок и сила была... Ты тоже ушел в горы?

До тех пор я его об этом не спрашивал. Я знал, что на этих дорогах, в этих лесах погибло немало парней из нашей деревни, тех, кто на свет появился, когда нам уже было лет по двадцать. Я о многом знал, о многом от него же и слышал, не знал только, носил ли он красный платок на шее да ружье на плече. Тогда в здешних лесах полно было пришлых, тех, кто скрывался от призыва, бежал из города, словом, горячих голов, но Нутто был не из таких. Однако Нутто — это Нутто, и он лучше меня понимал, что ему делать.

— Нет, — сказал Нутто, — уйди я, они подожгли бы мой дом.

В яме на берегу Сальто Нутто скрывал раненого партизана и по ночам носил ему еду. Это мне его мать рассказала. Я поверил. Уж такой он человек. Вчера нам на дороге попались двое мальчишек, мучивших ящерицу. Он у них отобрал ее. Двадцать лет ни для кого не проходят бесследно.

— Если б дядюшка Маттео так поступил с нами, когда мы бродили по берегу, что бы ты ему тогда ответил? — спросил я. — Сколько ты гнезд разорил в те времена?

— Это все от невежества, — сказал он. — Мы оба вели себя скверно. Дай им пожить. Разве мало зверье страдает зимой?

— Ничего не скажешь. Ты прав.

— И потом, — продолжал Нутто, — тут дело такое — стоит только начать, пойдут друг друга резать, деревни жечь.

## V

Тепло здесь, на этих камнях; я уже позабыл, как отдают тепло туф и стены лаучг. Здесь не солнце, здесь сама земля греет — тепло идет от земли, от корневищ, вобравших в себя все соки, чтоб повыше тянулась лоза. Мне нравится это тепло, у него свой запах: в нем часть меня самого, в нем вкус жизни, оно пробуждает во мне давно позабытые желания. Мне теперь по душе, покинув гостиницу, пойти взглянуть на поля; мне жаль, что прожита жизнь. Хорошо бы ее изменить, всерьез потолковать с теми, кто гадают, приехал ли я закупать виноград или за чем другим. Здесь, в деревне, меня никто не помнит, не знает, что я рос без матери и отца, был батраком. Им известно, что в Генуе у меня есть деньги. Может, какой-нибудь парень, который батрачит, как я когда-то, или женщина, глядящая на меня сквозь щель в затворенных ставнях, думают обо мне то же, что я когда-то думал о людях с холмов Канелли, о тех, кто зарабатывает деньги, наслаждается жизнью и ездит к морю в дальние края.

Уже многие, кто в шутку, а кто и всерьез, предлагали продать мне землю. Я слушаю, заложив руки за спину. Не все здесь знают, что я кое в чем разбираюсь. Говорят, что в последние годы урожай был хороший, но теперь настало время для глубокой вспашки, нужно построить ограду, пересадить лозу, а это им не под силу.

— Где же эти урожай? — спрашиваю. — Где же ваши доходы? Почему вы не вложите деньги в усадьбу?

— Удобрения...

Тут и толковать больше не о чем, удобрения я продавал оптом. Но мне нравятся эти беседы. Я люблю походить с хозяевами по усадьбе, побывать на току, взглянуть на конюшню, выпить у них стакан вина.

Я был уже знаком со старым Валино к тому времени, когда пошел взглянуть на домишко в Гаминелле. Нутто остановил его как-то на площади и спросил, знает ли он, кто я такой. Высохший, с почерневшим лицом и глазами крота человек взглянул на меня с опаской. Когда Нутто, смеясь, сказал ему, что я ел тот же хлеб и пил то же вино, что и он, Валино смешался и насудился. Тогда я спросил у него, не он ли вырубил орешник и висит ли по шпалерам у хлева вяленый виноград? Мы рассказали ему, кто я такой и откуда взялся, но он глядел на меня все так же мрачно и только сказал, что земля у берега плохая, а воды реки с каждым годом ее размывают. Он взглянул на меня, взглянул на Нутто и, перед тем как уйти, сказал ему:

— Зашел бы как-нибудь. Хочу тебе показать... У меня чан протекает...

Нутто потом сказал мне:

— В Гаминелле ты не каждый день ел досыта... — Сейчас он не шутил. — Но вам-то хоть не приходилось отрывать кусок от себя. А теперь ферму купила хозяйка виллы, она привозит с собой весы и забирает половину урожая... У нее две усадьбы и лавка. И такие, как она, еще говорят, что крестьяне воруют, что народ здесь испорчен.

Я пошел туда один и по пути думал о жизни, прожитой Валино. Ему лет шестьдесят, а может, и того нет... И всю жизнь был испольтником. Сколько домов, сколько земель пришлось ему покинуть — домов, где он спал и ел, земель, которые он мотыжил и в зной и в холод. Он уходил, погрузив свой скарб на чужую тележку, и уже не возвращался назад. Я знал, что он овдовел, жена его умерла еще на той ферме, где он работал до Гаминеллы, а старшие сыновья погибли на войне, — теперь он остался с мальчишкой и двумя женщинами: тещей и свояченицей. Что еще видел он в этом мире, кроме горя и нищеты?

Он ни разу не покидал долину Бельбо. Я невольно остановился посреди тропинки и подумал: не удери я отсюда двадцать лет тому назад, такой же была бы и моя судьба. Впрочем, он бродил по этим холмам, я бродил по свету, но ни он, ни я ни разу не могли сказать: «Вот это мое. Вот на этом бревнышке я состарюсь. В этой комнате умру».

Я добрался до инжирного дерева перед самым током и вновь увидел тропинку, вьющуюся меж двух поросших травой пригорков. Теперь перед домом сложили ступеньки из камней. Граница, отделявшая луг от дороги, была все та же — груды хвороста на жухлой траве, дырявая корзина, раздавленные гнилые яблоки. Слышно было, как пес мечется на железной цепи, скользящей по проволоке.

Стоило мне показаться на ступеньках, и пес словно обезумел. Встал на задние лапы, завыл: его душил ошейник. Я продолжал подниматься. Вот и портик, вот инжирное дерево, вот грабли, прислоненные к двери. Те же пятна от медного купороса на стене. Тот же куст розмарина за углом дома. И тот же запах — запах дома, реки, гнилых яблок, сухой травы и розмарина. Мальчик в рваной рубашонке и штанишках с одной уцелевшей подтяжкой сидит на поваленном колесе, неестественно поджав под себя ногу. Что ж, может, это такая игра? Он взглянул на меня, подняв глаза к солнцу, и сразу же опустил тонкие веки, как бы желая протянуть время. В руках он держал высушенную шкурку кролика.

Я остановился, мальчик продолжал мэргать глазами, пес выл и рвался с цепи. А мальчишка босой, на веках засохшая корка, костлявые плечи, нога лежит неподвижно. Я внезапно вспомнил, сколько раз у меня лопалась кожа на ногах, появилась короста на коленях, трескались губы, вспомнил, что лишь зимой надевал башмаки на деревянной подошве. Вспомнил, как мама Виржилия потрошила кролика, обдирала с него шкурку. Я помахал мальчишке рукой.

На пороге показались женщины — сначала одна, потом другая. Обе в черных юбках. Одна старая, скрюченная, другая помоложе, худая — кожа да кости. Я крикнул им, что ищу Валино. Его не было — он ушел на берег.

Та, что помоложе, прикрикнула на пса, взяла цепь и так рванула ее, что пес захрипел. Мальчик с трудом поднялся с колеса — у него подвертывалась нога. Встал и потянулся к псу. Хромой, рахитичный, ноги, как спички, больную волочит.

Должно быть, лет десяти. Встретить его здесь, на току, было все равно что встретить собственное детство. Я даже обвел взглядом навес, фиговое дерево, полоску сорго: уж не появится ли Анжоллина и Джулия? Кто знает, где они теперь. Если живы, им должно быть теперь столько же, сколько этой женщине.

Пес успокоился, а они не сказали мне ни слова, только глядели на меня.

## VI

Тогда я сказал, что подожду Валино, раз он должен вернуться. Они мне в один голос ответили, что он возвращается поздно.

Та, что успокоила пса, — босая, почерневшая от солнца, с пушком над верхней губой, — глядела на меня с такой же мрачной опаской, что и Валино. Это была его свояченица, с которой он теперь жил; они так долго прожили вместе, что она стала походить на Валино.

Я зашел на ток (пес снова заметался), сказал им, что здесь прошло мое детство. Спросил, на прежнем ли месте колодец. Старуха, которая теперь уселась на пороге, что-то встревоженно пробормотала; свояченица нагнулась и подобрала упавшие грабли, потом крикнула мальчишке, чтоб он сбегал на берег, взглянул, нет ли там отца. Тогда я сказал, что в этом нет нужды, просто я проходил мимо и мне захотелось снова взглянуть на дом, где я вырос, что я все здесь знаю, помню весь берег до самого орехового дерева, могу и один пройти и найду, кого мне нужно.

Потом я спросил:

— А что с этим мальчиком? Поранил ногу мотыгой?

Женщина взглянула на меня, потом на мальчишку, а тот засмеялся — засмеялся беззвучно и тотчас закрыл глаза. Эту игру я тоже знал.

Я спросил:

— Что с тобой? Как тебя звать?

Мне ответила худая свояченица Валино. Сказала, что врач смотрел ногу Чинто в тот год, когда умерла Ментина, — они тогда еще жили на Орто. Ментина слегла, худо ей было, все стонала, а за день до того, как она умерла, доктор сказал ей, что по ее вине у мальчишки плохая кость. Ментина ему на это ответила, что другие ее сыновья, те, что сгнули на войне, росли здоровыми, а этот таким родился, верно, оттого, что она испугалась бешеного пса, который хотел ее укусить, и у нее пропало молоко. Доктор отмахнулся, сказал, что тут молоко ни при чем, а немочь у мальчишки из-за того, что она таскала тяжелые вязанки дров, ходила босой под дождем, ела одну чечевицу да поленту, носила корзины на голове. Раньше надо было думать, сказал доктор, теперь уж ничего не поправишь. А Ментина опять свое: другие-то сыновья выросли здоровыми. На следующий день ее не стало.

Мальчик слушал, прислонившись к стене, и тут я обнаружил, что он не смеется; торчащие скулы, редкие зубы, засохшая ссадина под глазом — вот отчего казалось, будто он смеется, а на самом деле он внимательно слушал.

Я сказал женщинам:

— Пойду поищу Валино. — Мне хотелось побыть одному. Но женщины закричали на мальчишку:

— Что же ты стоишь! Пойди и ты взгляни.

Я зашагал по лугу, прошел мимо виноградника; меж рядами лоз сеяли пшеницу — теперь осталась лишь выжженная солнцем стерня. За виноградником, где раньше стояла густая тень ореховых деревьев, теперь тянулась полоса чахлого сорго. Поле было крохотное, хоть плачком накрой.

Чинто ковылял за мной; не прошло и минуты, как мы были у орехового дерева. Неужто на этом клочке земли, отсюда до дороги, могло уместиться все мое детство? Здесь я играл, бродил по берегу, подбирая опавшие яблоки и орехи, до самого вечера вместе с девочками вертелся возле козы, пощипывавшей траву, а в зимнее ненастье ждал — хоть бы скорей распогодилось, хоть бы скорей вернуть-

ся на берег. Неужто это был для меня целый мир? Не уйди я отсюда в тринадцать лет, когда Крестный перебрался в Коссано, я и сейчас бы жил той же жизнью, что Валино и Чинто. Прокормиться нам удавалось чудом. Мы тогда грызли яблоки, ели тыкву и чечевицу. Виржилия уберегала нас от голода. Теперь я понимал, отчего так мрачен Валино — работает, как вол, и еще должен делить урожай с хозяйкой. И вот что получается: ожесточившиеся женщины, мальчишка растет ка лекой.

Я спросил у Чинто, помнит ли он орешник. Припав на здоровую ногу, он взглянул на меня недоверчиво и сказал, что у самого берега еще есть два-три дерева. Я обернулся и увидел, что на току, за виноградником, стоит черная женщина и подглядывает за нами. Мне стало стыдно за свой костюм, за свою рубашку, за свои туфли. Как давно я уже не ходил босиком!

Разве могли все мои воспоминания о Гаминелле убедить Чинто в том, что и я был когда-то таким же, как он. Для него Гаминелла — весь мир, и он только такие рассказы и слышал. А что бы я в свое время сказал, появись передо мной богатый дяденька, которому надо показать усадьбу? На какое-то мгновение мне почудилось, что в доме меня ждут девчонки, коза — вот им уж я поведаю про свои славные похождения.

Теперь Чинто брел за мной, явно заинтересованный. Я довел его до конца виноградника: ряды теперь не узнать. Я спросил у Чинто, кто пересаживал лозу. Он хромал, но старался держать фасон и сказал мне, что вчера хозяйка виллы приходила за помидорами.

— А вам оставила? — спросил я.

— Мы свои уж собрали, — ответил он.

В лощинке за виноградником, где мы теперь стояли, еще была трава, свежая трава для козы, а за нами возвышался холм. Я спросил у него, кто живет в дальних домах, рассказал ему, кто там жил прежде, какие у них были собаки, сказал, что тогда все мы были ребятами. Он выслушал и ответил, что кое-кто из прежних и сейчас тут живет. Потом я спросил у него, сохранилось ли гнездо зябликов на том дереве, что у самого берега. И еще я спросил у него, ходит ли он к реке ловить рыбу переметом.

Странно, как все переменялось и все осталось, как прежде. Здесь нет ни одной старой лозы, ни прежнего пса, и козы тоже нет; там, где были луга, теперь пашня; где была пашня, растет виноград; сколько людей прошло по этой земле, сколько их выросло, поумирало; даже деревья с корнями выворочены и унесены водами Бельбо, — а стоит оглядеться по сторонам, и понимаешь: тучные земли Гаминеллы, и дорожки на холме Сальто, и ток, и колодцы, и людские голоса, и мотыги — все осталось таким же, как прежде, и такие же, как прежде, запахи и вкус этой земли, ее краски.

Я спросил у него, что он знает об окрестных деревнях. Бывал ли он когда-нибудь в Канелли? Да, отец взял его, когда повез продавать виноград фирме «Ганча». Иногда он с мальчишками из Пиолы переплывал на другой берег Бельбо, и они добирались до железной дороги, чтобы взглянуть на поезд.

Я ему рассказал, что в мое время эта долина казалась просторнее, были здесь люди, которые разъезжали в колясках, мужчины носили золотую цепь на жилете, женщины, гуляя, закрывались от солнца зонтиками. Я рассказал ему, какие тут бывали праздники — свадьбы, крестины, храмовые дни, — как народ съезжался издалека, с самых вершин холмов, как приезжали музыканты, охотники, мэры деревень. Были тут домищи — целые палаты, как замок Нидо на холме Канелли, там были комнаты, в которых собиралось человек пятнадцать — двадцать, как в гостинице «Анжело», и весь день они ели, слушали музыку. И мы, ребята, в такие дни тоже устраивали праздники на току, летом играли в «неделю», зимой запускали волчок на льду. В «неделю» играли, перепрыгивая на одной ноге, вот как он сейчас стоит, через ряды камешков, но так, чтоб ни один не задеть. После сбора винограда охотники бродили по холмам и лесам, поднимались на Гаминеллу, Сан-Грато, Камо; возвращались они забрызганные грязью, едва живые от устало-

сти, но приносили куропаток, зайцев, другую дичь. Мы из дома видели, как они идут по дороге; потом в деревенских домах до поздней ночи шумел праздник, а в большом замке Нидо, что там, внизу — тогда его еще видно было отсюда, тогда еще не мешали эти деревья, — во всех окнах горели огни, казалось, пожар начался, и до самого рассвета мелькали тени веселящихся гостей. Чинто сидел, опершись руками о землю, и слушал, раскрыв рот.

— Я был таким же мальчишкой, как ты, — сказал я ему, — и жил здесь с Крестным. У нас была коза, я ее пас. Зимой, когда здесь и охотники не появлялись, жилось скверно, потому что до берега нельзя было добраться из-за луж и грязи, а как-то раз — теперь-то их больше нет — с Гаминеллы спустились волки, видно, мало им было добычи в лесу, и утром мы обнаружили их следы на снегу. Следы, как собачьи, только поглубже. Я спал вместе с девочками в задней комнате, и ночью мы слышали, как волк завыл на берегу от холода...

— На берегу в прошлом году нашли покойника, — сказал Чинто.

Я остановился. Спросил, какого покойника.

— Немца, — сказал он. — Партизаны его в Гаминелле закопали. Страшный...

— Так близко от дороги? — сказал я.

— Нет, его вода принесла, и папа нашел его под илом и камнями.

## VII

Тем временем с берега послышались удары топора по дереву. При каждом ударе Чинто моргал глазами.

— Это папа, — сказал он. — Он тут, внизу.

Я спросил у него, почему он закрыл глаза, когда я разговаривал с женщиной и глядел на него. Он снова невольно опустил веки, но сказал мне, что этого не было. Я рассмеялся и рассказал ему, что мальчишкой тоже любил эту игру — видишь только то, что хочешь, а когда потом снова откроешь глаза, занятно, что все на прежнем месте.

Тогда он осклабился и сказал, что кролики тоже так делают.

— Должно быть, этого немца муравьи обглодали? — спросил я.

Вдруг с гумна донесся крик женщины. Она звала Чинто, требовала Чинто, проклинала Чинто. Мы с ним оба рассмеялись. Такие крики часто слышны на здешних холмах.

— И не поймешь, как его убили, две зимы в земле пролежал...

Мы спустились вниз, продираясь сквозь густую листву и кусты ежевики, топчя мяту. Увидев нас, Валино едва поднял голову. Он обрубал топором красные ветви ивы. Стоял август, а здесь, внизу, было холодно и почти темно. Река заливала эти места, и даже летом здесь обычно стояла вода.

Я спросил у него, где он будет хранить ивовые прутья в такое сухое лето. Он нагнулся и стал было собирать вязанку, а потом передумал. Стоял и глядел на меня, прижимая ветки ногой, за поясом торчал нож. Штаны и шляпа у него выцвели, были в пятнах от купороса, которым опрыскивают лозу.

— Виноград в нынешнем году хорош, — сказал я ему, — только воды не хватает.

— Всегда чего-нибудь не хватает, — сказал Валино. — Я ждал Нуто, хотел, чтоб он чан посмотрел. Он не придет?

Тогда я объяснил ему, что случайно заглянул в Гаминеллу: захотелось мне снова увидеть усадьбу. Я и не узнал ее, столько тут поработали. Наверно, лозу пересадили года три назад? А в доме, спросил я, в доме у вас тоже перестройка? Когда я здесь жил, в печи не было тяги. Ну, а стену пришлось поломать? — все расспрашивал я.

Валино мне ответил, что в доме управляются женщины. Дом — это их забота. Он посмотрел вверх сквозь Зеленую листву деревьев. Потом сказал мне:

— Поле как поле, только руки нужны, чтоб здесь что-нибудь иметь, а рук-то и нет.



Тогда мы поговорили о войне и о тех, кого на войне убили. О своих сыновьях он ничего толком не рассказал, так, пробормотал что-то. Я заговорил о партизанах, о немцах — он только плечами пожал. Сказал, что жил тогда в Орто, видел, как сожгли дом Чьора. Целый год никто на полях не работал. Разойдись они все по домам — немцы, значит, к себе домой, а наши парни по усадьбам, — всем бы только лучше было. Кого здесь только повидать не пришлось, какие только рожи не попадались, столько пришлого народа в здешних местах никогда и не было, даже на ярмарках в те годы, когда он был молод.

Чинто стоял и слушал с открытым ртом.

— Сколько еще мертвецов в здешних лесах зарыто! — сказал я.

Валино повернул ко мне свое почерневшее лицо, глаза у него были мутные, злые.

— Да, немало, — сказал он, на мгновение оживившись, — немало. Время только нужно, чтоб найти. — В его голосе не слышалось ни отвращения, ни жалости. Казалось, речь шла о том, чтоб пойти по грибы или за хворостом. Помолчав, он добавил: — При жизни от них толку не было. Нет толку и после смерти.

Вот, подумал я, Нуто обозвал бы его невеждой, кротом, сказал бы ему: что же, он считает, все в мире должно оставаться по-старому — как было, так тому и быть?

Нуто побывал чуть не во всех деревнях в нашей округе и знал, сколько горя принесла людям эта война, но никогда он не спросил бы, на что она была нужна. Раз уж выпала такая судьба, надо было воевать. Нуго крепко вбил себе в голову, что никто не должен держаться в стороне: мир устроен плохо и надо его переделывать.

Валино не предложил мне зайти к нему и выпить стаканчик. Он подобрал вязанку и спросил у Чинто, нарвал ли тот травы. Чинто отступил в сторонку и молча уставился в землю. Тогда Валино сделал шаг вперед и свободной рукой хлестнул его ивовым прутьем. Чинто убежал; Валино, выпрямившись, застыл на месте. Чинто теперь глядел на него, стоя внизу, у самого берега.

Валино молча зашагал, придерживая рукой вязанку. Он не обернулся, даже добравшись доверху. Мне вдруг почудилось, что я — мальчишка, который пришел поиграть с Чинто, и старик потому и хлестнул его, что не мог выместить свою злость на мне. Мы с Чинто молча глядели друг на друга и смеялись.

Потом мы спустились вниз по берегу; под тенистым сводом листвы было прохладно, но стоило выйти на прогалину, сделать несколько шагов по солнцепеку — и сразу становилось душно, выступал пот.

Я разглядывал стенку из туфа, которая подпирала виноградник Мороне, напротив нашего луга. Повыше, над кустами, виднелись первые зеленые лозы и прекрасное персиковое дерево, на нем уже были красные листья, которые я запомнил с детских лет, когда мы на берегу подбирали персики с этого дерева, и они казались нам вкусней наших собственных. У меня и теперь слюнки текут, когда вижу летом красно-желтые листья яблони или персикового дерева, потому что они похожи на спелые плоды и так и манят тебя. Пусть бы все деревья приносили плоды, как виноградная лоза.

С Чинто мы потолковали о футболистах, а потом о картежниках; так мы, шагая вдоль ограды, вышли на дорогу и очутились среди акаций. Чинто уже видел у кого-то на базаре колоду карт в руках и рассказал мне, что дома у него есть двойка пик и бубновый король, — он нашел на дороге. Карты немножко испачканы, но еще совсем хорошие. Если б удалось найти остальные, можно было бы играть. Я ему рассказал о людях, которые в погоне за выигрышем играют на большие деньги, ставят на карту дома и земли. Был я в одном поселке, рассказал я, где играли на золотые, лежавшие посреди стола, а у каждого из игроков за жилетом был пистолет. Да и у нас когда-то, когда я еще был мальчишкой, владельцы поместий, распродав виноград или зерно, запрягали коней и отправлялись кто в Ниццу, кто в Акви, захватив с собой мешочки с золотыми монетами. Играли всю ночь напролет, проигрывали сначала золото, потом леса, луга, сыроварни, а утром на poste-

ли в постоялом дворе, под образом мадонны с оливковой ветвью, находили их трупы. А другие запрягали коляску и уезжали бог весть куда. Бывало, и жен проигрывали в карты, дети тогда оставались одни, и их выгоняли из дому, дразнили ублюдками.

— Сын Маурино, — сказал мне Чинто, — ублюдок.

— Бывает, таких берут в дом, — сказал я. — Таких всегда берут в дом бедняки. Значит, Маурино понадобился мальчик...

— А напомнишь ему, он еще злится, — сказал Чинто.

— Ты ему этого не должен говорить. Разве твоя вина, если тебя отец прогонит? Важно, чтоб ты хотел работать. Я знал таких, что потом купили поместья.

Мы отошли от берега, и Чинто, семенивший впереди меня, присел у ограды. За деревьями, по ту сторону дороги, была река Бельбо. Сюда мы выходили играть, пробегав весь полдень за козой по склонам и берегу. Камешки на дороге были всё те же, стволы деревьев пахли проточной водой.

— Что ж ты не пойдешь нарвать травы для кроликов? — спросил я.

Чинто сказал, что сейчас пойдет. Тогда и я пошел: до самого поворота дороги я чувствовал, что он смотрит на меня сквозь камыши.

## VIII

Я решил, что вернусь в Гаминеллу только вместе с Нуго, и тогда Валино пустит меня в дом. Но Нуго сюда не по пути. А я частенько бывал в этих местах, и случалось, Чинто поджидал меня на тропинке или внезапно появлялся, раздвинув тростники. Он стоял, прислонившись к ограде, и, неловко отставив ногу, молча слушал меня.

Прошли первые дни, кончился праздник, кончилось футбольное первенство, и в гостинице «Анжело» снова все затихло.

Я садился у окна, пил кофе в тишине, которую нарушали только мухи, разглядывал пустую площадь, как мэр с балкона свою деревню. Мог ли я в молодости представить себе хоть что-нибудь подобное? Вдали от дома работаешь, наживаешь деньги, думаешь — нажить деньги и значит вернуться из дальних странствий домой, вернуться разбогатевшим, свободным, сильным и сытым. Конечно, в молодости я этого не понимал, но и тогда поглядывал на дорогу, на прохожих, на виллы в Канелли и холмы, тянувшиеся к небу.

«Значит, судьба такая», — говорит Нуго, который в отличие от меня не тронулся с места. Он не бродил по свету, не разбогател. Жизнь его могла сложиться, как у многих здесь в долине, — он мог бы расти, как дерево, стареть, как женщина или коза, даже не зная о том, что происходит по ту сторону холма, мог бы ни разу не выйти из круга домашних дел, сбора винограда, поездок на ярмарки. Но и его, просидевшего здесь всю жизнь, за живое задела мысль, что все на свете надо понять, исправить, что мир устроен скверно и каждый должен стремиться его изменить. Теперь мне ясно, что когда я мальчишкой бегал за козой, со злостью ломал зимой хворост, играл с ребятами, жмурил глаза, чтоб проверить, останется ли холм на месте, — что и тогда я готовился к своей судьбе, к тому, что буду жить без собственного дома, что где-то по ту сторону холмов есть страна, которая богаче и прекраснее здешних мест. Должно быть, и эта комната в гостинице «Анжело» — в те времена я тут не бывал — всегда знала, что синьор с полными карманами, хозяин сыроварни, выехав на двуколке, чтоб взглянуть на свет, однажды поутру окажется здесь, вот в такой комнате, умоется над белым тазом, сядет за старый полированный стол, напишет письма, которые уйдут в далекий город, и письма эти будут читать мэры селений, охотники, дамы с зонтиками. Сейчас все сбывалось. Я пил здесь по утрам кофе, писал письма в Геную, в Америку, управлял своими деньгами, содержал людей. Может, и месяца не пройдет, и снова я буду в море, полечу вдогонку за своими письмами.

Однажды я пил кофе с Кавалером, сидя за столиком перед раскаленной от зноя площадью. Кавалер был сыном Старого Кавалера, того, что в мои времена

владел землями, замком, множеством мельниц и, еще до моего рождения, перегородил плотиной Бельбо. Он разъезжал в пароконной коляске с кучером. В деревне у них была своя вилла, сад с оградой, где росли диковинные деревья, названий которых никто не знал. Когда зимой я бегал в школу и останавливался у изгороди, жалюзи на окнах виллы всегда были закрыты.

Теперь Старый Кавалер мертв, а нынешний Кавалер был маленьким облысевшим адвокатом без клиентов; землю, лошадей, мельницы и все прочее он спустил за годы холостяцкой жизни в городе; в живых не осталось ни одного из обитателей замка, да и замка не было; Кавалер теперь владел лишь маленьким виноградником да поношенной одеждой и расхаживал по деревне, держа в руке трость с серебряным набалдашником. Он заговорил со мной вежливо, видно, знал, откуда я, спросил, побывал ли я во Франции; кофе он пил, изящно держа чашку и слегка подавшись вперед.

Каждый день он останавливался у гостиницы и заводил разговоры с постояльцами. Он многое знал, знал больше молодых, больше доктора, больше меня, но все, что он знал, никак не вязалось с его нынешней жизнью — стоило ему заговорить, и сразу становилось ясно, что Старый Кавалер умер вовремя. Я подумал, что сам он, как тот сад при доме — пальмы, диковинный тростник, цветы с табличками. Кавалер тоже бежал из деревни, бродил по свету, но ему не повезло. Родные его бросили, жена (графиня из Турина) умерла, сын, единственный сын, будущий Кавалер, застрелился из-за женщин и карт, даже не успев поступить на военную службу. И все же этот убогий, жалкий старик, в старом доме вместе с испольщиками, которые работали на его последнем винограднике, был неизменно вежлив, изящен, оставался барином и при встрече со мной каждый раз снимал шляпу.

С площади, за крышей мэрии, виднелся холм, где был его запущенный, заросший сорняками виноградник, а выше по холму уходили в небо стволы сосен и высокий тростник.

В полдень бездельники, пившие кофе у гостиницы, нередко подшучивали над ним и над тем, что испольщики, которые теперь владели доброй половиной его земли, и не думают о прополке хозяйского виноградника, а просто живут в его доме — оттуда ближе к деревне. Но он убежденно отвечал, что им, испольщикам, лучше знать, что нужно винограднику; впрочем, вспоминал он, в свое время господ, владевшие землями, сами оставляли часть поместий без ухода — из прихоти или увлекшись охотой. Мысль о том, что Кавалер может отправиться на охоту, вызвала всеобщий смех: кто-то советовал ему лучше засеять эти Земли чечевицей.

— Я посадил там деревья, — однажды сказал он с внезапным порывом и теплотой, и голос у него задрожал. Он был так хорошо воспитан, так беззащитен, что и я решил вмешаться, переменить разговор. Заговорили о другом, но, должно быть, Старый Кавалер не ушел из жизни бесследно: этот жалкий старик меня понял. Когда я встал, он попросил меня на два слова, и, провожаемые взглядами посетителей кафе, мы зашагали по площади.

Он сказал мне, что стар и слишком одинок, что у него не такой дом, где он мог бы кого-нибудь принять, но если бы я поднялся к нему, нанес бы ему визит, когда мне это удобно, он был бы очень рад. Он знает, что я уже смотрел другие усадьбы... Если у меня выберется свободная минутка... Я снова ошибся (вот увидишь, сказал я себе, и этот хочет продать землю!) и ответил, что приехал в деревню не ради дел.

— Нет-нет, — возразил он тотчас же, — я не об этом. Просто визит... Я хочу, если позволите, показать вам эти деревья...

Я пошел к нему тотчас же, чтобы не заставлять его готовиться к приему. Мы поднялись на холм по узкой дорожке. мимо темных крыш и двориков, он рассказал мне, что по многим причинам не может продать виноградник — это последний клочок земли, носящий его имя: продав его, он вдобавок вынужден был бы жить в чужом доме; да и испольщикам тут удобней, а он ведь один...

— Вы не поймете, — сказал он мне, — что значит жить в этих местах, не имея ни клочка земли. Где похоронены ваши близкие?

Я сказал, что не знаю. Он удивился, покачал головой.

— Понимаю, — ответил он тихо. — Такова жизнь.

У него на деревенском кладбище совсем недавняя могила. Двенадцать лет прошло, а все, как вчера. Не такая это была смерть, чтобы с ней примириться, как обычно бывает, не такая, чтоб сохранить надежду.

— Я наделал много глупостей, много было ошибок, — сказал он мне. — В жизни всякое бывает. Угрызения — старческая болезнь. Но одного я себе не прощу: сын...

Мы дошли до поворота дороги, до тростников. Он остановился и пробормотал:

— Вы знаете, как он умер?

Я кивнул головой. Он крепко стиснул рукой серебряный набалдашник трости.

— Вот я и посадил эти деревья, — сказал он. За тростником виднелись сосны. — Хотел, чтобы земля на вершине холма принадлежала ему, была такой, какую он любил, — свободной, дикой, как сад, в котором он рос...

Хорошо здесь. Пятно тростника и дальше красноватые сосны, густая трава — как все это напомнило мне ложину у виноградника в Гаминелле! Особенно хорошо, что здесь самая вершина, и дальше все уходит в небытие. в пустоту.

— В каждой усадьбе бы так, — сказал я ему, — оставить часть земли нетронутой... А виноградник надо обрабатывать.

У наших ног видны были эти четыре несчастных ряда лоз. Кавалер заставил себя усмехнуться.

— Стар я, — сказал он. — А мужичье...

## IX

Теперь надо было доставить ему удовольствие — спуститься во дворик дома. Но я знал, что ему придется откупорить бутылку вина и потом платить за нее польщиком. Сказал ему, что уже поздно, что меня ждут в деревне, что в эти часы дня я никогда ничего не пью. Оставил его у сосен.

Эту историю я вспоминал каждый раз по дороге в Гаминеллу, у самого мостка. Здесь я играл с Анжолой и Джулией, здесь рвал траву для кроликов. Я часто заставал здесь Чинто, потому что подарил ему крючки и леску; я ему рассказывал, как ловят рыбу в открытом море, как стреляют по чайкам. Отсюда не видать ни холма Сан-Грато, ни деревни. На склонах Гаминеллы и Сальто и на дальних холмах по ту сторону Канелли темные пятна лесов, тростников, кустарника — всюду они одинаковы, всюду похожи на те, что у Кавалера. Мальчишкой я так высоко на эти холмы не забирался, стал постарше — работал, тогда хватало с меня ярмарки и танцев. Теперь, еще ни на что не решившись, я стоял и думал: что же там, за этими тростниками, за последними затерянными в горах усадьбами? Ну, а что там могло быть? Пустошь, выжженная солнцем.

— В этом году жгли костры? — спросил я у Чинто. — Их у нас всегда жгли. В ночь на Сан-Джованни на всех холмах горели костры.

— Жгли, да не везде, — ответил он. — На станции был большой костер, только отсюда не видать. Пиола говорит, что когда-то жгли целые вязанки хвороста. Пиола — это его Нуто, рослый и ловкий паренек. Я видел, как Чинто, прихрамывая, старался не отстать от него на берегу.

— А знаешь, зачем зажигают костры? — спросил я.

Чинто слушал внимательно.

— В мое время старики говорили, чтобы были дожди... Твой отец жег костер? В этом году дождь нужен. Повсюду жгут костры.

— Значит, польза урожаю. — сказал Чинто. — Значит, земля лучше становится.

Мне кажется, я стал другим. Толкую с ним, как когда-то Нуто со мной.

— Но тогда почему костры всегда зажигают подальше от полей? — спросил я. — На другой день находишь золу да головешки на дороге, у берега, в сорняках.

— Разве можно виноградник жечь, — ответил он, смеясь.

— Да, но вот навоз же кладут на поля...

Этим разговорам конца не было, разве что раздастся злой голос женщины или пройдет мальчишка с усадеб Пиола или Мороне — тогда Чинто встанет, скажет, как сказал бы его отец: «Ну, я пойду взгляну», — и пойдет.

Никогда я не мог понять — хочет он сам со мной побыть или только из вежливости не уходит. Конечно, когда я ему рассказывал, какой в Генуе порт, как грузят суда, какие голоса у паровозных гудков, какая у матросов татуировка, сколько дней длится плавание, он слушал меня, затаив дыхание.

А мальчишка хромой. думал я, и суждено ему всю жизнь впроголодь жить в деревне. Не сможет он ни в поле работать, ни корзины носить. Его и в солдаты не возьмут, значит, города ему не видать. Мне бы в нем хоть какое желание пробудить...

— А этот гудок на пароходе, — спросил он в тот день, — как сирена, что выла в Канелли, когда война была?

— А слышно было?

— Еще бы. Говорят, сирена сильнее паровозного гудка. Ее все слышали. По ночам выходили смотреть, как бомбят Канелли. И я сирену слышал, видел самолеты...

— Да тебя тогда еще в люльке качали...

— Честное слово, помню.

Нуто, узнав, о чем я рассказываю мальчишке, вытянул губы так, словно сейчас кларнет приложит, и покачал головой.

— Это ты зря, — сказал он. — Это ты напрасно. Что ты ему в голову вбиваешь? Если ничего не переменится, жизнь у него будет собачья...

— Пусть хоть знает, что теряет.

— А зачем? Что ему за польза? Ну, будет знать, что на свете одним хорошо, а другим худо. Если у него голова на плечах, это он и так поймет. Пусть на своего отца поглядит да сходит на площадь в воскресенье, здесь у церкви такие, как он, хромые всегда попрошайничают. А внутри скамьи для богатых, на латунных дощечках их имена.

— Сильнее расшевелишь — лучше поймет, — сказал я.

— Только незачем слать его в Америку. Америка уже сюда пришла. Здесь у нас и нищие и миллионеры.

Я сказал, что Чинто надо бы обучить ремеслу, а для этого нужно, чтоб он вырвался из отцовских лап.

— Лучше бы он отца не знал, — сказал я. — Лучше уйти и самому искать выход. Если не будет жить среди людей, станет таким же, как его отец.

— Многое тут надо менять, — сказал Нуто.

Тогда я сказал ему, что Чинто — мальчик сообразительный, ему бы хорошо попасть в такое место, каким Мора была для нас.

— Мора была целым светом, — сказал я, — морским портом, Америкой. Всегда полно людей — кто работает, кто рассказывает... Сейчас Чинто ребенок. но он подрастет, станет думать о девушках. А знаешь, как много значит, когда встречаешь умных женщин? Таких, как Ирена или Сильвия?

Нуто промолчал. Я уже убедился, что он неохотно вспоминал те времена в усадьбе Мора. Сколько он мне рассказал о своих музыкантских годах, а разговор о тех годах, когда мы были мальчишками, он всегда стороной обходил. Или все по-своему поворачивал, начинал спорить. Теперь он молчал, выпятив губы, и поднял голову, лишь когда я заговорил об этих кострах на стерне.

— Конечно, от них польза, — сказал он резко. — Они пробуждают землю.

— Да что ты. Нуто, — сказал я — даже Чинто в это не верит.

— А все же, — возразил он, — верно, что участки, где по краям жгли костры,

приносят лучший урожай, и плоды там сочнее и растут быстрее. Кто знает, может, жар пробуждает соки земли.

— Ну и ну! — сказал я. — Может, ты и в росказни про луну веришь?

— В луну, — ответил Нутто, — и не хочешь, а поверишь. Попробуй спили в полнолуние сосну — и в ней заведутся черви. Чан нужно замачивать, когда луна молодая. А возьми пересадку лозы: ни за что не привьется, если приняться за дело не в первые лунные ночи.

— Много мне довелось разных историй слышать, — сказал я, — а глупей этих не слышал. К чему тогда ругать правительство и попов, если сам веришь в предрассудки, как наши бабушки?

Тогда Нутто очень спокойно объяснил мне, что предрассудком он считает только то, отчего людям вред. Если б кто-нибудь пользовался этой верой в костры и луну, чтоб обворовывать, держать в темноте крестьян, то такого негодяя надо бы на площади расстрелять. А прежде чем мне судить, надо опять стать крестьянином. Пусть такой старик, как Валино, и не слышал ни о чем другом, но уж в земле-то он знает толк.

Мы с ним долго и зло ругались, потом его позвали на лесопилку, а я спустился вниз, посмеиваясь. Чуть было не соблазнился и не повернул к Море, но жара показалась слишком сильной. Если взглянуть в сторону Канелли — ясный день сверкал всеми красками, — то увидишь все: и русло Бельбо, и холм Гаминелла напротив, и холм Сальто совсем под боком, и замок Нидо, краснеющий среди платанов на дальнем склоне. А кругом виноградники, выжженные, почти белесые склоны, река. Так мне вдруг захотелось снова на виноградник в Мору, к самому сбору урожая, и чтоб пришли дочери дядюшки Маттео с корзинами. Мора там, за теми деревьями по дороге в Канелли, на том же склоне, где усадьба Нидо.

Но я по мостику перешел на другой берег Бельбо и, шагая, думал о том, что нет на свете ничего лучше ухоженного виноградника, хорошо прополотого, с хорошо подвязанной, правильно повернутой лозой; и нет ничего лучше этого запаха разогретой августовским солнцем земли. Хорошо ухоженный виноградник — все равно что крепкое здоровье, что живое тело человека со своим дыханием и потом. И еще раз взглядевшись в эти рощи, в эти заросли тростника, я припомнил названия всех здешних деревень и поселков, все, пусть бесполезные, пусть не дающие урожая места, у которых тоже есть своя красота. Лесок при винограднике — как хорошо на такой лесок взглянуть, знать, на каком дереве гнезда.

Есть, подумал я, что-то схожее с этим в радости, которую дают нам женщины... «Ну и дурак же ты, — сказал я себе, — двадцать лет, как ждут тебя эти деревни». Тут я вспомнил, с какой досадой шагал я впервые по улицам Генуи, весь город обошел — хоть бы травинка где. Порт был, ничего не скажешь, были лица девушек, были магазины и банки, а вот камыши, а вот запах сухого хвороста, а виноградник — где они? Рассказы о луне и о кострах я тоже когда-то знал. Только, видать, позабыл их.

## Х

Стоит мне только призадуматься — и вот уж нет конца края воспоминаниям, череде несбывшихся желаний, ошибок прошлого. Сколько раз мне казалось, что я уже прибил к берегу, что есть и друзья и дом, стоит только назвать его моим именем и садик посадить. Я даже как-то решил: вот соберу деньжонок, женюсь и отошлю жену с сыном в деревню. Пусть там растет, как я рос. Но сына не было, о жене лучше вообще не говорить — что могут значить эти холмы для тех, кто вырос на побережье, кто ничего не знает ни про луну, ни про костры? Надо, чтоб все это было у тебя в крови, надо впитать это вместе с вином и полентой, и тогда ты сразу узнаешь свою землю, и все, что ты, сам того не ведая, столько лет носил в себе, внезапно пробудится от скрипа телег, от взмаха бычьего хвоста, от вкуса хлебки, от голоса, который ночью раздастся на деревенской площади.

Чинто об этом не знает, как не знал об этом и я, когда был мальчишкой, и никто здесь в деревне об этом не знает, кроме, может, тех, кто уезжал, как я.

Если уж я хочу, чтобы Чинто меня понял, хочу, чтобы в деревне все поняли меня, нужно говорить с ними о том, что творится на свете, говорить о своем или, может, лучше вообще ни о чем не говорить, носить в себе свою Америку, Геную, деньги, чтобы только на лице у меня было написано, что я человек бывалый и приехал не с пустыми карманами. Это нравится. Разумеется, только не Нуто — ему самому хочется понять меня.

Я встречал людей в гостинице, на рынке, по усадьбам. Ко мне приходили, про меня, как прежде, говорили: «тот, с Моры». Они хотели знать, что за дела я веду, не куплю ли гостиницу «Анжело», не куплю ли почтовый автобус. На площади меня представили приходскому священнику, который потолковал со мной об одной разваливающейся часовенке, секретарю мэрии, который отвел меня в сторонку и сказал, что у них еще должны храниться документы о моем рождении, можно бы поискать, если я хочу. Я ответил, что уже справлялся в Александрии, в приюте. Самым неназойливым был Кавалер, хоть он и знал все, что касалось прежнего расположения деревни и злодеяний бывшего подесты<sup>1</sup>.

На дороге и в усадьбах я чувствовал себя лучше, но и там мне не верили. Как я мог кому-нибудь втолковать, что мне просто хотелось увидеть то, что я видел прежде: повозки, сеновал, чан для винограда, решетку, на которой жарят мясо, цветок цикория, платочек в синюю клетку, тычву, из которой пьют, рукоять мотыги. И лица мне нравились такие, какие помнились всегда: цветущие девушки, старухи в морщинах; мне по душе были упрямые морды быков и голубятни на крышах.

Для меня не годы прошли, а просто лето сменялось осенью, зима — весной. И все, что я видел и слышал, нравилось мне тем больше, чем больше походило на прежнее, будь то рассказы о засухе, ярмарках, урожаях прежних времен, каких больше и не бывает; мне хотелось, чтобы все было, как прежде: бутылки с вином, похлебка, садовый инструмент, бревно на дворе усадьбы.

Тут Нуто говорил, что я не прав, что мне бы возмутиться тем, что здесь, на холмах, люди по-прежнему живут, как скот, что война ни к чему не привела, что все осталось, как было, только покойников прибавилось.

Говорили мы с ним и насчет Валино и его свояченицы. Спал он с ней — а что ему было делать? — но, впрочем, не в этом беда: в доме у них вообще творилось неладное. Нуто рассказал, что до самой реки слышны крики женщин, которых Валино почем зря хлещет ремнем, как хлестал он и Чинто. Нет, не из-за вина, вина у них мало; вся причина в нищете, в ярости от безысходной жизни.

Узнал я и о том, что случилось с Крестным и всей его родней. Мне рассказала об этом невестка некоего Кола, который хотел продать мне дом. Крестный скончался в Коссано, где они кое-как устроились на деньги, вырученные от продажи усадьбы, — совсем уже стареньким, всего несколько лет тому назад. Умер на большой дороге, из дому его выбросили зятя. Младшая дочь вышла замуж почти девочкой, старшая, Анжолина, на год позже; взяли их два брата из Мадонна-делла-Ровере — лесной усадьбы. Там они и жили со стариком и детьми, выращивали виноград, ели поленту, больше у них ничего не было; раз в месяц спускались в деревню хлеб испечь, — уж очень далеко было ходить. Мужчины работали всюду, доводили до изнеможения и волов и женщин; младшую в поле убило молнией; Анжолина родила семерых, а потом свалилась с опухолью под ребрами; три месяца мучилась, стонала — врач туда поднимался не чаще чем раз в год, — умерла она даже без попа. Не стало дочерей, и некому в доме было кормить старика. Он стал бродяжничать, по ярмаркам ходить; еще за год до войны повстречал его Кола — борода белая, из нее солома торчит. Наконец и он умер где-то на току в усадьбе, куда зашел просить подаюние.

Значит, незачем мне ходить в Коссано, искать своих сестер неродных, спрашивать, помнят ли они меня. И теперь, вспоминая Анжолину, я вижу ее с перекошенным ртом, такой, какой мне запомнилась ее мать в предсмертный час.

<sup>1</sup> Подеста — мэр во времена фашизма.

Но однажды утром я пошел в Канелли — шагал вдоль полотна железной дороги. Сколько раз проделывал я этот путь, когда жил на Море! Миновал Сальто, миновал Нидо, увидел Мору, увидел почти доросшие до самой крыши липы, балкон барышень, застекленную веранду, нижний этаж дома, где жили мы. Услышал незнакомые голоса и побыстрее зашагал мимо.

В Канелли я вошел по длинной улице, которой не было в мои времена, и тотчас же узнал запахи — запах вермута, реки, виноградных выжимок. Улочки были все те же, все те же цветы на окнах, все те же лица и те же вывески фотографов, и те же дома; оживленной всего на площади — новый бар, бензозаправочная колонка, мотоциклы, взметающие облака пыли. Но большой платан остался на месте. И, видать, деньги здесь по-прежнему не переводились. Утро я провел в банке и на почте. Городишко маленький, но зато сколько вилл и замков на окрестных холмах. Я был прав: в мире знают про Канелли, здесь в мир распахнуто широкое окно. Стоя на мосту, я оглядел долину и низкие холмы, тянувшиеся в сторону Ниццы. Ничего не изменилось. Разве что еще один мальчик в прошлом году приехал сюда с отцом на тележке продавать виноград. Как знать, может, и для Чинто Канелли станет воротами в мир?

И все же здесь все переменялось. Мне Канелли нравится — люблю эту долину, холмы, берег реки. Мне нравится, что здесь конец всего, последнее прибежище, где еще сменяют друг друга не просто годы, а лето, осень, зима, весна. Пусть здешние промышленники производят шампанское разных сортов, возводят здания контор, строят машины, вагоны, склады — я и сам занимаюсь всем этим, — но дорога отсюда по-прежнему ведет во все концы земли. Я прошел этот путь, начав с Гаминеллы. Будь я мальчишкой, прошел бы его еще раз. Ну, а дальше что? Нуто, который так никуда отсюда и не уходил, все еще хочет понять мир, все изменить, нарушить чередование времен года. А может, и нет: он верит рассказам про луну. А я, не поверивший в луну, знаю, что в конечном счете нет ничего важнее смены времен года. Знаю, что Канелли и есть весь мир. Канелли и долина реки Бельбо. И время не властно над здешними холмами.

Под вечер я вышел на шоссе, которое проложили рядом с железной дорогой, потом по дороге прошел мимо Нидо, мимо Мору. В доме на Сальто я застал Нуто в фартуке, он строгал, посвистывая, но глядел хмуро.

— Что случилось?

— Дело такое — в Гаминелле кто-то обрабатывал новую делянку и нашел трупы двух шпионов фашистской республики, с раздавленными черепами, босые. Врач, следователь, мэр прибыли, чтоб опознать трупы, но кого там опознаешь через три года? Конечно, это были фашистские шпионы: партизан убивали в долине, расстреливали на площадях, вешали на балконах домов, вывозили в Германию.

— Чего ж тут расстраиваться? Дело известное, — сказал я.

Нуто молчал, продолжая мрачно посвистывать.

## XI

Несколько лет тому назад — здесь, у нас, уже шла война — пришлось мне пережить ночь, о которой я всегда вспоминаю, шагая вдоль колеи железной дороги. Я нюхом чуял все, что должно было случиться — война, интернирование, секвестр имущества, — и старался все распродать, переехать в Мексику. Во Фресно я повидал достаточно нищих мексиканцев, чтобы знать, куда отправляюсь. Но то была самая близкая граница. Потом я передумал, поняв, что мексиканцам ни к чему мои ящики с бутылками спиртного. Тут началась война. Я дал захватить себя врасплох — наскучило все предугадывать, за всем гнаться, все начинать заново. А в прошлом году все равно пришлось все начать заново, но уже в Генуе...

Я знал тогда, что такая жизнь долго не продлится, и у меня пропала охота делать что-либо, работать, рисковать. Люди, к которым я было привык за десять лет, снова внушали мне страх и раздражали. Я разъезжал на грузовичке по федеральным дорогам, добирался до пустыни, до самой Юмы, до дремучих лесов. Мной



владело страстное желание быть подальше от примелькавшихся лиц, подальше от всего, что я видел в долине Сан-Жоакин. Я уже знал — кончится война, и я непременно вернусь домой, жизнь, которую я вел, была временной и скверной.

Потом я бросил и свои разъезды по этой южной дороге. Страна оказалась слишком большой, здесь никогда и никуда не доберешься. Да и я уж был не тот парень, который когда-то вместе с бригадой железнодорожников восемь месяцев добирался до Калифорнии. Слишком много ездить — все равно что на одном месте сидеть.

В тот вечер в открытом поле что-то стряслось с мотором. Я рассчитывал до темноты добраться к станции 37 и заночевать там. Было холодно, воздух был сух и пылен, поля пустынно. И то сказать — поля! Не поля — серая, поросшая колючим кактусом пустыня, не холмы — пригорки да столбы вдоль железной дороги — вот и все, куда глазом ни кинь. Повозился с мотором, вижу — ничего не поделаешь, нет у меня запасных частей.

Тут мне стало жутковато. За целый день повстречались лишь две машины: шли к побережью. В ту сторону, куда я направлялся, ни одной. Я хотел пересечь Земли графства не по федеральной дороге. Что ж, сказал я себе, теперь жди... Кто-нибудь да проедет. Но никто не проехал до следующего утра. Хорошо еще, были у меня с собой одеяла, чтоб укутаться. Ну, а завтра что? — спрашивал я себя.

Времени не занимать, — и я разглядел все камни вокруг, шпалы, сухой репейник, мясистые стебли двух кактусов в придорожном кювете. Щебень темнел от угольной пыли, как и все на свете камни, лежащие вблизи от железной дороги. Шуршал песок под порывами ветра, доносившего привкус соли. Холодно было, как зимой. Солнце уже зашло, равнина исчезла в сумерках.

Я знал, что здесь в норах гаятся ядовитые ящерицы и сколопендры, знал, что здесь повсюду змеи. Завыли дикие собаки. Не в них опасность, но этот вой мне напомнил, что я на самом краю Америки, посреди пустыни, в трех часах езды на машине от ближайшей станции. И ночь впереди. Единственная примета цивилизации — железная дорога и столбы. Пусть бы хоть поезд прошел. Я уж не раз прислонялся к телеграфному столбу, словно мальчишка, слушал, как гудят провода, что тянулись с севера к побережью. Я взял карту, стал ее изучать.

Собаки по-прежнему выли, в сером море этой равнины звук, раздиравший воздух, как петушиный крик, внушал отвращение, и от него становилось еще тоскливее и холодней. К счастью, я захватил с собой бутылку виски. И курил, курил, только бы успокоиться. Когда совсем стемнело, я осветил приборы, фары включить я боялся. Хоть бы поезд прошел...

Мне приходили в голову различные истории, рассказы о людях, которые забирались в эти места, когда и дорог еще не было, а потом их находили где-нибудь в овраге — скелет да одежда, только и всего. Бандиты, жажда, солнечный удар, змеи. Легко было представить себе те времена, когда люди здесь убивали друг друга, когда люди падали на землю, чтоб уже не подняться. Тоненькая змейка железнодорожного полотна и шоссе — вот все, что было здесь от рук человеческих. Уйти в сторону от дороги, забраться в овраги, продираться сквозь кактусы под этим звездным небом — да возможно ли это?

Я вздрогнул и вскочил на ноги, когда неподалеку от меня чихнул пес, а где-то вдали покатился камень. Выключил свет, потом тотчас же снова включил его. Чтоб прогнать страх, вспомнил, как под вечер обогнал запряженную мулом повозку с мексиканцами, — вспомнил наваленный на повозку скарб, узлы, тюки, кастрюли; вспомнил лица мексиканцев. Должно быть, семья отправлялась на сезонные работы в Сан-Бернардино или еще выше в горы. Я разглядел худенькие ноги детей, копыта мула, который едва плелся. Ветер трепал грязно-белые брюки шагавшего за повозкой мексиканца, мул вытягивал шею, с трудом тащил повозку. Проезжая мимо, я подумал, что эти бедняки, должно быть, заночуют в каком-нибудь овраге, — конечно, им не добраться до станции 37 прежде, чем стемнеет.

Вот взять хотя бы их, подумал я. Где у них дом? Ну как можно родиться и

жить в такой стране, как эта? А все же люди приспособлялись, тянулись куда-то в поисках сезонной работы, жили жизнью, не дававшей им передышки, — полгода в подвалах, полгода в открытом поле. Этим даже не пришлось пройти через приют в Алессандрини, жизнь сама выкурила их из нор, бичевала то голодом, то постройкой железной дороги, то переворотами и войнами из-за нефти, и теперь они едва тащились вслед за своим мулом. Еще счастье, что мул есть. Были и такие, что из дому уходили босиком, даже без женщины. Я вышел из кабины на дорогу и застучал каблуками, только бы согреться. Равнину поглотила ночь, по ней скользили тени, дорога едва виднелась. А ледяной ветер все шуршал и шуршал, взметая песок; собаки умолкли; отовсюду доносились вздохи, отзвуки чьих-то голосов. Я достаточно выпил, чтобы больше ничего не бояться. Стоял, вдыхал в себя запахи высохшей травы, соленого ветра и вспоминал холмы Фресно.

Потом послышался шум поезда. Сначала будто конь тащил по ровным камешкам дороги повозку, но вот показались огни. Я понадеялся, что это чья-нибудь машина или, может, та самая повозка мексиканцев. Вскоре грохот заполнил равнину, засверкали искры. Что думают об этом змеи и скорпионы? Поезд словно навалился на меня, осветив огнями вагонных окон мой грузовичок, кактусы, какого-то перепуганного и прыжками спасавшегося зверька; поезд помчался дальше, грохоча, рассекая воздух, нанося мне пощечины. Я так его ждал, но теперь, когда снова стало темно, снова заскрипел песок, я сказал себе, что от этих людей нет покоя и в пустыне. Если завтра мне придется удирать, смываться, чтоб не попасть в лагерь для интернированных, рука полицейского обрушится на меня, как толчок паровоза. Это и была Америка.

Я вернулся в кабину, укрылся одеялом, Попытался задремать — так, словно я находился на углу виа Беллависта. Про себя я подумал: как бы ни были хитры калифорнийцы, а никто из них не смог бы сделать того, что сделали эти четверо мексиканцев в лохмотьях. Устоить на ночлег с детьми и женщинами в этой пустыне, ставшей для них домом, где они, может, и со змеями умели разговаривать, — нет, калифорнийцам это не под силу. Нужно мне поехать в эту Мексику, говорил я себе; готов поспорить — мне эта страна подойдет.

Посреди ночи я внезапно проснулся от громкого лая. Вся равнина теперь походила на поле боя. Небо казалось кроваво-красным; дрожь от холода, весь разбитый, вылез я из кабины; из-за низких облаков выглянула полоска луны, совсем как ножевая рана, из которой на равнину сочилась кровь. Я долго стоял и глядел на нее. На этот раз мной овладел настоящий страх.

## XII

Ну то не ошибся. С этими покойниками из Гаминеллы и впрямь беда. Поначалу врач, кассир, трое-четверо парней спортивного вида, потягивавших вермут в баре, стали говорить, что это настоящий скандал; стали спрашивать, скольких бедных итальянцев, честно исполнявших свой долг, зверски погубили красные. Потому что — вполголоса говорили на площади — именно красные без суда стреляют в затылок. Потом взялась за дело учительница — маленькая женщина в очках, сестра секретаря мэрии, владелица виноградников. Она повсюду кричала, что готова сама обшарить весь берег, найти других мертвецов, найти всех мертвецов, разрыть мотыгой могилы, где похоронены несчастные мальчишки, только бы после этого засадили в тюрьму, а лучше всего повесили кого-нибудь из мерзавцев-коммунистов, хоть того же Валерио<sup>1</sup>, хоть того же Пайетту<sup>2</sup>, хоть того же партийного секретаря из Канелли.

Кое-кто возражал:

— Трудно обвинять коммунистов. Здесь партизанили автономные отряды.

— А что из того, — отвечали ему, — разве ты не помнишь того хромого с шарфом, который реkvизировал одеяла?

<sup>1</sup> Валерио — партизанский полковник, казненный Муссолини в апреле 1945 года.

<sup>2</sup> Джанкарло Пайетта — член руководства ИКП.

— А когда подожгли склад..

— Да какие там автономные отряды, кто тут только не перебивал... Помнишь того немца?..

Сынок хозяйки виллы завизжал:

— Это ровно ничего не значит, что автономные! Все партизаны — убийцы!

— А по-моему, — спокойно глядя на нас, сказал доктор, — виноват не тот или другой в отдельности. Вся обстановка была такая — партизанская война, полное беззаконие, кровопролитие. Эти двое, по всей вероятности, действительно шпионили... Но, — снова начал он, громко отчеканивая слова, чтобы пробиться сквозь спор, — кто создал первые отряды? Кто хотел гражданской войны? Кто провоцировал немцев и наших фашистов? Коммунисты. Всегда они. Они и должны отвечать. Они убийцы. Эту честь мы, итальянцы, им охотно уступаем...

Вывод доктора всем пришелся по душе. Тогда я сказал, что не согласен. Меня спросили почему.

— В тот год, — сказал я, — был я еще в Америке (ни слова в ответ). И в Америке был интерприрован (ни слова в ответ). И в самой что ни на есть Америке газеты напечатали воззвание короля и Бадальо, которые велели итальянцам уходить в горы, начинать партизанскую войну, нападать на немцев и фашистов с тыла.

Усмешечки. Об этом никто не помнил. Спор разгорелся снова.

Когда я уходил, учительница кричала:

— Все они ублюдки! Им деньги наши нужны! Земля и деньги, как в России. А недовольных — в расход.

Нуто тоже спустился в деревню, чтоб послушать. Слушал и все больше мрачнел.

— Неужели, — спросил я его, — никто из парней не был в партизанах? Отчего они все словно воды в рот набрали? В Генуе партизаны даже газету издают...

— Из этих никто не партизанил, — сказал Нуто. — Все они повязали себе на шею трехцветный платок наутро после победы. Кое-кто служил в Ницце... А те, кто своей шкуры не жалел, не любят болгать.

Покойников опознать не удалось. Их на повозке отвезли в старую больницу; многие ходили на них взглянуть и возвращались, скривив рот. «Что ж, — говорили женщины в переулках, сидя у порога своего дома, — этого никому не миновать. Но хуже нет такой смерти». Малый рост и медальон со святым Дженнаро на шее у одного из них навели следователя на мысль, что это были южане. Их записали как «неизвестных» и на том закрыли следствие.

Но приходский священник ничего не закрыл и лишь теперь принялся за дело по-настоящему. Он тотчас призвал к себе мэра, старшину карабинеров, комитет глав семейств и настоятельниц монастырей. Мне обо всем рассказал Кавалер, он был не в ладах со священником, который, ничего ему не сказав, велел снять со скамьи латунную дощечку с его фамилией.

— Скамья, у которой, стоя на коленях, молилась моя мать! — рассказывал он. — Моя мать, принесшая церкви больше добра, чем десять таких, как он!..

Кавалер не осуждал партизан.

— Мальчишки, — сказал он. — Мальчишки, которым пришлось воевать. Когда я думаю, сколько их погибло...

Словом, поп решил лить воду на свою мельницу. Он еще не оправился как следует с того дня, когда поставили плиту в память партизан, повешенных перед казармой чернорубашечников. Для этого два года назад из Асти приезжал депутат-социалист. Попа на церемонии не было.

Зато теперь, на собрании в своем доме, он отвел душу. Все они отвели душу и обо всем договорились. За давностью нельзя было привлечь к суду никого из бывших партизан; «подрывных элементов» в деревне вообще не было, но они решили дать политический бой, да такой, чтоб до самой Альбы молва прокатилась. Сначала большая служба в церкви, потом торжественные похороны жертв, митинг и публичная анафема красным. Каяться и молиться. Мобилизовать всех.

— Не мне радоваться, — сказал Кавалер, вспоминая те времена. — Война, как говорят французы, *sale métier*<sup>1</sup>. Но этот священник спекулирует на мертвых, он бы и мать родную не пощадил.

Я зашел к Нуто, чтоб рассказать ему и об этом. Он почесал в затылке, устоялся в землю и зло сплюнул.

— Так я и знал, — сказал он потом, — он уже раз попытался устроить такой спектакль с цыганами...

— Что за цыгане?

И он рассказал мне, что в сорок пятом отряд молодых партизан взял в плен двух цыган, которые много месяцев вели двойную игру: ходили в горы, выдавали расположение партизанских отрядов.

— Знаешь, в отрядах разный был народ, со всей Италии, иностранцы тоже. Были среди партизан и темные люди. Словом, в те времена все перемешалось. Ну, вот, вместо того, чтобы отвести их в штаб, они цыган схватили, посадили в колодец и заставили отвечать — сколько раз те наведывались в казарму к чернорубашечникам. А одному из них, у которого голос хороший, велели петь, чтобы спасти жизнь. Тот сидит в колодце связанный, поет как сумасшедший, изо всех сил поет. Он поет, а они их мотыгой по голове — так и прикончили обоих... Их трупы откопали два года тому назад, и поп тотчас же закатил молебен в церкви. По тем, кого чернорубашечники повесили, небось молебен не устраивал.

— На вашем месте, — сказал я, — лучше всего потребовать, чтобы он отслужил мессу за упокой души повешенных партизан. Откажется — осрамите его перед всем селением.

Нуто невесело усмехнулся: поп у нас такой, что согласится. А потом все равно все себе на пользу повернет.

Итак, в воскресенье устроили похороны. Местные власти, карабинеры, дамы с вуалями. Этот черт позвал и монахов в желтых капюшонах — глядеть жутко... А цветов нанесли!.. Учительница, та самая, у которой свои виноградники, разослала девочек рвать цветы по чужим садам. Священник в праздничном облачении, поблескивая очками, держал речь с паперти. Чего только не говорил! Времена, мол, дьявольские, душам угрожает опасность. Слишком много пролито крови, слишком много молодых людей еще прислушиваются к словам ненависти. Родина, семья, религия — все в опасности. Красный цвет, чудотворный цвет мучеников, стал знаменем антихриста, и во имя его вершилось и вершится множество преступлений. Надо и нам покаяться, очиститься, искупить содеянное зло — предать христианскому погребению этих двух неизвестных юношей, убитых столь зверски и покинувших земную юдоль, видит бог, без утешительного причастия. Каяться, молиться за них, воздвигнуть преграду из сердец. Он произнес какое-то слово по-латыни. Прочитать этих людей без родины, этих насильников, этих безбожников. И не думайте, будто враг повержен: над многими итальянскими городами еще упорно развевается его красное знамя...

Нельзя сказать, чтоб мне его речь слушать было так уж неприятно: сколько лет уже я не слушал, как священник, стоя на солнце посреди площади, с паперти доказывает свое. Подумать только, когда Виржилия брала нас к мессе, я верил, что голос священника все равно что гром, что безоблачное небо, что смена времен года. Что от этого голоса зависит урожай на полях, здоровье живых, спасение душ умерших. Теперь я убедился, что священник сам использует мертвых. Нет, лучше не стареть, лучше не знать мир.

Но вот уж Нуто эта речь крепко пришлась не по душе. На площади кое-кто из его друзей подмигивал ему, перекидывался с ним словечком. А Нуто переминался с ноги на ногу, страдал. Речь шла о покойниках, пусть фашистах, пусть давно скончавшихся, но тут уж ничего не попишешь, — когда речь идет о покойниках, поп всегда возьмет верх. Я это знал, но знал это и Нуто.

<sup>1</sup> Грязное ремесло (франц.).

## XIII

В селении снова заговорили об этой истории. Поп-ловкач ковал железо, пока горячо: на следующий день после похорон отслужил мессу за упокой души этих умерших, за души живущих, которым угрожала опасность, за души тех, кто еще не появился на божий свет. Он советовал не записываться в политические партии, преследующие подрывные цели, не читать антихристианских непристойных газет, ездить в Канелли разве что по делам, а лучше и вовсе там не бывать, не засиживаться по трактирам; девушкам советовал удлинить платья. Послушать разговоры здешних бабенок и лавочников — выйдет, что кровь тут лилась, как сусло в давильне. Всех ограбили, у всех дома сожгли, у всех бабы понесли. А бывший фашистский подеста, сидя за столиком у гостиницы «Анжело», прямо сказал, что в прежние времена такого не бывало. Тогда вскочил с места шофер грузовика из Калоссо — парень решительный и твердый — и спросил у него, кто в эти прежние времена воровал удобрения и, к слову, куда делось краденое?

Я снова пошел к Нуто, увидел, как он, по-прежнему хмурясь, измеряет тележные оси. Жена в доме кормила грудью ребенка. Я в окно крикнул ему, что глупо все это принимать так близко к сердцу, сказал, что на политике никогда ничего не выгадаешь. Я всю дорогу это себе втелковывал, не знал только, как бы его получше вразумить. Нуто взглянул на меня, стукнул линейкой и резко спросил, а не хватит ли с меня? Чего я тут околачиваюсь, в такой глуши?

— Вам в ту пору надо было дело доводить до конца, — сказал я ему, — умный не станет зря ос дразнить.

Тут я услышал, как он крикнул жене:

— Комина, я пошел! — Схватил пиджак и спросил меня: — Выпить хочешь? Я ждал. Он еще что-то сказал подмастерьям, работавшим под навесом; потом повернулся ко мне:

— Не могу больше. Уйдем-ка отсюда подальше.

Мы стали подниматься по склону Сальто. Поначалу молчали или говорили о том, какой в нынешнем году чудесный виноград. Шли между берегом и виноградником Нуто. Потом свернули с дороги и зашагали по крутой тропке. На повороте у виноградника нам повстречался Берта, старый Берта, который больше не выходил из своей усадьбы. Я остановился, хотел перекинуться с ним словечком, напомнить о себе — ни за что бы не поверил, что еще застану его в живых, таким вот беззубым, — но Нуто зашагал мимо, только сказал:

— Привет.

А меня Берта, конечно, не узнал.

Сюда, до усадьбы Спирита, я когда-то добирался. В ноябре мы приходили сюда воровать мушмулу. Я стал глядеть вниз — сохнувшие без дождя виноградники, обрыв, красная крыша дома Нуто, река и лес. Нуто теперь шагал медленней, мы упрямо молчали.

— Плохо, — сказал наконец Нуто, — что все мы здесь невежды. Вся деревня в руках у этого попа.

— Ну и что? Почему ты ему не отвечаешь?

— Что мне ему, посреди церкви, что ли, отвечать? У нас речи произносят только в церкви. В другом месте станешь говорить, тебе не поверят... Непристойная антихристианская печать... А они и в календарь не заглядывают...

— Да вырвись ты отсюда, — сказал я. — Послушай, что другие говорят, подыши другим воздухом. В Канелли все по-другому. Ты слышал, он и сам сказал, что в Канелли ад.

— Если бы за этим дело...

— А ты начни... Канелли — ворота в мир. За Канелли — Ницца-Монферрато. За Ниццей — Александрия. Одни вы никогда ничего не сделаете.

Нуто вздохнул и остановился. Я стоял рядом и глядел на долину.

— Если хочешь чего-нибудь добиться, — сказал я, — держи связь с миром. Разве нет партий, которые за вас, разве нет депутатов, которые вас защитят?

Встречайтесь друг с другом, беседуйте. В Америке так и делают. Сила партий в тысячах таких маленьких деревень, как ваша. Попы не действуют в одиночку, за ними целая армия других попов. Хорошо бы сюда еще разок заглянул тот депутат, что выступал у казармы чернорубашечников...

Мы сели на жухлую траву в тени высокого тростника, и Нуро объяснил мне, почему не едет депутат. Со дня освобождения, с радостного дня 25 апреля, дела здесь пошли все хуже и хуже. В те дни, конечно, кое-что было сделано. Исполщики и сельские бедняки раньше и людей-то не видали, но в тот год партизанской войны мир сам пришел к ним, разбудил их. Здесь были люди отовсюду — южане, тосканцы, горожане, студенты, беженцы, рабочие. Даже немцы, даже фашисты кое на что содвинулись — открыли глаза самым темным; каждый показал, кто он на самом деле: вот я, а вот ты, ты за то, чтоб с крестьянина шкуру драть, а я — за то, чтобы и крестьянину улыbnулась судьба. А те, кто бросил оружие или не явился на призыв, показали правительству господ, что мало одного желания начать войну. Понятное дело, в такой буче и дурное было, и воровали, и убивали без причины, но это редко случалось, гораздо реже, чем в те времена, когда прежние насильники сами заставляли грабить на большой дороге или подыхать с голоду.

— Ну, а потом? Как все пошло потом?

— Мы успокоились, поверили союзникам, поверили прежним насильникам, которые, переждав бурю, вынырнули из погребов, из вилл, из церквей и монастырей. Вот и дожили, — сказал Нуро. — Поп и в колокола-то звонит только потому, что партизаны их спасли, а вот выступает за фашистскую республику и ее шпионов. Да пусть их даже без вины расстреляли — не ему все это вешать на шею партизанам: они тысячами шли на гибель, чтобы спасти страну.

Покуда он говорил, я разглядывал холм Гаминелла; оң был весь передо мной и казался огромным — не холм, а целая планета. Отсюда можно было различить овраги, леса, тропы, которых я никогда не замечал. Надо будет нам туда подняться как-нибудь. Это тоже часть мира. Я спросил у Нуро:

— Там, наверху, партизаны были?

— Партизаны были повсюду, — ответил он. — За ними охотились, как за дичью. А сколько их гибло! То стреляют на мосту, а через день они уже по ту сторону Бормиды. Ни минуты покоя, повсюду ловушки, шпионы...

— А ты партизанил? Был с ними?

Нуро проглотил слюну и покачал головой:

— Каждый что-нибудь делал. Только мало я сделал... Боялся, что выдаст шпион, и тогда дом сожгут...

Я разглядывал отсюда долину Бельбо. Липы, низкие строения Мору, поля — все казалось маленьким и чуждым. Я никогда не видел Мору отсюда, никогда не думал, что она такая неприметная.

— Вчера проходил мимо Мору, — сказал я. — Нет больше сосны у ворот...

— Ее велел срубить бухгалтер Николетто. Что за невежда!.. Велел срубить, чтобы нищие не останавливались в ее тени просить милостыню. Понимаешь? Мало ему, что он полдома проел, не хочет, чтоб бедняк мог постоять в тени с немим упреком...

— Как же они дошли до такого? У них ведь свой выезд был. Старик бы этого не допустил.

Нуро молчал, обрывая сухую траву.

— Да что Николетто? — сказал я. — А девушки? Стоит мне вспомнить, вся кровь закипает. Верно, они любили поразвлечься, а Сильвия, как дура, шла за первым встречным, но покуда был жив старик, всегда все улаживалось. Хоть бы мачеха жива была... А младшая, Сантина, что с ней стало?

Нуро, должно быть, все еще думал о попе и шпионах, он снова скривил рот и проглотил слюну.

— Она жила в Канелли. Они с Николетто друг друга терпеть не могли. Там она фашистов развлекала. Это всякий знает. А потом в один прекрасный день ее не стало.

— Неужто? — спросил я. — А что она натворила? Санта, Сантина... Помню, шестилетней девочкой она была такая красивая.

— Видел бы ты ее, когда ей было двадцать. Сестры ей и в подметки не годились. Избаловали ее, дядюшка Маттео только ею и жил... Помнишь, как Ирена и Сильвия не хотели с мачехой выезжать, чтобы не стусеваться? А Санта была красивее их и мачехи.

— Но как же так? Что с ней стряслось? Известно, что она натворила?

Нуто ответил:

— Известно. Сучкой была.

— Да что ты?!

— Сучкой и шпионкой.

— Ее прикончили?

— Пойдем-на лучше домой, — сказал Нуто. — Хотел я отвлечься, но и с тобой не вышло.

#### XIV

Должно быть, судьба такая. Я часто думал — сколько там людей было, а теперь в живых остались только я и Нуто, только мы уцелели. Как долго вынашивал я эту мечту (однажды утром, в баре Сан-Дьего, это желание овладело мною с такой силой, что я чуть не лишился рассудка!): выйду на дорогу, потом пойду мимо ограды, мимо сосны, пройду под сводом лип, услышу голоса, смех, кудахтанье кур, отворю калитку: «Вот я и здесь, вот я и вернулся». И сразу все ошалеют от изумления — и батраки, и женщины, и пес, и сам старик. И глаза дочерей — голубые и черные глаза — узнают меня с веранды. Не сбьется мечта. Я вернулся, появился здесь, я богат, живу теперь в гостинице «Анжело», беседую с Кавалером. Но где же лица, где голоса и руки тех, кто должен был коснуться меня, узнать? Их нет. Их давно уж нет. А то, что осталось, — все равно что сельская площадь на другой день после ярмарки, что виноградник после сбора урожая, что возвращение в трактор после того, как проводишь друга, который больше не хочет с тобой пить. Нуто — один он уцелел, но и он изменился, он, как и я, уже в годах. Чтоб уж все сразу выложить, скажу, что и я теперь другой — застань я на Море все, как было в ту первую зиму, в то первое лето, и во второе лето и зиму, день за днем все те годы, — может, я бы и не знал, к чему все это теперь. Я слишком издалека пришел — я больше не принадлежал этому дому, я был уже не такой, как Чинто, мир меня изменил.

Летними вечерами мы допоздна сидели под сосной или во дворе на бревне и болтали — у изгороди останавливались прохожие, смеялись женщины, кто-нибудь выходил из хлева. Старики — управляющий Ланцоне, Серафина, а порой и сам дядюшка Маттео обращались к нам с такой речью: «Да, да, ребята, да да, девушки... растите быстрее, как наши деды говорили... Посмотрим, как вы управляться будете». В то время я даже не понимал, что это значит — расти, думал: расти — значит только набираться ума-разума, чтобы делать трудные дела, как, например, покупать быков, назначать цену за виноград, работать на молотилке. Я не знал, что расти — значит уходить, стареть, видеть, как люди умирают, застать Мору такой, какой я ее застал теперь. Про себя же я думал: «Да провалиться мне, если не уйду в Канелли. Если не выиграю на состязаниях. Если не куплю усадьбу. Если не стану ловчей Нуто». Потом я думал о коляске дядюшки Маттео и его дочерях. Думал о хозяйской всранде. О пианино в гостиной. О празднике святого Рокко. Думал о чанах с вином и об амбарах, полных зерна. Словом, я подрастал.

В тот год, когда выпал град и Крестному пришлось продать дом и отправиться батрачить в Коссано, в тот год меня уже не раз посылали в Мору на поденную работу. Мне было тринадцать, и кое с чем я все же управлялся, даже немного денег приносил. Утром переходил на другой берег Бельбо, помогал женщинам и батракам — Чириню, Серафине — собирать орехи, помогал при сборе винограда, кукурузы, помогал управляться со скотиной. Мне нравилось, что двор здесь такой

большой, и народу столько, и никто тебя не ищет. Еще хорошо, что усадьба у са- мой дороги, под холмом Сальто. Сколько новых лиц, а коляска какая, а лошадь, а занавески на окнах! В первый раз я увидел цветы, настоящие цветы, такие, как в церкви. У изгороди под липами был цветник — росли циннии, лилии, лесной чай, георгины; я понял, что цветы — все равно что плодовые деревья, только на стеб- ле цветов вместо плода: цветы собирают, они нужны синьоре, дочерям, которые прогуливаются под зонтиками; в доме цветы ставят в вазы. Ирене тогда было око- ло двадцати, а Сильвии — лет восемнадцать, изредка мне удавалось их видеть. Потом была еще Сантина, их сводная сестра, она родилась недавно, Эмилия, как услышит крик, бежала наверх качать ее люльку.

Вечером, вернувшись в Гаминеллу, я рассказывал всякую всячину Анжоли- не, Крестному. Джулии, если в тот день ее со мной не было. Крестный говорил: этот человек нас всех вместе может купить. Ландоне у него хорошо живет. Дя- дюшка Маттео никогда не помрет на большой дороге. Тут уж можно поручиться. Даже град, опустошивший наш виноградник, пощадил другой берег Бельбо, и все усадьбы в долине и усадьба у Сальто лоснились, как гладкая спина вола.

— Мы разорены, — говорил Крестный, — как я теперь погашу ссуду?

Он был уже в преклонных годах и все боялся остаться без земли, без кры- ши над головой.

— А ты все продай, — говорила ему Анжолина, стиснув зубы, — где-нибудь пристроимся.

— Была бы твоя мать жива, — бормотал Крестный...

Я понимал, что то была последняя осень. Уходил на виноградник или к бере- гу и все боялся, что сейчас меня позовут, что кто-нибудь придет и выгонит меня. Потому что знал — я им никто.

Потом в это дело вмешался приходский священник — тот, что был здесь в те годы, старик с костлявыми пальцами. Он купил наш дом для кого-то, переговорил насчет ссуды, сам отправился в Коссано, пристроил девочек и Крестного. Когда приехала повозка за шкафом и тюфяками, я отправился в хлев отвязать козу. Но козы уже не было, ее тоже продали. Я плакал из-за того, что не было козы, а тут как раз приехал священник, — большой серый зонт, ботинки заляпаны грязью. Он покосился на меня. Крестный ходил по двору, крутил усы.

— А ты, — сказал мне священник, — не будь девчонкой. Что для тебя этот дом? Ты молод, у тебя еще все впереди. Лучше расти на здоровье, чтоб отпла- тить этим людям за добро, которое они тебе сделали...

А я уже все знал. Знал и плакал. Девчонки сидели в доме и боялись выйти из-за священника. Мне он сказал:

— В усадьбе, куда пойдет Крестный, лишними будут и твои сестры. Тебе мы подыскали хороший дом. Скажи спасибо мне. Там тебе дадут работу.

С первыми холодами я появился на Море. В последний раз переходя через Бельбо, я даже не оглянулся назад. На Мору я пришел, закинув за спину дере- вянные башмаки и свой узелок; в платке нес четыре гриба, которые Анжолина послала Серафине. Мы нашли их с Джулией на холме.

На Море меня, с разрешения управляющего и Серафины, принял батрак Чи- рино. Он тотчас же отвел меня в хлев, где стояли волы, корова, выездная лошадь за деревянной загородкой. Под навесом — заново покрытая лаком коляска. По стенам развешаны упряжь, хлыстики с кисточками. Чирино сказал, что я покида буду спать на сеновале, а потом он положит мне тюфяк в амбаре, где мы будем жить с ним вместе. Там, в амбаре, в большой давильне и на кухне пол был не земляной, а цементный. На кухне стоял застекленный шкаф и в нем множество чашек, а над камином висели фестоны из глянцевой красной бумаги; Эмилия ска- зала, чтобы я их, упаси боже, не трогал. Серафина взглянула на мои вещи, спро- сила, собираюсь ли я еще расти, и сказала Эмилии, чтоб та на зиму подыскала мне пиджак. Первая моя работа была такая — наломать хворосту и кофе смолоть.

Это Эмилия сказала мне, что я гохож на угря. В тот вечер мы сели к столу, когда уже было темно, при свете керосиновой лампы. На кухне собрались все —



обе женщины, Чирино, управляющий Ланцоне, который сказал мне, что за столом застенчивость к месту, а вот за работой стесняться не к чему. Расспросили меня о Виржилии, Анжолине, о том, что их ждет в Коссано. Потом Эмилию позвали наверх, управляющий пошел в хлев, а я остался один с Чирино перед столом, на котором был хлеб, сыр, вино. Тогда я набрался смелости, а Чирино сказал мне, что на Море харчей на всех хватает.

Пришла зима, выпало много снега, замерзла речка, а мы жили в тепле, на кухне или в хлеву; очистить от снега двор или дорожку перед усадьбой, притащить вязанку дров, вымочить ивовые прутья для Чирино, воду принести — вот и все мои дела. А там играй с ребятами в шарики. Настало рождество, настал Новый год, настало крещение. У нас жарили каштаны, открывали бочки с вином, два раза мы ели индейку, а один раз гуся. Синьора, дочери, дядюшка Маттео часто приказывали запрягать, ездили в Канелли, однажды они привезли оттуда миндальных пряников и дали попробовать Эмилии. По воскресеньям я с мальчиками из Сальто и с женщинами шел в церковь к мессе. Печь хлеб мы тоже ходили в деревню. Холм Гаминелла был весь в белом снегу. Я глядел на него сквозь сухие ветки деревьев на берегу Бельбо.

## XV

Не знаю, куплю ли я здесь землю, буду ли говорить с дочерью Кола? Вряд ли. Другими стали теперь мои дни — телефоны, отправка грузов, асфальт городских улиц. Но и до возвращения, бывало, выйдешь из бара, или сядешь в поезд, или просто вечером вернешься к себе, и вдруг воздух донесет до тебя знакомые запахи, и вспомнишь, какое сейчас время года, подумаешь — сейчас самая пора косить, подрезать лозу и обсыпать ее серой, мыть чаны, рубить тростник.

В Гаминелле я был никем, на Море обучился делу. Здесь никто не вспоминал о пяти лирах из мэрии; через год я уже перестал думать о Коссано и зарабатывать свой хлеб. Поначалу было нелегко, земли Моры протянулись от долины Бельбо почти до самой середины холма, и я, привыкший к винограднику Гаминеллы, с которым Крестный управлялся один, терялся — столько здесь было скота, столько всего росло, столько встречалось новых лиц. Прежде мне не приходилось бывать в усадьбах, где работают батраки, я никогда не видывал столько возов зерна и кукурузы, столько корзин винограда. Мешками тут мерили только бобы и чечевицу, которые сеяли у дороги. Вместе с хозяевами нас было больше десяти едоков; виноград, зерно, орехи и на продажу возили, и оставляли про запас; у дядюшки Маттео был выезд; дочери играли на фортепьяно, то и дело ездили к портникам в Канелли; к столу им подавала Эмилия.

Чирино научил меня, как обращаться с волами, как менять им подстилку.

— Ланцоне хочет, чтоб за волами ухаживали, как за невестами, — сказал он мне.

Он научил меня чистить волов скребницей, готовить для них пойло и корм, не жалеть сена. В день святого Рокко их отводили на ярмарку, и управляющий не жаловался на выручку. Весной, когда на поля вывозили навоз, я шагал за телегой. В теплое время года на поле выходили до рассвета, а заводили скот в хлев, когда уже стемнеет и звезды покажутся на небе. У меня теперь был пиджак до колен; я не мерз. Когда солнце выглянет, приходили на поле Серафина, Эмилия, приносили вино, а то я и сам удирал в дом; управляющий распределял работу на день; в этот час на дороге появлялись первые прохожие, а в восемь утра раздавался первый гудок паровоза. Я косил траву, шевелил сено, таскал воду, готовил купорос, поливал огород. Когда работали поденщики, управляющий посылал меня приглядеть за ними: пусть не выпускают из рук мотыгу, пусть хорошенько обсыпают листья серой или купоросом, пусть не болтают, забравшись в глубь виноградника. А батраки просили меня, такого же, как они, батрака, чтоб я дал им спокойно покурить.

— Смотри, как надо делать, — говорил мне Чирино и, поплевав себе на руки, брался за мотыгу. — На тот год будешь и ты работать.

Покуда я еще не работал по-настоящему; женщины то и дело звали меня во двор, посылали за чем-нибудь, требовали на кухне, когда месили тесто или разжигали плиту, а я ко всему прислушивался, приглядывался к каждому входящему и уходящему. Чирино, такой же батрак, как я, принимал во внимание, что я еще мальчишка, и давал мне такие поручения, чтобы за мной могли присмотреть женщины. Сам он их обходил стороной — состарился, а семьи так и не завел; по воскресеньям закуривал крепкую тосканскую сигару; говорил, что ему и в деревню ходить неохота, лучше посидеть у изгороди, послушать, о чем толкуют прохожие. Иногда я удирал и подымался до дома Нуто на Сальто, где у его отца была мастерская. Здесь и тогда уж было полным-полно герани и, как теперь, повсюду лежали груды стружек. Кто бы ни проходил мимо, по пути в Канелли или обратно, останавливался в мастерской поболтать, а плотник тем временем орудовал рубанком, стамеской и толковал со всеми обо всем на свете: о Канелли, о прежних временах, о политике, о музыке, о деревенских сумасшедших или о том, что где творится. Когда меня за чем-нибудь посылали, я мог здесь побыть подольше, и тогда, играя с ребятами, жадно слушал все разговоры, выпитывал их в себя, словно взрослые и вели-то их ради меня. Отец Нуто выписывал газету.

В доме у Нуто дядюшку Маттео тоже хвалили; рассказывали о том времени, когда он был солдатом в Африке и все уже считали, что он убит, — и священник, и мать, и невеста, и пес, который день и ночь выл во дворе. Но однажды за дөрвьями пронесся вечерний поезд из Канелли, и пес вдруг бешено залаял, а мать сразу поняла, что возвращается Маттео. Давно это было — Мора тогда была еще простым крестьянским двором, девочки еще не родились. Дядюшка Маттео то пропал в Канелли, то разъезжал по округе на двуколке, то шел на охоту. Был он озорной, но договориться с ним можно было всегда. Дела любил вести с прибаутками и не где-нибудь, а за обеденным столом. Он и сейчас по утрам съедал целый перец и запивал его добрым вином. Жену, родившую ему двух дочерей, он давно похоронил; вторая женщина пришла к нему в дом, родила ему еще дочь, а он хоть и состарился, а все шутил и сам всем заправлял.

Сам дядюшка Маттео никогда на земле не работал, дядюшка Маттео стал синьором, хоть и не учился и никогда не путешествовал. Если не считать Африки, то дальше Акви не забирался. Он был жаден до женщин — это и Чирино говорил, — как его дед и отец были жадны до земли и добра. Такая у них была кровь: в ней бродили соки земли и жадность ко всему земному — к вину, к зерну, к еде, к женщинам, к богатству. Дед еще сам землю мотыжил, а сыновья уже стали другими, хотели наслаждаться жизнью. Но и теперь дядюшка Маттео мог на глазок определить, сколько корзин даст виноградник, сколько мешков зерна соберут с поля, сколько удобрений нужно для луга.

Управляющий приносил ему счета, и они вдвоем запирались наверху, а Эмилия, подававшая им кофе, говорила, что дядюшка Маттео все счета знает на память и не позабудет ни одной тележки с зерном, ни одной корзины винограда, ни одного потерянного рабочего дня.

Я долго боялся подниматься по лестнице, ведущей на второй этаж. Эмилия то и дело туда ходила, она была племянницей управляющего и могла мне приказывать; когда в доме бывали гости, она прислуживала им в переднике. Порой Эмилия звала меня с веранды, кричала в окно, чтоб я поднялся, принес ей то или другое, сделал что-нибудь. Я норовил спрятаться подальше. Однажды мне велели принести в хозяйский дом ведро воды, так я его оставил у двери и удрал. Помню, утром нужно было что-то починить на веранде и меня позвали держать лестницу, на которой стоял рабочий. Я поднялся, прошел через полутемные комнаты, в которых было полным-полно мебели, журналов, цветов, и все сверкало, как зеркало. Я ступал босиком по красным каменным плитам, а навстречу мне показалась синьора, черноволосяя, с медальоном на шее. Она несла простыню и посмотрела на мои ноги.

Эмилия с террасы кричала:

— Эй, Угорь, иди сюда, Угорь!

— Милия меня зовет, — пробормотал я.

— Ну, ступай, ступай же быстрее, — ответила синьора.

На террасе сохли выстиранные простыни, здесь было много солнца, отсюда, если взглянуть в сторону Канелли, виден был замок Нидо. У перил стояла Ирена, она сушила свои золотые волосы, накинув на плечи полотенце. Эмилия, державшая лестницу, крикнула мне:

— Давай пошевеливайся!

Ирена ей что-то сказала, они рассмеялись. Я придерживал лестницу, но упорно глядел лишь на стенку и на каменный пол и, чтоб душу отвести, припоминал, что мы, мальчишки, рассказывали друг другу, прячась в тростнике.

## XVI

От дома в Море к речке добраться легче, чем из Гаминеллы — там спуск к воде круче, да и пробираться нужно через заросли ежевики, сквозь кустарники и акации, растущие на берегу. А здесь берег песчаный, низкий зеленый камыш, а дальше, до самых пашен Моры, — лес. Случалось, в жаркие летние дни Чирино посылал меня обрезать виноградную лозу или за ивовыми прутьями. Тогда я давал знать своим приятелям, и они приходили к берегу кто с дырявой корзиной, кто с мешком; мы раздевались и ловили рыбу, играли, бегали по раскаленному солнцем песку. Здесь я хвастался тем, что меня прозвали Угрем. Николетто из зависти грозился обо всем рассказать Чирино и дразнил меня ублюдком. Николетто — сын одной из теток синьоры, зимой он жил в Альбе. Мы кидались камнями, но мне надо было остерегаться, чтоб не попасть в него, не то он вечером станет показывать на Море свои синяки. Бывало, управляющий или женщины, работая в поле, увидят нас, и тогда я должен был прятаться в кусты, бежать к усадьбе, на ходу подтягивая штаны. Ну что ж, отругает управляющий или даст подзатыльник — только и всего.

Все это не шло ни в какое сравнение с теперешней жизнью Чинто. Отец не спускал с него глаз, наблюдал за ним из виноградника, женщины то и дело звали его, ругались, что он торчит у Пиолы, посылали в дом — то отнести траву, то початки кукурузы, то шкурки кроликов.

В этом доме всегда во всем была нехватка. Хлеба они не ели, пили не вино, а водичку. Полента и чечевица, и чечевицы тоже не вдоволь. Я-то знаю, что значит работать мотыгой, разбрасывать удобрения в самые знойные часы, да еще голодным, да еще без питья. Знаю, что и нам не хватало этого виноградника, а мы ведь не отдавали половины урожая.

Валино ни с кем не разговаривал. Все надрывался, мотыжил, подрезал и подвязывал лозу, что-то чинил; чуть не с кулаками набрасывался на скотину, на ходу жевал поленту; приказанья отдавал почти без слов — только глаза поднимет. Женщины всё исполняли мигом, Чинто старался удрать. Вечер, время спать, а Чинто все нет — бродит где-то у реки; Валино хватал его за шиворот, а не его, так одну из женщин — кто первым под руку подвернется, и тут же на пороге дома хлестал ремнем. Достаточно было скупых рассказов Нудо, достаточно было взглянуть на всегда настороженное лицо Чинто, когда я встречал его на дороге, чтоб понять, какой теперь стала Гаминелла.

Да и пса он держал на цепи, а есть ему не давал, и пес по ночам чуял ежей, чуял летучих мышей и куниц, рвался, обезумев, с цепи и лаял, лаял на луну, которая, видно, казалась ему лепешкой поленты. Тогда Валино вставал с постели, яростно хлестал пса ремнем, пинал его ногами.

Однажды я уговорил Нудо отправиться в Гаминеллу, чтобы взглянуть на этот чан. Он поначалу и слышать не хотел:

— Я знаю, стоит мне с ним заговорить, и я его обзову голодранцем, скажу, что живет он хуже скота. А вправе я с ним так говорить? Польза-то какая? Пусть правительство прежде покончит с деньгами и с богатыми...

По дороге я спросил его, действительно ли он верит, что люди звереют от нищеты:

— Разве ты никогда не читал в газетах о миллионерах, которые пускают себе пулю в лоб или глушат тоску наркотиками? Есгь пороки, на которые деньги нужны...

Он ответил мне: вот опять деньги, всегда деньги... Иметь или не иметь... Покуда существуют деньги, никто не спасется.

Когда мы подошли к дому, на порог вышла свояченица Розина, та, что с усиками, и сказала, что Валино пошел к колодцу. На этот раз он не заставил себя ждать, сам пришел, сказал женщине:

— Придержи-ка пса,— и ни на минуту не задержал нас во дворе.— Значит,— сказал он Нуто,— ты взглянешь на этот чан?

Я знал место, где стоял чан, помнил низкие своды давилъни, трещины в кладке и паутину. Я сказал:

— Подожду вас в доме,— и, наконец, перешагнул этот порог.

Но и оглядеться не успел, как услышал плач и слабые стоны — так тихо стонут, когда уже нет сил кричать.

На дворе рвался с цепи пес. Лай, брань, глухой удар, пес завыл, получив свое.

Тем временем я все разглядел. Старуха в одной сорочке, из-под которой торчали грязные ноги, скособочившись, сидела в углу на тюфячке, уставившись на голую стену.

Тюфяк был весь в дырах, из них повылезала солома. Сморщенная старушка, лицо не больше кулака — как у плачущего в люльке младенца, над которым мать поет песни. Воняет затхлым, кислым, воняет мочой. Я понял, что стонет она день и ночь непрестанно, может, сама уже не понимая, что делает. Неподвижно глядела она на стену, стонала на одной ноте, не произнося ни слова.

Я услышал у себя за спиной шаги Розины, отступил немного, посмотрел на нее с неммым вопросом: умирает, мол, старуха? Что с ней? Но она оставила без ответа мой вопрос, только сказала:

— Садитесь, если не боитесь запачкаться,— и поставила передо мной стул.

Старуха стонала, жалкая, как вробей с перебитым крылом. Я оглядел комнату — какой она показалась маленькой, незнакомой! Прежними были только что оконце, да жужжанье мух, да трещина на печке.

На ящике у стены тыква, два стакана, связка чесноку. Я почти сразу вышел, а Розина, как собака, пошла за мной следом. Когда мы дошли до смоковницы, я спросил у нее, что со старухой. Она ответила:

— Годы — заговаривается, молитвы бормочет.

— Что вы? Разве она не жалуется на боль?

— В ее годы,— ответила женщина,— кругом одна боль. Что человек ни скажет — все одна жалоба.— Она взглянула на меня косо.— Старость каждого ждет.— Потом подошла к краю луга и завопила: «Чинто! Чинто!» — да так, словно ее режут, словно она помрет без него.

Чинто не появлялся.

Из хлева вышли Нуто и Валино.

— Скотина у вас хорошая,— сказал Нуто.— А своих кормов хватает?

— Да что ты, корма дает хозяйка.

— Значит, так,— сказал Нуто,— хозяева усадьбы кормят скотину, а не людей, которые работают на их земле.

Валино ждал.

— Ну, пошли, пошли,— сказал Нуто.— Мы торопимся. Значит, я пришлю вам смолы.

Спускаясь по тропке, он пробормотал, что найдутся и такие, кто готов угощаться вином даже у Валино.

— При такой жизни, как у него,— сказал он с яростью.

Мы помолчали. Я думал о старухе. Из гростника показался Чинто с пучком травы. Он шел нам навстречу, волоча ногу, и Нуро сказал:

— Надо уж совсем стыд потерять, чтобы такому мальчишке рассказывать всякие бредни, звать его куда-то.

— Ты говоришь — звать? Да ему где хочешь будет лучше, чем здесь.

Каждый раз, когда я встречал Чинто, мне хотелось подарить ему несколько лир, но я подавлял в себе этот порыв. Они бы его не порадовали, да и на что бы он их потратил? Мы остановились, и Нуро спросил его:

— Ты что, гадюку нашел?

Чинто вздохнул и сказал:

— Если найду, отрублю ей голову!

— Даже гадюка тебя не укусит, если не станешь ее дразнить, — сказал Нуро.

Тогда я вспомнил свое детство и сказал Чинто:

— Зайдешь в воскресенье в гостиницу «Анжело», и я подарю тебе хороший складной нож с пружинкой, чтоб лезвие выскакивало.

— Да? — сказал Чинто, широко распахнув глаза.

— Уж раз говорю, значит, так. Ты никогда не бывал у Нуро в Сальто? Там бы тебе понравилось. Верстаки, рубанки, отвертки... Если тебя отец отпустит, я пристрою тебя учиться ремеслу.

Чинто пожал плечами.

— Что отец? — пробормотал он. — Я ему не скажу...

Когда Чинто ушел, Нуро сказал:

— Все я могу понять, но вот мальчишка родился калекой... Как ему жить?

## XVII

Нуро напоминает, как впервые увидел меня на Море — тогда кололи кабана, женщины все разбежались, и только Сантина, которая недавно ходить научилась, появилась в ту самую минуту, когда кровь хлынула ручьем.

— Уведите девчонку, — крикнул управляющий, и мы с Нуро схватили ее и уволокли, хоть и досталось нам, она здорово нас ногами колотила. Раз к тому времени Сантина сама по двору бегала, значит, я уже провел на Море больше года и, конечно же, видел Нуро и прежде. Мне даже кажется, что впервые я повстречал его в ту осень, когда выпал большой град, в дни сбора кукурузы. Темнело, во дворе было много народу — батраки, мальчишки, соседи, женщины, — все пели, смеялись; сидя на кукурузной листве, сваленной в большую кучу, очищали желтые початки и кидали их под навес. Пахло сухостью и пылью. В тот вечер там был и Нуро. Когда Чирино и Серафина обходили всех со стаканами вина, он пил, как взрослый. Ему тогда было, должно быть, лет пятнадцать, но мне он казался мужчиной. В тот вечер все болтали, рассказывали разные истории, парни старались рассмешить девчонок. Нуро принес с собой гитару и играл на ней вместо того, чтоб очищать початки. Он и тогда уже хорошо играл. Под конец все стали танцевать и хвалили Нуро: «Вот молодец».

Но такое бывало каждый год, и, может, Нуро прав, когда говорит, что мы впервые повстречались при других обстоятельствах. Он уже помогал отцу в работе, я видел его за верстаком, только без передника. Правда, недолго он за этим верстаком простаивал. Чуть что — готов был удрать, а я уже знал: с ним пойдешь — время зря не потеряешь, каждый раз что-нибудь да приключится, или пойдет интересный разговор, или встретим кого-нибудь, а не то он отыщет диковинное гнездо, или покажет тебе зверька, какого ты никогда не видывал, или приведет в совсем новые места. Словом, с ним ты всегда в выигрыше, всегда будет о чем вспомнить. И нравилось мне бывать с Нуро еще и оттого, что мы с ним не ссорились и он со мной обращался, как с другом. У него и тогда уже были цепкие, круглые кошачьи глазища. Стоило ему про что рассказать, и под конец он всегда добавит: «Битый буду, если вру».

Так я начал понимать, что люди не просто попусту болтают языком: «Я сде-

лал то или это, попил или поел», а говорят для того, чтобы в чем-то разобраться, понять, как устроен мир. Прежде я об этом никогда и не думал. А Нутто много зная, он был, как взрослый. Летом, бывало, мы с ним ночи напролет прожигивали под сосной. На веранде — Ирена и Сильвия с мачехой, а он со всеми шутит, всех передразнивает, рассказывает, что в других усадьбах приключилось, про хитрецов и простаков, про музыкантов, про то, кто о чем с попом договорился; обо всем он судил, как большой.

Дядюшка Маттео ему говорил:

— Вот я погляжу, что будет, когда тебя в солдаты возьмут, что ты тогда запоешь? В полку из тебя живо всю дурь выбьют.

А Нутто ему в ответ:

— Всю не выбьют. Тут, на наших виноградниках, всегда вдоволь дури останется.

Слушать эти речи, быть другом Нутто, знать его близко — для меня было все равно что пить вино или музыке радоваться. Только стыдился я того, что был еще мальчишкой, батрачил, не умел разговаривать, как Нутто, и мне казалось, что сам я никогда ничего не добьюсь. Но он доверял мне, говорил, что хочет научить меня играть на трубе, обещал взять с собой на праздник в Канелли и дать мне десять раз сряду выстрелить по мишени. Говорил, что о людях судят не по их ремеслу, а по тому, как они работают, рассказывал, как его по утрам иногда так и тянет стать за верстак, так и хочется сделать столик покрасивей.

— Чего ты боишься? — говорил он. — Дело всему научит. Нужно только захотеть... Битый буду, если вру...

С годами я многому у Нутто научился или, может, просто подрастал и сам начинал понимать что к чему. Но это он объяснил мне, почему Николетто такая сволочь.

— Он невежда, — сказал мне Нутто. — Думает, раз живет в Альбе, ботинки каждый день носит и никто его работать не заставляет, значит, он лучше нас с тобой — крестьян. Родители его в школу посылают, а на самом деле ты его содержишь, потому что работаешь на землях их семьи. Но этого ему и не понять...

И, конечно, Нутто, а никто другой, объяснил мне, что на поезде можно в любое место добраться, а кончится железная дорога — будет порт, откуда уходят корабли; весь мир опутан дорогами, повсюду порты, везде путешествуют люди, и в назначенный час уходят поезда и корабли. Но везде кто-нибудь да командует, и везде есть люди поумней и есть убогая бестолочь. Он научил меня названиям многих стран, объяснил, что стоит почитать газету, из нее чего только не узнаешь! Пришло такое время, когда, работая в поле, пропалывая под яркими лучами солнца виноградник, нависший над дорогой, я стал вслушиваться в грохот, наполнявший всю долину, — поезд шел в Канелли или обратно, я останавливался и, опершись на мотыгу, провожал взглядом вагоны и таявшие в воздухе клочья дыма, глядел на Гаминеллу, на замок Нидо, глядел в сторону Канелли и Каламандрана, в сторону Калоссо, и мне казалось, будто я хлебнул вина, стал другим человеком, стал таким же взрослым, как Нутто, ничуть не хуже его, и придет день, когда и я сяду на поезд, уеду куда глаза глядят.

Я и в Канелли не раз уже ездил на велосипеде и останавливался на мосту через Бельбо, но тот день, когда меня там встретил Нутто, стал для меня словно днем первого приезда. Он отправился туда за каким-то инструментом для своего отца и заметил меня у киоска — я стоял и разглядывал открытки.

— Значит, тебе уже продают сигареты? — вдруг услышал я у себя за спиной его голос. Я застыдился. На самом деле меня занимал другой вопрос: сколько цветных шариков можно купить на два сольдо. И с того самого дня я бросил играть в шарики. Потом мы вместе с ним погуляли, поглядели, как люди входят и выходят из кафе. Кафе в Канелли не то что наши сельские остерии, и пьют там не просто вино, а разные напитки. На улице мы прислушивались к разговорам парней — те спокойно обсуждали свои дела и столь же спокойно произносили такие непристойности, от которых, казалось, горы должны сдвинуться с места. В одной

из витрин красовался плакат — корабль и белые птицы: даже не спрашивая у Нутто, я понял, что он для тех, кто хочет путешествовать, видеть мир. Мы потом поговорили с Нутто об этом плакате, и он сказал мне, что один из тех парней, которых мы видели — блондин в галстуне, в отутюженных брюках, — служил в конторе, где договаривались о путешествиях те, кто хотел отправиться на таком корабле. И еще в тот день я узнал, что есть в Канелли коляска, в которой катаются по городу три, а то и четыре женщины, проезжают по улицам мимо вокзала, до самой церкви Санта-Анна, ездят взад и вперед по шоссе, а потом заходят в кафе, пьют там всякие напитки — и все для того, чтоб себя показать, привлечь клиентов.

— Это их хозяин такое придумал. А потом те, у кого есть деньги, ну и, конечно, кому возраст позволяет, заходят в дом у Вилланова и спят с одной из них.

— И в Канелли все женщины такие? — спросил я у Нутто, когда понял что к чему.

— Жаль, но не все, — ответил он. — Не все разъезжают в колясках.

Когда мне было уже шестнадцать—семнадцать, а Нутто вот-вот должны были взять в солдаты, мы по очереди таскали вино из погреба, уходили к реке, днем забирались в тростник, в лунные ночи садились на краю виноградника, потягивали вино прямо из горлышка и говорили о девушках.

В то время мне не верилось, что все женщины скроены на один лад, все ищут мужчин. Видно, так уж должно быть, говорил я, подумав, но меня удивляло, что у всех одно на уме, даже у самых красивых, самых знатных. Я в ту пору был не так уж глуп, о многом наслышан, да и знал и видел, как Ирена и Сильвия гоняются то за тем, то за другим. И все же это меня поражало. Нутто сказал мне тогда:

— А ты что думаешь? Луна для всех светит, дождь идет для каждого, от болезни никому не уберечься. Живи хоть в хлеву, хоть во дворце — а кровь у всех красная.

— Отчего же тогда священник говорит, что это грех?

— По пятницам — грех, — отвечал Нутто, обтирая губы. — Но остается еще шесть дней.

## XVIII

Пришло время, и теперь я уже работал, как все, и даже Чирино иной раз прислушивался к моим словам. С дядюшкой Маттео потолковал он сам — сказал, что тот должен назначить мне плату, если хочет, чтоб я оставался в усадьбе и думал об урожае, а не бегал с ребятами разорять гнезда.

Я теперь мотыжил, умел обращаться с серой, ходил за плугом, знал, как управлять со скотиной. Работал старательно. Научился прививать деревья — от того абрикосового дерева, что и теперь еще в саду растет, я сам привил черенок к сливе. Однажды дядюшка Маттео позвал меня на веранду, когда там были Сильвия и синьора, и спросил, что случилось с моим Крестным. Сильвия сидела в шезлонге и разглядывала верхушки лип, синьора вязала. Платье на Сильвии красное, сама она черноволосая, чуть пониже Ирены, обе они куда красивей мачехи. Было им тогда лет под двадцать, не меньше. Стоишь, бывало, посреди виноградника, а они разгуливают под зонтиками, и ты глядишь на них, как на два персика, до которых не дотянуться — слишком ветка высока. Когда они приходили собирать вместе с нами виноград, я забирался в ряд к Эмилии и посвистывал, словно мне до них дела нет.

Я ответил, что Крестного с тех самых пор не видел, и спросил у дядюшки Маттео, зачем он меня позвал. Досадно мне было, что у меня и штаны забрызганы медным купоросом, и лицо грязное, — я не ожидал, что застану здесь женщин. Теперь-то мне ясно, что он нарочно меня при них позвал, хотел смутить. Но в ту минуту, чтобы подбодрить себя, я только вспоминал, как Эмилия говорила нам про Сильвию: «Ну, эта! Она без сорочки спит».

— Ты на работу не ленив, — сказал мне в тот день дядюшка Маттео, — как же ты допустил, чтоб Крестный остался без виноградника? Не обидно тебе?

— Ну и мальчики теперь, — сказала синьора, — молоко на губах не обсохло, а уже требуют поденной платы.

Мне хотелось сквозь землю провалиться. Сильвия, сидя в шезлонге, повела глазами и что-то сказала отцу. Потом спросила:

— Поехал кто-нибудь в Канелли за семенами? В Нидо гвоздика уже расцвела.

И никто не сказал ей: «Вот бы сама и поехала». А дядюшка Маттео поглядел на меня и пробормотал:

— Как виноградник? Кончили?

— К вечеру кончим.

— Завтра надо повозки грузить...

— Управляющий сказал, что позаботится...

Дядюшка Маттео снова взглянул на меня и сказал, что я за свою работу получаю еду и кров, с меня и этого хватит.

— Конь доволен, — сказал он мне, — а конь больше тебя работает. Волы и те довольны. Помнишь, Эльвира, каким к нам пришел этот паренек? Ну воробышек, и только. А теперь вон как вытянулся, раздобрел, словно монах. Ты смотри, берегись, — сказал он мне, — не то к рождеству тебя прирежем.

Сильвия спросила:

— Так никто не едет в Канелли?

— Ты его и пошли, — сказала мачеха.

На веранду вбежала Сантина, а следом за ней Эмилия. Сантина была в красных туфельках, у нее были тоненькие светлые волосы. Она не хотела есть кашу. Эмилия пыталась увести ее обратно в дом.

Дядюшка Маттео встал:

— Ну-ка, Санта, Сантина, иди ко мне, я тебя съем.

Я не знал, оставаться мне или уйти, куда он забавлялся с девочкой. Стекла сверкали чистой, и вдали, по ту сторону Бельбо, можно было разглядеть Гаминеллу, заросли камыша, берег у нашего дома. Я вспомнил про пять лир, которые выплачивались в мэрии.

И тогда я сказал дядюшке Маттео, который подбрасывал на руках ребенка:

— Так ехать мне завтра в Канелли?

— У нее спроси.

Но Сильвия, перегнувшись через перила, кричала, чтобы ее подождали. У сосны показалась коляска с Иреной и другой девушкой. Какой-то молодой человек вез их на вокзал.

— Возьмите меня в Канелли! — крикнула Сильвия.

Через минуту всех их не стало. Синьора Эльвира ушла в дом с девочкой, а остальные уже хохотали где-то на дороге.

Я сказал дядюшке Маттео:

— Когда-то приют платил за меня пять лир. Только я их не вижу, не знаю, кому они достаются. Но работаю я больше, чем на пять лир... Мне ботинки надо купить.

В тот вечер ко мне счастье пришло, и я рассказал о нем Чирино, Нуто, Эмилии, коню: дядюшка Маттео обещал платить мне в месяц пятьдесят лир и все только мне достанутся. Серафина сказала, что у нее я могу хранить деньги, как в банке:

— Будешь в кармане носить — потеряешь.

Нуто был при этом; он присвистнул и сказал, что лучше два сольдо в кулаке, чем миллион в банке. Потом Эмилия заявила, что ждет от меня подарка, — словом, целый вечер только и разговору было что про мои деньги.

Но Чирино сказал, что теперь, когда я деньги получаю, мне уже придется работать как мужчине. Я не понимал, что изменилось: те же руки, та же спина, по-прежнему Угрем дразнят. Нуто посоветовал мне не слишком задумываться; раз



мне уж дают пятьдесят, то, должно быть, работаю я на все сто лир, и еще он спросил, отчего бы мне не купить себе кларнет.

— Нет, играть я не научусь, — ответил я. — Даже пробовать не стоит. Таким уж я на свет уродился.

— А ведь так легко, — возразил он.

У меня другое было на уме: мне бы денег накопить и уехать! Но летом я растратил все деньги на празднике, все ушло на ерунду вроде стрельбы в тире. Тогда я купил себе складной нож; он мне нужен был, чтобы стращать ребят из Канелли, которые вечерами поджидали меня на дороге у Сан-Антонио. В те времена стоило парню зачистить на площадь и начать поглядывать на девушек, и местные ребята, обернув кулак платком, уже поджидали его вечером на дороге. А старики рассказывали, что в их времена бывало еще хуже — убивали друг друга, ножами кололи. На дороге у Камо по сей день у обрыва крест — там сбросили в пропасть двоих вместе с повозкой. Но потом обо всем позаботилось правительство, парней примирила политика: в те времена фашисты в сговоре с полицией избивали, кого хотели, и тогда все притихли. Старики говорили, что стало спокойнее.

Нуто и в этом разбирался получше меня. Он и тогда везде бывал, с каждым умел поговорить. В ту зиму, когда он нашел себе девчонку в Санта-Анна и стал к ней ходить по фочам, ему никто и слова не сказал — должно быть, оттого, что он в те годы уже начал играть на кларнете, ни с кем не спорил насчет футбола, да и отца его знали повсюду — вот никто его и не трогал, и он знай себе гулял да пошучивал. В Канелли он со многими был знаком, и стоило ему прослышать, что парни кого-нибудь надумали проучить, он сам к ним шел, ругался, обзывал дурачем, невеждами, говорил: пусть таким делом занимаются те, кому за это платят. Словом, стыдил их. Говорил, что только собаки кидаются на пришлых собак, и хозяин нарочно их стравливает — на то он и хозяин. Не будь они животными, они сговорились бы меж собою и стали бы на хозяина кидаться. Откуда у него такие мысли были — не знаю, должно быть, от отца или от захожих людей. Он говорил: это как война в восемнадцатом — хозяин псов натравил, чтоб глотку друг другу перегрызли, а сам и другие хозяева по-прежнему над всеми командовали. Он говорил: стоит только почитать газеты — не нынешние, а газеты тех лет, — и поймешь, что мир полон хозяев, которые натравливают друг на друга собак.

Помню, Нуто часто говорил про это в ту пору. Тогда, бывало, и не хочешь ни о чем знать, а выйдешь на улицу и видишь в руках у людей газеты с заголовками, которые черней тучи перед бурей.

Теперь, когда у меня завелись первые деньги, мне захотелось узнать, как живут Анжолина, Джулия, Крестный. Только все не удавалось выбраться к ним. Когда в дни сбора урожая люди из Коссано отвозили виноград в Канелли и проходили мимо нас по дороге, я останавливал их, расспрашивал. Как-то мне один из них сказал, что там меня ждут, ждет меня Джулия, помнят там обо мне. Тогда я спросил, как поживают девочки. «Какие там девочки, — ответил мне прохожий. — Они уже взрослые. Баграчат, как и ты». Тогда я подумал, что надо непременно сходить в Коссано, но летом все времени не было, а зимой туда нелегко добраться — уж больно дорога плоха.

## ХІХ

В первый же базарный день Чинто пришел в гостиницу «Анжело» за обещанным ножом. Мне сказали, что у входа меня дожидается мальчишка, и я увидел Чинто в праздничном костюме, в башмаках на деревянной подошве. Он стоял и глядел на четверых парней, которые играли в карты.

— Отец на базаре, — сказал он, — пошел мотыгу покупать.

— Тебе денег или нож? — спросил я.

Он пожелал нож. Тогда мы вышли на залитую солнцем площадь, прошли меж рядов с тканями, с арбузами, потолкались среди людей, поглядели на разложен-

ные прямо на земле дерюги с разным инструментом, с крюками, гвоздями, лемехами.

— Увидит твой отец нож, — сказал я, — и отберет. Ты его где спрячешь?

Чинто смеялся, смеялись его безбровые глаза.

— Об отце не беспокойтесь, — сказал он. — Пусть только попробует, я его заколю.

В ряду, где торговали ножами, я сказал ему, чтоб он сам выбрал. Чинто не поверил.

— Давай не тяни, — сказал я. Выбрал он такой ножик, что меня самого зависть взяла: красивый, большой, цвета каштана, с двумя лезвиями на пружинах и штопором.

Потом мы с ним вернулись в гостиницу, и я спросил, не нашел ли он еще карты во рву. Он не выпускал ножа из рук, открывал его, закрывал, проводил лезвием по ладони. Он ответил мне, что не нашел.

Я ему рассказал, как в свое время купил себе такой вот ножик на рынке в Канелли и как он мне пригодился, когда надо было резать прутья. Я заказал ему мятной настойки и, покуда он пил, спросил у него, ездил ли он хоть раз на поезде или в автобусе.

— Что поезд, — ответил он, — мне бы вот на велосипеде прокатиться, только Госто из Мороне говорит, что на велосипеде нельзя из-за ноги, что нужен мотоцикл.

Я стал ему рассказывать, как разъезжал на грузовичке по Калифорнии, и он слушал меня, уже не поглядывая на тех четверых, что играли в карты.

Потом он сказал мне, широко раскрыв глаза:

— А сегодня футбол!

Я хотел было спросить: «И ты не пойдешь?» — но у дверей гостиницы появился совсем почерневший Валино. Чинто услышал его шаги, ощутил его приход еще прежде, чем его увидел, поставил стакан и побежал к отцу. Оба они словно растворились в знойном мареве, нависшем над площадью.

Чего бы я только не отдал, чтобы еще раз увидеть мир глазами Чинто; начать, как он, все сначала от самой Гаминеллы, пусть даже с таким отцом, пусть даже с такой ногой — только зная все, что я знаю теперь, только умея защищаться.

Во мне не было сострадания, порой я ему даже завидовал. Мне казалось, будто я знаю, какие сны ему снятся по ночам, о чем он думает, когда ковывается по площади. Я в детстве не хромал, не волочил ногу, но все же с какой тоской я глядел, как по дороге в Кастильоне, в Коссано, в Кампетто на праздник, на ярмарку, в цирк едут шумные повозки с женщинами и детьми, а я оставался с Джулией и Анжוליной в орешнике, в тени смоковницы, у перил мостика, и меня ждал долгий летний вечер, и все то же небо, и все те же виноградники. И ночь напролет я слышал, как по дороге возвращаются люди с песнями, со смехом, как весело окликают они друг друга, переезжая через Бельбо. В такие вечера, глядя на зажженные вдаль огни, видя костры на далеких холмах, я готов был в ярости кататься по земле, кричать от боли, от злости, оттого, что я беден, ничтожен, мал. Я ликовал, когда летняя гроза портила людям праздник.

Но, вспоминая об этом теперь, я жалею о тех временах и хотел бы снова стать таким, как тогда.

Я снова хотел бы очутиться на дворе в Море в тот августовский вечер, когда все отправились на праздник в Канелли, когда все уехали, даже Чирино, даже соседи, а мне, у которого были лишь башмаки на деревянной подошве, сказали: «Не иди же тебе босым. Останешься дом сторожить». То был мой первый год на Море, и я не посмел бунтовать. Этого праздника ждали давно: Канелли всегда славились своими праздниками, там ставили намыленный столб с призом на верхушке, бегали наперегонки в мешках да еще ожидался футбол.

И хозяева с дочерьми поехали, и Эмилия с девочкой: все они отправились в большой коляске; дом был заперт. Я остался один, с собакой и волами. Сначала

все стоял у садовой изгороди, глядел, кто проходит по дороге. Все направлялись в Канелли. Завидовал даже нищим и калекам. Потом стал швырять камнями по голубятне, чтоб разбить черепицу, слышал, как осколки ударились о цементный пол веранды. Потом, желая хоть как-то всем им досадить, я схватил садовый нож и удрал в виноградник. «Вот не буду дом сторожить. Пусть сгорит, пусть его обворуют». Сюда не доносились голоса прохожих, а я чуть не плакал от страха и злости. Гонялся за кузнечиками, ловил их, отрывал им лапки. «Так вам и надо, — говорил я кузнечикам. — Что же вы не отправились на праздник в Канелли?» И во весь голос ругался, перебирая все известные мне бранные слова.

Будь я посмелей, истоптал бы в саду все цветы. И все видел перед собой лица Ирены и Сильвии и говорил себе: «Чем они лучше меня?..»

Перед воротами остановилась коляска.

— Есть кто дома? — раздался чей-то голос. В коляске были два офицера из Ниццы-Монферрато, их я уже видел вместе с девушками на веранде. Я затаился под навесом.

— Есть здесь кто? Синьорины! — кричали они. — Синьорина Ирена!

Пес залаял, а я все молчал.

Они уехали, и я испытал чувство облегчения. Тоже хороши, ублюдки, подумал я. Потом зашел в дом, съел кусок хлеба. Погреб был заперт, но на шкафу, среди луковиц, стояла бутылка доброго вина, я взял ее и выпил до дна, усевшись за клумбой георгин. Голова закружилась, загудела, будто в ней мухи жужжали. Я вернулся в комнату, швырнул бутылку об пол, поближе к шкафу, так, словно бы кот ее обронил, на пол налил воду и отправился спать на сеновал.

Пьян я был до самого вечера: так, пьяный, и волов напоил, сменил им подстилку, сена подбросил. На дороге снова стали появляться люди; стоя за изгородью, я расспрашивал, какой приз был привязан к столбу, был ли и впрямь бег в мешках, кто победил. Люди охотно останавливались, — никто со мной прежде не вел таких долгих разговоров. Теперь я и самому себе казался другим и даже жалел, что не поговорил с теми двумя офицерами, не спросил, чего им нужно от наших девушек, не узнал, считают ли они их такими, как тех женщин в Канелли.

К тому времени, когда Мора наполнилась народом, я уже знал о празднике столько, что мог поговорить о нем с Чирино, с Эмилией, с кем угодно, словно я и сам там побывал. А за ужином я снова выпил. Большая коляска воротилась поздней ночью, я давно уже спал, и мне снилось, будто я карабкаюсь вверх по голой спине Сильвии, словно по столбу с призом. Я услышал, как Чирино поднялся и пошел отпирать ворота, услышал голоса, хлопанье дверей, тяжелое дыхание коня. Я повернулся на другой бок и подумал: как хорошо, что теперь все на месте. Завтра проснемся, выйдем во двор, и я еще долго буду всех расспрашивать, буду слушать разговоры о празднике.

## XX

Прошлые времена хороши были уж тем, что все совершалось в свой черед и у каждого времени года были свои обычаи, свои радости. Все зависело от работ на полях, от урожая, от того, дождь на дворе или солнце. Осенью мы возвращались на кухню в деревянных башмаках с прилипшими комьями грязи; походишь с рассвета за плугом, а к вечеру спина гудит и руки в ссадинах. Но вот со вспашкой покончено, тут и до снега недолго. И настает сплошное воскресенье — мы часами жуем жареные каштаны, ходим на посиделки, болтаем о всякой всячине, а работа — разве что в хлев иной раз приходится заглянуть. Помню последние дни зимних работ, помню «собачьи дни» — так называют в наших местах холодную январскую пору. Мы жгли на полях кучи черной отсыревшей листвы и очистки кукурузы; их дым предвещал посиделки, веселые ночи, хорошую погоду.

Зима была лучшим временем моей дружбы с Нуто. Он стал уже совсем взрослым парнем. Он играл на кларнете: летом шатался повсюду, его взяли в оркестр на вокзале: только зимой он всегда был поблизости, и я с ним встречался у него дома, на Море, на дворах соседних усадеб. Он приходил в светло-зеленой фуфай-

ке, надвинув на лоб кепку велосипедиста, и рассказывал всякие истории: то где-то придумали машину, чтобы подсчитывать, сколько на дереве груш, то в Канелли объявились воры и ночью утащили будку общественной уборной, а вот один крестьянин из Калосо, уходя из дому, надевал своим детям намордники, чтоб те не перекусали друг друга. Чего он только не знал! Что в Кассинаско живет человек, который, распродав виноград, раскладывает банкноты по сто лир на коврик из камыша, а по утрам просушивает их на солнце, чтобы не испортились. А другой чудак, из Кумини, у которого грыжа величиной с тыкву, решил, что это вымя выросло, и попросил жену его подоить. Или вот что приключилось с двумя обжорами: объелись козлятиной и на тебе — один потом скакал и блеял, а второй бодался, словно у него рога выросли. Нуто рассказывал о невестах, о расстронившихся свадьбах, о крестьянских домах, где в подвале находили покойника.

С осени по январь детишки играют в шарики, а взрослые — в карты. Нуто знал все игры, но больше всего любил показывать фокусы, вытаскивать загаданную карту из колоды или находить ее у кролика за ухом. Он приходил утром, заставлял меня на току, где я грелся на солнышке, ломал надвое сигарету, мы с ним закуривали, и он говорил:

— Пойдем взглянем, что там у вас на чердаке.

Мы забирались в башенку голубятни, что под самой крышей, поднимались туда по крутой лесенке и сидели, согнувшись в три погребели. Там стоял старый сундук, валялись пришедшие в негодность рессоры, всяческое старье, пучки конского волоса; круглое оконце, глядевшее на холм Салто, напоминало окошки нашего дома в Гаминелле. Нуто рылся в сундуке — в нем хранились истрепанные книги с пожелтевшими, точно покрытыми ржавчиной, страницами, тетради для записи расходов, порванные картинки. Он перебирал эти книги, стирал с них плесень, казалось, от одного прикосновения к ним стыли руки. Это все осталось от деда — отца дядюшки Маттео, который учился в Альбе. Были там и книги, написанные по-латыни, был молитвенник, книги про мавров, про диких зверей — из них я узнал о слонах, о львах и о китах. Нуто отбирал себе книжку и тащил домой, запрятав под фуфайку.

— Здесь они, — говорил он, — все равно никому не нужны.

— Зачем они тебе? — спросил я как-то. — Ведь у вас и без того выписывают газету.

— То газета, а это — книги, — ответил он. — Читай, сколько можешь. Не будешь читать — так и останешься нищим и темным.

Проходя по лестничной площадке, мы слышали игру Ирены; теплым солнечным утром она открывала застекленную дверь, и тогда музыка слышна была на веранде и под липами.

Меня поражало, как поет под ее белыми длинными тонкими пальцами эта большая черная штука, как она вдруг громыкает, да так, что стекла дрожат. Послушать Нуто — выходило, что играет она хорошо. Музыка ее с детских лет учили в Альбе. А вот Сильвия — та только и умела, что колотить по клавишам и петь фальшивым голосом. Сильвия была моложе сестры на год или на два, по лестнице они поднимались бегом, в тот год Сильвия каталась на велосипеде, и сын начальника станции поддерживал ее, когда она усаживалась в седло.

Стоило мне услышать пианино, и я принимался разглядывать свои руки. Ясно было, что от меня до господ, и вообще до таких женщин, дальше, чем до луны. Да и теперь, хоть я уже двадцать лет не занимаюсь грубой работой и ставлю свою подпись под важными письмами, стоит мне взглянуть на свои руки, и сразу видно, что я так и не стал синьором, — каждый догадается, что я работал мотыгой. Но теперь я знаю, что даже женщины этому значения не придают.

Нуто сказал Ирене, что она играет, как настоящая артистка, и он готов ее слушать с утра до вечера. Тогда Ирена позвала его на веранду (я тоже отправился с ним) и, открыв стеклянную дверь, играла самые трудные, по-настоящему красивые вещи; звуки наполняли весь дом и, должно быть, доносились до самого дальнего виноградника, выходящего на дорогу. Нуто слушал, выпятив губы,

словно готов был вот-вот заиграть на кларнете, а я заглядывал в комнату, видел цветы, зеркала, прямую спину Ирены, ее напряженные руки, ее светлую головку, склонившуюся к нотам. Ну и нравилась же она мне, черт возьми!.. И еще я видел перед собой холм, виноградники, берег. Да, это тебе не оркестр на ярмарке, — эта музыка говорит о другом, она создана не для Гаминеллы, не для деревьев на берегу Бельбо, она не для нас. Вдали, по дороге из усадьбы Сальто в Канелли, краснел среди платанов замок Нидо. Вот для этого замка, для господ из Канелли музыка Ирены была в самый раз, им она подходила.

— Нет! — вдруг крикнул Нуто. — Ошибка!

Ирена быстро поправилась и продолжала играть, только, слегка покраснев, взглянула на него и засмеялась. Потом Нуто вошел в комнату, перевернул ноты, заспорил с ней, и снова Ирена стала играть. Я сидел на веранде и все глядел в сторону замка Нидо, в сторону Канелли.

Нет, не для меня и даже не для Нуто эти дочери дядюшки Маттео. Они богаты, они слишком стройны и красивы. Им водиться с офицерами, с господами, с землемерами, да и вообще с теми, кто постарше нас. Когда вечерами мы сидели с Эмилией, с Чирино, с Серафиной, кто-нибудь из них рассказывал, с кем теперь прогуливается Сильвия, кому шлет записочки Ирена, кто провожал их вчера вечером. И еще поговаривали, что мачеха не хочет выдавать их замуж, не хочет, чтоб они растащили имение по частям, пусть у ее Сантины приданого будет побольше.

— Ну да, попробуй удержать дома двух таких девушек, — отвечал управляющий.

Я помалкивал; летними вечерами, сидя на берегу Бельбо, я думал о Сильвии. О белокурой красавице Ирене и мечтать не смел. Однажды Ирена привела Сантину поиграть на песочке у реки. Никого там, кроме меня, не было, и я увидел, как Ирена с девочкой подбежали к воде и остановились у самого края. Я укрылся за кустом бузины. Сантина кричала, показывая что-то на том берегу. Тогда Ирена положила под куст книгу, нагнулась, сняла туфли и чулки. Приподняв юбку до колен, она ступила в воду своими белыми ногами, ее золотые волосы падали на плечи. Медленно и осторожно шагая, переходила она реку вброд. Потом крикнула Сантине, чтобы она сидела спокойно, а сама стала рвать кувшинки. Я все отлично помню, словно вчера это было.

## XXI

Через несколько лет в Генуе, где я служил в солдатах, мне повстречалась девушка, похожая на Сильвию, смуглая, как она, только чуть полнее и похитрей. Ей было тогда столько же, сколько Сильвии и Ирене в тот год, когда я пришел на Мору. Я служил денщиком у полковника, который жил в маленьком домике у моря. Он взял меня к себе, чтоб ухаживать за садом. Я работал в саду, топил печи, подогревал воду для ванной, помогал на кухне. Тереза служила у него горничной и все дразнила меня за мой деревенский говор. А я и в денщики-то пошел, чтоб держаться подальше от сержантов, которые смеялись над каждым моим словом. Я глядел ей прямо в глаза — такая у меня была привычка, — глядел и молчал. А сам прислушивался к тому, что люди говорят, все больше помалкивал и что ни день чему-нибудь учился.

Тереза хотела и спрашивала, не завел ли я себе девушку, чтобы стирала мне рубахи.

— Не в Генуе, — отвечал я. — Завел, да не здесь.

Тогда она решила выяснить: значит, я беру с собой сверток с бельем, когда получаю увольнение?

— В деревню я не вернусь, — говорил я. — Хочу остаться здесь, в Генуе.

— А девушка?

— Наплевать, — говорю, — девушки и в Генуе есть.

А она хохочет, надо ей выяснить, какая она, эта девушка. Тут уж я сам смеюсь, отвечаю, что, мол, сам пока не знаю.

Когда она стала моей и я по ночам поднимался в ее каморку, она то и дело спрашивала, то в шутку, то всерьез, что я намерен делать в Генуе без ремесла и почему не хочу вернуться домой.

Потому что здесь ты, мог бы я ответить. Но врать было не к чему, мы и без того лежали с ней в объятии. Я мог бы сказать ей, что и Генуи для меня мало, что в Генуе бывал и Нуто, что все здесь побывали, что Генуя мне осточертела и я хотел бы отправиться подальше. Но скажи я ей это, она бы разозлилась, стала бы ругаться, говорить, что я не лучше других. «Другие, — объяснил я ей как-то, — в Генуе остаются охотно, нарочно сюда едут. У меня есть ремесло, только здесь, в Генуе, оно ни к чему. Мне нужно отправиться в такое место, где мое ремесло приносит доход. Только подальше, туда, где никто из моей деревни не побывал».

Тереза знала, что у меня нет ни отца, ни матери, и все спрашивала, почему я не пробую их разыскать, не хочу ли я хоть свою мать найти.

— Должно быть, кровь у тебя бродяжья, — говорила она. — Ты, должно быть, цыган, вот и волосы у тебя курчавые...

Эмилия — это она прозвала меня Угрем — всегда говорила, что отец у меня акробат с ярмарки, а мать — коза с горы Ланга. Я смеялся, отвечал, что родился от попа. А Нуто уже тогда спрашивал: «Зачем ты так говоришь?» — «Затем, что растет негодяем», — заявляла Эмилия. Тогда Нуто кричал, что никто не рождается негодным, злым, преступным; все люди рождаются равными; человек становится плохим только оттого, что с ним плохо обращаются. Я возражал: «Возьми дурачка Танолю — он таким и родился». — «Дурак — еще не значит злой, — отвечал Нуто. — Невежды его дразнят, оттого он и злится».

Обо всем этом я задумывался, лишь когда бывал с женщиной. Через несколько лет — уже в Америке — я убедился, что там все без роду, без племени. Я жил тогда в Фресно, и в моей постели перебивало немало женщин, а я так ни разу и не понял, где у них отец с матерью, где их земля. Они жили одиноко, работали кто на консервной фабрике, кто в конторе. Розанна была учительницей, хотя приехала в Фресно с рекомендательным письмом в киножурнал, приехала бог знает откуда, из какого-то штата, где выращивали пшеницу. Мне она так ничего и не рассказала про свою прежнюю жизнь. Только говорила, что пришлось ей трудно — a hell of a time<sup>1</sup>. Может, оттого и был у нее такой голос — хрипловатый, срывающийся на фальцет. Верно, и здесь, особенно на холме, где новые дома, люди жили большими семьями; летними вечерами перед фермами, перед заводами фруктовых соков слышен был шум и гам; в воздухе плыл тот же запах виноградника и винных ягод, мальчишки и девчонки шайками носились по улицам и аллеям, но все это были семейства армян, мексиканцев, итальянцев, казалось, они только что сюда прибыли, и на земле они работали равнодушно, как мусорщики на городской мостовой, ночевали и развлекались они в городе. И никто никогда не спрашивал, откуда ты родом, кто твой отец, кто дед. И настоящих деревенских девушек здесь не было. Даже те, что жили в долине, не понимали, что значит ходить за козой, не знали запахов реки. Они мчались в машинах, гоняли на велосипедах, ездили в поездах, на поля, отправлялись в контору. Всю работу делали бригадами, даже праздничную повозку для шествия в день сбора винограда снаряжали бригадой.

В те месяцы, что Розанна была со мной, я понял, что она и впрямь без роду, без племени, что вся ее сила в длинных ногах, что ее старики могли жить где-то там в своем хлебном штате, но для нее лишь одно было важно — заставить меня поехать с ней на побережье, открыть там итальянский ресторанчик с беседкой. увитой виноградом, — a fancy place, you know<sup>2</sup>, а там уж не зевать и добиться, чтоб ее фото попало в иллюстрированный журнал, only gimme a break, baby<sup>3</sup>. Она готова была сниматься хоть голой, хоть ноги задрал, лишь бы добиться своего и стать известной. Не знаю, что ей в голову взбрело, отчего она решила, что я могу быть

<sup>1</sup> Ад, а не жизнь (англ.).

<sup>2</sup> Знаешь, такое милое местечко (англ.).

<sup>3</sup> Лови свой случай, баби (англ.).

ей полезен; когда я спрашивал ее, почему она спит со мной, она смеялась и отвечала, что в конце концов я мужчина (Put it the other way round, you come with me because I'm a girl) <sup>1</sup>. И душой ее не назовешь — знала она, что хотела, только в том беда ее, что хотела она невозможного. Она не брала в рот ни капли спиртного (your looks, you know, are your only free advertising agent)<sup>2</sup>, но именно она, когда отменили сухой закон, посоветовала мне производить prohibitiontime gin <sup>3</sup> — напиток подпольных времен для тех, кто не утратил к нему вкус, а таких было немало.

Высокая, стройная блондинка, она то и дело разглаживала свои морщины, без конца причесывалась.

Глядя, как она выходит из ворот школы, человек посторонний мог бы принять ее за беспечную школьницу. Не знаю, чему она там учила ребят, только они приветствовали ее свистом и подбрасывали в воздух кепки.

Поначалу я старался говорить с ней как можно тише и при этом прятал руки подальше. Она при первом же знакомстве спросила, почему я не принимаю американское гражданство. Я проворчал в ответ: оттого, что я не американец, because I'm a wor <sup>4</sup>; тогда она рассмеялась и ответила, что американцем человека делают доллары и голова на плечах. Чего тебе недостает? Долларов или головы? Я не раз задумывался, какие у нас могли бы быть дети. У нее гладкие, твердые бедра, живот с золотистым пушком, она вскормлена на молоке и апельсиновом соке, а у меня густая темная кровь. Оба мы бог знает откуда, только дети дали бы нам узнать, кто мы на самом деле, что у нас в крови. Хорошо бы, думал я, если б мой сын походил на моего отца, на моего деда, тогда бы я наконец увидел, каков я сам. Розанна согласна была и сына мне родить, если только я с ней поеду на побережье. Но я удержался, не захотел: от такой мамы и от меня родится разве что еще один ублюдок — американский парнишка. Я уж тогда знал, что вернусь домой.

Розанна, откуда жила со мной, ничего не добила. Летом мы по воскресеньям ездили с ней на машине к морю купаться, она разгуливала по пляжу в сандалиях и в купальном костюме, потягивала напитки, сидя в кресле-качалке, — она лежала в нем, как у меня в постели. Я смеялся, только уж не знаю над кем. И все же мне эта женщина нравилась, как порой по утрам нравится запах воздуха, как нравится трогать руками свежие фрукты на уличных лотках итальянцев.

Однажды вечером она сказала мне, что возвращается к своим. Я растерялся — никогда не думал, что она способна на такой поступок. Стал у нее расспрашивать, надолго ли, но она уставилась на свои колени — мы сидели рядом в машине — и сказала, что я не должен ей ничего говорить, что все уже решено и она возвращается к своим навсегда. Я спросил, когда она думает ехать.

— Хоть завтра. Any time <sup>5</sup>.

По дороге к ее пансиону я сказал, что мы все еще можем поправить, можем пожениться. Она улыбнулась, не подымая глаз, сморщила лоб, но не мешала мне говорить.

— Я думала об этом, — сказала она мне своим хрипловатым голосом. — Бесполезно. Я проиграла. I've lost my battle <sup>6</sup>.

Но к своим она не вернулась, отправилась снова на побережье. В иллюстрированных журналах так и не появилось ее фото. Через несколько месяцев она прислала мне открытку из Санта-Моники — просила денег. Деньги я послал, но она ничего не ответила. Больше я о ней ничего не слышал.

<sup>1</sup> А может, наоборот: это ты со мной, потому что я женщина (англ.).

<sup>2</sup> Понимаешь, внешность — твой единственный бесплатный агент по рекламе (англ.).

<sup>3</sup> Джин времен сухого закона (англ.).

<sup>4</sup> Оттого, что я уоп (англ.). «Уоп» — презрительная кличка итальянцев в США.

<sup>5</sup> В любое время (англ.).

<sup>6</sup> Я проиграла битву (англ.).

## XXII

В те годы, что я бродил по свету, немало у меня было женщин — и блондинок, и брюнеток; сам их повсюду искал, немало на них денег перевел. Теперь, когда молодость ушла, они меня ищут, но, впрочем, не в этом дело. Теперь я понял, что дочери дядюшки Маттео не такие уж были красавицы — разве что Сантина; но ту я взрослой не видел. Они расцветали подобно георгинам, диким розам, подобно тем цветам, что растут в саду под фруктовыми деревьями. И не так уж умели они свою жизнь наладить — ни игра на фортепьяно, ни чтение романов, ни сервированный чай, ни прогулки под зонтиками не помогли им стать настоящими синьорами, подчинить себе мужчину и дом. Здесь, в нашей долине, немало крестьянок, которые лучше них управляют со своими делами и еще другими командуют. А Ирена и Сильвия были ни то ни сё — ни крестьянки, ни синьоры, тяжело пришлось им, бедняжкам. И обе погибли.

Эту их слабость я понял, а лучше сказать — почувствовал в один из первых сборов винограда на Море. В то лето, где бы ты ни был, на дворе или на усадьбе, стоило поднять глаза, взглянуть на веранду, на застекленную дверь, на кувшины с вином — и сразу вспомнишь: они здесь хозяйки, они со своей мачехой, с ее девчонкой; даже дядюшка Маттео не может войти в комнату, не вытерев ноги о коврик перед дверью. Потом, бывало, слышишь их голоса в верхних комнатах, прягаешь для них, видишь, как они выходят из стеклянной двери, прогуливаются на солнце под зонтиками и так хорошо одеты, что даже Эмилия словечка дурного сказать не могла. По утрам Сильвия или Ирена спускалась во двор, проходила между мотыг, повозок, мимо скотины и шла в сад за розами. А иногда они обе выходили в поле, гуляли по тропинкам в туфельках, о чем-то толковали с Серафиной, с управляющим, собирали в красивые корзиночки скороспелый виноград.

Помню вечер, помню ночь на Сан-Джованни — урожай был уж собран, повсюду горели костры. Тогда они вышли во двор подышать прохладой, послушать, как девушки поют. А потом и на кухне, и за работой в винограднике чего я только про них не наслушался — и на фортепьяно они играют, и книги читают, и подушечки вышивают, и в церкви у них своя скамья с именем на латунной дощечке. Но вот в дни, когда мы готовили корзины и чаны, убрали винный погреб и сам дядюшка Маттео расхаживал по винограднику, в те самые дни мы от Эмилии узнали, что в доме все пошло кувырком, что Сильвия хлопает дверьми, а Ирена садится к столу с красными от слез глазами и ничего не ест. Я не мог себе представить, что есть на свете что-либо, кроме сбора винограда и радостей, которые приносит урожай, подумать только, все это для них, чтоб наполнить их винные погреба, набить для них же деньгами карманы дядюшки Маттео! Вечером, когда мы все сидели на бревнышке, Эмилия нам рассказала — вся кутерьма из-за замка Нидо.

Старуха — графиня из Генуи — вот уж недели две как вернулась в свой замок Нидо с морских купаний вместе со всеми невестками и внуками. Теперь она разослала приглашения в Канелли, на станцию — будет праздник под платанами, — а про усадьбу в Море, про наших девушек, про синьору Эльвиру графиня забыла.

Позабыла? А может, нарочно не позвала? И теперь три женщины не давали дядюшке Маттео ни минуты покоя. Эмилия говорила, что в этом доме разумней всех вела себя девчонка Сантина.

— Я им ничего плохого не сделала, — добавляла Эмилия. — А тут то одна закричит, то другая вскочит, то третья хлопнет дверью. Словно их муха укусила.

Потом настали дни сбора винограда, и больше я про них не вспоминал. Но мне на многое открылись глаза. Значит, Ирена и Сильвия такие же люди, как мы. Значит, стоит их только обидеть, и они сердятся, злятся, страдают, хотят того, чего у них нет. Значит, не всем господам одна цена, те, что поважней, побогаче, могут и не позвать к себе своих хозяек. Тут я призадумался: какие же в Нидо должны быть комнаты, какой сад подле этого старинного замка, раз уж Ирена и Сильвия умирают от желания туда попасть и ничего не могут добиться?



О Нидо мы знали только со слов Томмазино и кое-кого из прислуги, потому что весь тот склон холма был огорожен, и река отделяла его от наших виноградников. Туда и охотникам ходу не было — висит дощечка с запретом. Если стать на дороге, пониже замка, и поднять голову, видны густые заросли диковинного бамбука. Томмазино рассказывал, что там парк, что аллеи вокруг дома усыпаны гравием, только помельче и побелей того, которым дорожный сторож весной насыпает шоссе. А угодья владельцев Нидо начинались сразу за замком, виноград и пшеница, пшеница и виноград, сыроварни, ореховые рощи, вишневые сады, миндаль, и так до самого Сан-Антонио, и еще дальше, а в Канелли у них были свои рыбные садки с бетонными стенками, с цветниками по краям.

Какие в Нидо цветы, я понял в прошлом году, когда Ирена и синьора Эльвира отправились туда вдвоем и вернулись с такими букетами, они казались красивой церковных витражей и праздничного облачения священника. В тот год на дороге в Канелли кое-кто видел и коляску самой старухи — хозяйки замка. Ну то ее видел и говорил, что кучер Моретто ни дать ни взять карабинер, при белом галстуке и в блестящей шляпе. К нам эта коляска не заезжала никогда, только как-то раз проехала мимо, по дороге на станцию. К мессе старуха тоже ездила в Канелли. А наши старики говорили, что в прежние времена, когда старухи здесь еще и не было, господа из Нидо даже не ходили слушать мессу в церковь; у них служба была на дому, держали своего священника, и тот каждый день служил мессу в особой комнате. Но это все в те времена, когда старуха была ником не известной девчонкой и крутила в Генуе любовь с сыном графа. Потом она стала хозяйкой всего, сын графа умер, умер и тот красавчик-офицер, которого старуха женила на себе во Франции, и бог знает, где поумирали их сыновья, а теперь седая старуха, всегда с желтым зонтиком, ездила в коляске в Канелли, держала при себе внуков, кормила их и поила. Но в те времена, когда жив был сын графа, и потом, когда жив был французский офицер, в Нидо по ночам горели огни, в Нидо был бесконечный праздник, и графиня, тогда еще молодая и свежая, как роза, закатывала обеды, балы, приглашала гостей из Ниццы, из Александрии. Приезжали красивые женщины, офицеры, депутаты в колясках, запряженных парой лошадей, со своими слугами. Приезжали, играли в карты, ели мороженое, наслаждались жизнью.

Ирена и Сильвия знали об этом. Для них обрести расположение старухи, получить от нее приглашение на праздник — все равно что для меня заглянуть на миг с веранды в комнату с фортепьяно или увидеть, что хозяйки сидят за столом на верхнем этаже, а Эмилия носится туда-обратно с кушаньями.

Только они женщины, потому и страдают. Да еще день-деньской торчат на веранде или слоняются по саду, а работы, дела настоящего у них нет — даже с Сантиной не поиграют. Понятно, они сходят с ума от желания уехать, погулять по парку с платанами, очутиться среди невесток и внуков графини. Для них это — что для меня увидеть костер на холме Кассинаско или ночью услышать гудок паровоза.

### XXIII

Потом настала пора, когда с раннего утра среди рощ на берегу Бельбо и на каменистом плоскогорье зазвучали выстрелы, и Чирино то и дело уверял, что видел, как по борозде пробежал заяц. Это лучшие дни в году. Сбор винограда, очистку кукурузы, выжимку сока даже за работу нельзя считать; жары больше нет, а холода еще не пришли; на небе разве что светлое облачко; к обеду дают крольчатину с полентой, и все мы ходим по грибы.

Мы собирали грибы недалеко от дома; Ирена и Сильвия со своими подружками из Канелли и знакомыми молодыми людьми сговорились отправиться по грибы к самому Альяно. Уехали они рано, когда на лугах еще стоял туман, — я сам запрягал им лошадей, — с остальными они должны были встретиться на площади в Канелли. Правил сын доктора со станции, тот, что в тире всегда попадал в самое яблочко и ночи напролет играл в карты. В тот день была большая гроза с громом

и молнией, как в середине августа; Чирино и Серафина говорили: хорошо, что град теперь пошел, а не две недели назад, когда урожай был на полях, не беда, если грибы побьют. Проливной дождь не утих и к ночи. Дядюшка Маттео встретился и, закутавшись в плащ, пришел к нам с фонарем в руке, разбудил, велел прислушиваться — не едет ли коляска. Вверху горел свет в окнах: Эмилия бегала по дому, готовила кофе, Сантина ныла, что ее не взяли собирать грибы.

Коляска вернулась лишь на следующее утро, докторский сын размахивал кнутом и кричал: «Да здравствуют источники Альяно!» Он лихо соскочил с коляски, не коснувшись подножки. Потом помог выйти девушкам; они продрогли, обвязались платками, на коленях держали пустые корзинки. Все поднялись наверх; я слышал, как они забегали по дому, чтобы согреться, слышал их болтовню и смех.

После этой поездки в Альяно докторский сынок Артуро частенько проходил по дороге мимо веранды, здоровался с девушками, заводил с ними разговоры. В зимние дни его стали приглашать в дом, тогда он отряхивал хлыстиком свои охотничьи сапоги, оглядывался по сторонам, срывал цветок или ветку с дерева, а то и просто красный виноградный лист и быстро поднимался по застекленной лестнице. А наверху в камине весело пылал огонь, и до самого вечера оттуда доносился смех, игра на фортепьяно. Бывало, этот Артуро оставался обедать. Эмилия рассказывала, что его угощали и чаем с печеньем, подавала ему всегда Сильвия, ну а сам он все больше заглядывался на Ирену. А та, милая, светловолосая, садилась за фортепьяно, только чтоб с ним не разговаривать. Сильвия устраивалась поудобней на диване, и они болтали о всякой ерунде. Потом открывалась дверь, синьора Эльвира быстро загоняла в комнату Сантину. Артуро вскакивал, сдержанно здоровался, синьора говорила: «У нас есть еще одна ревнивая барышня, она тоже хочет, чтобы ее представили». Потом приходил дядюшка Маттео, который терпеть не мог Артуро, хотя синьора Эльвира его всячески обхаживала и считала, что для Ирены и такой сойдет. Но сама Ирена его не хотела, говорила, что он человек фальшивый, — музыку он и не слушает, с Сантиной возится, лишь бы умаслить мачеху, да и за столом держать себя не умеет. А Сильвия вспыхивала и принималась его защищать; спорили они чуть не до крика, пока Ирена, взяв себя в руки, не говорила холодно:

— Я его тебе оставляю. Почему ты его себе не берешь?

— Вышвырните вы его из дома, — твердил дядюшка Маттео. — Мужчина, который играет в карты и не имеет ни клочка земли, — это вообще не мужчина.

К концу зимы Артуро стал таскать с собой приятеля, служащего со станции — высоченного парня, который тоже стал приударять за Иреной. По-французски он не говорил, зато в музыке толк понимал; этот верзилка стал играть с Иреной в четыре руки, и раз уж так выходило, что они составляли пару, то Артуро и Сильвия тащевали в обнимку, хохотали, а когда приводили Сантину, они подбрасывали ее кверху, и верзиле приходилось ее ловить.

— Не будь он тосканец, — говорил дядюшка Маттео, — я бы сказал, что он просто невежа. И вид у него такой... Был с нами один тосканец в Триполи...

Я знал, как выглядит их комната: на фортепьяно два букета и красные листья винограда, на окнах занавески, вышитые Иреной, над столом лампа из прозрачного мрамора, льющая мягкий серебристый свет, точно лунные блики на воде. В иной вечер все они одевались потеплей и выходили на веранду. Мужчины курили сигары; укравшись за кустом винограда, можно было слышать их разговоры.

Приходил послушать и Нуто. Забавно было, когда Артуро изображал из себя лихого молодца и рассказывал, скольких парней он накануне сбросил с поезда в Костилюоле и как он проигрался в Акви и поставил на последнее — так, чтоб и домой не возвращаться, если проиграет, а на самом деле выиграл и даже заплатил за ужин для всех. Тосканец говорил:

— Помнишь, как ты его кулаком?..

И Артуро рассказывал про то, как он кого-то кулаком...

Девушки ахали. Тосканец стоял возле Ирены и рассказывал ей о своем доме, о том, как он играл на органе в церкви. Потом сигареты вдруг падали в снег, пря-

мо к нашим ногам, и тогда сверху доносились шепот, шорохи, глубокие вздохи. А поднимешь глаза — и видишь только высохшую лозу да холодные звездочки в небе. Нуто сквозь зубы цедил: «Бродяги...»

А я все думал о них, расспрашивал Эмилию и не мог понять, кто с кем крутит. Дядюшка Маттео ворчал только насчет Ирены и докторского сынка, обещал со дня на день все ему сказать напрямик. Синьора Эльвира дулась. Ирена пожимала плечами и говорила, что такого грубияна, как Артуро, она не взяла бы и в слуги, но только ничего не может поделать, раз уж он повадился их навещать. Тогда Сильвия заявляла, что тосканец просто дурак. И синьора Эльвира опять обижалась.

У Ирены с тосканцем выйти ничего не могло, потому что Артуро не сводил с нее глаз и командовал своим приятелем. Значит, Артуро ухаживал за обеими и рассчитывал на Ирену, но покуда развлекался с Сильвией. Надо было только дожждаться лета и пойти за ними следом на луг — тогда все прояснится.

Но тут дядюшка Маттео взял за бока этого Артуро.

Мы обо всем узнали от Ланцоне, когда тот заглянул под навес. Дядюшка Маттео для начала сказал Артуро, что женщины есть женщины, а мужчины есть мужчины.

— Разве не так? — спросил он.

Артуро уже успел приготовить свой букетик, похлопывал хлыстиком по сапогу, нюхал цветочки и косо глядел на хозяина.

— Тем не менее, — продолжал дядюшка Маттео, — женщины, когда они хорошо воспитаны, знают, кто им подходит. А тебя, — сказал он, — тебя они не хотят. Понял?

Тут Артуро принялся что-то бормотать: дескать, его просто просили заходить, понятно, что мужчина...

— Ты не мужчина, — сказал тогда дядюшка Маттео, — ты — пачкун.

Так вроде и кончилась история с Артуро, а вместе с ней кончились и посещения тосканца. Но мачеха не успела как следует обидеться, потому что скоро появились другие, поопасней этих. Много их перебивало. Например, те два офицера, что приезжали, когда я один оставался на Море. В июне, кажется, — да, в июне, тогда светлячки были, — они что ни вечер приходили из Канелли. Должно быть, по пути они заходили к другим женщинам, потому что никогда не появлялись прямо на дороге, а переходили Бельбо по мостику, потом шли кукурузным полем и лугом. Мне тогда было шестнадцать, и я кое в чем уже начинал разбираться. Этих невзлюбил Чирино, потому что они топтали люцерну, а еще потому, что он помнил, какими сволочами оказывались в войну такие офицерики. Однажды мы над ними зло подшутили — тайком натянули проволоку поперек тропинки на лугу. Они перескочили через канаву и мчались, предвкушая радость встречи с барышнями, но наткнулись на проволоку и полетели кувырком, прямо носом в землю. Лучше всего, конечно, было бы заставить их вывалиться в навозе, но после того вечера они больше не ходили лугом.

Когда стало тепло, Сильвию уже ничто не могло удержать. Летними вечерами девушки уходили за ворота усадьбы и прогуливались со своими кавалерами по дороге. Мы напрягали слух, когда они проходили под липами. Выходили они вчетвером, а возвращались парами. Сначала Сильвия шла под руку с Иреной, и они смеялись, шутили с теми двумя. А когда шли назад, Сильвия прижималась к мужчине и о чем-то шепталась с ним под пахучими липами. Ирена со своим кавалером шли позади, они ничего такого себе не позволяли, не секретничали, даже время от времени окликали другую пару. Хорошо я запомнил эти вечера, и как все мы сидели на бревнышке, и как сильно пахли тогда липы.

#### XXIV

На маленькую Санту — ей тогда было годика три-четыре — любо было поглядеть. Волосики золотые, точь-в-точь как у Ирены, глаза черные, как у Сильвии, но стоило ей разозлиться — и она кусала себе пальцы с досады, ломала цветы, а

не то вдруг требовала, чтобы ее во что бы то ни стало посадили на лошадь, да еще брыкалась. Вот мы и говорили — в мать пошла. Дядюшка Маттео и дочки его поспокойней, они так не командовали. Особенно спокойной казалась Ирена: высокая, всегда во всем белом, никогда не выходит из себя, не злится, всегда вежлива, даже Эмилии и всем нам говорит «пожалуйста» и глядит прямо в глаза, когда просит о чем-нибудь. Сильвия тоже иной раз глядит тебе прямо в глаза, но взгляд у нее озорной, горячий. В последний свой год на Море я получал пятьдесят лир и по праздникам надевал галстук, но понимал, что мне за ними не поспеть и я ничего не смогу добиться.

Но и в те последние годы я бы и думать не посмел об Ирене. И Нуто о ней не думал, он в то время уже играл повсюду на кларнете и завел себе девушку в Канелли. Об Ирене поговаривали, что ей по душе пришелся кто-то из Канелли. Сестры часто туда ездили, делали покупки, потом дарили Эмилии свои старые платья. В замке Нидо начали принимать гостей, однажды туда позвали на ужин и сеньору с дочерьми; в тот день к ним приезжала портниха из Канелли. Я довел их на коляске до последнего поворота и слышал их разговоры о том, какие в Генуе дворцы. Мне они велели вернуться за ними в полночь, сказали, чтоб я въехал прямо во двор, — в темноте гости не разглядят, как потрескалась кожа на подушках коляски. Еще велели мне для приличия надеть галстук.

Но в полночь, когда я подъехал к замку и поставил коляску рядом с другими, они не появились, и я долго ждал под платанами. Отсюда замок казался огромным, в распахнутых окнах отражались тени гостей. Когда мне наскучили сверчки — здесь в горах, оказывается, тоже были сверчки, — я слез с коляски и подошел к двери. В первом зале я увидел девушку в белом переднике, она только взглянула на меня и куда-то убежала. Потом вернулась и спросила, чего мне нужно. Тогда я сказал, что коляска из Моря подана.

Дверь распахнулась, и я услышал смех. В этом зале двери были расписаны цветами, пол выложен мозаикой.

Снова вошла девушка и сказала, что я могу ехать обратно, — моих хозяек отвезут.

Вышел я, и стало мне досадно, что не разглядел как следует зал, где было красивей, чем в церкви. Я взял под уздцы коня и повел его по хрустящему гравию дороги, что вилась среди платанов. По пути разглядывал деревья — роща вроде небольшая, но каждый платан, как большой шатер. У самой ограды я закурил, а потом коляска медленно понатила вниз, мимо бамбука вперемежку с акацией, мимо совсем незнакомых мне деревьев. Я думал о том, как все на земле любопытно устроено и сколько на свете разных растений.

Должно быть, Ирена завела себе в замке кавалера — сколько раз я слышал, как Сильвия ее дразнила «госпожой графиней». Вскоре Эмилия узнала, что кавалер ей попался совсем никудышный — один из тех внуков, которых старуха нарочно держала от себя подальше, чтоб они не проели все ее добро. Этот внучек, этот графчик ничемушный, так и не удостоил Мору своим посещением: лишь изредка босоногий мальчишка с фермы Берта таскал от него записки к Ирене — дескать, ждет он ее на прогулку. Ирена шла.

Я поливал фасоль в огороде, подвязывал растения и слушал, о чем толковали Сильвия с Иреной, сидя под магнолией.

Ирена говорила:

— Что же ты хочешь? Графиня к нему очень привязана... Не может же молодой человек из такой семьи ходить на танцы к вокзалу, встречаться с собственными слугами...

— Что ж тут дурного?.. Ведь дома он с ними что ни день встречается...

— Она его и на охоту не пускает. Довольно, что его отец умер такой трагической смертью...

— И все же к тебе он мог бы прийти. Почему он не приходит? — спрашивала Сильвия.

— Твой тоже сюда не приходит. Почему?.. Берегись, Сильвия. Ты уверена, что он тебе не лжет?

— А кто правду говорит? Рехнешься, если станешь о правде думать. Только смотри не говори с ним об этом...

— Дело твое,— отвечала Ирена,— ты ему веришь... Я только хотела бы, чтоб он не оказался таким грубияном, как тот...

Сильвия тихо смеялась. Я не мог все время неподвижно стоять за грядкой фасоли, они бы заметили. Я орудовал мотыгой, а потом снова прислушивался.

Как-то Ирена сказала:

— Ты думаешь, он нас не слышит?

— А пусть, это же батрак,— ответила Сильвия.

Но однажды я увидел, как она рыдает, сидя в шезлонге. Чирино под портиком бил кувалдой о железо и мешал мне толком расслышать. Ирена утешала сестру, гладила ее по голове, а та кричала, вцепившись пальцами в волосы:

— Нет, нет, хочу уйти, хочу бежать!.. Не верю, не верю, не верю!..

Проклятая кувалда Чирино ничего не давала расслышать.

— Пойдем отсюда,— говорила Ирена, обнимая ее,— пойдем на веранду, усяокойся...

— Ничего мне не надо! — кричала Сильвия.— Ничего не надо!..

Сильвия связалась с одним типом из семейки Кривалкуоре, которая владела землями в Калоссо,— с хозяином лесопилки. Он разъезжал на мотоцикле—Сильвию сажал на заднее сиденье, и они гоняли по дорогам. Вечерами раздавался треск мотора, мотоцикл останавливался, у ворот появлялась Сильвия с нависшей на глазах челкой. Дядюшка Маттео ничего не знал.

Эмилия уверяла, что этот у нее не первый, что докторский сынок уже переспал с ней у себя в доме, в кабинете отца. Но толком мы так ничего и не узнали: если и впрямь Артуро крутил с ней любовь, то почему они расстались посреди лета, когда начиналась самая хорошая пора и встречаться им было легче? Но тогда-то и появился мотоциклист, и теперь все знали, что Сильвия словно рехнулась, что она давала увозить себя к берегу, в камыши, и люди встречали их и в Камо, и в Санта-Либеры, и в лесах Браво. Порой они ездили и в Ниццу, в отель.

Посмотришь на нее — она все та же, глаза такие же черные, жгучие. Не знаю, надеялась ли она, что он возьмет ее замуж. Но только этот Маттео из Кривалкуоре, этот хозяин лесопилки, был задира и драчун, и хоть перепробовал уж не одну, ему еще ни разу не дали по рукам. «Вот,— думал я,— родится у Сильвии сын и будет, как я, без отца. Я вот так на свет появился».

Ирена тоже страдала от этого. Она, должно быть, пыталась помочь Сильвии и знала о ее делах больше нашего. Немыслимо было даже представить себе Ирену на этом мотоцикле или с кем-нибудь в камышах на берегу. Скорей уж Сантину, когда та подрастет... Про нее все говорили, что она пойдет по той же дорожке. Мачеха помалкивала, требовала только, чтоб сестры возвращались домой к определенному часу.

## XXV

Ирена никогда не приходила в отчаяние, как сестра, но если день-другой ее не звали в Нидо, она нервничала, ждала вестей у ограды сада, а не то возьмет книжку или вышивание и сидит вместе с Сантиной в винограднике, поглядывая на дорогу. Зато какой счастливой она бывала, когда отправлялась под зонтиком в Канелли. Не знаю, о чем она говорила с этой дохлятиной, с этим Чезарино; однажды я мчался в Канелли как сумасшедший, жам на все педали и увидел их посреди акаций — мне показалось, что Ирена стоя читает какую-то книгу, а Чезарино сидит на земле и глядит на нее.

Как-то на Море вновь появился Артуро в своих высоких охотничьих сапогах; он остановился под верандой и заговорил с Сильвией, но она не пригласила его подняться. сказала только, что сегодня душно да еще что туфли на низком каблучке — вот такие — теперь можно найти и в Канелли.

Артуго, подмигнув ей, спросил, по-прежнему танцуют ли у них, играет ли Ирена на пианино.

— Ты у нее спроси,— сказала Сильвия и взглянула куда-то вдаль, за сосну.

Ирена теперь играла мало. Говорили, будто в Нидо нет фортепьяно и что старуха терпеть не может, чтобы девушка стучала пальцами по клавишам. Ирена, когда отправлялась к старухе в гости, брала с собой сумку с вышиванием, большую сумку, расшитую зелеными цветами, и в той же сумке приносила домой из Нидо какую-нибудь книжку, которую старуха давала ей почитать. То были старые книги в кожаных переплетах. А старухе она возила журнал с модами — нарочно велела каждую неделю покупать в Канелли.

Серафина с Эмилией говорили, что Ирена метит в графини. Но однажды дядюшка Маттео предупредил своих дочерей:

— Смотрите, девочки. Бывают такие старухи, которых смерть не берет.

Трудно было понять, сколько у графини в Генуе родных,— поговаривали, что среди ее родни есть даже епископ.

Я слышал, что старуха уже не держала в доме ни горничных, ни слуг, обходилась внучками и внуками. Если это верно, то на что же надеялась Ирена? Ну, пусть все хорошо обернется, так или иначе Чезарино придется разделить наследство со многими. Я окидывал взглядом нашу усадьбу, наши конюшни, луга, поля, виноградники и думал, что, может, Ирена богаче его, может, Чезарино за ней выложится, чтоб наложить руки на ее приданое. Хоть и злился я, но все же такое объяснение мне было больше по душе,— тяжело было думать, будто Ирена сама его добивается: влюбилась или из тщеславия.

А может, говорил я, она и впрямь влюблена, может, нравится ей Чезарино, может, он и есть тот, за кого ей до смерти хочется замуж. Очень мне хотелось с ней поговорить, сказать ей, чтоб береглась, чтоб не губила себя ради этого недоноска, ради придурка, который даже из Нидо не выезжал и сидел на земле, покуда она читала книгу. Сильвия хоть времени даром не теряла, гуляла, с кем хотела. Не будь я батраком, не будь мне всего восемнадцать, Сильвия, может, пошла бы и со мной.

Конечно же, Ирена страдала. Этот графчик был похуже невоспитанной девчонки: привередничал, заставлял за собою ухаживать, то и дело поминал старуху-графиню и, что Ирена ни предложи, на все отвечал отказом: дескать, надо быть рассудительной, избегать ложных шагов, помнить, кто он таков, и какое у него здоровье, и какие у него вкусы. Теперь уж Сильвия в те редкие дни, когда не удирала и не запиралась в доме, выслушивала вздохи Ирены. За столом, рассказывала Эмилиа, Ирена сидит, опустив глаза, а Сильвия прямо глядит на отца, и глаза у нее горят, как в лихорадке. А говорит за столом одна синьора Эльвира, поджав губы, резко-резко. Оботрет Сантине подбородок и съязвит то насчет сына врача, то о тосканце вспомнит, об офицерах, да и других помянет и тут уже заговорит о девушках из Канелли, что помоложе, а уже замужем, уже детей крестят. Дядюшка Маттео что-то бормотал себе под нос, он никогда ни о чем не ведал.

А Сильвия удержу не знала, любо было поглядеть на нее, послушать ее в те минуты, когда ею не владели отчаяние и злость. Иной раз велит она запрячь коляску, и сама едет в Канелли — правила она не хуже мужчины. Однажды она спросила у Нуто, будет ли он играть в оркестре на бегах в Буон Консильо. А потом заявила, что ей во что бы то ни стало нужно купить себе в Канелли седло и научиться ездить верхом. Пришлось управляющему Ланцоне ей растолковать, что лошадь, привычная к упряжке, для верховой езды не годится, потому что у нее свой норов. Потом мы узнали, что в Буон Консильо Сильвия хотела отправиться, чтоб встретить там своего Маттео и показать ему, что она тоже умеет скакать на коне.

Кончится тем, говорили мы все, что эта девушка станет одеваться, как мужчина, будет бегать по ярмаркам и вместе с парнями по канату ходить. Как раз в тот год появился в Канелли балаган—там по кругу мчались мотоциклы, и грохот

стоял сильнее, чем от молотилки. У входа продавала билеты худющая рыжая баба лет сорока, пальцы в кольцах и в зубах сигарета. Вот увидите, говорили мы, наскучит она Маттео из Кревалкуоре, и он приставит ее к такому балагану. Еще в Канелли рассказывали, что, покупая билет, нужно только по-особому положить руку у окошечка, и эта рыжая тотчас же скажет, в какое время можно прийти к фургону с занавесками и переспать с ней на соломе. Только Сильвия еще до этого не докатилась. Она, конечно, совсем голову потеряла из-за своего Маттео, но была такая красивая и свежая, что и теперь нашлось бы много охотников взять ее замуж. А тут совсем бог знает что началось. Теперь они с Маттео встречались в полуразрушенном домишке на виноградниках Серауди. Домишко стоял на самом обрыве над рекой, куда на мотоцикле не доберешься, и они отправлялись туда пешком, отнесли туда одеяло и подушки. Ни на Море, ни в Кревалкуоре этот Маттео с Сильвией вместе не показывался. Не ее девичью честь он берег, а просто не хотел попасться, связать себя не хотел. Он знал, что не женится, вот и заботился о том, чтобы выйти сухим из воды.

Я пытался обнаружить на лице у Сильвии следы того, что они проделывали с Маттео. В тот сентябрь, когда мы приступили к сбору винограда, она, как и в прежние годы, вместе с Иреной пришла к нам на виноградник; укрывшись за кустами, я разглядывал ее руки, тянувшиеся к гроздьям винограда, глядел на ее бедра, на талию, на челку, падающую на глаза, глядел, как шагает она по тропинке, как вскидывает голову — я знал ее всю, от гребенки до ногтей на ногах, — и все же ни разу не смог бы сказать: «Вот в этом она изменилась, вот где след Маттео». Она была все той же Сильвией.

Этот сбор винограда был последним радостным временем на Море. В день всех святых Ирена слегла, позвали доктора со станции. У нее оказался тиф, умерла Ирена. Сантину с Сильвией отослали в Альбу к родным, чтоб уберечь от заразы. Сильвия ехать не хотела, но потом смирилась. Теперь пришлось побегать мачехе да Эмилии. В верхних комнатах беспрестанно топили печь, дважды в день меняли Ирене постель, она бредила, ей делали уколы, у нее стали выпадать волосы. Мы то и дело ездили в Канелли за лекарствами. Однажды во дворе появилась монахиня. Чирино сказал: «Не протянет она до рождества», — а на следующий день послали за священником.

## XXVI

Что осталось теперь от Моря, от всего этого, от нашей прежней жизни?

Сколько лет прошло, но стоило мне услышать, как ветер шевелит листвою липы, и я чувствовал себя другим человеком, становился самим собой, не зная даже толком отчего. Я думал о том, сколько людей, должно быть, живет в этой долине и вообще на свете, — людей, с которыми как раз теперь-то и происходит то, что было с нами, только они не знают об этом, не думают. Может, и теперь есть такой дом, есть девушки, старик, ребенок, есть такой вот Нуто, есть Канелли, есть железнодорожная станция и есть такой парень, как я, которому не терпится уехать, разбогатеть. Летом там молотят зерно, потом убирают виноград, зимой ходят на охоту, и дом у них с верандой — словом, все у них точь-в-точь, как было у нас. Так непременно и должно быть. Ребята, женщины, мир не изменились. Теперь уже не в моде зонтики от солнца, по воскресеньям люди ходят в кино, а не на площадь, зерно сдают на элеватор, девушки курят — а жизнь осталась все той же, и молодежь не знает, что настанет день, когда придется оглядеться, и тоже все окажется позади.

Когда я сошел на берег в Генуе и очутился посреди разбитых войной домов, мне прежде всего подумалось, что здесь каждый дом, каждый двор, каждый балкон был чем-то для кого-нибудь. И тут не только ущерб, не только жертвы — тут жаль прожитых лет, что ушли в небытие за одну ночь, не оставив даже следа. Может, я не прав, может, так лучше? Может, лучше, чтобы все сгорело, как сухая трава в костре. И чтобы люди всё начали заново. Так поступали в Америке. Надо-

ест что-нибудь, наскучит работа, приесться место — и люди все меняют. Там можно встретить целые селения — ресторан, мэрия, лавки — и никого не осталось, пусто, как на кладбище.

Нуто неохотно говорил о Море, но все расспрашивал меня, кого я встретил из тех мест. Он имел в виду парней, с которыми мы сживали в трактире, окрестных ребят, с которыми мы играли в кегли и в мяч, девушек, с которыми мы танцевали. Он знал обо всех: где кто теперь, что с кем случилось. Когда мы сидели у него на Сальто и кто-нибудь из них проходил по дороге, он подмигивал и спрашивал, по-кошачьи прищурив глаза: «Ну, а этого ты еще помнишь?» Потом он наслаждался удивлением, написанным на лице прохожего, и наливал вина нам обоим. Начинался разговор. Кое-кто обращался ко мне на вы. «Я Угорь, — прерывал я, — так что ты брось эти церемонии!. Ну, а что случилось с твоим братом, с твоим отцом, с твоей бабушкой? А собака-то ваша подохла?»

Мои старые приятели не слишком изменились; если кто изменился, так это я. Они вспоминали, какую штуку я выкинул когда-то и что сказанул, вспоминали и разные истории, о которых я позабыл. «А Бьянетта? — спрашивал меня кто-нибудь. — Ты Бьянетту помнишь?». Еще бы не помнить! «Вышла замуж за Робини, — говорили мне, — и живется ей хорошо».

Что ни вечер Нуто приходил за мной в «Анжело», вызволял меня от врача, секретаря мэрии, старшины карабинеров, от засевших там землемеров и заводил со мной разговор. Как два монаха на свободе, прогуливались мы вокруг деревни, вслушивались в стрекот цикад, в шум реки; в прежние времена мы никогда не приходили сюда в такой поздний час: жили другой жизнью.

Однажды вечером, когда над окутанными тьмой холмами взошла луна, Нуто спросил меня, как это вышло, что я отправился в Америку. Он хотел знать, решился ли бы я на это еще раз, если бы снова представился случай и было бы мне, как тогда, двадцать лет? Я ответил, что уехал не потому, что меня тянуло в Америку, а со зла — потому, что здесь не мог выбиться в люди. Мне не уехать хотелось, а вернуться сюда в один прекрасный день после того, как все давно решили, что я с голоду подох. В деревне я обречен был остаться батраком, как старик Чирино. (Он тоже давно умер — сломал спину, свалившись с сеновала, и потом еще больше года промучился.) Значит, стоило попытать счастья, стоило переправиться через Бормиду, а потом пересечь океан.

— Но нелегко вот так сразу решиться и сесть на корабль, — сказал Нуто. — Ты оказался смельчаком.

— Никакой тут храбрости не было, — сказал я, — просто удрал. — Теперь уже нмело смысл рассказать ему все. — Помнишь, о чем мы толковали с твоим отцом в мастерской? Он уже тогда говорил, что невежды всегда будут невеждами, потому что сила в руках у тех, кто не хочет, чтобы люди во всем разбирались, — в руках у правительства, у чернорубашечников, у капиталистов... Здесь, на Море, все было еще ничего, но вот в солдатах, когда я шатался по улочкам Генуи, я разобрался, какие они — хозяева, капиталисты, офицеры... В те времена правили фашисты, ни о чем говорить нельзя было... Но были и другие люди...

Я никогда ничего ему обо всем этом не рассказывал, чтобы не заставлять и его говорить, — теперь уж все равно ни к чему, да и сам я через двадцать лет, после всего, что было, не знаю, во что и верить. Но в ту зиму в Генуе я поверил... Сколько ночей провели мы в спорах с Гвидо, с Ремо, с Черрети в теплице при доме моего полковника. Потом Тереза испугалась, больше не хотела нас пускать, и тогда я сказал ей — пусть так и остается в прислугах, значит, она того заслуживает, а мы хотим твердо стоять на своем, хотим бороться. Мы продолжали свою работу в казармах, в трактирах, а отслужив в армии — на судоверфях, где находили работу, и в вечерних технических школах. Тереза теперь слушала меня терпеливо и одобряла за то, что я учусь, за то, что хочу своего добиться, и кормила меня на кухне. К разговору о политике мы с ней больше не возвращались. Но однажды ночью пришел Черрети и предупредил, что Гвидо и Ремо арестованы, а остальных ищут. Тогда Тереза, ни в чем меня не упрекнув, поговорила, уж не



знаю с кем — то ли с родственником, то ли с прежним своим хозяином, — и за два дня устроила меня палубным матросом на корабль, который отправлялся в Америку.

— Вот как это было, — сказал я Нуто.

— Видишь, как выходит, — ответил он. — Порой достаточно мальчишкой услышать словечко, пусть от старика, пусть от такого бедолаги, как мой отец, и у тебя откроются глаза... Я рад, что ты думал не только о том, как нажить деньги... А что случилось с твоими товарищами?

Так мы с ним разгуливали по дороге неподалеку от селения и толковали о нашей судьбе. Я поглядывал на луну и слушал, как вдали скрипят колеса телег, — вот чего в Америке давно не слышать. Я думал о Генуе, о своей конторе, о том, какой стала бы моя жизнь, если б схватили и меня в то утро на верфи, где работал Ремо. Через несколько дней я снова уеду в Геную, на виа Корсика. Все подходит к концу.

Кто-то бежал по дороге, вздымая пыль, я думал — собака, но это оказался мальчик, он, прихрамывая, бежал нам навстречу. Прежде чем я понял, что это Чинто, он уже прижался к моим ногам и завыл, как собачонка.

— Что случилось?

Мы ему не сразу поверили. Он твердил, что отец поджег дом.

— Не может быть! — сказал Нуто.

— Он дом поджег, — повторял Чинто. — Хотел меня убить... А сам повесился... Он дом поджег!

— Должно быть, лампу опрокинули, — сказал я.

— Нет, нет! — крикнул Чинто. — Он убил Розину и бабушку. Хотел и меня убить, но я не дался... Потом солому поджег и все меня искал. Но у меня был нож. Тогда он повесился посреди виноградника.

Чинто тяжело дышал, всхлипывал. Весь исцарапанный и перепачканный, он сидел в пыли, прижимаясь к моим ногам, и все повторял:

— Папа повесился в винограднике. Он дом поджег... И вол сгорел. Только кролики удрали. Но у меня был нож... Все сгорело. Пиола тоже видел.

## XXVII

Нуто взял его за плечи и поднял, как козленка:

— Он убил Розину и бабушку?

Чинто только дрожал, он не мог говорить. Нуто встряхнул его за плечи:

— Он убил их?

— Оставь его, — сказал я. — Он едва жив. Пойдем сами взглянем.

Тогда Чинто бросился к моим ногам. Он и слышать не хотел о возвращении.

— Встань, — сказал я ему. — Ты кого искал?

Он искал меня, но возвращаться на виноградник ни за что не хотел. Он позвал Мороне, позвал семью Пиолы, всех разбудил, — они уже бегом спускались с холма. Он крикнул им, чтобы тушили пожар, он сделал все, что надо, только на виноградник возвращаться не хотел. И нож свой потерял.

— Мы не пойдем на виноградник, — сказала я ему, — дальше дороги не двинемся. Нуто один туда ходит. Чего ты боишься? Если правда, что туда побежали люди, значит, пожар уже погасили...

Мы пошли по дороге, держа его за руки. Отсюда холм Гаминелла не виден, он скрыт за отрогом. Нам надо свернуть с шоссе, спуститься по склону к Бельбо, и тогда сквозь деревья должен быть виден пожар. Но в лунном свете, прорывавшемся сквозь ночной туман, мы не увидели ничего.

Нуто молча дернул за руку Чинто, который споткнулся. Мы почти бежали. У камышей стало ясно, что здесь что-то случилось: сверху доносились крики, удары топора по дереву. Клубы вонючего дыма, врываясь в ночную прохладу, ползли к дороге, вторгаясь в прохладу ночи.

Чинто не сопротивлялся, он старался поспеть за нами и только все крепче сжимал мою руку.

Наверху у смоковницы сутились люди, доносились громкие голоса. Еще шагая по тропе, я при свете луны разглядел пустое место там, где прежде были сеновал и хлев, и заметил черные дыры в догоравших стенах дома. Красные отблески пламени угасали у подножия стены, оттуда и валил черный дым. Нестерпимо воняло горелой шерстью, мясом, навозом. Между ног у меня прошмыгнул кролик.

Нуте остановился возле тока, лицо его исказила гримаса, и он схватился за голову.

— О, этот запах! — пробормотал он. — Этот запах...

Пожар уже стих. Тушить сбежались все соседи; рассказывали, что на какой-то миг пламя осветило даже берег, и видно было, как оно отражалось в водах Бельбо. Спасти ничего не удалось, даже сухой навоз за домом сгорел.

Кто-то побежал за старшиной карабинеров. На ферму Мороне послали женщину за вином. Мы дали Чинто выпить немного вина. Он спрашивал, где собака, сгорела ли собака? Каждый говорил свое. Мы усадили Чинто посреди луга, и он, то и дело умолкая, начал свой сбивчивый рассказ. Он ничего не знал, шел к речке, потом услышал, как залаял пес, как отец стал загонять вола. Явилась хозяйка виллы со своим сыном — делить фасоль и картошку. Мадам сказала, что два ряда картофеля уже вырыты, пусть половину возместят, а Розина стала кричать, и Валино ругался. Тогда хозяйка вошла в дом, чтобы и бабушке свое доказать, а сын остался на дворе стеречь корзины. Потом хозяйка с сыном взвесили картошку и фасоль и о чем-то договорились, но глядели друг на друга со злобой. Они все погрузили на тележку, а Валино отправился в селение. Вечером вернулся мрачный и принялся кричать на Розину, на бабушку, ругал их за то, что они не собрали фасоль раньше, когда она была зеленая, говорил, что теперь хозяйка будет есть фасоль, которая могла бы достаться им. Старуха плакала, лежа на тюфяке. Он, Чинто, сидел у двери, готовый удрать в любую минуту. Тогда Валино снял с себя ремень и принялся хлестать Розину, бил ее, словно зерно молотил. Розина ударилась об стол и выла, закрывая руками шею. Потом она закричала сильнее, упала на пол бутылка, и Розина бросилась к бабушке и стала ее обнимать. Тогда Валино принялся бить ее ногой, слышны были удары — он пинал ее под ребра, топтал тяжелыми башмаками. Розина свалилась на пол, а Валино все пинал ее в лицо, в живот.

— Розина умерла, — сказал Чинто, — она умерла, у нее пошла кровь изо рта. «Ну, встань, — говорил отец, — ну, не дури». Но Розина умерла, и даже старуха умолкла.

Тогда Валино стал искать его, а он удрал в виноградник, оттуда слышно было только, как пес метался на цепи.

Немного погодя Валино стал звать Чинто. Чинто по голосу понял: отец просто зовет и не собирается бить. Тогда он открыл нож и показался во дворе. Отец, мрачнее тучи, ждал его на пороге. Увидев у него в руках нож, отец сказал «сволочь» и попытался его схватить. Чинто опять удрал. Потом он услышал, как отец стал ломать все, что под руки попадет, как он ругался, как поносил священника. Потом вдруг увидел пламя.

Отец вышел во двор, в руках у него была зажженная лампа, только без стекла. Он обежал вокруг дома, поджег сеновал, солому и швырнул горящую лампу в окно. Комната наполнилась огнем. Никто не вышел на порог, казалось, что женщины в доме все еще плачут и зовут на помощь.

Теперь горел весь дом, и Чинто не мог спуститься к лугу, потому что отец заметил бы его — стало светло, как днем. Пес совсем обезумел, лалял и рвался с цепи. Кролики разбежались, вол горел в хлеву. Валино побежал за Чинто в виноградник с веревкой в руках. Чинто, не выпуская из рук ножа, удрал на берег. Там он спрятался и глядел оттуда сквозь кусты на пылающий дом. Даже отсюда было слышно, как бушует пожар — словно сухие дрова пылали в печи. Пес

все лаял и выл. На берегу тоже стало светло, как днем. Когда смолкло все — и лай собаки, и голос отца, — Чинто показалось, что он только что проснулся, и он не мог даже припомнить, что делал здесь, на берегу. Тогда он потихоньку подобрался к большому ореховому дереву, по-прежнему сжимая в руке нож, настороженно вслушиваясь и вглядываясь в зарево пожара. В отвсетах огня он увидел ноги отца, висевшего на ореховом дереве, и упавшую на землю лестницу...

Ему пришлось повторить весь этот рассказ старшине карабинеров, потом ему показали лежавшего на мешковине мертвого отца, спросили — узнает ли он его. На лугу свалили в кучу все, что удалось найти, — серпы, тележку, лестницу, намордник вола и решето. Чинто все искал свой нож, расспрашивал о нем и кашлял, задыхаясь от дыма и гари. Ему говорили, что нож найдут и что можно будет забрать железные части мотыг и лопат, когда зола остынет. Мы отвели Чинто в усадьбу Мороне, когда уже светало. Остальные отыскивали на месте сгоревшего дома останки женщин.

В доме Мороне никто не спал, в кухне топили печь. Женщины предложили нам вина. Мужчины садились завтракать. Было прохладно, почти холодно. Я устал от споров и слов; все повторяли одно и то же. Мы с Нуро прогуливались по двору; на небе угасали звезды, перед нами в холодном, почти фиолетовом воздухе раскинулись леса в долине, засверкали воды реки. Я и позабыл эти краски рассвета! Нуро ходил сторбясь, опустив голову. Я сразу сказал ему, что о Чинто должны позаботиться мы, что надо было нам раньше об этом подумать. Он поднял опухшие веки и взглянул на меня, словно не мог очнуться.

На другой день нас ждало известие, от которого кровь могла закипеть. Я услышал, как в селении говорили, что хозяйкавиллы вне себя от ярости из-за того, что погибла ее собственность; Чинто изо всей семьи единственный остался в живых, и она требовала, чтобы именно Чинто возместил ей потери, уплатил ей за все, а не то пусть его посадят в тюрьму. Я узнал, что она пошла советоваться к нотариусу, и тому пришлось целый час ее вразумлять, но потом она побежала к попу.

Ну, а поп выкинул номер еще похлестче. Раз Валино умер в смертном грехе, он и слышать не хотел о том, чтобы отпеть его в церкви. Гроб оставили снаружи, на ступеньках, покуда священник внутри бормотал свои молитвы над обгоревшими костями женщин, сложенными в мешок. Хоронили вечером, тайком от всех. Старухи с усадьбы Мороне в черных платках пошли проводить покойников на кладбище и по дороге собирали маргаритки и клевер. Священник на кладбище не пошел, видно, потому, что если поразмыслить, то и Розина жила в смертном грехе. Но об этом болтала лишь портниха, которая славилась своим злословием.

## XXVIII

Ирена в ту зиму не умерла от тифа. Покуда жизнь ее была в опасности, я старался не ругаться, не думать ни о ком дурно — помню, как мне хотелось помочь ей. Так велела Серафина, и я не забывал ее наставлений, даже когда убирал за скотиной или шагал под дождем за плугом. Только не знаю, может, зря я старался, может, лучше бы ей умереть в тот день, когда посылали за священником. В январе она наконец вышла из дому, и ее, бледную и исхудавшую, в коляске отвезли к мессе в Канелли. Чезарино давно уже удрал в Геную, не навистив ее, даже ни разу не прислав кого-нибудь узнать, что с ней, как она себя чувствует. А в замке Нидо все двери были наглухо заколочены.

И Сильвию по возвращении не ждало ничего хорошего, хотя, как все говорили, она не так страдала. Сильвия уже привыкла к своей злой судьбе, выучилась принимать ее удары, подыматься после них на ноги.

Ее Маттео тем временем спутался с другой. Сильвия не скоро вернулась из Альбы. И на Море стали поговаривать, что есть тому причина — ясное дело, забеременела. Те, кто ездил в Альбу на рынок, рассказывали, что Маттео из Крвалкуоре целыми днями гонял по площади на своем мотоцикле — шуму-то, как при

стрельбе, — а остальное время торчал в кафе. Никто никогда не видел, как они миловались, никто их даже вместе не встречал. Значит, Сильвия не выходила из дому, значит, она была беременна. Как бы там ни было, только к лету, когда Сильвия вернулась, Маттео уже нашел себе другую — дочь владельца кафе из Санто-Стефано — и проводил с ней ночи. Сильвию, когда она возвратилась, увидели уже на шоссе, они с Сантиной шли, взявшись за руки: никто даже не поехал встретить их к поезду. Проходя по саду, они остановились, чтобы понюхать первые розы. Они с Сантиной, раскрасневшиеся от ходьбы, стояли и перешептывались, как мать с дочерью.

А Ирена стала теперь хрупкой и бледной, она почти не поднимала глаз от земли и походила на блеклый цветок, что безо времени появляется на лугу после сбора винограда, или на травинку, что тянется кверху из-под придавившего ее камня. Покуда у нее отрастали волосы, она носила красный платок, из-под него виднелись лишь шея и уши. Эмилия говорила, что она уже никогда не будет прежней красавицей. А вот Сантина росла, хорошела, и локоны у нее были еще красивей, чем когда-то у Ирены. Сантина уже знала себе цену и порой останавливалась у изгороди, чтобы дать на себя полюбоваться, или выходила к нам во двор, на дорожку и болтала с женщинами. Я расспрашивал ее о том, как им жилось в Альбе, что там подделывала Сильвия. И она, если была охота, рассказывала мне, что они жили напротив церкви, в прекрасном доме с коврами в каждой комнате, к ним там заходили дамы, мальчики, девочки — все такие нарядные; они вместе играли, ели пирожные, а как-то вечером пошли в театр с теткой и с Николетто, девочки ходили в школу к монахиням; на следующий год она тоже пойдет в школу. Мне так и не удалось разузнать, как проводила свои дни Сильвия, но, должно быть, она там не болела, а танцевала с офицерами.

Снова в Мору зачастили молодые люди и прежние подруги. Нуто ушел в солдаты. Я теперь уже был совсем взрослый; позади остались те времена, когда управляющий мог хлестнуть меня ремнем и любой встречный обозвать ублюдком. Меня знали на многих фермах в округе, я уходил иной раз на всю ночь, ухаживал за Бьянкеттой. Я начинал во многом разбираться; запах лип, запах цветущих акаций приобрел свой смысл и для меня. Теперь я знал, что такое женщина, почему иной раз после музыки и танцев одиноко, как пес, бродишь по полям. Из моего окна были видны холмы по ту сторону Канелли, оттуда к нам приходили грозы и ясная погода, там начиналось утро, оттуда доносились гудки паровозов, там проходила дорога, ведущая в Геную. Я знал, что и я через два года, как Нуто, сяду в поезд. На праздниках я старался держаться поближе к тем, кого призовут вместе со мной. Мы пили, пели песни, толковали о наших делах.

Сильвия опять взбесилась. На Море появился Артуро со своим тосканцем, но она на них даже не взглянула. Теперь она сошлась с бухгалтером из Канелли, казалось, они вот-вот поженятся. Дядюшка Маттео был согласен. Бухгалтер, блондинчик из Сан-Марцано, приезжал на велосипеде и всегда привозил конфеты Сантине. Но однажды вечером Сильвия исчезла. Вернулась только на следующий день с охапкой цветов в руках. Оказалось, что в Канелли у нее, кроме этого бухгалтера, был еще какой-то ухажер из Милана, который умел говорить по-английски и по-французски. Седоватый, высокий, настоящий господин; шли толки, будто он скупает земли. Сильвия встречалась с ним на вилле у знакомых, там их хорошо принимали. После одного ужина она вернулась лишь под утро. Об этом узнал бухгалтер и даже возжаждал крови, но этот господин, этот Лульи, отправился к нему сам, отчитал его, как мальчишку, и на том дело кончилось. Лульи было, должно быть, за пятьдесят, и у него уже были взрослые дети. Я видел его только издали. Но у Сильвии с ним все обернулось похуже, чем с Маттео из Кревалкуоре. И Маттео, и Артуро, да и все прочие не были для меня загадкой — росли они в наших местах, может, и ломаного гроша не стоили, но были своими, пили, смеялись, разговаривали, как мы. Другое дело Лульи из Милана — никто не мог сказать, чем же он занят в Канелли. Он устраивал обеды в гостинице «Белый крест», был на приятельской ноге с мэром и с фашистскими заправилками.

Сильвии он обещал, должно быть, забрать ее в Милан или бог знает куда, только подальше от Моря и от дома.

Сильвия потеряла голову; она поджидала его в кафе «Спорт», разъезжала по виллам и замкам в машине фашистского секретаря, добиралась до самого Акви. Должно быть, Лульи был для нее тем, чем для меня могла бы стать она сама и ее сестра, чем для меня потом стала Генуя или Америка. В то время я уже достаточно разбирался в таких вещах, чтобы представить их себе вместе и вообразить, о чем они говорили. Он, должно быть, рассказывал ей о Милане, о бегах, о театре и о богачах, а она жадно слушала, и глаза у нее блестели, хоть она и притворялась, что все это ей знакомо. Этот Лульи всегда был одет с иголочки, во рту у него торчала трубка, а зубы и кольцо на руке были из чистого золота.

Однажды Сильвия сказала Ирене — Эмилия сама слышала, — что Лульи приехал из Англии и должен туда вернуться.

Но настал день, когда дядюшка Маттео в ярости набросился на жену и дочерей. Он кричал, что ему опротивели их постные лица, что он больше не желает терпеть их ночные похождения, что ему надоели ухажеры, которые крутятся вокруг них, что он больше не хочет так жить, он должен знать, с кем он породнился, а то над ним смеются. Он винил мачеху, всех бездельников и всю распутную женскую породу. Он заявил, что Санту будет воспитывать сам, и сказал дочерям — пусть выходят замуж, если кто их возьмет, пусть хоть в Альбу едут, но только чтоб не путались у него под ногами. Бедняга состарился, он больше не владел собой и не мог командовать другими. В этом в конце концов убедился даже Ланцоне, в этом убедились все.

Кончилось тем, что Ирена с красными от слез глазами слегла в постель, а синьора Эльвира обняла Сантину и велела ей не слушать таких речей. А Сильвия пожалала плечами, ушла и вернулась домой только через день.

Потом настал конец истории с Лульи; стало известно, что он удрал, не заплатив большие долги. Сильвия на этот раз повела себя, как взбесившаяся кошка; она отправилась в Канелли, пошла к фашистам в их здание, пошла к фашистскому секретарю, стала разъезжать по виллам, где они прежде развлекались и спали с Лульи, словом, не успокоилась, пока не выпытала, что Лульи в Генуе. Тогда она села на поезд и отправилась в Геную, увезя с собой золотые вещи и немного денег, которые ей удалось собрать. Месяц спустя дядюшка Маттео поехал за ней в Геную, узнал через полицию, где она находится. Сильвия уже была совершеннолетняя, ее не могли насильно вернуть домой. Она голодала, проводила дни на скамьях парка Бриньоле, Лульи она не нашла, никого больше не нашла и хотела было броситься под поезд. Дядюшка Маттео ее успокоил, сказал, что это как болезнь или несчастье, все равно что тиф, которым переболела Ирена, и что все ее ждут на Море. Сильвия вернулась, но на этот раз на самом деле беременная.

## XXIX

В те дни пришла и другая весть: умерла старуха из Нидо. Ирена ни слова не сказала, но ее прямо в жар бросило, кровь прилила к лицу. Теперь, когда Чезарино мог сам решать свои дела, ясно будет, что он за человек. Ходили разные слухи: одни говорили, что он единственный наследник, другие — что наследников целая куча, третьи — что старуха все завещала епископу и монастырям.

В Нидо приехал нотариус, чтобы осмотреть замок и земли. Он ни с кем и разговаривать не стал, даже с Томмазино. Распорядился насчет работ, насчет сбора урожая. В замке сделал опись. Нуто, который тогда получил увольнительную на время жатвы, разузнал обо всем в Канелли. Старуха все завещала сыновьям одной из своих племянниц, которые даже графами не были, и назначила нотариуса опекуном. Потом в замке Нидо наглухо закрыли все двери, а Чезарино так и не вернулся.

В те дни я не отходил от Нуто, и мы с ним о многом говорили — о Генуе, о военной службе, о музыке, о Бьянкетте. Он курил и меня угощал, спрашивал, не

наскучило ли мне батрачить на Море, говорил, что мир велик и в нем каждому найдется место. Услышав про Сильвию и Ирену, он только плечами пожал и не стал особенно расспрашивать.

Ирена словечком не обмолвилась насчет вестей из Нидо. По-прежнему худая, бледная, она часто выходила вместе с Сантиной к реке и сидела с ней на берегу. Раскроет на коленях книгу, а сама глядит на деревья. По воскресеньям они в черных платках отправлялись к мессе — ездили с мачехой, с Сильвией, словом, все вместе. Как-то в воскресенье после долгого перерыва я снова услышал игру на пианино.

Не в эту, а в прошлую зиму Эмилия дала мне почитать одну из тех книжек, которые Ирена брала у знакомой девушки в Канелли. Я давно хотел последовать совету Нуто и хоть чему-то поучиться. Я был уже не тот мальчишка, что, сидя после ужина на бревнышке, заслушивался рассказами о звездах и храмовых праздниках. Заняв местечко поближе к огню, я читал эти романы, чтобы хоть что-нибудь узнать. В них говорилось о девушках, которые жили вместе с опекунами или со своими тетками, с врагами, державшими их взаперти, в прекрасных виллах, окруженных садами. Горничные приносили им записочки, давали, когда требовалось, яд, воровали завещания. Потом на коне появлялся красавец, он целовал девушку; ночью девушке не спалось, и она выходила в сад, ее похищали разбойники, утром она просыпалась в хижине дровосека, и тогда появлялся тот самый красавчик, чтоб спасти ее.

Иногда это была история какого-нибудь сорвиголова, жившего в дремучем лесу; выяснялось, что он незаконный сын владельца замка, а в замке то и дело совершались преступления, то и дело кого-нибудь отравляли; во всем винили юношу, и он попадал в тюрьму, но туда к нему приходил седовласый священник, спасал его, и тогда он женился на наследнице из какого-нибудь другого замка. Я убедился, что давно уже знал эти истории — в Гаминелле Виржилия рассказывала их мне и Джулии. Помню ее рассказ о златокудрой Спящей Красавице, которая спала мертвым сном в лесу, — разбудил ее поцелуй охотника; помню рассказ о Волшебнике с семью головами — его полюбила прекрасная девушка, и он превратился в прекрасного юношу, в королевского сына.

Мне эти книжки нравились, но как они могли прийтись по вкусу Ирене и Сильвии, — ведь они барышни, они никогда не слушали Виржилии, никогда не убирали навоз в хлеву? Я понял, что Нуто прав, когда говорит, что все равно, где живет человек, в лачуге или в замке, что кровь у всех красная, и все хотят быть богатыми, хотят любви и счастья. Вечерами, возвращаясь от Бьянкетты, я шагал, посвистывая, под акациями. Я был счастлив и даже не думал о том, как сяду в поезд.

Синьора Эльвира снова стала звать к ужину Артуро, но он теперь повел себя хитрей и не брал с собой своего друга-тоscanца. Дядюшка Маттео больше не противился. Тогда еще никто не знал, что произошло с Сильвией, и казалось, что жизнь на Море хоть течет и не совсем гладко, но все же становится похожей на прежнюю.

Артуро тотчас же стал ухаживать за Иреной; Сильвия насмешливо поглядывала на него из-под низкой челки. Но стоило Ирене сесть за пианино, и она сразу же уходила на веранду или отправлялась гулять. Зонтик она с собой не брала, теперь женщины и на солнце появлялись с непокрытой головой.

А Ирена об Артуро и слышать не хотела. Держала себя с ним спокойно, холодно, провожала его до калитки, но они почти не разговаривали друг с другом. Артуро совсем не переменялся, по-прежнему проедал отцовские деньги, подмигивал даже Эмилии, но ясно было, что сам он гроша ломаного не стоит, если, конечно, говорить не о картежной игре и стрельбе в тире.

О том, что Сильвия беременна, нам рассказала Эмилия. Она узнала об этом прежде отца, прежде всех остальных. В тот вечер, когда дядюшка Маттео узнал эту новость — ему рассказали Ирена и синьора Эльвира, — он даже не поднял крик, а как-то странно засмеялся и поднес руку ко рту.

— Ну, а теперь, — зло усмехнулся он, не отнимая ото рта ладонь, — теперь найдите ему отца.

Он попробовал было встать, дойти до комнаты Сильвии, но тут у него закружилась голова и ноги подкосились. С того дня он слег в постель, полуживой, с перекошенным ртом.

К тому времени, когда дядюшка Маттео поднялся и мог уже немного ходить, Сильвия сама обо всем позаботилась. Сама отправилась к акушерке в Костилюоле и сделала себе выкидыш. Никому ни слова не сказала. О том, где она побывала, узнали лишь через два дня, потому что в кармане у нее нашли железнодорожный билет. Она вернулась с синими кругами под глазами, лицо как у покойницы; вернулась и залила кровью свою постель. Умерла она, не сказав ни слова ни священнику, ни кому другому, только все тихонько звала: «Папа, папа».

К похоронам мы оборвали в саду и на усадьбе все цветы. В июне цветов много. Отец не знал, что ее хоронили, но услышал успокоительную молитву в соседней комнате, испугался и все пытался сказать, что он еще жив. Когда ему наконец разрешили выйти на веранду, он появился, поддерживаемый с двух сторон — синьорой Эльвирой и отцом Артуро. Берет у него был надвинут на самые глаза, и он молча сидел, грелся на солнышке. Артуро со своим отцом от него не отходили и сменяли друг друга.

Теперь на Артуро косо поглядывала мать Сантини. После того как старик заболел, она не хотела, чтоб Ирена вышла замуж и унесла с собой приданое. Пусть лучше сидит дома старой девой, пусть лучше приглядывает за Сантиной — придет день, когда девочка станет хозяйкой. Дядюшка Маттео уже не мог говорить, хорошо еще, что подносил ложку ко рту. Расчеты с управляющим и с нами теперь вела синьора, которая повсюду совала свой нос.

Но Артуро оказался ловкачом и сумел себя поставить. Теперь он готов был жениться на Ирене как бы из одолжения, потому что после истории с Сильвией все поговаривали, что девушки на Море распутные. Он ничего такого не говорил, приходил на Мору с серьезным видом, проводил время со стариком, ездил на нашей лошади в Канелли с разными поручениями, а по воскресеньям в церкви сидел рядом с Иреной, подавал ей святую воду. Он теперь ходил в темных костюмах, заботился о лекарствах для старика. Еще не женившись, он уже проводил все время с утра до вечера в доме и на полях. Ирена согласилась пойти за него, лишь бы уехать, лишь бы не видеть больше замок Нидо на холме, не слышать ворчания мачехи, не видеть ее козней. Она вышла за него в ноябре, через год после смерти Сильвии; свадьбу отпраздновали скромно, потому что траур еще не кончился, а дядюшка Маттео был совсем плох. Они уехали в Турин; синьора Эльвира изливала душу Эмилини и Серафине: никогда бы она не поверила в такую неблагодарность, она же Ирену за родную дочь считала! На свадьбе всех красивой и нарядней была одетая в шелковое платье Сантина, хотя ей было всего шесть лет.

В ту весну я уходил в солдаты, и меня уже не особенно интересовало, что происходит на Море. Вернулись из Турина Ирена с Артуро, и он принялся командовать. Пианино он продал, продал и лошадь, продал часть еще не скошенного сена. Ирена, поверившая было, что будет жить в новом доме, теперь потянулась к отцу и стала за ним ухаживать, хлопотать вокруг него. Артуро дома почти не бывал. Снова начал играть, ходить на охоту, закатывать ужины для приятелей. Когда я через год в первый и в последний раз приехал на Мору, от приданого — половины всего хозяйства — уже ничего не осталось, а Ирена жила с Артуро в Ницце, и у них была всего одна комната; Артуро ее бил.

### XXX

Помню летнее воскресенье — в то время еще была жива Сильвия, а Ирена еще была молодой. Мне тогда, должно быть, было лет семнадцать — восемнадцать, и я уже начал гулять по окрестным деревням. Первого сентября в Буон Консильо был праздник. Сильвия с Иреной решили на него не ехать; знакомых у них было

немало — всё чаи да визиты, — но то ли поссорились они со своими ухажерами, то ли наряды не были готовы. Они лежали в креслах-качалках, поглядывая на небо над голубятней. В то утро я хорошенько вымыл шею, надел новую рубашку, новые башмаки, сходил в селение и теперь бодро возвращался, чтобы перекусить и поскорей сесть на велосипед. Нуто еще накануне отправился в Буон Консильо — он играл на танцах.

Сильвия с веранды спросила, куда я собираюсь. Казалось, она хотела со мной поболтать. Она иной раз говорила со мной, кокетливо улыбаясь, как улыбаются красивые девушки, зная, что они красивы, и тогда я забывал, что я только батрак. Но в тот день я торопился, был как на иголках.

— Чего ты коляску не запряжешь? — спрашивала Сильвия. — Быстрой доедешь. — Потом она крикнула Ирене: — А может, поедем в Буон Консильо?. Угорь нас отвезет и за лошадей присмотрит.

Мне все это пришлось не по душе, но делать было нечего. Они спустились вниз с корзинкой закусок, с зонтиками, с пледом. Сильвия была в цветастом платье, Ирена оделась во все белое, и обе вышли в туфлях на высоких каблукках. Они сели в коляску и раскрыли зонтики.

Я радовался, что так хорошо умылся: Сильвия со своим зонтиком сидела рядом со мной, от нее пахло цветами. Я видел ее маленькое розовое ушко с дырочкой для серег, видел ее белую шею и знал, что за мной сидит золотоволосая Ирена. Они разговаривали друг с другом; речь шла о тех молодых людях, что их посещали; они смеялись над ними, выискивали у них недостатки; вспомнив обо мне, говорили, чтобы я не прислушивался. Потом стали гадать, кто приедет в Буон Консильо. Когда начался подъем, я, чтоб не утомлять коня, сошел и зашагал рядом с коляской, а Сильвия взяла в руки вожжи.

В пути они расспрашивали меня, кому принадлежит дом, часовня, усадьба, мимо которых мы проезжали, но я знал только о том, какой в этих местах виноград, а о хозяевах никогда ничего не слышал. Мы обернулись, чтоб взглянуть на колокольню в Калоссо, и я показал им, в какой стороне осталась Мора.

Потом Ирена спросила у меня, неужели это правда, что я не знаю своих родителей. Я ей ответил, что мне и без них спокойно живется, и тогда Сильвия оглядела меня с головы до ног и вдруг совсем серьезно сказала Ирене, что я красивый парень, не поверишь, что я из здешних мест. Ирена, чтоб меня не обидеть, сказала, что руки у меня красивые, и я их тотчас же спрятал. Тогда и она засмеялась, как Сильвия.

Потом они опять принялись толковать о своих обидах и о нарядах, и так мы добрались до Буон Консильо.

Чего там только не было — и лотки с миндальными сладостями, и флажки повсюду, и повозок полно, и тирсы открыты — то и дело слышны хлопки выстрелов. Я отвел лошадь под платаны, где была коновязь, распряг ее и бросил ей сена. Ирена с Сильвией все спрашивали: «Где будут скачки?» Но до скачек времени еще было вдоволь, и они стали разыскивать своих друзей. Я приглядывал за конем, но и о празднике не забывал.

Мы приехали рано, Нуто еще не начал играть, но слышно было, как настраивали инструменты, как музыканты не в лад трубили, свистели, пытели, дурачились, как могли. Нуто я увидел, когда он пил сельтерскую с братьями Серауди. Они стояли на площадке за церковью, откуда был виден холм напротив, и виноградники, и берег реки до самого леса. Сюда, в Буон Консильо, люди стекались отовсюду, со всех окрестных холмов, с самых дальних усадеб, из горных деревушек по ту сторону Манго, куда никто не заглядывал, — там и дорог-то нет, одни только козьи тропы. Они добирались сюда на телегах, в повозках, на велосипедах, а кто и пешком. На площади толпились девушки, старухи шли в храм помолиться, мужчины глазели по сторонам. Господа, нарядно одетые барышни, мальчики в галстуках ждали начала мессы у входа в церковь. Я сказал Нуто, что приехал с Иреной и Сильвией, и вскоре мы увидели, как они хохочут со своими приятелями. Платье Сильвии, в цветах, оказалось самым нарядным.



Вместе с Нуто мы отправились взглянуть на лошадей в конюшне при траттории. Один парень со станции, звали его Биццарро, задержал нас у входа и велел постоять на стреме. Вместе с другими ребятами они откупорили бутылку с вином, половину пролили на землю. Но они не собирались пить. Остаток шипучего вина налили в миску и дали полакать черному, как спелая тутовая ягода, коню Лайоло, а потом стукнули его раза четыре рукояткой кнута по задним ногам, чтоб хорошенько взбудоражить. Лайоло стал брыкаться, выгибая хвост, как кот. «Молчок, — сказали они, — вот увидишь, приз теперь за нами».

Но тут у порога показалась Сильвия со своими ухажерами.

— Уже пить начали, — сказал нам пришедший с ней веселый толстяк. — Потом вместо лошадей побежите.

Биццарро расхохотался, отер пот красным платком и сказал:

— Пусть девушки побегают. Они легче нас.

Нуто отправился к церкви славить богоматерь. Перед церковью все выстроились в два ряда, оттуда выносили статую мадонны. Нуто подмигнул нам, сплюнул, оттер рот рукой и взялся за кларнет. Играли они так, что, должно быть, даже в Манго было слышно.

Мне нравилось стоять на площади, в тени платанов, слушать голоса труб и кларнетов, видеть, как люди то становились на колени, то бежали, а мадонна, покачиваясь, возвышалась над толпой — статую несли на плечах. Потом показались священники, мальчики в длинных белых одеяниях, старухи, господа. Мне нравились запахи ладана, зажженные свечи в ярком солнечном дне, цветастые платья, девушки, лоточники, продавцы миндаля в сахаре, хозяева тиров и балагана — все, кто стоял под платанами и глазел на процессию.

Мадонну обнесли вокруг площади; кто-то пустил шутихи. Я увидел, как Ирена заткнула себе уши. Смотрю на нее: не волосы — чистое золото. Я был рад, что привез их сюда в коляске, что я вместе с ними на празднике. Я отошел на минутку к нашей коляске, чтоб подобрать раскиданное сено, и заглянул в коляску, чтобы проверить, на месте ли плед, шарфы, корзинка с едой.

Потом начались скачки, и музыка снова заиграла, когда выводили лошадей. Я глаз не сводил с платья в цветах и с белого платья, видел, как обе они болтают, смеются; чего бы я только не отдал, чтоб быть одним из этих молодых людей и танцевать с ними!

Лошади дважды, на спуске и на подъеме, промчались мимо платанов — такой стоял топот, будто на Бельбо начался паводок. На Лайоло скакал незнакомый мне парень, он согнулся в три погибели и что есть мочи нахлестывал коня.

Биццарро стоял рядом со мной и ругался, потом закричал «ура», когда другая лошадь споткнулась и упала; Лайоло вскинул морду и рванулся вперед, Биццарро снова выругался, сорвал с шеи платок, обозвал меня ублюдком, а братья Серауди пустились в пляс и стали лягаться, как козы; потом поднялся шум в другой стороне; Биццарро бросился ничком на траву и покатился по ней; невзирая на свой вес, боднул головой Землю; тут снова все закричали — победила чья-то лошадь из Нейве, а ребята с фермы Серауди все резвились.

Потом я потерял из виду Ирену и Сильвию. Я обошел все тиры, все места, где играли в карты, посидел в траттории, послушал, как ругаются между собой владельцы лошадей, которые пили одну бутылку за другой, а приходский священник пытается их помирить. Тут кто пел, кто сквернословил, а кто уже закусывал колбасой и сыром. Девушки в такое место наверняка не заглянут.

Тем временем Нуто и другие музыканты уже заняли свои места на площадке для танцев и заиграли. Ясный, чистый, прозрачный вечер наполнился музыкой и смехом. Я бродил вокруг балаганов, смотрел, как ветер полощет холстину, прикрывавшую вход; вокруг выпивали и курили парни, кое-кто уже приставал к лоточницам. Перекликались мальчишки, вырывали друг у друга сласти, галдели.

Я пошел взглянуть, как танцуют на площадке под полотняным навесом. Братья Серауди уже плясали. Они пришли со своими сестрами, но я на них и не взглянул — искал платье в цветах, искал белое платье. Вдруг я увидел их в свете газо-

вого фонаря, они прижимались к своим кавалерам, танцевали, положив им голову на плечо,плыли куда-то под музыку. Будь я таким, как Нутто, подумал я... Я пошел к Нутто, и он велел налить мне полный стакан — как музыканту.

Потом Сильвия нашла меня на лугу, я лежал возле жевавшего сено коня. Лежал и смотрел, как зажигаются в небе звезды. Вдруг я увидел ее веселое лицо, платье в цветах — она заслонила мне небо.

— Да он тут спит! — крикнула Сильвия.

Тогда я вскочил на ноги, но их ухажеры подняли шум, хотели, чтобы девушки остались подольше. Вдали, где-то за церковью, запели песню. Один из кавалеров вызвался проводить туда Сильвию с Иреной. Но другие барышни говорили:

— А как же мы?

Мы выехали, когда еще горели газовые фонари: медленно, в крошечной тьме спускались мы с горы, прислушиваясь к стуку подков. А хор за церковью все пел. Ирена укуталась в шарф, а Сильвия говорила без устали — о людях, которых они повстречали, о танцорах, о том, какое в этом году лето. Она у всех находила недостатки и не переставала смеяться. Потом они спросили меня, была ли там моя девушка. Я ответил, что был все время с Нутто, смотрел, как играют музыканты.

Сильвия понемногу притихла и положила мне голову на плечо, потом улыбнулась и спросила, не мешают ли она мне править. Я крепко держал в руках вожжи и смотрел прямо перед собой, на уши коня.

### XXXI

Нутто взял к себе в дом Чинто, чтоб обучить его столярному делу и музыке. Мы с Нутто договорились — если мальчишка окажется толковым, я со временем подыщу ему работу в Генуе. И еще договорились отправить его в Алессандрию, в больницу, пусть врач посмотрит ногу. Жена Нутто возражала, говорила, что в доме у них и без того много народу, одних работников сколько, да еще верстаки повсюду расставлены, одним словом, некогда ей с Чинто возиться. Мы ей объяснили, какой Чинто смысленный. Я отозвал его в сторонку, сказал, что здесь не то, что в Гаминелле — перед столярной мастерской дорога, полно машин, грузовиков, мотоциклов, гоняют в Канелли и обратно — пусть глядит по сторонам, когда дорогу переходит.

Значит, Чинто мы пристроили, а на другой день я должен был уехать в Генуе. Утро я провел в доме на Сальто. Нутто от меня ни на шаг.

— Значит, уезжаешь, — говорил он. — Не вернешься к сбору винограда?

— Может, снова двину за океан, — сказал я ему. — На тот год вернусь, к празднику.

Нутто по своему обыкновению сложил губы трубочкой.

— Мало ты побыл, — сказал он мне. — Так мы толком и не поговорили...

А я смеялся:

— Успел тебе нового сынишку подыскать!

Когда встали из-за стола, Нутто схватил пиджак и взглянул на вершину холма:

— Заберемся повыше. Там твои места.

Мы прошли через рощу, по мостику через Бельбо и очутились среди акаций на дороге, ведущей в Гаминеллу.

— Может, взглянем на дом? — спросил я. — Валино как-никак тоже был человек.

Мы поднялись по тропе. Увидели черный остов сгоревшего дома и за шпалерами винограда — ореховое дерево, теперь оно казалось огромным.

— Только виноградник и сохранился, — сказал я. — Стоило Валино стараться, подрезать лозу... Река, с которой Валино воевал за каждый клочок земли, возьмет теперь свое.

Нуто молчал и разглядывал двор, заваленный камнями, весь в пепле. Я побродил среди развалин, даже вход в винный погреб не найти, везде обломки. У берега чирикали воробьи, безнаказанно клевавшие виноград.

— Съем-ка я инжир, теперь все равно никому убытку не будет.

Сорвал и почувствовал давно мне знакомый аромат.

— Хозяйка виллы вырвала бы у меня этот инжир изо рта, — сказал я.

Нуто молча глядел на холм.

— Теперь и эти мертвы, — сказал он. — Сколько народу перемерло с тех пор, как ты покинул Мору.

Тогда я уселся на бревнышке, все на том же бревнышке, и сказал ему, что все покойники на свете не заставят меня позабыть о дочерях дядюшки Маттео.

— Ну, пусть Сильвия, она хоть дома умерла. Но Ирена? Связаться с этим негодяем... Испытать такое... И кто знает, как умерла Сантина?..

Нуто подкидывал на ладони камешки и поглядывал на вершину холма.

— Хочешь, заберемся на самую вершину Гаминеллы? — сказал он. — Пошли, отсюда недалеко.

Мы двинулись; Нуто шагал впереди меня между рядами лоз.

Я узнавал эту иссохшую, побелевшую от зноя землю; ноги скользили по траве, в воздухе стоял терпкий запах трав, цветов и зреющего на солнце винограда. Небо прорезали длинные полосы, ветер гнал белесую пену облаков, будто в небе лился расплавленный металл, прочерчивая Млечный Путь к звездам. Я думал о том, что завтра буду на виа Корсика, и вспомнил в эту минуту, что море тоже бороздят полосы течений и что еще мальчишкой, вглядываясь в облака и в звезды на небе, я, сам того не зная, уже начал свои странствия.

Нуто дождал меня на гребне холма и, когда я подошел, сказал:

— Ты Санту не видел, когда ей исполнилось двадцать. А стоило, право же, стоило поглядеть. Она была красивей Ирены, глаза, как два темных цветка... Но оказалась сухой, подлой сухой...

— Неужто и вправду так? — Я остановился и взглянул на долину. В молодости я сюда ни разу не забирался. Вдали можно было разглядеть даже дома Канелли и вокзал, а справа темнела роща Каламандрана. Я понимал, что Нуто вот-вот все мне расскажет, и почему-то вспомнил о празднике в Буон Консильо.

— Был я там однажды с Иреной и Сильвией, — начал я. — Запрягли коляску. Я совсем еще был молодым. Оттуда видны были самые дальние деревни, усадьбы, дворики, каждое пятнышко. Были скачки, и все мы, казалось, помешались... Теперь я даже не помню, кто победил, помню только усадьбы по склонам и платье Сильвии, розово-фиолетовое, в цветах...

— Санта тоже, — сказал мне Нуто, — однажды поехала со мной на праздник в Буббио. Был такой год, когда она ходила на танцы, только когда я играл в оркестре... Тогда еще была жива ее мать... Тогда они еще не покинули Мору... Он обернулся ко мне. — Пойдем? — И снова повел меня в гору. Временами он оглядывался по сторонам, искал дорогу. Я думал о том, что все повторяется. — перед глазами у меня был Нуто, который правил коляской, отвозил Санту на праздник. Как я когда-то возил сестер.

Среди туфа над виноградниками показался первый грот — один из тех, где обычно хранят мотыги, а если там родник, то в тени над водой растут бледные цветы. Мы прошли мимо чудосочного виноградника, заросшего папоротником и маленькими желтыми цветками с жестким стеблем, — растут они в горах, и я знал, что стоит их только хорошенько разжевать и приложить к ссадине — сразу заживет. А тропа вела все выше и выше по склону холма: мы миновали уже не одну усадьбу, ушли далеко от жилья.

— Ну что же, — вдруг сказал Нуто, не поднимая глаз, — отчего же не рассказать тебе, как ее прикончили? Ведь я знаю, я был при этом.

Он зашагал почти ровной дорожкой, огибавшей гребень холма. Я ничего ему не ответил, ждал, что он сам скажет, глядел себе под ноги и поднимал голову, только когда вспархивала птица или пролетал майский жук.

Было время, начал Нуто, когда он приходил в Канелли, шел по ее улице и глядел вверх — занавешены окна или нет. Люди многое болтали. На Море тогда уже жил Николетто, Санта его терпеть не могла и тотчас же после смерти матери сбежала в Канелли, сняла себе комнату, стала учительствовать. Но такой уж была Санта, — вскоре она нашла себе работенку в доме фашио<sup>1</sup>, и пошел слух, что она путается то с майором чернорубашечников, то с фашистским подестой, то с секретарем фашио, словом, со всей этой сволочью — все они у нее перебивались. Ей бы, такой красивой и ладной, разъезжать на машине, блистать на ужинах в виллах, в господских домах, отдыхать на водах в Акви, а она окружила себя этими мерзавцами.

На улице Нуто старался ее обходить, но всегда поднимал глаза к занавескам, когда проходил под ее окнами. Потом настало лето сорок третьего, сладкая жизнь кончилась и для Санты. Нуто по-прежнему бывал в Канелли, разведывал и передавал партизанам сведения, но больше не поднимал кверху глаз, проходя мимо ее дома. Говорили, что Санта сбежала в Алессандро с офицером-чернорубашечником.

Потом пришел сентябрь, вернулись немцы, вернулась война. Солдаты, переодетые в гражданское, босые, голодные, расходились по домам, чтобы скрыться. По ночам фашисты не переставали стрелять, люди говорили: «Так и знали, что этим кончится». Однажды Нуто услышал, что Санта вернулась в Канелли, что она снова работает в доме фашио, пьянствует и спит с чернорубашечниками.

### XXXII

Нет, он не поверил. Он не верил до самого конца. Однажды он встретил ее на мосту, она возвращалась со станции. Санта была в серой шубке, раскрасневшаяся от мороза, в ботинках на меху, глаза ее весело искрились. Она его остановила:

— Как дела в Сальто? Ты по-прежнему играешь в оркестре?.. О Нуто, я боялась, что и тебя отправили в Германию... Им там, должно быть, скверно приходится... Твоих не трогают?

В те времена пройти по улицам Канелли было делом опасным. Повсюду патрули, немцы. Да и такой девушке, как Санта, не стоило заговаривать на улице с простым деревенским парнем. У Нуто в тот день было беспокойно на душе, и он отвечал ей только «да» и «нет».

Потом он снова встретился с ней в кафе «Спорт», она сама вышла на улицу и пригласила его войти. Нуто пристально вглядывался в лицо каждого нового посетителя, но то было спокойное, солнечное воскресное утро — в такое утро люди ходят в церковь.

— Ты меня знал, когда я была вот такой, — говорила Санта, — ты мне должен верить. В Канелли есть скверные люди. Будь их воля, они бы меня на костре сожгли... Им по душе, если девушка коротает свой век, как дура. Они бы хотели, чтоб я, как Ирена, целовала руку, которая меня бьет. Но я не из таких, я горло перегрызу тому, кто на меня руку поднимет. Ох, уж эти людишки, из них и негодяев-то настоящих не выйдет..

Санта курила сигареты, которых в Канелли нельзя было достать, она и его угостила.

— Бери, — сказала она, — возьми себе все, у вас там, в горах, должно быть, много курильщиков без табака... Сам видишь, что получилось, — говорила Санта, — оттого, что я сдуру кое с кем здесь водилась, даже ты отводишь глаза, когда встречаешь меня на улице. А ведь ты знал мою маму, знаешь меня... Ты меня на праздник возил... Думаешь, мало мне зла причинили подлецы, которые здесь раньше хозяйничали? Но я должна жить среди них, есть их хлеб, потому что я всегда жила своим трудом, меня никто не содержал... Если б я только могла сказать все, что думаю, что у меня накипело на сердце!..

<sup>1</sup> В местной организации фашистской партии.

Санта говорила ему все это за мраморным столиком в кафе; она глядела на Нуту без улыбки, у нее, как у сестер, были влажные, обиженные глаза, нежные, зовущие губы. Нуту с ней долго говорил, чтоб понять, лжет она или нет, даже сказал ей, что в такие времена надо на что-то решаться, быть по одну или по другую сторону, и что он, Нуту, сделал свой выбор: он с теми, кто бросил фашистскую армию, он с патриотами, он с коммунистами. Ему бы сказать ей, чтоб она вела для них разведку в штабах, но он не посмел подвергать такой опасности женщину, да еще такую, как Санта, об этом он и подумать не мог.

А вот Санта подумала и передала Нуту уйму сведений — о переброске войск, о штабных инструкциях, о разговорах, которые вели фашисты. Как-то она дала ему знать, чтобы он в тот день не приходил в Канелли — опасно! И на самом деле, немцы в тот день устроили облаву на площадях и по кафе. Санта говорила, что ей ничто не угрожает, что ее прежние знакомые, всякая сволочь, сами приходят, чтоб излить ей душу; ей было бы тошно их слушать, если бы она не думала о том, какую пользу полученные от них сведения могут принести патриотам. В то утро, когда чернорубашечники расстреляли под платаном двоих ребят и бросили их там, как собак, Санта на велосипеде добралась до Мору, а потом наведлась в дом на Сальто, чтобы поговорить с матерью Нуту. Она сказала ей, что, если в доме у них хранится ружье или пистолет, лучше зарыть их в песок у реки. Через два дня пришли чернорубашечники и перевернули вверх дном все в доме.

Настал день, когда Санта взяла Нуту под руку и сказала ему, что больше так жить не может. На Мору вернуться нельзя: жить в одном доме с Николетто невыносимо, а продолжать работу в Канелли после этих расстрелов опасно. Она просто боится потерять рассудок: если тотчас же не кончится эта жизнь, она сама возьмет пистолет и кого-нибудь застрелит. Ей лучше знать кого — может, и себя.

— Я бы тоже ушла в горы, — сказала она Нуту. — Но как быть — меня пристрелят в первую же минуту. Все знают, что я водилась с фашио.

Тогда Нуту устроил ей встречу с Бараккой. Ему он рассказал обо всем, что она для них сделала. Баракка слушал, глядя себе под ноги. Ей он сказал только одно:

— Возвращайся в Канелли.

— Да нет же... — возразила Санта.

— Возвращайся в Канелли и жди приказаний. Мы передадим их.

Через два месяца — это было в конце мая — Санта бежала из Канелли; ее предупредили, что ее вот-вот схватят. Хозяин кинотеатра рассказал, что немецкий патруль устроил у нее обыск. В Канелли об этом все говорили. Санта удрала в горы к партизанам. Нуту теперь от случая к случаю узнавал о ней от тех, кто ночью приходил к нему, чтоб передать новое задание. Все говорили, что она управляется с оружием не хуже мужчины и заставляет себя уважать. Не будь старушки мамы и дома, который могли поджечь, Нуту сам отправился бы в отряд, чтоб помочь ей.

Но Санта в помощи не нуждалась. Когда в июне фашисты прочесывали горы и на этих тропах погибло много партизан, Санта всю ночь оборонялась вместе с Бараккой в одной усадьбе за Сунергой. Она сама вышла из укрытия и крикнула фашистам, что знает их всех как облупленных и никого не боится. Наутро ей вместе с Бараккой удалось бежать.

Нуту рассказывал тихим голосом, то и дело останавливаясь, озираясь по сторонам. Он глядел на стерню, на опустевшие виноградники, на склон холма.

— Вот здесь пройдем, — говорил он.

Место, куда мы с ним сейчас забрались, из долины даже не разглядеть; отсюда в дымке тумана все кажется маленьким и далеким. А вокруг лишь крутые склоны, вершины.

— Ну, мог бы ты подумать, что холм Гаминелла такой большой? — спросил он.

Мы остановились у какого-то виноградника, в ложбинке, защищенной от ветра акациями. Здесь стоял полуразрушенный дом с почерневшими стенами. Нуту отрывисто сказал:

— Тут были партизаны. Усадьбу сожгли немцы. Однажды вечером за мной в Сальто пришли двое вооруженных ребят, я знал обоих. Мы прошли той же дорогой, что сегодня. Добрались сюда уже ночью; они сами не знали, чего от меня хочет Баракка. Когда мы проходили мимо усадеб, слышен был только лай собак, люди не показывались, огня не зажигали, — знаешь, как бывало в те времена. Непокойно было у меня на душе.

В одной усадьбе под портиком горел огонь. Во дворе стоял мотоцикл, прямо на земле лежали одеяла. Ребят там было немного. Лагерь у них был вон в том лесу, пониже.

Баракка сказал, что позвал его, чтоб сообщить дурные вести. Есть доказательства, что Санта шпионка, что она руководила июньской облавой, что она выдала Национальный комитет освобождения в Ницце, раскрыла немцам, где партизанские склады, что ее записки передавали в дом фашио. Баракка, бухгалтер из Кунео, человек решительный, побывавший и в Африке, понапрасну слов не тратил... Его потом чернорубашечники все-таки схватили и повесили у своей казармы... Он сказал Нуто, что только одного не понимает — отчего Санта оборонялась вместе с ним до конца в ту ночь, когда была облава. «Должно быть, оттого, что ты уж очень ей по вкусу пришелся», — ответил Нуто, но сам он был в отчаянии, и голос у него дрожал. Баракка ему сказал, что Санта с кем только не путалась. Значит, и это было. Почувяв опасность, она нанесла свой последний удар — удра-ла и увела с собой двух лучших ребят. Теперь речь шла о том, чтоб схватить ее в Канелли. Был уже письменный приказ.

— Баракка продержал меня здесь, в горах, трое суток — то ли хотел мне душу излить в разговорах о Санте, то ли опасался, как бы я не встрял в это дело. Однажды утром Санту привели партизаны. Теперь на ней не было куртки и брюк, которые она носила все эти месяцы. Из Канелли она выбралась в светлом летнем платье. Когда партизаны задержали ее на холме Гаминелла, Санта сделала вид, будто с луны свалилась. Она, мол, принесла с собой сведения о новых фашистских приказах. Но ей ничего не помогло. Баракка при всех предъявил ей счет — сколько дезертировало по ее наущению, сколько складов мы потеряли, сколько ребят из-за нее погибло. Санта слушала, сидя на стуле, — отвечать ей было нечего. Она глядела на меня своими обиженными глазами, старалась встретиться со мной взглядом... Тогда Баракка объявил ей приговор и велел двоим вывести ее. Казалось, ребята были поражены больше самой Санты. Они всегда видели ее в перетянутой ремнем куртке и не могли привыкнуть к тому, что теперь у них в руках женщина в светлом платье. Они вывели ее из дому. На пороге она обернулась, пристально взглянула на меня и скорчила гримасу, как девочка... Но со двора попыталась бежать. Мы услышали крик, топот ног и очередь из автомата, которая, казалось, никогда не кончится. Вышли и мы — она лежала на траве под акациями.

У меня перед глазами в ту минуту был Баракка, один из многих повешенных. Глядя на растрескавшуюся черную стену, я спросил у Нуто, здесь ли похоронена Санта.

— Может, и ее когда-нибудь найдут, как тех двоих?..

Нуто сел на каменную изгородь. Он покачал головой:

— Нет, Санту не найдут. Такую женщину, — он пристально взглянул на меня, — нельзя было зарыть в землю и бросить. Ее слишком многие помнили. Баракка обо всем позаботился. Он велел нарубить сухой лозы и завалить ее тело сучьями. Потом мы облили сучья бензином и подожгли. К полудню остался один пепел. Еще в прошлом году был виден давний след костра.

*Перевел с итальянского Г. Брейтбурд.*

---

---

# ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

КОНСТАНТИН СИМОНОВ

★

## ЧИТАЯ ТОЛСТОГО...

*(К столетию со дня выхода «Войны и мира»)*

В книжном магазине Ивана Григорьевича Соловьева, на Страстном бульваре, в доме г. Алексева, поступил в продажу только что отпечатанный том VI *Война и Мир*. Сочинение графа Л. Н. Толстого. М. 1869 г. Цена 2 р. с перес. 2 р. 30 к.

Там же продаются:

*Война и Мир*. Соч. графа Л. Н. Толстого, 2-е издание. М. 1868—69 г. Цена за все шесть томов 10 р. сер. и с пересылкою.

Гг. иногородные благоволят относиться по вышеозначенному адресу в Москву, на имя И. Г. Соловьева.

*(«Московские ведомости», № 264, 1869.  
Четверг, 4 декабря)*

**М**ысль, что о «Войне и мире» все уже сказано, любого может поставить в тупик. И, пожалуй, единственно возможный выход из этого тупика: не пытаюсь открывать Америк, просто поделиться с читателями мыслями и чувствами, возникающими у человека моего поколения и судьбы, который впервые прочел «Войну и мир» в юности, а в последний раз сейчас, на шестом десятке.

Между этими двумя чтениями было и несколько других в разные годы — и молодые, и уже немолодые. А главное — была война, которую во всем мире называли второй мировой, а у нас — Великой Отечественной, повторив название той войны 1812 года, о которой писал Толстой.

Прилагательное «отечественная» перед словом «война» означает, что в народном сознании это была такая война, где речь шла не просто о тех или других действительных или мнимых государственных интересах, а о самом существовании — о гибели или спасении отечества.

В России никому не приходило в голову связывать со словом «отечество» другие европейские войны начала девятнадцатого века, в которых участвовали русские войска, скажем, итальянский и альпийский походы Суворова или кампании 1805—1807 годов.

Но война 1812 года, составляющая сердце романа «Война и мир», была названа «Отечественной». И когда спустя сто тридцать лет в истории России вновь возникли обстоятельства, возродившие слова «отечественная война», то роман «Война и мир» прожил в нашем сознании как бы вторую жизнь.

При всей своей гениальности, он все же никогда еще не имел такого прямого действия на сознание русского читателя, как в полные и траги-

ческих и героических ассоциаций годы второй для нас Отечественной войны. Роман остался таким же, каким и был, но сама история как бы подошла к нему вплотную и из романа, написанного о прошлом, сделала роман, заглянувший в будущее.

Вот почему для моего поколения, увидевшего немцев у ворот Москвы и у стен Сталинграда, чтение «Войны и мира» в тот период нашей жизни стало навсегда запомнившимся потрясением, не только эстетическим, но и нравственным. Это была книга, которая отвечала нам на самые прямые вопросы времени: что есть действительная храбрость и действительная трусость? Кто, какие люди представляют собою действительные пружины войны и кто—пружины мнимые? И, наконец, главное: сумеем ли мы сокрушить тех, кто дошел до Москвы, а потом и до Волги. Да или нет?

И при всей своей внутренней сложности и отсутствии готовых рецептов человеческого поведения, именно «Война и мир» стала в годы войны той книгой, которая самым прямым образом укрепляла дух сопротивления, охвативший страну перед лицом иноземного нашествия. В данном случае — фашистского.

Я бы добавил, что «Война и мир» сама была как бы осязаемой частью этого духа. Во всяком случае для многих из нас, для меня в том числе.

Косвенное отражение того, какое духовное значение получил в ту эпоху роман Толстого, можно увидеть в тех, порой вызывавших невольную улыбку прямых требованиях, с которыми сразу после войны начали адресоваться многие читатели не к тому или другому из нас, а ко всей литературе в целом: «Создайте новую «Войну и мир»!»

Требования, разумеется, неисполнимые, потому что книги, подобные «Войне и миру», дважды не создаются. Но за этими наивными по форме требованиями стояла очень серьезная суть: сознание неразрывной связи между романом, написанным в шестидесятые годы прошлого века, и войной, хлынувшей через наши границы в сороковые годы этого века, и неутоленная духовная потребность успеть при жизни прочесть «о себе», то есть об участниках этой войны, нечто написанное с такою же силой правды, с какой Толстой написал «о них» — об участниках той Отечественной войны, того 1812 года. Эти требования продолжают звучать и сейчас, когда прошло уже четверть века после войны.

«Война и мир» была первой книгой, которая приходила нам на память тогда, на войне. А сейчас, наоборот, война — первое, что вспоминаешь, когда много лет спустя вновь перечитываешь «Войну и мир».

Однако навеки мысленно привязать в своем сознании эту книгу только к собственным воспоминаниям о войне значило бы все-таки преуменьшить и ее роль, и широту ее влияния на твою нравственную жизнь.

Каким был Толстой, когда он начинал писать «Войну и мир»? На наше сознание все-таки очень давят последние годы Толстого, его облик мудрого старца с длинной седой бородой, его старческие руки, мирно заложенные за поясок рубашки, его духовные проповеди, толстовство, непротивление злу...

И надо сделать известное усилие над собой, чтобы этот позднейший, обманчиво мирный стариковский облик не накладывался по закону обратной инерции на тот действительный облик тридцатипятилетнего Толстого, задумавшего и начавшего писать «Войну и мир», Толстого, засучившего рукава, чтобы схватиться один на один со своим огромным, похожим на многоглавого дракона замыслом «Войны и мира», Толстого, засаживающего себя на десятки тысяч часов за писание всех этих черновиков и беловиков, всех этих отброшенных, перемененных, переписанных наново вариантов...



Толстой той поры еще молод, не седобород, силен, ловок, способен под горячую руку вызвать к барьеру. Он еще не так давно вышел из военной службы, и она владеет многими его воспоминаниями и привычками. Он задумывает «Войну и мир», не так давно перешагнув за тридцать, и ставит точку, когда ему едва перевалило за сорок. Пока он пишет роман, у него один за другим рождаются дети, а вокруг его поместья, после освобождения крестьян, все сильнее и сильнее начинает переворачиваться весь патриархальный уклад русской крестьянской жизни.

Толстой начинает писать «Войну и мир», когда в Польше вспыхивает беспощадно подавленная царской властью освободительная война. Он еще не дописал романа, когда Каракозов впервые стреляет в царя. Шестидесятые годы прошлого века в России, казалось бы, совсем не время для того, чтобы писать исторические романы. И некоторые критики еще будут потом упрекать Толстого в его далекости от живых интересов времени...

В шестидесятые годы в России происходит очень многое, хотя к концу их выясняется, что произошло все же гораздо меньше, чем ждали. А Толстой все сидит и пишет свой исторический роман.

Исторический? Меня всегда занимал вопрос, почему Толстой, прослужив почти пять лет в армии, приняв участие, как тогда говорили, во многих «делах» на Кавказе, побывав и на Дунайском и на Крымском театре военных действий, в осажденном Севастополе — словом, пройдя через целую войну, достаточно существенную в судьбах России, отмеченную и позорными поражениями, и героическими подвигами, — почему он остановился как вкопанный на «Севастопольских рассказах» и ничего больше не написал об этой войне?

Я знаю, что существует достаточно много всяких объяснений этому, но меня все равно интересует состояние Толстого, когда он, всего через несколько лет после Севастополя, садится за роман не об этой, лично им пережитой, а о другой войне. И как бы перешагивая через собственный жизненный опыт, заглядывает на пять десятилетий назад, в ту войну и в тот мир, которые были, когда его еще не было.

И чем бы ни было вызвано это решение, мне ясно одно: оно было решением огромной трудности для человека, только что пережившего войну.

Перешагнуть через такой жизненный опыт, каким был опыт Толстого в Крымской войне, не выразив и не переработав его в книгах, было невозможно. Мне по крайней мере кажется, что Толстой не мог написать «Анну Каренину» сначала, а «Войну и мир» потом. Это было бы насилием над собой.

Однако спрашивается, может быть, Толстой, остановившись на «Севастопольских рассказах» и положив себе как бы внутренний запрет писать дальше впрямую о собственном жизненном опыте на войне, тоже совершил некое насилие над собой?

Не берусь утверждать, но мне почему-то кажется, что известное насилие над собой существовало. Думаю, что в жизненном опыте Толстого, почерпнутом из Крымской войны, было и нечто такое, чего он не мог высказать в романе, и нечто такое, чего он не хотел высказывать. А еще точнее: и не мог и не хотел.

Живой среди живых военных и политических деятелей николаевской эпохи, после смерти Николая в большинстве своем так или иначе шагнувших в следующее царствование, Толстой не мог писать роман о войне, называя даты сражений и имена людей, ответственных за поражение России. Назвать в романе всех своими именами и сказать о них все, что думал Толстой, было просто-напросто невозможно.

А с другой стороны, было в только что минувшей Крымской войне и нечто такое, что делало для Толстого и нравственно невозможным писать роман о ней. Эта война, завершившаяся тягостным миром, была, если брать ее в целом, политическим и военным позором для России как для государства. И мне кажется, что Толстой — с его страстной натурой, с его патриотизмом, с его дворянским и военным воспитанием, с его глубочайшей чувствительностью к национальному унижению — не только не мог, но и не хотел взять предметом изображения романа такую позорную для России войну.

А вынуть из этой войны только героическое, отбросив все остальное, вынуть из ее общего хода только героизм защитников Севастополя и только на нем и сосредоточить все свое внимание, значило бы прикрыть грехи тех, кто был непричастен к героизму Севастополя, но ответствен за его падение. То есть значило бы для Толстого сделать именно то, чего хотели бы от него и вообще от литературы все, кто был виновен в поражении России; все, кто не хотел понять, что тридцать лет николаевского режима, да и последний период александровского царствования вполне закономерно привели Россию к поражению в этой войне.

Однако опыт пережитого на войне продолжал довлеть над Толстым. И как бы ни замышлялась первоначально «Война и мир», — а о том, как не похоже она замышлялась, написаны целые книги, — в результате из-под пера Толстого все-таки вышел роман, сердцем которого стала война двенадцатого года, а сердцем сердца — Бородино. Я знаю, что выразился неграмотно, но чтобы точно выразить свою мысль, так и не нашел другого оборота.

Постойте, как же так? А Наташа, а Пьер, а князь Андрей? Разве, если уж употреблять этот странный оборот речи, каждый из них не есть сердце сердца «Войны и мира»?

Да, разумеется, конечно, — каждый из них! Кто ж тут посмеет спорить? И Пьер, и Наташа, и князь Андрей, и вся семья Ростовых, и старший князь, и княжна Марья, и Элен, и Долохов, и Денисов — все эти люди и есть то самое главное, без чего роман «Война и мир» не существует в благодарном сознании человечества.

И если бы всех этих людей не было в романе, то не представлял бы интереса и вопрос о том, как и почему опрокидывал Толстой свой собственный военный опыт Крымской войны туда, назад в наполеоновские войны?

Мало ли кто в разные времена, имея за плечами опыт войны, потом брал или пытался брать перо в руки! Весь этот жизненный опыт начинает иметь существенное значение для литературы, лишь когда в результате его один человек, штатский, в нелепой белой шляпе, попадает на Бородинское поле и, глядя на толпы носилок, думает: «Нет, теперь они оставят это, теперь они ужаснутся того, что они сделали!» — а другой человек, военный, в полковничьем мундире, глядя на траву и на струйку дыма, выходящую от вертящегося черного мячика, думает: «Неужели это смерть?»

Сам по себе жизненный опыт того, кто берется за перо, всегoнашего трамплин для прыжка в неизвестность. И он приобретает интерес и значение для читателей, лишь когда результат этого прыжка в неизвестное уже известен. Когда уже появились на свет и Пьер, и князь Андрей, и все другие люди, которые и есть «Война и мир» в ее конечном и главном человеческом выражении.

Эти люди и для меня — самое главное и дорогое в книге. Дорогое — хотя бы уже потому, что они для меня не просто люди, а как бы хорошие и дурные куски самого меня, моей собственной души и моего

собственного существования, каким-то непонятным мне чудом сто лет назад угаданные в других людях. И то совершенство, с каким Толстой даже не написал — это не то слово, — а вlepил, впечатал всех этих людей в жизнь, — для меня уже много лет такая неоспоримая данность, что даже как-то странно заново размышлять об этом. Лучше сказать о том, о чем я действительно думаю, еще раз перечитав «Войну и мир».

Когда я сказал, что Толстой, изображая войну 1805-го, а затем 1812 года, как бы опрокинул в прошлое свой собственный военный опыт, я не имел в виду тот вид опрокидывания современности в прошлое, когда сводят счеты с современниками, переселяя их в глубь истории и выводя их под фамилиями других исторических лиц.

Толстой не сводил счетов с личностями. Но николаевскую эпоху он судил с той беспощадностью и точностью в анализе причин и следствий, которая присуща человеку, хорошо изучившему предмет своей ненависти. И презрение Толстого в «Войне и мире» к придворной и штабной суете, к этому питательному бульону для военных и штатских честолюбцев, и его насмешки надо всем нарочитым, картонно-патриотическим, будь то растопчинские афишки, или болтовня в петербургских салонах, или натужные речи плохо знающих русский язык генералов, изъясняющихся в любви к «матушке России», — все это лишь разные формы выражения ненависти писателя к тем казенным началам, которые не сумели взять верх в России в войну восемьсот двенадцатого года, но зато взяли в ней верх потом и в конце концов привели ее к тому краху в Крымской кампании, свидетелем которого стал Толстой.

Все здоровое и сильное, что существовало в разных слоях русского общества в эпоху наполеоновских войн, все, что в этом обществе было связано с пониманием, хотя бы и неполным, подлинных интересов нации, все, что, вопреки намерениям двора, вывело из небытия на историческую сцену Кутузова, а шире говоря, придало войне с Наполеоном народный характер, — все это имеет истоком своего изображения в романе не только исторические факты войны двенадцатого года, но и Севастопольскую оборону, участником которой был Толстой.

Нет нужды доказывать, насколько тесно собственный военный опыт Толстого лег в основание многих, если не большинства, военных описаний в «Войне и мире». Чтобы ощутить это, достаточно положить рядом «Севастопольские рассказы» и «Войну и мир».

Именно отсюда и Тимохин, и Тушин, и ощущения, испытываемые в бою не только Николаем Ростовым, но и Пьером, и князем Андреем.

Отсюда и знание того, как именно умирают люди и как еще дергаются руки и ноги у того, кто уже убит попаданием в голову, — это понадобится потом Толстому, когда он будет писать смерть Пети Ростова.

Отсюда и знание того, как выглядят военные госпитали и полевые лазареты, и как в них режут руки и ноги, и от какой раны и как именно угасает человек, и как пахнут раненые, и как пахнут убитые. Это тоже понадобится потом — и чтобы написать, как Наташа ходит за умирающим князем Андреем, и чтобы заставить самого князя Андрея вдруг подумать перед боем: «Возьмут меня за ноги и за голову и швырнут в яму, чтоб я не вонял им под носом».

Все это было известно Толстому по Севастополю. Но по его пребыванию и в Крыму, и на Балканах, и еще раньше — на Кавказе — ему было известно и многое другое, что, в общем, не нашло себе сколько-нибудь обширного места в «Севастопольских рассказах».

Говоря о Толстом, чаще подчеркивают, что он был артиллерийским офицером на бастионах Севастополя. Это так. И не будь он на этих севастопольских бастионах, он наверное не воскресил бы дух Бородин.

Но в военной биографии Толстого было и другое — он немало прослужил и при штабах. Он был аристократом и вдобавок даже родичем главнокомандующего Горчакова. При том беспощадном самоанализе, которым отличался Толстой, даже собственное привилегированное положение было использовано им как материал для многих сокрушительных страниц «Войны и мира», связанных с искусственной, в его глазах, жизнью штабов, где преуспевают такие люди, как Борис Друбецкой, и где постепенно сознают ложность своего положения такие люди, как Андрей Болконский.

Толстой был не только на бастионах Севастополя. Его знание войны — не только знание того, из чего может вырасти Бородино, но и знание того, откуда рождаются Аустерлицы.

Он опрокинул в прошлое оба этих своих знания, отсюда и полнота картины, в которой нашлось место и для того и для другого.

Кстати, о полноте картины: даже описывая Бородино, то есть именно тот момент в истории войны двенадцатого года, который Толстой с величайшей убежденностью считал началом гибели и Наполеона, и его великой армии, писатель отвергает попытки историков задним числом привести все факты в стройный, с их точки зрения, порядок и замечает, что сражение «произошло совсем не так, как, стараясь скрыть ошибки наших военачальников и вследствие того умаляя славу русского войска и народа, описывают его».

В интересах той же самой полноты картины Толстой именно перед этим сражением, которым он гордится как высшим проявлением народного духа, тем не менее вкладывает в уста князя Андрея слова о войне как о самом гадком деле в жизни: «А ежели война, как теперь, так война,— говорит князь Андрей Пьеру накануне Бородинской битвы.— И тогда интенсивность войск была бы не та, как теперь. Тогда бы все эти вестфальцы и гессенцы, которых ведет Наполеон, не пошли бы за ним в Россию, и мы бы не ходили драться в Австрию и Пруссию, сами не зная зачем. Война не любезность, а самое гадкое дело в жизни, и надо понимать это и не играть в войну. Надо принимать строго и серьезно эту страшную необходимость».

В конце шестидесятых годов прошлого века роман Толстого еще только завершался печатанием, а вокруг него уже бушевали страсти.

Писали самое разное, в том числе и беспощадно ругали. Писали, что тома очень тонки, а цена в семь рублей, назначенная за роман, безобразно дорога. Писали, что для автора не существует ни великого, ни малого и что он с одинаковым вкусом пишет о туалетах барышень, псовой охоте и страданиях русского солдата. Писали, что один критик, сказавший о «Войне и мире», что «наконец великое произведение кончено», — очевидно, шутит! Писали, что значение «Войны и мира» «свыше всякой меры раздуто и взмылено модой, легкомысленными критиками и легко увлекающейся массой читающей публики». Писали, что это вовсе никакой не роман. Словом, привыкая к существованию этого вдруг вдвинувшегося в литературу громадного, несоизмеримого с другими произведения, чувствовали себя растерянными.

Но впечатление, хочешь не хочешь, было оглушительное. В частности, роман произвел огромное впечатление на русских военных людей того времени. Конечно же, они ругали Толстого за фатализм, за уменьшение роли личности в истории вообще и личности полководца в частности. Ругали за неуважение к военной теории и военной науке, к планам и диспозициям. Сердились за оценку Наполеона, спорили с оценкой Кутузова и с толстовской теорией партизанской войны, уточняли неточности, действительные и мнимые. Но при всем этом большин-

ство военных критиков романа признавали огромное впечатление, которое произвела на них книга.

И в самом деле, сейчас, спустя век, читая эти статьи, чувствуешь, как военные критики Толстого спорят с ним по тем или иным вопросам как бы не извне, а изнутри романа. Они как бы затащены Толстым внутрь того огромного, предложенного им пространства, которое называется «Войной и миром», и там, внутри дома, уже построенного Толстым, обсуждают, как выглядит он, этот дом, что в нем не так и не эдак, что сделано неразумно, неправильно, наперекос. Но все равно они как читатели обитают именно в этом доме и уже не могут жить в другом. Толстой уже навязал им и свой Аустерлиц, и свое Бородино. И хотя Бородино и Аустерлиц Толстого не совсем такие, как им бы хотелось, но других уже нет, есть только эти.

«Война и мир» заканчивалась печатанием, когда передовая часть русской военной среды искала путей к военным реформам, которые обезопасили бы Россию от повторения жестоких уроков Крымской войны. Не удивительно, что наиболее думающие военные критики романа Толстого пристально анализировали те военные уроки, которые он давал.

Один из умнейших военных людей России того времени генерал Драгомиров посвятил разбору «Войны и мира» с военной точки зрения, в сущности, целую книгу. В этой работе, где Драгомиров не соглашался с большинством теоретических положений Толстого, он в то же время писал: «Вот вы думанные, но живые люди. Они мучаются, гибнут, действуют, лгут, делают великие подвиги и низко трусят — все это так, как настоящие люди, и потому-то они высоко поучительны. И потому-то достоин сожаления тот военный деятель, который не зарубит себе благодаря рассказу графа Толстого, как нерасчетливо приближать к себе господ вроде Жеркова, как зорко нужно приглядываться, чтобы увидеть в настоящем свете Гушиных, Тимохиных...»

Споря с военными теориями Толстого, Драгомиров не только считал, что теории теориями, а сама война написана у Толстого как нельзя более правдиво, но прямо призывал военных людей сделать из написанного Толстым свои нравственные выводы, касающиеся их собственной военной службы. И мне сейчас, спустя сто лет, эти рассуждения Драгомирова не кажутся ни прямолинейными, ни наивными.

Напротив, мне кажется, что они прямо вытекают из одной очень точно почувствованной Драгомировым особенности самого романа Толстого. Толстой писал, еще не остыв от Крымской войны. Он писал, вспоминая все, что было противно его душе и его образу мыслей в армии и в обществе, все, что, по его мнению, приводило к ошибкам и катастрофам. И я беру на себя смелость думать, что тогдашний тридцатипятилетний — сорокалетний, еще не остывший от войны Толстой, когда писал «Войну и мир», в числе уроков, которые он намерен был преподать своим читателям, имел в виду и урок войны двенадцатого года в сравнении с Крымской войной.

Я убежден, что он был отнюдь не чужд мысли напомнить русскому обществу о том, на каких путях и в каких нравственных условиях возникают Аустерлицы и на каких путях и в каких нравственных условиях рождается Бородино.

Толстой тех лет, когда он писал «Войну и мир», был глубоко и, пожалуй, в ту пору особенно равнодушен к историческим судьбам России как государства. Другой вопрос, что он по-иному смотрел на эти судьбы, чем те, кто управлял тогда Россией.

Размышляя в «Войне и мире» о войне 1812 года и последовавших за нею событиях, Толстой недвусмысленно отделил то, что входило в его

понимание справедливой, соответствующей народным интересам войны, от всего того, что выходило за эти пределы. Он изложил мотивы, по которым император Александр хотел продолжать войну после изгнания Наполеона из России, мотивы, по которым, руководимые уже не Кутузовым, а Александром, русские войска еще полтора года воевали в Европе и входили в Париж. Но, излагая эти мотивы и считая их совершенно логичными и для царя, и для управлявшего Россией царского окружения, сам Толстой ни в какой степени не разделял их. И без обиняков сказал об этом в последней части романа, прощаясь с Кутузовым.

Эти страницы «Войны и мира» звучат одновременно и как реквием Кутузову, и как прямое выражение собственных взглядов Толстого на то, где и когда кончилась та народная война 1812 года, о которой он писал, и где и когда началась та дальнейшая война, которой он не сочувствовал и о которой писать не собирался.

Говоря о том утре в Вильно, когда все собравшиеся у Александра офицеры из слов царя «поняли, что война не кончена», Толстой писал о Кутузове: «Один Кутузов не хотел понимать этого и открыто говорил свое мнение о том, что новая война не может улучшить положение и увеличить славу России, а только может ухудшить ее положение и уменьшить ту высшую степень славы, на которой, по его мнению, теперь стояла Россия».

И дальше, противопоставляя Кутузова Александру, добавлял: «Кутузов не понимал того, что значило Европа, равновесие, Наполеон. Он не мог понимать этого. Представителю русского народа, после того как враг был уничтожен, Россия освобождена и поставлена на высшую степень своей славы, русскому человеку, как русскому, делать больше было нечего. Представителю народной войны ничего не оставалось кроме смерти. И он умер».

Так кончает Толстой в «Войне и мире» тему Кутузова, а вместе с ним и тему народной войны.

Весь роман заканчивается через двадцать страниц после этого встречей Пьера и Наташи, но говорить о войне Толстой больше не хочет.

Он еще вернется к ней потом в философских главах своего эпилога, но в самом повествовании лишь упомянет ровно тремя строчками, что «Николай был с русскими войсками в Париже, когда к нему пришло известие о смерти отца. Он тотчас же подал в отставку и, не дожидаясь ее, взял отпуск и приехал в Москву».

Вот и все, что скажет дальше в своем повествовании Толстой о той войне, в которой, вплоть до самого взятия Парижа, участвовал один из трех главных его героев.

Толстой поставил точку именно там, где хотел. Он любил давать уроки своим читателям, а через них человечеству, и эта точка тоже была уроком. Он поставил эту многозначительную точку именно там, где война, необходимость которой он разделял, начинала становиться войной, необходимость которой он не разделял.

Добавлю, что, при всем своем писательском самоуправстве, Толстой как раз в этом вопросе близко сходился тогда во взглядах с лучшей частью современного ему русского общества.

Рожденная буржуазной революцией, наполеоновская Франция даже задним числом вызывала в России и огромную силу притяжения, и огромную силу отталкивания. И если в сознании русского общества Бородино, пожар Москвы, изгнание из России остатков великой армии сохранились как события, связанные с понятием национальной независимости и национальной гордости, то совершенно иные чувства в этом же самом обществе рождали события, последовавшие за падением Наполеона,— Венский конгресс, создание Священного союза и та полити-

ческая роль, которая была отведена в этом Священном союзе Российской империи.

В глазах этого русского общества Священный союз был связан не столько с необходимостью политического закрепления военной победы над Наполеоном, сколько с внутривластной идеей укрепления мощи российской монархии, а с нею и старых общественных порядков. Это был первый шаг к той николаевской эпохе, которая стала самым тяжелым периодом в истории России девятнадцатого века и в конце концов, на глазах у Толстого, привела ее к Крымской войне.

Трудно себе представить, чтобы роман «Война и мир» мог заканчиваться сочувственным описанием Венского конгресса или чтобы Толстой с тем же чувством, с каким он писал Бородино, захотел бы и смог написать въезд русского императора в Париж и восстановление Бурбонов.

Проблема оценки политических и военных целей с точки зрения совпадения или несовпадения их с волею народа соседствует в «Войне и мире» с проблемой роли личности в истории, проблемой власти и ее действительной или мнимой неограниченности.

Читая «Войну и мир» сейчас, через сто лет после того, как она была написана, пожалуй, стоит вспомнить, что тогдашняя Европа была Европой ограниченных и неограниченных монархий и даже Франция еще не стала вновь республикой. Она была еще Второй империей.

В этой Европе — не в пример будущему — право на неограниченную власть еще редко прикрывалось фиговыми листочками, а чаще заявлялось вполне откровенно, да еще с присовокуплением эпитета «священная».

Но Толстой именно тогда, в то время, писал в «Войне и мире», что ему «странны исторические описания того, как какой-нибудь король или император, поспорившись с другим императором или королем, собрал войско, сразился с войском врага, одержал победу...».

Или в другом месте, что, «несмотря на именованье друг друга величествами, высочествами и двоюродными братьями, все они чувствовали, что они жалкие и гадкие люди, наделавшие много зла...».

Или в третьем, что «для изучения законов истории мы должны изменить совершенно предмет наблюдения, оставить в покое царей, министров и генералов...».

Непримиримая желчь всех этих слов, по-моему, не до конца понятна, если читать их как адресованные только в прошлое, в эпоху наполеоновских войн. Конечно, их адрес и там, но отнюдь не только там. Толстой, как я уже говорил, не играет с историей и не признает эзопова языка. И все-таки, в более широком смысле, все эти слова адресованы отнюдь не только наполеоновской эпохе, но и России и Европе тех, шестидесятых годов, когда писалась «Война и мир».

На мой взгляд, с этим отчасти связано и то особое место, которое занял в «Войне и мире» Наполеон.

Пространственно это место вряд ли требует объяснений в романе, написанном об эпохе, которую в Европе называли эпохой наполеоновских войн.

Но та несомненная ярость, тот холодный по внешности, но страстный сарказм, с которыми Толстой в «Войне и мире» не столько писал, сколько судил Наполеона, наводят на размышления.

Толстой стремится доказать, что Наполеон — игрушка в руках истории, и притом не просто, а злая игрушка. По этому поводу с Толстым вступали в жестокие препирательства и критики, и историки, и военные теоретики в разных странах; не было недостатка в защитниках Наполеона от Толстого и у нас в России. Главным образом в том смысле, что

Наполеон был не игрушкой истории, а крупной исторической личностью и великим полководцем.

У тех, кто возражал Толстому, было достаточно аргументов. При всей власти толстовского обаяния, все же, читая роман, невозможно идти за Толстым до конца в оценке Наполеона как исторической личности. Для меня, например, Наполеон и после чтения «Войны и мира» все равно оставался великим полководцем, хотя тот саркастический анализ, к которому, следя за действиями Наполеона, прибегал Толстой, вся его неумолимая методика разоблачения приводили меня в восторг всякий раз, когда я перечитывал роман.

Перечитав «Войну и мир» еще раз, я думаю не о том, насколько справедлив или несправедлив Толстой к Наполеону, а о другом — о той ярости, с которой Толстой замахнулся на Наполеона.

Думаю, что причина этой ярости в том, что Толстой хотел непременно опрокинуть в своей книге господствовавшие в его время взгляды на роль личности в истории, на роль власти вообще и неограниченной власти в частности. А в ту эпоху, которую он избрал для своего повествования, в наполеоновскую эпоху европейской истории, все эти понятия наиболее очевидно сосредоточивались на личности Наполеона.

На эту личность и замахнулся Толстой. Сокрушить ее с наиболее уязвимой нравственной стороны показалось ему недостаточным. Он не остановился перед самым трудным, перед попыткой оспорить именно то, что все до него считали самым бесспорным — военный гений Наполеона.

Толстой вообще, когда страстно желал доказать что-либо, что он в тот или другой период своей жизни считал необходимым внедрить в людское сознание, не страшился доказывать это на самых опасных для доказательства примерах.

Когда он пришел к выводу, что искусство есть ложь и неправдоподобная выдумка, уводящая человечество от правды и добра, — он без колебаний замахнулся не только на Шекспира, но и на самого себя. Искусство от этого не пострадало, но поиски правды и добра в искусстве усилились.

А когда Толстой решил доказать, что великих людей вообще и великих полководцев в частности не существует, что они только придуманы другими людьми, и притом придуманы вопреки интересам человечества, он не дрогнул перед необходимостью доказывать это на примере Наполеона. Наполеон не перестал от этого оставаться в нашем сознании полководцем, но, последовательно сокрушая его с разных сторон, Толстой с такой силой обрушился на саму идею неограниченной власти и на безнравственность мнимого превосходства одного человека над всеми другими людьми, что и век спустя, читая эти гневные страницы «Войны и мира», чувствуешь всю мощь и нравственной высоты, и прозорливости Толстого.

А если вернуться к Наполеону, то мне хочется столкнуть между собой два места из двух очень разных книг.

Толстой, говоря в «Войне и мире» о дубине народной войны, которую в 1812 году, во время вторжения Наполеона, взял в руки русский народ, попутно делает упрек французам за то, что они в свою очередь не сделали того же самого, когда в 1813 году русские, пруссаки и австрийцы вторглись во Францию.

Я всегда почти наизусть помнил это место романа Толстого, начинающееся со слов: «И благо тому...» И вдруг недавно, читая «Жизнь Наполеона» Стендаля, наткнулся там как бы на прямой ответ Толстого, кончающийся словами: «Горе тому...»



«Все мы были уверены,— писал Стендаль о Франции 1814 года,— что стоит только показать французам красный колпак, и не пройдет шести недель, как он станет алым от крови всех чужестранцев, которые посмели бы осквернить священную землю свободы. Но властелин заявлял нам: «Лучше еще несколько поражений, чем снова власть народа!» И если бы он снова завладел империей — горе тому, кто вздумал бы послушаться этого приказа».

Как знать, может быть, эти давние слова Стендаля не так уж далеки не только от истины, но и от той нравственной оценки личности Наполеона, которой позже придерживался Толстой.

Мне остается сказать слишком многое. Поэтому остановлюсь и добавлю только одно.

Стремясь к высшей справедливости, Толстой бывал несправедлив и пристрастен. Он любил одних и терпеть не мог других. «Война и мир» полна его пристрастий и увлечений. Эту книгу писал не мудрец, а человек с необузданными страстями, и она вся в отголосках этих страстей.

Толстой любил Пьера не только за его доброту и душевную глубину, но и за те приступы необузданного праведного гнева, которые он описывал в романе всякий раз с наслаждением, как бы дав наконец волю и Пьеру, и себе самому.

И так же пристрастно, то и дело споря с самим собой, он любил или не любил и других своих героев. И мне кажется, что, не поняв этого, нельзя понять Толстого.

Я знаю, что есть люди, не читающие огромных философских отступлений Толстого, врывающихся в повествование и, в сущности, составляющих еще одну книгу внутри романа. Дело вкуса. Но для меня без этих ошарашивающих своей яростной полемичностью отступлений нет и «Войны и мира». Вернее, нет еще одного главного героя романа — самого Толстого тех шестидесятых годов, когда он писал свою великую книгу,— доброго, злого, страстного, увлекающегося, полного жизненных сил человека, мучительно и деятельно думавшего над тем, как жить дальше — ему, русскому обществу, вообще всем людям.



---

# ЛЕНИНСКИЕ СТРАНИЦЫ

А. БИРМАН

★

## САМАЯ БЛАГОДАРНАЯ ЗАДАЧА

**М**ожно лишь поражаться прозорливости тех, кто предложил утвердить строгую надпись «Ленин» на фронте Мавзолея. Действительно, любая попытка более подробно выразить величие и значение Ильича привела бы к обратным результатам — неминуемо оказалась бы суженной какая-либо сфера его деятельности, обойденной какая-либо грань. С каждым годом, с каждым десятилетием мы убеждаемся в этом все больше, какой бы области мы ни коснулись.

Вот и теперь: проводимая в нашей стране экономическая реформа, по единодушному мнению, представляет собой осуществление ленинских заветов в области экономики, развитие ленинских принципов хозяйствования в условиях создания материально-технической базы коммунистического строя, — необходимое на новом этапе оружие партия берет из арсенала ленинизма. Каждый раз, решая кардинальные проблемы строительства коммунизма, партия советуется с Лениным.

I

...для успешного управления необходимо, кроме умения убедить, кроме умения победить...  
умение практически организовать.

*В. И. Ленин.*

Разумеется, немислима попытка в одной статье коснуться всех вопросов, разработанных Лениным даже применительно к народному хозяйству. Ограничимся одним из них — организацией управления народным хозяйством, памятуя, что данную сферу Ленин считал самой трудной во всей области управления. Многократные указания Владимира Ильича относительно того, что управление после обобществления средств производства есть прежде всего воздействие на экономические отношения, общеизвестны, нет нужды их приводить вновь. «И это — самая благодарная задача, ибо лишь после ее решения (в главных и основных чертах) можно будет сказать, что Россия стала не только советской, но и социалистической республикой».

Выбор для рассмотрения данной проблемы не случаен. Мы глубоко убеждены в том — и попытаемся убедить читателя, — что дальнейшее совершенствование организации управления экономикой представляет собой то звено, ухватившись за которое мы быстрее и эффективнее двинем все дело хозяйственной реформы, так как затруднения, ощущаемые в ходе реформы, вызваны прежде всего и больше всего нерешенностью ряда проблем, относящихся к управлению. «С сожалением приходится отмечать, что львиная доля потерь на предприятиях, строй-

ках связана с недостатками в управлении», — пишет в «Известиях» от 20 августа с. г. (№ 195) первый секретарь Омского горкома КПСС В. Демченко.

В документах Пленумов ЦК КПСС и XXIII съезда партии подчеркивается, что суть реформы — в выдвижении на первый план экономических методов руководства народным хозяйством. К ним, как известно, относятся: прибыль; материальные поощрения и санкции; самофинансирование потребностей расширенного воспроизводства предприятиями из ресурсов, накопленных в результате хозяйственной деятельности; воздействие на предприятия через тарифную систему, цены, процентные ставки, через методы финансирования и кредитования и др.

Но пришлось ли, проводя реформу, менять что-либо в экономической природе этих категорий, в отношениях собственности, во взаимоотношениях социалистической экономики с экономикой капиталистических стран? Нет. Все осталось неизменным, неизменяемым. Сегодня, как и прежде, денежные накопления наших предприятий состоят из прибыли и налога с оборота, выражающих стоимость прибавочного продукта, созданного в процессе производства. Незыблемы основы оплаты труда, ценообразования, монополия внешней торговли, обобществление средств производства.

Что же преобразила реформа? Методы использования экономических рычагов. Потому в партийных решениях экономическая реформа и характеризуется как новый подход к управлению народным хозяйством, новые способы решения одной и той же задачи — строительства коммунизма.

Акцент на проблемы управления может вызвать возражения, сводящиеся к тому, что экономические отношения, интересы мы заменяем вопросами организационными, чуть ли не административными. Но так ли понимал Ленин управление народным хозяйством? Он писал: «Главное, чего нам не хватает, — культурности, умения управлять». И далее: «10—20 лет правильных соотношений с крестьянством и обеспечена победа в всемирном масштабе». И далее: «Никто не может нас погубить, кроме наших собственных ошибок».

Итак, имеются все необходимые предпосылки, чтобы построить социализм; имеется возможность, которую предстоит превратить в действительность. Для этого необходима правильная политика партии и Советского государства, правильные действия партийных организаций и государственных органов, без чего самые лучшие намерения так намерениями и останутся. Иначе говоря, как писал Ленин, необходимо, отвоевав Россию, ею управлять.

Что же конкретно вкладывает В. И. Ленин в понятие управления?

За последние пять—семь лет в нашей стране достигнуты значительные успехи в развитии науки об управлении. Она признана «законорожденной». Включены в научный оборот довольно богатые и интересные, хотя во многом наивные и устаревшие, разработки двадцатых и начала тридцатых годов. По-деловому изучается зарубежный опыт. Появились кафедры и научные советы, занимающиеся проблемами сбора и использования информации, организации делопроизводства. При некоторых вузах созданы так называемые «деловые школы» — факультеты, призванные готовить администраторов в области экономики, начинается научная разработка основ штатного дела, иерархии управленческих органов. Очень многообещающе, хотя еще далеки от практического внедрения, различные автоматические системы управления (АСУ).

Невозможно переоценить значение этой работы и назвать все направления эффекта, который она, несомненно, даст в ближайшем будущем. Беда лишь в том, что энтузиасты-«управленцы» к перечисленным делам сводят все ленинское наследие в области управления, что — как мы попытаемся показать — приносит практический ущерб.

Но сперва выясним: придавал ли организатор Советского государства значение этой, так сказать, административно-технической стороне проблемы управления?

Громадное! Десятками можно назвать выступления — от речей до кратких записок, — посвященные борьбе с волокитой, установлению контроля за выполнением поручений, личной ответственности работников за порученное дело и т. д. и т. п. Вряд ли где еще так беспощаден стиль, безграничен гнев, неумолима ирония, как при столкновениях с расхлябанностью, безответственностью, казенным равнодушием! Во всех этих явлениях Ленин усматривал не только личные недостатки тех или иных людей, но и возможную форму сопротивления революционным преобразованиям, форму саботажа со стороны «свергнутых классов. Организации учреждений, определению обязанностей сотрудников и множеству других чисто административных вопросов Владимир Ильич придавал чрезвычайно большое значение, так как разболтанность хотя бы одной «шестеренки» мешала становлению новой государственной машины в целом.

Упомянем также часто цитируемые слова Ильича, характеризующие дельного экономиста: вместо «общих» рассуждений он выясняет причины недостатков и намечает пути их устранения. И Ленин добавляет: «Дельный администратор, на основании подобного изучения, предложит или сам проведет перемещение лиц, изменение отчетности, перестройку аппарата и т. п.».

Таким образом, не приходится отрицать значение административно-технической стороны организации управления. Но к этому ли сводится дело? Неужели только штаты, делопроизводство и тому подобное имел в виду Ленин, указывая, что для построения социализма нам не хватает «только» умения управлять?

## II

Одним из важнейших доводов врагов партии (и колеблющихся внутри нее) против ленинского курса на социалистическую революцию в России был низкий культурный уровень трудящихся масс, отсутствие специалистов, согласных перейти из лагеря капиталистов и помещиков в лагерь пролетариата и помогать строить государство и экономику нового типа. Ленин снимал это возражение полностью. Придавая громадное значение государству как орудию осуществления задач диктатуры пролетариата, он видел выход в том, чтобы сразу, немедленно передать дело управления в руки рабочих и крестьян. Их революционный энтузиазм и практическая сметка должны были в какой-то мере возместить отсутствие опыта даже в таких «тонких» делах, как руководство банками, налаживание дипломатических отношений с капиталистическими государствами, организация обороны страны. Ни в малейшей мере не идеализируя трудовой народ, не «выдумывая» его, абсолютно чуждый какой бы то ни было маниловщине, великий стратег пролетарской революции был твердо убежден в наличии в народе тысяч и тысяч талантов, которые капитализм мят и душил и которые способны расцвести при советской власти.

Проследите практические действия Ленина при каждом затруднении — военном ли, продовольственном, топливном. Они однозначны: обращение к народу. Ленин находил выход из мучительно трудного положения в создании красногвардейских или продовольственных отрядов, в коммунистических субботниках. Так же подходил он к проблеме кадров для органов управления. «...у нас есть, — писал Ленин, — «чудесное средство» сразу, одним ударом у д е с я т е р и т ь наш государственный аппарат, средство, которым ни одно капиталистическое государство никогда не располагало и располагать не может. Это чудесное дело — привлечение трудящихся... к повседневной работе управления государством». И отнюдь не потому, что управлять легко и просто. Как известно, наладить в масштабе народного хозяйства учет и контроль — а это лишь некоторая часть работы по управлению — Ленин считал более трудным, чем прогнать капиталистов и помещиков.

Но дело не только, так сказать, в подборе кадров. Привлечение каждого тру-

дящегося к повседневному участию в управлении государством Ленин связывал с самой сущностью социалистического строя.

Что есть социализм?

Это, по Ленину, не только определенный, довольно высокий уровень материального производства, не только обобществление средств производства, но и непрерывное участие трудящихся в управлении производством, всей страной. Даже не участие — такое слово недостаточно, — а осуществление управления самими трудящимися. Социализм — это самоуправляющееся через государство общество трудящихся. И Ленин озабочен тем, чтобы в составе руководящих партийных и государственных органов была значительная прослойка людей, непосредственно работающих у станков, на производстве. Более того, он считает необходимым, чтобы рабочий день каждого трудящегося был разбит на две части: одна — производству, другая — управлению.

Актуальны ли сегодня эти слова? Состав работников государственного аппарата и органов хозяйственного управления принципиально изменился сравнительно с началом двадцатых годов. Значительная часть хозяйственников и служащих происходит из рабочих и крестьян или дети рабочих и крестьян. Наша советская интеллигенция в корне отлична от буржуазной интеллигенции. В составе административно-управленческих работников значительна партийно-комсомольская часть.

Так вот в этих условиях, в конце шестидесятых годов, актуальны ли слова Ленина о необходимости повседневного участия каждого рабочего и крестьянина в управлении? Совместима ли подобная задача с возросшими профессиональными требованиями к работнику исполкома местного Совета, банка, сотруднику заводоуправления? Теряет ли наше народное хозяйство от того, что мы пока далеко не в полной мере выполнили данный ленинский завет?

Для ответа на поставленные вопросы обратимся к жизни.

### III

Под рубрикой «Деревня сегодня» газета «Известия» опубликовала 2 августа с. г. (№ 180) статью С. Ярмлюк «Пойми человека». Стержень статьи в том, что на определенном уровне обеспеченности материальное стимулирование начинает терять свою эффективность. Журналист пишет: «И когда по привычке колхознику просто говорят: «Поработай подольше — больше получишь», он все чаще отвечает: «А мне хватает...»

Должен сказать, что от ряда районных работников на Украине и Северном Кавказе я еще раньше слышал подобное, но не придавал этому значения. Когда же явление привлекает к себе внимание газеты, да еще под столь многозначительной рубрикой, оно требует осознания.

Во избежание кривотолков сделаю небольшое отступление.

Ни автор статьи в «Известиях», ни пишущий эти строки не перескакивают через этап, не считают решенными все проблемы повышения уровня жизни и не страшатся, что вот-вот наступит пресыщение. Требуется немалое время и громадные усилия всего советского народа, чтобы обеспечить каждую семью современной квартирой и в достатке предметами необходимости. Значение материального стимулирования, сочетаемого со стимулами моральными, не только не ослабевает, но на протяжении многих лет будет возрастать и усиливаться. И все же совершенно очевидно, что по мере дальнейшего повышения уровня жизни широких слоев трудящихся наряду с материальным стимулированием, для непрерывного повышения производительности труда, потребуются — и будут усиливаться — другие стимулы, порожденные социалистическими производственными отношениями. Какие же?

С. Ярмлюк сформулировала их, на наш взгляд, очень верно. Нам придется подробно процитировать:

«Если задуматься — что, в самом деле, обещается колхознику в будущем? Еще бóльший достаток, бóльшие удобства? В общем все в том же плане материального благополучия, сытости. А не мало ли человеку только этого?.. Давно отмечалось, что люди способны проникаться общественным духом гораздо в большей степени, чем принято предполагать. И как бы ни вел себя человек внешне, что бы ни наговорил в сердцах, не привык и не хочет он быть «одиноким отшельником»... Ему предлагают поработать лишние часы, обещая лишний рубль или пять, а человеку, кроме того, нужна возможность выбрать профессию, применить свои знания, показать в конце концов, на что он способен. Хочется самостоятельнее мыслить, разнообразнее жить. Но ему зачастую преподносят готовые решения, а на сложный вопрос дают формальный ответ.

...Вот с такими проблемами пришлось столкнуться в этом хорошем колхозе. Пока они остро стоят лишь в немногих хозяйствах, но завтра могут стать общими. И тогда совместными усилиями несомненно найдется их разумное решение. Но надо ли ждать до той поры? Научное управление обществом как раз и состоит в том, чтобы предвидеть сложные вопросы и искать ответа на них заранее».

Вот как диалектически повернулась проблема самоуправления за полвека существования Советского государства! Да, отпала надобность привлекать трудящегося к контролю за чиновниками-саботажниками. Да, аппарат управления наш, советский. Но из самих производственных отношений, из самих успехов социалистической экономики во весь рост поднимается необходимость участия работника в управлении как фактора дальнейшего повышения производительности его труда. На определенном этапе развития экономики — и передовые предприятия, естественно, к нему ближе остальных — ее дальнейшее преуспевание попросту не может быть достигнуто лишь совершенствованием технологии, повышением квалификации и возрастанием заработка. Оказывается необходимым пустить в ход такие «не относящиеся к делу» отношения, как участие коллектива в приеме и увольнении работников, выборе форм и порядка поощрения. Отражая и выражая указанную объективную необходимость, партия придала особое значение дополнению экономического планирования социальным. Требование дальнейшего совершенствования производственных отношений проходит красной нитью через все партийные документы последних лет. Повседневное участие в управлении выдвигается в качестве конкретного, реального и прикладного способа дальнейшего повышения эффективности общественного производства. И то, что капитализму подобный подход заказан, в конечном счете решит его судьбу как общественной формации.

#### IV

Подойдем теперь к рассматриваемому вопросу еще с одной стороны. Займемся так называемым «ленинградским экспериментом». Суть его изложена в трех номерах «Правды» за 11, 12, 14 мая с. г., откуда и почерпнуты приводимые в данном разделе статьи цифры и факты.

Так вот, стандартный инструмент для собственных нужд в Ленинграде изготовляют свыше полутора ста заводов, «свои» участки пластмасс имеют 76 предприятий, ремонтом станков в городе занято 600 цехов и участков, изготовлением литых заготовок — 270 цехов (в основном мелких, в среднем менее 100 рабочих на один цех), сварных конструкций — 58 таких же мелких цехов. Из-за распыленности производства искусственно образуется нехватка рабочих и хуже используется оборудование: на заводе имени Лепсе коэффициент сменности за последние три года уменьшился с 1,52 до 1,31, а на заводе «Редуктор» — с 1,24 до 0,91. «И таких заводов в Ленинграде не один, не два»<sup>1</sup>. Естественно, что потери огром-

<sup>1</sup> «Правда», 11 мая 1969 года.

ны. Каждый токарный резец, изготовленный на заводе имени Егорова, обходится в 12 раз, а на заводе «Редуктор» — в 22 раза дороже, чем на специализированном предприятии.

Подгоняемые спросом на продукцию, отраслевые министерства проектируют дальнейшее строительство и расширение кустарных предприятий и производств, а если и намечают специализацию, то опять-таки «свою», внутриотраслевую, не учитывающую наличие других фабрик и заводов в городе. «Применительно к отдельному производству каждое такое намерение безусловно благое. А сведенные воедино, они приносят горькие плоды»<sup>1</sup>.

Под руководством партийной организации в Ленинграде начата большая комплексная работа, рассчитанная до 1980 года, по специализации предприятий, исходя из возможностей и потребностей города как единого целого. Обеспечение литьем, поковками, инструментом и другими массовыми «тыловыми» изделиями будет организовано на оптимальных основах и независимо от ведомственной подчиненности предприятий. Подсчеты специалистов показывают, что затраты окупятся в два-три года, а затем народное хозяйство ежегодно будет получать дополнительно десятки миллионов рублей прибыли «из ничего», лишь от ликвидации бесхозяйственности. Осуществление намеченной программы идет не очень гладко, но об этом речь впереди. Сейчас нас занимает другое.

Тактически усилия ленинградцев сосредоточены на том, чтобы рационально координировать работу предприятий своего экономического района. Недаром слова «экономический район» многократно приводятся в упомянутых статьях в «Правде». При осуществлении координации приходится преодолевать многие трудности, препираться с министерствами по множеству мелких поводов, и для устранения в дальнейшем подобных трудностей необходимо выяснить в целом вопрос об экономических районах, о взаимоотношениях внутри них, о наиболее эффективной организации управления.

Объективный процесс развития производительных сил означает неизбежность дробления наук, отраслей производства на все более мелкие подразделения. Подобно тому, как насчитывается девятнадцать «химий» и пятнадцать «физик», имеется свыше шестидесяти подотраслей машиностроения, пятнадцать подотраслей текстильной промышленности, двадцать пять — пищевой и т. д. Организационно отпочкование производств сопровождалось в нашей стране разделением в тридцатых годах ВСНХ на большое число наркоматов с еще большим количеством главков. Процесс этот продолжается и будет продолжаться: он объективен.

Углубление и специализация руководства отдельными подотраслями, давая громадный положительный эффект, сопровождаются одновременно распадом единых территориальных совокупностей на отраслевые коридоры, «пеналы». Были случаи, когда баржа выгружает в Московском порту привезенный из Горького металл и тут же грузит такой же металл для горьковских предприятий другого министерства. Особенно разбухают тылы: снабженческие и сбытовые органы, ремонтные и транспортные службы, изготовление инструмента и т. п. Многократные проверки выявляли наличие в таких городах, как Свердловск, Челябинск, Куйбышев и другие, по триста — четырехста снабженческих организаций в каждом. Средняя площадь склада в г. Ярославле составляла двадцать квадратных метров; легко представить себе размер накладных расходов на каждую тонну груза.

Не подлежит сомнению тот факт, что в гигантской стране с необычайно сложным и разветвленным производственным аппаратом управление экономикой не может быть построено только по отраслевому признаку. Оно должно содержать в себе организационные подразделения, отражающие территориальные взаимосвязи и взаимоотношения. Иначе — громадные потери. Совнархозы и родились из этой объективной потребности. Они наметили и в какой-то мере осуществили много

<sup>1</sup> «Правда», 12 мая 1969 года.

полезного в укрупнении и специализации предприятий, «расселении» научных учреждений, комплексном использовании природных богатств и другом.

Совнархозы показали экономику СССР в территориальном плане, и оказалось, что в нашей стране за годы советской власти выросли многочисленные производственные центры, каждый из которых представляет собой совокупность промышленности и строительства, сельского хозяйства и торговли, транспорта и бытовых услуг: Западная Сибирь, Приднепровье, Северо-Запад, Центр и т. д. Стало очевидным, что этим экономическим районам под силу вершить большие дела, и это должно быть учтено при организации управления экономикой. Побывайте в любом городе и в любой области — и вам покажут многие добрые дела, осуществленные совнархозами.

Однако с самого своего рождения совнархозы в том виде, как они были созданы, были обречены на скорую смерть, так как они пытались заменить собой отраслевые министерства и главки, то есть «отменить» разделение труда и специализацию, вызванные объективным процессом развития производительных сил. Конечно, в каждом совнархозе были отраслевые управления. Но в масштабе всей страны отрасли «были утеряны». Появилось несколько «черных металлургий»: уральская, приднепровская, Центра и др. Стала невозможной единая техническая политика, распались единые нормирование, калькулирование, учет. Замена отраслевого принципа управления территориальным вместо их сочетания себя не оправдала. Еще раз подтвердилась старая истина: недостатки суть достоинства, перешедшие за нужный предел. Попытки подправить дело путем образования отраслевых государственных комитетов ничего не дали, так как реальных прав комитеты не имели и совнархозы их не слушались.

В решении сентябрьского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС и XXIII съезда партии четко сформулировано требование сочетать отраслевое управление с территориальным. Создаваемые министерства — указывается в решениях партии — не должны копировать методы работы министерств, существовавших до 1957 года. Предстояло усилить роль республиканских и областных плановых органов. Большие надежды возлагались на межобластные (примерно в границах экономических районов) плановые комиссии: свободные от «текучки», от повседневных забот, они должны были разрабатывать глубокие перспективные планы развития экономики. Первые успехи «ленинградского эксперимента» вновь показывают, как важно добиваться эффективного сочетания обоих принципов управления — отраслевого и территориального.

Почему же так необходим территориальный принцип одновременно с отраслевым?

Узкоэкономический ответ состоит в том, что лучше загружаются станки, сокращаются перевозки и т. д. Однако это не вся правда. Допустим, что с помощью автоматических систем управления (АСУ) через несколько лет окажется возможным в Москве, Госплану Союза, иметь информацию о производственных мощностях всех крупных экономических районов и оптимально распределять производственную программу без оглядки на ведомственную подчиненность предприятий. Такое допущение не является фантастическим. Отпадет ли в подобных условиях потребность в привлечении к участию в планировании местных органов?

Достаточно так поставить вопрос, чтобы стало очевидным — участие местных плановых и других органов, местных Советов и партийных организаций, самих предприятий необходимо не потому, что они лучше знают свои возможности (это тоже важно), а потому, что планирование и организация управления экономикой не сводятся к подбору цифр и лучшей их раскладке по клеткам. Речь идет о творчестве. Машина в процессе экономического творчества никогда не заменит человека; самые разработанные и отточенные математические программы не уменьшают роли таланта в экономике.

Территориальный принцип управления экономикой необходим потому, что он создает необходимые организационные формы для включения инициативы миллио-



нов трудящихся в определение производственных мощностей, норм расходов и запасов, оптимальных вариантов организации производства и т. д. Не только каждый рабочий, колхозник, служащий, но и их организации (Советы, профсоюзы, общества изобретателей, бюро экономического анализа и многие-многие другие), сопоставляя, варьируя, экспериментируя, находят все новые и новые резервы. Эти резервы рождаются в самом процессе их поисков!

Дело идет успешнее, когда моральный стимул переплетается с материальным — если львиная доля доходов местных бюджетов поступает в виде отчислений от денежных накоплений предприятий, расположенных на территории Совета (плата за фонды, налог с оборота, лесной доход, фиксированные и рентные платежи и др.). Тогда возможность открыть дополнительно еще один детский сад ставится в какую-то зависимость от качества работы родителей.

Но и это еще не все и даже не главное. Само привлечение миллионов трудящихся к участию в управлении делает их физический труд неизмеримо более одухотворенным, повышает их самосознание и рождает такие импульсы, которые и представить себе нелегко. Начинается цепная реакция активности. Сегодня, скажем, принял мое предложение о лучшей загрузке станка. Завтра я на своем рабочем месте, у станка, работаю с большей ответственностью, с возросшей хозяйской заботой.

Маркс указывал, что одно только объединение работников в помещении мануфактуры рождает дополнительную производительность труда, проистекающую из самого существа человеческой природы. Но то, что верно для неграмотных и эксплуатируемых пролетариев XVIII века, во сто крат более применимо к рабочему классу, колхозному крестьянству и советской интеллигенции. Участие в самоуправлении — и не только на уровне предприятия, но и в районных и городских хозяйственных органах, комиссиях, бригадах — раскрывает широкие двери для отдачи на пользу общества гигантского опыта, обширнейших познаний, накопленных миллионами людей и далеко еще не полностью нами используемых. Поэтому сочетание отраслевого и территориального принципов управления не сводится лишь к координации работы учреждений, а требует привлечения к повседневному участию в управлении миллионов трудящихся.

Сказанное не означает, что организационные мероприятия могут заменить экономические интересы, а участие в комиссии — премию. Не противопоставлять, а — сочетать!

Таким образом, мы приходим к выводу, что управление экономикой объективно требует одновременного и равноправного участия в планировании и в организации выполнения плана как отраслевых министерств, так и территориальных общегосударственных органов (местные Советы и их функциональные отделы и комиссии). Равноправность подчеркивается, так как опыт отраслевых государственных комитетов до 1965 года и зональных плановых комиссий после 1965 года подтверждает неэффективность учреждений, не имеющих власти: басня насчет кота и шовара не устарела.

Практически это значит, что в крупных промышленных центрах при исполкомах Советов должны быть органы, обязанные и имеющие права делать ту крайне необходимую работу, которая получила название «ленинградского эксперимента». Проблема эта слишком важна, чтобы ее решение зависело лишь от инициативы местных организаций и соотношения сил между ними и отраслевыми министерствами.

Два возражения очевидны.

Первое состоит в том, что «вертикальная» и «горизонтальная» стороны никогда между собой не договорятся. Кто будет арбитром? Госплан СССР и Госпланы союзных республик: в их составе имеются и отраслевые и территориальные подразделения. Думается, что арбитры потребуются лишь в «пусковом периоде». Совместная работа быстро родит общий язык, так как разногласия-то ведь не

антагонистические и спорят между собой советские люди, равно заинтересованные в успехе общего дела. Жизнь подтверждает сказанное. Участвующее в ленинградском эксперименте Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления активно содействует успеху работы. Оно представило детальные предложения министерства на 1971—1975 годы по каждому предприятию своей отрасли. Эту отраслевую проектировку требуется «наложить» на территориальный вариант, чтобы получить комплексный оптимум. В процессе его нахождения обе стороны, естественно, будут корректировать свои исходные позиции.

Второе возражение имеет более принципиальный характер — возрастут штаты. Кроме министерств и отраслевых главков, появятся еще какие-то звенья управления: начальники, плановики, машинистки.

Принципиальный характер этого возражения состоит в том, что сам подобный подход представляется в корне неправильным.

При решении штатных вопросов мы до сих пор, к сожалению, частенько руководствуемся так называемым «здравым смыслом», согласно которому чем учреждение имеет меньше сотрудников, тем лучше. Ссылаются при этом на Ленина: он требовал, чтобы государственный аппарат был дешевым. Но Ленин говорил иначе: «дешевым и эффективным».

Если посмотреть данные, скажем, за последние десять — двадцать лет, то во всех странах, и в том числе в СССР, наблюдается увеличение числа служащих государственного аппарата, а на предприятиях — инженерно-технических работников. Растет численность сотрудников научно-исследовательских институтов. Можно, разумеется, привести примеры излишеств в штатах того или иного НИИ или сослаться на надуманность некоторых учреждений, но, очевидно, это не объясняет глобальной тенденции. А она противоречит «здравому смыслу», как, впрочем, и идея, что не солнце обходит землю, а земля вращается вокруг дневного светила.

Чем же руководствоваться специалистам по штатным делам? Очевидно, эффективностью, плодами работы того или иного органа управления. Если создание, к примеру, в Ленинграде специального полномочного органа по специализации промышленности даст в год дополнительных накоплений столько-то миллионов рублей, а содержание этого органа обойдется в столько-то тысяч рублей, то промедление с созданием этого органа неоправданно. Точно так же неоправданно сокращение численности вспомогательных рабочих, если их работу начинают выполнять квалифицированные станочники, или исключение из штатного расписания стенографисток и лаборантов и тому подобная «экономия», приносящая ущерб по меньшей мере 1:10. Не подлежит сомнению возможность большого сокращения численности работников аппарата управления. Но лишь при условии создания научно обоснованной структуры управления и комплексной механизации и автоматизации управленческого труда.

Создание территориальных органов управления экономикой в дополнение к отраслевым поможет выполнить еще один ленинский завет в области управления.

Известно, что В. И. Ленин был резким противником анархо-синдикализма, всякого рода партизанщины. «...Полным отказом от социализма, — писал он, — является всякое, прямое или косвенное, узаконение собственности рабочих отдельной фабрики или отдельной профессии на их особое производство, или на их права ослаблять или тормозить распоряжения общегосударственной власти...». Ленин указывал, что без централизованного руководства социализма не построить. Но не менее известно, что Ленин требовал демократического централизма. Единство в основном, в главном должно, по Ленину, сочетаться с недопущением губительного шаблона, чиновничьего однообразия, бюрократической «стройности».

Привлечение самых широких слоев трудящихся к управлению народным хозяйством имеет много форм.

На самом предприятии сюда относится участие каждого работника — непосредственно и через общественные организации — в повседневном руководстве деятельностью цехов, отделов, служб. Было бы утопией в данной статье расписывать, каким образом токарь А. или слесарь Б. могут принимать участие в направлении работы бухгалтерии или планового отдела. Жизнь найдет и подскажет необходимые формы. Но внимание следует обратить на то, что планы социального развития, составляемые на предприятиях, как раз вопросы самоуправления нередко обходят. Требование партии о дополнении экономического планирования социальным на многих фабриках и заводах выполняется таким образом, что, кроме обычных производственных показателей, утверждают: программа по повышению квалификации коллектива, сеть социально-культурных учреждений, мероприятия по улучшению бытового обслуживания и др. Но нет планов постепенного и неуклонного вовлечения коллектива в работу по управлению предприятием.

Наши слова сказаны не в упрек составителям планов. Дело это новое, его значение громадно. Мы хотим лишь привлечь внимание к возникшему пробелу и тем помочь его устранению. Разве нельзя попытаться — по годам и проблемам — наметить, когда и в какой последовательности отдельные вопросы станут компетенцией не только директора, начальника цеха, мастера, но и производственного совещания, общего собрания, группы народного контроля?

Конечно, дело это — архитонкое и сложное. Спешка и соревнование — «кто раньше» — здесь никак не допустимы. В этом нас убеждает переоценка роли народных дружин, имевшая место несколько лет тому назад. Но действовать необходимо, памятуя, что без поисков не будет и находок.

Если от предприятия перейти к поселку, городу, то возникает проблема отношений между предприятием и местным Советом.

Сегодня их взаимоотношения нельзя считать оптимальными. Директора крупных предприятий порой пропускают мимо ушей требования и пожелания местных органов власти. Достаточно вспомнить о загрязнении воды и воздуха, о мелких заводских электростанциях в пределах ряда городов и т. д. Местные Советы редко обсуждают работу, скажем, металлургического или машиностроительного завода, обычно в поле их зрения лишь предприятия бытового обслуживания. А между тем в составе депутатов Совета имеются передовые металлурги и машиностроители; они могут помочь советом и критикой порой не менее, чем работники главка.

Конечно, вряд ли местный Совет займется текущей хозяйственной деятельностью предприятий союзного и республиканского значения; речь идет не об этом. Имеется в виду забота советской власти на местах обо всем, что находится на ее территории, и реальная ответственность за качество работы предприятий.

Большой и самостоятельный вопрос — интересы предприятия и интересы города — также подчас решается «по вертикали». И тогда возникают «встречные перевозки» детей в ясли и сады из конца в конец города, закрытые для «чужих» клубы и стадионы, неоправданная растянутасть транспортных и других коммуникаций и многие другие беды.

И, наконец, отношения между местным Советом и главком, министерством. Во всех тех случаях, когда, по мнению Совета, действия отраслевого руководящего органа наносят ущерб предприятию, Совет должен располагать точными, законом предусмотренными методами вмешательства. Разумеется, могут быть случаи местничества. И речь не идет о предоставлении Советам права «вето».

Какие изменения в указанной сфере общественных отношений произошли в ходе осуществления реформы? Крайне незначительные и далеко не всюду. Есть ли хоть одно решение Междудементальной комиссии, где рассматривались подобные проблемы? Да и члены этой комиссии: будут, несомненно, удивлены самим предъявлением к ним подобных претензий! Но тогда, следовательно, новый под-

ход к экономике, которого требует партия, нередко заменяется новыми показателями планирования и стимулирования...

В одной из статей в «Новом мире»<sup>1</sup> я приводил данные социологов о том, что значительная часть рабочих в начале 1968 года имела смутное представление о сущности и значении реформы. За истекшие два года многое, разумеется, изменилось, но, конечно же, не все. В чем причина? Давайте проследим детально ход реформы на каком-то условном предприятии. Опубликованы решения сентябрьского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС, резолюции XXIII съезда партии. Сеть партийного просвещения, газеты, радио и телевидение разъясняют содержание реформы, возбуждают к ней интерес. Каждый видит существующие в работе недостатки, внутренние резервы. До реформы возможностей повлиять на улучшение работы было недостаточно. Теперь их должно стать неизмеримо больше. Требуется новый подход к работе.

Многое действительно изменилось. Вместо абстрактного «вала» судьбу плана решает реализация продукции. Значит, выдавай продукцию ритмично, хорошего качества. Выросли премии, появился фонд развития предприятия. Здания и оборудование перестали быть даровыми: за них нужно платить государству. Все это понятно, правильно и импонирует хозяйскому чувству каждого подлинного труженика.

Но появился ли новый подход? Тут изменений все еще мало. Содержание собраний, производственных совещаний, организация социалистического соревнования и другие формы и способы управления изменились далеко не достаточно. Верно, в обязательствах появились новые показатели, усилилось внимание к качеству продукции, появилась забота о прибыльности. Но весь стиль взаимоотношений внутри предприятия и за проходной — «климат» экономических отношений — еще не могут нас удовлетворить. Подчас на первый план выдвигаются такие проблемы, которые по самой сути своей не привлекают к себе массового внимания. Не могут же, в самом деле, миллионы людей волноваться по поводу того, взимать плату за фонды с первоначальной или с остаточной стоимости оборудования!..

## V

Учение Ленина об организации управления общественным производством в условиях строительства социализма содержит в себе не только указание о роли масс, но и о способах их привлечения к управлению.

Основным и решающим преимуществом социализма перед капитализмом, указывал В. И. Ленин, является полное совпадение интересов — а еще лучше сказать: единство интересов — каждого трудящегося, каждого коллектива трудящихся и социалистического общества в целом. Это единство покоится на обобществлении средств производства, ликвидации эксплуатации, направлении всех материальных и духовных ресурсов социалистического государства на удовлетворение непрерывно растущих потребностей народа. В монолитности социалистического общества великий создатель нашей партии и нашего государства видел залог непобедимости Советского Союза; залог достижения более высокой, чем при капитализме, производительности труда и на этой основе — полной и окончательной победы в экономическом соревновании социализма с капитализмом.

При этих предпосылках суть и назначение экономической политики социалистического государства состоят в создании оптимальных условий для проявления каждым трудящимся, каждым предприятием, каждым районом страны максимума производственной и общественной активности; в координации действий отдельных предприятий и придании им той целеустремленности и научной направленности, без которых при современном уровне развития производительных сил нечего

<sup>1</sup> См. «Новый мир», № 12, 1968.

и думать о достижении успеха в развитии экономики. Сочетание обоих исходных начал развития социалистической экономики — инициативы и управления — Ленин определил как демократический централизм. Соблюдение его требований принесло грандиозные успехи экономике СССР, а нарушение — с любой стороны — крупные экономические провалы в некоторых других странах.

Указывая на конечное полное совпадение интересов каждого рабочего и трудящегося крестьянина с интересами общества, строящего социализм, В. И. Ленин в то же время предупреждал о недопустимости отождествления этих интересов. Энтузиазм, вызванный победой революции, не мог быть единственным рычагом, поднимающим миллионы и миллионы людей на повседневный самоотверженный труд. На базе революционного энтузиазма должна была быть приведена в действие глубоко продуманная, научно обоснованная система материального поощрения и материальной ответственности, охватывающая каждого человека и каждое предприятие. Ленин успел заложить основы такой экономической системы. Под названием хозяйственного расчета она вошла в теорию и практику социалистического хозяйствования, честно прослужила почти полвека и к осени 1965 года пришла со всемирно-историческими успехами.

Почему же потребовалась реформа?

Потому, что за прошедшие десятилетия постепенно накопился груз отдельных недостатков в формах, методах, способах планирования, стимулирования и управления предприятиями; административные методы управления в ряде случаев стали преобладать над экономическими, форма — над содержанием. Экономические рычаги, отодвинутые на второй план, мало-помалу атрофировались: цены оторвались от уровня общественно необходимых издержек производства и обращения; в условиях фондированного снабжения упала роль хоздоговоров и платежной дисциплины; появилось много убыточных, и в том числе планово-убыточных, предприятий; была взята под сомнение «благонадежность» прибыли как экономической категории; эффективность премий и санкций существенно снизилась. В результате указанных процессов в хозяйственном расчете, как указал сентябрьский Пленум, стало много формализма, его действенность ослабла.

Как известно, сентябрьский Пленум для преодоления сложившихся недостатков выдвинул на первое место экономические методы управления народным хозяйством. В чем они состоят? Их экономическая сущность была рассмотрена в предыдущей статье<sup>1</sup>. Сейчас мы займемся организационной стороной.

Из сказанного выше следует, что управлять экономическими методами, значит — создать оптимальные организационные условия для того, чтобы индивидуальные интересы слились с общественными: интересы человека, предприятия и общества в целом, не утрачивая своих объективных особенностей, работают друг на друга, питают друг друга.

Нам думается, что это может быть достигнуто через показатели, в которых выражено задание государства предприятию и трудящемуся, через систему стимулов и санкций, посредством которых экономически оценивается и поощряется выполнение программы. Что изменилось в указанном механизме за годы реформы? В какой мере прогрессивны происшедшие изменения?

Основными стали показатели реализации продукции и рентабельность, отражающие потребность общества в изготовленных изделиях и эффективность процесса производства и обращения продукции. Значение этого шага невозможно переоценить, хотя жизнь, естественно, потребует дальнейших шагов. Однако дело не доведено до конца: ведь реализовать можно лишь то, что произведено, а показатели производства не всегда удачны. В печати не раз указывалось, что устаревание металлургическим, многим машиностроительным и химическим предприятиям задания в тоннах наносит ущерб народному хозяйству. В подавляющей

<sup>1</sup> См. «Новый мир», № 12, 1968.

массе проката нужен не вес, а площадь; от оборудования требуется не массивность, а мощность, а от минеральных удобрений — количество полезного вещества. Точно так же не отвечают духу реформы оплата сельских механизаторов с гектара, выражение программы транспортными организациями в тонно-километрах, оплата услуг сбытовых органов с оборота и др.

Особенно неудовлетворительно измерение важнейшего из всех экономических показателей — производительности труда. Нет нужды напоминать о значении роста производительности труда. Между тем как раз в этой области успехи реформы, пожалуй, самые скромные, если верить статистическим данным. На необходимость преодолеть отставание в области производительности труда указывается во всех относящихся к экономике документах Центрального Комитета партии и правительства.

Но как измеряется ныне производительность труда? Делением стоимости произведенной продукции на отработанное время. Допустим, что перед нами две швейные фабрики, абсолютно тождественные во всем, что определяет подлинную производительность труда. Но первая шьет платья из ситца, а вторая — из шерстяных тканей. Статистика показывает, что производительность труда на второй фабрике выше, чем на первой. И если стоимость метра ситца, допустим, два рубля, а шерстяной ткани — тридцать рублей, то разница в производительности труда будет примерно как 2:30. Как же в таких условиях добиваться замены цветных металлов пластмассами, внедрения заменителей?

Сторонники существующего показателя отводят подобную критику ссылкой на то, что в целом по отрасли не бывает крутых изменений в составе сырья, а взаимные отклонения цен вверх и вниз погашаются. Но что такое «в целом» в масштабах СССР? Дальше будет показано, во что обходится народному хозяйству отсутствие научного измерителя производительности труда.

Не все благополучно и с рентабельностью. Требование рентабельности понимается иногда формально.

Ограничимся тремя примерами. В ряде совхозов Казахстана при определении характера специализации отказались от овощеводства, откорма свиней, кур, так как эти участки хозяйства сами по себе были убыточны. Но исключение таких вспомогательных видов деятельности затруднило полную загрузку работников, ухудшило их снабжение. В результате усилилась текучесть кадров, упала рентабельность основных культур, страна стала получать не только меньше мяса, овощей, но и пшеницы. Таковы плоды неправильного понимания рентабельности. Хозяйский же подход требует совокупного счета по совхозу в целом. Впрочем, и издательства аналогичным образом подходят к рентабельности книг...

Второй пример касается железнодорожного транспорта. Чтобы дорога «в целом» выглядела хорошо, ее управление манипулирует доходными ставками низовых хозрасчетных подразделений: снижает ставки у получивших большую прибыль и повышает менее рентабельным. О чем говорит в таких условиях прибыль, полученная отделением дороги? И есть ли стимул улучшать работу? Примерно так же поступают нередко в торговых организациях: перераспределяют наценки и скидки, подрывают хозрасчет баз и магазинов и выдают все это за заботу о рентабельности.

Нет слов, критиковать показатели легче, чем предложить лучшие. Ведь родились и живут они не по прихоти. На первых порах планирования имелось в виду прежде всего овладеть производством. В ряде случаев эти показатели неплохо характеризуют работу поставщика. Действительно, нелегко заменить, скажем, оплату с оборота в сфере сбыта или с тонно-километра на транспорте. И мы в данной статье не предполагаем рекомендовать рецепты и тем более предлагать некую панацею. Речь идет о другом. Провозглашение реформы требовало сплошной «инвентаризации» накопившихся за полвека показателей и рассмотрения каждого из них с позиций нового подхода к управлению. Нужна громадная исследовательская работа, эксперименты. Такая работа с опозданием началась и край-

не вяло проводится. Поэтому и сегодня интересы работника, предприятия нередко заставляют его действовать не так, как это лучше для общества. Metallургический завод производит и реализует больше тонн проката, таким образом он выполняет заданную программу и образует поощрительные фонды. Но разве здесь действуют экономические методы управления? Машиностроительный завод, выполняя свою программу, немалую часть этих тонн превратит в стружку.

Не все доделано и в области санкций и поощрений. Как и четыре года назад, невыполнение договорных обязательств карается весьма условно, мало ощутимо; полученный ущерб не возмещается, что также противоречит духу реформы. В области финансов и кредита произошло много полезных изменений, но осталось немало непригодного и спорного. И сегодня большинство предприятий передает в доход государственного бюджета 60—80 процентов полученной прибыли. Более того, хотя преимущественная часть прибыли носит название «свободного остатка» и по смыслу термина должна вноситься в бюджет, лишь когда она составляет остаток, ненужный предприятию, в действительности она изымается при всех условиях.

Поясним, о чем ведется разговор. Допустим, что завод должен по плану получить в 1970 году десять миллионов рублей прибыли, три миллиона использовать для своих потребностей и поощрения, один миллион рублей внести в качестве платы за фонды, а шесть миллионов отдать в виде так называемого свободного остатка в доход государственного бюджета. В данном примере остаток составляет 60 процентов всей прибыли. Пусть в первом квартале по какой-то причине получено не два миллиона рублей, как намечалось планом, а лишь один миллион. Очевидно, что никакого остатка, да еще свободного, нет и в помине. Тем не менее платежи «свободного остатка» от полученной прибыли пойдут в государственный бюджет.

Министерство финансов мотивирует свои действия приоритетом государственного бюджета перед всеми другими потребностями предприятий; приоритет действительно должен быть. Имея его в виду, реформа предусмотрела обязательные, имеющие силу налога, платежи (налог с оборота, плата за фонды, рентные платежи). Что же касается свободного остатка прибыли, то он был задуман в качестве гибкого амортизатора.

Что значит изъять у предприятия несозданную прибыль? Это значит уменьшить его оборотные средства, затруднить его возможности своевременно расплачиваться с поставщиками и тем самым и их втянуть в финансовый прорыв. Разве это экономические методы управления?

Что касается Государственного банка, то его активное, что называется, с душой участие в проведении реформы бесспорно. Но следует обсудить вот какой вопрос. Государственный банк взял на себя полностью финансовое обслуживание предприятий. Он оплачивает счета поставщиков, перечисляет платежи в бюджет, погашает сам себе задолженность предприятий, если средств на счетах клиентов к сроку не хватает, выдает им ссуду. С точки зрения организационной техники достигнута большая экономия труда и материалов, и внешний результат хороший — подавляющая масса расчетов проходит в срок. Но не выхолащивается ли зачастую действительная суть контроля рублем?

Основанием для подобных, кажущихся риторическими вопросов служит то, что одновременно с упорядочением расчетов идет непрерывный рост сверхнормативных запасов материальных ценностей в народном хозяйстве. Следовательно, оборот денег не всегда отражает и выражает оборот материальных ценностей. Тогда к чему все это «денежное хозяйство»?

Но больше всего нечеткости в материальном поощрении. Теперь это уже признают все, но — по-разному. Поскольку из различий в оценке вытекают и разные предложения на будущее, в этом полезно разобраться.

В. И. Ленин требовал, чтобы организация поощрения была проста, нагляд-

на, оперативна и доступна пониманию каждого рабочего. От этого зависит эффективность премий. Не зря ведь утверждают итальянцы: «Кто дает быстро, тот как бы дает дважды».

При переводе предприятий на новые условия управления, планирования и стимулирования для каждого из них разрабатывались индивидуальные нормативы, учитывающие особенности. Нормативы должны были быть стабильными, что гарантировало предприятия от «наступления на пятки».

К сожалению, доверие предприятий нарушено. Нормативы едва ли не ежегодно пересматриваются, в результате чего сумма поощрительных фондов остается на одном и том же уровне, хотя реализация продукции и объем прибыли непрерывно возрастают. Более того, в тех случаях, когда фонд заработной платы (вместе с премиями) обгоняет в своем росте повышение производительности труда, поощрительный фонд временно не распределяется.

Но мы уже видели, что показатель производительности труда не отвечает своему названию, он характеризует выработку продукции, а не производительность труда.

Вопрос имеет еще одну сторону. Если материал раскраивать продуманно, без излишней спешки, если при ремонте запасные части не выбрасывать, а восстанавливать, если смазочные материалы собирать и очищать для повторного использования, вообще говоря, если бережно обращаться с материальными ценностями, — то общество становится богаче. Но показатель производительности труда падает. Таким образом несовершенство показателя наносит ущерб народному хозяйству.

## VI

Сегодня, по истечении четырех лет со дня сентябрьского Пленума ЦК КПСС, доказывать жизнеспособность и эффективность хозяйственной реформы — значит лопаться в открытые двери. При всем том, что реформа еще далека от завершения в промышленности и по существу только начинается в строительстве и некоторых других отраслях народного хозяйства, уже достигнуты такие практические успехи — количественные и качественные, — произошло такое усиление экономических начал в управлении предприятиями, что мы с полным основанием говорим о новом этапе в развитии социалистической экономики СССР, — этапе, сулящем нам дальнейшее существенное повышение эффективности общественного производства, ускорение технического прогресса и усиление научной организации производства и управления.

Отмечая успехи в проведении реформы, Совет Министров СССР одновременно указал на многие существенные недочеты и потребовал сконцентрировать усилия для их преодоления. Представляется поэтому целесообразным попытаться разобраться в том, почему так быстро и значительно сказались результаты реформы; что необходимо сделать для ее дальнейшего развития, для перехода во второй этап реформы; в чем должен состоять этот второй этап.

Почему реформа, хотя она еще только развивается, так быстро, с первого же года, дала столь большую очевидную отдачу? Да потому, что недостатки хозяйственного руководства, указанные в решениях Пленума, не вытекали из сущности экономических отношений социализма, не были органически присущи нашей экономической системе, а были привнесены организационными наслоениями, были, так сказать, искусственными. Стоило начать их убирать, как проявились внутренние живые силы и начали двигать вперед все стороны хозяйственной деятельности. Стоило заменить абстрактно-статистический показатель валовой продукции, как сразу нетерпимыми стали недостатки в ценообразовании, усилилось внимание к финансам, широко стал внедряться подлинный внутризаводской хозяйственный расчет.

И если мы сегодня отмечаем наряду с успехами и недочеты в развитии реформы, то причина тому лишь одна — недостаточно полное и комплексное ис-



пользование экономических методов управления как результат еще не изжитого недоверия к ним. Второй этап реформы, как нам представляется, и будет состоять в создании комплексной, всеохватывающей системы экономических методов управления — всех сфер хозяйственной деятельности и всех звеньев хозяйствования.

Чем питается довольно широко распространенное недоверие к экономическим методам управления народным хозяйством? Опасением, будто они уменьшают роль государства в руководстве экономикой, ослабляют плановость в развитии народного хозяйства, ведут к противопоставлению личных интересов общественным. В качестве доказательства приводятся факты из развития экономики некоторых зарубежных стран.

Что же, эти факты действительно имеют место, их надо учитывать, но нельзя отказываться от экономических методов потому, что они где-то были применены неправильно: не отменяя же мы деньги на основании того, что могут существовать фальшивомонетки...

В действительности же экономические методы управления — цены, прибыль, премии, санкции, кредит, финансы, оптовая торговля средствами производства и др. — не только не отменяют планирования и не уменьшают его значения, но, напротив, создают единственно возможную оптимальную базу для его расцвета, так как они сливают с планом интересы трудящихся и предприятий. Опыт развития народного хозяйства СССР, в том числе четырехлетний опыт осуществления реформы, показал, что при нынешнем масштабе хозяйственной деятельности попросту невозможно — технически и физически — достигать желаемых результатов без полного участия в этом деле самих предприятий. Достаточно ограничиться одним доказательством.

При разработке условий образования поощрительных фондов главная цель состояла в том, чтобы побудить предприятия к раскрытию всех своих резервов на стадии составления плана, повышению из года в год темпов реализации продукции. Для этого отчисления в премиальные фонды от плановой прибыли в несколько раз больше, чем от сверхплановой; размер отчислений зависит от темпа прироста продукции и уровня рентабельности. Казалось, предусмотрено все. А между тем многие предприятия по-прежнему придерживают резервы — и это основной недостаток первого этапа реформы. Почему так получилось? А потому, что интересы предприятия не побуждают его к раскрытию всех резервов: в течение года задания увеличиваются, почти всю прибыль забирает бюджет, гарантированного материально-технического снабжения нет. Коль скоро интересы «не сработали», самые, казалось бы, продуманные показатели повисли в воздухе. Об этом говорит и ход «ленинградского эксперимента». Трудности, протекающие из сопротивления некоторых министерств, понятны, но корреспондентов «Правды» поразило вялое отношение, индифферентность ряда ленинградских хозяйственников. Причина? Переход на новую, специализированную продукцию требует серьезной перестройки производства. На какой-то период времени уменьшится объем реализации продукции, механизация труда сократит численность работающих и фонд заработной платы. В результате — сокращение поощрительных фондов...

Основной вывод после четырех лет осуществления реформы состоит, на наш взгляд, в том, что предприятия следует поставить в такие условия, чтобы они руководствовались не стремлением к достижению тех или иных показателей как самоцели, а конечной эффективностью их деятельности как для народного хозяйства в целом, так и для них самих. Решение такой задачи требует существенной перестройки многих звеньев организации управления. В рамках данной статьи ограничимся лишь некоторыми из них, начав, так сказать, «с конца».

Уже очевидно, что экономическая система не дает всего возможного эффекта, если предприятию безразлична сумма полученной прибыли; а она безразлична, так как вся прибыль, кроме необходимой для удовлетворения плановых рас-

ходов, становится «свободным остатком» и изымается в доход государственного бюджета. Вывод? Следует вернуться к порядку, существовавшему в двадцатые годы и оставлять предприятие, независимо от плановых потребностей, часть прибыли, допустим, 10—15 процентов ее, в виде финансового резерва. Излагать порядок его образования и возможного использования здесь не место.

Заинтересовав предприятия в получении возможно большей прибыли, надо сделать так, чтобы прибыль была результатом непрерывного улучшения работы предприятия с точки зрения интересов всего народного хозяйства. Здесь, как уже говорилось, мы сталкиваемся с тем, что многие действующие показатели требуют замены. Необходимо подобную замену осуществить, чтобы обеспечить гармоничное сочетание интересов предприятия и общества.

Предприятие должно делать лишь то, что действительно в конечном счете нужно обществу, и делать все лучше и лучше. Здесь, кроме изменения многих показателей, потребуется активизировать цены. Исключительная гибкость цен на конкретные изделия при сохранении централизованной системы ценообразования — такова одна из первоочередных задач, которые предстоит решить.

Но предприятие хозяйствует не в одиночку. Его успехи и прорывы в большой мере определяются поставщиками и потребителями, транспортом и органами снабжения, банком и главком, проектными институтами и строительными организациями. Очевидно, предстоит совершенствовать систему материальной ответственности за причиненный предприятию ущерб; он должен быть компенсирован до последней копейки, иначе цепь товарно-денежных отношений разрывается. Представляется полезным установить, что часть прибыли каждого предприятия распределяется среди всех предприятий и организаций, которые содействовали получению этой прибыли.

Однако наличие денежных средств — лишь предпосылка для улучшения хозяйствования. Многие предприятия уже убедились, что «не так хорошо с деньгами, как плохо без них». Необходима реальная возможность «отоварить» фонды предприятий. И опять-таки истекшие годы убеждают, что этой задачи не решить без оптовой торговли средствами производства. Впрочем, мы думаем, что без нее нельзя добиться и резкого ускорения технического прогресса: он несовместим с заявками за полгода — год на каждую тонну металла и на каждый прибор.

Все перечисленное выше упирается в существенное совершенствование народнохозяйственного планирования. Необходимо до конца выполнить требования сентябрьского Пленума ЦК КПСС, подтвержденные XXIII съездом партии, о стабильности и сбалансированности планов предприятий. Надо теснее сомкнуть планы предприятий в пределах подотраслей и отраслей. Следует совершенствовать организацию разработки планов: сроки, последовательность, этапы.

## VII

Бюрократизм, волокиту и другие беды государственного аппарата В. И. Ленин выводил из экономической отсталости, бездорожья, почти поголовной неграмотности населения старой России. В те годы никакое обучение делопроизводству и оргтехнике не могло кардинально решить проблему, хотя им уделялось по справедливости много внимания. Сегодня мы находимся в условиях, полностью благоприятствующих научной организации управления народным хозяйством. Значит, эту задачу необходимо поставить во весь рост.

Попытаемся перечислить имеющиеся в этой области проблемы, начав с относительно более простых.

Вероятно, полезно было бы начать с фотографии существующего. Группа научных работников экономической лаборатории Московского института народного хозяйства имени Г. В. Плеханова подробнейшим образом исследовала организацию финансовой службы в одном из машиностроительных министерств. Оказалось: что ни главк в составе министерства, что ни завод в составе главка — то

иная организационная структура финансовой службы, разные штаты, различное распределение обязанностей. Некоторые участки работы дублируются бухгалтерией, плановым отделом, управлением капитального строительства, сбытом, отделом труда и заработной платы. Другими не занимается никто. Элементарный вывод — необходимо разработать типовые (дифференцированные для различных типов предприятий) структуры, штаты, служебные обязанности. Точно так же необходимы типовые наборы инвентаря и приспособлений, вычислительной и множительной техники — всего того, что облегчает труд служащих и повышает его эффективность.

Особо стоит вопрос об отборе, распространении, использовании и хранении информации. До сих пор, помимо узаконенной, существует огромная «дикая» отчетность. В печати сообщалось, что создание в министерствах отделов научной организации труда вызвало... поток анкет и запросов в тресты и на заводы.

Об автоматической системе управления уже говорилось. Зачинателем ее выступает Министерство приборостроения. Проблема эта «модна», вокруг нее толпится способная молодежь, и есть все основания ждать успехов. К организационно-технической области проблем управления относится и подготовка секретарей, референтов, обучение деловой корреспонденции всех без исключения руководителей и многие другие вопросы.

Всеми этими проблемами кто-то должен заниматься специально. Между делом они не получаются.

Гораздо более сложной — и новой — является разработка рациональной иерархии органов управления в народном хозяйстве. Экономическая наука должна ответить: какие размеры и структура предприятия оптимальны для данной отрасли в данном районе страны? Должны ли быть отдельные предприятия или комбинаты, фирмы? На основе экономических рекомендаций наука об управлении должна дать схему управления: завод — фирма — главк — министерство, или фирма — главк — министерство, или предприятие — трест — главк — министерство, или фирма — министерство. В Латвии, к примеру, местная промышленность построена по схеме: завод — министерство. Очевидно, что угольные шахты Украины не могут работать по такой схеме.

Разработке подобных рекомендаций будут предшествовать исследования, эксперименты. Здесь дел на годы и годы.

Третью группу проблем мы уже называли: стыкование отраслевого и территориального принципов управления. Как обеспечить необходимую координацию без излишней работы и потери времени? И в данной области управленцы будут работать бок о бок с экономистами. Очевидно, экономисты скажут, что нужно, а управленцы — каким образом.

И, наконец, большая группа общегосударственных вопросов управления: как организовать внесение необходимых изменений в план, не подрывая его стабильности; как проводить изменение цен на отдельные товары, чтобы оно было гибким и в то же время обеспечивало государственный контроль; как координировать работу различных контролирующих органов, чтобы изжить дублирование, и многие другие.

Следует выделить проблему, которой В. И. Ленин придавал самостоятельное значение, — превращение Государственного банка в общенародный орган счетоводства.

В банковских документах содержится громадная информация, которую никто не использует: состав продукции, ее цена, доля прибыли и налога с оборота, ритмичность реализации, транспортные расходы и др. Из всей совокупности данных «работает» лишь сумма, подлежащая оплате, и в отдельных случаях платежи налога с оборота.

Речь идет не о том, чтобы банк начал распоряжаться деньгами предприятий — это крайне вредно, — а о том, чтобы он стал единым для всех предприятий бухгалтером. Перерабатывая всю информацию, он сообщает предприятиям и

руководящим ими органам необходимые данные о ходе работы, наличии запасов сырья и остатков готовых изделий, финансовом состоянии и др.

Помимо многочисленных экономических и технических затруднений, в создании общегосударственного счетоводства имеется еще трудность юридического порядка. Бухгалтерский документ подтверждает законность операции. Удастся ли такой документ заменить перфокартой или магнитной лентой?

Не надо этот вопрос понимать как проявление скептицизма. Речь идет о проблеме, которую, конечно, не решить двум-трем энтузиастам. А именно такое число людей сегодня ею занимается.

\* \* \*

Самый лучший способ отметить годовщину революции, говорил Ленин, состоит в том, чтобы сконцентрировать внимание на нерешенных задачах. Предстоящий юбилей — годовщина особого масштаба и значения. И потому правомерно вести речь о проблеме, с решением которой, как писал Ленин, «...будет открыта настежь дверь к переходу от первой фазы коммунистического общества к высшей его фазе...».



---

# ПУБЛИЦИСТИКА

Е. ПОЛЯКОВА

★

## И НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ ОТДЫХА...

1

**Л**егкое, для всех приятное слово — отдых! — чем дальше, тем чаще сочетается с многозначительным, располагающим к ученым раздумьям словом — проблема. И это прекрасно, потому что проблема свободного времени и его использования может возникнуть только в дни мира, только как свидетельство уровня жизни, при котором каждому реально гарантировано право на ежедневный отдых или «отгул» за сверхурочную работу, на еженедельные два нерабочих дня после пяти дней труда, на «большие каникулы» — ежегодный отпуск. Так же естественно, что само количество и качество свободного времени и опыты его организации стали предметом самого пристального внимания наших социологов, партийных и профсоюзных работников, проектировщиков новых городов. Учитывая важность этой проблемы в общемировых масштабах (тема досуга и его использования активно дебатруется в Европе, еще больше, пожалуй, в Америке), они закономерно конкретизируют ее по отношению к советскому обществу и условиям жизни его людей. В геометрической прогрессии растут исследования, растет литература, данной теме посвященная. Если к статье «Отдых», напечатанной в 1955 году в Большой Советской Энциклопедии («Отдых — временный перерыв работы, ведущий к восстановлению сил и способствующий повышению работоспособности»), приложена маленькая библиография: труды Сеченова, Павлова да книжка, изданная в Киеве в 1951 году, — то вышедшие в последующие годы популярные брошюры пополнились ссылками на фундаментальные труды, диссертации, дискуссии в молодежных газетах и «ученых записках».

И совершенно закономерно, что серьезная, состоящая в основном из цифр и таблиц книга Б. Грушина «Свободное время. Актуальные проблемы» молниеносно разошлась в магазинах. И закономерно, что множатся, дополняют друг друга результаты обследований бюджета времени мужчин, женщин, семейных, учащихся, пенсионеров, рабочих, колхозниц Литвы, строителей Новосибирска, обитателей многомиллионных городов и сел, десятками километров отделенных от райцентра. Постепенно определяются главные тенденции, вводящие это время в «истинное богатство общества», и противоречия, которые приводят на память старинную сентенцию: «Праздность — мать всех пороков». Неотрывны друг от друга и в то же время самостоятельны в этих исследованиях оба ракурса общей «проблемы отдыха»: наличие и реальная продолжительность свободного времени разных групп населения и использование людьми своего свободного времени, осуществление права на отдых.

С первого взгляда кажется — что же тут определять? Есть рабочее время — от гудка до гудка, от звонка до звонка, от боя часов — девять до боя часов — пять, или посменные переходы. Все, что за этими пределами, — время свободное. Помните плакат, который расклеивал герой гайдаровской «Школы»? — «Восемь часов работы, восемь — сна, восемь — отдыха». Бесспорность этого плаката утверждена жизнью. Одним из первых указов советской власти был указ о введении восьмичасового рабочего дня. И за прошедшие полвека мы так привыкли к этой продолжительности рабочего време-

ни, что она нам кажется какой-то изначальной. Нужно сделать усилие, чтобы вспомнить: в 1802 году в Англии был принят закон, ограничивающий детский труд на фабрике двенадцатью часами, а неслыханно короткий рабочий день для взрослых рабочих — десять с половиной часов! — ввел на своей «идеальной» фабрике Роберт Оуэн. Чтобы реально понять тяжесть труда и полную безысходность жизни человека, продающего свою рабочую силу, нам нужно сегодня перечитать «Положение рабочего класса в Англии» и «Развитие капитализма в России», «Жерминаль», чеховский рассказ о девочке-прислуге, задушившей ребенка, не дававшего ей заснуть, и чеховский рассказ о девятилетнем ученике сапожника, которому кажется богачом его нищий хозяин («утром дают хлеба, в обед каши... а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают»)...

Но также совершенно справедливо, что для сегодняшних исследователей реального свободного времени и форм его использования те ежедневные шестнадцать часов, которые остаются трудящемуся за пределами рабочего дня, представляют собой лишь самую общую категорию, точку, от которой начинается конкретный отсчет-анализ, свидетельствующий о множестве простейших и в то же время сложнейших проблем, встающих и перед учеными, и перед организаторами рабочего—свободного времени, и перед самими трудящимися. Анализ, свидетельствующий о том, как разнообразно и неравномерно распределяются эти шестнадцать часов (которые сразу резко уменьшаются у врача, работающего на полторы ставки, у учителя, перегруженного уроками, у доярка, не имеющих сменщиц!), определяемые социологами вовсе не как «истинно свободное время», но лишь как «время, свободное от профессионального труда».

Простейшие, повседневные житейские факты свидетельствуют о том, что, помимо времени, которое человек неизбежно тратит на сон и еду, к «истинно свободному времени» не могут относиться ни дальние поездки из дома на работу и с работы домой, ни покупка продуктов, ни приготовление обеда, ни уборка, ни стирка, ни другие домашние хлопоты, бесстрастно учитываемые статистикой.

Очень многие москвичи тратят на дорогу больше двух часов в день, а с ростом города их число не уменьшается, но увеличивается. Статистик констатирует, что во всех больших городах с увеличением жилищного строительства, с решением многих житейских проблем возникают проблемы совершенно новые, не менее тревожные: «В последние годы замечено, что кадровые рабочие стали чаще, чем прежде, увольняться с предприятий. Первыми обратили внимание на этот процесс москвичи и ленинградцы. Они обнаружили: строительство жилья в местах, удаленных от заводов, значительно увеличило затраты времени на дорогу. А поскольку квартиры, как правило, давались кадровым рабочим, эта категория, естественно, и стала искать работу поближе к дому. С болью уходили они из родного коллектива, не имея сил тратить ежедневно по два — четыре часа на дорогу.

Эта ненормальность была обнаружена лет десять назад. Москвичи и ленинградцы предпринимают усилия, чтобы приостановить этот процесс. Казалось бы, опыт этих двух центров должен был быть учтен в других районах. Но в Новосибирске, например, повторяется та же картина».

И не только в Новосибирске, но во Владивостоке, в Иркутске, Горьком, Мурманске «обнаруживается» то, что должно предвидеться и учитываться задолго до начала строительства новых жилищных массивов и переселения в них десятков тысяч людей: фрезеровщики и терапевты, продавщицы и санитарки, электрики и водители троллейбусов непременно будут покидать привычные места работы и перебираться в магазины, поликлиники, лаборатории, депо — поближе к дому, чтобы тратить на дорогу полчаса, а не полтора часа в один конец. Потому что лишний час, проведенный в троллейбусе, автобусе, электричке, — время, безвозвратно пропавшее, уже не приналежащее рабочему и еще не принадлежащее свободному времени. Миллионы людей ежедневно перевозят транспорт одной только Большой Москвы. И счет часов усталости, длинных переходов, подземных переходов, очередей у остановок тоже исчисляется миллионами.

Правда, та же статистика неопровержимо доказывает, что часы, съеденные дорогой, частично возвращаются горожанину, потому что в квартирах со всеми удобствами на домашнее хозяйство тратится времени намного меньше, чем в жилищах без удобств.

В двадцатых годах, обменивая квартиру, люди писали в объявлениях: «в. уд.» (то есть «все удобства»). Это означало водопровод и канализацию, наличие ванны особо оговаривалось и особо ценилось. Сейчас в понятие «в. уд.» для москвича непременно входит мусоропровод и горячая вода, о ванне вообще не говорится: она подразумевается, как входные двери. А все же большая часть городского свободного от работы времени неприметно растворяется десятиминутными сжиданиями автобусов, пятнадцатиминутными очередями за молоком, получасовыми ожиданиями в прачечных и химчистках, загадочными процедурами записей в поликлинику. («Что? Мы к ларингологу по телефону не записываем, приходите завтра за талоном, да пораньше...») Утро уходит на получение талона, на котором написан номер очереди и час приема. Вторую половину дня надо простоять в терпеливой «живой очереди», сжимая в кулаке никому не нужный талон.)

Это ежедневное время, научно называемое «несвободным», ненаучно называется пропавшим; в дороге, в очереди, в ожидании человек зачастую устает гораздо больше, чем во время самой работы, а главное — усталость эта бессмысленна. Ведь «профессиональное», правильно организованное рабочее время, в течение которого выполняется работа, соответствующая склонностям и способностям человека, никогда не бывает временем бросовым; помимо практических результатов, сам труд дает человеку те «положительные эмоции», которые иногда не столько продолжаются, сколько заглушаются во времени, свободном от профессионального труда. Та радость жизни, то ощущение ее гармонии, которое проявляется в труде землепашца и металлурга, которое превращало в произведения искусства кружева, плетенные крепостными девушками, и вышивки горжковских золотшвей, — не может сопутствовать поездке в переполненном автобусе и монотонно-будничным делам, тянущимся нескончаемой чередой. В то же время в самих этих буднях, в круговороте жизни возникают «положительные эмоции», смыкающие несвободное время с временем отдыха.

Справедливо ратуя за освобождение женщин от кухни, не забываем ли мы о радости, какую непременно доставляет хорошей хозяйке празднично убранный стол и приготовление «фирменного» салата, которым будут восхищаться гости? Поэтому заботливые проекты «домов нового быта», где хозяйку прикрепляют к домовому кафе, отлучая от своей кухни, вызывают не только благодарность, но и тревогу. И поэтому далеко не каждая мать согласится отдать своего Вовика или Леночку в «недельный» детский сад, хотя бы и образцовый: труднейшее время женщины, которое социологи категорически относят к «несвободному» — время ухода за детьми, — никогда нельзя назвать потерянным или пропавшим, хотя усталость оно несет не меньшую, чем тяжелейший физический труд. Попробуйте отделите в нем заботы от радостей, часы труда от минут отдыха! Бессонные ночи, шитье костюма «снежинки» для новогоднего утренника, повторение таблицы умножения и дат жизни писателя Гончарова, проводы в армию, выбор профессии младшим поколением — наполняют, оправдывают всю нашу жизнь, все ее «несвободное» и условно свободное время.

Условно — потому, что оно неизбежно превращается в урывки, которые невозможно планировать, на которые нельзя надеяться. И даже хороший детский сад и «продленка» школьная помогают сегодня решить проблему рабочего, но не свободного одного времени. Восемь часов труда в институте, на заводе, в ателье «Индпошив» проходят, будем считать, вполне продуктивно. Но все время вечернее заполняется покупками, готовкой, постирушками, среди которых может выпасть островок — чтение «Мойдодыра». Геологу и археологу долго приходится отказываться от экспедиций, плановику, инженеру — от командировок, гастроли превращаются для актрисы в труднейшую проблему.

Час за часом, год за годом накапливается неизбежная женская статистика, свидетельствующая о том, что у мужчины на домашнее хозяйство уходит в день в среднем один час пятнадцать минут, а у женщины — четыре часа двадцать минут (результат обследования, проведенного в Пскове в 1965 году). Что у «средней москвички» домашняя работа в самом ее неблагоприятном виде — покупка продуктов и приготовление еды — отнимает минимум пятьдесят процентов времени, которое могло бы стать тем «простором для развития способностей», каким видели свободное время

Маркс и Ленин. Что в армии научных работников страны—а в ней тридцать восемь процентов составляет слабый пол,— так вот, в женской части этой армии много рядовых, но мало офицеров, поскольку только одна из семи ученых женщин защищает кандидатскую диссертацию и одна из двухсот пятидесяти—докторскую («мужская» же статистика дает одного кандидата наук из трех и одного доктора из двадцати восьми). Все эти начатые и незаконченные диссертации, исследования, сорванные доклады свидетельствуют не о справедливости старого афоризма: «Курица — не птица, баба — не человек», равно оскорбительного для обеих созданий природы, но о нехватке именно необходимых пластов сосредоточенного спокойного времени, о возрастающей остроте «Матфеева комплекса» — так социологи именуют нехватку времени современного общества, памятуя лукавое евангельское изречение: «Имущему — дастся, у неимущего — отнимется».

Напрасно эпические старухи попрекают молоденьких мамаш в модных юбочках: «Ишь, избаловались — с одним ребенком справиться не могут, это при горячей-то воде да ваннах! Как же наши бабки в деревне — по десять, по двенадцать рожали — и ничего...» Эта устрашающая молодежь цифра — скорее художественный образ, чем реальность. В реальности все было далеко не так идилично: «Десятерых родила — четверо выжили» — вот ее статистика. В реальности женщина, измученная трудом, родами, усталостью, в сорок лет превращалась в старуху. Конечно, тем, кого называли дамами из общества и женщинами из хороших семейств, было не слишком трудно растить детей: няньки и горничные, кухарки и гувернантки набирались в неограниченном количестве, в зависимости от средств. «Проблема домработниц» в прабабушкины времена существовала не для хозяев, а для самих домработниц: век в чужих людях, у плиты, на побегушках, своих детей — в деревню, к родным или — в воспитательный... Эта предопределенность, безвыходность положения «низших слоев» безвозвратна, к счастью. Но в то же время вопрос о помощи семьям, в которых есть дети и мать — работница или студентка, вовсе не снят с повестки сегодняшнего дня, напротив — в чем-то он сделался еще более острым и насущным.

В стремлении преодолеть эту остроту мы очень одобряем мужчин, берущих на себя часть домашнего труда. Действительно, в семьях, где муж не ложится с газетой на диван после обеда, но помогает вымыть посуду, где сын не покрикивает: «Мам, погладь рубашку», но берется за уют,— время распределяется более справедливо. И, конечно, несказанно облегчается жизнь работающей женщины, если хозяйство ведет бабушка-пенсионерка или свекровь. И все же «истинно свободное время» реально может увеличиться не тогда, когда мужчины будут стоять в очереди за картошкой, но тогда, когда сами очереди исчезнут. Не тогда, когда удастся уговорить бабушку бросить работу, чтобы пестовать внука, но тогда, когда можно будет реально обратиться к той «службе нянь», необходимость организации которой все ведомства признают, но от реальной организации которой все ведомства успешно отмежевываются. Тогда, когда покупка, починки, готовка — все бытовые обязанности будут занимать не максимум, но минимум свободного от работы времени, они перестанут быть тяжкой, неизбежной необходимостью. Ведь вовсе не дальнейшее уменьшение рабочего дня, а именно высвобождение ежедневного «истинно свободного времени» должно быть постоянным резервом, целью самого человека и тех государственных, общественных учреждений, которые к этому призваны.

А призваны к этому поистине все.

У жителей новых микрорайонов, «домов нового быта», проектировщики которых действительно предвидят все нужды новоселов, а строители не портят замысел, но осуществляют его, где не только нет очередей в магазинах, но магазины по телефону принимают заказы на продукты, обувь, одежду,— реальное свободное время сразу увеличится часа на три в день, разумеется, если телефон так же войдет в каждую квартиру, как водопровод.

Категория людей, которым ощутимее всего недостает времени и у которых оно действительно служит «простором для развития умственных способностей» — учащиеся вечерних школ, студенты-вечерники и заочники, слушатели многообразных и нужнейших курсов повышения квалификации, — получают это время, если комплекс работа —



дом — учеба становится действительно единым комплексом, в котором все построено так, чтобы помогать становлению человека, определению им своей цели в жизни, сливающейся с общей целью. Если все разнообразнейшие отрасли хозяйства, промышленности, строительства, медицинской службы работают согласованно, задачу своей имея не выполнение плана-«вала», и удовлетворение подлинных, сложных, возрастающих, меняющихся потребностей людей.

Постоянно меняющихся. И в этом — великая трудность их удовлетворения. То, что сегодня устраивает человека — не нужно ему завтра; меняются составы семей, растут дети, которым тоже нужно максимальное приближение к месту их работы, а люди старшего поколения, «максимально приближенные», уже катают внуков в колясках и мечтают о тихой дальней окраине с чистым воздухом. И тенденцию этих изменений не «обнаруживать» надо, но предвидеть. Чтобы руководить ею. Чтобы для каждой новой, ежегодной волны молодых рабочих и служащих, колхозников и инженеров сделать максимум того, что может быть сделано. В том числе — дать им максимум «истинно свободного времени».

## 2

Но с решением проблемы высвобождения свободного времени будут возникать более сложные вопросы, связанные с его использованием.

Как ни парадоксально, но современные исследователи досуга часто сходятся на неожиданном и тревожном выводе: «Человек научился работать, но толком не знает, как отдыхать». Действительно, иногда «золотой работник», отмеченный на производстве премиями и почетными грамотами, свое заслуженное свободное время проводит так, что, претворись в жизнь шварцевская «Сказка о потерянном времени», полный сил юноша превратился бы в столетнего бородатого старца: недели, годы его жизни убиты вялым бездельем или буйным времяпрепровождением, им самим принятым за подлинный отдых.

Конечно, огромная часть молодежи использует и будет использовать свое «истинно свободное время» для учения, для пополнения профессионального и общегуманитарного образования, равно необходимого историку и математику. И время, свободное от учения, проводится и будет проводиться все более разнообразно: кино, радио, имеющиеся в каждом населенном пункте; телевидение, география которого все расширяется; книги, автомобили, стадионы, спортплощадки, старинные ярусные театры и современные театрики, играющие без декораций, университеты культуры, лекции, сопровождаемые фильмами, диапозитивами, симфониями, — уже сегодня выбор досуга огромен, был бы только сам досуг да желание не убить время, но использовать его.

Тем важнее предвидеть возможность его использования не «вообще» в городе или «вообще» в деревне, но вот в этом городе с миллионным населением, в богатейшем совхозе или на дальней живогноводческой ферме, где нет электричества. И помнить, что количество предлагаемых «мероприятий» и разнообразие их вовсе не просто совпадает с потребностями человеческими. Есть обитатели Лаврушинского переулка, не бывавшие в Третьяковской галерее: в их «сферу досуга» живопись не входит. И есть норильский рабочий, который после случайно увиденной выставки картин начал собирать открытки. Сейчас он — обладатель богатейшей в мире коллекции репродукций живописных произведений и крупнейший знаток живописи.

Таким вот «озарениям», сдвигаем в сознании, стремлениям узнать новое, прийти к новому должны способствовать наши «мероприятия по проведению досуга». Поэтому так важно и предвидеть, что в новых московских и ленинградских районах, отдаленных полутора часами езды от центра, резко упадет посещаемость музеев и театров, и реально позаботиться о том, чтобы в районах этих давались спектакли и устраивались выставки.

Московские театры сейчас активно шефствуют над предприятиями своего города и даже над жителями своих районов. Взгляд администратора становится госкливым, когда к его окошечку подходит вереница людей нетеатрального вида: «Здравствуйте, мы, из пятого жэка, хотим премьеру посмотреть!» Естественно, что театрами становятся главным образом обитатели Свердловского или Фрунзенского районов, где расположены почти все московские театры. Но во многих новых районах их вообще нет.

Между тем новоселы Ленина-Дачного, Кунцева, Медведкова, Коломенского больше всего нуждаются в таком шефстве, в приглашениях на премьеры, во встречах с популярными актерами. В том, чтобы им предлагали билеты на лучшие спектакли без опьяляющей и абсурдной «нагрузки». Чтобы в их клубы приезжали театральные коллективы Свердловского и Фрунзенского районов, сберегая людям все то же дорогое свободное время и помогая хорошо его провести. И не только проверенные формы нужны здесь. Ведь (это тоже нужно не констатировать, но предвидеть) в новых районах с их обширными зелеными пространствами и балконами, где можно держать цветочные ящики, непременно возрастает число садоводов-любителей всех возрастов. И как только ложится снег, тысячи лыжников выходят в поле, исчерченное синими тенями, прямо под окна своих домов. Поэтому в комбинатах бытового обслуживания не только кофты надо принимать в чистку и белее в стирку, но ставить лыжные крепления и вообще давать коньки и лыжи напрокат. А магазин, торгующий садовым инвентарем, семенами и рассадой, необходим здесь не меньше, чем библиотека или широкоэкранный кинозал.

Но, пожалуй, «истинное свободное время», отпущенное нам после рабочего дня, уже истекает. Завтра снова пойдет черед: транспорт — работа — транспорт — дела домашние. Дополнит это вечерняя школа, институт, техникум. Но не будем забывать, что впереди у нас — конец недели, отдых, который до недавнего времени был воскресным, а сейчас почти у всех сделался субботне-воскресным. И с этими двумя днями вдвое острее сделалась проблема использования «большого выходного».

Дни эти принесли много хлопот и трудностей руководителям предприятий, экономистам (скользящий график, переходящие выходные, новый расчет рабочего времени) и много радости и реальнейших свободных часов всем трудящимся, в том числе самим руководителям и экономистам.

Снова прежде всего — если они женщины. Раньше воскресенье зачастую было днем, когда доделывалось накопившееся за неделю. Сейчас воскресенье гораздо чаще является истинным днем отдыха. Днем дальних поездок, загородных здравниц, семейных праздников, дней рождения, перенесенных со вторника или пятницы.

О субботе это, к сожалению, можно сказать гораздо реже. Далеко не везде торговля, транспорт, бытовые услуги так организованы и согласованы, чтобы высвободить субботу для посещения театра сельскими жителями и для поездки в деревню горожан. Суббота для многих — время покупок, сдачи белья в прачечную или домашней стирки, а для учащихся — подгонки запущенного и пропущенного, чертежей и переводов с немецкого. Но все чаще необходимое стараются доделать, купить, выучить в пятницу — массивы же субботне-воскресного отдыха тщательно планируются. В пятницу вечером растут очереди в гастрономические, кондитерские, а больше всего в винно-водочные отделы магазинов; в пятницы рыболовы перебирают блесны, автомобилисты закупаются бензином и даже всегда занятые студенты-заочники скапливаются у вокзальных пригородных касс с рюкзаками и гитарами.

Газеты и телепрограммы предлагают карты возможных походов, радио информирует о том, что желающие совершить поход в Рузу должны в семь утра собраться у Белорусского вокзала, возле человека по фамилии Петров, бойко работают театральные кассы.

Причем регламентация, принуждение в этой области невозможны. Человек не хочет превращаться в «вселяющуюся единицу» и всегда избирает тот вид отдыха, который кажется ему самым подходящим для себя. Спаянный дисциплиной и процессом труда, рабочий коллектив распадается по окончании труда, и заново сливаются его единицы в группы отдыхающих, объединенных возрастом, бытом, общими интересами или отсутствием интересов. Объединенных страстью к охоте, собиранием книг, дегустацией вина, «козлом» и т.п. лыжными и пешими походами. Стремления человека к определенному, часто устойчивому виду досуга и возможность осуществления этих стремлений — материал интереснейший.

Оказывается неожиданно большой и год от года увеличивающейся армия горожан, каждый свободный день посвящающих своим садовым участкам с домиком-дачкой, которые кольцом окружили все большие города.

Туда приезжают семьями на все два дня, на весь отпуск — рыхлят землю, сражаются с сорняками, недобрым словом поминают организации, которые никак не могут наладить поточное производство стандартных летних жилищ, вследствие чего приходится покупать тес и кирпич у некоего дяди Степы, кладущего деньги за государственный стройматериал в собственный карман.

И все растет армия любителей дальних поездок: не хватает в субботне-воскресные дни экскурсионных автобусов, и люди в автобусах не экскурсионных, а то и в грузовиках нспешают в старинные города, заповедники, на строительство ГЭС и в знаменитые пещеры.

Круг участников этих поездок расширяется. Но не всегда достаточно, не всегда охватывает подростков, двадцатилетних, молодых «женатиков». Иной университет культуры организован интересно, а в зале его — все люди в очках, пожилые, солидные, а дети их от этого университета только отмахиваются. Иной раз подросток, окончивший техникум, впервые садится в автобус, заполненный активными общественницами в возрасте около пятидесяти. Присядет на одно место: «Это для Веры Ивановны занято», на другое: «Это для Марьи Игнатьевны». В дороге общественницы по-родственному делятся бутербродами и воспоминаниями о выезде прошлой недели, а парню скучновато и голодно — еды он с собой по неопытности не взял, за экскурсоводом схватить не привык, что такое закомары — не знает, все церкви и музеи для него пока на одно лицо. Пока. А может, и навсегда. Потому что от следующей поездки он скорее всего отмахнется: «А ну ее!» — и пойдет во второй раз на третью серию «Фантомаса» или к приятелю Алику.

С детства слышим мы в детском саду: «Сидоров, ты зачем чужой горшок взял?», в школе: «Горячкин, к доске!», на работе: «Алексеева, к мастеру!» Только для приятелей, для девушек остаются пареньки Аликами и Вадиками, в свою очередь называя девушек Галками и Тоньками.

И семнадцатилетнему и сорокалетнему приятели кричат в окно: «Алик, пойдем, сообразим»...

Куда пойдут и что будут соображать Алик и Гарик вечером после смены и тем более в длинный воскресный день — вопрос, важнейший для них самих, для их семей, для общества. Далеко не так часто, как хотелось бы, запасаются они билетами в театр или стремятся в библиотеку за свежим номером журнала. Чаше они заглядывают в клуб, еще чаще в кино и слишком часто бродят, болтаются по улице, толкуются в подъездах.

Поэтому в клубах так важны не только вечера танцев, но вообще хорошие, «не занудливые», как говорят Алики, вечера. Поэтому необходимо, чтобы уважение человека к себе и к другим воспитывали не только штатные культработники, но сама атмосфера дома, в котором он живет, улица, на которую он выходит после работы; улица, встречающая не толкотней прохожих и не скучной тишиной; улица не равнодушная, не снисходительно высокомерная, но гостеприимная к человеку, неприметно его воспитывающая, как воспитывает Кремлевская набережная, Невский проспект, волжский обрыв, над которым высится памятник Валерию Чкалову, рабочая и праздничная перспектива владивостокского порта, над которым высится памятник красноармейцу, закончившему свой поход на Тихом океане; улица, украшенная цветниками и деревьями, старинными зданиями, не затертыми новыми, и панельными домами, непохожими друг на друга, как близнецы. Ведь не бывает улицы «вообще». Улице-проезду, вдоль которой тянутся жилые дома, нужен покой. Главной улице любого города или района большого города необходимо оживление магазинов, кино, клубов. Необходимы рекламные стенды и торжественные доски почета — не с увеличенными паспортными фотографиями, а с такими, какие украсили доску почета в Ленинском районе Владивостока. Отличные фотографы запечатлели каждого за своим делом: рабочего — у станка, парикмахера — склонившимся над головой клиента, а инженеров — за чертежной доской.

Человек сегодня (не всегда это к лучшему) очень отвык от уединения: ему почти не приходится бывать одному ни дома, ни на работе, ни в школе. Да он и не умеет быть один, он постоянно стремится к обществу, к коллективной жизни, к компании — непременно себе подобных. Группой идут по улице дружинники. Группой проходят в

красный уголок члены кружка баянистов, навстречу им стайкой выпархивают члены кружка вязальщиц. И когда в новом районе, где «приживаемость» новоселов очень разнообразна, где еще слабы сцепления людей между собою, им предлагаются только лекции о вреде ревматизма да пивная палатка — то вернее всего, что Алик и Вадик будут экспериментировать возле этой палатки, соединяя в разных пропорциях пиво и захватывающую с собой водку.

Если в жизнь не входит подлинная культура, досуг неизбежно заполнится проявлениями «ангикультуры»: вечеринками со скудной закуской и обильной выпивкой, дружескими спорами, перерастающими в недружеские драки, случайными знакомствами, быстро переходящими в случайные связи. И художники местных стенгазет-«крокодилов» старательно изображают ужасного небритого дебошира 1950 года рождения и девиц, выражавшихся на автобусной остановке в Кунцеве.

Мы можем сколько угодно укорять таких праздных гуляк примерами их сверстников, осваивающих Антарктиду. Можем требовать для них ареста на пятнадцать суток или снабжать бесплатными билетами в водный бассейн: кампании осуждений и запланированной чуткости здесь мало помогают, потому что уничтожить «антикультуру» может только общий, посюсторонний подъем подлинной культуры. В огромной степени — культуры досуга, потому что слишком многие еще действительно не умеют отдыхать.

В одном из славнейших русских городов, сочетающем памятники восьмисотлетней давности с новейшими промышленными комбинатами, после введения пятидневной рабочей недели неожиданно снизилась успеваемость в школах. И не в вечерних, а в обычных пятых-шестых классах, после надежд на то, что двухдневный отдых сблизит родителей с детьми, даст им возможность ближе заняться воспитанием. Но на воспитание времени и сейчас не хватает. Не хватает в тех семьях, которые в пятницу закупают снедь в ближайшем магазине, а в субботу с утра отправляются к приятелю в Заречье или в село к родне (город невелик и теснейше связан со своими окрестностями). Там взрослые пьют, закусывают, пляшут, поют хором и сольно, снова закусывают. Ребята болтаются на улице (в далекий пеший или лыжный поход заботливые родители их не отпускают), таскают еду со столов, снова бегут на улицу. У родни и ночуют, продолжая пир на второй день. В воскресенье поздно вечером возвращаются домой. В понедельник ребятам достаются двойки за невыученные уроки, родителям — головная боль и ожидание следующего недельного праздника, в который все повторяется.

Тот же круговорот сопровождает дни получки. Работники милиции и «скорой помощи» прекрасно знают, в какие дни на каких больших предприятиях их города выдается зарплата, когда ползет вверх кривая несчастных случаев и звонков в милицию: «Приезжайте скорей, тут Алик буянит»... Авторы исследования о досуге молодежи эпически констатируют: «На обследованных нами промышленных предприятиях на дни после праздников и получения заработной платы падает: опозданий — 85 процентов, прогулов — 90 процентов, преждевременные уходы с работы — 70 процентов, халатное отношение к работе — 90 процентов».

Не для такого досуга, конечно, перестраивались графики заводов. И отмахиваться от него, приводя утешительные цифры и проценты, тоже нельзя.

Но снова предоставим слово исследователям свободного времени:

«Почти во всех странах мира большую роль в организации досуга молодежи играют кафе. Само собой разумеется, что успех работы кафе определяется в конечном счете умением создать в них непринужденную, домашнюю, уютную обстановку, исключить возможность проявления антисоциальных типов поведения. Мало просто оборудовать помещение, необходимо сформировать определенную культурную традицию проведения досуга в кафе, иначе полезное дело окажется скомпрометированным или даже погубленным как средство воспитания.

Что происходит в действительности?

Несколько лет назад по всей стране прокатилась кампания организации так называемых «молодежных кафе». И сразу возникает вопрос: не лучше ли, если молодежь будет проводить досуг вместе со своими старшими товарищами и, может быть, даже в какой-то мере под их контролем? Разве связь и преемственность поколений нужны только в труде и в общественной деятельности? Разве учреждения досуга не должны

служить основой для самого широкого общения людей различных возрастов, профессий, вкусов, семейных положений? Небольшое число созданных молодежных кафе, кроме того, ничем не отличалось по своей экономической и организационной структуре от других «предприятий общественного питания». Выручка остается по-прежнему решающим регулятором и показателем работы такого рода учреждений!

В результате только пять процентов опрошенных молодых людей ответили, что они бывали в этих новых очагах досуга. Некоторые вообще не знали об их существовании».

Если уж в Ленинграде, славном своим вкусом и культурными традициями, только пять процентов даже не бывают, но «бывали» (единожды? дважды?) в столь широко разрекламированных молодежных кафе, то как же в других городах? Или везде примелькались, стали звучать как «булочная» и «аптека» названия — «Бригантина», «Алые паруса»? Или их не очень жалуют ежедневные посетители, зная, что название названием, но сардельки здесь не лучше и кофе не гуще, чем в закусочной, не имеющей никакого названия?

Кроме того, прословутые молодежные кафе, кафе-клубы с основания своего обречены двойственности, острейшему конфликту между идеалистами-учредителями, которые стремятся к тому, чтобы посетители много развлекались и немного пили, и то преимущественно сухие вина, и реалистом — трестом столовых, в ведении которого находится кафе. Тресту нужно противоположное: нужно, чтобы посетители больше пили, и не какую-то гам «тетру», а «столичную», потому что именно это способствует перевыполнению финансового плана. Победителем чаще всего остаются реалисты, а интеллектуальные организаторы постепенно изнемогают из-за всевозможных ограничений и отсутствия помощи со стороны общественности, так радостно приветствовавшей открытие очередной «Бригантины», которая должна прививать молодежи хороший вкус в буквальном и переносном смысле этого слова.

Причем действительно, при всей очевидной привлекательности, в самой идее организации молодежных кафе и клубов, как бы отделенных возрастом от иных поколений, таится некоторая искусственность. Но прямое предложение «проводить досуг в обществе старших товарищей», да еще «под их контролем», отпугнет от кафе и те немногие проценты, которые посещают его. Никакого контроля, даже самого тактичного, они не хотят, — только в невозбранности, в неограниченности входа, а вовсе не в «контроле» старших над младшими может заключаться залог нормальной жизни «Бригантины». А лучше всего создать такую широкую, такую разнообразную сеть модных и скромно традиционных, празднично веселых и уютно тихих кафе, небольших и больших, в которых естественны будут и молодежные кафе и клубы.

Не случайно эти слова стоят здесь рядом, вернее — объединяются. Они объединяются самой жизнью, где хорошее кафе всегда бывает своего рода клубом. Цель у них одна — помочь людям хорошо провести свободное время, но расписаны они по различным, не помогающим, а мешающим друг другу ведомствам.

«Вечера поэзии» и «встречи с интересными людьми» сегодня постоянны и естественны в очень немногих кафе, молодежных или немолодежных: в большей их части люди едят-пьют, иногда танцуют, расплачиваются, уступают столик следующей партии едоков. Торжественные и неторжественные вечера, выставки, встречи, выездные сессии товарищеских и народных судов проводятся в клубах, в «красных уголках». Иногда газетчики отмечают выставку, организованную в клубе краснедами. Иногда самодеятельный кружок превращается в народный театр. Инициативный, хороший директор получает поощрения, причем, если он руководит районным клубом, его всячески стараются переманить в клуб заводской, профсоюзный. И обычно преуспевают в этом: в клубе при прославленном заводе и зарплата большая, и возможности разнообразные. И сразу оживляется там работа, сразу приходит молодежь, если в клубе появляется хороший спортивный инструктор, открываются спортивно-игровые секции.

Но все же завсегда там и активисты самых разнообразных секций составляют сравнительно небольшой круг. Далекое не так часто, как хотелось бы, перевоспитываются уличные шатуны. Никак не идут они записываться в драмкружок, ставящий «Таню».

Вот будь в клубе кружок автодела да настоящая машина для практики. они, может быть, и заглянули бы туда, а заглянув — остались. А уж в «пивной зал», подобный тому, что открыт в подвале на углу Столешникова и Пушкинской улицы, заглянули бы наверняка. Но в новых окраинных районах такие «залы» или «бары» открывают редко и изохотно, хотя временные фанерные палатки и винные автоматы активно растут и так же активны очереди возле них. Между тем то самое небольшое помещение, где стоят эмалированные роботы первой ступени, отмеряющие молдавские вина, легко превратить в нормальное «бистро» (слово, которое не нужно переводить, потому что оно, как говорят, произошло от русского «быстро»), уставить его столиками и стульями, присоединить к ним живую официантку, умеющую улыбаться и быстро обслуживать разнообразных посетителей. И поставить в углу обыкновенный телевизор, который гораздо нужнее в такой «забегаловке», чем в «красном уголке». Трансляция хоккейного матча или интересного КВН всегда объединяет людей чувствами более возвышенными, чем оценка качества пива и процента его разбавки. Такие «клубные» эмоции больше отвлекают человека от кружки и стакана, чем на нем сосредоточивают; после матча на мировое первенство завсегдаган пивной могут вернуться в свою панельную квартиру не менее трезвыми, чем члены кружка вязальщиц.

Казалось бы, сделать это нетрудно и недорого, но беда в том, что никак не совмещается такой зал или бар с тем жестким финансовым планом, для выполнения которого необходимы активные потребители винно-водочных изделий, а вовсе не человек, сидящий весь вечер за одной кружкой пива или — не дай бог! — за стаканом чая. А если такой все-таки появится, то официантка ему разъяснит: «Заказывай-ка еще или уходи — у нас план горит...»

В пьесе Островского «Доходное место» знаменитая сцена в трактире начинается с авторской ремарки: «Василий стоит у машины и смотрит газету». А когда тоскующий герой просит что-нибудь почитать, половой, не удивляясь, отвечает: «Извольте вот прочитайте статейку. Одобряют-с». Попробуем мы сегодня в «пивном зале» или даже в ресторане с хрустальными люстрами спросить что-нибудь почитать! Между тем подшивки «Советского спорта» или «Советского экрана», пожалуй, тоже нужны в таких вот «залах» и «барах». И не надо бояться, что «Вечерка» будет зачитана каким-либо посетителем: как раз хорошо, что она будет зачитана — значит, увидел в ней человек что-то для себя интересное, а раз так — моральная польза намного превысит официальную двухкопеечную цену газеты.

Так же, как женщины во все века будут обсуждать проблемы воспитания детей и модные каблуки в дружном женском кружке, так же и мужчины всегда будут стремиться к обсуждению спортивных новостей, поворотов международной политики и международного футбола именно в мужской компании. Поэтому так привлекает обитателей Владивостока огромный новый пивной бар, слава о котором распространилась далеко за пределы города. В глубоком подвале — длинные деревянные столы, уставленные графинами с пивом и недорогими, но вполне доброкачественными закусками. Курить разрешается! Осьминоги и киты, нарисованные на фанерных щитах, тонут в табачном дыму. Поэтому здесь и сидят часами, обсуждая трудности колымской трассы, рейсы в Гонконг, «приписки» к нарядам, качество стройматериалов и запчасти. Отсюда выходят, заплатив умеренную сумму, и возвращаются домой уверенной походкой — поэтому в проекте и постройке такого бара больше понимания реальных потребностей людей и больше пользы, чем в сооружении много неуютного «дворца культуры», к углу которого притулилась бойкая палатка «пиво — водка», которую лучше бы назвать «пиво — водка».

Даниил Гранин в своих очерках об Австралии так живописует блистающие чистотой, рано закрывающиеся сиднейские и мельбурнские пивные, что их опыт немедленно хочется распространить по всему северному полушарию земли. Правда, ошарашивший весь мир писатель и зоолог Джеральд Даррелл более скептически относится к «пятичасовому пойлу», введенному в Новой Зеландии: «Чтобы люди не пьянствовали, бары закрываются в шесть часов вечера, сразу после окончания рабочего дня в учреждениях. Поэтому служащие, выйдя на улицу, мчатся сломя голову в ближайшую пивную и предпринимают отчаянные усилия, чтобы в кратчайший срок поглотить возможно больше

пива. Из всех мер борьбы с алкоголизмом, о которых я слышал, это — одна из самых нелепых».

Такая позиция привлекательна прямою и здравым смыслом. Действительно, всевозможные запретительные меры и сухие законы способствуют лишь развитию частной инициативы, устремленной в обход законов. Как направлять жизнь, как поднимать людей, чтобы их досуг не превращался в служение водочно-пивному богу, — это задача, на которую нельзя предложить единого всеисчерпывающего ответа. Малых мер, малых дел могут быть сотни, и все они, в общем-то, нужны: и распространение театральных билетов в дни полочки, и общественный контроль, который может привести к чувствительному общественному порицанию, и медицинский надзор за гуляками-одиночками, особенно за семьями, где полочка тратится на спиртное, а дети бегают беспризорными, и реклама виноградных вин, должествующая отвлекать от «столичной». А единой, радикальной и простой меры нет и быть не может, хотя цель ясна: если каждый человек ощутит огромную и одновременно реальную перспективу своей жизни, необходимость ее обществу, отвечающему за эту жизнь и требующему ответа с того, кому она дана, то к этой цели и сойдутся все «малые дела». Человек, жизнь которого полна и подлинно насыщена, не нуждается ни в «доинге», ни в утомительном безделье. А если жизнь проходит кое-как, день да ночь — сутки прочь, то любые «плюс два» и даже «плюс четыре» обернутся привычным: «Алик, пойдем... И статистикой понедельника: «Опозданий — 85 процентов, прогулов — 90 процентов...»

### 3

Об организации «большого отдыха» — отпусков рабочих и служащих, колхозников (проблема, далеко еще не разработанная) и железнодорожников, межрейсового времени моряков и студенческих каникул — говорится чем дальше, тем больше. И не только говорится — многое делается для того, чтобы дома отдыха могли вместить всех желающих, чтобы строились новые пансионаты и расширялась сеть «домов рыбака» и «приютов альпиниста». Причем эти пансионаты и дома отдыха заселяют летом чаще жители больших городов. В маленьких городках, не отделенных от реки, от свежести воздуха, проблема непременной отправки детей в лагерь или выезда с ними на лето не так остра, да и многие взрослые предпочитают провести свои двадцать четыре дня на рыбалке, в походах за грибами или возне в саду — а не на переполненном курорте, где койки сдаются не только в комнатах — в сараях, а то и вообще под деревом. Неожиданно радостно начала решаться летняя проблема в некоторых районах Большой Москвы. Обитателям новостроек Химок и Ленина-Дачного дача оказывается иногда ненужной: вместе с квартирой они получают свежий ветер с воды, самую чистую воду, перелески, оставленные между домами. Когда в районе улицы Дыбенко в таком леске появилась воинская часть, чтобы начать какое-то утвержденное строительство, гуляющие дети и бабушки цепью встали перед командиром. Часть уехала и пока не возвращалась — надо надеяться, что объект перенесут в другое место. И что люди, проводящие лето в своем городе, с каждым годом все лучше смогут загорать и гулять, может быть, даже лучше, чем в бивачном «дикарском» существовании у моря.

Пока в качестве «зон отдыха» будут рекламироваться, эксплуатироваться, осваиваться немногие места Крыма, Кавказа, Закарпатья, Прибалтики, а не все прекрасное раздолье России — отдыхающий, не попавший в дом отдыха или путешествующий семейно, обречен снимать за баснословные цены жилье и робко спрашивать у хозяйки разрешение на пользование газом и большой кастрюлей. Пока дома отдыха будут рассчитываться на отдыхающих-одиночек, люди семейные, и так несущие многие житейские тяготы, будут маяться с женой и детьми у «частников». Ведь количество «семейных» домов отдыха настолько еще ограничено, что даже жене моряка, спрашивающей, где может отдохнуть их семья из четырех человек, дальневосточная газета весело отвечает: «Если дети у вас школьного возраста, вы можете приобрести им палатку в пионерлагерь «Моряк», а сами отлично отдохнете в доме отдыха для моряков, который находится рядом с лагерем... Надо сказать, что в порядке исключения, учитывая тяжелые и долгие рейсы наших моряков, в доме отдыха «Моряк» иногда выделяются комнаты для семейных...»

Если уж дальневосточнику, полгода, а то и больше проводящему в плавании, комната (кстати, почему непременно одна? Семье с детьми несравненно удобнее две, хотя бы небольшие, комнаты) предоставляется иногда и в порядке исключения, то что вспоминать о бухгалтерях и врачах? Не говоря уж о детях, даже с женой трудно поехать в отпуск одновременно, если и работаешь с ней на одном заводе: «Иван Алексеич, ты поезжай сейчас, а супруге дадим в октябре — запарка у нас...» В доме отдыха Ивана Алексеича сытно кормят, предоставляют ему огороженный «ведомственный» участок пляжа, экскурсии и увеселения под руководством культурника Яши. Иногда отдыхающий мирно и прекрасно проводит свои законные двадцать четыре дня, загорает, играет в домино, привозит дыни домой. Иногда ежедневно навещается в ближний погребок — дегустировать местные напитки. Бывает даже (не будем утверждать, что это часто случается!) привозит из дома отдыха и новую, праздничную жену взамен будничной. Конечно, семья — дело сложное, и никакими оргмерами ее нельзя укрепить и возобновить. Но укреплению ее может способствовать, а разрушению препятствовать «семейный» отпуск, жизнь с детьми в палаточном городке на лимане или на Клязьминском водохранилище. Ведь и так работающие родители видят легче только вечером да по праздникам. А если отец отдыхает летом в прекрасном заводском доме отдыха под Загорском, а сын — в прекрасном заводском лагере в Анапе, отчуждение увеличивается: «Ну как ты?» — «Три кило прибавил», — вроде больше и говорит не о чем. А потом каемся мы, взрослые, — не усмотрели, не знали, с кем дружит...

И уезжать всем нам нужно из больших городов с их размякшим асфальтом и бензиновым перегаром не только в крымско-кавказские места, но и в Предуралье, в Карелию, на Украину, в села прекрасного европейского Севера. Сейчас семейные жители Москвы, Ленинграда, Киева и других больших городов или катят к Черному морю, или оседают вокруг своего города в радиусе шестидесяти — восьмидесяти километров. Самое понятие «дачник», появившееся сравнительно недавно (чеховский Лопухин предлагает разбить вишневый сад на дачные участки, что совершенно вновь для хозяев имения), вызвавшее к жизни жанр «дачных рассказов», — не ушло и из нашей, очень изменившейся жизни. В чеховские времена на дачу тянулись средние чиновники, врачи, инженеры, преподаватели гимназий; с тех пор дача демократизировалась — на малаховских участках рядом живут журналисты, парикмахеры, шоферы такси (попробуем представить старого московского извозчика, вывозящего семью на дачу!).

Для многих дача — синоним летнего отдыха. Изредка она бывает личной, чаще — снимаемой на лето. Снять дачу — значит, не думать о том, куда пристроить сына, вернувшегося после смены в лагере, не просить путевок для себя, не писать ялтинской знакомой с просьбой присмотреть комнату. И свой отпуск как бы растянуть на все лето, качаясь вечерами в гамаке и собирая сыроежки в роще. В то же время подмосковная дача — это маета с продуктами (понятие «дачный муж» расширилось, соединилось с «дачной женой», спешающей после работы к пригородному поезду с двумя сумками), с готовкой на керосинке, с тасканием воды из колонки. «Какой отдых — дача!» — устало махнет рукой мать или бабушка, лето которой прошло в колготке вокруг кастрюли.

И все же дачи снимают, когда еще лежит снег, дают задатки и годами выезжают на приглянувшийся участок, платя хозяевам изрядные деньги. Сотни тысяч горожан снимают дачи сами: организацией летнего отдыха, посредничеством между владельцами дач и съемщиками никто не занимается в средней России. В южных городах посреднические услуги очень развиты; в Подмоскowie вас ожидают объявления на столбах и путаные указания прохожих. Сейчас появляются сообщения о том, что будут созданы организации, призванные наладить связь между деревенскими жителями и горожанами, мечтающими о тишине. Если организации эти будут работать четко и толково — значение они приобретут огромное. В Крым многие рвутся только оттого, что там комнату найдешь и обратный билет можно заказать еще в Москве. А в деревню, в районный городок привыкли ездить только к родне; как тронешься семьей в незнакомое место, не зная, есть ли там базары, легко ли снять помещение, не превратится ли в муку покупка билетов на полустанке? В Сухуми, в Друскенниках, в Алупке, в Одессе — очереди в рестораны, столовые, закусовые, лежбища на пляжах, очереди на



комнаты. А ярославские деревни, пермско-камские леса, башкирские реки, енисейские утесы остаются пока немногим дачникам ближних городов. И, конечно, туристам.

Все больше людей, вскинув на плечи рюкзаки, обрядившись в тренировочные костюмы, колесит по всей нашей стране, от рыцарских замков до минаретов. К 1980 году нам обещают тридцать два миллиона отечественных туристов, не считая зарубежных, тоже жаждущих осматривать Суздаль и Самарканд. Туризм действительно превращается в одну из важнейших примет века.

В прошлом туризм был утешением богачей: путешествие требовало изрядных денег и свободного времени. И русские, этим обладавшие, тянулись на запад, любящая замками, вознесенными над Рейном, замки эстляндские почитали провинциальными. Как положено, восхищались итальянскими художниками, не зная о Рублеве. Путешествия по стране обычно ограничивались первопрестольной Москвой и Петербургом; только Пушкин мог добираться до Яика, чтобы услышать предания о Пугачеве; только Чехов ехал через всю Россию, чтобы увидеть жизнь ссыльных на Сахалине.

У простонародья был свой исход, свои путешествия — богомолья. Природа мусульманского «хаджа», паломничества буддистов в Лхассу, французских пилигримов ко гробу господню, русского мужика на Соловки в сущности своей совершенно одинакова. Отрешаясь от забот о доме, от круговорота будней, человек приобщался к природе, дороге, ожиданию чуда. Молился в золотых храмах, возвращался просветленным домой — в зеленой чалме или с пузырьком святой воды за пазухой. А иногда не возвращался: принимал постриг на Белом море, становился очарованным странником, бредущим от святыни к святыне.

Сегодняшние туристы тоже осаждают Загорск и Киево-Печерскую Лавру. Потеряв навсегда простодушную веру прежних богомольцев, наши путешественники умножили интерес к чудесам мира и самому дальнему пути. Поэтому они мчатся за гидом не только к фрескам XIV века, но к рыбзаводу и в звероводческий питомник; поэтому круги их паломничества все расширяются, захватывая уже Камчатку, Диксон, даже Землю Франца-Иосифа.

Но не будем здесь описывать красоты и пейзажные контрасты новых маршрутов, с каждым годом умножающихся. Взглянем на «явление века» лишь с одной точки зрения: насколько оно отвечает у нас потребностям века, современным представлениям об отдыхе?

Туризм может превратиться в массовое явление только тогда, когда он действительно доступен массам. А он становится все более доступным. Сегодняшнему отпуску вполне хватает на хорошее путешествие, стоимость путевок на турбазы (тем более что чаще всего они выдаются с внушительными скидками), расходы по «дикому» путешествию на Север или на Урал вполне доступны человеку средней заработной платы. Правда, чем дальше от дома расположена эта турбаза, тем острее становится проблема дороги, стоимость которой может намного превысить цену самой путевки. И паромные маршруты по Лене или морям Дальнего Востока достаточно дороги для того, чтобы учительница из Ярославля или инженер из Усть-Каменогорска долго рассчитывали свою зарплату и возможность займов у добрых знакомых. Естественно, что на таких маршрутах преобладают сегодня научные работники, медики, геологи, большей частью имеющие ученые степени и соответствующие ставки. Лишь одна пятая примерно приходится на долю «профсоюзных» путевок, распределяемых завкомом и профкомом. Распределяемых чаще всего бесплатно, да еще зачастую с субсидией на дорогу. Выданные молодежи, эти путевки большей частью оправдывают себя совершенно. Впервые тронувшийся из своего города или не бывавший дальше Крыма молодой токарь чаще всего «заболевает» туризмом (бывают даже случаи, когда человек, своими глазами увидев Магадан или Якутск, перебирается туда на работу) и планирует на будущий год новое путешествие даже без скидки, на свои, заработанные, если завком не поможет. Конечно, бывает и так, что передовик производства, премированный путевкой — плаванием по арктическим морям, — сокрушается: дурак, поехал бы в Гудауты — море, мандарины, а сюда по доброй воле только психи едут. Холод, все моря одинаковые, на берегу топей за двадцать километров, броди по Мурманску — разве что копченого палтуса купишь...

Такого больше в поход не заманишь. Но на его место сразу приходят несколько других. Потому так неодолимо растет массовый туризм, что он действительно абсолютно отвечает потребностям человека, проводящего одиннадцать месяцев в году за письменным или чертежным столом, у станка. Ему больше, чем лечение и санаторный режим, необходима ходьба, гребля, ночлег в палатках. В то же время отдых от работы сочетается в дальних походах с активным (хотя неизбежно поверхностным) познанием жизни в тех ее ракурсах, которые почти незнакомы горожанину. Иногда путешествуют вдвоем, вчетвером, чаще сбиваются в группы по несколько десятков, а то и сотен человек. Растянувшись длинной цепочкой, ползут на курильский вулкан. Устраивают сварливую очередь за оленьими тапочками на острове Колгуеве под бесстрастными взглядами пенцев, которые впервые от сотворения мира столкнулись с туристами. Фотографируют памятник Бегичеву на Диксоне, памятник Берингу в Петропавловске-Камчатском. Обижаются, если их проведут мимо музея, но, побыв десять минут в музее, начинают томиться и расспрашивать, где здесь ближайший рыбный магазин.

Причем сегодняшним туристским тропам сопутствует не столько благоговейная тишина, сколько стрекот киноаппаратов, шелканье фотоаппаратов, песни, битые бутылки, консервные банки, сорванные «на память» и тут же брошенные цветы и ветки. Иногда один человек ухитряется и любоваться нестеровской березкой -- и вырезать на ней свои инициалы, слушать тишину — и глушить ее транзистором.

Со стороны вид сотен людей, оглашающих первобытный лес хорovým возгласом: «Ах, какая красота!» — вызывает подчас раздражение. Майя Ганина, побывавшая на Камчатке и Командорах, увидев в толпе туристов загулявшего «вербованного» парня, откровенно признается: «Подобные личности меня, как ни странно, меньше раздражают, чем эта суетная толпа, неизвестно куда и неизвестно зачем едущая. Я слышала в Институте вулканологии, как кто-то мрачно сострил: «Великан» прекратил свою деятельность: консервными банками забили». Действительно, забили, загадили и Долину, и дорогу к ней, повырубили реликтовую рощу пихты грациозной на нелепые сувениры: веточка этой пихты на глаз неспециалиста ничем не отличается от ветки обычной пихты; обломали гейзериты. А главное, смысл подобного, очень трудного и очень дорогого путешествия, мне кажется, в том, что идущий должен остановиться мысленно, отключиться от ритма века, постигнуть красоту и медленность природы... Эти сто с лишним километров туристы проходят едва ли не бегом... Приходят в Долину измученные и, не успев толком оглядеться, отправляются обратно. Зачем был совершен прогреб в двести пятьдесят километров? Очевидно, ради того, чтобы сказать после в кругу приятелей: «Был в Долине гейзеров, единственная в мире, между прочим!» — и показать несколько снимков... Впрочем, хватит про туристов. Завтра утром они сойдут, и в следующий раз я увижу их только на «обратном пути». И дальше она еще раз обрадуется, что на Командоры «туристов не пускают» («Знамя», № 4, 1968).

А в газетах уже появились фотографии: туристов высаживают на Командоры в сетке, напоминающей огромную авоську. Значит, и туда добрались. Претерпев все неудобства плавания не на комфортабельном лайнере, а на товаро-пассажи́рском судне. Будут распугивать командорских котиков и кайр, писать имена на скалах, то и дело менять фотопленку — делать все, что положено шумному отдыхающему. И все же не потому, что дальние путешествия стали модой, а потому, что потребность в дальних путешествиях неодолима. И потому, что вряд ли попадут сюда москвичи и харьковчане еще раз: ажиотаж, торопливость, скученность определяются во многом самим стилем «массированного заезда» и малым гостеприимством турбаз и транспортных агентств к путешественнику-одиночке, который и рад бы постигнуть «красоту и медленность природы», но никогда не сможет этого сделать без командировки Союза писателей или какого другого почтенного учреждения, которая открывает двери гостиниц. Пока гостиницы остаются проблемой, пока к вокзальным кассам стоят многочасовые очереди людей, торопящихся по делам, будет вызывать естественное раздражение группа туристов, которым бронируются билеты и койки. Но так же естественно, что количество гостиниц и специальных экскурсионных поездов, пароходов, самолетов, катеров должно расти, чтобы туризм стал необходимостью каждого города, каждого на-

селенного пункта страны, принимающего приезжих и отправляющего своих в путешествие.

Да, сегодня туризм принадлежит большей частью научным работникам, инженерам, врачам, учителям, геологам. Рабочих ребят среди туристов сравнительно мало (и дело здесь, пожалуй, не в ограниченных средствах — дело в скудной рекламе, в бесплодном распределении путевок, которые подчас просто пропадают на одном предприятии, в то время как другое предприятие не может их добиться). Колхозников, вообще работников сельского хозяйства почти нет (изредка мелькнет в списке профессия агронома или зоотехника).

Шумные, любопытные туристы отъединены от места, куда приезжают, от его повседневных, часто нелегких забот! Не мудрено, что соловецкие островитяне с опаской относятся к странникам, распеваящим песенки Высоцкого в бывших скитах; естественно, что женщины, орудующие кувалдами на рельсах заполярной железной дороги от Дудинки к Норильску, искося поглядывают на мужчин, взволнованно расспрашивающих, где можно купить сувениры.

Сувениров действительно обидно мало, хотя изготовление их должно бы стать реальной и весьма существенной статьёй местного дохода. Впрочем, об этой косности разных ведомств и артелей, могущих возродить традиции местных промыслов, столько написано, потоку сувениров придается такое воспитательное значение, что кажется — как только киоски будут снабжены наборами красочных открыток, изделиями из бересты и моржовой кости — улягутся все волнения туристов и организаторов туризма. Между тем ведь «сувенирный вопрос» ничего не решает в тех противоречиях, в сплетении познания и верхоглядства, уважения к природе, к культуре и поистине варварского к ним отношения, которые так остры в нашем организованном и неорганизованном туризме. Причем чаще — именно в организованном! И это вовсе не парадоксально. Одинокие путешественники, идущие за сотни километров, управляющие плотами на порожистой реке, чаще «постигают красоту», больше входят в природу, противостоя ей или покоряясь. Здесь туризм наиболее сближается с подлинным освоением мира. А организованному поездному или пароходному туристу все подносится готовым, мероприятия следуют одно за другим: то лекция, то бег в мешках, то беседа с лоцманом, то праздник Нептуна. Естественно, что обыкновенный лоцман как-то проигрывает рядом с богом морей и его буйной свитой. И остается от путешествия не столько своя память, сколько ее эрзац: пресловутые сувениры, которые все-таки удалось достать на Курилах, груды фотографий, диапозитивы: «Клара, это мы на Лене снимали?» — «Что ты, Васенька, это Днепр...»

Вовсе не трудно выпустить сотни тысяч, миллионы сувениров и в этом сравняться с туристской Европой, заваленной изображениями Эйфелевой башни, пельменницами, на краю которых сидит отштампованная русалочка, дельфтским фаянсом, изделиями из кости, кожи, дерева, соломы, серебра, ниток, пластмассы. Значительно труднее сравнить дудинских работников с московскими доцентами, воронежских колхозниц — с архитекторами-ленинградцами, предоставить им всем равные возможности отдыха, отпусков, путешествий. Но ведь к этому идет жизнь. Новое постановление о туризме, о средоточии этого важнейшего дела в одних руках, несомненно, принесет добрые результаты. Ведь свободное время для всех становится все больше «истинно свободным».

В селах начали строиться вполне городские комбинаты бытового обслуживания и ясли-комбинаты, избы начали заменяться домами с удобствами или оснащаться удобствами. Страна получит скоро десятки тысяч новых легковых машин, наличие которых для многих определит свободное время. А средний возраст человека в нашей стране постоянно увеличивается, и выясняется, что сами пенсионеры не мыслят жизни без работы. И печати уже приходится дебагировать вопросы использования труда людей, перешагнувших на седьмой десяток.

Яснополянский врач Душан Маковицкий записывал в своем дневнике 1910 года: «Как ездит Лев Николаевич верхом! Какими кручами спускается и по каким взбирается наверх, какие проезжает опасные места, полугнилые мосты, окраины круч. Я легок, люблю ездить и много занимаюсь гимнастикой, но мне, сорокатрехлетнему, проделать

то, что проделывает восьмидесятидвухлетний Лев Николаевич, трудно. Я не поспеваю за ним. Моя лошадь чуть-чуть что не ломает шею и себе и мне»...

Такая полнота жизни, свежесть и радость восприятия ее необходимы людям. Та свежесть и радость, которая заставляла Горького многие годы вспоминать один день отдыха на Капри:

«Качаясь в лодке, на голубой и прозрачной, как небо, волне, Ленин учился удить рыбу «с пальца»—лесой без удилица. Рыбаки объясняли ему, что подсекать надо, когда палец почувствует дрожь леси:

— Кози: дринь-дринь. Капиш?

Он тотчас же подсек рыбу, повел ее и закричал с восторгом ребенка, с азартом охотника:

— Ага! Дринь-дринь!

Рыбаки оглушительно и тоже, как дети, радостно захохотали и прозвали рыбака: «Синьор Дринь-дринь».

Такое восприятие действительности неотрывно от бесстрашного познания ее сложностей, от мировоззрения человека, от его отношения к людям и сознания своей неотрывности от потока жизни человечества.

Ученый работал в Лондоне с утра до вечера в библиотеке Британского музея. Вечерами работал дома. «Дом» состоял из двух комнатенок, в которых помещалась семья. Не хватало еды, не на что было купить лекарства для безнадежно больного сына. Нужда ежедневная, отчаянная сопровождала жизнь жены ученого, Женни фон Вестфален, ставшей против воли богатых родителей Женни Маркс. Но мужество, стойкость, доброта сопутствовали всей жизни этой четы. А воспоминания дочери сохранили чам свойство столь же необходимое настоящим людям, как мужество: «Я думаю, что почти так же крепко, как преданность делу рабочих, их связывала и безмерная жизнерадостность. Никому шутка и острота не доставляли такого удовольствия, как им. Очень часто, особенно когда обстоятельства требовали соблюдения приличий и сдержанности, я видела, как они смеялись до того, что слезы текли по их щекам, и тем, которые пытались было морщить нос по поводу такого легкомыслия, оставалось лишь смеяться вместе с ними. И как часто я видела, что они боялись смотреть друг другу в лицо, так как знали, что один-единственный взгляд вызовет неудержимый взрыв хохота. Видеть этих двух людей, когда они, словно школьники, устремляют свои взоры на что угодно, только не друг на друга, задыхаясь от подавляемого смеха, который в конце концов все же, несмотря на все усилия, прорывался с неудержимой силой,—это такое воспоминание, какого я не променяла бы ни на что».

Так жили люди. Так надо жить людям. Не в словесных осуждениях неурядиц быта, которых хватает с излишком, но в деятельном их преодолении. Не в безделье и не в его противоположности — аскетической отрешенности от всего, кроме работы, но в сочетании труда, отдыха, интереса к миру, обнимающего равно труд и отдых. В постоянном ощущении великой, неповторимой ценности самой жизни. Жизни, в которой труд и отдых будут все больше срастаться, сливаться так полно, так гармонично и всесторонне, что свободное время станет реальным, истинным мерилем богатства человеческого общества.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ЛАКШИН

★

## «МУДРЕЦЫ» ОСТРОВСКОГО — В ИСТОРИИ И НА СЦЕНЕ

**М**инувшей зимой, проходя одной из московских улиц, я увидел на афишной тумбе: «На всякого мудреца довольно простоты» (К столетию со дня первой постановки). Известный московский театр приглашал зрителей на премьеру старой пьесы Островского.

Впервые напечатанная на страницах «Отечественных записок» в ноябре 1868 года и сыгранная в сезон 1868—1869 годов на александринской сцене в Петербурге и в Малом театре в Москве, пьеса Островского была с той поры многожды перензана и бесчисленное число раз представлена на столичных и провинциальных подмостках.

О наиболее известных постановках этой пьесы — а ставили ее все, от Немировича-Данченко до Эйзенштейна, — можно теперь прочесть в статьях и книгах критиков ушедших лет, иные спектакли, наверное, на памяти у читателей. «Мудреца», как удобства ради сокращают обычно название пьесы, ставили и в традиционных бытовых одеждах, и как острую французскую комедию, и в модернизованном виде, на арене цирка — с Глумовым в качестве белоэмигранта и Голутвиным-нэпачом.

Но все же в старой пьесе Островского до сих пор остается как будто нечто ускользающее от традиции и не разгаданное до конца. В прозрачной ясности драматурга есть свой обман: внешняя незамысловатость скрадывает подлинную глубину, и порой мы думаем, что достигли дна, в действительности все еще оставаясь на поверхности.

Последние годы отмечены на московской

сцене бурным взлетом интереса к классическому репертуару. Театр идет навстречу желанию новых поколений зрителей как бы прочесть для себя запово знаменитые пьесы Гоголя, Островского, Чехова, Горького. Художественный театр ставит «Ревизора», «Нахлебника» и «Чайку», Малый возобновляет «Бешеные деньги», театр «Современник» после революционной трилогии, о которой мы не так давно писали («Новый мир», № 9, 1968), предлагает новую трактовку горьковского «На дне», заново поставлены в Театре имени Маяковского «Таланты и поклонники». Сделать знакомую, хрестоматийную пьесу притягательной для современной публики, в особенности молодой, значит в чем-то прикоснуться к секрету связи преходящего и вечного, диалектике исторического и нынешнего в искусстве. Надо ли говорить, что это не просто.

Не утихают споры о том, как играть классику. Бывает, что режиссер, надеясь захватить внимание публики классической драмой на целый театральный вечер, поступает с известной пьесой достаточно своевольно: сокращает, вымарывает реплики, сдвигает авторские акценты, так что положительные герои начинают вдруг выглядеть неприятно, а отрицательные неожиданно выигрывают в наших симпатиях. Классическая пьеса служит в таких случаях не более чем сценарием, сырым материалом для свободного творческого полета, лишнего и тени обязательств перед замыслом автора. Признаюсь, мне не по душе, когда живое, современное содержание покупается такой ценою.

Ничего похожего, никакого желания отличиться за счет автора и в ущерб ему нет как будто в постановке «Мудреца» на вахтанговской сцене. Это спокойный, «академический» спектакль, хотя, понятно, и не в традициях Малого театра, а в традициях вахтанговской театральности. Все предвещает, кажется, успех постановке: опытный режиссер А. И. Ремизова, декорации Н. П. Акимова, замечательные артисты-вахтанговцы... Театр ярких актерских индивидуальностей собрал в спектакле сильный состав исполнителей: Мамаева играет Н. Гриценко, Крутицкого — Н. Плотников, Глумова — Ю. Якозлев. Отчего же тогда спектакль оставляет впечатление добродетельной заурядности?

Есть в режиссуре, в игре артистов свои блески, находки, удачи, но пьеса Островского становится в ряд других его комедий, отмеченных прочным штампом бытового восприятия, не дарит на этот раз заметных неожиданностей. Наибольшее удовольствие зала, взрывы добродушного смеха вызывают бытовые, любовные сцены: объяснение старой кокетки Мамаевой с молодым героем, любви которого она домогается, разговор Крутицкого с Турусиной о «грехах молодости» и т. п. В игре артистов преобладает тона легкой комедии, даже водевиля. Зрители смеются, наблюдая комического монстра, какого изображает, к примеру, Гриценко. Актер с первой минуты появления на сцене играет бытовой фарс. Он ходит походкой паралитика, хрипит, как удавленник, страхолодно взглядывает из-под низенького лба. И так как средства автора кажутся ему в этом отношении недостаточными, он то и дело прибегает к проверенным трюкам: спотыкается на пороге, преуморительно чихает, нюхая табак, и т. п.

Черты водевильной клоунады заметны и у других исполнителей. Белокурый, обаятельный Глумов у Яковлева напоминает Хлестакова своей легкостью, непринужденностью обращения и белозубой ослепительной улыбкой. Он тоже умеет смешить зрителя, долго и с шумом сморкаясь в платок или прыгая от преследующей его своей нежностью Мамаевой по длиннющему атласному дивану.

С обычным своим мягким обаянием играет Н. Плотников Крутицкого. Но когда этот лысенький, в красном генеральском

воротнике, сухонький сморчок беседует с Мамаевым, прогуливаясь почему-то вдоль высокого забора с кустодиевским задником, на фоне расписных луковок храмов и теремов, а в репродукторах звучит разудалая русская песня «Пойду ль, выйду ль я...», делается обидно за погибающий смысл пьесы.

Все ее содержание укладывается как будто в схему, характерную для «бытописателя» Островского: со старомодным морализмом драматург изображает людей глупых и умных, хитрых и жадных, подлых и обманутых. Но эта мудрость бедна содержанием, она скользит по сознанию, потому что обличения и нравоучения такого рода для всех равно приемлемы и безразличны: они абстрактны, как в басне.

Между тем Островский написал не столько бытовую, сколько политическую комедию с глубоким социально-философским смыслом. Зритель вахтанговского спектакля не узнает об этом. Он не воспримет комедию исторически, не почувствует ее былой злободневности, для него пропадет бѣльшая доля сатирического яда драматурга.

Благополучная реставрация классика с целью развлечь и позабавить ничуть не лучше поверхностной модернизации. Открыть в пьесе конкретно-исторический ее смысл нелегко, но разве это не единственный путь понять автора глубоко, а стало быть, и современно?

К счастью, мы можем проверить свои впечатления от пьесы с книгой Островского в руках. Конечно, ничто не идет в сравнение с волшебством театра. Но хорошая пьеса может порою стать и увлекательным чтением. По скупым ремаркам воображение дорисует нам обстановку, живые лица героев, заставит угадывать их голоса. И разве так уж плох этот театр для одного себя? Я читаю перечень действующих лиц и пытаюсь представить, как они ходят, говорят, раскланиваются друг с другом. Это люди своего времени, своей среды, и не по костюмам только. Мне доставляет удовольствие разгадывать пружины их действий, существо характеров, их жизненный интерес и мотивы поведения за рамками пьесы...

Велико искушение поставить старую комедию Островского без гримов и декораций, без музыки и световых эффектов, на той сценической площадке, что всегда под рукой, — на белом листе бумаги. И так, занавес!

### ЗАВЯЗКА

На сцене молодой человек, затевающий какую-то интригу. Он самоуверенно, почти грубо разговаривает с матерью, заставляя ее сочинять анонимные письма. Его дом неожиданно посещает знатный барин Мамаев, желающий снять себе хорошую квартиру. Та откровенность, с какой Глумов — так зовут молодого героя — строит свои подленькие карьерные планы, и грубое подхалимство, которое он пускает в ход, чтобы понравиться пришедшему, могут показаться неспосным нарушением сценического правдоподобия. К тому же зритель должен принять на веру следующее: Глумов — дальний родственник Мамаева, но никогда прежде не виделся с ним, незнакома с ним и его мать, называющая Мамаева «братцем». И вот поди же ты — негаданная встреча с дядюшкой как раз в тот момент, когда молодой человек решил пуститься во все тяжкие ради карьеры, и богатый родственник со связями нужен ему позарез.

Правда, тут же выясняется, что Глумов сам подстроил эту встречу, подкупив лакея Мамаева, и все же от первых сцен комедии остается привкус нарочитости.

Смущенная такого рода условностью, современная Островскому критика отказывала комедии о «мудрецах» в какой бы то ни было художественности. Петербургский рецензент В. Буренин, перепутав название пьесы, относил комедию «Современные мудрецы» к числу таких произведений Островского, где драматург «идет нетвердым шагом, спотыкается, фальшивит; его лица выходят деланными, сцены и диалоги неудачными» («С.-Петербургские ведомости», № 76, 1871). «Характеры обрисованы так, что типической жизненной правды в них нет...» — писал обозреватель другой столичной газеты («Голос», № 304, 1868).

Стоит оглянуться назад, чтобы понять причину такого отношения к пьесе, позднее признанной одной из жемчужин русского комедийного репертуара. В одних случаях тут было недовольство общественной позицией писателя, напечатавшего пьесу в журнале Щедрина и совершенно в его духе. В других — просто эстетическое староверство, беда всякой устоявшейся репутации. «Мнение, что Островский хорош только там, где он рисует купцов-самодуров да их загнанных жертв... сделалось общим», — отмечал критик «Вестника Европы» (№ 1, 1869,

стр. 317). Публика привыкла к драмам и комедиям Островского из купеческого быта, и попытки автора писать в ином жанре, рисовать иную среду могли показаться изменой себе и вкусам зрителей, ждавших от драматурга того, к чему они привыкли.

Комедия о «мудрецах» рассердила поклонников «традиционного» Островского. Почему так наивна и неправдоподобна завязка комедии? — спрашивали они. Куда пропал сочный бытовой язык персонажей? И не слишком ли грубовато откровенны саморазоблачения героев? Лесть — так без всякой меры, самоуничтожение — с тошнотворными преувеличениями, фразерство — будто напоказ. И это у драматурга, прославившегося естественностью действия и диалогов!

Но критика, возможно, оказалась бы менее привередлива, если бы верно попала, так сказать, в тон пьесы и правильно оценила ее жанр. Это жанр политической комедии-памфлета, где к месту окажутся и смелая условность, и резкость характеристик, и психологический гротеск. Да и упрек в искусственной завязке хотелось бы отвести.

Первые сцены со всей их психологической и событийной условностью нужны драматургу для стремительного разбега действия. Островский словно спешит сократить экспозицию, и, давши пьесе энергичный ритм, на который мы настроили свои глаза и уши, он больше не вызывает желания упрекать его в неправдоподобии.

Поднявшись от своего стола и почтительно склонив голову, Глумов выслушивает ворчливые наставления дядюшки, искусно поощряя краткими репликами поток его красноречия, и, право, можно заслушаться этим мастерским диалогом с его жизненной естественностью и тайным юмором.

### ВРЕМЯ И МЕСТО ДЕЙСТВИЯ

Мамаев. Я ведь не строгий человек, я все больше словами. У купцов вот обыкновение глупое: как наставление, сейчас за волосы, и при всяком слове и качает, и качает. Этак, говорит, крепче, понятнее. Ну, что хорошего! А я все словами, и то нынче не нравятся.

Глумов. Да-с, после всего этого, я думаю, вам неприятно.

Мамаев (*строго*). Не говорите, пожа-

луйста, об этом, я вас прошу. Как меня тогда кольнуло насквозь вот в это место (показывает на грудь), так до сих пор, пожалуйста как какой-то...

В вахтанговской постановке актеры эффектно обыгрывают слова «кольнуло насквозь вот в это место...». «В это место?» — «Повыше». — «Вот здесь-с?» — с пресерьезным видом спрашивает Глумов чудака-дядюшку. Публика смеется, но за всем этим исчезает более существенный смысл диалога. В самом деле, что значат все эти недомолвки, этот условный язык: «нынче», «тогда», «после всего этого», «не говорите, пожалуйста, об этом?»

Тот же язык иносказаний и намеков остановит внимание зрителей и во втором действии, когда Мамаев говорит Крутицкому: «Да, мы куда-то идем, куда-то ведут нас; но ни мы не знаем куда, ни те, которые ведут нас». О чем они говорят? Чего опасаются? Что имеют в виду?

Смысл этих странных речей непонятен, если не понят характер времени.

В постановке Театра имени Вахтангова время действия определено широко и условно — пожалуй, это время Островского вообще, XIX век, чуть точнее — где-то в его середине. Ошибка в одно-два десятилетия тут мало что значит. Между тем в пьесе конкретность времени запечатлена с резкой определенностью, и по множеству примет действие комедии следует отнести к 1866—1868 годам. Именно эти два-три года дали начало времени, резко определившемуся в русской истории как пора пореформенного похмелья. Написанная Островским в уединении сельца Щелыкова осенью 1868 года, пьеса была, таким образом, злободневна, как свежая газета. Все в комедии полно гулом главных событий времени — крестьянской, судебной и земской реформ 1861—1864 годов. Только в согласии с жанром гул этот транспонирован в комедийный лепет и шум. Не приближаемся ли мы тут к отгадке косноязычных речей Мамаева о том, как его тогда кольнуло и куда его теперь ведут?

Конец шестидесятых годов был временем подведения первых итогов реформ; одних эти итоги радовали, других разочаровали. В 1866 году упразднением крепостного права в Мингрелии была завершена крестьянская реформа в России. «Одна из величайших страниц всемирной истории дописана и дописана так, как еще не удава-

лось это ни разу до нашего времени, — писал либеральный публицист. — На долю России выпала завидная участь доказать миру, что ниспровержение отжившего свой век порядка вовсе не должно неизбежным образом сопровождаться потрясением государственного здания...» «Громко и убедительно говорит само за себя великое дело судебной реформы, — заверял в другой статье тот же автор. — С первых же шагов развенчаются, как дым, различные нелепые опасения насчет возможности осуществления ее. Оказывается, что мысль законодателя пала на благодарную почву, и на этой почве, почти невозделанной, совершенно, казалось бы, неподготовленной, вырастают точно чудом все элементы, нужные для осуществления великой реформы...»

Эти строки взяты из «Политической хроники» «Отечественных записок» 1867 года (№№ 3 и 4), то есть той поры, когда журнал не перешел еще в руки Некрасова и Щедрина и влачил жалкое существование под редакцией Краевского. Его насмешный публицист пел в полном согласии с официальной ориентацией. А всего лишь полтора года спустя в том же журнале Щедрина совсем с иных позиций расценил итоги реформы: «Хотя крепостное право в своих прежних осязательных формах не существует с 19 февраля 1861 года, тем не менее оно и до сих пор остается единственным живым местом в нашем организме. Оно живет в нашем темпераменте, в нашем образе мыслей, в наших обычаях, в наших поступках. Все, на что бы мы ни обратили наши взоры, все из него выходит и на него опирается» («Отечественные записки», № 1, 1869, стр. 207).

В то время как либералы громко ликовали по поводу перемен, а консерваторы глухо ворчали, выражая свое недовольство происшедшим, передовая русская мысль упорно подчеркивала робость, узость, непоследовательность проведенных реформ. Едва сделав шаг вперед, правительство тут же спохватывалось, и завершение социальных реформ шло бок о бок с самой черной политической реакцией. Парадокс истории состоял в том, что проводившиеся сверху «великие реформы» настолько пугали своими последствиями самих правительственных реформаторов, что они то и дело сводили их на нет, давая задний ход, тормозя едва начатое и сдерживая полицейской узлой те силы в обществе, которые наставляли на



радикальных переменах. Правительство, боявшееся революционеров, опасалось и критики со стороны ярых консерваторов, постоянно оглядывалось на них, и оттого робкие акты «реформирования» сопровождалась неприменными «обузданиями» передовой части общества.

1866—1868 годы были новой полосой такого «обуздания». Выстрел Дмитрия Каракозова в царя вызвал очередную волну правительственных репрессий. В 1866 году был закрыт журнал «Современник» и проведены аресты; в 1867 году ограничена свобода прений в земских собраниях и за чрезмерный либерализм прекращена деятельность земских учреждений Петербургской губернии; в 1868 году был издан закон, по которому местные власти получали право запрещать розничную продажу газет и журналов за «неблагонамеренное» направление; были приняты также решения, согласно которым противозаконными признавались «все тайные общества, с какой бы целью они ни были учреждены, все собрания, сходбища, товарищества, кружки, артели и проч., преследующие вредную цель...». Даже либеральный публицист не одобрил этой меры, согласно которой к противозаконному обществу «может быть причислен всякий постоянно собирающийся кружок, в котором с некоторою свободою обсуждаются вопросы религиозного, нравственного и даже научного свойства» («Отечественные записки», «Политическая хроника», № 4, 1867). Тем самым полиция вновь получала право наблюдать и за домашней жизнью частных лиц: Россия возвращалась к обычновениям и порядкам, существовавшим в стране до 1855 года.

Чуткое к посвисту полицейского бича либеральное общество готово было мгновенно уgomониться. Позади остались годы надежд и упований, преувеличенных восторгов по поводу вступления страны на новые пути. В обществе чувствовалась усталость, индифферентизм. Идейная и нравственная опустошенность захватывала все новых людей, слывших либерально настроенными, и расплзалась, как плесень, в этой неустойчивой среде.

Говорят, что нет переходных эпох и напротив, любая эпоха есть, в сущности, переход к другому времени. Но если какая-либо пора в истории заслуживает по своей унылости и бесцветности названия «переходной», то это именно конец шестидеся-

тых годов прошлого века. История будто устала за своей работой и сделала паузу, мгновенно произведя на свет множество жалких деятелей, героев минуты, достойных острого комедийного пера. Скоро-скоро Некрасов найдет свое беспощадное определение этой смутной поре: «бывали хуже времена, но не было подлей». Еще не изжито внешнее возбуждение, вызванное обсуждением реформ, но всех уже как бы накрывает с головой мертвая зыбь — ровная и укачивающая. Нет, это не эпоха кровавого террора, это — тихая реакция.

Не слышно стука николаевских сапог, нет тяжкого гнета аракчеевской казармы, и давно отменен «чугунный устав» для печати адмирала Шишкова, но современниками их время ощущается как позорное, второразрядное, пустое, изжитое, несамостоятельное в истории.

Такое время действия комедии Островского.

Место действия — Москва шестидесятих годов — делает как бы еще рельефнее эти свойства времени: в старой столице «новые веяния» выглядят карикатурнее, чем в Петербурге, а старозаветные крепостнические нравы держатся здесь прочнее.

В пушкинские времена хлебосольная и гостеприимная Москва слыла антиподом чиновного Петербурга. Пушкин писал в напутственном послании своему приятелю Всеволожскому:

Итак, от наших берегов,  
От мертвой области рабов  
Капральства, прихотей и моды  
Ты скачешь в мирную Москву,  
Где наслажденьям знают цену,  
Беспечно дремлют наяву  
И в жизни любят перемену.  
Разнообразной и живой  
Москва пленяет пестротой,  
Старинной роскошью, пирами,  
Невестами, колоколами...

Мы найдем у Островского лишь слабые отголоски этой добродушной идиллии. Время железных дорог и акционерных компаний, либеральных речей и адвокатских контор заставило Москву изо всех сил тянуться за Петербургом. Правда, Москва и тут пыталась отличиться, придав либеральной шумихе чисто «московскую» окраску. С легкой руки откупщика-миллионера Кокорева здесь вошли в моду торжественные обеды с либеральными тостами, когда за

одним столом собиралось несколько сот человек и речи говорились не менее звонкие, чем в столице. А вместе с тем в бытовом укладе города, где еще недавно слыш про роком глава московских ворожей и гадальщиц Иван Яковлевич Корейша, оставалось много ветхого, причудливого, что шло от наследия дореформенной поры. Исконный консерватизм, прилаженность всего быта к старым крепостническим, патриархальным порядкам все еще во многом определяли жизнь в купеческих домишках Замоскворечья и дворянских особняках между Арбатом и Пречистенкой.

«Нигде традиции барства и холопства не проникли так глубоко в жизнь, не пропитали, так сказать, всего нравственного существа ее и не воплотились так рельефно во всех нравах, обычаях, воззрениях, как в Москве,— писал в 1868 году публицист «Отечественных записок». — Проникнув в больших или меньших дозах во все классы общества и соединившись здесь с русским кулачеством и самодурством, они представляют собою такую чудную нравственную амальгаму, запах которой крепко бьет в нос всюду, не исключая даже науки и литературы»<sup>1</sup>.

В спектакле Театра имени Вахтангова эта «амальгама», как деликатно выразился Г. Елисеев, слабо ощутима. Скорее тут присутствует тонкий и изысканный аромат французской комедии положений. Смущает уже само представление театра о «месте действия». Оформление, подготовленное известным театральным мастером Н. П. Акимовым, красочно, эффектно, но недостоверно. Художник дал спектаклю нарядные, праздничные декорации: почти современный веселый, цветной интерьер квартиры Глумова в первом акте, роскошная белая колоннада на берегу лазурного озера (Люцерн? Лаго Маджоре? — теряется зритель), долженствующая изображать дачу Турусиной в Сокольниках, и т. п. Это сразу же губит важный для комедиографа контраст «новых веяний» и стародавнего, устойчивого, косного московского быта. Легкий, праздничный тон обретает и вся постановка. Будто услышав слово «комедия», режиссер решил: пусть зритель сполна насладится ве-

селым, развлекательным, насмешливым зрелищем.

Внешне спектакль отдает дань современной театральности. По существу — постановка вахтанговцев далека от современности, потому что в ней нет точного ощущения истории. Нет «воздуха» времени. Нет и понятия о том, чем осталась в памяти России та пора — пора первых итогов «великих реформ», так много издала обещавших, но никого не удовлетворивших; пора общественного безразличия, рабского молчания большинства, потери перспективы, рождавшей отвращение к социальным проблемам или склонность к легковесной городулинской болтовне.

Но, может быть, мы запрашиваем у театра слишком многого и требуем от сцены того, что доступно лишь историческому исследованию? Не думаю. У художника есть свои средства рассказать о том, что знает историк.

Работая еще до революции над постановкой «Мудреца» в Московском Художественном театре, В. И. Немирович-Данченко в таких словах определял общий тон спектакля:

«1866 год. Очень неблагоприятный в смысле внешнего стиля — как линии, так и красок. Но, может быть, в наше время (это говорилось в 1909 году.— В. Л.) можно найти вкус в суховатости, прямолинейности и бескрасочности эпохи...

Лето. Москва. Жарко. В общем тоне исполнителей самое важное — найти огромное эпическое спокойствие. Точно тысячи лет так жили и будут так жить еще тысячи лет. Только что произошла крупная реформа (61-й год), где-то появились новые люди, новые мысли, новые слова. Но сюда ворвутся только слова Городулина. Ничто не изменится»<sup>1</sup>.

Чутье художника верно подсказало Немировичу-Данченко общее настроение пьесы, стиль и «цвет» времени. «Огромное эпическое спокойствие» — не просто черта мироощущения Островского-бытописателя. Как бы по контрасту с внешне суетливой и крикливой современностью в комедии обнажаются более глубокие и устойчивые в своей неизменности пласты жизни. Вопреки либеральной фразе об «обновленной Рос-

<sup>1</sup> Г. Елисеев Производительные силы России «Отечественные записки», № 2. 1868, стр. 437.

<sup>1</sup> Вл. И. Немирович-Данченко. Режиссерский экземпляр пьесы «На всякого мудреца довольно простоты». Архив Музея МХАТ, № 85, л. 1.

сии», о «заре новой жизни» реформы не принесли ожидаемого благоденствия, и под тонкой пленкой прогресса всюду еще проглядывала старая, косная, домостроевская Русь.

Когда Глумов говорит Городулину, что, если хочешь выслужиться, надо иметь лакейские качества, холопство «с известной долей грациозности», горячий поклонник «новых учреждений» прерывает его: «...Все это было прежде, теперь совсем другое». «Что-то не выдать этого другого-то», — резонно отвечает Глумов.

Косность бытового и общественного уклада, сама возможность для таких исторически отживших людей, как Крутицкий или Мамаев, играть какую-то роль в обществе — свидетельство того, что крепостное право не побеждено, хоть и надломлено. И как же в общем безрадостны итоги, к каким пришло общество в результате десятилетних споров, упований и «великих надежд»!

В такую пору безвременья, реакции, невольной паузы в истории в особенно бедственном и угнетенном положении находится мысль. И если внимательно прочесть комедию Островского, становится вдруг ясно, что именно ненавистью к безмыслию и сочувствием к угнетенному состоянию всякой сознательной мысли в эпоху застоя и реакции одушевлено сатирическое перо драматурга. «На всякого мудреца довольно простоты» — это «Горе от ума» шестидесятых годов.

### ЧТО ТАКОЕ «МУДРЕЦЫ»?

Едва открыв пьесу Островского, легко убедиться, как охотно и многословно действующие ее лица говорят о своей и чужой глупости, мудрости, уме. Эти слова непрестанно на языке Глумова, Мамаева, Крутицкого и других героев комедии. Похоже, что их сознание загипнотизировано этой неожиданной и не слишком пригодной для обыденного разговора темой. Об уме и глупости говорят подробно, всласть, с понятным самодовольством и неожиданной откровенностью.

Мамаев. ...Какой же у вас резон?

Глумов. Никакого резона. По глупости.

Мамаев. По глупости? Что за вздор?

Глумов. Какой же вздор! Я глуп.

Мамаев. Глуп! Это странно. Как же так, глуп?

Глумов. Очень просто, ума недостаточно. Что ж тут удивительного! Разве этого не бывает? Очень часто.

Крутицкий. ...Но где же, я вас спрашиваю, вековая мудрость, вековая опытность...

Мамаев. ...Вот в чем вся беда: умных людей, нас не слушают.

Глумова. Чтобы замѣтным-то быть, нужно ум большой; а людям обыкновенным трудно, ох, как трудно!

Мамаева. Вы к сыну несправедливы, у него ума очень довольно. Да и нет особенной надобности в большом уме, довольно и того, что он хорош собою. К чему тут ум?

Глумов. Ума, ума у вас, дядюшка!

Мамаев. Надеюсь!

Крутицкий (*ударя себя карандашом по лбу*). ..Умно, умно. У вас есть тут, молодой человек, есть! Очень рад; старайтесь!

Глумов. У меня ведь целая жизнь впереди; нужно запастись мудростью; не часто может представиться такой случай... и т. д. и т. п.

«Мудрость», «мудрецы», «глупость», «ум», «ума», «об уме» — склоняется на разные лады в пьесе. Какой в этом смысл? Содержится ли тут что-то существенное, характерное, или это не более как полюбившаяся драматургу насмешка над личными человеческими слабостями, водевильный прием, вызывающий беззаботный смех над простаками и недалекими людьми? В таком случае тут есть почва лишь для самого поверхностного комизма.

Но ироническое словечко «мудрецы» явно говорит о чем-то большем. Не зря оно вынесено и в название пьесы. Как обычно, Островский оправдывает пословицу в сюжете. Когда в последнем акте Глумов понимает, что благодаря нелепой случайности — краже дневника — он изобличен в двоедушии, ему ничего не остается, как признаться: «Вас возмутил мой дневник. Как он попал к вам в руки, я не знаю. На всякого мудреца довольно простоты».

«Мудрецом» тут назван Глумов. Но разве только к Глумову, объяснившему под занавес свою неудачу известной пословицей, относится это ироническое словцо? Нет, той же печатью мечены и Мамаев, и Крутицкий, и Городулин, и Турусина. И развенчивая их глупость, косность и причуды, доводя до очевидности и обнажая изнанку защитной системы фраз и величавых жестов, Островский откровенно смеется надо всеми ими, говоря: на всякого мудреца довольно простоты.

Так кто же такие «мудрецы» в понимании современников Островского? Целый сонм «новых деятелей» — составителей «проектов», «мнений», записок, возбудителей «вопросов», мастеров произнесения либеральных спичей породила пореформенная эпоха. Своею наследной мудростью не уставали кичиться и старозаветные ретрограды. За всеми ими и закрепились в литературе конца шестидесятых годов едкое словечко «мудрецы».

Некрасов писал в эти годы:

Не много выиграл народ,  
И легче нет ему покуда  
Ни от чиновных мудрецов,  
Ни от фанатиков народных...

В «Хронике общественной жизни», предназначенной для «Женского вестника» (1867), Слепцов по-своему развивал эту тему: «Я раньше сказал, что я сидел между мудрецов. Их было довольно, и они все были в том возрасте, в котором должны быть умеренные либералы, именно от тридцати пяти до сорока пяти лет».

«Мудрецы вздыхают,— вторил ему Щедрин,— соболезнают, устрашают друг друга и — странное дело! — несмотря на пуганья, только добреют да нагуливают себе жиру в борьбе с поправами и глумлениями». Феденьку Кротикова Щедрин не раз называет «пустопорожним мудрецом», другой герой исправляет у него «на время должность мудреца», а однажды Щедрин даже называет страну, «которая всецело посвятила себя обоготворению «тишины», которая отказалась от заблуждений и все внимание свое устремила на правильность расчетов по ежедневным затратам», «странною мудрых».

Островский идет в русле демократической литературы и публицистики, посвящая свою комедию проблеме «мудрости» — мудрости

житейской и политической, старой, косной патриархальной мудрости и нового, предпримчивого беспринципного ума. Так когда-то в комедии Грибоедова, хоть и совсем в ином тоне и плане, проблемой стала беда свободного ума, и она не только определила идею пьесы, но и ее интригу: ведь ослабив Чацкого сумасшедшим, ему отказывают в том, в чем он бесспорно выше окружающих,— в уме, который кажется чем-то вызывающим, неприличным в среде Скалозубов и Фамусовых.

Само обращение к теме «ума» и «мудрости» не было, таким образом, слишком большой новостью. Новостью оказалось то, что в пьесе, как бы посвященной теме ума, не нашлось ни одного положительного или хотя бы страдающего лица — все или глупцы, или прохвосты. Ум стал предметом торга, инструментом обмана, даром изворотливости и, казалось бы, ничем более. Для Островского, свято верующего в разум, помнящего живые предания русской литературы, воспитанного пушкинским сознанием, что «ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума», для просветителя Островского такое попрание мысли было нестерпимым и требовало отщепления сатирой.

Пусть не покажется слишком уж общим, абстрактно морализующим сам подход драматурга к его теме. Ум, глупость — понятия сами по себе изначально простые и, как бы сказать, общечеловеческие,— облекаясь живой плотью, дают немало для понимания социальной психологии. Общественное положение людей, их взгляды и интересы порой делают людей глупыми даже вопреки их природе и заставляют совершать поступки, противоречащие здравому смыслу. Имущественные привилегии вынуждают их действовать не по логике рассудка, а по классовой логике. Сила личного интереса, более могущественная, чем разум, толкает их на защиту реакционных идей и отживших учреждений... Так путем «противоестественного отбора» глупцы по природе и глупцы по обстоятельствам вербуются историей для поддержания косного и несправедливого порядка вещей.

Островский поступал как социальный психолог, которого интересует не столько содержание политических взглядов, сколько психологическая форма их проявления и бытования: общий строй понятий, заметный

в каждой мелочи и на каждом шагу, сам характер рассуждений, обычные предрассудки, законы, по каким возникают некие устойчивые реакции поведения и типичные извороты мысли.

Исследование общеморальных, общечеловеческих понятий в том, как они преломились в современной политической ситуации, было замечательным открытием ближайшего современника Островского — Салтыкова-Щедрина. Сила, слабость, ум, глупость, испуг, нераскаянность и т. п. — оперируя этими абстрактными, казалось бы, понятиями, Щедрин учил читателя извлекать из них множество современных политических оттенков.

Близость автора пьесы о «мудрецах» к Щедрину не осталась незамеченной современниками. Правда, критика шестидесятых—семидесятых годов видела в этом симптом упадка драматурга, угасания его самобытности. «Угадайте, кто это — Островский или Щедрин! — восклицал критик Н. Языков, процитировав известный монолог Крутицкого. — Что это: сатира, карикатура, тип, шутка, ирония или фарс?»<sup>1</sup>. Высказывалось мнение, что щедринские приемы сатиры чужды комедии как жанру. «...Пошиб этой комедии, — суммировал позднее эти толки о «Мудреце» историк литературы Орест Миллер, — отзывается несколько Щедриным; но что хорошо в сатире, то не совсем уместно в комедии»<sup>2</sup>.

Можно не соглашаться с тоном этих суждений, можно решительно опспорить такой подход к делу, но сам факт художественного родства отмечен верно. Такие произведения, как «Признаки времени», «Письма о провинции» или «Господа-ташкентцы» Щедрина, представляли собою как бы парад-алле современных социальных типов в их наиболее характерных движениях и позах. Сходным явлением в области драмы была и комедия Островского. Пьеса, связанная интригой чисто внешне, представляла собою галерею саркастических портретов московских «мудрецов», выставленных для всеобщего обозрения и насмешки. Открывает эту галерею дядюшка Глумова, оставший статский советник Мамаев.

## ПРИЧУДЫ ДЯДЮШКИ

Нил Федосеич Мамаев как-то особенно охотно рассуждает об уме и глупости. Разумеется, о своем уме и чужой глупости. И свой ум он не склонен прятать, держать при себе. В первых же сценах комедии гусар Курчаев, один из тридцати его племянников, претендующих на завещание, объясняет нам дядюшку: «Он считает себя всех умнее и всех учит. Его хлебом не корми, только приди совета попроси». Глумов слышит эти слова и наматывает себе на ус.

От подвыпившего Курчаева можно получить немало и других ценных сведений. Ну, скажем, то, что Мамаев имеет странное обыкновение ездить по городу в поисках квартиры. «Выедет с утра, квартир десять осмотрит, поговорит с хозяевами, с дворниками, потом поедет по лавкам пробовать икру, балык, там рассядется, в рассуждения пустится». Самое интересное, что квартира Мамаеву вовсе не нужна. Тут то же, что и с балыком и с икрой: он осматривает, но не снимает, пробует, но не берет, приценивается, но не покупает. Его удовольствие — сам процесс осмотра, обсуждения, разговора.

Этим чудачеством дядюшки и пользуется Глумов. Заманив его в свою квартиру, он дает ему возможность разговориться, безбожно льстя его уму и почтительно самоуничижаясь. Мамаеву же много не надо: его только тронь — и он прилипнет со своими поучениями. Скромно потупившись, Глумов говорит, что сдает свою квартиру, потому что снимать ее ему «не по средствам». Жадный огонек загорается в глазах Мамаева: тут есть кого поучить уму-разуму. И привязавшись к словам Глумова, он целую предиду ему читает: «А зачем же нанимали, коли не по средствам? Кто вас неволил? Что вас за ворот, что ли, тянули. в шею толкали? Нанимай, нанимай!» Прервав на мгновение этот поток красноречия, чтобы заметить: Мамаев постоянно копнит в себе внутреннее раздражение, способное вылиться на голову первого встречного. Он носит в себе это раздражение с утра до вечера и едва увидит какой-либо непорядок или то, что покажется ему непорядком, он начинает немедленно поучать, разогреваясь по дороге, с полным словесным недержанием, с невозможностью остановиться в своей грозной воркотне. «...А вот теперь, чай, в долгишках запутались. На цугундер

<sup>1</sup> Н. Языков. Бессилие творческой мысли. Журнал «Дело», № 2, 1875, стр. 32.

<sup>2</sup> О. Миллер. Русские писатели после Гоголя, ч. III. 1888, стр. 307.

тянут? Да уж, конечно, конечно. Из большой-то квартиры да придется в одной комнатке жить; приятно это будет?»

Показным образом негодуя на свою непонятливость и восхваляя ум дядюшки, Глумов незаметно для своего собеседника подводит его к нужным суждениям и выводам. Убедившись, что Мамаева понесло и он у него на крючке, Глумов ошеломляет дядюшку нелепейшим признанием: он сдает эту квартиру, чтобы нанять большую. Мамаев поражен, ошарашен, можно представить себе, как у него глаза на лоб полезли... «Как так больше? На этой жить средств нет, а нанимаете больше! Какой же у вас резон?» И слышит ошеломляюще нелепый ответ Глумова: «Никакого резона. По глупости». Такого рода самокритика молодого человека — для Мамаева маслом по сердцу. Глумов почти издевается над ним, а Мамаев после первой минуты удивления принимает и это за чистую монету. Обычная черта такого сорта людей — они не чувствуют юмора, не способны видеть второй слой реплики, не реагируют на преувеличения, они принимают все сказанное буквально и плоско. Тем более если речь идет об их личных преимуществах и достоинствах.

Лесть Глумова дядюшке настолько груба и прямолинейна, что ее неискренность бросилась бы в глаза любому. Любому, но не Мамаеву. Опьяненный своей мудростью, он не замечает, как плохо маскирует Глумов свои истинные намерения. Средства Глумова несложны: он лишь не устает твердить, что глуп и жаждет, алчет дядюшкиного совета как манны небесной. По острому слову Анатоля Франса — если хочешь польстить, надо бояться только одного: не оказаться в этом деле гомеопатом. И Глумов дает дядюшке не то что аллопатические, но просто лошадиные дозы лести. А Мамаев сглатывает их, не поморщившись, и как ни в чем не бывало, самодовольно улыбнувшись, ждет новой порции.

Внимая наставлениям Мамаева, мы попадаем в какой-то особый климат добросовестного идеотизма, в мир щедринских бесшабашных советников с целью в черепе на затылке, предназначенной для особо скорого усвоения указаний начальства и глухо закрытой для всяких иных внушений.

Легко понять, что Мамаев, мягко говоря, **недалек, но как все же объяснить его стран-**

ные причуды — патологическую страсть к поучениям, ежедневные разъезды в поисках квартиры и т. п.? Современная Островскому критика остановилась в смущении перед этим обстоятельством. Мамаев — «величайший оригинал», «чудак», по определению рецензента «Современной летописи» (№ 39, 1868), — являл собою множество «ничем не объяснимых странностей». Конечно, драматург вправе приписать комическому герою любую странность, но не перехватил ли здесь автор?

Островский, однако, приоткрывает забесу над странностями Мамаева, находя им прямое социальное объяснение. «Отчего нынче прислуга нехорошая? — заводит Мамаев одно из излюбленных своих рассуждений. — Оттого, что свободна от обязанности выслушивать поучения. Прежде, бывало, я у своих подданных во всякую малость входил. Всех поучал, от мала до велика. Часа по два каждому наставления читал; бывало, в самые высшие сферы мышления заберешься, а он стоит перед тобой, постепенно до чувства доходит, одними вздохами, бывало, он у меня истомится. И ему на пользу, и мне благородное занятие. А нынче, после всего этого... Вы понимаете, после чего?» — «Понимаю», — с выразительной краткостью отвечает Глумов.

Мамаев боится прямо назвать так грубо переменившую его жизнь и лишившую «подданных» реформу 1861 года. Наука самобережения состоит, между прочим, и в том, чтобы игнорировать неприятные понятия и слова-раздражители. Подобно бабушке Татьяне Юрьевне в очерках Щедрина, уклончиво именовавшей то же событие «известной катастрофой», Мамаев обходится туманными эвфемизмами. Он весь еще в тоске по недавнему прошлому, рисуяшему его воображению обольстительные сцены: барин, забравшийся «в самые высшие сферы мышления», и оробевший, стоящий на вытяжку, закатив глаза, немотствующий слуга. Совсем не то теперь: «Раза два ему метафизику-то прочтешь, он и идет за расчетом».

Весь строй жизненных понятий Мамаева был связан с крепостным правом, с теми отношениями барина и слуги, крестьянина и помещика, которые казались установленными от века и непоколебимыми. Крестьянская реформа застала его, барина до мозга костей, врасплох и переживалась как чудовищ-

ная несправедливость, сильнейший и непоправимый удар судьбы. Надо было это чем-то возместить, надо было найти хотя бы временный выход для зудящей потребности распекать, поучать, требовать, читать «метафизику». «Если приобретена привычка,— писал Щедрин в «Письмах о провинции»,— в известный час дня строчить, в другой распекать и т. д., то нельзя себе представить, какая истома овладевает человеком при наступлении урочного часа». И Мамаев ищет себе «благодарного занятия», которое напоминало бы сладкое прошлое и отвечало старой, исконной, сложившейся социальной привычке. Бывший владелец крепостных душ и отставной статский советник только тогда и чувствует себя сносно, если может поучать, наставлять, «воспитывать», то есть любимыми способами демонстрировать свое превосходство над личностью другого человека, будь то сиделец в лавке, случайный прохожий или дворник. Вот отчего уже третий год и выезжает он с раннего утра, как на службу, на поиски ненужной ему квартиры.

Но предположим, Мамаев нашел себе благодарного слушателя. Что же хочет он внушить ему, что проповедует, какие идеалы защищает?

Вот Мамаев остановил гимназиста, бегущего вприпрыжку домой, и приготовил ему такую сентенцию: «В гимназию-то, мол, тихо идешь, а из гимназии домой бегом, а надо, милый, наоборот». А вот чему он учит Глумова: не надо путаться в долгах, жить надо «по простоте», молодому человеку должно уважать пожилых, опытных родственников, «льстить нехорошо, а польстить немного позволительно» и т. п. Ни искры не то что нового, но хоть бы внешне оригинального, своего, отличного от других — все вековые прописи, моральные окаменелости.

Может показаться, что сама по себе проповедь Мамаева, состоящая из обрывков правил, завещанных отцами и дедами, настолько скучна, глупа, пережевана и стара, что даже не в состоянии быть вредной. Однако это ошибка. Беда в том, что свой более чем скромный запас идей Мамаев распространяет с заметной агрессивностью, он пытается возвести его в степень общего правила, сделать для всех обязательной нормой. В своем кругу он вправе рассчитывать на успех: не зря у него, по словам Глумовой, «большое знакомство, связи». Ма-

маев — один из законодателей этого мира, и перед его постными поучениями еще склоняются многие, вместо того чтобы, как озорной гимназист, проводить нашего мудреца смехом.

Впрочем, и неучивый мальчишка еще может поплатиться за свое дерзкое невнимание к речам Мамаева. Ведь что, в самом деле, посмел он вымолвить: «Нам, говорит, в гимназии наставления-то надоели. Коли вы, говорит, любите учить, так наймитесь к нам в надзиратели». Мудрец быстро нащупывает связь этого разрушения авторитетов в словах мальчишки с крамольными идеями, и непочтение гимназиста к Мамаеву с личной почвы мгновенно сдвигается на грань тяжелого криминала. «На опасной дороге мальчик. Жаль!» — замечает Глумов, чтобы поправить дядюшке. Любопытно здесь словечко «на опасной дороге» — именно на опасной, а не просто дурной, скверной. Мальчик и не подозревает, что его бесшабашный ответ будет расценен так серьезно, что собеседник его почти готов воскликнуть: «Слово и дело». «А куда ведут опасные-то дороги, знаете?» — спрашивает Мамаев. «Знаю», — лаконично отвечает Глумов. Выразительная недомолвка! Трудно откровеннее намекнуть на репрессалии, к каким всегда готовы перейти Мамаевы от своих мирных житейских поучений.

В постановке Театра имени Вахтангова артист ярко передает фантастическую тупость Мамаева, его диковинное самодовольство, но фарсовой легкостью мизансцен заметно смягчает краски этого образа. Его Мамаев нелеп, порою смешон, порою жалок, но едва ли опасен. В дуэте с Глумовым среди иных трюков Мамаев у Н. Гриценко забавляет публику тем, что ему не вдруг удастся выговорить свою фамилию: «Ма-ма... Ма-ма... Мамаев». Однако фамилия героя, как обычно, значащая у Островского, происходит, вероятнее всего, не от слова «мама», а от слова «Мамай». В этой мелочи — характерный акцент, дающий ключ к образу. Одно дело мерзкий, но беспомощный идиот Мамаев, который слова «мама» выговорить не может, другое — Мамаев-Мамай, грозно прошедший по русской жизни в стремлении навязать ей свою тупую азбучность.

Казалось бы, Мамаев — изжитый, обреченный тип, непригодный даже для серьезной

сатиры. Но у Островского он опасен не смыслом своих речей, а, так сказать, их бесмыслицей, воспринимаемой как нечто законное, возведенное в общественную норму. То, что Мамаевы могут утверждать себя в обществе в роли учителей и проповедников, то, что они не стесняются разносить повсюду свою мудрость, — симптом общественно-го застоя и реакции.

Как раз это и почувствовал в «мамаевщине» Щедрин, посвятивший знакомому нам типу очерк «Самодовольная современность» в цикле «Признаки времени». Известно, что Щедрин иной раз просто заимствовал у героев Островского — и не только Островского — их имена, по-своему развивая известные литературные характеры. Так поступил он, например, с Глуковым. В очерке «Самодовольная современность», написанном спустя три года после комедии Островского, имя Мамаева не названо, однако сам тип «самодовольного мудреца», растерявшегося после реформы, но вскоре оправившегося и вновь ощутившего почву под ногами, невольно вызывает в сознании образ дядюшки Глумова. Социально-психологический механизм «мамаевщины» описан Щедриным с такой точностью, что дает лучший комментарий к образу героя Островского, и нам грешно было бы им не воспользоваться.

Попробуем же проверить Мамаева Щедриным. «Просто ограниченный человек, — писал Щедрин в очерке, — хранит свою ограниченность про себя; он не совершает ничего особенно плодотворного, но зато ничего и не запутывает. Совсем другое дело — ограниченность самодовольная, сознавшая себя мудростью. Она отличается тем, что насильственно врывается в сферы ей недоступные и стремится распространить свои крылья всюду, где слышится живое дыхание. Это своего рода зараза, чума». Щедрин отмечает примитивность, плоскость истины, проповедуемых «мудрецами»: «...азбучность становится обязательною; глупые мысли, дурацкие речи сочатся отовсюду, и совокупность их получает наименование «морали»».

Можно лишь удивляться, как точно, вплоть до деталей, совпадают черты намеченного Щедриным социального типа и его художественного «прототипа» у Островского. Вот еще одно наблюдение: «...Как скоро человек однажды пришел к убеждению, что

он мудрец, он не только не легко расстается с этим убеждением, но, напротив того, сгорает нетерпением пропагандировать основания своей мудрости. Как и всякий другой мудрец, он не хочет таить свою мудрость для одного себя, а хочет привить ее присным и неприсным, знакомым и незнакомым, всему миру». Разве это не про Мамаева сказано?

Или еще: мудрецы проповедают, «что «по рогожке следует протягивать ножки», что «всякий сверчок должен знать свой шесток», что «поспешишь — людей насмешишь», и при этом так блаженно улыбаются, что издали можно подумать: вот счастливы, разрешившие себе задачу душевного равновесия!» Разве это не суть мамаевские поучения Глумову и его матери?

Драматическая сторона проповедей расплодившихся «мудрецов» заключается, по Щедрину, в том, «что от этих людей некуда уйти, так что выслушивание азбучных истин становится действительно обязательным». От них нельзя отмахнуться, их нельзя не замечать, «ибо это не просто разводители канители, но герои дня, выразители требований минуты». «Их приходится выслушивать с терпением, — пишет Щедрин, — не по тому одному, что невыслушивание может повести за собой злостные для невыслушивающих последствия (это само по себе), но и потому, что весь воздух этой местности, всякий камень, каждая песчинка пропитаны азбучностью».

Так от характеристики отдельного типа Щедрин незаметно переходит к характеристике той общественной почвы, на которой только и возможно появление и благоустройство этого сорта людей. Он прямо связывает бытование «самодовольных мудрецов» с эпохой общественной реакции, которая рисуется ему как эпоха «величайшего умственного утомления, эпоха прекращения частной и общественной инициативы, эпоха торжества сил, имеющих значение не столько сдерживающее и регулирующее (это только казовый конец реакций), сколько унижающее и мертвящее».

В здоровой, чистой общественной атмосфере разглагольствования исторически и политически отживших людей, подобных Мамаеву, не принимаются всерьез, их просто не удостоивают вниманием. Пока глупость Мамаевых остается их частным, до-



машинным делом, они не так уж и досаждают ею. Их требования к другим выглядят тогда лишь как нелепые претензии, самодовольные причуды ограниченности. Но в годы общественного упадка они вылезают на поверхность как учителя общественной нравственности, они начинают вещать, они предписывают всем свои нормы и правила жизни. И попробуйте тогда не замечать их или беззлобно потешаться над ними. «От них не уйдешь», — говорит Щедрин.

Остается, пожалуй, одно — презирать их и смеяться над ними, как смеется в своей комедии над Мамаевым Островский.

### ГЕНЕРАЛ КРУТИЦКИЙ

Портрет Мамаева по существу вполне готов и уже исчерпан в первом акте. Появляясь дальше по ходу действия, он лишь подтверждает себя. Зато во втором акте мы знакомимся с новым лицом — Крутицким, «очень важным господином», по определению афиши. В пьесе нет прямых указаний на то, что Крутицкий генерал, но зовут его «ваше превосходительство», а однажды он роняет походя, что «с бабами» говорить — «хуже, чем дивизией командовать». Кроме того, следует принять во внимание, что первый исполнитель этой роли в Малом театре — С. В. Шумский играл его отставным военным, наверное, уж не без ведома Островского.

Действие комедии развивается как восхождение Глумова по ступеням карьеры, и Крутицкий для него — следующая ступенька. Когда Глумов обхаживает дядюшку, он уже мечтает о знакомстве с Крутицким: ведь это человек «с влиянием». От него он ждет покровительства, рассчитывая на дальнейшее продвижение в высокие сферы.

Сам Мамаев пасует перед Крутицким и, хотя за глаза высказывается о нем нелестно («Он у нас в кружке не считается умным человеком и написал, вероятно, глупость какую-нибудь»), в присутствии отставного генерала держит себя с необходимым почтением. Крутицкий, кажется, единственный из героев комедии, кого Мамаев не решается поучать; ему он, напротив, смиренно поддакивает.

Крутицкий. Вот стоит стол на четырех ножках, и хорошо стоит, крепко?

Мамаев. Крепко.

Крутицкий. Солидно?

Мамаев. Солидно.

Крутицкий. Дай попробую поставить его вверх ногами. Ну, и поставили.

Мамаев (*махнув рукой*). Поставили.

Мы могли уже прежде убедиться, что Мамаеву лаконизм несвойствен. Пожалуй, один лишь раз — в сцене с Крутицким — он оказывается в позе выслушивающего чужую мудрость, а не разносящего свою. Это и понятно. Крутицкий — весьма влиятельное лицо, у него связи в Петербурге («...я тебе могу письма дать в Петербург, — перейдешь, — там служить виднее», — обещает он Глумову). А кроме того, в отличие от «моралиста» Мамаева Крутицкий, так сказать, идеолог консервативного кружка, его мыслитель и философ. К Мамаеву, больше занятому бытовым брюзжанием и не претендующему на роль политического деятеля, Крутицкий относится с плохо скрываемым презрением: «Он только других учит, а сам попробуй написать, вот мы и увидим».

Впрочем, нелестные отзывы друг о друге не мешают старым крепостникам, сойдясь в своих кабинетах и гостиных, думать и чувствовать вполне согласно. Есть такие области жизни, в которых они понимают друг друга с полуслова, говорят в унисон и горячо убеждают один другого в том, в чем заранее единодушны.

Современник Островского — поэт Д. Минаев запечатлел дуэт ретроградов старого закала в сатирическом стихотворении «Двое» (1866):

Я слушал беседу двух старцев в гостиной,  
Мой бас превратился в дискант:  
Один был действительный статский  
советник.

Другой — генерал-лейтенант.

.....  
Они порицали наш век развращенный,  
«Что делать?», Прудона, Жорж Занд..  
Один был действительный статский  
советник.

Другой — генерал-лейтенант.

И думал я, слушая старцев беседу:  
Что, люди, ваш ум и талант?  
Один был действительный статский  
советник.

Другой — генерал-лейтенант.

Как не вспомнить, слушая эти пародийные «беранжеровские» куплеты, статского советника Мамаева и отставного генерала Крутицкого! Сановные старички, толкующие об «обуздании» и порицающие «Что де-



Или:

Когда Россиянин решится слово дать,  
То без стыда ему не может изменять.

Надутая чувствительность, квасной патриотизм... Но дело не только в этом. Смешны, нелепы и общие понятия генерала о путях исправления действительности. Его бюрократический идеализм повелевает думать, что если простой народ пьет много водки, то это оттого, что в продаже нет сбитня, а если молодежь портится, то повинно в этом искусство, худо на нее влияющее. Реальные отношения перевернуты, следствию придано значение причины, зато в душе генерала разлита счастливая уверенность, будто отыскан источник зла и есть куда отвести свой гнев и к чему приложить административное рвение.

Не будем и тут ставить под сомнение искренность старого генерала или пытаться поймать его на противоречии, нескладнице в мыслях. Корыстный классовый интерес, совпадающий с интересом личным, нередко выступает в мистифицирующей оболочке бескорыстной заботы об обществе в целом. Крутицкий высказывается, к примеру, против реформы, исходя как будто из соображений «высших», государственных. Он искренне убежден в своей правоте. Но надо ли говорить, что его «охранительный» пыл много потерял бы в своей горячности, если бы за этим не стояли кровные интересы и выгоды.

В глазах людей, однако, высокие побуждения и чувства, бескорыстие и личная материальная незаинтересованность имеют столь очевидную притягательность, что нет такого реакционера и корыстолюбца, который посмел бы этим пренебречь. Люди, подобные Крутицкому, способны легко забывать, из чего они, в сущности, исходят; они тешатся иллюзиями бескорыстия, настраивают себя на то, что они защитники «чистой идеи» класса, представляющей интересы всего общества. Такой самообман, внушение себе, что ты борешься не за свою усадьбу, не за своих крепостных, не за свой комфорт и доход, — весьма обычное дело, и не в них ли разгадка того добросовестного обскурантизма, тупости по убеждению, какой в избытке наделен в пьесе Островского Крутицкий.

То, что генерал не прочь поговорить о рыцарстве, о дворянской чести, о «благородных чувствах», приносимых в жертву

кумиру нового времени — деньгам, вовсе не налагает запрета на его житейские вожделения. А если он требует давать на театре «высокое», это не значит, что в личной жизни он такой уж пуританин. Тут как бы два разных счета — частный и общий, для себя и для других, и генерал умеет, когда это необходимо, пользоваться лишь одним из них, причем без ущерба для своей искренности. Устройство головы «мудреца» таково, что в ней могут одновременно ужиться противоположные по смыслу идеи. Отделенные друг от друга глухими перегородками, они извлекаются в нужную минуту в зависимости от потребностей, что позволяет на деле разрушить принцип, а в теории и даже в собственном сознании оставить его неприкосновенным. Такой феномен двойного сознания, двойного счета, игнорирующего взаимосвязь явлений, пышно произрастает на почве умственной отсталости, избавляя «мудреца» от мук совести и всегда тягостного сознания собственного лицемерия.

Крутицкий готов покровительствовать всякого рода любовным грешкам и вольностям поведения, лишь бы «свободомыслие» из сферы личной, бытовой, домашней не перешло в сферу политическую. У самого генерала горят от удовольствия щечки, когда он напоминает ханже Турусиной о соединявших их в прошлом, видимо, не совсем безгрешных отношениях.

Крутицкий. ...Я вот гулять пошел, ну, дай, думаю, найду навесить старую знакомую, приятельницу старую... хе, хе, хе!.. Помните, ведь мы...

Турусина. Ах, не вспоминайте! Я теперь...

Крутицкий. А что ж такое! Что не вспоминать-то... У вас в прошедшем было много хорошего. А если и было кой-что на ваш взгляд дурное, так уж вы, вероятно, давно покаялись. Я, признаюсь вам сказать, всегда с удовольствием вспоминаю и несколько не раскаиваюсь, что...

Турусина (с умоляющим видом). Перестаньте!

Не внемля ханжеским протестам Турусиной, генерал настоятельно советует ей пользоваться всеми возможностями и еще «пожить как следует». Таково житейское кредо Крутицкого. Поричая нынешний «легкомысленный век» с позиций «вековой мудрости, вековой опытности», он с заметным сладострастием взирает на все доступные удо-

вольствия жизни и не осудит за них ближнего.

С учетом этого, кстати, и строит свою тонко рассчитанную игру Глумов во время первого знакомства с Крутицким. На вопрос генерала: «У тебя прошедшее-то хорошо, чисто совершенно?» — он со смущенным видом, создающим иллюзию правдивости, выдавливает из себя: «Мне совестно признаться перед вашим превосходительством». Расспросы обеспокоенного Крутицкого дают возможность Глумову приготовить ответ, эффект которого хорошо рассчитан: «В студенческой жизни, ваше превосходительство... только я больше старых обычаев придерживался»; «То есть не так вел себя, как нынешние студенты».

В этой фразе большой политический заряд: «не так вел себя, как нынешние студенты» — это значит не устраивал бойкотов, не правил педелей, не участвовал в университетских волнениях. А с другой стороны, те же слова намекают на молодецкий размах в студенческих попойках, кутежах, дебошах, какие уже не по плечу «нынешним».

«Покучивал, ваше превосходительство, — со смирением признается Глумов, — случались кой-какие истории не в указанные часы, небольшие стычки с полицией».

Крутицкий. И только?

Глумов. Больше ничего, ваше превосходительство. Сохрани меня бог! Сохрани бог!

Крутицкий. Что ж, это даже очень хорошо. Так и должно быть. В молодых летах надо пить, кутить. Чего тут стыдиться? Ведь ты не барышня. Ну, так значит, я на твой счет совершенно покоен.

Глумов заранее знает, что попадет в точку. «Чего тут стыдиться?» — это жизненный и политический принцип генерала. Кто находит выход своей молодой энергии не в размышлениях о жизни и, уж конечно, не в попытках социального протеста, а в пьянстве, мелком разврате, посещении французского театра, увлечении танцовщицами, тот «свой человек», добропорядочный член общества. Более того, любовные или иные «грешки», нравственная нечистоплотность, замаранность служат верной гарантией неучастия в «опасных» затеях, охранной грамотой благонадежности. Напротив, честность и моральная безупречность должны в этом смысле казаться подозрительными. Если человек не берет взяток, не кутит и не дебоширит, он — «не свой», непо-

нятный, неведомо куда тратит свое время и, стало быть, от него всего можно ждать.

Словом, «чего тут стыдиться?» Крутицкого — это целая житейская философия, символ веры благонамеренного консерватизма.

«Не размышляйте и читайте Поль-де-Кока — вот краткий и незамысловатый кодекс житейской мудрости, которым руководствуется современный благонамеренный человек, — писал в эти годы Щедрин. — И благо ему... потому что от этого нет ущерба ни любви к отечеству, ни общественному благоустройству».

Крутицкому на руку, чтобы как можно больше людей обратилось в убежденных обывателей, всецело занятых тем, как бы прибрать к рукам лишний «пирожок» (или «пирог», или «кусоч», смотря по рангу и аппетиту), а взамен идейной жизни провозглашающих лозунг: «*Chapeçons, dançons et vivons!*»<sup>1</sup>.

«...Главное все-таки в том заключается, — продолжает рассуждение «по Крутицкому» Щедрин, — чтобы не размышлять. Танцуйте канкан, развлекайтесь с гамбургскими и отчасти ревельскими принцессами, но, бога ради, не увлекайтесь. Посещайте Михайловский театр, наблюдайте за выражением лица г-жи Напталъ-Арно в знаменитой ночной сцене пьесы «*Nos intimes*», следите за непрерывным развитием бюста г-жи Мила, ешьте, пейте, размножайте человеческий род, читайте «Новое время», но, бога ради, не увлекайтесь».

В пору общественной реакции безмыслие распространяется, как зараза. Глупость становится общественной добродетелью. Отвыкшие и неумеющие думать стремятся отучить думать и других. Крутицкий видит вредоносность реформ уже в том, что любое социальное изменение дает «простор опасной пытливости ума проникать причины». Махровый консерватор готов преследовать мысль во всех ее видах, любое проявление умственной независимости больно задевает его.

То, что политический консерватизм обычно в ладу с глупостью, неоспоримо для автора комедии о «мудрецах». Труднее определить, в какой мере природная глупость толкает к реакционности, а в какой классовая реакционность понуждает к пущей глупости.

<sup>1</sup> Пойте, танцуйте и выпивайте (франц.)

Убежденный крепостник и противник реформ мучительно морщит чело, но не может понять, что происходит вокруг. Ему кажется, что мир сошел с ума, помешался на переменах, и оттого любое дуновение новизны встречает у него злобную неприязнь. В глубине души Крутицкий убежден, что пресловутые реформы — временная уступка крикунам-либералам или того хуже — «затмение», вдруг нашедшее на самодержавную власть и губительное для нее самое. Но рано или поздно в Петербурге должны опаматоваться. Крутицкий верит в скорое возвращение старых добрых времен и решительно отговаривает Глумова от службы «по новым учреждениям»: «Ты ищи прочного места; а эти все городудинские-то места скоро опять закроются, вот увидишь».

Мысль об исторической необходимости, неизбежности перемен просто не входит в обиход тем и вопросов, затронутых сознанием старого крепостника. Для этого нужно хоть в малой мере обладать способностью рассуждать, сопоставлять, сравнивать, беря в расчет некую объективную реальность, сущую и помимо генеральской воли. Надо ли говорить, что Крутицкий начисто лишен этого свойства. Вот и пойдя разбери, чего тут больше — глупости от природы или глупости по социальной принадлежности. Время, история могут идти своим чередом, но у генерала внутри существует свой календарь, размеченный в лучшую пору крепостничества, и он привык сверяться только с ним.

Немалую лепту в исследование социальной природы глупости внес Щедрин своим изучением типа «историографа» и «ненавистника» в цикле «Письма о провинции». «...Ненавистник,— говорит Щедрин,— представляет собой психологическое явление, весьма замечательное; он, так сказать, не различает ни прошедшего, ни будущего: он не может отыскать начала, не может предвидеть конца; он не постигает связи вещей, и потому существующее представляется ему произвольным и разбросанным, в виде мелких оазисов, разделенных непроходимыми песками».

Читая эти строки, легко вообразить себе Крутицкого, неспособного даже изложить свои «государственные» соображения на бумаге и приглашающего Глумова для их «экспликаций». Стремление повернуть историю вспять и то сопротивление, какое приходится испытывать при этом занятии, вы-

водит «ненавистника» из себя, заставляет его пылать злобой. «...Ненавистник,— объясняет Щедрин,— существо жалкое, почти помешанное от злобы. Подобно злобой бывают одержимы только люди совершенно глупые, и именно потому, что в их наглухо забитые головы не может проникнуть никакая связанная мысль, никакое общее представление». Не здесь ли отгадка наступательной, воинствующей глупости Крутицкого? Между злобой и глупостью существует, как видно, закономерная связь.

В спектакле Театра имени Вахтангова Н. Плотников создает по-своему интересный, но несколько иной образ. Его Крутицкий — лысенький, сухонький сморчок — располагает зрителя к благодушному настроению: перед нами слишком уж скисший, заплесневевший и по существу безобидный старикашка. В рамках своего замысла Н. Плотников играет с большим мастерством и имеет заслуженный успех у публики. Но если понять саму пьесу глубже, историчнее, то и артист должен был бы дать иной тип. Мягкое обаяние Н. Плотникова оказалось в этой роли не слишком у места. Его Крутицкий — недалекий, но безобидный в своей глупости «рамоли», у которого как будто уже нет зубов, чтобы укусить, и сил, чтобы принести вред<sup>1</sup>.

Конечно, и на Мамаеве и на Крутицком лежит в какой-то мере тень «отставников», людей, временно оказавшихся не у дел, но они еще достаточно ядовиты, и не приходится преуменьшать их отравляющего воздействия на жизнь. Обреченные исторически, несостоятельные в своих убеждениях крепостники-историографы и ненавистники не вымирают сами собой, они упорно и долго сопротивляются.

<sup>1</sup> Очевидно, такова еще и театральная традиция. Несколько лет тому назад мне пришлось видеть «Мудреца» в постановке московского Театра сатиры. В исполнении яркого комедийного актера В. Тенина Крутицкий являл собою образчик уже вполне клинического маразма: он не координировал движений, падал, его «заносило» в сторону, и соображал он всякий раз так мучительно, что было впечатление, будто его вот-вот «хватит кондрашка».

Рассказывают, что совсем иначе, глубже и реалистичнее, играл эту роль К. С. Станиславский в постановке Художественного театра 1910 года. Он создавал не буффонную, а зловещую фигуру вельможного старца. Однако эта трактовка, к сожалению, не нашла себе последователей.

При всей своей косности и тупости, деятели старого закала понимают все же, что надо усвоить и некоторые требования времени, использовать необходимые тактические ходы, чтобы вконец не растерять своего влияния. Их беспокоит натиск «мальчишек» («Кто пишет? Кто кричит? Мальчишки»), они побаиваются «зубоскалов». Уступкой «духу времени», хотя и робкой, стыдливой, является и это писание «прожектов», и приглашение молодого человека для «осовременивания» их слога.

Таким образом то, что Крутицкий вызывающе, демонстративно глуп, «глуп без смягчающих вину обстоятельств, глуп как чулан», говоря словами Щедрина, еще не свидетельствует о его политической беспомощности и не делает его безвредным.

Иные из современников Островского находили, что тупость и прямолинейность старого генерала перерастают границы всякого правдоподобия, многие находили тип шаржированным. «О, если б консерваторы были так откровенны и так глупы,— иронизировал А. С. Суворин,— то не с кем было бы бороться и нечего было бы опасаться»<sup>1</sup>. Даже такой тонкий и благожелательный к Островскому критик, как Е. Утин, не удержался от замечания: «Тип Крутицкого вышел не совсем удачен потому, что Островский сделал его уже слишком недалевидным»<sup>2</sup>. А драматург Д. Аверкиев прямо писал: «Старички вроде Крутицкого не опасны, и пусть они доживают свой век в глуши...»<sup>3</sup>.

Утверждения такого рода были порождены либеральными иллюзиями и чересчур торопили ход событий. В шестидесятые годы «сила крепостников», по выражению Ленина, «была надломлена», но это не значит, что они охотно покидали историческую сцену. Пройдет еще два года после публикации пьесы Островского — и «Отечественные записки» вынуждены будут констатировать: «...Побитая, но не уничтоженная 9 лет тому назад партия в последнее время все громче да громче начинает подавать свой голос» (№ 5, 1870). Прирученные были в первые годы реформы консерваторы

вновь поднимают голову в пору реакции, правительственных репрессий.

Вот почему следует оспорить традицию изображения Крутицкого выжившим из ума генералом, старой развалиной, бессильным и отжившим глупцом. В старом консерваторе заключена тупая и бессмысленная сила, только исторически, только в конечном счете отжившая, а на практике еще сохранявшая нередко свой вес и оказывавшая гнетущее влияние на жизнь общества.

### ОТСТУПЛЕНИЕ К ПРОТОТИПУ

Сомнения в жизненной точности и строгом реализме образа Крутицкого могут быть отведены не только обращением к политическому анализу эпохи или сатирической публицистике Щедрина. Стоит привлечь внимание и к творческой истории комедии. Обычно бесполезное занятие отыскания прототипов в данном случае, кажется, может дать любопытный эффект. Ведь комедия Островского, как уже говорилось, остро злободневна, почти памфлетна, и естественно предположить, что у старого генерала был свой прообраз. Во всяком случае изучавший театральную историю «Мудреца» С. Дурылин пишет о постановке 1868 года: «На спектакле был яркий «московский» отпечаток: актеры великолепно знали тех, кого изображали, дышали одним с ними воздухом — и не мудрено, что отзывы об этом спектакле большею частью сводятся к восхищению верностью художественных портретов, созданных актерами, живой натуре... Сходство было так велико, что зрители искали прямых прообразов Крутицких и Мамаевых, хотя благородным мастерам Малого театра было чуждо ремесло фотографа»<sup>1</sup>.

По-видимому, у москвичей были основания узнать, по крайней мере в Крутицком, хорошо знакомое многим из них лицо.

Удивительно, как до сих пор исследователей драматургии Островского не заинтересовало происхождение фамилии его героя. Обратившись к черновым наброскам комедии, легко убедиться, что первоначально эта фамилия звучала несколько иначе. Здесь

<sup>1</sup> Незнакомец (А. С. Суворин). Недельные очерки и картинки. «С.-Петербургские ведомости», № 301, 1868.

<sup>2</sup> Е. Утин. Современные мудрецы. «Вестник Европы», № 1, 1869, стр. 354.

<sup>3</sup> Д. А. (Д. Аверкиев). Русский театр. Бенедикт г. Бурдина. «Голос», № 304, 1868.

<sup>1</sup> С. Дурылин. «На всякого мудреца довольно простоты» на сцене московского Малого театра. М.—Л. ВТО. 1940, стр. 30.

будущий Крутицкий носит имя «граф Закрутицкий» или, в более ранних черновиках, «граф Закрутский». «Через Тарусину старуху можно будет найти дорогу к старым тузам, например, к графу Закрутскому...» — так звучит монолог Глумова в одном из первых набросков<sup>1</sup>. В еще более ранней рукописи первоначального плана комедии четвертое действие ее обозначено так: «4. У Закрев[ского]»<sup>2</sup>.

Итак: Закревский — Закрутский — Закрутицкий — Крутицкий — таков был путь эволюции имени, а вместе с тем удаления от прототипа, или, вернее, его маскировки, потому что граф Закревский слишком известное в отечественной истории и вполне реальное лицо.

Имя графа А. А. Закревского, военного генерал-губернатора Москвы с 1848 по 1859 год, было знакомо Островскому по наслышке: оно не раз встречается на страницах его биографии. Прежде чем напечатать свою первую комедию «Банкрот», автор должен был заручиться поддержкой всемогущего в Москве человека, и «в казенном и суровом кабинете» дома генерал-губернатора на Тверской происходило, по свидетельству С. В. Максимова, одно из первых чтений пьесы. После того как пьеса была напечатана и вызвала монаршее неодобрение, именно к Закревскому поступил от III отделения запрос о поведении и образе мыслей литератора Островского. Как далее сложились личные отношения начинающего драматурга и высокого сановника, сказать трудно. Одни мемуаристы утверждают, что Закревский вообще-то благоволил к Островскому, и его лысую голову москвичи привыкли видеть в первых рядах кресел на премьерах его пьес. Другие считают, что как раз Закревский был злым гением драматурга и тормозил постановку на московской сцене комедии «Свои люди — сочтемся».

Сохранилось лишь одно непосредственное свидетельство самого Островского о Закревском, достаточно хорошо рисующее роль графа, как его обычно коротко называли, в духовной жизни подопечной ему Москвы. «Я получил ужасное известие, — пишет Островский М. П. Погодину в декабре 1852 года. — По именному повелению запрещено играть новые пьесы в Москве,

а только игранные в Питере. Граф Закревский писал о «Лабазнике», что он по поводу его боится возмущения в театре, и потому «Лабазник» по именному повелению запрещен, потому же последовало и новое предписание».

Речь идет о комедии М. Владыкина «Купец Лабазник, или Выгодная женитьба». Но Островский не на шутку взволнован потому, что донос Закревского царю едва не закрыл путь на сцену Малого театра его собственной комедии «Не в свои сани не садись».

Дело, впрочем, и не в личных отношениях Островского с Закревским, о которых мы знаем так мало. Важнее, пожалуй, отметить тот факт, что драматург имел случай близко наблюдать человека, который в свое время наводил страх на всю Москву и о котором ходили бесконечные толки и анекдоты.

Появившиеся после смерти Закревского воспоминания о нем даже вопреки намерениям мемуаристов рисуют нам характер, который так и просится под сатирическое перо. Уже спустя много лет, в 1880 году, И. В. Селиванов писал в «Записках дворянина-помещика»: «Вероятно, в Москве не забыли еще графа Закревского, нагонявшего такой страх на москвичей, что никто не смел пикнуть даже и тогда, когда он ввязывался в такие обстоятельства семейной жизни, до которых ему не было никакого дела и на которые закон вовсе не давал ему никакого права»<sup>1</sup>.

Что же это был за человек, память о котором была жива еще и через тридцать лет после его «деспотического управления» Москвою?

Карьера графа Закревского знала свои взлеты и падения. В турецкую войну 1807 года он был адъютантом при главнокомандующем графе Каменском, ездил с его донесением ко двору и сумел так понравиться, что в войну 1812 года мы находим его уже дежурным генералом при Александре Павловиче. Позднее он был назначен генерал-губернатором Финляндии, а в холерный 1830 год ему было поручено организовать и возглавить борьбу с этим опустошительным для России бедствием. Тут его карьера и дала в первый раз трещину. Закревским были учреждены карантинные пункты на границах губерний. Один из них, как изве-

<sup>1</sup> Рукописный отдел ИРЛИ (Пушкинский дом) АН СССР. Ф 218, оп. 1. № 21. л. 2.

<sup>2</sup> Там же, черновые наброски № 2.

<sup>1</sup> «Русская старина», 1880, август, стр. 725.

стно, задержал Пушкина, стремившегося в Москву, и этому обстоятельству мы обязаны гениальными дарами «болдпшкoi осени». Однако, пожалуй, это было единственным добрым следствием мероприятий Закревского, поскольку карантины, как вскоре выяснилось, вместо того, чтобы пресекать холеру, способствовали ее распространению. Потерпев неудачу, Закревский вынужден был уйти в отставку, но в 1848 году напуганный революционными событиями в Европе Николай I вспомнил о нем и назначил военным губернатором Москвы.

На этом посту Закревский прославился особой темнотой, грубостью и нетерпимостью. Мемуаристы запечатлели некоторые его черты, драгоценные для понимания образа Крутицкого. Закревский плохо знал русскую грамоту, «писал, как пишут ученики II-го класса гимназии — не лучше», а подписывался «Закрефский». Зато он был грозой для своих чиновников, которых мог жестоко распечь, если только встречал их не в мундире, а во фраке. Весь город его боялся. Московских либералов, собиравшихся в зеленой комнате Английского клуба, он считал едва ли не якобинцами. Они поименно были переписаны им в особую книжечку и отданы под надзор полиции. В доверительных разговорах генерал-губернатор давал понять, что у него есть чистые бланки с подписью государя и в целях борьбы с крамолой он может делать все, что сочтет нужным.

Смерть Николая I была для Закревского страшным ударом. Он никак не мог приспособиться к новым веяниям. Однажды в 1857 году он дал знать новому царю телеграммой, что в «университете бунт», но это было так неправдоподобно, что царь ответил ему: «Не верю». В другой раз Закревский пытался запретить грандиозный коковревский обед в честь «эмансипации». «Когда уже последовал Высочайший манифест об уничтожении крепостного состояния, — рассказывает мемуарист, — Закревский не хотел верить, что он не будет отменен, — и вследствие этого ставил других в весьма фальшивое и даже чрезвычайно неприятное положение...»<sup>1</sup>. Так, он не разрешил собрать московское дворянское собрание для обсуждения вопроса об освобождении крестьян и даже запретил говорить о реформе,

уверяя, что «в Петербурге одумаются и все останется по-старому».

Понятно, что, когда в 1859 году Закревский вынужден был уйти в отставку, радость в Москве, по свидетельству современника, «была всеобщая; многие обнимались и целовались, поздравляя друг друга с этим событием...»<sup>1</sup>. С этого времени и до своей кончины в 1865 году Закревский, подобно Крутицкому, жил в Москве на покое, как отставной генерал, злостуя на происшедшие перемены и тоскуя о той поре, когда он сам был в силе и славе.

Об этих последних годах жизни старого генерала, более всего для нас интересных, мы знаем всего меньше. Сохранились, однако, воспоминания молодого человека — А. В. Фигнера, когда-то восемнадцатилетним юношей начавшего свою службу при генерал-губернаторе; он навещал своего бывшего патрона уже и после его отставки. Льстивый молодой человек заезжал по утрам «засвидетельствовать свое почтение» старому генералу, а Закревский оставлял его обедать и потчевал разговорами о былых временах.

С умилением вспоминает Фигнер о «патриархальном» обращении графа со своими подчиненными, о грубоватых генеральских шутках, коим он не раз бывал свидетелем. Достоин внимания и внешний портрет графа, набрасывая который, Фигнер приводит один любопытный для нас эпизод. «Тон и речь графа отличались необыкновенным лаконизмом, — пишет Фигнер. — Он разговаривал только отрывистыми фразами и более делал вопросы, нежели ответы, избегая длинных рассуждений... Лицо графа было гладко выбрито, и нижняя губа особенно выдвигалась вперед. Профиль графа легко врезывался в память, и я часто чертил его карандашом. Однажды, о чем-то задумавшись, я сидел один перед дверями кабинета и машинально чертил этот профиль. В это время кто-то подошел ко мне сзади и положил руку на плечо. Я оглянулся — это был граф, я обомлел от испуга; но граф ласково сказал: «Ничего — рисуй мои caricatures». После того мне думалось, что служба моя испорчена и благосклонность графа навсегда потеряна. Когда же я явился на следующее дежурство, граф добродушно встретил меня сло-

<sup>1</sup> «Русская старина», 1880, август, стр. 735.

<sup>1</sup> А. В. Никитенко. Дневник. М. Гослитиздат. 1955, т. II, стр. 87.



вами: «А что, запасся карандашами — рисовать мон портреты?»<sup>1</sup>.

Несмотря на идиллический тон этого рассказа, возможно приукрашенного еще дистанцией в четверть века, хорошо чувствуешь испуг, пережитый молодым честолюбцем, этим неудачливым Глумовым, под тяжелым взглядом Закревского. Как не вспомнить здесь эпизод комедии Островского, связанный на этот раз с Мамаевым. Рассматривая карикатуру Курчаева, подsunутую ему Глумовым, и узнавая в ней себя, Мамаев говорит: «Похоже-то оно похоже, и подпись подходит; ну, да это уж до тебя не касается, это мое дело... Ты на меня карикатур рисовать не будешь?» — «Помилуйте, за кого вы меня принимаете! — мгновенно реагирует Глумов. — Что за занятие!» Сцена, изображенная Островским, по всем статьям более, так сказать, типична. Но совпадение общей ситуации тем не менее разительно, и можно даже предположить, что драматург слышал когда-то ходивший по Москве рассказ о злключения с Фигнером и, припомнив его во время работы над «Мудрецом», по-своему его использовал.

То, что Островский взял взаймы у колоритного прототипа и некоторые черточки для Мамаева, не мешает нам, вспоминая Закревского, все время держать в голове Крутицкого. Даже мелкие детали этого образа вроде того, например, что Закревский при разговоре слегка растягивал слова, или что на совершенно лысом черепе генерала лежала лишь прядь волос, завитая кольцом, кажутся прямыми указаниями актеру, играющему Крутицкого.

«Казалось, что служба моя при графе Закревском имела благоприятные условия для дальнейшей карьеры, — пишет Фигнер в заключение, — но судьба человека зависит от случайностей...» Фигнер заболел и должен был поехать за границу лечиться. На прощание Закревский напустился на него так: «Ты едешь за границу, — сказал он, — и верно побываешь в Париже, берегись, это город больших соблазнов...»<sup>2</sup>. Так и слышишь знакомую интонацию героя Островского...

Для чего я перебираю все эти черточки, для чего ищу сходства с жизненным прототипом? Не для того, чтобы пополнить како-

ми-то незначущими подробностями комментарий к пьесе. Нет, прототип помогает уяснению социальной конкретности типа. Я бы сказал даже, что такой прототип — типичен. Надеюсь, что такое признание несколько не унижит заслугу художественного воображения драматурга, способного «живьем» перенести реальный тип на сцену.

Даже такая подробность, как писание «проектов», находит себе основание и опору в реальном образе Закревского. А. В. Никитенко записывает в своем дневнике 2 июня 1853 года: «Мысль преобразовать министерство народного просвещения возникла под влиянием панического страха, вызванного европейскими событиями 1848 года. Тогда вошло в обычай во всем обвинять министерство народного просвещения. Государю подано было несколько проектов преобразования его, совсем не государственных. Некоторые отличаются даже изумительной безграмотностью. Например, проект Переверзева, который был когда-то и где-то губернатором; там, говорят, заворовался, был уволен, долго оставался без места, а потом был причислен к министерству внутренних дел. Я знаю его лично. Это круглый невежда, к тому же не трезвый. Хорош также проект московского генерал-губернатора <А. А.> Закревского. Кажется, следовало бы извлекать без всякого внимания подобные излияния усердия и преданности престолу»<sup>1</sup>.

Закревский был, как видно, не одинок, и Переверзев, столь красочно описанный Никитенко, его стоил. Но не ясно ли отсюда, сколь типичен «проект» Крутицкого с его заботой «об улучшении нравственности в молодом поколении».

К сожалению, нам ничего не известно о деятельности Закревского по сочинению «проектов» в более позднюю пору, когда старый помпадур, отставленный от должности, проживал на покое, входя в избранную часть московского общества. Островский, вероятно, был осведомлен об этом лучше нас. Но вот что писали «Отечественные записки» в «Современных заметках» уже в 1868 году: «Известно, что по случаю совершающихся всюду реформ все более или менее влиятельные лица необыкновенно озабочены составлением различных проектов и сочинением так называемых «мнений».

<sup>1</sup> А. В. Фигнер. Воспоминание о графе А. А. Закревском. «Исторический вестник», 1885. июнь. стр. 668.

<sup>2</sup> Там же, стр. 671.

<sup>1</sup> А. В. Никитенко Дневник, т. 1, стр. 371.

Для некоторых, не привыкших к такому занятию, эти «мнения» сушая каторга. Многие век свой прожили на службе и обходились без этого, а теперь вдруг наступило такое время, что как хочешь, хоть роди, да подавай свое мнение. Вот и принялись писать. И вдруг напала страсть к писанию» (№ 7, 1868, стр. 114).

Можно не сомневаться, что и Закревский не остался в стороне от этого поветрия и до самой своей смерти писал, наконец, на высочайшее имя «прожекты» и трактаты, пользуясь услугами таких молодых людей, как Фигнер.

Глупость Крутицкого в комедии удвоена, утроена смелым гротеском. Согласно воспоминаниям современников, Закревский, при всей своей грубости и примитивности, не оставлял впечатления безнадежно глупого в житейском смысле человека. И. В. Селиванов изумляется лишь его «близорукости в некоторых случаях, несмотря на весь его ум или рассудочность». Легко доказать, что, как и у Крутицкого, «близорукость» эта имела по преимуществу классовый, социальный характер. Такие люди, как Закревский, не то чтобы глупы от природы, но ум-то у них дурак, как вымолвил когда-то Крылов. Тут можно лишь повторить то, что мы уже говорили прежде о Крутицком. Вся сноровка, весь изворот мысли такого рода людей направлен к тому, чтобы блюсти свой интерес, совпадающий с защитой самодержавно-крепостнических «устоев». Ум коснеет, цепенеет в заранее продиктованных ему условиях, становится консервативен, неповоротлив, и оттого человек грубее, примитивнее защищает то, относительно чего он предположил, что это задушевное его убеждение. Однако тут очевидна подмена: убеждение-то пошло не от души, а от желудка. Впрочем, стыдная эта реальность, как правило, сокрыта от самого деятеля, и он добросовестно считает, что защищает не свой покой и доход, не свой корыстный интерес, а интересы «государя», отечества и т. п.

Итак, феноменальная глупость и дикое озлобление — не индивидуальное несчастье героя Островского, а черты общественной патологии. Единственная основа отношения к жизни ретроградов, подобных Крутицкому, это животная ненависть к любым изменениям существующего. Во всем они видят наступление на свои права, на свой образ жизни и защищаются озлобленно, иступ-

ленно и... недепо. Их историческая обреченность, отжитость заставляет их идти против элементарной логики, простейших умозаключений, делает их смешными. И они проникаются враждой к мысли вообще, мысли как таковой, ко всякой мысли, потому что любое строгое умозаключение уже грозит как будто их существованию, построенному не на требованиях разума, а лишь на сознании своих привилегий, своего «куска».

Вот почему Крутицкий у Островского не только смешон, но и страшен.

### «ЛЕГКОВЕСНЫЙ» ГОРОДУЛИН

Второй акт движется к концу. Сейчас нам предстоит новое знакомство: перед нами потомок Репетилова, несносный хвостун и балаболка.

С первого появления на сцене Городулин оглушает потоком пустых слов, непринужденной развязностью обращения. «Каким ветром, какой бурей занесло вас ко мне?» — спрашивает его Мамаева. «Ветром, который у меня в голове, и бурей страсти, которая бушует в моем сердце», — отвечает галантный герой. Слова будто сами соскальзывают с его языка, без видимой связи с работой сознания. И Городулина ни капли не обижает, когда Мамаева довольно решительно обрывает его: «Полно вам болтать-то». Упоенного собственным остроумием и светской любезностью Городулина не так легко унять. Он весь в стихии салонных шуточек, острот и комплиментов.

Но Городулин не просто светский фат. Он имеет претензию представлять некую идею, свой род убеждений. В черновом плане комедии третье действие было обозначено кратко — «3. Либерал..», и можно ли сомневаться, что речь шла о будущем Городулине, еще не получившем в тот момент у Островского своего имени.

Любопытен гезегиз городулинского либерализма, с сарказмом запечатленный в дневнике Глумова: «Городулин в каком-то глупом споре о рыснутых лошадях одним господином назван либералом; он так этому названию обрадовался, что три дня по Москве ездил и всем рассказывал, что он либерал. Так теперь и числится».

Старозаветный господин, в сердцах обозвавший Городулина либералом, и не подозревал, какую оказал ему услугу. Иван Иванович немедленно почувствовал себя

идейным человеком, недругом крепостничества, и сразу все его излюбленные занятия и наклонности — вкусно поесть, поболтать в клубе, покрасоваться перед слушателями — получили как бы высшее оправдание. Самое же приятное заключалось в том, что он мог все это разрешить себе без особого риска для себя лично — на либерализм такого сорта обычно смотрят сквозь пальцы.

И вот уже Городулин — видный деятель «нового суда», один из инициаторов торжеств по случаю открытия железной дороги, и он же — признанный оратор на торжественных обедах. «Дела, дела, — оправдывает он свое долгое отсутствие у Турусиной. — То обеда, то вот железную дорогу открывали».

В комедии Островского у Городулина три или четыре «выхода», и всякий раз он появляется неожиданно, палатает, как вихрь, с легкой галантностью и безадресной иронией, нашумит, наболтает с три короба, и а городит чего ни попадя (не отсюда ли его фамилия?) и так же стремительно исчезает. Горячий и неразборчивый поклонник новизны, он поражает воображение московских дам модными словечками «галлюцинации», «учение о душевных болезнях», шеголяет именами Бисмарка и Бейста. Даже заурядный флирт он ведет с легким оттенком вольнодумства. «Я противник всяких цепей, даже и супружеских», — объявляет он Мамаевой. Чтобы понять смысл этой шутки, надо иметь в виду устойчивый образ «крепостных цепей» в демократической литературе и беллетристике шестидесятых годов. Городулин хочет дать понять, что он не только дамский угодник, но и эмансипатор. Что, однако, за дар у этих людей — опозлить и унижить все, к чему они ни коснутся?

Человек сугубо салоинный, «клубный», Городулин разъезжает по знакомым домам в тревоге, как бы чего не пропустить: он ко всему должен примазаться, в каждом модном деле участвовать. Всем он что-то обещает, для всех хочет быть полезным и свою репутацию либерального юриста умеет поддерживать, выполняя бесконечные просьбы и ходатайства московских дам-патронеес: для одной наводит справки в суде, по просьбе другой ищет места для молодого человека и т. п. Словом, это тип людей, о которых говорят: «каждой бочке затычка». Ему надо мелькать повсюду, со всеми быть знакомым, все новости узнавать первым, чтобы иметь

уладу шегольнуть особой осведомленностью.

Городулин считает себя передовым человеком, ему лестно выглядеть решительным борцом с рутинной, со всеми этими отжившими Крутицкими и Мамаевыми. Впрочем, он ухитряется это делать так, чтобы его личные отношения с влиятельными старцами не пострадали: в конце концов все они люди одного круга, и нельзя же переносить «принципы» в область деловых и житейских связей!

Так же, очевидно, рассуждают и консерваторы. Крутицкий пугает Глумова Городулиным: «Он у нас считается человеком опасным». Но добрым отношениям между ними это не вредит. При встрече они любезно раскланиваются, а Мамаев даже собирается подать Городулину какой-то совет «по клубному делу». И это при том, что Городулин слывет «идеологом» московского либерализма, подобно тому как Крутицкий — идейный глава консервативной партии.

В глазах Турусиной, да и не ее одной, Городулин и Крутицкий — люди «совершенно противоположных убеждений». И, однако, как легко приметить, Крутицкого и Городулина, либерала «по моде» и консерватора «по душе», Островский рисует подозрительно сходными красками.

Знакомясь с Глумовым, Крутицкий скажет ему: «Нам такие люди нужны...» Но ведь почти то же самое слышит молодой герой из уст Городулина: «Да, нам такие люди нужны, нужны, батюшка, нужны». Крутицкий объяснит: «Нам теперь поддержка нужна, а то молокососы одолевать начали». Городулин же в свою очередь заметит: «Дельцы есть, а говорить некому, нападут старики врасплох».

Реплики точно пересмешничают, аукаются друг с другом. Городулин говорит почти то же, что и Крутицкий, только наизусть. Собственным раздумьем, сознательным убеждением здесь и не пахнет, замстно лишь желание отличиться. Свои умозаключения Городулин строит как бы «от противного» по отношению к тому, что скажет Крутицкий. Этим достигается видимость поляризации двух позиций при том, что они странным образом напоминают друг друга. Один винит во всем «молокососов», другой — «стариков», а смысл и причины социальных перемен тонут во тьме для обоих. И Крутицкий и Городулин остаются на одном, в сущности, уровне сознания, а их

антагонизм носит временный и в значительной мере внешний характер. Ведь Городулин, как и Крутицкий, «важный барин», он возрос на одной с ним почве — крепостничества, и только ход событий сделал из него либерала, к тому же весьма ненадежного.

Это хорошо понял один из современников Островского — критик Е. Утин, свидетельство которого весьма ценно для нас. «Городулин, — пишет он, — это совершенно новый тип, уловленный Островским, тип, который сложился в последние несколько лет под влиянием суматохи, происшедшей в лагере слепых защитников рутинности и всех основ старого, расшатавшегося здания»<sup>1</sup>. Городулин сам, таким образом, связан происхождением с лагерем рутинеров, и если он спорит ныне с крепостниками, то это не серьезная идейная борьба, а домашнее недоразумение среди своих.

Сам по себе психологический тип либерала был, пожалуй, известен и прежде. Еще Денис Давыдов запечатлел его в своих звонких, насмешливых стихах:

Всякой маменькин сынок,  
Всякой обирала,  
Модных бредней дурачок,  
Корчит либерала.

Нет сомнения, что Городулин и обирала, и «модных бредней дурачок», но есть в его характере и приобретения новейшего времени, отличающие его, скажем, от грибоедовского Репетилова: он деятель более крупного размаха и сам готовит себе успех, цинически присваивая плоды чужого красноречия.

Глумов, который всегда чувствует, кому что нужно, устраивает для Городулина настоящий концерт либерального пустословия: он бичует подобострастие к начальству, бюрократизм «форм и бумаг», требует, чтобы ему дали возможность стать лицом к лицу с «меньшим братом», а Городулин ведет себя, как на аукционе, — он подбирает себе фразы для спича. «Нам идеи что! — с пленительной у Островского наивной откровенностью восклицает его герой. — Кто же их не имеет, таких идей! Слова, фразы очень хороши». «Меньшой брат», «насушенные нужды», «увеличивать количество добра» — вся эта либеральная патетика приводит Городулина в восторг. Глумов же, к его изум-

лению, штампует эти фразы, как машина, и их остается только записывать. Восхитившись очередной ораторской фигурой Глумова, Городулин восклицает: «Вот уж и это запишите». Так в мануфактурной лавке говорят: «Заверните мне еще и это».

Этот откровенный торг завершается тем, что Городулин скупает речи Глумова, так сказать, на корню, обещая взамен выгодное местечко. Сговор между двумя «порядочными людьми» совершается легко и без ненужных обиняков. Неужто Глумов не войдет в положение Городулина, которому завтра нужно говорить за обедом, «а думать решительно некогда»?

Впрочем, похоже, что Городулину некогда подумать не только до завтрашнего обеда, ему вообще некогда думать. Ну в самом деле, когда ему этим заниматься, если он то в суде, то на скачках, то в Английском клубе? И без услуг Глумова ему не обойтись.

Когда Щедрин в своем очерке «Легковесные» (1868) взялся за исследование социальной психологии современного либерализма, он отметил в нем те же черты, что привлекли внимание Островского. И прежде всего вырождение мысли, замену ее фразой, бессильным и ничтожным суррогатом идеи. «Увы! нам уж не до идей! — восклицает Щедрин. — Теперь мы с сожалением вспоминаем даже о словах, даже о тех скудно наделенных внутренним содержанием речах, которыми отягощали нам слух пустопорожние мудрецы!» «Бессвязный гул, который издает толпа «легковесных», — продолжает Щедрин, — не только не имеет ничего общего с мыслью, но даже находится в явно враждебных к ней отношениях. Коли хотите, анализируя этот гул пристальнее, вы, конечно, рискуете отыскать в нем нечто похожее на внутреннее содержание, но это внутреннее содержание тем только и отличается от наглой бессмыслицы, что в основе его лежит доходящая до остервенения ненависть к мысли».

Один из щедринских «легковесных», глумокомысленный немец барон Швахкопф, во всеуслышанье объявляет: «Мой «мизль» — нет «мизль». Вот чисто городулинский лозунг!

Что проку в том, что Городулин, подобно другим героям комедии, любит порассуждать об «уме». «Мне кажется, нужно только ум и охоту работать», — поучает он при первом знакомстве Глумова. Как и старич-

<sup>1</sup> Е. Утин. Современные мудрецы. «Вестник Европы», № 1. 1869, стр. 351.

ков-ретроградов, Городулина окутывает в пьесе плотная антиинтеллектуальная пелена. Различие тут одно: крепостники исходят злостью, их историческая никчемность, обреченность делает их «ненавистниками», слепыми и косными в своей приверженности старым порядкам; Городулин же, прилипающий к любой неопасной новизне, человек по природе добродушный, но, что называется, без царя в голове и к тому же одержимый тшеславием, пуше подчеркивающим его глупость.

Однако глупость еще не значит безразличие к выгоде. Выгоде не грубой, материальной, упаси господь, а обставленной всеми аксессуарами бескорыстного духовного порыва и общественного успеха. Щедрин, разгадавший низкую природу многих respectable стимулов, учил понимать, что если «легковесный» волнуется, изгибается, цепляется, то не надо думать, что это шевелится его мозговое вещество: просто «где-то вдали мотается кусок». «Мой «мизль» — нет «мизль» — это ошарашивающее признание явилось на свет не зря и в самую безрадостную пору гарантирует изобретателю афоризма домашний уют, личную безопасность и устойчивый доход.

Таким образом, если в обществе катастрофически падает уровень сознательной мысли, в этом не меньше «ненавистников» повинны легковесные «мудрецы», наполняющие округу либеральным звоном и стенанием, готовые разменять любую серьезную мысль на мелкую монету расхожих фраз и кончающие тем же бессвязным любостяжательным гулом.

### «МУДРЕЦ» В ЮБКЕ

И ретроград Крутицкий, и либерал Городулин — желанные гости в доме богатой вдовы Турусинной. «Барыня родом из купчих» — определяет ее Островский, и этим уже многое сказано. В ее доме еще держатся черты старомосковского уклада с его хлебосольством и набожностью, лампадками по углам и толчеей ворожей и странниц в задних комнатах и на кухне. А в нраве самой хозяйки суеверия замоскворецкой купчихи переплелись с замашками стареющей светской львицы.

На первый взгляд в этом характере нет ничего нового для Островского: все тот же тип богатой барыни, ханжи-купчихи, знако-

мый нам по его старым пьесам из купеческого быта. Зачем нужен этот бытовой диалектизм в политической комедии о «мудрецах»? Ради «московского» колорита? Или для того, чтобы свести в ее доме действующих лиц комедии?

Нет, фигура Турусинной слишком любопытна сама по себе, чтобы иметь лишь вспомогательное сюжетное значение. Мы не ошибемся, если увидим в ней еще одного московского «мудреца», правда, на этот раз «мудреца» в юбке. Иными словами, Турусина тоже воплотила в себе разновидность умонастроений, без учета которых картина вырождения сознательной мысли, изображенная Островским, оказалась бы неполной.

Под крышей богатой дачи в Сокольниках вовсе не входят в оттенки либеральных или консервативных убеждений, а попросту, по старине веруют в чудесные знамения, совпадения, приметы, гадания ворожей и пророчества юродивых. Принимая у себя людей разных толков, Турусина хочет показать, что она чувствует себя выше не только консерватизма с либерализмом, но и вообще всякой «политики», преходящей злостью дня. «Я делаю добро для добра, не разбирая людей», — потупив глаза, объясняет Турусина. Ей хочется думать, что она живет в «вечности», она не желает знать, о чем шумят современные витии. Какая реформа? Какие крепостные? Что за «новые суды»? Помилуйте, есть ли ей досуг заниматься всей этой суетностью! Она знает одно: существуют приятные светские знакомые, солидные люди — Мамаев, Городулин, Крутицкий, и что ей до их споров и недоразумений? Однажды порешив про себя, что ей важны лишь высшие, неземные заботы, она получает возможность прекрасно ладить со всеми к неперменной собственной выгоде.

«Я знаю одно, что на земле правды нет, и с каждым днем все больше в этом убеждаюсь», — говорит Турусина в конце пьесы. Но не надо думать, что ее глаза обращены к небу. Она не столько религиозна, сколько суеверна. Ее пугают дурные сны, случайные совпадения, недобрые приметы. Едва собравшись выехать из дому, Турусина велит откладывать лошадей, потому что в самых воротах женщина перешла дорогу экипажу... А тут еще встреча с правой стороны...

Когда исчезает искренняя вера, го

в огромной прогрессии растут ее дешевые суррогаты — прорицания, предрассудки, приметы. Предрассудок захватывает место, оставшееся пустым после религии.

Существует известный психологический закон: что желаешь видеть, на что себя настраиваешь, то и получишь. Скромная дача в Сокольниках оказывается настоящим домом чудес. Островский не отказывает себе в удовольствии воссоздать эти чудеса, чтобы весело посмеяться над ними.

Стоит Турусиной в разговоре с Крутицким обронить реплику: «Вы страшный человек», как появляется лакей Григорий и торжественно возвещает: «Странный человек пришел» (он имеет в виду странника). Стоит произнести слово «блаженство», как сююа Григорий вырастает на пороге: «Блаженный человек пришел». Слово служит как бы заклинанием, вызывающим духов, и когда после бормотания Манефы: «К кому бедокур, а к вам белокур» — дверь открывается и входит белокурый Глумов, никто уже ничему не удивляется, и его принимают как избранного небом жениха для Машеньки.

Всякий спрос рождает предложение, причуды богатой барыни должны быть удовлетворены, и вокруг Турусиной возникает целый сонм гадалщиков, оракулов и пророчиц. Правда, и прорицатели иные уже не те: разве можно сравнить темную крестьянку Манефу с прославленным Иваном Яковлевичем Корейшей? «Какая потеря для Москвы, что умер Иван Яковлич! — печалится Турусина. — Как легко и просто было жить в Москве при нем. Вот теперь я ночи не сплю, все думаю, как пристроить Машеньку: ну, ошибешься как-нибудь, на моей душе грех будет. А будь жив Иван Яковлич, мне бы и думать не о чем. Слездила, спросила — и покойна».

Что это, карикатурное преувеличение? Издевка? Ничуть не бывало. С Иваном Яковлевичем советовались не только по matrimonialным делам, и не одни лишь суеверные барыни вроде Турусиной ездили к нему на поклон. Приятель Островского в молодые годы известный «младославянофил» Тертний Филиппов задумал в 1855 году издавать журнал «Русская беседа» и в видах трудности этого предприятия не смог обойтись без совета с Корейшей. «Хочу Вас утешить прежде всего хорошими известиями о нашем журнале, — писал Т. Филиппов И. В. Киреевскому 19 сентяб-

ря 1855 года... — Во 1-х я еще в августе был у Ив. Як. и спросил у него письменно: «Будет ли раб Тертний издавать журнал?» Ответ: «Из уст коего текла речь слаще меда». Это что-то лестное обозначало<sup>1</sup>. Рассказывая о пророчестве Ивана Яковлевича, Т. Филиппов еще словно не выбрал тона и колеблется между иронией и серьезностью, но то, что он на всякий случай («а вдруг поможет?») решил посоветоваться с Корейшей об издании журнала, свидетельствует о том, что суеверия Турусиной, запечатленные Островским, не слишком, так сказать, индивидуальны и относятся скорее к некой «типологии ума».

Среди разных видов унижения и компромиссии мысли, изображенных в комедии Островского, свое место занимает, таким образом, и религиозное ханжество, безверие, прикрываемое напускной пажобностью. Ему тоже принадлежит быть выставленным в той кушетке камере человеческой глупости, какую соорудил драматург, защищая человеческий разум.

Тяжело, душно от всех этих оттенков людской глупости и пошлости... Но наше путешествие по сценической «стране дураков» еще не закончено, и я тороплюсь очистить авансцену для появления главного героя комедии и главного «мудреца» — Глумова.

## ПРОДАННЫЙ УМ

Если б не Глумов, комедия о «мудрецах» могла бы, пожалуй, стать идеальной пьесой для кукольного театра. В самом деле, Крутицкий, Мамаев, Городулин, Турусина — что это, как не куклы с их застывшими в папье-маше сатирическими гримасами, яркой характерностью поз и ужимок? Крутицкий, в голове которого словно спрятан хриплый органчик, готовый в любую минуту исполнить любимую мелодию шедринских градоначальников — «не потерплю»... Городулин, столь легковесный, что при каждом шаге едва не отрывается от земли и вот-вот взлетит на воздух...

Такая возможность материализации сатирической метафоры оправдывает поиски тех актеров Вахтанговского театра, которые в рисунке своих ролей стремились к гротеску. Жаль, что эти усилия не были

<sup>1</sup> Центральный государственный архив литературы и искусства СССР (ЦГАЛИ). Ф 236, оп. 1, ед. хр 142.

объединены глубоким и цельным замыслом. В отдельности же они лишь подчеркнули разностилие, эклектизм постановки, и бытовой фарс заслонил по большей части политическую сатиру. А любопытно было бы среди иных возможных трактовок «Мудреца» увидеть его поставленным в традициях сатирического народного лубка, скоморошьей комедии, театра Петрушки, где, кстати, тема ума и глупости всегда была в чести. Чего стоит одна фигура Ивана-дурака, одерживающего верх над важничаящими «умниками»! А сколько других возможностей для злободневных политических интермедий давала непритязательная форма русской «комедии дель арте»!

Один лишь герой пьесы Островского, но зато главный ее герой, никак не втеснится все же в рамки кукольной комедии, сатирического балагана. Можно сколько угодно презирать и ненавидеть Глумова, но куклой назвать его нельзя. Для художественного воплощения такой фигуры потребны более тонкие и сложные средства психологического реализма.

Среди действующих лиц комедии Островского, в пестром хороводе сатирических масок мы не сыщем ни единого положительно го героя. Но вся расстановка персонажей в пьесе такова, что Глумов как бы перехватывает вакантное место, оставшееся пустым.

Молодой, удачливый, веселый и сценически эффектный герой на протяжении четырех актов дурачит всех, совершая стремительную карьеру, легко демонстрирует свое превосходство над окружающими и, как заправский жён-премьер, ведет любовную интригу. Он без труда завоевывает сердце Мамаевой, а посватавшись к Машеньке, мгновенно оттесняет своего соперника, гусара Курчаева,— словом, с какого конца ни возьми, это настоящий герой-любовник, обаятельный и непобедимый. И даже его катастрофическое падение в пятом акте кажется случайным недоразумением: он еще будет иметь возможность поправить свою репутацию и возродить былую славу «добродетельного человека».

Эти слова — «добродетельный человек» — Островский ставит в столь компрометирующий контекст, что обнажается их полемическое жало. Драматург точно заранее обороняет себя от возможных упреков в том, что не дал в своей комедии «светлого противоположения» сатирическим монстрам, не вывел героя, который мог бы стать примером

для подражания, средоточием всех чаемых добродетелей. На это привычное требование он отвечает насмешливым парадоксом, предлагая вниманию публики героя-авантюриста.

Обескураженный своим поражением в борьбе за Машеньку и двести тысяч ее приданого, Курчаев объясняет, что Турусина ищет для своей племянницы то, что «так редко бывает», а именно «добродетельного человека». «Я и пороков не имею, я просто обыкновенный человек,— говорит неудачливый жених.— Это странно искать добродетельного человека. Ну, не будь Глумова, где бы она взяла? Во всей Москве только он один и есть».

Лукавая усмешка автора промелькнула в этих словах самого бесцветного, но, пожалуй, и наиболее безобидного героя комедии. Островский доверил ему произнести то, что хотел бы сказать сам. И публика должна была оценить тайный яд этой реплики о «добродетельном человеке», даже если не угадала ее литературного первоисточника, связывающего драматурга с очень важной традицией. Ведь это не кто иной, как Гоголь, решившись объяснить с читателем в главе XI «Мертвых душ», впервые создал ироническую апологию идеального героя — «добродетельного человека».

«А добродетельный человек все-таки не взят в герои. И можно даже сказать, почему не взят,— писал Гоголь.— Потому что пора наконец дать отдых бедному добродетельному человеку; потому что праздно вращается на устах слово: добродетельный человек; потому что обратили в рабочую лошадь добродетельного человека, и нет писателя, который бы не ездил на нем, понукая и кнутом и всем, чем попало; потому что изморили добродетельного человека до того, что теперь нет на нем и тени добродетели, а остались только ребра да кожа вместо тела; потому что лицемерно призывают добродетельного человека; потому что не уважают добродетельного человека. Нет, пора наконец припрячь и подлеща».

Невозможно представить себе, чтобы Островский не знал или позабыл эти знаменитые слова. И когда его Курчаев говорит, имея в виду все того же Глумова: «Еще с кем другим я бы поспорил, а перед добродетельным человеком я пас...» — драматург без сомнения держит в памяти рассуждение Гоголя, направленное против слащавых поправок к строгому реализму. Подобно авто-

ру «Мертвых душ», Островский «припрягает» коренником, движущим действие в комедии, подлеца Глумова, как бы узурпировав для него место на подмостках, принадлежавшее по традиции положительному герою.

Русская сцена шестидесятых годов знала тип восторженного реформатора, молодого либерального чиновника или помещика, декламирующего монологи о борьбе с невежеством и корыстью, возвещающего в пылких речах с авансцены «зарю новой жизни». Партер и ложи Александринского театра аплодисментами встречали, к примеру, эффектные выходы актера Нильского — создателя прочного штампа добродетельного героя, мужественного красавца, одержимого «гражданской скорбью». Он был безупречно честен, добр и хорош, но это уже почти не имело отношения к индивидуальному творчеству актера или драматурга. Все роли Нильского казались одной его ролью. В своих театральные обозрениях Щедрин писал о Нильском-типе, Нильском-амплуа. В сознании публики сложился мало-помалу устойчивый образ молодого прогрессиста, еле заметно варьиовавшийся от пьесы к пьесе, начиная с «Чиновника» Сологуба, где обаятельный, дерзкий Надимов обличал взятку и департаментские злоупотребления, заодно завоевывая сердце прелестной графини, и кончая «Метелью» Назарьева, где вернувшийся из Бельгии с намерением наладить в русской деревне фермерское хозяйство молодой герой восклицал под занавес: «Да, не те песни в селах, в них звучит и слышится обновление, радость, новая жизнь на Руси... Нам нужно радоваться, судьбу благословлять, что родились в такое время, как наше».

Иго «добродетельного человека» на сцене можно было свергнуть, лишь обнаружив на его месте очевидный его антипод. Грубой реальностью своего облика Глумов заслонил бесплотную тень «добродетельного человека». Антигерой, или, лучше сказать, павший положительный герой комедии, заявил дерзкую претензию стать новым «героем времени», по крайней мере героем в том обществе, какое его окружало.

Суть сложной и как бы многослойной фигуры Глумова приоткрывается не сразу. Пока мы выглядываемся в красивый профиль белокурого, с «интересной бледностью», как говорили читательницы Марлинского, молодого человека, воображение услужливо под-

совывает нам готовые подобию и литературные параллели.

Нет, его внешность лжет, это не романтический герой. Первое, что противоречит этому и сразу кидается в глаза, — черты приспособленца и подлипалы в лошеном молодом красавце. С каждым нужным ему человеком он такой, каким его ждут и хотят видеть. С Мамаевым — глуповат и робок, с Крутицким — послушен и исполнительен, с Городулиным — красноречив и боек, с Турусиной — елейно тих и набожен. Он на лету схватывает несложный набор любимых тем и манеру выражения лица, с которым разговаривает, и перевоплощается искусно и неуловимо, как протей. В конце концов в этом московском мирке все понемногу играют свои роли, почему бы не поиграть и Глумову?

Если дядюшка ругает время («нынче время такое...»), Глумов гнусавит в тон ему, почти пересмешничая, но с пресерьезной миной на лице: «Преподавание нынче, знаете...» Мамаеву, как мы помним, многого не надо, и поддакивание, «таканье», по известному в те времена словечку кн. Дашковой, он принимает за ум в собеседнике. Но стоит дядюшке покинуть апартаменты Глумова и появиться шарлатанке Манефе, как наш герой мгновенно сбрасывает прежнюю маску и натягивает другую.

*М а н е ф а (Глумову).* Убегай от суеты, убегай!

*Г л у м о в (с постным видом и со вздохами).* Убегаю, убегаю.

Если слушать одни лишь ответы Глумова, не слыша того, что говорит ему Манефа, и то сразу заметно, что он переменял собеседника. «Не знаю греха сего», «Ох, чувствуем, чувствуем» — какая-то приторная старушечья елейность полилась с его языка. По ответным репликам Глумова всегда безошибочно можно определить, с кем он в данный миг разговаривает.

Глумов, который приспособливается, льстит, подлаживается, — такой образ может показаться новой разновидностью втируши Молчалина. Автор комедии как будто заинтересован в том, чтобы это сходство с грибоевским героем было замечено. Оказавшись наедине с Мамаевой и давая ей себя обольстить, Глумов с рискованной откровенностью пользуется репликами своего литературного предшественника. Отвечая на заигрыванье тетушки, он говорит ей, что мог бы иметь успех разве что у старухи, платя



ей «постоянным угождением»: «я бы ей носил собачку, подвигал под ноги скамейку, целовал постоянно руки...» — «А молодую разве нельзя полюбить?» — кокетничает Мамаева. «Можно, но не должно сметь», — отвечает известным молчалинским афоризмом вошедший во вкус своей роли Глумов.

Лживая и льстивая мать Глумова, глаза которой так и ездят по лицу от медоточивого умиления, будто невзначай подтверждает версию о молчалинском складе характера своего сына. Если верить ее словам, Глумов едва ли не с пеленок был мальчиком на удивление покорным, ласковым и начальстволюбивым. «Уж никогда, бывало, не забудет у отца или матери ручку поцеловать; у всех бабушек, у всех тетюшек расцелует ручки... А то один раз, было ему пять лет, вот удивил-то он нас всех! Приходит поутру и говорит: «Какой я видел сон! Слетают ко мне, к кровати, ангелы и говорят: любви папашу и мамашу и во всем слунайся! А когда вырастешь большой, люби своих начальников...»

Фу, как приторно! Не пересладила ли старуха? Можно подумать, что мы имеем дело с простым двойником Молчалина. Но почему, собственно, мы должны брать всерьез показания Глумовой? Они не могут служить достоверной характеристикой героя хотя бы потому, что мать лишь выполняет отведенную ей роль в заговоре сына.

То, что Глумов плут и приспособленец, долго не замечают лишь действующие на сцене лица; из зрительного зала это видно, так сказать, невооруженным глазом. Репутацию простака и тихони пытается присвоить себе герой-авантюрист, предпринимчивый и дерзкий. Задумав свою аферу, он заранее рассчитывает ее во всех деталях, как военную операцию, и, стоя за своей конторкой, словно Наполеон перед Аустерлицем, объявляет матери, что решил «идти напролом». С первой же минуты он действует уверенно и цинично, даже с известной лихостью, с шиком ведя опасную игру, и в этом, как ни странно, есть что-то привлекательное для зрителя. Отрадно видеть, как он дурачит этих пошлых «мудрецов»!

Правда, делает он это с редкой беззащитностью. Изложив за Крутицкого его «проект», Глумов с той же охотой берется написать для Городулина антикритику на сочинение генерала. Да ведь и впрямь, кому же лучше знать свои слабые места, как не самому автору! Умелого владения лите-

ратурным ремеслом у Глумова не отнимешь, и он всегда готов продать свое умение тому, кто дороже заплатит.

А все же Глумов не просто мелкий прихлебатель, и, чтобы оттенить особенность его характера, Островский ставит рядом с ним жалкую фигурку откровенно продажного газетчика, охотника за скандалчиками и пикантными сенсациями, растленного интригана и вымогателя Голутвина. Несмотря на весь свой цинизм, Глумов не Голутвин, как, несмотря на все свое краснобайство, он не Городулин и, несмотря на все приспособленчество, не Молчалин. Быть может, Глумов и несет в себе отчасти приметы одного, и другого, и третьего, но за вычетом всех знакомых нам черт в этом образе остается нечто, что придает ему главную силу и новизну и что концентрируется в понятии «глумовщина».

Среди летучих, ускользающих обличей героя вызывает интерес еще одно. На наших глазах стерев с лица подхалимскую улыбку Молчалина, Глумов легко оборачивается неподкупным Чацким. В беседе с Городулиным он так и сыплет скрытыми цитатами, настриженными из монологов грибоедовского героя: «Служил, теперь не служу, да и не имею никакой охоты», «Уменья не дал бог» и т. п. А в объяснении с Мамаевой, напоминающем пародию на любовную сцену, где и сам Глумов — карикатура на героя-любовника, он снова разыгрывает роль Чацкого и даже роняет то слово — «Я сумасшедший», — которое в комедии Грибоедова, неосторожно сорвавшись с уст Чацкого во время объяснения с Софьей, дает завязку драматической интриге. Наконец, и в финале пьесы, что не раз замечала критика, Глумов совсем в духе Чацкого выступает обличителем той среды, в которую сам так рвался попасть.

Глумов повторяет Чацкого своим неуважением к окружающему обществу, гордым сознанием, что он выше тех людей, от которых зависит и с кем по необходимости должен знаться. Настает минута, когда он оказывается один против всех. Разоблаченный в своей двойной игре, он обливает открытым презрением тех, пред кем недавно пресмыкался, и в этом качестве может вызвать неподдельное восхищение собою. Что ни говори, а приятно, когда находится человек, способный выставить надутое ничтожество в смешном свете!

В монологах Глумова встречаются на-

стоящие сатирические перлы. Вот он объясняет Городулину, как необходимо вести себя, чтобы понравиться начальству: «Не рассуждать, когда не приказывают, смеяться, когда начальство вздумает состричь,— думать и работать за начальников и в то же время уверить их со всевозможным смирением, что я, мол, глуп, что все это вам самим угодно было приказать. Кроме того, нужно иметь еще некоторые лакейские качества, конечно, в соединении с известной долей грациозности: например, вскопчить и вытянуться, чтобы это было и подобострастно и неподобострастно, и холопски и вместе с тем благородно и прямолинейно, и грациозно. Когда начальник пошлет за чем-нибудь, надо уметь производить легкое порханье, среднее между галопом, марширом и обыкновенным шагом». Этому монологу не откажешь в сатирической едкости. Конечно, Глумов и тут разыгрывает некий спектакль, на этот раз либеральный — в честь Городулина, но в его словах чувствуешь не одну лишь игру, а неподдельный жар человека, дорвавшегося до того, чтобы высказать вслух неприятные истины, хотя бы и напялив на себя шутовской колпак.

А в то же время есть что-то зыбкое, двоящееся на глазах, бесовское в этой постоянной смене ликов... Так кто же он, наконец, этот полугерой, полуподлец, странная смесь Молчалина с Чацким?

Понять это позволит одна важная особенность сюжета — тайный дневник, который ведет Глумов. Чего только не наслышался в свое время Островский из-за этого злополучного дневника! Большинство рецензентов пьесы считали эту подробность лишней, странной и в лучшем случае согласны были примириться с ней как с сюжетной уловкой. Если согласиться с тем, что Глумов подлец и подхалим, рассуждали критики, то при чем здесь дневник? Обличительные филиппики глумовского дневника запугивают вполне ясный характер, непредвиденно осложняют его логику. «Мы, разумеется, не настаивали бы на этой неестественной, фальшивой черте характера Глумова,— писал «Вестник Европы»,— если бы она была мимоходною и стояла бы на втором или третьем плане... К несчастью, черта эта играет главную роль» (№ 1, 1869, стр. 343, 344).

Противоречивость характера сбивала с толку. Помилуйте, какая еще нужна слож-

ность в типе прихлебателя и лицемера, известном от века?

«Дневник этот, введенный автором для развязки комедии,— писал критик газеты «Неделя»,— нарушает художественную правду комедии. Такой негодяй, как Глумов, едва ли стал бы вести дневник с лирическими откровениями и рассказами о своих собственных подлостях» (№ 48, 1868). «Мы сильно сомневаемся,— поддерживал тот же взгляд другой критик газеты,— в том, чтоб господин, решившийся пресмыканием и лестью проложить себе дорогу, заводил себе дневник для изливания своей желчи и негодования по поводу людской пошлости. Романтизм и мошенничество едва ли вяжутся между собою» («Неделя», № 49, 1868). Дневник мешал простому знакомому, черно-белому толкованию, и оттого его сочли лишним.

Спору нет, сама по себе история с похищенным дневником, открывающим тайный умысел героя,— знакомая пружина французской комедии положений, избитый прием, стоящий в одном ряду со случайно вскрытым чужим письмом, перехваченной запиской и т. п. Но в пьесе Островского дневник незаменим для иной цели, для понимания Глумова как социального типа, впервые очерченного в литературе. Насколько беднее, проще оказался бы этот характер, не будь пресловутого дневника, тайно вести и бережно хранить который вряд ли стал бы заурядный подлипала и проходивец.

Будто устав от дневного обмана и лицедейства, Глумов сбывает по вечерам в этот дневник тайную свою желчь, в нем ведет «летопись людской пошлости». Оставшись наедине с самим собой, он словно сваливает с плеч постылую чужую одежду, разгриммировывает свое лицо и дает волю накипевшему чувству презрения к тупице Крутицкому, либеральному пошляку Городулину, ханже Туруссиной. На этих страницах он мстит им за свое дневное унижение. И зритель с необыкновенной ясностью понимает, что в этой спешившей «стране дураков» один Глумов умен и талантлив, действительно умен и по-настоящему талантлив. Он наблюдателен, остер и приметлив, а главное, он отлично знает, в чем зло, он смеется над глупостью и фальшью, он всему, казалось бы, сознал цену, но сделал для себя деловой практический вывод. Вывод этот звучит примерно так: если способный, деятельный че-

ловек не хочет пропасть и затеряться, если он надеется выйти победителем в жизненной борьбе, ему неизбежно — времена таковы — следует стать подлеем.

В черновых вариантах комедии Глумов первоначально звался Лазенков, потом Лазутин. На этой стадии работы образ героя-пролазы, очевидно, не оторвался еще вполне от молчалинского типа, не обрел самобытного существования. Но едва закончив начерно комедию, Островский перечеркнул повсюду имя Лазутина и, закрепляя найденный им новый характер, написал сверху над каждой зачеркнутой строкой: Глумов. Хитрая фамилия! Глумов — не Умов, но ум словно запрятан в середку этого слова, хотя и звучит в нем приглушенно, еле слышно. Зато поверх этого значения громко заявляет себя другое: глумиться — значит смеяться, издеваться, уничтожать, но нехорошо смеяться, насмешничать с недобрим чувством, ставя себя тем самым не выше тех, кого осмеиваешь.

Тут и проясняется вполне и до конца отличие Глумова от Молчалина. Люди молчалинского типа проходят «путь наверх», усваивая по дороге взгляды начальства, добросовестно приспособляясь к чужим мнениям и привычкам, органически притираясь к ним, вживаясь в них, как в новую свою кожу. Но не таков Глумов, ни на минуту не забывающий, что носит чужую маску: он ненавидит обманываемых им людей и про него нельзя даже сказать, что он приспособливается; нет, он обдуманно и целеустремленно ведет двойную игру.

Внезапная, стремительная афера Глумова напоминает хорошо поставленный социальный эксперимент. Конечно, главная цель героя — карьера, но по пути он не прочь позабавиться и прсервить личным примером, насколько это в принципе доступно для умного человека — пользуясь простейшими приемами социальной мимикрии и приняв в расчет обычные человеческие слабости, проложить дорогу к успеху. В строительстве Глумовым воздушного замка, возведенного без всякого фундамента, на одной лишь лжи и обмане, есть элемент если не бескорыстной тяги к познанию, то во всяком случае свободной игры сил, дерзкого озорства, смелой пробы. Помимо всего иного, Глумов бесспорно способный и обаятельный комедант, ему доставляет наслаждение его опасная игра: с какой легкостью, свободой и, едва не сказав, вдохновением дурачит он

своих собеседников! Веселые огоньки вспыхивают у него в глазах, когда он обводит вокруг пальца надутого важностью, как индюк, дядюшку. А как дерзко, с какой вызывающей иронией вставляет он в свою речь литературные цитаты, присваивая себе то слова Чацкого, то реплики Молчалина и считывая при этом на дремучее невежество окружающих, которые и впрямь не замечают этого, как не замечают и того, что лстивость Глумова граничит с издевательством. Он и поглядывает на собеседника чуть иронически, давая нам понять, что, даже захлебываясь комплиментами, он сохраняет точную дистанцию, холодно фиксируемую его рассудком, между лестью и подлинным своим отношением к человеку, которого улавливает в свои сети.

В мире мнимостей, где видимость послушания важнее действительной покорности, а изъявления ценятся выше поступков, легко обольщаются самыми внешними заверениями в преданности, и Глумов покупает доверие своих слушателей вызывающе дешевыми средствами. В разговорах с Мамаевым или Туруссиной он балансирует на той опасной грани серьезности и издевки, где, глядя со стороны, насмешка очевидна; ее не чувствует лишь сам осмеиваемый «мудрец». Малейший пережим грозил бы выдать с головой заигравшегося насмешника, но в этом деле Глумов виртуоз и раскусить его не так просто.

Итак, перед нами некий бес, и не самого малого калибра, — остроглазый, наблюдательный и едкий, в безукоризненном черном сюртуке и с обаятельными манерами. Таким и играет его в Театре имени Вахтангова Ю. Яковлев. Единственный упрек, какой можно сделать артисту, что его Глумов — слишком уж беспечный, легкий, вызывающий симпатию своей рискованной игрой герой. Хорошо, что исполнитель этой роли сценически эффектен, ловок — таким и должен быть Глумов, — но актер несколько мельчит, когда, например, в комедийном усердии ищет пропавший дневник под столом, под диваном, за картинами... В Глумове мало видеть легковесного и удачливого пройдоху-авантюриста, героя плутовской комедии. В нем должна чувствоваться уверенная в себе хищная сила, а его цинизм тем страшнее, чем внешне привлекательнее он может выглядеть.

В холодном блеске своего скепсиса Глумов не знает святынь, он на все поглядыва-

ет небрежно и свысока и не различает правых и виноватых. «Иронист» такого склада решительно во всем находит предмет для остроумия и издевки: трусость и мужество, подлость и благородство, дурные и добрые поступки уравниваются для него в цене. Насмешка всегда создает иллюзию превосходства, но напрасно было бы искать в душе Глумова хотя бы слабую тень положительного содержания: внутри у него — чистый нуль, ледяная утроба.

Истлевшая совесть Глумова рассмотрена драматургом как бы во времени, с указанием на предысторию и причины случившихся с ним перемен. В изучении психологии подлости обычно ускользает сам момент решения, а с него-то и начинается Островский. Глумов впервые возникает перед нами в переломный миг его жизни, когда он прощается со своим прошлым, с порой молодого либерализма, забавами детского вольнодумства, приевшимися с летами. Прежде он только злился да писал эпиграммы на всю Москву. Это мальчишество, как и следовало ожидать, не принесло ему ни славы, ни денег. Ему надоело обличать. Он готов решительно переменить жизнь, и первый шаг к этому — поиски богатой невесты и денежного места.

Начальный монолог Глумова, где он не стесняясь излагает свой план, как «подделаться к тузам», может показаться слишком наивным в своей грубой откровенности. Обычно человек впадает в подлость с большой постепенностью и оглядками, ища для себя благовидных оправданий. Но не исключен и такой случай — крутого внутреннего поворота, цинизм сознательного, не камуфлируемого даже для себя, для своей совести решения: уж не махнуть ли на все рукой, не зажить ли, попросту говоря, «применительно к подлости»?

И здесь особенно важна идейная «родословная» героя. Должно быть, Глумов наговорил на себя, когда, желая понравиться Крутицкому, уверял его, что стычки с полицией случались у него в молодости оттого, что он «покучивал». Не правильнее ли предположить, что в студенческие годы автор ядовитых эпиграмм отличался и в более опасном вольнодумстве? Но прошло время, и герой убедился, что объекты его сатиры продолжают благоденствовать и вообще все стоит на прежних местах, а он лишь зазря тратит свой порох. Ничего не добившийся честным путем, досадующий на свою личную

неустроенность, Глумов решает подороже продать свой ум. Ему кажется обидным, что кругом преуспевают подлещи, люди, которым и продать-то, кроме собственной подлости, нечего. А он, человек в тысячу раз способнейший, чем все они, должен почему-то прозябать в нищете и безвестности.

Проснувшись однажды утром, он отчетливо понимает, что быть честным глупо — одни прорехи в кармане да неприятности. Люди почтенные и преуспевающие вправе глядеть на него с обидным снисхождением: уж не дурак ли ты, братец, если не умеешь устроить свою жизнь получше? Глумов не может допустить, чтобы его сочли оставшимся в дураках. В самом деле, что пользы негодовать, обличать, открыто смеяться? — рассуждает он. Все равно плегью обуха не перешибешь, против рожна не попрешь, как записано в скрижалях народной мудрости, и не более ли смысла в том, чтобы подумать о себе. Является соображение, что в конце концов и жизнь у человека одна, и годы проходят — так не все же оставаться в жалкой зависимости от случая, пропадая в безденежье и ничтожестве на нижних этажах жизни?

Нет, довольно, он не будет чистоплюем, он покажет себя, он не хуже других знает, как можно устроить сытую жизнь и успешную карьеру в мире мудрецов. Кому-кому, а ему-то ничего не стоит их одурачить: ведь с какого боку ни возьми, он на десять голов выше любого из них.

Глумов напоминает человека, который долго стоял скептическим наблюдателем за спинами игроков и смотрел на зеленое сукно ломберного стола. Он видел, какие промахи, какие детские ошибки совершают они на каждом шагу. Ух, как бы он их всех переиграл, имея на руках такие карты! Вот только беда, играть с этими партнерами в их игру стыдно. Но отчего же стыдно? Ничуть не стыдно. Для этого надо только перестать быть, как они это называют, чистоплюем. надо сесть за один с ними стол и принять условия игры. И Глумов их принимает.

Поначалу, правда, он оставляет еще какую-то лазейку для беспокойной совести. Он хочет быть честен хотя бы наедине с самим собой. Но это не просто быть честным по расписанию, в определенные дни и часы! Глумов тешит себя мыслью, что в глубине души он не отказался от своего взгляда на тех людей, перед которыми вынужден пре-

смыкаться, и лишь прячет свое отношение к ним в дневник. У него есть даже какая-то надежда, укрепившись «на прочном фундаменте», сделать извлечения из своих записей, чтобы осрамить важничающих глупцов.

Однако все это не более чем иллюзия. Вступившему на скользкую тропу личного преуспеяния человеку поначалу бывает беспокойно, и он утешает себя мыслью, что надо набрать силы, приобрести известное положение и тогда уже использовать в благородных целях преимущества своего ума и дарования. Но это обычный самообман. Человек пропадает в тот самый миг, как только он сознательно решает заключить первую сделку с совестью, потому что, поднявшись на следующую ступеньку своего успеха и карьеры, он только и думает что о еще и о еще следующей. Та, на которой он стоит сейчас, кажется ему низка для нападения. Фундамент, на котором он хотел укрепиться, чтобы начать действовать, никогда не будет для него достаточно прочным, и, апеллируя к благородной цели, он только успокаивает или обманывает себя, пока не решится порвать последние нити, связывающие его с честным прошлым. Именно так кончает Глумов, проклиная свой дневник как несчастную слабость, приведшую его к разоблачению: «Зачем я его завел? Что за подвиги в него записывал? Глупую, детскую злобу тешил». Отныне он никогда уже не впадет в это ребячество и, пускаясь в новую аферу, будет сжигать за собою все мосты, оставаясь неуязвимым.

Действующие лица комедии постоянно аттестуют Глумова так: «честный человек», «порядочный человек». Это понятно: кто поддакивает, тот нам и мил. Но любопытно, что даже мошенники, связанные круговой порукой, вынуждены объясняться между собой с помощью нормальных нравственных понятий человеческого языка. «Да честно ли это?» — спрашивает Глумов Голутвина, собравшего на него компрометирующее досье, и эта реплика достаточно комична в устах полнейшего циника. В свою очередь Голутвин, торгуясь с Глумовым из-за позорящих его бумаг, произносит презрительную фразу: «Вы не умеете ценить чужого благородства оттого, что в вас своего нет». Забавно слушать этот диалог повздоривших между собою подельцов, руководящихся гангстерским кодексом чести и видящих единственный ключ к успеху в победительной силе наглости. Тем замечательнее,

что и они вынуждены пугать друг друга понятиями из нравственного лексикона, потому что можно их перелгать, извратить, запутать, но окончательно убить их авторитет — нельзя.

Конечно, в карьерном, прагматическом смысле можно считать силой Глумова то, что он отбросил всякие церемонии в своей рискованной игре и не оглядывается на моральные понятия и нормы. Его неудача временна, и с такими правилами, каких он решил держаться, успех в битве жизни наверняка обеспечен ему.

Однако природа человека как существа общественного устроена так, что карьеризм и талант, ум и пресмыкательство взаимно отрицают друг друга. Оподлившись, человек глупеет, и талант мало-помалу оставляет его, прилепляясь к ничтожным и фальшивым целям. Когда поднимается одно плечо у коромысла весов, опускается другое... Но неужели однажды ночью, оставшись наедине с самим собою, Глумов не испытает прилив холодного ужаса за выбранную им судьбу, за предательство своего ума? Или все это пустая морализация, чушь, идеалистические бредни, и ничего такой человек не вспомнит, не ощутит, а, случайно проснувшись среди ночи, с удовольствием подумает, что спит в удобной, мягкой постели в богатом и благоустроенном собственном доме, сладко зевнет и повернется на другой бок? Кто знает! Твердо известно лишь одно — наказание уже совершилось, потому что без нравственной опоры, морального стержня ни таланту, ни уму его нет дороги: он обречен падать и вырождаться.

Для Островского-просветителя в истории Глумова заложен драматический смысл: эпоха реакции, пореформенного безвременья плодит не только глупцов-ретроградов и либеральных болтунов, мнящих себя руководителями общественного мнения, но даже умных, даровитых людей приводит к распродаже ума, духовному предательству. Мы не найдем, пожалуй, во всем творчестве драматурга другого примера столь острой и бескомпромиссной социальной критики.

Тип Глумова был настоящим открытием Островского-психолога, но это оказалось замеченным не сразу. А. С. Суворин (Незнакомец) писал в «С.-Петербургских ведомостях», что, по его мнению, герой комедии Островского «вовсе не тип, а случайность, положение его не типичное, а случайное, зависящее от глупого дяди...» (№ 301, 1868).

Для другого критика той же газеты, В. Бу- ренина, Глумов — «герой дюжинной фран- цузской комедии, не имеющий никаких су- щественных, характеристических черт» (№ 11, 1869).

Был, однако, один современник Остров- ского, который и в этом случае понял его лучше других, правда, выразил это не сов- сем обычным способом — не в театральном рецензии и не в критическом отклике.

С начала семидесятых годов персонаж по имени Глумов стал мелькать на страницах журнальных фельетонов и сатирических обзоров Щедрина. Щедрин продлил жизнь героя комедии «На всякого мудреца доволь- но простоты» в своем творчестве и тем са- мым закрепил его общественное значение.

Глумов встречался читателю Щедрина в «Недоконченных беседах», циклах «В среде умеренности и аккуратности» и «Круглый год», в романе «Современная идиллия», в «Письмах к тетеньке» и «Пестрых письмах». Как ни странно, в новом портрете Глумова не сразу узнали старого знакомого. Эта фи- гура получила в сочинениях сатирика такое самостоятельное значение, что даже истори- ки литературы упустили из виду его генеа- логию, и щедринского Глумова вплоть до наших дней часто считают простым однофа- милийцем героя Островского.

Между тем Щедрин и не думал скрывать, что, подобно Ноздреву, Молчалину или Ру- дину, которые также завербованы его сати- рой, он заимствовал и этот тип из известного литературного источника, сохраняя психоло- гический стержень популярного характера. Щедрин по обыкновению трактовал его от- крыто политически. Но сквозь самобытные сатирические краски отчетливо просвечивал контур старого оригинала.

В отличие от современной Островскому критики Щедрин распознал в Глумове тип человека, который, при всем своем житей- ском цинизме, мало напоминает заурядного подлеца и прихлебателя: иронический на- клон ума, презрение к глупости и пошлости ставит его неоспоримо выше окружающей среды. Цинический собеседник, пугаю- щий порою рассказчика своей грубой откро- венностью, помогал автору развенчивать ли- беральные иллюзии, не вызывая лишнего беспокойства цензуры. Но моральная нена- дежность, беспринципность Глумова отделя- ли, понятно, резкой чертой автора от героя.

Итак, щедринский Глумов — это человек сороковых годов, сверстник и давний прия-

тель рассказчика, когда-то отличавшийся умеренным вольномыслием, но давно похоронивший всякие надежды и упования. Ум- ный, талантливый, едкий, но опустошенный интеллигент, он обладает способностью са- мое отрадное, по словам автора, явление жизни ощипать и сократить до таких разме- ров, что в результате оказывается выеден- ное яйцо или пакость. Стоит рассказчику замечаться и предаться напрасным обольще- ниям, как Глумов возвращается его к реально- сти. Он рассуждает озлобленно, резко и лю- бит задавать рискованные вопросы, напри- мер: «Куда девалось молодое поколение?» или «Почему у нас нет критики?» В «Недо- конченных беседах» Глумов извещает время от времени рассказчика-автора и пугает его ложными известиями о запрещении его про- изведений, пытаясь тем самым, по его сло- вам, «костепенить малодушие». Он холодно исследует, до какой степени растерян и за- пуган автор, и ставит перед ним каверзный вопрос: почему литературное ремесло у нас так поставлено, что, занимаясь им, трудно оставаться порядочным человеком?

Ради острого словца Глумов не пожалеет ближнего, но и к себе он достаточно беспоща- ден. Он сознает, что сам пропитан на- сквозь нравами крепостного права, и в ми- нуту откровенности выворачивает перед со- беседником свою неприглядную изнанку, признавая, что нет для него «удовольствия выше, как на травлю смотреть». «Я все га- зеты перечитываю, чтобы быть, так сказать, очевидцем всякого удара, наносимого свя- занному человеку... И смекаю, что зрелище травли не есть человека достойно, да нуто вот унять не могу».

Щедрин еще углубил и политически за- острил двойственную природу героя Остров- ского: его критицизм, скептическую трез- вость и циническое отношение к людям и жизни, доходящее до какого-то нравствен- ного садизма. В щедринских сатирах Глу- мов постоянно движется в этих противопо- ложностях. С одной стороны, он рассуж- дает о значении «стыда» и, встретив на ули- це либерала Балалайкина, без всяких око- личностей обзывает его «балалайкой бес- струнной». А с другой стороны, обаяние скептицизма Глумова так внешне и непрочно, что о нем по существу только и можно что сказать: «И ты — раб с головы до ног, раб, выполняющий свое рабское дело с безу- пречностью и в то же время стареющийся с помощью целой системы показываемых в кар-

мане кукишей обратить свое рабство в шутку» («В среде умеренности и аккуратности»).

Знакомый герой Островского, поставленный в условия новой политической ситуации, видоизменял в согласии с нею проявления своего характера. В сочинениях Щедрина восьмидесятых годов, в пору вновь усилившейся реакции, в Глумове стали доминировать черты страха, растерянности: он, кажется, желает теперь одного — забиться в тихий угол и не раздражать начальство даже умеренной бравадой.

В «Современной идиллии» Глумов, не дожидаясь специальных указаний, первым смекает, что пришла пора «годить», то есть затаиться и не проявлять своих общественных симпатий и антипатий. Настоящее представляется ему безотрадным, а его взгляд на будущее еще более пессимистичен. «Будешь и к ранней обедне ходить, когда момент наступит», — говорит он, обдавая автора холодом мрачных предчувствий. Глумов становится еще осторожнее, двусмысленнее в своих речах и поступках. На вечеринке у квартального Ивана Тимофеевича он ловко поворачивает вопрос о бессмертии души, ставя его в зависимость от того, «как начальство прикажет». А о новой системе образования высказывается в том духе, что «сочувствовать реформам можно, но с оговоркой о готовности переменить свое мнение в случае приказа начальства». Здесь же мы находим Глумова и в уже знакомом нам по пьесе Островского амплу: наострившись на составлении «проектов» для Крутицкого, Глумов у Щедрина исправляет «Устав о благопристойности», стараясь обосновать в нем мысль об общедоступности обывательских квартир. Конечно, он должен перещеголять в изъявлении благонамеренности своих патронов и потому предлагает, чтобы каждая квартира имела отныне два ключа — один у жильца, другой в квартале.

В «Письмах к тетеньке» у Глумова изредка еще встречаются странные рецидивы его былой скептической трезвости и пронизательности. Так, он утверждает, что никогда еще не бывало хуже, чем теперь, и предостерегает автора от малодушия, советуя писать только правду. Но тут же незаметно для себя соскальзывает на знакомую стезю, ставя вопрос: «Что лучше и целесообразнее: скромное ли оцепенение или блудливая повадность?»

Наконец, в «Пестрых письмах» Щедрин

характеризует Глумова как «мудреца», у которого на всякий вопрос ответ готов. Глумов знакомит своих друзей с наилучшими приспособительными приемами и сам только то и делает, что приспособляется. Только раз, в конце пятидесятых годов, замечает Щедрин, мелькнуло у него в голове соображение, что и без приспособления можно прожить, но, мелькнув однажды, больше так и не возвращалось.

Своим жизнеописанием Глумова, развернутым во времени, взятым в разных политических ракурсах, Щедрин закрепил и подтвердил социальную значительность типа, открытого Островским, — человека умного и талантливого, который сознательно и расчетливо предал свой ум. То, что критикам вроде Буренина или Суворина могло казаться искусственным противоречием, навязанным герою, на деле было характерным новообразованием эпохи. Глумов явился не как какой-то нравственный Квазимодо, исключительный и непонятный в своем душевном уродстве. Раздвоение сознания, скептическая поза и поспешное ренегатство богато одаренного от природы человека были симптомами зловещей болезни времени.

## РАЗВЯЗКА

Островский изощренно искусен в постройке пьесы. Внезапные события, перемены, разоблачения нарастают к концу комедии, как снежный ком. Все рассчитавший и предусмотревший Глумов не учел одного — коварства оскорбленной и ревнующей женщины. Ему удавалось ловко лавировать между консерваторами и либералами, но двойная игра в любви не сошла ему с рук. Оттенки политических мнений и вкусов оказались легче учесть, чем притязания женской ревности. Молодой герой «заигрался», запутался между двумя женщинами — Мамаевой и Машенькой, и месть влюбленной тетушки, укравшей дневник и предавшей его огласке, привела Глумова к ошеломляющему падению.

И все же мы имеем дело с комедией, а в комедии должен быть счастливый конец — ладком, пирком да за свадебку. Конец «Мудреца» вдвойне благополучен. Драматург, как водится, соединяет сердца влюбленных: Машенька выходит за гусара Курчаева, который вполне достоин этой чести, потому что... потому что... ну, хотя бы пото-

му, что она его любит. К тому же гусар простодушен, ненавязчив и сам охотно признает себя «обыкновенным человеком», а скромное смирение должно быть вознаграждено.

Но и сам Глумов получает к финальному занавесу неожиданную возможность вынырнуть из-под обломков, казалось бы, безвыходной катастрофы и вполне успокоить зрителя относительно будущей своей судьбы. Едва придя в себя от неожиданного разоблачения перед лицом многолюдного общества в саду Турусной, герой демонстрирует редкий образец самообладания. Он отнюдь не сломлен, не раздавлен. Глумов не унижит себя тем, чтобы объясняться и оправдываться перед людьми, которых он так долго водил за нос, и, хладнокровно оценив ситуацию, он сам переходит в наступление. Уличенный в подлости, он обличает в ней и других. Все карты открыты на столе, идет окончательный расчет. Глумов хочет показать — и не без успеха, — что все гости Турусной таковы же, в сущности, как он сам: здесь нет незамаранных и у каждого, если разобратся, рыльце в пушку. С темпераментом Чацкого Глумов клеймит их глупость, пустомыслие, нелепые претензии и не стесняется упомянуть, как ненавидят они друг друга, как радуются любому скверному слову друг о друге.

И уступая этому напору, первым сдается Городулин: «Я ни слова. Вы прелестнейший мужчина! Вот вам рука моя». А за Городулиным тянутся и все остальные, и скоро дружный хор прощения, примирения и похвал сплетает новый венок на опозоренное чело Глумова, сумевшего обратить в победу даже свое поражение.

Тут дело не только в том, что «мудрецы» испугались его неопределенных угроз и боятся быть скомпрометированными. Глумова надо «приласкать», потому что он способный человек и еще может пригодиться. Послушание беспринципного человека легко купить, «грешки» и вождления делают его «повадливым», а сомнительные способы и приемы, какими он действует, в сущности, никого здесь не смутят. «Вы наш человек», — говорит Глумову Крутицкий. А «нашему человеку» не дадут пропасть, если он оступится и упадет, — его подберут, и даже его цинические проделки ему не в укор, потому что в конце концов он социально близкий, понятный, «свой» человек в этой среде, незримо связанной круговой порукой.

Что бы ни случилось. Глумов остается «на плаву», и, чтобы подчеркнуть эту его живучесть, Островский спустя год выведет его в новой своей комедии «Бешеные деньги» таким же скептическим наблюдателем, принятым в «хорошем обществе» и готовым на новые скандальные аферы.

...Звучат последние реплики «Мудреца». Занавес медленно задвигается. Поблагодарив артистов аплодисментами, зритель покидает театр, оставаясь наедине со своими мыслями или вовсе без оных, если спектакль только развлек, но не затронул его, не дал пищи для раздумий.

Теперь может быть понятнее, почему я решил упрекнуть юбилейную постановку «Мудреца» в недостаточной исторической конкретности. Пьеса Островского давала возможность обличить косность, тупость, цинизм и пустозвонство как черты классового сознания. Но этой возможностью театр пренебрег, поставив по преимуществу легкий, развлекательный спектакль.

Конечно, можно понять опасения постановщика: как бы пьеса, на которую люди приходят отдохнуть и посмеяться, не вышла бы слишком угрюма для комедии. В самом деле, в пьесе Островского сколько угодно глупцов и прохвостов разных оттенков, на добрых же людей — пустыня. Глупые, пошлые физиономии преследуют вас, кувшинные рыла высовываются из всех кулис, так что не к кому, кажется, обратить взор, не на чем отдохнуть душою...

Так, может, прав в таком случае Крутицкий, когда он, восхваляя трагедию, бранит комедию, неспособную дать «высокое», изображающую одно «низкое»? И есть ли в конце концов хоть какой-то воспитательный смысл в комедийном зрелище?

В летописях театра не отмечено, кажется, до недавней поры случая, чтобы злодей раскаялся, подлец исправился, а глупец помудрел, посмотрев самую правоучительную комедию. Отрицательный пример на сцене обычно так же мало способен к немедленному воздействию на зрителя, как и дидактический пример для подражания. Что и говорить, это разочаровывает, а у человека нетерпеливого может вызвать даже досаду на литературу и театр, неспособных исправить человека, беспомощных воспитать его. Сам «великий Сумароков», превозносимый генералом Крутицким, пришел на этот счет к весьма обескураживающему выводу:



Тому, кто вор,  
Какой стихи укор?  
Ворам сатира то: веревка и топор.

Увы, Сумароков прав: подлеца не переубедишь и вора не сделаешь праведником, какой бы убийственно точной и едкой ни казалась сатира на их деяния. В этом смысле искусству пристало быть скромнее в своих притязаниях. Но есть у него иная цель, другая сила: названное зло, выявленная и приклеянная подлость как-то научают добрых людей яснее различать их в жизни, понимать их причину, а стало быть, и успешнее противостоять им. То, что запечатлено в искусстве, как бы вычленено из пестрой сумятицы жизни, крупно поставлено перед глазами, названо, определено и уже не вызывает сомнений в своей моральной оценке.

В комедии Островского, где нет ни единого положительного героя, нравственную оценку автора поддерживают и укрепляют те детали общего исторического фона, которые внятно свидетельствуют, что царство «мудрецов» не исчерпывает всей картины жизни. В перечне действующих лиц комедии нет людей ни демократического лагеря или народной среды, тех, кому мог бы действительно симпатизировать драматург. Но намеки на то, что в обществе живут и другие силы, что оно состоит не из одних Крутицких да Городулиных, есть в пьесе.

Отголоски целого мира иных стремлений и интересов, оставшегося за границами пьесы, различимы, к примеру, в упоминании о «мальчишках», «молокососах», «зубоскалах», которых так боятся и не любят надменные старики. Слово «мальчишки» приобрело в полемике шестидесятых годов значение вполне определенного термина, близкого слову «нигилист», смысл которого уже не требовалось всякий раз разъяснять. «Я нахожу, что мальчишество — сила, а сословие мальчишек — очень почтенное сословие, — писал Щедрин в очерке «Сенечкин яд». — Самая остревенелость вражды против них

свидетельствует, что к мальчишкам следует относиться серьезно и что слова «мальчишки!», «нигилисты!», которыми благонамеренные люди венчают все свои диспуты по поводу почтительно делаемых мальчишками представлений и домогательств, в сущности, изображают не что иное, как худо скрытую досаду...»

Щедрин поднял перчатку, которую бросили в лицо демократической молодежи реакционные публицисты, изобретя эту презрительную кличку. Отвечая Каткову и его присным, которые не упускали случая разбранить «мальчишек», Щедрин встал на защиту молодого поколения, его лучшей, революционно настроенной части. И Островский оказался заодно с ним в этой борьбе.

Стоит ли говорить, что взгляды и настроения драматурга лишь отчасти, лишь до известной черты совпадали с позицией революционных демократов. Художник и моралист, сторонившийся обычно политической злобы дня, Островский был далек от их революционной решимости поисков путей социального обновления мира.

Но он вступился за верховные права разума, как гуманист и просветитель, представлявший, по словам Добролюбова, «партию народа» в литературе. И его пьеса стала не только литературным, но и политическим явлением.

Наблюдавший издали за событиями, происходившими в России тех лет, когда была напечатана и поставлена пьеса Островского, Карл Маркс писал одному своему корреспонденту 21 января 1871 года: «Идейное движение, происходящее сейчас в России, свидетельствует о том, что глубоко в низах идет брожение. Умы всегда связаны невидимыми нитями с телом народа».

Умы всегда связаны невидимыми нитями с телом народа... Вот наконец случай, когда мы можем употребить слово ум без иронических кавычек, без насмешки или разочарования, а в самом прямом и высоком смысле.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**И. Борисова.** Напоминание.— **А. Турнов.** С гордо поднятой головой.— **Вл. Канторович.** Размышления над книгой забытого писателя.— **М. Рубинчик.** После дебюта.— **В. Шестаков.** Когда машина останавливается ..

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Г. Целмс.** Динамика общественной структуры.— **Г. Лисичкин.** Капиталовложения и эффективность.— **В. Рубин.** Шан Ян и его идеи.— **З. Альпер.** Технология будущего.

## Литература и искусство

### НАПОМИНАНИЕ

**Борис Васильев.** А зори здесь тихие... Повесть. «Юность», № 8, 1969.

Время и место действия своей повести Борис Васильев определяет сразу, в первых абзацах, определяет с краткостью и энергией рапорта. Время — май 1942 года. Место — неведомый 171-й разъезд, в стороне от которого немцы круглосуточно бомбят мурманскую дорогу; на западе — позиционная война; на севере — ожесточенная война за морские пути; на юге — блокированный Ленинград. Название повести «А зори здесь тихие...» является откровенным контрастом и к этой общей картине событий, и к событиям самой повести, в которой рассказывается о том, как героически сражались и погибли пять молодых девушек-бойцов, возглавляемых старшиной Васковым. Сам Васков уцелел, напоследок (уже в одиночку и будучи раненым) забрав в плен четырех оставшихся в живых немцев. Сначала же немцев было шестнадцать. С толком они пробирались через болото и глухой лес к каналу. Путь их был оборван старшиной Васковым и его румяными бойцами.

Чтобы определить время написания повести, совсем не обязательно возвращаться к обложке журнала «Юность», где так же

четко стоит дата — 1969, № 8. Двадцатипятилетняя дистанция, отделяющая время действия повести от времени ее написания, сказывается во всем — в том, как автор видит юные, еще живые лица девушек, которые должны умереть, как ощущает каждую смерть в отдельности, с какой обстоятельностью описывает каждый шаг Федота Еврафовича Васкова в тот памятный «один день», в который он совершил, как мы теперь понимаем, подвиг. Не только сам автор, участник войны, повзрослел на двадцать пять лет, лишь теперь впервые выступая в печати. Здесь сказывается более общий опыт — и гражданский и художественный, сказываются те накопления, которые исподволь были намыты за последнюю четверть века в нашей литературе, в нашем сознании и сердцах.

Ту безупречно героическую историю, которую рассказал Б. Васильев, можно было, казалось, рассказать в любые годы из этих прошедших двадцати пяти. Любой наш журнал или даже газета в любое время напечатали бы эту повесть. Но она написана только сейчас и сразу же обратила на себя читательское внимание, достаточно

испытанное и плакатным изображением подвигов, и трезвым анализом окопной правды.

Что же привлекло в повести? Что остановило? Открытие? Но его, пожалуй, нет. Даже подчеркнуто нет. Повесть кажется написанной в обозримых пределах добротной беллетристики. Она традиционна, а весьма банальный финал это впечатление усиливает. Повесть завершается письмом некоего современного туриста, который зовет своего приятеля в эти края («Давай, старик, цыгань отпуск и рви к нам»), хваля их за безлюдье и тишину и сообщая заодно (больше читателю, чем приятелю), что приплывали сюда какой-то старикан с парнем. Парень этот, как понимает читатель,— усыновленный Васковым ребенок одной из погибших. Письмо это, набранное курсивом и названное эпилогом, могло бы поставить повесть в ряд материалов «по местам минувших боев», задев заодно и легкомысленного туриста, не соображающего, по какой земле он ходит. Но при всей очевидной тривиальности этого финала, повесть не выглядит ни нравоучительной, ни иллюстративной, ни чисто летописной.

Вероятно, автор сумел оживить и приблизить время, уже известное и осмысленное. Он сумел, преодолев инерцию уже прожитого, уже прочувствованного, зарядить сегодняшней энергией, сегодняшним чувством события почти тридцатилетней давности, сделав их документом не только тех лет, но и нынешних.

Повесть пронизана желанием мира. В этом желании нет ни страха впервые обстрелянного новичка, ни острого ужаса человека, который в первый раз увидел убийство или даже сам убил, ни тяжелой усталости человека, измотанного длительной войной. В этом желании есть зрелое, подтвержденное фронтом, десятилетиями мирной жизни выношенное чувство бессмысленности убийства, уничтожения. Память, не смирившись с потерями, в то же время освободилась от первоначальной остроты горя, чтобы, вновь обретя широту зрения, отложиться в прочный нравственный опыт. Далеко отошедшая война освободила этот опыт от усталости. Десятилетия мирной жизни обозначили высокую цену душевного здоровья и способности к свободной и раскованной жизнедеятельности, то есть це-

ну неусеченной полнокровной человеческой жизни.

Подвиг, который совершили старшина Васков и пять девушек, был высок и целесообразен. В нем не было бессмысленности — своими телами они действительно преградили дорогу врагу. В нем не было ни глупости, ни авантюризма — старшина Васков провел операцию осмотрительно, талантливо, блестяще (пять убитых и один раненый против двенадцати убитых и четырех взятых в плен). Тем не менее победное торжество Васкова описано как очень горькое. В нем нет даже гордости, только есть горе от потерь. Тем же чувством полна и повесть.

Об одной из напряженных минут, когда опытный охотник Васков по вздрагивающим верхушкам кустарника и кружению сорок определял, движется ли противник и куда движется, автор пишет: «Наступила та таинственная минута, когда одно событие переходит в другое, когда причина сменяется следствием, когда рождается случай. В обычной жизни человек никогда не замечает ее, но на войне, где нервы напряжены до предела, где на первый жизненный срез снова выходит первобытный смысл существования — уцелеть, — минута эта делается реальной, физически ощутимой и длинной до бесконечности».

Вся повесть Б. Васильева написана так, как будто эта таинственная минута растянулась на целый день. В войне периода сорок второго года автор выбрал тишайшее и благодатнейшее место — 171-й разъезд, где командование на всякий случай держало две зенитные счетверенки, к которым было приставлено двадцать девушек. Женщины принесли на боевой объект свой быт, ежеминутно ставя в затруднительное, едва ли не безвыходное положение весьма не гибкого и не бойкого старшину Васкова. К тому же ему с его четырьмя классами трудно было дотянуться до них, у которых за плечами «классов семь, а то и все девять».

Мирный островок посреди войны, и на этом островке среди девушек, только что оторвавшихся от дома и школы,— вымуштрованный десятилетним подчинением уставу старшина Васков. И в образе жизни, и в образе мышления откровенно сведены мир и война.

Чем больше усугубляет автор мирную тишину, воцарившуюся на 171-м разъезде, тем тревожней становится атмосфера в по-

вести. Ясно, что эта тишина должна взорваться, ясно, что это цветущее разноцветье будет подсечено. Все ожидания сбываются, и трагически разрешается тревога. В повести нет неожиданностей — ни в сюжете, ни в деталях, ни в том, как описывается цветущая молодость попавших в подчинение Васкова девушек, ни в той доброй иронии, с какой рассказывается о том, как приходилось Васкову осуществлять свое комендантство в столь неожиданных для него обстоятельствах, ни, наконец, в концепции характера самого Васкова, который с крестьянской обстоятельностью и хозяйской добросовестностью осуществляет все, что ему поручено, — подвиг в том числе; даже его инициатива рождается из привычки подчиняться. Потолок Васкова как будто очень невысок, и сам он его высоким не считает. Говоря о Васкове, автор, видимо, не случайно прибегает к всем памятным сравнениям человека с винтиком. «Всю свою жизнь Федот Евграфыч выполнял приказания. Выполнял буквально, быстро и с удовольствием, ибо именно в этом пунктуальном исполнении чужой воли видел весь смысл своего существования. Как исполнителя его ценило начальство, а большего от него и не требовалось. Он был передаточной шестерней огромного, заботливо отлаженного механизма: вертелся и вертел других, не заботясь о том, откуда началось это вращение, куда направлено и чем заканчивается».

Когда одна из зенитчиц Осянина случайно встретила в лесу двух совершенно не ожидавшихся здесь немцев и доложила об этом Васкову, Васков, в свою очередь связавшись по телефону с начальством, получает распоряжение — взять пятерых бойцов и отправиться с ними преследовать немцев. «Строй, нечего сказать, — сокрушался Васков, когда пятеро вызванных девушек построились. — У одной волосы, как грива, до пояса, у другой какие-то бумажки в голове. Вояки! Чехи с такими лес, лови немцев с автоматами! А у них тут, между прочим, одни родимые, образца 1891 дробь тридцатого года...» И дальше подробнее описывается, как «вертелся и вертел других» Васков, как вел он их по лесу, как заботился о каждой, как берег и выручал, как погибла одна, пойдя через болото на связь за подмогой, и погибла другая, побежав принести ему кيسет, как **вырывались** они из-под его заботы, истинно

сердечной, и воли, действительно направленной только к добру, и наступала их злая случайность, и не в силах, и не в воле Васкова было все это предотвратить.

Очень четкий по своим посылкам и по своим конечным результатам подвиг старшины и его отряда раскрывается в повести как поступок необычайно благородный и самоотверженный по своим мотивам, как талантливо и разумнейше выполненная военная операция и одновременно как трагедия, неизбежная в условиях войны, где человеческая жизнь обесценивается именно тем, что она каждую минуту зависит от случайностей, смерч которых наступает даже такую мирную точку, как 171-й разъезд.

Не в руки солдафона и карьериста попадают судьбы пятерых девушек, а в руки хозяина, зоркого, доброго и предусмотрительного до скрупулезности. Хозяйское тщание Васкова, написанное очень подробно и в то же время сжато и напряженно, это, пожалуй, наиболее важная художественная удача автора. Жизнестойкость старшины Васкова, как пулями изрешеченная лихой военной случайностью, оказывается непоколебимой, но в то же время бессильной заслонить тех, кого она хотела заслонить.

Да, все, казалось бы, знакомо в старшине Васкове: и склад характера, и авторское преклонение перед ним, и та интонация, с какой написаны микроработы одного, правда, не рядового дня Федота Евграфыча Васкова. Новое заключается в той графической обостренности, с какой выявлен поединок этого человека с той лавиной войны, которая на него обрушилась, как поединок силы созидательной и силы неизбежно разрушительной, поединок, по своему существу выходящий за рамки даже такой маловероятной операции, когда пять слабо вооруженных девушек и один старшина победили шестнадцать вооруженных до зубов немцев.

За плечами Васкова десять лет армейской службы, лесной опыт профессионального охотника и знание здешних мест, которые знакомы Васкову еще с финской кампании. У девушек — ни житейского, ни воинского опыта. У трех — ненависть и месть за погибшие семьи. У четвертой — Гали Четвертак — детдомовское детство, сделавшее ее легкой на подъем и довольно безразличной к тому, где жить и быть. Отли-

чавшаяся неумной мечтательностью с детства, она и на войну пошла, будто погрузилась в очередную свою фантазию. Для пятой, Лизы Бричкиной, выросшей в одиночестве отцовского дома, в оторванной от людей маленькой усадьбе лесника, война была страстно желаемым выходом в большую жизнь, где можно было найти все, даже семью построить. Она пропала в болоте, потому что, забыв осторожность, ушла в свои мысли о Васкове, который был так понятен ей и доверие которого было для нее живой радостью.

За пятью смертями стоит пять жизнеописаний. И хотя судьбы всех пятерых очень различны, хотя зрелая ненависть Риты Осяниной, офицерской жены, у которой муж был убит на границе в первые же дни войны, несравненно (более надежный душевный капитал, чем химеры бесприютной Гали Четвертак; хотя немислимой красоты Женька Комелькова встречает жизнь смело, в лоб, а книжница Соня Гурвич до сих пор кажется зажатой в те глухие, тяжелые платья, которые доставались ей многократно перешитыми в небогатой семье ее отца, честного минского врача; хотя Лиза Бричкина может посостязаться с Васковым в чуткости к лесной опасности, что в описываемой операции было оружием очень реальным,— все они беззащитны перед лицом войны, не только перед ее невзгодами и ее пулями, но перед всей структурой этой жизни. И такими описывает их Б. Васильев.

«Рита все время смотрела ему вслед, но так и не заметила, когда он исчез: словно растворился вдруг среди серых замшелых валунов. Юбка и рукава гимнастерки промокли насквозь; она отползла назад и села на камень, вслушиваясь в мирный шум леса.

Ждала она почти спокойно, твердо веря, что ничего не может случиться. Все ее воспитание было направлено к тому, чтобы ждать только счастливых концов: сомнение в удаче для ее поколения равнялось почти предательству. Ей случалось, конечно, ощущать и страх и неуверенность, но внутреннее убеждение в благополучном исходе было всегда сильнее реальных обстоятельств.

Но как Рита ни прислушивалась, как ни ожидала, Федот Евграфыч появился неожиданно и беззвучно: чуть дрогнули сосновые лапы. Молча взял винтовку, кивнул

ей, нырнул в чащу. Остановился уже в скалах.

— Плохой ты боец, товарищ Осянина. Никудышный боец.

Говорил он не зло, а озабоченно, и Рита улыбнулась:

— Почему?

— Растопырилась на пеньке, что семейная тетерка. А приказано было лежать.

— Мокро там очень, Федот Евграфыч.

— Мокро... — недовольно повторил старшина. — Твое счастье, что кофей они пьют, а то бы враз концы навели.

«Федот Евграфыч часто поглядывал на нее, но замечаний делать не приходилось. Нормально шла, как приказано. Только без легкости, вяло,— так это от пережитого, от свинца над головой.

А Галя уж и не помнила об этом свинце. Другое стояло перед глазами: серое, заострившееся лицо Сони, полузакрытые, мертвые глаза ее и затвердевшая от крови гимнастерка. И... две дырочки на груди. Узкие, как лезвие. Она не думала ни о Соне, ни о смерти—она физически, до дурноты ощущала проникающий в ткани нож, слышала хруст разорванной плоти, чувствовала тяжелый запах крови. Она всегда жила в воображаемом мире активнее, чем в действительном, и сейчас хотела бы забыть это, вычеркнуть — и не могла. И это рождало тупой, чугунный ужас, и она шла под гнетом этого ужаса, ничего уже не соображая.

Федот Евграфыч об этом, конечно, не знал. Не знал, что боец его, с кем он жизнь и смерть одинаковыми гирями сейчас взвешивал, уже был убит. Убит, до немцев не дойдя, ни разу по врагу не выстрелив...»

«— Молодец, Комелькова... — в три приема сказал старшина. — Благодарность тебе... объявляю... На двоих, значит, меньше их стало...»

Женька вдруг бросила винтовку и, согнувшись, пошла за кусты, шатаясь, как пьяная. Упала там на колени: тошнило ее, выворачивало, и она, всхлиывая, все кого-то звала — маму, что ли...

Старшина встал. Колени еще дрожали, и сосало под ложечкой, но время терять было уже опасно. Он не трогал Комелькову, не окликал, по себе зная, что первая рукопашная всегда ломает человека, преступая через естественный, как жизнь, закон «не убий». Тут привыкнуть надо, душой зачерстветь, и не такие бойцы, как Евгения, а

здоровенные мужики тяжело и мучительно страдали, пока на новый лад перекраивалась их совесть. А тут ведь женщина по живой голове прикладом била, баба, мать будущая, в которой самой природой ненависть к убийству заложена...

...— Брось,— сказал он.— Попереживала и будет. Тут одно понять надо: не люди это. Не люди, товарищ боец, не человеки, не звери даже — фашисты. Вот и гляди соответственно.

Но глядеть Женька не могла, и тут Федот Евграфыч не настаивал.

Чем ближе к концу идет повесть Б. Васильева, тем больше смертей накапливается в ней. Смерть здесь и в самом деле косою косит. Но, пораженное этим количеством смертей и доказанной необходимостью их, читательское восприятие не привыкает к ним, не притупляется, не смиряется. Не возникает ни безразличия, ни чувства, что вот-де ничего не поделаешь, война. Наоборот, обостряется чуткость к тому неправдоподобию смерти, которое так ясно ощущала умирающая Женя Комелькова.

«Она верила в себя и сейчас, уводя немцев от Осяниной, ни на мгновение не сомневалась, что все окончится благополучно.

И даже когда первая пуля ударила в бок, она просто удивилась. Ведь так глупо, так несуразно и неправдоподобно было умереть в девятнадцать лет...

А немцы ранили ее вслепую, сквозь листву, и она могла бы загнуться, переждать и, может быть, уйти. Но она стреляла, пока были патроны. Стреляла лежа, уже не пытаясь убежать, потому что вместе с кровью уходили и силы. И немцы добились ее в упор».

«... она могла бы затаиться, переждать и, может быть, уйти». Соня могла бы не побежать за кисетом. Выросшая в лесу Лиза Бричкина вполне могла бы пройти по болоту, тем более что предусмотрительный Васков оставил на обратный путь сляги и объяснил ей дорогу наиподробнее. При всем неравенстве сил васковского отряда и отряда немцев, было, казалось, множество возможностей куда более благополучного исхода. Все эти возможности автор отмечает, а Васков почти безошибочно использует. «Игра случайная» исследуется здесь едва ли не с научной обстоятельностью. Но при всем том, что человеческая, охотничья и старшинская зоркость Васкова кажется сильным противоядием этой вслепую быющей опасности, в повести реализуется то, что с самого начала предсказывало нам немудреное предчувствие,— что девушки эти погибнут.

О том, какой ценой досталась победа, Б. Васильев напоминает в своей повести внятно, без боязни повторения, в упор, как в 47-м году сказала об этом «Звезда» Эм. Казакевича.

**И. БОРИСОВА.**

★

## С ГОРДО ПОДНЯТОЙ ГОЛОВОЙ

**Антал Гидаш. Ветви гудели. Перевод с венгерского. «Художественная литература». М. 1969. 256 стр.**

Гудящие под бурей ветви деревьев, скрывшиеся за тучами звезды, словно неразличимые с корабля в ненастье бакены, мир, заваленный снегом, человеческое сердце, которое «стучит, как живое дитя, задыхаясь у повешенной матери в чреве», — целый шквал горестных, сильных, драматических образов обрушивается на вас со страниц этой небольшой книжки.

Антал Гидаш не льстит своему веку. Он хочет в нем разобраться — честно и без утайки. Однажды он писал про стихи своего русского собрата, что они «по-мужски стонали и даже в тревоге кричали с гордо поднятой головой: «Я понял мир! Я понял

свою эпоху!.. И «я» не только «я», но и «ты». В подлинном «я» — всегда заключено и «ты», и «вы», и «все». Без этого «я» — только кукла в витрине. Похожа на человека, но безжизненна».

Нелегко приходится поэту, на долгие десятилетия разлученному с матерью Венгрией, тревожащемуся, как бы, по его словам, «не выпасть из гнезда родного языка», с болью видящему, как во всем мире подымается вал страшных событий и как в нем надолго, а то и навсегда, исчезает многое, что так любил:

.. бросили в Дунай убитого отца,  
и тщетная гнетет меня забота,

чтоб не кружила голову его  
в душе моей волна водоворота.  
На дно, на дно уходит мать моя,  
в глазах ее  
последний образ —  
я.

(«Кружатся волны». Перевод Н. Заболоцкого)

Кидается под поезд, не вынеся мысли о торжестве «волчьих идей» фашизма, поэт Аттила Йожеф, а потом, как веком раньше — великий Шандор Петефи, падает в братскую могилу Миклош Радноти, ясно предвидевший свою участь: «Буду я убит за то, что не жесток, и потому, что сам я не убийца!»

Фашизм надвигается на все, что дорого людям, хочет выбить их с заветнейших жизненных позиций, упрямо, как танк, утюжит «ячейку», из которой ведет свой бой поэт. Ведь поэзия — синоним человечности. И тот, кто покушается на последнюю, ненавидит и первую.

Кажется, всевозможные жизненные лишения сломят поэта, стенки окопа рухнут и погребут его. (Есть у Гидаша потрясающие стихи о том, как он совет стихотворные строки двух десятилетий в один канат и «задрыгает ногами в рифму с теми поэтами, которых убили или в добровольную смерть сослали», — с Аттилой Йожефом, Миклошем Радноти и другими.)

Но нет, вместо предсмертного стога из груди Гидаша вновь рвется проклятье убийцам, призыв к борьбе, возмездию, победе, вдвойне убедительный в устах того, кто выстоял в такой страшной схватке с врагом, горем, сомнениями. Его стихи — это клятва ветерана стоять насмерть:

Покуда великое слово,  
в полотнище рея багровом,  
наш мир не окутает снова  
счастливым весенним покровом.

(«О нег, не умру я, покуда..»  
Перевод Н. Заболоцкого)

И великую силу ему придает то, что в самый разгар жестокой битвы он не чувствует себя одиноким, затерянным «на чужбине», — и как солдат, оглянувшись из своей ячейки по сторонам, видит бугорки зеленых касок соседей, ведущих тот же, общий бой с врагом, так Гидаш слышит рядом голоса друзей — русских поэтов:

Поет наш оркестр, и взволнованно слушает  
сердце  
согласную песню печали, борьбы и забот.

(«Русскому поэту». Перевод Н. Заболоцкого)

Книга лирики Гидаша обнимает огромный срок — больше пятидесяти лет — и говорит не только о стойкости его души, но и о ее росте, пользуясь выражением Блока. Трудная, напряженная, честная работа мысли ощущается при чтении этих стихов. Сын трагически завершившейся Венгерской революции 1919 года, Гидаш переходит от первоначальной, бурно-эмоциональной реакции на ее поражение, от наивных надежд на новое, скорое торжество к мышлению иными категориями и масштабами, более реальными и историчными. В самом названии первого раздела книги «Сейчас встанет солнце» слышны как бы два голоса — пламенного юноши, для которого «сейчас» равносильно слову «сию минуту» (на худой конец — завтра!), и умудренного годами человека, который повторяет эти слова с прежней убежденностью, но и с доброй усмешкой над своей прежней пылкостью: «сейчас» растянулось на десятки лет (раздел датирован «1918—1948»).

«Жилец секунды световой» — так назвал себя поэт в одном стихотворении. И лирика минувших десятилетий запечатлела, как происходил этот переход на иное исчисление времени, как складывалось сознание его естественности и необходимости.

Но тот переход не только не умалил в глазах поэта «прежних», «обыденных» секунд человеческого бытия, а, напротив, придал им новую цену, научил относиться к ним с величайшей бережностью, а не пренебрежительно сбрасывать их со счетов.

Пусть сами люди, потрясенные обилием окружающих их бед, склонны покорно принимать свою собственную горькую участь. Пусть скромная труженица-мать способна так же незаметно уйти из жизни, как ищут ночлега в битком набитом доме:

В землю легли миллионы убитых людей,  
как-нибудь лягу и я между ними с любовью  
моей.

(«Говорит мать». Перевод Н. Заболоцкого)

Сам поэт сквозь все испытания века пронес убеждение в огромной значительности того, чем жив каждый человек, — его любви и ежедневных забот, всей той мнимой неинтересной житейской золы, под которой всегда неслышно таится жар души, готовый вспыхнуть ярчайшим пламенем.

Я вспоминаю, как в одном из своих романов Гидаш описывал скромную трапезу

сапожника Фицека — когда тот разламывал картофелину, из нее выпархивало белое облачко пара.

Подобной поэзией овеваны в стихах Гидаша простейшие проявления бытия, «пустяшные» детские воспоминания, детали давно канувших в прошлое событий — прочная вязь человеческой, народной жизни.

А что уж говорить о его любовной лирике, составляющей своего рода книгу в книге, единое целое и, можно смело сказать, отразившей все грани взгляда поэта на мир, все перипетии его жизненного пути, так что остался из всего его творчества одна только эта лирика, она была бы верным выражением Гидаша — поэта, мыслителя, борца!

Поистине «Сияющий венец» (как называется стихотворение, цитируемое далее) подарил поэт своей возлюбленной:

...вновь они раскрываются, эти смеженные  
очи,  
и сияет лицо по-девически ясно, не как на  
закате,  
а как будто вечерней звездой первой ночи.

Тридцать лет пролетели,  
как птичий косяк быстрокрылый.  
Почему ж возвращается все-таки это сиянье,  
да еще и с такой устрашающей силой,  
будто вечная жизнь к нам принесится в том  
урагане —  
в иссякающем ливне объятий?

(Перевод Л. Маргинова)

А. быть может, особую взволнованность и глубину этому прекрасному стихотворению придает еще и проступающий в нем образ иной возлюбленной, которую так же страстно, несмотря на все бури и беды, так же неутоленно любит поэт, — Жизни?

Выход новой книги Антала Гидаша на русском языке почти совпал с юбилеем автора: семьдесят лет «пролетели, как птичий косяк быстрокрылый». И перечитывая его стихи в эти дни, вдруг нападаешь на строки, приходящиеся как нельзя более кстати:

Обман — седина осенняя.  
Под той сединой — весенний цвет,  
весенней листвы шелестение!

(«Нет, Агнеш, в том правды, нет  
правды, нет!» Перевод Л. Маргинова)

А. ТУРКОВ.



## РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД КНИГОЙ ЗАБЫТОГО ПИСАТЕЛЯ

Мария Шкапская. Пути и поиски. Составление и вступительная статья К. Накоряковой. «Советский писатель». М. 1968. 312 стр.

Сегодня, за исключением «литературных стариков», мало кто помнит имя Марии Шкапской, начинавшей в двадцатых годах как поэт, позднее получившей известность как прозаик и очеркист. И поэзия М. Шкапской ныне забыта, пожалуй, более прочно, чем проза. Между тем в члены Союза поэтов М. Шкапскую рекомендовал Блок, а рецензию на ее поэтические книги написал Брюсов, отметив, что в стихах поэтессы «есть подлинное переживание революции, еще не понятой, еще не принятой автором, но оставившей на нем глубокий след». Горький, прочитав ее поэтический сборник «Matер dolorosa», возвеличивающий материнство, написал автору примечательное письмо: «До Вас женщина еще не говорила так громко и верно о ссеей значительности. Вам, думаю, надо только понять, что женщина — Родоначалыница, и в деле строения мира приоритет за ней».

К середине двадцатых годов лирическая тема женщины, матери иссякла в поэзии М. Шкапской. Поэтесса стала пробовать себя в прозе, для начала взялась за работу развездного корреспондента. Ее очерки печатались чуть ли не ежедневно в «Вечерней Красной газете», а затем в «Известиях», «Правде».

Массовый читатель жаждал в те годы «художественной информации». Он стремился выйти за пределы обыденных наблюдений, доступных каждому, узнать побольше о том, чем, как живут люди на далеких окраинах, в деревне, на новостройках. Очерк, чаще всего путевой, занимал в газетах исключительное место. Весьма популярны были очерки с продолжениями — сначала, скажем, Ларисы Рейснер или таких неустомимых путешественников, как Сергей Диковский, Зинаида Рихтер, И. Соколов-Микитов, Б. Лапин и З. Хацревин, позже таких мастеров, как Михаил Кольцов.



В этом же ряду неутомимых путешественников и М. Шкапская. Она писала о том, что видела своими глазами. Она ездила по всей стране, притом не только в поездах, но и верхом, подымалась на высокие перевалы, спускалась в костюме эпроновского водолаза на дно морское, поселялась в общежитиях текстильных фабрик или ходила пешком из селения в селение по хорошо знакомой ей Псковщине, где когда-то отбывала ссылку (трудно объяснить, почему именно эти отличные псковские очерки не вошли в состав избранной прозы).

Путевым очеркам М. Шкапской, в особенности ранним, вероятно, не хватало глубоких обобщений, автор в них только слегка касался острых и спорных проблем и, следовательно, сглаживал подлинную конфликтность жизненных ситуаций. И все-таки я помню, что «покаянная» речь Марии Шкапской на Первом всесоюзном совещании по художественному очерку (1934 год) воспринималась нами, более молодыми участниками, с недоумением.

Именно эта речь открывает нынешний сборник «Пути и поиски». Ничего не скажешь, конечно, это подлинный документ эпохи! Но читателю, умудренному всем последующим общественным опытом, горячие, пусть искренние, сетования писательницы на объективизм — как она говорила — ее работ, крен в познавательность кажутся теперь преувеличенными, неоправданными. Ведь эти качества вполне органично выражали индивидуальность писательницы. К тому же тогда, в конце двадцатых годов, повторяю, познавательный очерк раньше других отвечал на «социальный заказ» эпохи, если пользоваться терминологией того времени.

Зато на фоне других произведений очеркового рода, в особенности рассчитанных на массового читателя, очерки М. Шкапской резко выделялись своей литературностью — в лучшем смысле слова: щедрым, отточенным языком (Павленко писал, что читает их с завистью к языку автора, к умению рисовать речь), пластичностью образов, завидным умением без помощи фабулы строить композицию каждой новеллы, умещающейся на считанных газетных колонках. И, конечно же, у очерков Шкапской велик был эмоциональный заряд, каждый отрывок пронизан духом человечности, корни которой те же, что и у

стихов о материнстве, пленивших некогда Горького.

Есть еще одна черта у очерков Шкапской, неизменно располагавшая к себе читателей, — добросовестность, с которой автор изучал объект, а отсюда точность детали в созданной ею картине. Вот как описан, например, лов снетка артелью на Псковском озере (по преданию, местные жители — потомки стрельцов, посланных Петром I на Талабские острова):

«Снеток — рыбешка малая, но идут на нее люди целой ратью, ловецкими дружинками по пятьдесят — шестьдесят человек, с огромными неводами. В высоких шапках, кожаных рукавицах и передниках с нагрудниками, с пешнями (род секиры) в руках, высокие с обветренными лицами — рыбаки, или как их здесь называют — «ловцы», действительно походят на древнерусских дружинников. И приемы ловли у них старинные — «с рюриковичей» — как шутят они сами».

Это только начало описания, а дальше — о сборах на ночной лов, о том, как распавшиеся по льду артельщики рубят в нем корыта и тюшки, опускают в воду запас (невод) и гонят его под водой на жердях, как нитку за иголкой, о том, как невод вытягивают и взволнованные крики рыбаков сливаются в общий рев, между тем как «стройные, размеренные, хороводные движения тянущих ни на минуту не прекращаются и не изменяют своего темпа. Огромный невод ложится на льду ровными волнами, и ни одна складка не согнется неправильно». У выходного корыта орудует целая ватага подростков с кошками (сачками), чтобы ни одна рыбка не ускользнула. Все умолкает, когда в деревянный короб бьет серебряная струя — с полтоны снетка за тоню. Этот торжественный момент лова — кульминация очерка, в котором попутно рассказано еще о многом, вплоть до экономики промысла, до взаимоотношений между поколениями.

Тщательность, с которой выписаны подробности, я отношу не только за счет самой высокой степени добросовестности, свойственной М. Шкапской как писателю и как человеку, но еще и за счет ее тогдашних представлений о жанре очерка, согласно которым очеркист не смеет пользоваться ни домыслами, ни вымыслами и обязан оперировать только документами: «это вам не поэзия!» Нас связывала с

Шкапской многолетняя дружба, но, сколько помню, мы вечно спорили по этим вопросам. Она считала, что молодые очеркисты и теоретики жанра «скатываются к беллетристике», а я в ответ бросал обвинения в презренной «фактографии» и утверждал, что еще ни один подлинно хороший очерк не был создан без вымысла. Таковы были обычные в нашей среде споры, в те годы они выплескивались на страницы печати.

Но вот что примечательно. В немногих напечатанных при жизни автора главах из написанной позже истории «Старого Леснера» (они в наследстве М. Шкапской представляют наиболее ценную часть, весьма поучительную для авторов, которые трудятся сегодня над историями своих заводов) Шкапская, опираясь на обширнейшие, собранные ею самой документы, прибегала и к вымыслу, и к смещениям во времени и пространстве, и к обобщениям — словом, к приемам художественной прозы, очерку отнюдь не противопоказанным.

В первом же очерке о молодом рабочем-леснеровце Алеше Лаврове, угодившем в Шлиссельбург, о лице историческом, использованы подлинные документы его допроса прокурором и жандармами. Однако автор «додумал» переживания неопытного, но стойкого паренька, и сухой архивный документ заговорил так:

«Вы спрашиваете, о чем рассказывал Кропоткин (фу, черт, и это знает, как есть все!)... Вот этот господин с рыжеватой бородкой, карточку которого вы мне показываете?.. Да ничего особенного не рассказывал — просто говорил о том, как живут рабочие за границей и как они добиваются. Чего они добиваются?.. Да вот я тебе и рассказал, подлая рожа, чего они добиваются. Что? По лицу видите, о чем я думаю? Зачем же тогда меня спрашивать. О нет, этого я никогда не слышал... Вы говорите, что он всегда высказывается в революционном духе? Не знаю, может, он вам что иное говорил, если вы с ним ближе знакомы... Вот так, так, Алеша, прикидывайся дурачком... а вот чтоб у нас да про революцию — нет, никогда не слышал...»

В главе «Сто два дня» Шкапская рассказывает о знаменитой стачке леснеровцев, стихийно возникшей из-за того, что мастер Лауль довел рабочего-еврея Якова Стронгина до самоубийства. Все подлинные события, связанные со стачкой, поступ-

ки, настроения рабочих на разных ее этапах изложены в вымышленном дневнике, написанном от лица молодого рабочего. В нем использованы подлинные воспоминания многих участников стачки, факты, публиковавшиеся день за днем в «Правде».

И вот несмотря на всю солидную аргументацию документами, редакция «Истории заводов» обрушилась на Шкапскую за писательский подход. В ее защиту, правда, выступили литераторы, в том числе Горький и Федин, и добились одобрения и опубликования первых глав «Леснеровцев». Однако при этом редакция «Истории заводов» оговорила, что метод Шкапской, в ее индивидуальном случае оправданный, все же не может быть рекомендован другим авторам.

Писательница продолжала работать, но у «Леснеровцев», как и у других книг по истории заводов, не успевших выйти в свет к сроку, была трагическая судьба. Имена то одного, то другого из героев очерков приходилось исключать из повествования.

Книга эта так и не увидела света. На ее создание писательница потратила несколько лет труда: это было наиболее зрелое и — для нее — не совсем обычное произведение, какая-то новая ступень в творчестве. От этого удара М. Шкапская, пожалуй, так и не оправилась, хотя и вернулась к путевому очерку, позже несла пслегкую службу военного корреспондента, а по окончании войны занялась редакторской работой.

При всей индивидуальной неповторимости литературной судьбы М. Шкапской, в ней обнаруживаются черты множества биографий «рядовых» и «средних» писателей. Суть этой драмы, усугубляемой для писательницы тем, что пришлось пережить при жизни, может быть сформулирована так: жил, творил, был многим читателем — и со временем прочно забыт. Так, может быть, это — эфемерная деятельность? Кому нужен труд, пот, вдохновение тех писателей, которые, вероятно, даже в самые активные годы своей литературной деятельности догадывались, что им не стать великими, чье влияние испытывают на себе даже далекие потомки?

На международном симпозиуме по вопросам социологии литературы, состоявшемся в Брюсселе в 1967 году, Густав Эскарпи, автор многих литературоведче-

ских и социологических трудов (в частности, о Читателе и Книготорговце), огласил убийственные на первый взгляд статистические данные. 80 процентов литературной продукции текущего года и 99 процентов произведений каждого двадцатилетия начисто забываются читателями. Право на жизнь обретают не более десяти из каждой тысячи книг, и только одна из тысячи достигает зрелого возраста. Но тот же Эскарпи горячо защищает мысль, что «литературу создают все произведения, когда-то сыгравшие свою роль, а впоследствии как бы и с парившиеся...». «Мы только тогда изучим литературу,— продолжает он,— когда объектом исследования окажутся не только суперпроизведения, но и вся сублитература изучаемой эпохи». (О значении литературного потока и социологических приемах его изучения я писал подробнее в статье, напечатанной в журнале «Вопросы литературы» № 11 за 1969 год.)

Советские литературоведы ввели в обиход термин «литературный процесс», охватывающий литературу в движении, во всяческих взаимосвязях литературных произведений между собой и со всей жизнью общества. Сегодня никто уже не изображает литературу в виде нескольких символизированных гениев горных вершин, возвышающихся над ровной долиной.

Можно было бы сослаться даже на не столь давний эксперимент, проведенный в смежном виде искусства, когда было задано заснять вместо ста кинофильмов в год, как обычно (среди них встречалось немало серых произведений), только десять — но зато только хороших! Известно, что из этого получилось...

Из воспоминаний вдовы Ивана Бунина, писателя, наделенного неповторимо яркой индивидуальностью, стало известно, что он мечтал переиздать забытых писателей XIX века.

Эта мечта воплотилась в жизнь прежде всего в серии изданий Гослитиздата, в особенности же успешно в «Библиотеке поэта». Но и советская литература имеет за плечами столетия. Книги, подобные сборнику М. Шкапской, к счастью, не одиночки (назову хотя бы выпущенные за последние годы «Большой конвейер» Я. Ильина, «Поэзию рабочего удара» А. Гастева, произведения Ивана Катаева и др.), и все же их очень мало. Будем надеяться, что нарождающееся новое поколение читателей сможет познакомиться и с такими, например, произведениями, как «Люди СТЗ», и со многими «забытыми» советскими прозаками, без произведений которых, однако, невозможно объять советскую литературу.

**Вл. КАНТОРОВИЧ.**

★

## ПОСЛЕ ДЕБЮТА

**Г. М а ш к и н. Распадок. Рассказы. «Советская Россия». М. 1969. 94 стр.**

Горячее похвальное слово по адресу первой повести Г. Машкина «Синее море, белый пароход» было высказано многими, а голосов «против» можно сказать что и не было. К новой серьезной встрече с читателем молодой писатель готовился четыре года, очевидно, понимая, сколь обязывающим является единодушное одобрение его прихода в литературу. Ему ведь надо было не только «поддержать марку», но и сделать трудный переход от запечатленных в повести ярких воспоминаний детства к иному кругозору, иным темам и выдержать проверку на прочность тогда, когда начинаются будни долгой литературной работы.

Стоит сказать, что Геннадий Машкин выдержал тяжелый экзамен на стойкость в самой жизни, проработав долгие годы после

окончания института геологом в поисковых партиях. Но даже и не прочитав об этом в краткой биографической справке, приложенной к небольшому сборнику его рассказов под названием «Распадок», можно догадаться по их содержанию о профессии автора. Чуть ли не в каждом из них — таежные экспедиции, маршруты, прииски, зимовья.

Определенно можно сказать, что Г. Машкин не берется писать о том, чего не испытал, не проверил на практике. Не ограничивает ли это его художественную фантазию? Возможно. Но, с другой стороны, такое свойство вызывает доверие к его писательскому слову.

Он, как и другие молодые писатели послевоенного поколения, часто делает героем

произведений своего сверстника, пережившего военное детство впроголодь, раннюю потерю близких, испытывавшего сызмала, какова бывает себестоимость обычного человеческого существования. Повзрослевшему герою Машкина знакомо по опыту каждодневное балансирование на краю гибели в таежных распадках, зарослях и разливающихся речках.

Автор, наверное, не стал бы называть геолога «ветра и солнца братом», он просто рассказывает о его труде, о зависимости от природных стихий. Как выходят в тайгу не прогуляться и не подышать свежим воздухом, а бредут многие километры в накомарниках и «энцефалитках» в любой зной, как берут с собой обойму боевых патронов не для того, чтобы испытать острые ощущения на охоте, а в качестве концентрированного запаса продовольствия, пока еще беззаботно резвящегося в лесу, перепархивающего с ветки на ветку, бьющегося в холодных струях водяного улова. Здесь ждут «алого света» зари, чтобы можно было свободно ходить по зимовью, «не рискуя расшибить лоб или собрать волосами всю растопленную за ночь смолу» на плохо оструганных матицах, и с тревогой смотрят на закатный горизонт, чтобы не проглядеть какой-нибудь стихийной беды.

Автор нигде не упоминает слова «романтика», явно опасаясь его расхожей красноты, но чувствуется, что он предан душой крепкой мужественной атмосфере поискового образа жизни. Так же, как свет зари у Машкина «смешался с отблесками пламени из печурки», так и в стилистике книги смешиваются две струи, романтическая и реальная, бытовая.

Конечно, можно пожать плечами: кого, дескать, удивит нынче рассказом о «модной» профессии геолога и выбором нелегкого жизненного пути — он ведь и должен быть трудным, как же иначе? — но на самом деле всякий представляет себе, какого рода эти трудности?

На глазах у героя рассказа «Вечная мерзлота» погиб его друг каюр-якут Володя Урганов, выпав из оленьих саней головой на пенек. «И песня Володи в ушах у меня долго звучала — не верилось, что погиб наш каюр... И если бы не мне сопровождать покойника, думал бы я о нем, как о живом. Просто ушел в дальний маршрут, и все. Но мне пришлось до конца прочувствовать, что паш Володя умолк навсегда.

В двухместном «Ми-2» я сжался, не смея взглянуть на того, кто сидел рядом со мной на красном сиденье. Белобрысый пилот несколько раз прицеливался в меня черным кругляшком наушника, прежде чем заложить вираж над темно-стеклистым плесом Витима. Вертолетчик недаром поворачивал голову... Володя навалился на меня всей своей мертвой тяжестью, и тогда я завыл и рванул из-под него к пристегнутой ручке двери. Но пилот не дал мне вывалиться из машины». От этой сцены веет смертным холодом, но нашему герою надо было до конца выполнить свой последний долг перед погибшим другом, отвезти его на кладбище и похоронить. На местном кладбище у него состоялась беседа со сторожихой, в чем-то перекликающаяся с гамлетовским диалогом с могильщиком. Автор останавливает внимание читателя на натуральных подробностях погребения и вместе с тем подчеркивает именно его символичность.

«И я вижу лежащих в вечной мерзлоте. Нет, не просто лежащих — плывущих в океане времени». «Океан времени» — в данном случае мерзлота — хранит истинные человеческие души.

Не все детали рассказа удовлетворят строгому читательскому вкусу, но в «Вечной мерзлоте» есть торжественная символичность, вырастающая из строя повествования в целом.

Об этом стоит упомянуть специально, потому что цельность рассказа — не та вещь, которая сразу и везде дается автору. Так случается, что как будто много сделано для достижения цели, а не найден точный фокус, и размывается повествование, не собирается воедино.

Это бывает связано с тем, что писатель не научился еще воссоздавать жизненный объект пластично и глубоко, так, чтобы материал раскрывался как бы сам собой. Это бывает связано и с незрелостью авторской мысли.

Г. Машкину явно не по душе приглаженность и дешевая приторность, соединяемая с дорогим его сердцу понятием романтики. Он хочет представить ее читателю, очищенной от наслоений, от знакомых «ходов» и ложного пафоса. Но такая задача нередко сказывается ему не по силам.

Взять, допустим, рассказ «Распадок», где автор, без сомнения, старается развенчать ложную романтику, связанную с представлением о «настоящем мужчине», бородачом

широкоплечем геологе со стальными мускулами и ястребиным взглядом охотника. Да, он именно такой, Ерш, крепкий парень с повелительным баритоном, постреливающий на ходу в тайге рябчиков, сумевший увести жену у «размазни» филолога Володи.

И даже таежные комары его, Ерша, не кусают. И как раз он, Ерш, предложил начальнице экспедиции Саяре, с которой он мимоходом пытается и флиртовать, план охоты на оленя для изголодавшейся и блокированной в лесу из-за пожара партии.

Филолог Володя — полная противоположность Ершу, начиная хотя бы с того, что телосложением он не вышел, потому что в своем военном детстве болел рахитом. И в тайгу он пошел для того, чтобы изучить характер соперника, узнать, чем же он покорила его жену. «И вот он видит, что этот человек могуществен... Он изучил оружие соперника, но оно ему не под силу». Умные разговоры, которые он вел с Саярой «о гуманизме, о литературе, о шедеврах живописи, о царях и царедворцах, о деспотизме и демократии», тоже вроде бы ни к чему, когда запахло в тайге горелым. «Она уже разобралась в своем отряде и поняла, кто здесь настоящий мужчина и с кем она может высарпаться из этой беды».

Казалось бы, поражение филолога полное. Но вдруг все перевернулось: торжествующий Володя уличает Ерша в том, что тот тайком съел собаку, когда истощились запасы еды, — и противник повержен в прах... Ну, а если бы Ерш питал бы такое же отвращение к собачатине, как филолог, так и остался бы над ним ореол «настоящего парня»? Видно, автор не умеет выбраться из круга лжеромантических категорий, даже разоблачая их.

В «Распадке» очень наглядно представлено, какие проблемы решаются преодолением физических испытаний, а какие лежат за их пределами, хотя автор и не старался, чтобы мы ощутили эту разницу. Когда речь идет о том, что филолог после пережитого им голода, встречи с медведем, лесного пожара, окончившегося долгожданным дождем, доказал себе и другим, что он не «сачок» и не хлюпик, то совершенно соглашаешься с его выводом, «что человек может долго тянуть. Ему кажется, что все кончено, а на самом деле еще ничего не кончено».

Но как доказать, что превосходство Ерша над теми, кто «мешает нам жить», «философами» и «ротоземни», мнимое, как

раскрыть потенциальную опасность типа, который ни своего, ни чужого нигде не упустит? Весомы ли авторские аргументы о несостоятельности, фальшивости таких жизненных принципов? Убедительно ли противостоит им «просто духовность» Володи? Хватит ли здесь его и Саяры отвращения к собачьему мясу?

Геннадий Машкин хочет сказать о ценности всего подлинного, нефальшивого, настоящего. Тем меньше подходят тут лишь приблизительно верные решения. Одна непосредственность, достоверность не «вывезут», ведь и в достоверном часто встречаются противоречия, и в них легко запутаться.

Добра или неразборчива Арка, героиня одноименного рассказа, живущая на прииске вместе с бабкой в домике, который белел над отвалом, «как парус над лодкой»? В каждый отдельный момент героиня искрення в своих поступках, но если собрать воедино эти моменты, то получается не совсем понятно. Аркадия-Арка шеголяет в тельняшке, гордясь подарком моряка, который провел с ней короткий отпуск, но окружающие расценивают эту историю иначе, и выражение «под парусом» приобретает в их устах насмешливый, нехороший оттенок. Девушка злится на ханжель соседок, активисток женсовета. Она бескорыстна, она спасает старателя Кольку Уса, когда он, пьяный, заснул в санях на пятидесятиградусном морозе, и идет за ним в «гадюшник», увозя парня оттуда к себе домой, не обращая внимания на насмешки собутельников Кольки. Но зачем же она потом выгоняет его на явную гибель в разлившуюся речку, прекрасно видя, что он едва-едва сумел перебраться к ней с другой стороны? Так сказать, по принципу «я тебя спас, я тебя и утоплю»? Колька, конечно, утонул, Арка, бросившись за ним, чуть сама не погибла, и ее спасает председатель поссовета товарищ Серегин. В финале героиня сумела наконец оценить значение женсовета, к работе которого ее ранее безуспешно пытался привлечь председатель: именно по его решению женщины поселка помогают побелить стены домика на отвале... И ради усвоения пользы женсовета нахлебалась воды девушка и погиб Колька, отец ее будущего ребенка? Стоило ли?

Не в том беда, что автор правдиво старается нам показать противоречивость понятия доброты, когда оно является чертой характера живого человека с его слабостями и недостатками, а в том, что он не сумел

эту противоречивость свести к простоте сложной, значимой. Опять, что называется, автор замахнулся, но не ударил... Лишнее доказательство того, что нельзя обойтись без глубокого осмысления жизненного материала, если хочешь быть верно понятым читателем.

От нас, например, не скрыто рассказчиком, что внутренний мир героя рассказа «Никита и Лидия Максимовна» расколот на две части: одна из них житейская, сибирская, коренная, другая устремлена к иной, туманно-блистательной жизни. «Он не для того выбивался из своего Рабочего предместья, чтобы пойти обыкновенным путем своего отца и матери... Он перечитал кучу книг и знает, как велик мир и как много в нем всяких интересных вещей, которые необходимо увидеть». Такие устремления влияют на его отношения с молоденькой учительницей Лидией Максимовной. Никита мучается без нее, но старается подавить в себе живое чувство.

Никиту все же «обженнили» на Лидии Максимовне, но совестливая покорность парня приводит его самого в такое отчаяние, что в конце свадьбы во время безумной скачки на оленях он выпускает вожжи перед опасным взвозом на Жую. «И это будет конец всему». Спас молодоженов лишь выкрик Лиды о том, что у нее будет ребенок. Никита образумился, в последний миг остановил парты, и наступает примирительный «хэппи энд».

Показывая в финале умиленное согласие молодоженов, автор говорит, в сущности, о выборе между романтическими устремлениями Никиты и «просто жизнью» и реша-

ет его в пользу последней. Но одно дело, когда речь идет об отыскании романтики в обыденной жизни, о возвышении житейского быта человеческой духовностью, сильным чувством. Другое — торжество житейского круговорота над всякими там мечтами, книгами и прочими премудростями.

Можно осуждать эгоизм Никиты, но нельзя не сочувствовать его желанию не жить «как зря». В его грезах есть нечто тревожащее душу, и коли проникла в его сознание зараза влечения к иной жизни, не стоит ее искусственно заглушать.

Геннадия Машкила притягивают к себе простые истины: мужества и смерти, добра и ненависти, любви и одиночества. Казалось бы, они непосредственно выводятся из реально-романтических условий своеобразного быта, полного опасностей и приключений. Но коли он описывает противоречия и сложности, выходящие за пределы этого быта, то напрасно делать упор на местный «колорит» и на «жестокие» подробности чрезвычайных ситуаций. Не стоит специально «романтизировать» действие, но не нужно и упрощать выводы, жертвуя романтикой ради «простоги». Синтез романтики и реальности и важен и нужен, но от замысла до исполнения у автора пока порядочное расстояние.

Геннадию Машкину предстоит еще преодолеть много препятствий, чтобы выдержать жесткую проверку на прочность тогда, когда начнутся будни долгой литературной работы.

**М. РУБИНЧИК.**



## КОГДА МАШИНА ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ...

**Гости страны Фантазии. Сборник научно-фантастических произведений писателей-нефантастов. Предисловие Ю. Кагарлицкого. Составление и редакция С. Майзельс. «Мир». М. 1968. 366 стр.**

Эта книга интересна тем, что ее составителям удалось показать: научную фантастику пишут не только писатели-фантасты, но и «обыкновенные», серьезные писатели и что число их совсем не так мало.

Среди произведений, опубликованных в сборнике, рассказы и новеллы авторов, имеющих мировую известность, — Д. Лондона, Джером К. Джерома, О. Генри, А. Мо-

руа, Д. Пристли, С. Фицджеральда, Т. Капота.

Правда, не все эти произведения с полным правом могут быть отнесены к жанру научной фантастики, не во всех них мы находим традиционные сюжеты этого жанра: путешествие в будущее, описание космических полетов и т. д. Но если в них и нет путешествий в космические пространства, то

зато есть не менее увлекательные путешествия в чудесную страну Фантазии, которая хотя и не указана на географических картах, но представляет обширный и пока еще мало изученный материк в океане человеческой мысли и творчества.

Оказывается, что страна эта до чрезвычайности разнообразна. Ее населяют герои самого различного эмоционального склада, темперамента и характера. В рассказе Джером К. Джерома «Партнер по танцам» мы знакомимся с гротескной фантастической историей о механической кукле-танцоре, которая, вместо того чтобы быть игрушкой, становится орудием смерти и разрушения. В «Истории пробковой ноги» О. Генри фантазия, напротив, носит подчеркнуто иронический характер — всякому ведь ясно, что искусственная нога не может убежать от своего хозяина, как это она делает в рассказе.

Иногда фантастика выступает в форме сказки, как, например, в рассказах Карела Михала «Сильная личность» и «Баллада о Чердачнике», где сказка сталкивается с реальностью, с обыденной жизнью. Но фантазия может оказаться и самой обыденной реальностью, когда уже невозможно отличить, где кончается фантастика и где начинается жизнь. Так обстоит дело в рассказе известного современного американского писателя Трумэна Капоте «Злой Рок», где некий м-р Реверкомб — не то злой гений, не то просто психолог — скупает у обездоленных и измученных людей единственную их собственность — сны.

Есть в сборнике и рассказы, написанные и прямо на научно-фантастические сюжеты. Это — отрывок из романа известного французского писателя Андре Моруа «Машина для чтения мыслей», рассказ Дино Буццати «Автомобильная чума» или «Версификатор» Примо Леви. Все эти рассказы достаточно интересны и занимательны, они открывают в творчестве известных нам писателей новые грани таланта.

Но особый интерес среди произведений, опубликованных в сборнике, представляет рассказ английского писателя Эдварда Моргана Форстера «Машина останавливается». Форстер мало известен русскому читателю, из его обширного творческого наследия на русский язык переведен только роман «Поездка в Индию» (1926). Небольшому рассказу было суждено сыграть значительную роль в современной литературе. Несмотря на то, что рассказ был опубликован

в 1909 году<sup>1</sup>, он до сих пор не утратил своего значения. Напротив, он предвосхитил некоторые тенденции в развитии литературы будущего. Как утверждают современные критики и социологи, рассказ Форстера положил начало новому жанру научно-фантастической литературы — так называемой негативной утопии или антиутопии. Многие современные авторы, исследуя антиутопии Олдоса Хаксли или Д. Оруэлла, ссылаются на этот рассказ Форстера как на одно из первых произведений этого рода<sup>2</sup>. Его не без основания сравнивают с произведениями Хаксли и называют «Прекрасным новым миром» Форстера.

Все это заставляет нас более внимательно отнестись к рассказу Форстера, разобраться в структуре составляющих его идей и образов.

Как признавался сам писатель, рассказ «Машина останавливается» был задуман как пародия на «Машину времени» Уэллса.

В рассказе дается описание будущего человеческого общества, в котором техника достигла высокого развития и глубоко проникла во все стороны жизни человека. Люди уже не живут, как прежде, на поверхности земли. Старые города заброшены и превратились в груды развалин. Зато под землей, недоступная влияниям природных стихий, царит размеренная и упорядоченная жизнь, которая подчиняется лишь бесперебойному ритму Машины. Собственно говоря, люди живут внутри Машины, так как бесчисленные комнаты, тоннели, шахты, всевозможные пищеводы и музыкопроводы — все это отдельные части Машины, части ее живого тела.

Подземные города напоминают ячейки пчелиных сот. Люди живут в отдельных комнатах-ячейках, абсолютно одинаковых и совершенно изолированных друг от друга. Они никогда не встречаются друг с другом и общаются только посредством технических средств коммуникации. Большинство людей вообще никогда не покидает своих жилищ в течение всей жизни. Зачем? В этом нет никакой надобности, и тем более это не ра-

<sup>1</sup> Автор предисловия к сборнику Ю. Кагарлицкий ошибается, относя этот рассказ к 1911 году. К тому же Форстеру было в это время не двадцать два года, как сказано у Ю. Кагарлицкого, а тридцать лет (Форстер родился в 1879 году).

<sup>2</sup> См., например, Wilfred Stone. *The Gave and the Mountain. A Study of E. M. Forster*, Stanford, London, 1966, p. 152.

ционально, не комфортабельно, «не технично».

Благодаря технике люди живут в условиях безграничного комфорта и благополучия. Все процессы их деятельности механизированы. Нужно только нажать одну из бесчисленных кнопок, чтобы получить желаемое — искусственную еду, кондиционированный воздух или ванну. От человека не требуется никаких физических усилий. Даже если вы уронили что-либо на пол, нет никакой надобности нагнуться, пол сам услужливо приподнимется к вашим рукам.

В своем рассказе Форстер описывает самые разнообразные средства коммуникации, видеотелефон и «синемавидение» — нечто подобное современному телевидению. Прогресс коснулся и средств развлечения. Достаточно нажать кнопку — и комнату наполнит чудесная музыка, создаваемая Машиной. Нет никакой необходимости заниматься наукой или творчеством: машина сама пишет стихи, а по телевидению вы можете прослушать лекцию по любому интересующему вас вопросу.

Весь этот комфорт и технические изобретения — результат деятельности Машины. И поэтому люди обожествляли мертвый механизм, теперь они исповедуют единственную религию — религию Машины, они поклоняются даже ее частям: одни — лифтам, другие — оптическим аппаратам и т. д. В качестве библии они чтут единственную оставшуюся от «мусорного сора тысячелетий» книгу — книгу о Машине, в которой описывается, какие и в каком случае надо нажимать кнопки.

Основной конфликт, который описывает Форстер в своем рассказе, происходит между героем рассказа Куно и его матерью Вашти. Его мать — горячий и ортодоксальный поклонник Машины. Она исповедует религию Машины и поклоняется книге о Машине. Вашти олицетворяет конформистское, некритическое сознание, она боится оригинальных идей и мыслит только в соответствии с указаниями, записанными в книге о Машине.

Куно представляет полную противоположность своей матери. Он мыслит совершенно еретически, позволяет себе сомневаться в способностях Машины и критикует ее. Более того, нарушая все запреты, он стремится покинуть подземный мир. Однажды он, пробравшись тайком по шахтам и тоннелям,

выбирается на поверхность земли, к сияющему свету солнца. Здесь Куно впервые видит облака, растения, деревья и даже обнаруживает людей, которые избежали власти Машины и живут на лоне дикой природы. Но Машина обнаруживает беглеца, и ее длинные извивающиеся щупальца затаскивают его обратно под землю.

Тогда Куно восстает против власти Машины. Он предрекает ей скорую гибель. И действительно, в ее сложном механизме что-то портится. Все началось с мелочей. Сначала в музыку стали врываться какие-то стоны и хрипы, потом стали появляться стихи с хромающей рифмой. Искусственная еда стала пахнуть гнилью. Наконец выходит из строя вся система коммуникаций, останавливается подача искусственного воздуха, гаснет свет.

Люди не способны починить Машину, они уж давно забыли, как она устроена и как она действует. И постепенно Машина останавливается. Человечество гибнет в своих подземных городах, оказавшихся для них тюрьмой. Так — предсказанием мировой катастрофы — кончается рассказ Форстера.

Действительно, во многом он напоминает нам сатирическую утопию Олдоса Хаксли «Прекрасный новый мир», и есть все основания сравнивать эти произведения. Оба они были написаны как пародия на фантастику Уэллса, оба предупреждали об опасности бесконтрольного технического прогресса. Совпадают и некоторые элементы в изображении этими писателями технизированного будущего: биологическая селекция детей, своеобразный массовый гипноз с помощью средств развлечения, потребительство, комфорт.

Однако, при всем сходстве, нельзя не видеть существенных различий между антиутопиями Форстера и Хаксли. Рассказ Форстера — это прежде всего антимашинная утопия. В ней изображается опасность технизма, механизации человеческой деятельности. В этом отношении Форстер, как правильно указывает в предисловии к сборнику Ю. Кагарлицкий, продолжает линию романтического отрицания техники, идущую еще от Сэмюэля Батлера, автора еще одной антимашинной утопии «Эрево» (1872).

В противоположность этому «Прекрасный новый мир» не столько антитехническая, сколько антитехнократическая утопия. Хаксли интересуется не столько технический про-



гресс сам по себе, сколько те социальные последствия, к которым он может привести: создание кастового общества, возникновение диктатуры технократии и т. д.

Произведения Форстера и Хаксли отличаются и общим эмоциональным тонусом, своими итоговыми выводами. Оба они, несомненно, носят трагический характер, описывают катастрофы, которые могут произойти с человечеством. Но рассказ Форстера — это трагедия надежды, тогда как роман Хаксли скорее трагедия отчаяния.

Форстер более оптимистичен в своих суждениях о будущем, чем Хаксли. У него Машина в конце концов останавливается, ее господству приходит конец. И хотя при этом погибает большая часть человечества, где-то на поверхности земли, вне машинной цивилизации, живут люди, которые могут создать новый, более человеческий мир.

Символический финал рассказа, где перед лицом своей смерти Куно и Ваши говорят о будущем, о том, что станет с человечеством завтра.

«— Завтра какой-нибудь дурак снова запустит Машину.

— Нет, — возразил Куно, — это уже не повторится. Никогда. Человечество многому научилось».

У Хаксли же, как мы помним, бунт одиночки — Диккаря — ни к чему не приводит, и он умирает, осознавая, что человеческий, гуманный мир окончательно погиб, что власть «прекрасного нового мира» непоколебима.

Эти различия между рассказом Форстера и романом Хаксли объясняются не только различным мировоззрением или творческими манерами этих писателей. Оно было обусловлено и эпохой, временем. Рассказ Форстера написан еще до первой мировой войны, и описание гибели человечества здесь — скорее романтический прием, чем напоминание о реальности. Через четверть века, когда появился «Прекрасный новый мир» Хаксли, многое в истории изменилось. В Европе стал поднимать голову фашизм. Идея о возможной гибели человечества перестала быть просто аллегорией и романтическим вымыслом.

В своем рассказе-антиутопии Форстер не только изобразил будущее, но и дал критику существующего общества. Он показал про-

тиворечия научного и технического прогресса в буржуазном обществе. Вместо того, чтобы увеличивать и расширять свободу человека, увеличивать его власть над природой, прогресс этот приводит к тому, что человек утрачивает всякую свободу, попадает в рабство к Машине. В форме утопического вымысла Форстер описал тот процесс, который Маркс назвал «отчуждением труда» и который сводится к тому, что человеческая деятельность механизмуется, тогда как неодоушевленный механизм, машина превращается во всемогущую силу, приобретает духовную жизнь.

Форстер мастерски описал этот процесс, но, естественно, не указал путей преодоления этого социального конфликта. Капиталистическому «отчуждению» Форстер смог противопоставить только культ «голого человека на голой земле». Нет необходимости доказывать, что этот вывод был ограниченным и, увы, далеко не оригинальным.

И тем не менее в своем маленьком рассказе Форстер высказал удивительно многое. Ему удалось довольно точно нарисовать ту социологическую модель, которая и до сих пор служит предметом анализа и критики авторов современных антиутопий. Это — общество, в котором царят комфорт и благосостояние, покупаемые за счет стандартизации культуры, превращения человека из цели в средство, за счет утраты свободы и торжества самоудовлетворенного конформистского сознания.

И, конечно, нам ценен вывод Форстера, который он вкладывает в уста своего героя о том, что человечество многому научилось и никому в будущем не удастся запустить остановившуюся Машину.

Но вернемся к нашему сборнику. Несомненно, путешествуя с писателями-фантастами по стране Фантазии, мы тоже многому учимся: учимся понимать фантастику, различать фантастическое от реального и, наоборот, видеть в фантастике реальность. И еще одно. Как мы видели на примере Форстера, научная фантастика — не просто развлекательная, «облегченная» литература, которую, как некоторые еще думают, читают для того, чтобы убить время. Многие ее произведения заставляют нас задуматься о серьезных процессах, происходящих в современном мире.

**В. ШЕСТАКОВ.**

Политика и наука**ДИНАМИКА ОБЩЕСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ**

**Проблемы изменения социальной структуры советского общества. «Наука». М. 1968. 256 стр.**

**Классы, социальные слои и группы в СССР. «Наука». М. 1968. 232 стр.**

«Имеет ли и может ли иметь наше социалистическое общество, перерастающее в коммунизм, в своей действительности классовую структуру, о которой принято говорить со времени Конституции 1936 г.?» Отвечая на этот вопрос, авторы рецензируемых книг показывают, что в социальной структуре нашего общества произошли качественные изменения, заставляющие внести серьезные уточнения и коррективы в традиционную формулу: два класса (рабочие и колхозники) плюс интеллигенция как особая социальная прослойка.

Главная задача исследователей — определить современную социальную структуру нашего общества и проследить, как преодолеваются социальные различия.

О значении этой задачи не требуется, очевидно, много говорить. Коммунизм есть полная социальная однородность, и, конечно же, очень важно знать, как мы движемся к этой цели. Общество должно постоянно держать под контролем темп и направление своего развития. И здесь социологам принадлежит особая роль. Проводя конкретные исследования, они получают точные данные о действительном содержании и ходе общественных процессов.

Обе книги — «Проблемы изменения социальной структуры советского общества» и «Классы, социальные слои и группы в СССР» — представляют собой две части одного издания, два его тома. Это коллективный труд большой группы ученых Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Свердловска и других городов, выпущенный Институтом философии Академии наук СССР. Книги имеют общую редколлегию, одних и тех же ответственных редакторов — Ц. А. Степаняна и В. С. Сменова, что позволяет рассматривать обе части издания как единое целое.

Изменения, которые произошли в социальной структуре советского общества, авторы монографии связывают прежде всего с дальнейшей индустриализацией нашего народного хозяйства, с последствиями научно-технической революции.

Среди грядущих СССР год от года растет удельный вес рабочего класса. Если в 1940 году рабочих среди занятого населения было 19,4 процента, то в 1959 году — 33,6 процента.

Но происходит не просто количественный рост. В условиях технического прогресса складывается новый, более высокий тип труженика, растет общеобразовательный и профессиональный уровень рабочих. Это приводит к тому, что, как пишет С. Л. Селявский, «внутри рабочего класса или на рубеже его и интеллигенции в современных условиях рождается новый... социальный слой рабочих-интеллигентов». С другой стороны, поскольку на высоко механизированных и автоматизированных предприятиях многие техники и инженеры по существу выполняют функции рабочих — непосредственно производят материальные блага, — то, по мнению К. П. Буслова, «современная производственная интеллигенция обладает всеми чертами рабочего класса, в особенности чертами тех его представителей, которые имеют высокий уровень специальных и общих знаний». Он предлагает «расширить традиционное понимание структуры рабочего класса», включив в него интеллигентов-рабочих.

Некоторые авторы двухтомника возражают К. П. Буслову, но считают бесспорным, что «уже сегодня и по общему уровню культуры... и по своей общественно-политической активности рабочие-интеллигенты мало чем отличаются от инженерно-технических работников».

Наряду с этим слоем рабочих-интеллигентов (и интеллигентов-рабочих) существует, однако, и другой слой, все еще достаточно многочисленный. В монографии дается его цифровая характеристика: в 1962 году — 37,7 процента рабочих имели лишь первый и второй производственные разряды, а 15 процентов были вообще без профессий. По данным 1967 года, половина всех рабочих имела образование ниже семи классов.

Научно-техническая революция во многом меняет сам характер труда рабочего. На-

пример, «на предприятиях машиностроения примерно каждый десятый работник создает и испытывает новую технику». Вместе с тем внедрение поточно-конвейерного производства приводит к «возрастанию численности рабочих, занятых выполнением однообразных, повторяющихся, монотонных операций».

Технический прогресс создает новые рабочие профессии, требующие чуть ли не высшего образования. Так, старшие аппаратчики, старшие лаборанты, наладчики автоматических линий должны иметь образование не ниже среднего технического. Но наряду с этим «еще сохраняется большое количество грузчиков, извозчиков, обходчиков, а число разнорабочих с 1939 по 1959 г. даже увеличилось в 2,35 раза».

В. Г. Подмарков находит этому следующее объяснение: «Мы форсируем новые участки труда быстрее, чем отмирают старые, общий фронт труда растягивается и соответственно возрастает диапазон профессиональной подготовки». Так или иначе, рост дифференциации труда представляет собой серьезную общественную проблему.

Специальный раздел двухтомника посвящен анализу роли интеллигенции и служащих в современных условиях, выявлению в составе интеллигенции различных социальных групп.

М. Н. Руткевич, один из авторов раздела, понимает под интеллигенцией «социальную группу, слой, состоящий из лиц, профессионально занимающихся высококвалифицированным умственным трудом, требующим специального среднего или высшего образования».

Это определение, представляющееся нам достаточно убедительным, расходится с широко распространенной точкой зрения, что все работники умственного труда являются интеллигентами. Например, в материалах Всесоюзной переписи 1959 года говорится: «Значительное место в населении Советского Союза занимает интеллигенция — работники умственного труда, численность которых составляет одну пятую часть населения, имеющего занятия». «При таком подходе, — отмечает С. Г. Чаплыгина, — на наш взгляд, недостаточно учитывается разнородность умственного труда, поскольку продавцы, счетоводы, делопроизводители, работники коммунальных предприятий и бытового обслуживания и другие категории служащих

невысокой квалификации зачисляются в интеллигенцию».

«Служащих» и «интеллигенцию» наша официальная статистика объединяет одной графой, а то и просто ставит между ними знак тождества. По мнению С. Г. Чаплыгиной, эти социальные категории «не совпадают». Правильнее, очевидно, поделить служащих на специалистов и неспециалистов. Первые войдут в состав интеллигенции, вторые же по разным признакам — по неопределенному типу профессиональной подготовки, по чисто исполнительской функции в процессе труда и другим — ближе к мало-квалифицированному слою рабочего класса. «Чем отличается, например, труд мало-квалифицированного рабочего от труда продавца, официантки, кондуктора, проводника, сторожа и других?» — спрашивает К. П. Буслов в главе «Социально-групповые различия советского общества». И отвечает: «Их труд, на наш взгляд, однотипен по своему содержанию...»

Вопрос этот и в практике и в теории достаточно запутан. Так, на предприятиях различают служащих и ИТР (инженерно-технических работников). Разница между ними сказывается в зарплате, в отпусках, в престиже, которым пользуются те и другие профессии. Между тем, например, «по штатному расписанию подшивникового завода (г. Свердловск) к служащим относятся и главный экономист финансово-сбытового отдела и завхоз цеха, юристконсульт и табельщица...» Методический подход, который предлагают авторы рецензируемой монографии, позволяет рассматривать интеллигенцию и служащих дифференцированно, видеть различия среди работников умственного труда.

В монографии прослеживаются общие тенденции развития интеллигенции: количественный рост работников умственного труда, в особенности специалистов, повышение роли интеллигенции в общественном производстве (наука становится непосредственной производительной силой), сближение и даже сращение большей части интеллигенции с передовым слоем рабочего класса.

В рецензируемых книгах показано, что социальный состав интеллигенции (даже в узком смысле этого слова) достаточно неоднороден. Имея это в виду, В. Е. Вигдорчик предлагает разделять всю интеллигенцию на технико-экономическую, научно-куль-

турную, а также работников госаппарата и общественных организаций.

Понятно, что это далеко не единственный способ деления. Например, польский социолог Ежи Вятр предлагает иную социальную схему: 1) «элита» интеллигенции — высшие руководители хозяйственной, политической и культурной жизни страны; 2) техническая интеллигенция; 3) другие специализированные группы (врачи, учителя, журналисты); 4) социальные группы офиссров; 5) служащие, охватывающие квалифицированные слои общественной администрации.

Вопрос не в том, какая схема наиболее точна. Важнее другое: и советские и польские социологи устанавливают неоднородность интеллигенции, наличие в ней различных слоев и групп. Более того, польские социологи считают, что «внутреннее расслоение интеллигенции систематически увеличивается, в то время как различия между интеллигенцией как таковой и другими социальными слоями, особенно рабочими, уменьшаются».

Рассматривая структурные изменения в колхозном крестьянстве, авторы книг отмечают, что на селе все больше становится специалистов: агрономов, зоотехников, инженеров по сельхозмашинам. Быстро растет число колхозных механизаторов, которые сегодня почти не отличаются от рабочих. В то же время по расчетам, которые приводят авторы, примерно три четверти колхозников еще не имеют профессиональной подготовки и заняты преимущественно ручным трудом. Техническое вооружение села связано, таким образом, с «дифференциацией прежде однотипного неквалифицированного физического труда, выделением все новых профессиональных прослоек, усложнением социально-профессиональной структуры населения».

Подводя итоги всем изменениям, происшедшим в социальной структуре нашего общества, авторы монографии делают вывод, имеющий принципиальное теоретическое значение: «Между квалифицированными рабочими так называемого «механизированного труда» и интеллигенцией, с одной стороны, и между крестьянами и неквалифицированными рабочими, с другой, по целому ряду важнейших социальных параметров больше общего именно внутри каждой из двух этих групп, чем между квалифицированными и неквалифицированными рабочи-

ми, хотя они и входят в состав одного и того же класса».

Этот вывод является общим для всех страниц двухтомного издания. Одни авторы считают, что «в условиях социализма... дифференциация по уровню доходов внутри каждого класса более существенна, чем между классами», другие отмечают, что границы классовой принадлежности становятся условными, третьи подчеркивают, что «в проекции на человека классовые различия нередко оказывают меньшее влияние, чем внутриклассовые».

Иными словами, исследователи говорят о том, что произошла социальная перегруппировка — социальные границы сместились.

Чем же в таком случае один социальный слой в нашем обществе отличается от другого? Что преимущественно определяет различия их материального и культурного уровня, порой еще довольно значительные?

До недавнего времени чуть ли не все социальные различия выводились из существования двух форм собственности — кооперативно-колхозной и государственной. Поскольку формы эти постоянно сближаются, считалось само собой разумеющимся, что пропорционально этому сближению мы движемся к полной социальной однородности. Сегодня, как весьма основательно доказывает Р. Г. Вартанов, существенного различия между государственной и кооперативно-колхозной формой собственности практически нет (хотя есть разница между колхозом и совхозом как хозяйственными организациями). Различия, которые наблюдаются еще между колхозником и рабочим, вытекают главным образом из различий между городом и деревней. Между рабочим совхоза и колхозником меньше разницы, чем между рабочим совхоза и рабочим большого города. Правда, из этой верной констатации Р. Г. Вартанов делает вывод, который трудно принять: социализм есть бесклассовое общество. Все содержание монографии убеждает нас в том, что наблюдаемая исследователями социальная перегруппировка пока еще не дает оснований для столь категоричного вывода, который может быть верен лишь для полного коммунизма. Как совершенно справедливо утверждает другой автор монографии, М. Н. Руткевич, «слияние двух форм собственности не будет означать, что другие классовобразующие признаки, — а именно роль социальных групп в разделении труда и в распределении обще-

ственного продукта будут полностью исчерпаны».

Впрочем, и различное отношение к собственности как критерий социальной принадлежности, по-видимому, не столь уж жестко связано с существованием двух ее форм: оно может сохраняться и после их слияния. М. Н. Руткевич напоминает, что в своем определении классов Ленин берет в единстве отношение к собственности, роль в производстве и роль в распределении; все эти три признака класса связаны между собой и как бы вытекают один из другого. Следовательно, то или иное отношение к собственности проявляется в общественном разделении труда.

К социально-экономическим видам разделения труда в нашем обществе авторы рецензируемых книг относят «разделение между работниками города и деревни, между работниками квалифицированного и неквалифицированного труда, между работниками умственного и физического труда».

«Разделение труда на умственный и физический ведет к общественному неравенству, важнейший аспект которого выражается в разделении на людей, выполняющих функции управления, и на исполнителей» — так В. И. Зуев в главе «Проблемы управления и развитие социальной структуры» обращает внимание на одно из тех различий, которые социализму предстоит преодолеть. Действительно, оно заслуживает общественного внимания хотя бы потому, что, как пишет Ю. Е. Волков, «изменение характера производства само по себе еще не может вести к преодолению имеющихся различий между таким специфическим видом умственного труда, как управленческий, и другими видами труда». Скорее напротив: поскольку, как замечает в той же главе Ю. Е. Волков, совершенствование системы управления ведет к более четкому выделению функций работников управления, создается стабильный и довольно многочисленный

слой людей, профессионально занятых управлением.

Ю. Е. Волков указывает на особый характер управленческого труда, на право руководителей принимать решения, обязательные для других, и проводить эти решения в жизнь с использованием не только методов убеждения, но и принуждения. Он подчеркивает, что совершенно необходимо изучать специфику положения в нашей социальной структуре работников, специально занятых в управлении.

В справедливости и своевременности этого пожелания убеждают многие главы двухтомника. Его авторы, к сожалению, далеко не всегда опираются в своих суждениях и выводах на результаты полноценных, многоплановых конкретно-социологических исследований. Это относится и к Ю. Е. Волкову. Доказывая правильный тезис, что при социализме сущность управления меняется и что единственными хозяевами в экономике, а значит и в общественной жизни, являются трудящиеся, он вынужден опираться на самые общие данные. С другой стороны, в монографии приводится немало данных, свидетельствующих главным образом о несовершенстве исследований, в результате которых они были получены: о случайности программ, нечеткости предмета изучения, поверхностности анализа. Так, например, в главе «Подъем культуры колхозного села» находим огромную таблицу, полную цифр, из которой, однако, следует довольно-таки банальный вывод: «Среди сельских работников физического труда людей с низшим образованием... больше, чем среди соответствующих групп городского населения». Между тем самой необходимой цифры порой не сыщешь.

Нехватка эмпирического материала, без сомнения, снижает ценность этой полезной монографии, во многом по-новому освещающей современные социальные процессы в нашей стране.

**Г. ЦЕЛМС.**



## КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

**Развитые капиталистические страны: проблемы сельского хозяйства.** Коллектив авторов: Г. Л. Фактор, М. А. Павлова, А. М. Петрушов, Ю. П. Лисовский, В. Д. Мартынов, М. А. Меньшикова, В. М. Жуковская. «Мысль». М. 1969. 336 стр.

В большинстве капиталистических стран сельское хозяйство как отрасль экономики продолжает оставаться на правах падчерицы. Люди, им занимающиеся, как правило, получают за свой труд меньше, чем работники многих других отраслей производства, а социальные условия их работы во многом уступают тем, что созданы уже для других групп населения. Французский демограф Луи Эстранжен пишет по поводу положения крестьянства в стране, где уровень развития сельского производства достаточно высок, буквально следующее: «Среди французского крестьянства более всего обездоленных. Это не только старики и инвалиды, которых немало во всех социальных слоях общества. Это сами труженики — крестьяне. Их средства труда жалки, начиная с недостатка в земле, а результаты труда настолько обескураживающие, что вознаграждение за труд оказывается значительно ниже гарантированного минимума зарплаты (гарантированного, кстати, только для наемных рабочих!)».

Тем не менее вряд ли есть еще отрасль производства, которая играла бы такую же решающую роль в жизни человечества. С годами значение сельского хозяйства в ряду остальных отраслей экономики не только не сокращается, а, наоборот, быстро растет. Это и понятно, особенно если учесть, что опасность голода, по некоторым прогнозам, для человечества возрастает.

Если перед второй мировой войной от голода систематически страдало 38 процентов населения земного шара, то сейчас этот процент поднялся до 59. Свыше 1 миллиарда 700 миллионов человек в мире получают ежедневно менее 2200 калорий, тогда как минимальная норма для нормального функционирования человеческого организма определена учеными в среднем на уровне 2500 калорий. И ближайшие перспективы решения этой проблемы отнюдь не так уж радостны: годовое производство сельскохозяйственных продуктов растет в среднем на 2—2,5 процента, тогда как население увеличивается в год в среднем на 63 миллиона человек, то есть примерно на 3,5 процента. Международная организация,

занимающаяся проблемами сельского хозяйства (ФАО), приводит эти данные, констатирует: «Сейчас в мире больше голодных людей, чем когда-либо в истории человечества, и их число постоянно растет».

Здесь нет нужды говорить о том, что проблема голода имеет не биологические, а социально-экономические причины. Понимание этого как раз и позволяет грезно видеть наши возможности, изыскивать способы, применение которых может благотворно повлиять на развитие сельскохозяйственного производства.

Группа авторов только что выпустила книгу о сельском хозяйстве развитых капиталистических стран. За последние годы здесь были достигнуты существенные успехи. Так, в Англии общий объем чистой продукции сельского хозяйства увеличился за десять лет на 44 процента. Франция, до 1950 года не экспортировавшая зерна, стала вывозить его в количестве, достигающем в наиболее благоприятные годы 5,5—6 миллионов тонн. В результате она заняла третье-четвертое место в мире по экспорту пшеницы и первое — по экспорту ячменя. В Италии стоимость чистой продукции сельского хозяйства за период 1951—1965 годов выросла на 66 процентов и т. д. Авторы анализируют причины такого роста производства и показывают зависимость его от тех вложений, которые были сделаны в эту отрасль в последнее время. Например, в Англии на одного занятого в сельском хозяйстве в 1960 году приходилось 6,5 тысячи фунтов стерлингов основного капитала, считая землю и постройки, или 3,5 тысячи — без учета земли и построек, тогда как размер основного капитала на одного занятого в промышленности составлял лишь 2,1 тысячи фунтов стерлингов. Ежегодные вложения в основной капитал на одного занятого, отмечается в книге, также выше в сельском хозяйстве, чем в промышленности. Оттого и производительность труда в английском сельском хозяйстве растет намного быстрее, чем в промышленности, и вдвое быстрее, чем по экономике в целом. В США наблюдается аналогичная тенденция. По степени вооруженности современными сред-

ствами производства работник сельского хозяйства США ныне практически сравнялся с работником промышленности, тогда как еще тридцать — сорок лет назад отставал от него в три-четыре раза. Поэтому и здесь производительность сельского труда росла почти в три раза быстрее, чем в обрабатывающей промышленности.

Такой прилив капиталов, как отмечается в книге, был бы невозможен без активного вмешательства государства. Вливание дополнительных средств происходит по разнообразным, многочисленным каналам. Финансируется поддержание цен на заданном уровне, охрана природных и почвенных ресурсов, сельскохозяйственное образование и т. д. и т. п. Приведенные в книге материалы убеждают, что подъем сельскохозяйственного производства в период бурной научно-технической революции не может, по-видимому, быть делом только тех, кто непосредственно обрабатывает землю: без постоянной самой широкой организационной и финансовой поддержки со стороны государства нет возможности решить основные макроструктурные проблемы этой отрасли.

Рост сельского хозяйства немислим без повышения его экономической эффективности: ведь от этого зависит количество средств, которые могут быть истрачены на расширение производства. Авторы сборника поэтому обращают внимание не только на рост массы вложений, но и на их отдачу. При этом они замечают одну весьма интересную закономерность: до войны прирост сельского производства происходил в основном за счет увеличения массы вложений и лишь незначительно — за счет повышения их эффективности. В послевоенные годы темпы прироста показателей эффективности возрастают (в США, например) более чем втрое; прирост продукции лишь на одну пятую достигается за счет увеличения вложений и на четыре пятых за счет повышения эффективности. Поэтому, затрачивая на производство практически столько же, что и до войны, американское сельское хозяйство получило в 1965 году на 64 процента больше продукции, чем в 1940 году. Та же закономерность обнаруживается и в Канаде. Сельскохозяйственное производство увеличилось здесь в 1961—1965 годах по сравнению с 1935—1939 годами в 1,9 раза при росте фондов менее чем на 30 процентов. Более эффек-

тивное использование основных фондов позволило как бы сэкономить 7 миллиардов долларов. Такой результат достигнут за счет качественного улучшения структуры фондов. В эти годы быстро росли вложения в технику, машины, оборудование. Крупные средства направлены на улучшение породности скота, на совершенствование семенного дела. Стоимость же строений росла медленнее всех других компонентов. Это привело к ускорению оборачиваемости капитала. Отмеченные тенденции представляют, безусловно, немалый интерес при изучении путей повышения эффективности капиталовложений в сельское хозяйство.

Показывая рост эффективности сельскохозяйственного производства, авторы сборника анализируют принципы действия кредитного механизма, который не в малой мере способствует увеличению отдачи от вложений в землю.

С большим интересом читаются в книге разделы, посвященные регулированию рыночных процессов. Нарисованная авторами картина должна помочь отрешиться от все еще распространенных упрощенных представлений о том, что рынок и стихия, бесплановость являются чуть ли не синонимами. Путем установления гарантированных цен на основные сельскохозяйственные продукты, путем кредитно-банковских мероприятий, а также с помощью системы государственных субсидий в значительной мере удается стабилизировать и повести многие процессы в направлении, желательном для буржуазного государства. Характерно, что за последние десять лет рыночные цены на продукцию сельского хозяйства, закупаемую у английских фермеров, практически оставались стабильными.

Рассказывая, так сказать, о технической стороне прогресса в сельском хозяйстве развитых капиталистических стран, авторы сборника ни на минуту не забывают об обратной стороне медали — о капиталистической эксплуатации трудящихся. И здесь сказывается, что преимущества от применения новейших достижений в сельском хозяйстве нередко достаются в этих странах отнюдь не тем, кто живет и работает на земле. В 1964 году недельный заработок сельскохозяйственного рабочего в Англии составлял лишь 70 процентов зарплаты промышленного рабочего. То же наблю-

дается и в других капиталистических странах. Мелкие фермы разоряются, люди покидают их и уходят в города. Села, фермы «стареют». Наиболее энергичная и способная молодежь оставляет родные места.

Долгое время в работах по сельскому хозяйству капиталистических стран почти исключительное внимание уделялось тому, как кормят скот, сеют пшеницу, вносят в землю удобрения, химикаты и т. д. Безусловно, все это нужно. Но за таким «технологическим» подходом к описанию проблем сельского хозяйства утрачивался другой — социально-экономический. И уже нельзя было узнать почти ничего существенного о развитии практики капиталовложений, о системе регулирования цен, о принципах функцио-

нирования кредитно-банковского механизма и т. д. А без знаний в этих областях невозможно представить себе полную картину капиталистического сельскохозяйственного производства.

Выпущенная группой ученых книга знаменует собой как раз переход к новому типу анализа дел в сельском хозяйстве. И хотя не всем авторам в равной степени удалось преодолеть прежний, «технологический» взгляд на вещи, а некоторые важные темы (например, причины миграции сельского населения) нуждаются в более углубленном исследовании, книга читается с большим интересом и дает читателю много новой информации.

Г. ЛИСИЧКИН.

★

## ШАН ЯН И ЕГО ИДЕИ

Книга правителя области Шан. Перевод с китайского, вступительная статья и комментарий Л. С. Переломова. «Наука». М. 1968. 350 стр.

Несколько десятилетий тому назад политическую философию Китая было принято отождествлять с конфуцианством. Уже с XVII века проник в европейскую науку позаимствованный у китайских эрудитов взгляд, согласно которому смысл и цель китайской государственности состоят в том, чтобы воплощать этические принципы, провозглашавшиеся Конфуцием. Этот взгляд главным образом и вызвал среди французских просветителей XVIII века чуть ли не повальную болезнь синомании, жертвой которой пал даже такой блестящий ум, как Вольтер, заявлявший, что мир еще не видел ничего столь великолепного, как китайская империя. А Лейбниц, жалуясь на упадок нравов в Европе, предлагал пригласить из Китая миссионеров, которые обучали бы европейцев «естественной теологии». Когда же более близкое знакомство с действительностью китайской империи вскрыло царивший там деспотизм, коррупцию чиновничества, утонченные пытки, придавленность народа и даже не пренебрежение правами личности, а девственное отсутствие понятия о том, что таковые существуют, то восхищение конфуцианством сменилось отвращением к нему. Но традиция восприятия официальной императорской догмы как прямого продолжения проповеди Конфуция сохранилась, и она мешала заметить ряд существенных фактов, не только не соответствовавших представлению о такого рода преемственности, но и прямо ему противоречащих. Инерция, тяготеющая над умами, привела к тому, что даже не задавали вопрос, каким образом Конфуций, недвусмысленно выступавший против произвола правителей, мог стать идеологом деспотии.

Лишь исследования последних сорока лет вскрыли совершенно особый, не замечавшийся ранее пласт китайской политической мысли. Эти исследования показали, что уже в IV—III веках до н. э. в Китае появилась ярко выраженная идеология деспотии — теория «фацзя», получившая в европейском китаеведении название легизма. И возникла эта теория не как дополнение, а как самое решительное отрицание взглядов Конфуция и его последователей. Именно она и стала настоящим идейным ориентиром для тех, кто трудился над созданием и укреплением китайской деспотии.

Лишь исследования последних сорока лет вскрыли совершенно особый, не замечавшийся ранее пласт китайской политической мысли. Эти исследования показали, что уже в IV—III веках до н. э. в Китае появилась ярко выраженная идеология деспотии — теория «фацзя», получившая в европейском китаеведении название легизма. И возникла эта теория не как дополнение, а как самое решительное отрицание взглядов Конфуция и его последователей. Именно она и стала настоящим идейным ориентиром для тех, кто трудился над созданием и укреплением китайской деспотии.

Книга, о которой мы хотим рассказать, представляет собой научный перевод трактата основателя этой теории и его ближайших последователей; перевод снабжен обширным введением и скрупулезнейшими текстологическими комментариями. Можно только подивиться добросовестности, трудолюбию, вниманию к достижениям других ученых, с которым выполнена Л. С. Пере-



ломовым эта работа. Введение, представляющее собой исследование кардинальных проблем развития древнекитайской идеологии, выходит по своему значению далеко за рамки прелюдии к трактату.

Но посмотрим, кто же такой «правитель области Шан» и в чем состоит его теория.

Это живший в середине IV века до н. э. Шан Ян, умный и ловкий карьерист, сумевший завоевать доверие правителя царства Цинь (Китай в то время состоял из нескольких независимых друг от друга государств), стать там премьер-министром и осуществить ряд реформ, способствовавших усилению самовласти правителя и военному укреплению царства; через столетие с лишним оно сумело железом и кровью объединить Китай, и в свете этого факта деятельность Шан Яна и его идеи приобретают особое значение. Драконовские законы, введенные Шан Яном, были направлены как против аристократии, препятствовавшей концентрации власти в одних руках, так и против еще существовавших в то время традиций примитивного общинного демократизма. Интересно, что с самого начала Шан Ян запретил всякое обсуждение его законов и, чтобы доказать, что этот запрет следует принимать всерьез, сослал в отдаленные районы тех, кто хвалил их.

В конце своей жизни Шан Ян пал жертвой проводившихся им самим законов. Когда царь, который ему покровительствовал, умер и на престол вступил наследник, люто ненавидевший Шан Яна, тот, узнав о грозящем ему аресте, бежал и попытался переночевать на придорожном постоялом дворе, но хозяин не пустил его, сказав, что по законам Шан Яна владелец постоялого двора, дающий ночлег неизвестным людям, подлежит строгому наказанию. Шан Ян бежал в соседнее царство, но его жители, не простившие Шан Яну предательского захвата их страны, отказались дать ему убежище. Через несколько недель он был убит, а вся его семья истреблена.

В основе политической теории Шан Яна лежит до предела простая мысль о том, что задача правителя вовсе не в процветании и благополучии народа, а в усилении собственной власти и захвате соседних государств. Народ, по глубокому убеждению Шан Яна, интересен лишь как средство для достижения этой цели. «Иметь многочисленное население и не использовать его — все равно что не иметь населения», — говорит

он. Отношение к народу как к материалу для обработки подчеркивается емкой метафорой: Шан Ян сравнивает правителя с ремесленником, а народ — с рудой, из которой выплавляется металл, или с глиной, из которой делаются горшки.

Этот тезис приводит к ряду знаменательных выводов. Ведь для того, чтобы из материала можно было сделать то, что требуется, он должен поддаваться обработке, быть не слишком твердым. И вот в главе с красноречивым названием «Как ослабить народ» Шан Ян говорит: «Когда народ слаб, — государство сильное, когда государство сильное, — народ слаб. Поэтому государство, идущее истинным путем, стремится ослабить народ... Если народ слаб, он бредет по указанному пути». Исходя из этого не надо бояться унижать людей, ибо «когда люди живут в унижении, они дорожат рангами знатности; когда они слабы, чтут чиновничьи должности; когда бедны, ценят награды». А что происходит, если они обогащаются и, следовательно, усиливаются? Тогда, по словам Шан Яна, народ распускается и рождаются «паразиты». Об этих «паразитах», грозящих подрывом могущества страны, многократно и с неослабевающим ожесточением говорится в трактате. В примечании к первому упоминанию о них Л. С. Переломов отмечает, что дословный смысл китайского термина «ши», которым они обозначаются, — «вошь», и брутальному цинизму мышления Шан Яна в данном случае, на наш взгляд, более соответствовал бы буквальный перевод. «Вши», по Шан Яну, это изучение поэзии, истории, музыки, правил благопристойности и старинных обрядов, а также добродетель, человеколюбие, бескорыстие, красноречие, острый ум.

Вот — без всяких комментариев — некоторые из высказываний правителя, демонстрирующих своеобразие и законченность его этической системы:

«Красноречие и острый ум способствуют беспорядкам; ли (нравственные правила. — В. Р.) и музыка способствуют распушенности нравов; доброта и человеколюбие — мать проступков; назначение и выдвижение на должности добродетельных людей — источник порока».

«Если войска совершают действия, на которые не отважится противник, — это значит, что страна сильна. Если во время войны страна совершает действия, которых против-

ник устыдился бы, то она будет в выигрыше».

«Если управлять людьми, как добродетельными, они будут любить своих близких; если же управлять людьми, как порочными, они полюбят эти порядки. Слоченность людей и взаимная поддержка протекают оттого, что ими управляют, как добродетельными; разобщенность людей и взаимная слежка протекают оттого, что ими управляют словно порочными. Там, где к людям относятся как к добродетельным, проступки скрываются; там же, где к людям относятся как к порочным, преступления жестоко караются. Когда проступки скрываются, — народ победил закон; когда же преступления строго наказываются, закон победил народ. Когда народ побеждает закон, в стране воцаряется беспорядок; когда закон побеждает народ, армия усиливается. Поэтому-то и сказано: «Если управлять людьми, как добродетельными, то неизбежна смута, и страна погибнет; если управлять людьми, как порочными, то всегда утвердятся образцовый порядок, и страна достигает могущества».

Исходя из этих посылок особое место в своей политической теории Шан Ян отводит наказаниям. «Наказания, — с пафосом пишет он, — порождают силу, сила порождает могущество, могущество порождает величие, вселяющее трепет, а величие, вселяющее трепет, порождает добродетель. Итак, добродетель ведет свое происхождение от наказания». Многократно подчеркивается при этом, что наказания должны быть суровыми — независимо от тяжести проступка и даже от того, был ли он совершен: «Если наказания будут применяться уже после того, как преступление совершено, невозможно искоренить злодеяния... Поэтому стремящийся к владычеству в Поднебесной должен наказывать еще до того, как совершен проступок, тогда исчезнут и тяжкие преступления». А о том, что понимает Шан Ян под «суровыми наказаниями», дают представление хотя бы такие строки: «Вонна, проявившего трусость, разрывают на части повозками; вонна, посмеявшегося осудить приказ, клеймят, отрезают ему нос и бросают под городской стеной».

Дисциплина страха вместо нравственных правил, беспрекословное послушание вместо ума, самостоятельности и культуры — вот краеугольные камни учения Шан Яна. Нельзя отказать ему при этом в известной

прозорливости и практическом смысле. Управлять культурным народом деспоту в самом деле гораздо труднее, чем народом обширной учености и ума, как говорится в трактате, склонны обсуждать наказания, независимо вырабатывать свои взгляды и исходя из них подавать советы вышестоящим. Шан Ян и его последователи не раз подчеркивают, что невежество народа — великая сила. В самом деле, «если народ перестанет ценить ученость, то он будет глуп, а коль он глуп, то у него не будет внешних связей. А если народ не имеет внешних связей, он усерден в земледелии и радив». Не должны быть слишком учеными и высшие государственные сановники: они не должны заниматься спорами, умствованиями и путешествиями. Если они не будут путешествовать, говорит Шан Ян, крестьяне не услышат о переменах; следовательно, у умных крестьян не будет возможности отказаться от своего привычного занятия, а глупые крестьяне не станут умнее, не получат вкуса к учебе и будут все свои силы тратить на земледелие.

Земледелию как основной для древнего Китая отрасли производства, обеспечивающей экономическую, а следовательно, и военную мощь государства, в трактате уделяется особое внимание. В главе «Указ об обработке пустующих земель» (представляющей собой, по мнению ряда исследователей, подлинный, правительственный документ) содержатся самые разнообразные и, казалось бы, никак не относящиеся к этому вопросу проекты.

Предлагается предотвратить, например, проникновение в деревню музыки и красивой одежды, ибо если крестьяне, работая, не будут обращать внимание на одежду, а, отдыхая, не будут слушать музыку, они не будут развращены и изнежены, и «пустующие земли будут непременно обработаны». Далее, следует упразднить все постоянные дворы на дорогах. Тогда те, «которые... сеют сомнения среди земледельцев, не смогут странствовать. А если людям из постоянных дворов не у кого будет кормиться, то все они непременно обратятся к земледелию. А когда они обратятся к земледелию, пустующие земли непременно будут обработаны».

Но при всем значении, придаваемом земледелию, его истинная роль сводится к обеспечению военных усилий. Наступательная война, укрепляющая власть правителя вну-

три собственного государства и приводящая к захвату соседних территорий,— вот заветная цель легистского теоретика, и мероприятия, им осуществляемые, в конечном счете направлены именно к ней. Ради этого следует, по его мнению, полностью перестроить всю систему служебного продвижения,— давать чины и звания не тем, кто умен, честен и заботится о благе народа, а лишь тем, кто проявил себя на войне. «Сильных надо сломить, краспоречивых — заставить прикусить язык!... Путь к богатству и знатности должен идти только через ворота войны. Те из них, кои сумеют воевать, пойдут через ворота войны к богатству и знатности, а упорствующих и непослушных надлежит карать без снисхождения».

Обычно народ ненавидит войну, говорит Шан Ян. «Тот, кто сумеет привить народу любовь к войне, добьется господства в Поднебесной».

Таковы некоторые основные идеи правителя области Шан. Разумеется, их возникновению способствовала историческая обстановка, в которой они появились. IV—III века до н. э. весьма удачно названы в истории Китая эпохой «Воюющих царств»; традиционные нравственные и политические нормы древнего Китая в это время были до предела расшатаны, исчезла последняя видимость авторитета «Сына неба», признававшегося ранее главой всех государств Китая, и этот титул присвоили себе один за другим семь правителей отдельных царств. Это означало неизбежную борьбу между ними не на жизнь, а на смерть. В мире, где не представляли себе возможности сосуществования отдельных равноправных государств, не было понятия независимости как таковой; была лишь дилемма: господство или подчинение.

Но означает ли это, что подобная историческая обстановка фатально предопределяла возникновение антигуманных взглядов? Может ли она быть привлечена не только для объяснения человеконенавистнических идей и вытекающих из них действий, но и для их оправдания? Нам думается, что нет. Известно, что в этой же исторической обстановке жил и Мэн-цзы, борющийся про-

тив войн и самовластия правителей и настоячиво призывавший их установить гуманное управление. Правда, Л. С. Переломов во введении пишет, что идеи Мэн-цзы, будучи неосуществимы в тех условиях, завели политическую философию в тупик, но здесь с ним трудно согласиться. Напротив, эти идеи показывали возможность иного, более человеческого взгляда на человека, открывали перед людьми новые перспективы и закладывали основы гуманистической традиции, протягивавшейся через века.

В нашей литературе подчас встречается утверждение, что теория легистов была прогрессивна, ибо способствовала объединению Китая. В самом деле, обоснованное этой теорией освобождение политического деятеля от любых моральных норм помогло деспотам царства Цинь разгромить своих соперников, и в конце III века до н. э. Цинь Ши-хуан распространил свое владычество на весь Китай. Важен, однако, не только сам факт объединения, но и то, как оно было осуществлено. Не стоит забывать о том, что объединение Китая сопровождалось (в соответствии с идеями Шан Яна) полной ликвидацией гуманитарного образования, кострами из книг и казнями сотен виднейших представителей тогдашней интеллигенции. Эти меры тем не менее не привели к достижению поставленной Цинь Ши-хуаном цели — обеспечению господства его династии на десять тысяч поколений. Всего через несколько лет после его смерти она была сметена народным восстанием.

Преступления циньских деспотов и их расправа с культурой скомпрометировали идеи «правителя области Шан» настолько, что за тысячелетия китайской истории уже больше никто открыто не решался провозгласить себя его последователем. Но построенный Цинь Ши-хуаном на легистских принципах государственный аппарат был унаследован другими династиями, а вместе с этой государственной машиной из поколения в поколение передавалось то отношение к человеку и те идеи, на которых она была основана.

**В. РУБИН,**  
кандидат исторических наук.

## ТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО

Станислав Лем. Сумма технологии. Перевод с польского. «Мир». М. 1968. 608 стр.

В «Сумме технологии» Станислав Лем, которого мы хорошо знаем как автора научно-фантастических произведений, выступает перед нами в совершенно новой роли ученого-футуролога.

В наше время, полагает Ст. Лем, долгосрочное прогнозирование является необходимым элементом прогресса. Развитие науки, техники, социального устройства и даже развитие мировоззрения во все большей степени требует целелогающего вмешательства разума как условия сохранения самого существования человека и человеческого общества.

Понятие «технологии», которым оперирует на всем протяжении своего исследования Лем, рассматривается в том широком значении, которое восходит к определению, данному еще К. Марксом в «Капитале»: «Технология вскрывает активное отношение человека к природе, непосредственный процесс производства его жизни, а вместе с тем и его общественных условий жизни и простирающихся из них духовных представлений»<sup>1</sup>. (Довольно пространно комментируя указанный термин, авторы «Послесловия» и редакторы книги Б. В. Бирюков и Ф. В. Широков почему-то не вспомнили этого весьма емкого определения.)

Книга Ст. Лема открывается краткой главой, где дана принципиальная постановка проблемы прогнозирования будущего и очерчены исходные постулаты автора:

человек способен преодолеть разрушительные следствия развития собственных технологий, и потому для человечества вполне возможен неограниченно длительный путь развития;

предвидение будущего человека и человечества возможно и необходимо: современное общество не может развиваться успешно без такого предвидения, а наука позволяет его осуществить со значительной степенью точности;

прямая проекция настоящего в будущее ничего общего с научным предвидением не имеет: чтобы предвидеть будущее человека

и общества, необходимо освободиться от догматической инерции мышления.

Рассмотрев вопрос о том, в какой мере само существование нашей цивилизации можно считать закономерным и каковы основания считать закономерным ее дальнейшее развитие, автор в нескольких последующих главах рассматривает в плане научного предвидения перспективы человеческого познания, технологию расширения господства человека над природой, пути освоения человеком глубин своего собственного мышления и физического бытия.

Предпоследняя и последняя главы дают общую картину человечества, освоившего такие новые технологии, которые сегодня еще находятся где-то на грани фантазии и научных гипотез. В «Заключении» рассмотрены некоторые важнейшие социальные последствия возможного развития технологий.

Такова вкратце схема этой весьма необычной и по своему содержанию и по своей форме книги.

Книга Ст. Лема, строго говоря, не является популяризаторской. Вместе с тем она написана относительно легко. Логическая последовательность и постепенное наращивание сложности идей, излагаемых на всем протяжении книги живым литературным языком (образность изложения порой даже несколько вредит терминологической точности), делают ее содержание легко усваиваемым. Поэтому она выглядит вполне уместной в серии интересных научно-популярных книг, уже ряд лет выпускаемых издательством «Мир».

Книга снабжена предисловием-рекомендацией академика В. В. Парина и подробным послесловием-комментарием, о котором мы уже упоминали выше. Если не считать нескольких фактических неточностей, перечень которых приводить здесь, наверное, нет необходимости, Б. В. Бирюков и Ф. В. Широков справились со своей непростой задачей. Жаль только, что послесловие не выдержано в одном тоне: то оно популярно до игривости, то избыточно профессионально-сухливо.

Футурология как самостоятельная научная дисциплина еще только формируется.

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс Сочинения, т. 23, стр. 383.

В определении ее предмета, ее границ и методов исследования пока много неясного. Однако многое обозначилось уже достаточно четко.

Основой успешности долгосрочного прогноза будущего всего человечества является прежде всего разносторонний, комплексный подход с позиций современного реального знания. Футуролог должен взять на себя обязанность, опираясь на науку нашего времени, сформулировать перспективные потребности человека и человечества, должен в обычных для современника явлениях увидеть в зародыше новую их сущность и новые возможности общественной практики. При этом на всех этапах своего исследования он должен умозрительно представлять себе конструируемый мир будущего в его целостности, в его полноте. Рассматривая общество как целое, футурология может ошибаться в различных — пусть даже очень существенных — частностях, но именно относительно целого она обязана быть по возможности точной.

Станислав Лем доказывает, что человек в своей созидательной деятельности создает не только какие-то части, элементы нового, — он создает новые типы бытия. Эти создаваемые миры — варианты. Но варианты бытия могут быть равноценными лишь в чистой абстракции, лишь с точки зрения статистики. Человеку же необходим именно оптимальный, с точки зрения его целей и ценностей, вариант. Лем в своей книге и пытается выяснить, во-первых, условия оптимизации бытия, а во-вторых, нарисовать облик этого оптимизированного мира.

Каждая возможность технологии проверяется Ст. Лемом с помощью пробного камня социальной оценки по отношению к человеку и человечеству. Не только сами технологии оцениваются по их способности удовлетворять те или иные человеческие потребности, но в свою очередь затем оцениваются и сами эти потребности. Лем показывает, что человеческие потребности лишь по видимости равноценны. Есть потребности, удовлетворение которых могло бы угрожать человечеству тупиком, могло бы поставить под вопрос самое его существование. Они должны быть отмечены в качестве возможных целевых установок развития. Этот подход имеет и прямой практический смысл, так как зачатки большинства опасных социальных тен-

денций прослеживаются весьма отчетливо уже в современном мире, будучи связаны, как это показывает Ст. Лем, с социальной системой капитализма.

Упрек автору книги в недостаточной социологичности его анализа, содержащийся в «Послесловии», преувеличен. Лем рассматривает именно социологические аспекты развития науки и техники. Согласимся, впрочем, что социально-исторические аспекты книги Ст. Лема могли быть более развитыми и занимать более самостоятельное место в изложении.

Исторический оптимизм Ст. Лема, четкая (хотя и не декларируемая крикливо) антикапиталистическая направленность его прогнозов, нетерпимость к любым разновидностям религиозного мировоззрения, к догматизму и консерватизму органически сочетаются в «Сумме технологии» с последовательным разоблачением наивной полумистической веры в некое безоблачно счастливое «в конце концов», — веры, также не имеющей ничего общего с нашим марксистским мировоззрением.

В центре философско-социологического подхода к долгосрочному прогнозированию стоит вопрос: возможно ли в принципе и реально ли качественное наращивание человечеством своего познания природы и своего контроля над ней? Утвердительный ответ означает признание возможности необозримо длительного существования человечества, отрицательный — признание неизбежности его гибели в относительно короткие исторические сроки. Окончательно решить эту проблему наука в настоящее время еще не в состоянии. Проблемой является и сама возможность ее полного и окончательного решения. Однако во всяком случае можно и нужно, во-первых, достаточно строго поставить обе эти проблемы, а во-вторых, пытаться хотя бы предварительно, в границах современного знания, ответить на них. По нашему мнению, книга Ст. Лема представляет собой одну из обоснованных и интересных попыток такого рода.

Лем последовательно вскрывает научную несостоятельность аргументации фон Хорнером и его единомышленниками предположений о предельной краткости так называемой психозойской эры в целом и техноэры в особенности. Продемонстрировав возможность познавательной и преобразующей де-

ятельности человека в течение и весьма длительного времени. Ст. Лем тем самым показал и свое понимание видимых границ безусловно возможного существования и прогресса человеческого общества. Период этот в представлении Лема существенно отличается от сроков фон Хорнера не только тем, что он на несколько порядков продолжительнее, но прежде всего тем, что в конце его мы видим не неизбежный трагический финал, как у фон Хорнера, а вселяющую надежду неизвестность. Перед нами предел возможного ныне предвидения, а отнюдь не предел человеческого существования. Дальнейшее развитие науки позволит отодвинуть границы этой неизвестности еще дальше.

Неточности философского плана, как и неточности в изложении материала других наук, время от времени встречаются в книге. Однако нет смысла ни особо выделять их, ни тем более придавать им статус концепций, как это в какой-то мере делают Б. В. Бирюков и Ф. В. Широков, упрекая Ст. Лема в склонности то к прагматизму, то к неопозитивизму. Налицо фразы, которые либо могут быть истолкованы двояко (таков, например, тезис о роли опыта на странице 245), либо попросту ошибочны (тезис о соотношении истинного и полезного на странице 242). Однако этим неточностям противостоит безусловно материалистическая концепция книги в целом.

При всем том «Сумма технологий» — не обычная научная книга. Ее автор, если говорить о его духовном складе, не столько ученый, сколько беллетрист. И поэтому изложение в «Сумме» теряет традиционную формально логическую жесткость научного трактата. О чем бы ни шла речь: о возможности существования внеземных цивилизаций, о гипотетических возможностях «выращивания информации», о преходящих и вечных ценностях существования, — перед нами не отрешенная сухость научной абстракции, а мысль, пронизанная эмоцией, страстью, человеческим присутствием.

Научное познание мира принесло с собой трезвость, отсутствие иллюзий и точное знание возможностей и ожиданий. Это хорошо, но это и нелегко. Единство и антагонизм бесконечности развивающегося знания и ограниченности реальных возможностей, реального бытия сменили прежний

религиозный антагонизм ожидания и реальности. И, наверное, именно в прогностике, в науке о будущем (а также и в ее образном перевоплощении — научной фантастике), этот новый антагонизм человеческого существования особенно ощутим. «Будущее создается тобою, но не для тебя», — сказано в одной из лучших наших фантастических повестей.

Мысль о средствах, оправданных целью, исходит от религиозного экстаза ожидания великой цели. Идея эта заманчива своей безусловной практической результативностью. Однако реально она всегда делает человека средством истории, а порой и ее жертвой. Напротив, мысль о семикратном соизмерении целей и средств, об их конечном единстве вытекает из рационального измерения реальности. Она труднее в практическом действии, ибо реальный живой человек остается всегда в ней концом и началом, мерой и смыслом любого действия. Но она честнее и гуманнее.

Книга Ст. Лема — пример такой осознанной и остро ощущаемой ответственности нашего современника за будущее человечества.

«Сумму технологий» некоторые комментаторы и критики и в Польше и в СССР представляют как научную фантастику. Однако есть коренная разница между элементами фантазии в научной теории и научной фантастикой как видом художественной литературы. В книге Ст. Лема мы, безусловно, сталкиваемся с фантазией, но с фантазией как элементом научных гипотез, а не с фантазией художественного произведения, где образ доминирует над логикой, хотя и опирается на нее.

По широте охвата проблем будущего Лем-футуролог значительно превосходит Лема-фантаста. Напротив, по глубине проникновения в будущее, по полноте его осмысления, наконец по интенсивности использования этого предполагаемого будущего для ретроспективной оценки нашего настоящего Лем-писатель оказывается, по нашему мнению, впереди.

Однако не будем пытаться дальше развивать это несколько рискованное противопоставление. Советский читатель, с огромным интересом познакомившийся с Лемом-фантастом, с не меньшим удовольствием и пользой познакомится сейчас с Лемом-футурологом. Помимо всего прочего, это по-

может ему глубже понять и истоки художественного творчества Лема. Между футурологией и фантастикой есть ведь не только различия, но и многие общие основания.

В то самое время, когда в нашей стране печаталась рецензируемая книга, в Польше вышла новая работа Ст. Лема «Философия

случая», в которой он весьма оригинально рассматривает проблемы художественного творчества. Будем надеяться, что перевод этой книги на русский язык не заставит ждать себя слишком долго.

**З. АЛЬПЕР.**

Пермь.



## КОРОТКО О КНИГАХ



**А. Ф. ШИШКИН, К. А. ШВАРЦМАН.**  
**XX век и моральные ценности человечества.** «Мысль». М. 1968. 270 стр.

В книге А. Ф. Шишкина и К. А. Шварцман излагаются волнующие и сложные проблемы, связанные с судьбой моральных ценностей в XX веке: природа моральных ценностей, вопрос об объективном содержании моральных понятий и суждений, все еще остающаяся острой и спорной проблема отчуждения. Точными критериями марксистской науки выверяются различные современные буржуазные этические учения. При этом авторы обоснованно отмечают ошибки, заблуждения, искания и находки, которые так или иначе представлены в этических системах XX века. В главе «Коммунизм и моральные ценности человечества» рассматриваются такие проблемы, как марксизм и гуманизм, счастье и смысл жизни. Авторы подчеркивают трудности становления новой морали, ищут пути их преодоления.

Следует, правда, заметить, что иной раз авторы спокойно движутся в русле устоявшихся, традиционных представлений.

Не переоценивают ли они, в частности, те добродетели, которые составляли нравственный идеал на стадиях родовой и античной организации общества? С другой стороны, не допускают ли они некоторой недооценки (опять же плата дань традиции) того этапа истории, когда действительно получили распространение идеи, «утверждающие» человечность в отношениях между людьми и народами», — периода раннего христианства? Авторы, правда, упоминают о том, что ранним христианством впервые были сформулированы идеи всеобщего равенства и братства, что именно тогда были произнесены великие слова о том, что «нет ни эллина, ни варзара, ни иудея» и т. д., но на том основании, что все эти идеи были облачены в извращенную, фантастическую «религиозную одежду» (как будто могло быть иначе!), не включают раннее христианство в родословную гуманизма.

Для этики большое значение имеет понимание и использование того, что входит в понятие «простые законы нравственности и справедливости» По мысли Маркса, выс-

казанной более ста лет назад в «Учредительном Манифесте Международного Товарищества рабочих», следует «добиваться того, чтобы простые законы нравственности и справедливости, которыми должны руководствоваться в своих взаимоотношениях частные лица, стали высшими законами и в отношениях между народами»<sup>1</sup>.

Авторы полагают, что «простые законы» представляют собой некое подобие элементарных правил человеческого общения, повторяемых из века в век во всех прописях морали. Нам думается, что «простые законы нравственности и справедливости» включают в себя не только элементарную нравственность: в них представлено все то, что по крупицам накапливалось на протяжении тысячелетий и составило золотой моральный фонд человечества.

Гельвеций говорил: «Этика есть пустая наука, если она не сливается с политикой и законодательством». Остаются ли это правильными для наших дней? На этот счет высказываются опасения, как бы не свести политику к этике. Трудно считать их основательными. В пролетарской политике (как и в самой пролетарской морали), при всем ее открыто классовом характере, в наибольшей степени представлена общечеловеческая мораль. Рабочий класс в эпоху империализма принимает на себя представительство подавляющего большинства человечества, в том числе и значительной части средних слоев, чьи жизненные интересы опираются крупным капиталом.

Этика связана не только с политикой и законодательством, что в той или иной степени прослежено в книге. Не менее прочны ее связи с эстетикой. Эти связи обходить не следует. Дело здесь не в том, чтобы призвать искусство к назиданию и морализированию. Но полезно показать и проанализировать органическое слияние этического и эстетического, добра и красоты, осуществляемого в коммунистическом гуманизме, представляющем собой не только идеал, но и «действительное движение вперед, которое уничтожает теперешнее состояние» (Маркс).

**И. Миндлин.**

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс Сочинения, т. 16, стр. 11.



**Л. ПРАВДИН.** Ревизор. Пермское книжное издательство. 1967. 176 стр.

Пожалуй, лишь случайно можно достать периферийные издания не в той области или крае, издательства которых выпустили их в свет: книготорговцы до сих пор делают нашу литературу на «всесоюзную» и «местную». А жаль, потому что хорошо, например, было бы, если бы и далеко от Перми, где вышел роман Л. Правдина, побывал герой этой книги — ревизор, чтобы провести читателя «по таежным тропам от деревни к заимке, от заимки к поселку и проверить работу других людей», а вместе с тем проверить и себя: «Как ты живешь и для чего?»

Разнообразны явления, с какими сталкивается ревизор — человек трудной, сложной судьбы и нелегкой профессии. Ему приходится нередко ловить на себе испуганные, недоверчивые, обидчивые взгляды людей и выслушивать не только горькие исповеди, но и нищические теоретизирования такого рода: «как это получается: человек всю жизнь продавался, науку протитуировал, сколько вреда сделал — и ничего. Живет в довольстве и почете... А что сделал я? Ошибся! Так от этого никто не пострадал. Так за что же мне?.. Почему большая подлость называется исторической необходимостью или еще каким-либо приличным словом, а за маленькую подлость сжигают со света?»

Не менее сложны другие ситуации — те, например, когда выглядит чуть ли не подвигом решимость практичного хозяйственника идти в обход закона «для дела... для пользы дела, которое тебе поручено» («Законы нам вы не вспоминайте. Мы сами так их изучили, что нарушать их можем тоже на всех законных основаниях...»).

Хотелось бы указать и на иные существенные конфликты, намеченные в книге, но всего не переберешь: роман написан плотно и емко, хорошим языком, с умелым использованием народных речений.

Автор внимателен к человеческому достоинству, вырастающему на почве доброты и справедливости. Привычной будничной «суете» он противопоставляет свой закон: надо считать себя ответственным за все и за всех.

Заставив поверить в своего героя, писатель помогает нам лучше понять и его жизненные принципы: «Чтобы все было в ажуре» — это бытовое присловье отнюдь не пропись сухаря-законника, а естественное для человека наших дней стремление к справедливости.

Хочется верить, что в современном круге чтения роман Л. Правдина «Ревизор» займет свое место.

**О. Бушко.**

★

**В. П. КАРЦЕВ.** Магнит за три тысячелетия. Атомиздат. М. 1968. 160 стр.

Медленно бредут, позванивая колокольчиками, верблюды по выжженной солнцем Гобийской пустыне. Словно безбрежное желтое море, колыхнутся барханы. Между горбами животных — кипы шелка. Посреди каравана гордо ступает белый верблюд. У него на спине деревянная резная клетка, а в ней небольшой глиняный горшок, в котором на пробке плавает в воде маленький кусочек намагниченного железа. Края горшка выкрашены в четыре цвета: красный, обозначающий юг, черный — север, зеленый — восток и белый — запад.

Читатель уже догадался, что глиняный сосуд с кусочком железа был древним компасом, который указывал путь каравану в бескрайних песках пустыни на «шелковой дороге» — из Китая в Туркестан.

В древних китайских рукописях есть упоминание, что еще задолго до нашей эры моряки использовали магнитную стрелку. Однако лишь в XI веке итальянец Флавио Джойя изготовил компас с диском и делениями, похожий по форме на современный.

В течение тысячелетий используя магнитное поле Земли для своих нужд, человек стал детально изучать его лишь триста — четыреста лет назад. Магнитофон и электробритва, динамик и мощный циклотрон появились лишь благодаря тому, что ученые проникли в сущность магнетизма.

В занимательно написанной книге В. П. Карцева рассказывается о земном магнетизме, о способах его изучения и приложения к технике, о современных проблемах в этой области науки.

**Б. Розен,**  
доцент.

★

**АЛЕКСАНДР ДЕЙЧ.** Судьбы поэтов. Гельдерлин. Клейст. Гейне. «Художественная литература». М. 1968. 574 стр.

Судьбы и творчество поэтов, о которых пишет в своей книге Александр Дейч, различны. Тончайший лирик Гельдерлин, певец античности; бурный Клейст, погруженный в «злобу дня»; великий поэт-сатирик Гейне. Однако объединение их критиком в одной книге вполне закономерно. Ведь все они жили в ту эпоху, когда, по словам Энгельса, «французская революция точно молния ударила в этот хаос, называемый Германия», все они участвовали в литературной борьбе своего времени, и если Гельдерлин был одним из зачинателей романтизма в Германии, то Гейне, по собственному его признанию, был его последним некоронованным королем. Впрочем, определив место поэтов в литературном движении, исследователь вовсе не стремится прикрепить их намертво к определенному течению или школе. Наоборот, он показывает, как под влиянием социальных и исторических сдвигов происходят сдвиги и в их творчестве. Так, Гельдерлин, один

из самых ранних грекофилов, создатель трагедии «Смерть Эмпедокла» о великом философе древности, в своем романе «Гиперион» рисует уже не античную, а современную ему Грецию. Его романтический герой участвует в борьбе своего народа против чужеземного владычества, и писатель вкладывает в его уста острую реалистическую критику, направленную против феодальной Германии.

Излагая биографию Генриха Клейста — потомка старинной военной семьи, который участвовал в войнах против Наполеона, — Александр Дейч говорит, как противоречивы были политические позиции Клейста и как это отразилось на его творчестве. Клейст жаждал освобождения своей родины и в то же время разделял притязания на главенство реакционного пруссачества. Подробно анализирует критик пьесу Клейста «Битва Арминия», где под масками древних германцев Клейст изобразил современных ему немцев, а под древними римлянами разумел французов. Антиполеоновская направленность пьесы оказалась столь прозрачной, что из страха перед завоевателем немецкая цензура запретила ее к постановке, и это сломило Клейста, вскоре покончившего жизнь самоубийством.

Ал. Дейч анализирует все пьесы Клейста — и ранние, в которых он выступает как подражатель Шекспира, и трагедию «Пентесилея», написанную по античным мотивам, и комедию «Разбитый кувшин», свидетельствующую о прекрасном знании автором деревенского быта. Образы этой комедии нарисованы острым и реалистическим пером, она полна доброго юмора и веселья. К сожалению, критик слишком мало останавливается на новеллах Клейста. Между тем они явились вкладом в развитие немецкой прозы.

Завершается сборник работой Ал. Дейча «Поэтический мир Генриха Гейне». Это исследование уже печаталось отдельным изданием. В сборник оно вошло лишь с немногими дополнениями. Александр Дейч проследил весь творческий путь Гейне, рассматривая его на широком историческом фоне. Он рассказал, в какой социальной обстановке формировалось творчество Гейне, из какой действительности черпал поэт материал для создания своих образов, из какой «правды» выросла его «поэзия». Критик очень тщательно анализирует особенности языка Гейне, его поэтических приемов, привлекает к анализу и лирику, и прозу, и его сатирическую поэзию.

Книга Ал. Дейча дает представление не только о судьбе и творчестве трех поэтов одной эпохи. В ней нарисована картина политической и литературной борьбы в Германии, начиная с конца восемнадцатого и кончая серединой девятнадцатого века.

Е. Закс.

★

**ПЕТР ДРАВЕРТ. Северные цветы. Составитель Н. А. Антропьянский. Западно-Сибирское книжное издательство. Новосибирск. 1968. 111 стр.**

Размышляя о путях «научной поэзии», Брюсов в одной из своих статей начала девятисотых годов с сожалением писал о том, что научный прогресс, коренным образом меняющий сознание человека, его представления о мире, проходит мимо поэзии, — поэты по инерции «продолжают оперировать с образами... превращающими мир поэзии в мир неживой, условный». В этом смысле «знакомство с научными данными», по мнению Брюсова, должно было бы открыть поэту «новые горизонты... доставить неисчерпаемый... запас новых тем... не личных, не местных, но всеобщих, всемирных».

Для Петра Драверта (1879—1945), примерно в эти же годы начинавшего свой творческий путь, подобный союз «между наукой и искусством» оказался естественным и органичным. Он был и поэт и ученый. Темы, образы, самый пафос его поэзии («счастье огневых прикосновений открывающейся тайны») были непосредственно связаны с его научными поисками — больше того, стихи часто оказывались их продолжением.

Драверт работал в области науки, которая требует от человека не только разносторонних знаний, но и способности широко мыслить. Он искал и изучал метеориты. Ему приходилось быть математиком, когда он вычислял орбиты их движения, и геологом, когда он изучал их строение. Он в равной мере был химиком и историком. И, конечно, путешественником — наука о метеоритах начиналась с их поисков. Но там, где кончалась власть цифр, формул, точных измерений, ученый неизбежно уступал место поэту — за каждым метеоритом, который искал Драверт, стояла не раскрытая пока еще тайна мироздания. И в преддверии ее разгадки неизбежно возникали мысли о том, что принесет она человеку — мысли, которые приводили ученого к поэзии:

Мне было бы страшно попасть на планету  
В путях ли познания иль жуткой дорогой  
И помнить с предельною ясностью Землю  
И видеть на своде полночном ином  
созвездья...

Когда, погруженный в тайну очередного разыскиваемого им метеорита, Драверт писал эти строки, было еще очень далеко до космических полетов. Только спустя десятилетия Герман Титов, вернувшись из космоса, сказал, что существует, оказывается, и такое неведомое до сих пор человеку чувство, как тоска по Земле.

Стихи Драверта пестрят географическими названиями, специальными терминами, точными, как в научных статьях, описаниями явлений природы. Северное сияние, белые ночи, лесные пожары, мрачные олекинские

пещеры с зигзагами трещин, скелет бизона, обнаруженный во время экспедиции, луна, похожая на «бубен шамана», звериные шкуры, лиловато-желтые откосы Вилойки, талец тунгусов, «унылый, протяжный и странный напев» их песен, «бледный дым Млечного Пути», «космические льдины», «загадочный шелест» в эфире и «огнисто-дымный след» болида — все это присутствует в стихах Драверта не как сибирская экзотика, поражающая воображение, а как ежедневная трудная работа человека, предмет его постоянного, нередко мучительных мыслей. Ученый иногда здесь привычно оказывается сильнее поэта — то одна строка, то другая поражает своей строгой точностью, а в целом стихам словно не хватает чего-то. Но когда, преодолев какую-то невидимую преграду, в стихах Драверта врывается непосредственное чувство человека, останавливающегося в раздумье перед загадками жизни или просто уставшего от одиночества в слишком суровом краю, возникает та единственная интонация, которая и превращает «рифмованные речи» в поэзию.

Кое-что в стихах Драверта, в их ритмах, образах, рифмах, кому-нибудь, возможно, покажется сегодня старомодным, наивным. Многое в них действительно интересно, прежде всего как преддверие поэтических открытий поэтов уже следующих поколений.

Да и сам Драверт никогда не преувеличивал значения своих стихов. Но как человек, привыкший мыслить широко, он надеялся, что и его стихи оставят свой след — как бы «неприметен» и «мал» он ни был, «в смене поколений сольется он с другими в мощную струю».

И. Гитович.

★

**Г. ГАЛЬПЕРИН.** Экватор рядом. «Мысль». М. 1968. 263 стр.

Население Эфиопии говорит, по некоторым подсчетам, на семидесяти местных языках. Из европейских наиболее распространены в стране английский и итальянский, в меньшей степени французский и еще меньше немецкий. В настоящее время все большее число эфиопов овладевает русским. Русский язык знают не только специалисты, обучавшиеся в наших вузах, и слушатели курсов при Советской постоянной выставке в Аддис-Абебе, но и те, кто бок о бок с советскими людьми трудился на строительстве различных объектов, сооруженных в Эфиопии с помощью Советского Союза. К наиболее значительным среди таких объектов относятся Политехнический институт, построенный в 1963 году в Бахр-Даре в подарок эфиопскому народу, и нефтеперерабатываю-

щий завод по переработке пятизот тысяч тонн нефти в год, сооруженный в Ассобе.

О том, как работали советские люди на бахр-дарской и ассобской стройках, о формировании добрых взаимоотношений между советскими специалистами и эфиопскими рабочими и рассказывает эта книга, написанная на основе личных впечатлений. Ее автор проработал в Бахр-Даре в течение двух лет. По характеру работы ему пришлось много поехать по стране. Вот почему в книге много этнографических зарисовок, описаний природы, быта эфиопских городов и сел. Мы видим представителей различных слоев эфиопского общества, с которыми судьба сталкивала Г. Гальперина: нищих и калек, по большим праздникам собирающихся у губернаторского дворца в ожидании грошовой подачки; безработных, толпящихся у ворот предприятий в надежде получить хоть какую-нибудь работу; крестьян, обрабатывающих примитивными орудиями свои крохотные наделы; местных предпринимателей, правительственных чиновников, священников, иностранцев-коммерсантов и других. Немало страниц отведено рассказу об исторических памятниках культуры Эфиопии: стелах древнего Аксума; монолитных храмах Лалибелы, высеченных в XII в. в скалах; разновысоких замках Гондара, сложенных в XVII в. из светло-коричневого базальта и изнутри отделанных крепкими древесными породами — тид и зигбу; достопримечательностях Аддис-Абебы, расположенной словно на дне огромной раковины, стенками которой служат горы, обступившие столицу и покрытые сплошным лесом.

Здесь и эфиопская новь — заводы, фабрики, электростанции, школы, высшие учебные заведения, красивые современные здания, живопись и литература; но главное — люди: школьники, студенты, интеллигенты, местные буржуа, рабочие.

Повествование о том, что видел Г. Гальперин, сопровождается выразительными фотографиями.

Несмотря на встречающиеся неточности фактического порядка (первая электроустановка в стране появилась не в 1917 году, а в 1905-м, эфиопская христианская церковь придерживается монофизитской доктрины, а не православия), а также ошибки в транскрипции некоторых амхарских слов (например, надо писать миязия, а не миядзия; мадэрья, а не мадейра), книга в целом оставляет благоприятное впечатление. Написанная живо и интересно, она дает возможность читателю немало узнать о дружественной нам африканской стране.

В. Ягья,  
кандидат исторических наук.

# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## ПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** О нормах партийной жизни и принципах партийного руководства. Сборник. Издание 2-е, дополненное. 424 стр. Цена 12 к.

**Документы внешней политики СССР.** Том 15. 866 стр. Цена 1 р. 75 к.  
**Карл Маркс. Биография.** Коллектив авторов. Перевод с немецкого. 366 стр. Цена 1 р. 36 к.

**Ленинский кооперативный план и борьба партии за его осуществление.** Коллектив авторов. 313 стр. Цена 81 к.

**И. Лехин, М. Струве.** Краткий политический словарь. Издание 2-е, дополненное и переработанное. 397 стр. Цена 44 к.

**Переписка Секретариата ЦК РКП(б) с местными партийными организациями (Август—октябрь 1918 г.).** Сборник документов. XXVIII. 515 стр. Цена 1 р. 39 к.

## «МЫСЛЬ»

**И. Акимовский.** Трагедия диких животных. Рассказы о природе. 175 стр. Цена 61 к.

**В. Богословский.** Гайана. 118 стр. Цена 18 к.

**А. Нулинов.** Генеральные штабы монополий. Союзы предпринимателей в системе государственно-монополистического капитализма. 232 стр. Цена 74 к.

**М. Рындина.** Методология буржуазной политической экономики 324 стр. Цена 1 р. 3 к.

**Ф. Тых, Х. Шумахер.** Юлиан Мархлевский. Перевод с польского. 367 стр. Цена 1 р. 13 к.

**С. Тюльпанов.** Очерки политической экономики. Развивающиеся страны. 375 стр. Цена 1 р. 45 к.

## «ЭКОНОМИКА»

**Е. Вендров.** Психологические проблемы управления. 159 стр. Цена 51 к.

**А. Жданов, Н. Березной.** Основные фонды и экономика промышленного предприятия. 159 стр. Цена 50 к.

**С. Косилов.** Физиологические основы НОТ. 302 стр. Цена 1 р. 42 к.

**В. Рыбалкин, Э. Кобзарь, Н. Черкасов.** Плата за производственные фонды в европейских социалистических странах. 103 стр. Цена 33 к.

**Экономика стран социализма, 1968 год.** Ежегодник. 256 стр. Цена 63 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**А. Арго.** За много лет. 107 стр. Цена 36 к.  
**А. Венцлова.** В поисках молодости. Перевод с литовского В Чепайтиса. 376 стр. Цена 67 к.

**Х. Гага.** Безмолвие. Стихи. Перевод с грузинского О. Чухонцева. 80 стр. Цена 23 к.

**Н. Гилевич.** Голубиная крыница. Стихи. Перевод с белорусского. 138 стр. Цена 38 к.

**А. Глоба.** Песни и поэмы. 232 стр. Цена 74 к.

**В. Голывин.** Арфа и бокс. Роман. 247 стр. Цена 53 к.

**С. Капаев.** Очаг. Повести и рассказы. Перевод с ногайского. 392 стр. Цена 71 к.

**Л. Левин.** Четыре жизни. Хроника трудов и дней П. Антокольского. 307 стр. Цена 67 к.

**Х. Мальтинский.** Бьется сердце родника. Стихи. Перевод с еврейского. 208 стр. Цена 41 к.

**С. Наровчатов.** Полдень. Избранные стихи. 232 стр. Цена 82 к.

**Л. Новиченко.** Не иллюстрация — открытие! Литературно-критические очерки и портреты. 278 стр. Цена 81 к.

**Г. Семенов.** Вечером, после дождя. Рассказы. 463 стр. Цена 82 к.

**А. Упит.** Северный ветер. Роман. Перевод с латышского. 447 стр. Цена 1 р. 6 к.

**М. Шагинян.** Зарубежные письма. 480 стр. Цена 89 к.

**Е. Ширман.** Жить! Стихи. Предисловие Л. Озерова. 96 стр. Цена 29 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**И. Абашидзе.** Приближение. Стихи. Перевод с грузинского. Предисловие В. Огнева. 224 стр. Цена 93 к.

**К. Ваншенкин.** Избранное. Стихи. 512 стр. Цена 1 р. 63 к.

**Великая Отечественная.** Стихотворения и поэмы. В 2-х томах. Составители С. Наровчатов и Я. Хелемский. Предисловие А. Суркова. Том 1. 592 стр. Цена 2 р. 72 к. Том 2. 512 стр. Цена 2 р. 40 к.

**П. Верлен.** Лирика. Переводы с французского. Составление и предисловие Е. Эткинда. 190 стр. Цена 34 к.

**С. Есенин.** Стихотворения. Вступительная статья А. Марченко. 176 стр. Цена 16 к.

**Землю всю охватывая разом...** Стихи зарубежных поэтов о Ленине. Переводы. Вступительное слово Р. Рождественского. 263 стр. Цена 96 к.

**Ленин всегда с нами.** Воспоминания советских и зарубежных писателей. Составление Н. Крутиковой. 542 стр. Цена 1 р. 44 к.

**Ленинское наследие и литература XX века.** Сборник статей. 399 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Б. Линч.** Мистер Джеймс ищет черепа. Роман. Перевод с испанского. 206 стр. Цена 58 к.

**А. Мунте.** Легенда о Сан-Микеле. Перевод с английского. Предисловие С. Тархановой. 384 стр. Цена 1 р. 20 к.

**Э. Роттердамский.** Разговоры запросто. Перевод с латинского и вступительная статья С. Маркиша. 704 стр. Цена 1 р. 34 к.

**А. Твардовский.** Василий Теркин. Книга про бойца. Иллюстрации О. Верейского. 175 стр. Цена 90 к.

**Г. Фаллада.** Железный Густав. Роман. Перевод с немецкого. 751 стр. Цена 2 р. 32 к.

**М. Шолохов.** Судьба человека. Рассказы. 191 стр. Цена 28 к.

**Янош и Яношка.** Рассказы. Перевод с венгерского Предисловие А. Туркова. 326 стр. Цена 84 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**М. Агашина.** Избранная лирика. Предисловие К. Ваншенкина. 32 стр. Цена 11 к.

**Анар.** Юбилей Данте. Повесть.—Рассказы. Перевод с азербайджанского. 144 стр. Цена 18 к.

**О. Воронова.** Шадр («Жизнь замечательных людей»). 190 стр. Цена 77 к.

**Ф. Кузнецов.** Публицисты 1860-х годов. Круг «Русского слова». Григорий Благосветлов, Варфоломей Зайцев, Николай Соколов («Жизнь замечательных людей»). 336 стр. Цена 76 к.

**Э. Марцинкявичюс.** Стена. Поэма города. Перевод с литовского А. Межирова. Иллюстрации С. Красаускаса. 86 стр. Цена 1 р. 36 к.

**Э. Межелайтис.** Лирические этюды. Перевод с литовского. Рисунки Э. Неизвестного. 256 стр. Цена 1 р. 15 к.

**Р. Мерль.** Разумное животное. Роман. Перевод с французского. 383 стр. Цена 1 р. 21 к.

**Мы — молодые.** Альманах 463 стр. Цена 1 р. 56 к.

**К. Николь.** Белый. Перевод с английского. 272 стр. Цена 77 к.

**В. Тендряков.** Поденка — век короткий. — Чудотворная — Чрезвычайное. — Короткое замыкание. — Онега. Повести. 416 стр. Цена 86 к.

## «ИСКУССТВО»

**Б. Бродский.** Японское классическое искусство. Живопись. Графика. Очерки. 287 стр. Цена 4 р. 6 к.

**Д. Гилгуд.** На сцене и за кулисами. Первые шаги на сцене. Режиссерские ремарки. Перевод с английского. 350 стр. Цена 1 р. 58 к.

**Е. Михайловский и И. Ильенко.** Рязань. Касимов. 239 стр. Цена 1 р. 42 к.

**На экранах мира.** Сборник статей. Выпуск 2. 182 стр. Цена 96 к.

**А. Тиц.** По окраинным землям Владимирским. Вязники. Мстера. Гороховец («Дороги к прекрасному»). 143 стр. Цена 47 к.

**Юдыфь Глизер.** Сборник воспоминаний. Составитель В. Медведев. 263 стр. Цена 1 р. 52 к.

## «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**В. Амлинский.** Среди людей. 96 стр. Цена 28 к.

**Армянские народные сказки.** 174 стр. Цена 43 к.

**А. Барто.** Собрание сочинений. В 3-х томах. Том I. 409 стр. Цена 1 р. 6 к.

**А. Бикчентаев.** Большой оркестр. — Сколько лет тебе, комиссар? Повести. 356 стр. Цена 68 к.

**В. Бонч-Бруевич.** Ленин и дети. 16 стр. Цена 13 к.

**Глобус.** Географический ежегодник для детей 464 стр. Цена 1 р. 67 к.

**С. Лукьянов.** Жизнь А. С. Голубкиной. 78 стр. Цена 42 к.

**В. Шефнер.** Облака над дорогой. Повести и рассказы. 224 стр. Цена 36 к.

## «НАУКА»

**М. Гиллельсон.** П. А. Вяземский Жизнь и творчество. 391 стр. Цена 1 р. 85 к.

**А. Каценелинбойген, И. Лахман, Ю. Овсиенко.** Оптимальность и товарно-денежные отношения. 124 стр. Цена 38 к.

**В. И. Ленин и А. М. Горький.** Письма, воспоминания, документы. Изд. 3-е, доп. 631 стр. Цена 1 р. 28 к.

**А. Насонов.** История русского летописания XI — начала XVIII века. Очерки и исследования. 555 стр. Цена 2 р. 12 к.

**Правовое обеспечение рационального использования земли в СССР.** 216 стр. Цена 67 к.

**З. Удальцова.** Советское византиноведение за 50 лет. 362 стр. Цена 1 р. 99 к.

**А. Формозов.** Очерки по первобытному искусству Материалы и исследования по археологии СССР. 255 стр. Цена 1 р. 12 к.

## «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**М. Андриасов.** Сын Тихого Дона. Критический очерк. 224 стр. Цена 55 к.

**В. Лихоносов.** На долгую память. Повести. 320 стр. Цена 66 к.

**В. Осокин.** Перстень Велевитинова. Рассказы о художниках и писателях. 128 стр. Цена 42 к.

## «ПРОГРЕСС»

**Верность правде жизни.** Сборник статей. Перевод с немецкого. 240 стр. Цена 1 р.

**М. Гундзи.** Японский театр Кабуки. Перевод с японского. 230 стр. Цена 1 р. 96 к.

**Э. Ион.** Проблемы культуры и культурная деятельность. Перевод с немецкого. 478 стр. Цена 1 р. 94 к.

**Б. Коснер.** Дерево и когти орла. Роман. Перевод с сербохорватского. 194 стр. Цена 50 к.

**Микроюморески.** Перевод с польского. Составитель Н. Лабковский. 271 стр. Цена 54 к.

**Новое в планировании и управлении народным хозяйством в ВНР.** Сборник материалов. Перевод с венгерского. 383 стр. Цена 1 р. 41 к.

**Б. Рунеборг.** Слепленные. Роман. Перевод с шведского. 240 стр. Цена 81 к.

**Г. Тюрк.** Смерть и дождь. Роман. Перевод с немецкого. 364 стр. Цена 93 к.

**Управление фирмами в Японии.** Перевод с японского. 454 стр. Цена 2 р. 2 к.

**Ф. Чичестер.** Кругосветное плавание «Джинси мот». Перевод с английского. 268 стр. Цена 66 к.

## «МИР»

**М. Наминас.** Наука и оборона. Перевод с французского. 198 стр. Цена 46 к.

**Э. Роджерс.** Физика для любознательных. В 3-х томах. Том I. Материя, движение, сила. Перевод с английского. 474 стр. Цена 1 р. 42 к.

## «ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Кодекс о браке и семье РСФСР.** Официальный текст. 64 стр. Цена 14 к.

**Л. Муксинова.** Проблемы регулирования рабочего времени в СССР. 216 стр. Цена 71 к.

**В. Янчук.** Проблемы теории колхозного права. 200 стр. Цена 74 к.



## СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1969 ГОД

### ЛЕНИНСКИЕ СТРАНИЦЫ

**А. Бирман.** Самая благодарная задача. XII—173.

**А. Волков.** Самое важное, самое главное. VII—169.

**М. Гейфтер.** Из истории ленинской мысли. IV—135.

**Из писем В. И. Ленину** (1920—1921). Публикация И. Браинина. I—118.

**М. Кунецкая, К. Маштакова,** научные сотрудники кабинета и кваргиры В. И. Ленина в Кремле. Встречи и находки. VI—154.

**Г. Лисичкин,** кандидат экономических наук. Человек — кооперация — общество (Ленинский кооперативный план и современность). V—157.

**А. Цейтлин,** профессор. Ленин и большевистские публицисты. IX—133.

### РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

**Федор Абрамов.** Пелагея. Повесть. VI—31.

**Наталья Баранская.** Неделя как неделя. Повесть. XI—23.

**Александр Бек.** Такова должность. VII—106.

**В. Белов.** Бухины вологодские (Завиральные, в шести темах). VIII—158.

**В. Борнычева.** День страхового агента. Очерк. I—73.

**Василь Быков.** Круглянский мост. Повесть. Перевел с белорусского автор. III—3.

**Георгий Владимов.** Три минуты молчания. Роман. VII—3; VIII—7, IX—8.

**Николай Воронов.** Голубиная охота. Повесть. XI—61.

**Лев Гинзбург.** Потусторонние встречи (Из мюхенской тетради). X—129; XI—99.

**М. Демидов.** Мон армейские товарищи. Страницы давних лет. III—67. О записках «Мон армейские товарищи». Послесловие генерала армии А. В. Горбатова. III—118.

**Ефим Дорош.** Иван Федосеевич уходит на пенсью. Деревенский дневник. 1961. I—3; II—6.

**М. Исаковский.** На Ельнинской земле (Автобиографические сраницы). IV—3; V—61; VIII—124.

**Фазиль Искандер.** Три рассказа: Лов форели в верховьях Кодора; Письмо; Летним днем V—3.

**Любовь Кабо.** В тот день. Рассказ. X—99.

**Альбер Камю.** Жена. Немые. Рассказы. Перевела с французского Р. Линцер. I—100. —Падение. Повесть. Перевел с французского Л. Григорьян. V—112. О повести Альбера Камю «Падение». Послесловие И. Саца. V—155.

**Валентин Катаев.** Кубик. II—61.

**В. Кобрин.** По izbor за книгами (Из записок собирателя). XII—66.

**Халлдор Лакнесс.** Птица на изгороди. Рассказ. Перевела с исландского В. Морозова. Предисловие Геннадия Фиша. XI—89.

**Лао Шэ.** Записки о Кошачьем городе. Повесть. Перевел с китайского В. Семанов. Предисловие А. Желоховцева. VI—83.

**Н. Мельников.** Пассажирский 83-й. Из записок корреспондента. X—106.

**Б. Можаяев.** Лесная дорога. Очерк. IX—132.

**Виктор Некрасов.** В жизни и в письмах. IX—98.

**Чезаре Павезе.** Луна и костры. Повесть. XII—95.

**Гоффредо Паризе.** Чегыре рассказа: Анкета; Сентиментальный человек; Пора спать!; Деньги — это все! Предисловие автора. Перевела с итальянского Ю. Добровольская. IV—121.

**А. Процкевич.** Хроника рабочих курсов. VIII—92.

**С. Славич.** В поисках Киммерии. X—11.

**И. Соколов-Микитов.** У синего моря (Из записок старого охотника). VII—81.—Вертушинка. IX—126.

**Н. Тарасенкова.** За вологодской стариной... Очерк. IV—105.

**А. Твардовский.** С Карельского перешейка. Записи 1939—1940 гг. II—116.

**Н. Тиханов.** Побег (Рассказ ветерана). XI—3.

**Юрий Трифонов.** Обмен. Повесть. XII—29.

**В. Чернышев.** Волчик, Волченька. Рассказ. I—50.

**Баграт Шинкуба.** Чанта приехал. Повесть. Перевел с абхазского Е. Герасимов. VI—3.

**В. Шукшин.** В селе Чебровка. Рассказы. X—67.

**Юрий Щеглов.** Когда отец ушел на фронт. Повесть. IV—71.

**Алексей Ярушников.** Поездка в Крым. Рассказ. I—62.

**Александр Яшин.** Сладкий остров Предисловие Василия Белова. XII—6.

## СТИХИ

**Ираклий Абашидзе.** Тебе ни злата не оставлю... Перевел с грузинского Юрий Ряшенцев. XI—20.

**Л. Абдуллина.** Три стихотворения. IX—96.

**Айбек.** Из лирики. Стихи. Перевел с узбекского А. Наумов. Предисловие Зульфий. VI—73.

**П. Антокольский.** Художнику; Архимед и сказка; Балаганный зазывала; Два сонета. Стихотворения. VIII—3.

**Анна Ахматова.** Стихи разных лет. Публикация академика В. Жирмунского. V—53.

**Константин Ваншенкин.** Из лирики. Стихи. II—3.

**А. Величанский.** Из дневников. Стихи. XII—25.

**Андрей Вознесенский.** Из лирики. Стихи. VII—104.

**Мара Гриззани.** Три стихотворения. XI—59.

**Нафи Джусойты.** Осень; Шатер зеленый... Стихи. Перевел с осетинского Яков Козловский. VIII—156.

**Робер Деснос.** Два стихотворения. Перевел с французского М. Кудинов. XI—96.

**Иван Драч.** Два стихотворения. Перевели с украинского В. Павлинов и М. Винецкая. XI—21.

**Евг. Евтушенко.** Новые стихотворения. III—58.

**Анатолий Жигулин.** Два стихотворения. VII—79.— На родине. Стихи. XI—56.

**Н. Злотников.** Два стихотворения. VI—71.  
**Василий Казанцев.** Два стихотворения. III—120.

**Мустай Карим.** Я в горы ухожу. Стихи. Перевела с башкирского Елена Николаевская. V—108.— Из лирики. Стихи. Перевели с башкирского Ирина Снегова, Елена Николаевская. X—95.

**Кайсын Кулиев.** Три стихотворения. Перевел с балкарского Н. Гребнев. IV—69.

**Юрий Левитанский.** Новый год у Дуная. Стихотворение. IX—151.

**Владимир Лифшиц.** Три стихотворения. VI—29.

**Юстинас Марцинкявичюс.** Из новых стихотворений. Перевели с литовского Ю. Левитанский, Д. Самойлов. V—49.

**Новелла Матвеева.** Питер Брейгель Старший. Стихотворение. IV—98.

**Эдуардас Межелайтис.** Четыре стихотворения. Перевели с литовского Петр Вегин, Ю. Левитанский. X—6.

**Сергей Наровчатов.** Снегопад; Женский портрет. XVIII век. Стихи. X—65.

**Амо Сагиян.** Из лирики. Стихи. Перевели с армянского Н. Гребнев, А. Марченко. VIII—90.

**Д. Самойлов.** Счастье. Стихотворение. II—60.— Предместье. Стихотворение. IX—152.

**Максим Танк.** Из новых стихотворений. Перевел с белорусского Я. Хелемский. X—3.

**А. Твардовский.** Из новых стихотворений. I—42.

**Валдим Шефнер.** Новые стихотворения. XII—3.

**Иштван Шимон.** Два стихотворения. Перевел с венгерского Олег Чухонцев. V—59.

## Стихи поэтов Африки

**Антуан Роже Боламба.** Локоле; Черный материк. Перевел с французского Евгений Бовкун. VI—80.

**Леопольд Седар Сенгор.** Из книги «Ноктюрны». Перевел с французского Морис Ваксмахер. VI—76.

**Малик Фаль.** Между нами; Творчество; День рождения; Нет. Перевел с французского Морис Ваксмахер. VI—78.

## Из современной болгарской поэзии

**Елисавета Багряна.** Судьба пестинарки. Перевела Елена Николаевская. IX—5.

**Иван Давыдов.** Фракийские курганы. Перевел Н. Злотников. IX—5.

**Недялко Йорданов.** Любовь. Перевела Ирина Озерова. IX—4.

**Павел Матов.** Вновь ты снишься мне... Перевел Яков Хелемский. IX—4.

**Иван Николов.** Городок. Перевела И. Лиснянская. IX—3.

**Орлин Орлинов.** Иное время... Перевела И. Лиснянская. IX—6.

**Радой Ралин.** Молитва. Перевел Н. Злотников. IX—7.

## Из стихов узбекских поэтов

**Абдулла Арипов.** Слушай «муноджат»; Золотая рыбка. Перевел А. Наумов. IX—130.

**Джуманияз Джаббаров.** Граница юности. Перевел А. Наумов. IX—131.

**Эгам Рахим.** Снова осень над крышами, осень... Перевел А. Наумов. IX—131.

**Хуснитдин Шарипов.** Горлинка поет. Перевел А. Наумов. IX—129.

**Максуд Шейхзаде.** Памяти друга; Маяк рижского порта. Перевел А. Наумов. IX—128.

## ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

**Полина Виноградская.** Сердце, отданное народу. К столетию со дня рождения Н. К. Крупской. II—186.

**Аветик Исаакян.** Ованес Туманян (К столетию со дня рождения). Предисловие Л. Ахвердяна. Перевела с армянского Нелли Хачатурян. IX—185.

**Н. Каменева.** Товарищ главковерх (Из воспоминаний о Сергее Сергеевиче Каменеве). III—169.

**Цецилия Кин.** Страницы прошлого. V—176; VI—177.

**Валентина Ходасевич.** Встречи. Из книги «Портреты словами». VII—180.

**В. Лакшин.** Марк Щеглов (Напоминание об одной судьбе). V—198.

## ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Леонид Иванов. Мартовские восходы. VII—185.

А. Побожий. Сквозь северную глушь. II—161; III—122.

## ПУБЛИЦИСТИКА

Вл. Архангельский. Дунай, Дунай!.. I—140.

В. Моев. Обслуживание и индустрия. VI—161.

А. Нежный. Города, которые мы строим. X—188.

Е. Полякова. И наступает время отдыха... XII—192.

Ю. Черниченко. Колос Юга. VIII—203.

Ячейка хозрасчета (Две статьи на одну тему). П. Ребрин. I. Главное звено. IV—157. А. Стреляный. II. Звено в цепи. IV—167.

## НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

П. Волин. Люди и экономика. III—154.

Иван Шедров. Паргизанскими тропами Лаоса. XI—145.

## В МИРЕ НАУКИ

С. Б. Веселовский, академик. Род и предки А. С. Пушкина в истории. Предисловие Е. Дороша. I—170; II—205.

М. Волькенштейн, член-корреспондент АН СССР. Наука людей. XI—178.

Д. Лихачев, член-корреспондент АН СССР. Будущее литературы как предмет изучения (Заметки и размышления). IX—167.

Ю. Шрейдер. Наука — источник знаний и суеверий. X—207.

## ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Ефим Дорош. Образы России. III—181.

В. Каверин. Сб. беседник. Заметки о чтении. I—155.

Константин Симонов. Читая Толстого... (К столетию со дня выхода «Войны и мира»). XII—162.

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Н. Атаров. Корни таланта (О прозе Фазиля Искандера). I—204.

С. Великовский. После «смерти бога» (О «Постороннем» Альбера Камю). IX—215.

А. Володин. Раскольников и Каракозов (К творческой истории статьи Д. Писарева «Борьба за жизнь»). XI—212.

А. Гулыга, доктор философских наук. Пути мифотворчества и пути искусства (Заметки социолога). V—217.

И. Дедков. Страницы деревенской жизни (Пolemические заметки). III—231.

А. Деметьев. О традициях и народности (Литературные заметки). IV—215.

В. Жирмунский, академик. О творчестве Анны Ахматовой (К восьмидесятилетию со дня рождения). VI—240.

Наталья Ильина. Литература и «массовый тираж» (О некоторых выпусках «Роман-газеты»). I—210.

В. Кардин. Простые вещи (Заметки о прозе Бориса Лавренева). VII—216.

И. Крамов. В поисках сущности. VIII—236.

Е. Краснощекова. Под чистыми звездами правды и человечности... XI—204.

В. Лакшин. «Мудрецы» Островского — в истории и на сцене. XII—208.

В. Огнев. Поэзия Ираклия Абашидзе. X—227.

В. Сурвилло. Звенит труба Мещерякова (О творчестве С. П. Зальгина). VI—216.

В. Шестаков. Социальная антитеза Олдоса Хаксли — миф и реальность. VII—230.

## ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Из литературного наследия Михаила Светлова. Публикация Н. Федосюк. IX—211.

Переписка И. Е. Репина и А. И. Куприна (Публикация и комментарии К. А. Куприной). IX—193.

Письма В. Н. Буниной. Публикация и комментарии Н. П. Смирнова. III—209.

Письма Марины Цветаевой. Публикация, подготовка текста и вступительная заметка А. С. Эфрон. Комментарии А. А. Саакянц. IV—185.

## ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

К. Горохов. Информация или дезинформация? IV—182.

М. Кораллов. История учит. IV—177.

## ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

А. С. Бартов. Письмо в редакцию. X—273.

М. Волькенштейн, член-корреспондент Академии наук СССР. О чем спорить? I—281.

В. Канашкин, учитель. С миру по нитке... III—281.

Об ошибках и неточностях. Письма читателей о различного рода искажениях исторических фактов и неточностях. IX—276.

Овечкин Валентин Валентинович, инженер-геолог. Открытое письмо М. А. Лапшину. II—277.

Письмо в редакцию редакторов редакций физики и медицины издательства «Советская энциклопедия». IV—278.

Письма читателей на ст. Вл. Канторовича «Социология и литература» («Новый мир», № 12, 1967). V—273.

Г. Полонский. Так говорил Ярмагаев... II—273.

А. Студитский, профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией эволюционной гистологии ИЭМЭЖ Академии наук СССР. Давайте же спорить! I—277.



**Эр. Ханпира**, кандидат филологических наук. Еще раз о «Словаре языка В. И. Ленина». IX—268.

**В. Юдина**. Стимулы или символы? IX—270.

## КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

### *Литература и искусство*

**Ю Айхенвальд**. Впечатление и слово (Владимир Соколов. Снег в сентябре). V—236.

**П. Антокольский**. Память солдата (Вячеслав Ковалевский. Тетради из полевой сумки). IV—236.

**Л. Антопольский**. Точка в мире (Владимир Гусев. Утро и день. Короткие повести и рассказы. Владимир Гусев. Жизнь. Двенадцать месяцев. Повесть). VII—248.

**С. Бабеншева**. По страницам журнала «Север» («Север», №№ 1—6, 1968, №№ 1—6, 1969). XI—232.

**Г. Белая**. Духовное зрение критика (Вяч. Полонский. На литературные темы. Избранные статьи. Составители К. А. Полонская и А. Г. Дементьев). V—248.

**Г. Березкин**. Наш общий мир (Алексей Пысин. Меридианы. Стихи и поэмы. Перевод с белорусского Г. Пагирева). II—244.— Годы тревог и мужества (Максим Танк. Листки календаря. Дневниковые записи. Авторизованный перевод с белорусского С. Григорьевой. Стихи перевел Я. Хелемский). X—233.

**А. Берзер**. Загадки и ребусы Олеса Бенюха (Олесь Бенюх. Челюсти саранчи. Повесть). I—238.

**Гр. Бернадт**. «Совершенство подлинности» (Александр Бенуа размышляет... Подготовка издания, вступительная статья и комментарии И. С. Зильберштейна и А. Н. Савинова). VIII—261.

**И. Борисова**. Ромуальдас Альконис и его оппоненты (Миколаас Слущкис. Жажда. Роман. Авторизованный перевод с литовского Ф. Дектора). IV—241.— Дикие побеги (Владимир Колыхалов. Дикие побеги. Роман). VIII—258.— Напоминание (Борис Васильев. А зори здесь тихие... Повесть). XII—245.

**Ю. Буртин**. «Может быть, это мои прощальные письма...» (Александр Яшин. Бессонница. Лирика. Александр Яшин. День творенья. Новая книга стихов). X—241.

**И. Варламова**. Куда идет мальчик? (Генрих Шеф. Записки совсем молодого инженера. Повести и рассказы). IV—238.— Шесть метров счастья (Валерий Попов. Южнее, чем прежде. Повести. Рассказы). XI—245.

**И. Верцман**. Выдающееся произведение кубинской литературы (Алехо Карпентьер. Век просвещения. Роман. Перевод с испанского Я. Лесюка). VIII—264.

**М. Галлай**. Девушки на войне (Наталья Кравцова. От заката до рассвета. Н. Кравцова. На горящем самолете). V—233.

**И. Гигович**. Пока в человеке есть достоинство... (Виктор Конецкий. Кто смотрит на облака. Виктор Конецкий. Соленый лед. Путевые заметки. Виктор Конецкий. Соленый лед. Сочинение внежанровое). III—249.

**Александр Гладков**. Литература и театр (Н. Я. Берковский. Литература и театр). X—248.

**Я. Гордин**. Парадоксы поневоле (Ан. Дремов. Идеал и герой). VII—258.

**А. Дементьев**. Символ веры поэта (М. Исаковский. О поэтах, о стихах, о песнях). XI—239.

**Ф. Ефимов**. Манера жить, манера писать (Дмитрий Сухарев. Прекрасная волна. Стихотворения). III—247.

**Б. Закс**. Аркадий Гайдар в газете (С. Гинц, Б. Назаровский. Аркадий Гайдар на Урале. Второе издание. Виктор Королев. Гайдар шагает впереди). X—237.

**В. Иванов**. Драгоценные свидетельства (А. Сгарцев. Русские блокноты Джона Рида). II—242.

**К. Икранов**. От своего имени (В. Александров. Чужие — близкие. Роман). VI—252.

**Ф. Искандер**. «В прибое женщина из бронзы...» (Дэбора Вааранди. Люди смотрят на море). XI—237.

**А. Каждан**. Забытая литература (Памятники византийской литературы IV—IX веков). VI—254.

**Вл. Канторович**. Размышления над книгой забытого писателя (Мария Шкапская. Пути и поиски. Составление и вступительная статья К. Накоряковой). XII—251.

**В. Кардин**. Верность себе (Вл. Саппак, В. Шитова. Семь лет в театре. Вл. Саппак. Телевидение и мы). IX—242.

**Е. Клепикова**. О себе и своем деле (В. М. Конашевич. О себе и своем деле. Воспоминания. Статьи. Письма). V—240.

**Кирилл Ковальджи**. Проблемы и их воплощение (Лазарь Карелин. Золотой лев. Повесть). III—254.

**А. Котлов**. Самородок (Г. О. Сутеев. Скульптор Эрзя. Биографические заметки и воспоминания). V—242.

**Э. Кузьмина**. Великая проверка (Рэй Бредбери. Марсианские хроники. Перевод с английского Л. Жданова. Рэй Бредбери. 451<sup>0</sup> по Фаренгейту. Перевод с английского Т. Шинкарь. Рассказы. Перевод Н. Галь. Рэй Бредбери. Вино из одуванчиков. Перевод с английского Э. Кабалевской и других). XI—252.

**Л. Лазарев**. Общественная мысль и литературный процесс (Л. Кин. Миф, реальность, литература. Итальянские заметки). IV—249.

**В. Лакшин**. От рукописи — к книге (Текстология произведений советской литературы. Вопросы текстологии. Выпуск 4). II—247.

**А. Лебедев**. Достоинство исследователя (Т. Усаккина. История, философия, литература. Середина XIX века). VII—253.

**Л. Левицкий.** Наедине с осенью (Константин Паустовский. Наедине с осенью. Портреты, воспоминания, очерки). IV—245.

**А. Липелис.** Серафим Фролов и другие (Николай Евдокимов. День рождения. Повести и рассказы). IX—238.

**Г. Литинский.** По завещанию отца (С. В. Короленко. Десять лет в провинции. С. В. Короленко. Книга об отце). IX—246.

**С. Львов.** Возвращение к простейшим истинам (Ежи Стефан Ставинский. Час пик. Повесть. Перевод с польского). II—253.

**В. Масловский.** Глазами очевидца (Александр Бек. Почтовая проза). IX—240.

**Т. Мотылева.** Легенда и современность (Томас Манн. Иосиф и его братья. Перевод с немецкого С. Апта). V—251.

**Н. Наумов.** Новый Пилат (Р. Кайюа. Понтий Пилат. Повесть). III—262.

**Д. Николаев.** Внимание: шаржеграммы! (Это я?. Шаржи — Кукрыниксы. А. Раскин — эпиграммы). XI—244.

**Р. Орлова.** Женщина охраняет дом (Шерли Энн Грау. Стерегищие дом. Роман. Перевод с английского М. Кан). X—254.

**Л. Осоват.** Как становятся Рафаэлем Альберти (Рафаэль Альберти. Затерянная роща. Воспоминания. Перевод с испанского). VI—264.

**З. Паперный.** Литература и «ведение» (Б. Эйхенбаум. О поэзии). XI—249.

**Мирон Петровский.** Тринадцатый критик (Г. Гуревич. Карта страны фантазий). I—236.

**И. Питляр.** Посмотри на себя со стороны... (А. Смирнов-Черкезов. Дом холостяков. Повести). VII—251.

**В. Портнов.** Целое и детали (Мастера русского стихотворного перевода. «Библиотека поэта» (Большая серия). В двух книгах). X—246.

**Ст. Рассадин.** «Независимо от степени таланта» (П. Выходцев. Поэты и время). V—244 — Подводя итоги (Николай Далала. Весенний ветер (Литературные портреты и критические статьи). VI—260. — Наш современник Роберт Фрост (Роберт Фрост. Избранная лирика. Перевод с английского). VII—261.

**М. Рубинчик.** После дебюта (Г. Машкин. Распадок. Рассказы). XI—254.

**В. Руний.** О красоте и пользе (В. Василлаке. Сказка про белого бычка. Роман. Перевод с молдавского автора и В. Рожковского). I—232.

**В. Соловьев.** Недалеко от Москвы (Алексей Леснов. Яблоки падают. Рассказы и повесть). I—230.

**А. Турков.** С гордо поднятой головой (Антал Гидаш. Ветви гудели. Перевод с венгерского). XII—249.

**В. Харитонов.** Серьезные чудеса (Льюис Керролл. Алиса в стране чу-

дес. — Сквозь зеркало и что там увидела Алиса. Перевод Н. Демуровой). I—244.

**Яков Хелемский.** Беседа продолжается (Михаил Светлов. Беседует поэт. Статьи, воспоминания, заметки. Михаил Светлов. Беседа). IX—233.

**Л. Черная.** Трагедия обманутых (Гюнтер Грасс. Кошка и мышь. Повесть. Перевод с немецкого Наталии Манн). IV—254.

**М. Чудакова.** Михаил Зощенко и герои его книг (Михаил Зощенко. Избранные произведения в двух томах). III—256.

**В. Шестаков.** Когда машина останавливается... (Гости страны Фантазии. Сборник научно-фантастических произведений писателей-нефантастов. Предисловие Ю. Кагарлицкого). XII—257.

### Политика и наука

**З. Альпер.** Технология будущего (Станислав Лем. Сумма технологии. Перевод с польского). XII—271.

**Р. Баландин.** Беречь природу (К. Н. Благосклонов, А. А. Иноземцев, В. Н. Тихомиров. Охрана природы. Жан Дорст. До того как умрет природа. Перевод с французского). III—278. — От факта к гипотезе (В. А. Бронштэн. Беседы о космосе и гипотезах). X—270. — Человечество как часть планеты (П. Дювиньо и М. Таиг. Биосфера и место в ней человека. Перевод с французского). XI—273.

**Н. Болховитинов,** доктор исторических наук. Т. Рузвельт и «прогрессивное движение» (И. Белявская. Буржуазный реформизм в США (1900—1914). VII—279.

**В. Борнычева.** Статистика труда (Труд в СССР. Статистический сборник). IX—252.

**Ю. Буртин.** Война и хлеб (А. В. Любимов. Торговля и снабжение в годы Великой Отечественной войны). II—257.

**С. Владимиров.** Решающий довод (Э. Свадост. Как возникнет всеобщий язык?). XI—269.

**Г. Водолазов.** Человек против идолов (Э. В. Ильенков. Об идолах и идеалах). X—258.

**В. Война.** Вопросы без ответов (Д. В. Беклешов, К. Г. Воронов. Реклама в торговле). V—261.

**А. Володин.** Книга. История. Человек (Е. Таратута. Подпольная Россия. Судьба книги С. М. Степняка-Кравчинского). II—262.

**М. Галлай.** «Ла» — человек и самолет (Михаил Арлазоров. Фронт идет через КБ). IX—249.

**М. Гефтер.** Великая антиколониальная революция (Казakhstan в канун Октября. Сборник статей). VII—272.

**Е. Гнедин.** Научно-техническая революция в капиталистических странах (Н. Д. Гаузнер. Научно-технический прогресс и рабочий класс США. В. И. Михеев. Капитализм или «индустриальное общество»? Проблемы современного капитализма и буржуазная социология). IX—261.

**А. Грунт.** Из истории крушения русского царизма (А. Я. Аврех. Стальпин и Третья Дума). V—269.

**А. Гуревич,** доктор исторических наук. Право и человеческая личность (Рене Давид. Основные правовые системы современности. Сравнительное право. Перевод с французского). I—259.

**В. Далин,** доктор исторических наук. Штрихи к портрету Ильича (Полина Виноградская. События и памятные встречи). I—247.

**В. Дюшен,** член КПСС с января 1917 года. Книга о женщинах-революционерках (Женщины русской революции. Сборник очерков. Составители Л. П. Жак, А. М. Иткина). V—255.

**Ю. Евсюков.** Сознательно поддерживаемая пропорциональность (М. Лемешев. Межотраслевые связи сельского хозяйства (вопросы анализа и планирования). III—268.

**Л. Зак,** доктор исторических наук. Борец революции, строитель культуры (По страницам изданий, выпущенных к столетию Н. К. Крупской). XI—258.

**А. Иванов.** Утопизм реакции (Л. Г. Захарова. Земская контрреформа 1890 г.). VI—277.

**А. Каждан.** Самая древняя история (А. И. Першиц, А. Л. Монгайт, В. П. Алексеев. История первобытного общества). III—274.—Единство и многообразие (Проблемы истории докапиталистических обществ. Книга I). X—262.

**Вл. Канторович.** Социология и промышленные кадры (Л. С. Бляхман, Б. Г. Сочилин, О. И. Шкаратаи. Подбор и расстановка кадров на предприятии). VII—268.

**П. Карп.** Актуальность вчерашней газеты (Анатолий Аграновский. Суть дела. Заметки писателя). III—266.

**В. Кобрин,** кандидат исторических наук. Москвичи XVII века — о себе (Московская деловая и бытовая письменность XVII века). III—271.

**Э. Кольман,** академик Чехословацкой Академии наук. Математика в России (А. П. Юшкевич. История математики в России до 1917 года). IV—275.

**Н. Коржавин.** «Не природа, а история» (В. О. Ключевский и др.). Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории). IX—255.

**В. Кулиш,** доктор исторических наук. Новые книги о великой битве (А. М. Самсонов. Сталинградская битва. Изд. 2-е. Дополненное и переработанное. Сталинградская эпопея. Двести огненных дней). IV—258.

**О. Лацис.** Пути реформы (Реформа ставит проблемы. Составители Ю. В. Яковец и Л. С. Бляхман). VI—268.—Правда и ложь статистики (У. Дж. Рейхман. Применение статистики. Перевод с английского и предисловие В. М. Шундеева). X—268.

**Л. Леонтьев,** член-корреспондент АН СССР. Глазами вдумчивого экономиста (И. С. Малышев. Важнейшие проблемы социалистического воспроизводства). I—249.

**Г. Лисичкин.** Капиталовложение и эффективность (Развитые капиталистические страны: проблемы сельского хозяйства. Коллектив авторов: Г. Л. Фактор, М. А. Павлова, А. М. Петрушов, Ю. П. Лисовский, В. Д. Мартынов, М. А. Меньшикова, В. М. Жуковская). XII—265.

**Ю. Моисеев.** О брагах наших меньших (Джеральд Даррелл. Зоопарк в моем багаже. Джеральд Даррелл. Путь кенгуренка). II—270.

**А. Морозов.** Новое о Разине (Записки иностранцев о восстании Степана Разина). VII—276.

**А. Немировский,** профессор. Новые данные к старому спору (М. М. Кубланов. Новый завет. Поиски и находки). IX—265.

**А. Петухов.** Бумажные цветы (В. И. Брудный. Обряды вчера и сегодня. П. П. Кампарс, Н. М. Закович. Советская гражданская обрядность. Э. Филатов. О новых и старых обрядах. А. Лисавцев. Новые советские традиции. Е. Нагирняк, В. Петрова, М. Раузен. Новые обряды и праздники. Г. Геродник. Дорогами новых традиций). VI—272.

**Н. Рабкина.** Свет «Полярной звезды» (Полярная звезда. Журнал А. И. Герцена и Н. П. Огарева. В восьми книгах. 1855—1869. Факсимильное издание). VIII—272

**В. Рубин,** кандидат исторических наук. Шан Ян и его идеи (Книга правителя области Шан. Перевод с китайского). XII—267.

**В. Савин.** Проблемы и перспективы социалистической демократии (Политическая организация советского общества. А. Г. Лашин. Преемственность в развитии социалистической демократии. Ю. Е. Волков. Социализм и производственная демократия). V—264.

**В. Савченко.** Колхозник: крестьянин или рабочий? (Ю. В. Арутюян. Опыт социологического изучения села). II—267.

**Г. Сиводедов,** кандидат исторических наук. История исторических исследований (Историография нового времени стран Европы и Америки. Историография новой и новейшей истории стран Европы и Америки). VI—280.

**А. Стреляный.** Мемуары целинника (Ф. Моргуи. Думы о целине). V—257.

**Ю. Субоцкий.** Управление, хозрасчет, самостоятельность (Б. В. Ракитский. Формы хозяйственного руководства предприятиями). VII—264.

**И. Травкина.** Изучение читательских интересов (Советский читатель. Опыт конкретно-социологического исследования). IV—271.

**С. Троицкий.** На заре отечественной дипломатии (В. Т. Пашуто. Внешняя политика Древней Руси). XI—267.

**А. Формозов**, кандидат исторических наук. Историзм русской литературы (Л. В. Черепнин. Исторические взгляды классиков русской литературы). IV—267.

**В. Френкель**. Современники о Нильсе Боре (Нильс Бор. Жизнь и творчество. Сборник статей. Составитель У. И. Франкфурт). I—263.— Книга о старших Кюри (Мария Кюри. Пьер Кюри. Перевод с французского). VIII—275.

**Д. Фурман**. Путь к исторической правде (Источниковедение. Теоретические и методические проблемы). XI—265.

**В. Хорос**. Средства, ведущие к цели (Н. Н. Трубников. О категориях «цель», «средство», «результат»). IV—263.

**Ф. Цанн**, кандидат философских наук. Марксизм — философия современности (М. Корнфорт. Марксизм и лингвистическая философия). VIII—269.

**Г. Целмс**. Динамика общественной структуры (Проблемы изменения социальной структуры советского общества. Классы, социальные слои и группы в СССР). XII—261.

**В. Шляпентох**, доктор экономических наук. Теория общественного мнения (Б. А. Грушин. Мнения о мире и мир мнений. Проблемы методологии исследования общественного мнения). I—256.

## КОРОТКО О КНИГАХ

Рыцарь революции. Воспоминания современников о Ф. Э. Дзержинском.— Проблемы познания социальных явлений.— Танзиля Зумакулова. Радуга над домами. Стихи и поэмы. Перевод с балкарского.— П. М. Керженцев. Принципы организации. Избранные произведения.— В. Д. Бонч-Бруевич. Воспоминания.— Русские. Историко-этнографический атлас. Земледелие. Крестьянское жилище. Крестьянская одежда (Середина XIX—начало XX века).— Э. Добровольская. Ярославль.— В. Л. Мальков, Д. Г. Наджафов. Америка на перепутье. Очерк социально-политической истории «нового курса» в США.— Ильяс Есенберлин. Схватка. Роман. Перевод Ю. Домбровского.— Роберт Опенгеймер. Летающая тропеция: три кризиса в физике. Перевод с английского.— Тайсто Сумманен. Иду по родной земле. Стихи. Перевод с финского.— А. Западов. Новиков. «Жизнь замечательных людей».— Артур Кларк. Сокровище Большого рифа. Перевод с английского.— М. А. Ананьев. Международный туризм.— А. Аникст. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. I—266.

И. Н. Вольпер. Псевдонимы В. И. Ленина.— П. Куприяновский. Искания, борьба, творчество (Путь Д. А. Фурманова).— Н. А. Антипенко. На главном направлении.— Проблемы истории докапиталистических обществ. Книга I.— Г. Попов. Техника личной работы. Издание 2-е.— Э. Г. Бабаев. Роман Льва Толстого «Анна Каренина».— Элизабет Херинг. Ваятель фарасна. Перевод с

немецкого.— Н. Александрова. Подробности двух минут.— Бернгард и Михаэль Гржимек. Серенгети не должен умереть. Перевод с немецкого.— Из истории фабрик и заводов Москвы и Московской губернии (конец XVIII—начало XX в.). Обзор документов.— Н. Г. Гарин-Михайловский в воспоминаниях современников.— Виктория Мальт. Море дьявола. II—279.

Л. И. Лопатников. Экономические эксперименты в промышленности. Р. В. Рывкина, А. В. Винокур. Социальный эксперимент.— В. А. Жданов. От «Анны Карениной» к «Воскресению».— Евг. Петряев. Вперед — огни. Очерк культурного прошлого Забайкалья.— М. Боброва. Джеймс Фенимор Купер. Очерк жизни и творчества. III—284.

А. Дубинская. Быль о легендарном комиссаре (Александр Вермишев).— Юрий Герт. Первое апреля. Рассказы и повесть.— С. А. Хейнман. Проблемы интенсификации промышленного производства.— СС в действии. Документы о преступлениях СС. Перевод с немецкого. Вацлав Краль. Преступление против Европы. Перевод с чешского.— Анатолий Медников. В последний час.— Зенон Косидовский. Когда Солнце было богом. Перевод с польского.— О. Д. Балдина. От Валдая до Старицы. Е. Николаев. По Калужской земле (От Боровска до Козельска). Ю. Герчук, М. Домшлак. Художественные памятники Верхней Волги (От Калинина до Ярославля).— Библиография произведений Ф. М. Достоевского и литературы о нем. 1917—1965 (Государственный Литературный музей. Музей-квартира Ф. М. Достоевского).— П. Марков. В театрах разных стран. IV—280.

Рассказы об Орджоникидзе. Сборник воспоминаний.— С. Маркус. История музыкальной эстетики. Том II.— Физики продолжают шутить. Сборник переводов.— П. Л. Трэверс. Мэри Поппинс. Сокращенный перевод с английского Б. Заходера.— А. И. Перельман. Александр Евгеньевич Ферман.— М. Беленький. Трагедия Уриэля Акости. V—283.

В. И. Ленин об организации советской статистики.— Михась Стрельцов. Что будет сниться. Рассказы. Перевод с белорусского Эдуарда Корпачева.— О. Ланге. Введение в экономическую кибернетику. Перевод с польского.— Ю. Андреев, Г. Воронов. Багряная летопись. Роман.— А. Шаров. Приключения Ежиньки, или Рассказ о нарисованных человечках.— И. А. Латышев. Японская бюрократия. VI—283.

Б. Ц. Урланис. История одного поколения (Социально-демографический очерк).— К. Корнилович. Окно в минувшее.— Л. Е. Кертман. География, история и культура Англии.— Н. Пахомов. Музей «Абрамцево». Альбом. VII—282.

Люся Канторович. Очерки, воспоминания, письма, фотоснимки.— Андрей Аникин. Адам Смит.— Новонайденный автограф Пушкина. Заметки на рукописи книги П. А. Вяземского «Биографические и литературные записки о Денисе Ивановиче Фонвизи-

не». Подготовка текста, статьи и комментарии В. Э. Вацуру и М. И. Гиллельсона.— Вопросы профессиональной педагогики.— Проблемы поэтики.— Г. Тагиев. Когда земля дрожит.— Дело Чернышевского. Сборник документов.— Е. Н. Добровольский Почерк Капицы. Анна Ливанова. Физики о физиках. VIII—279.

Материалистическая диалектика и методы естественных наук.— Иван Зубенко. Тополя в соломе. Повести и рассказы.— А. Л. Чижевский, Ю. Г. Шишина. В ритме Солнца.— Владимир Лифшиц. Назначенный день. Стихи.— Е. И. Регирер. Развитие способностей исследователя.— Сергей Званцев. Миллионное наследство. Рассказы о Таганроге.— А. Н. Копылов. Кульгура русского населения Сибири в XVII—XVIII вв.— С. Лемешев. Путь к искусству.— А. Л. Монгайт. Надпись на камне. IX—281.

Александр Големба. Грамши.— Александр Дракохруст. И нет конца тревогам. Стихи.— Культура чувств. Сборник статей.— Ник. Смирнов. Золотой Плес.— Воспоминания о Николае Каллиновиче Гудзии.— О. В. Орлик. Россия и французская революция 1830 года.— М. Я. Гринблат. Белорусы. Очерки происхождения и этнической истории.— Г. Бояджиев. Итальянские тетради.— Г. Г. Поспелов. Русский портретный рисунок начала XIX века.— Бартоломе де Лас Касас. История Индии. Перевод с испанского.— Юл. Медведев. Безмолвный фронт.— Дж. М. Барри. Питер Пэн и Венди. Повесть-сказка.— Вопросы киноискусства. Ежегодный историко-теоретический сборник. X—275.

А. П. Ненароков. Восточный фронт. 1918.— В. Ледков. Метели ложатся у ног. Повесть. Л. Лапцуй. Рассказы. Перевод с ненецкого.— А. В. Бурдуков. В старой и новой Монголии. Воспоминания. Письма.

В. Е. Ларичев. Азия далекая и таинственная.— Юлий Берзин. Конец девятого полка. Повести и рассказы.— А. Д. Урсул. Теория информации и религия.— Василий Каменский. Путь энтузиаста. Автобиографическая книга.— А. Р. Лурия. Маленькая книжка о большой памяти (Ум мнемониста).— Лубок. Русские народные картинки XVII—XVIII вв. Автор текста и составитель альбома Юрий Овсянников.— Л. Д. Белькинд. Андре-Мари Ампер (1775—1836).— Манана Андроникова. Сколько лет кино?— И. И. Шафрановский. А. Г. Вернер, знаменитый минералог и геолог. 1749—1817.— А. Пузиков. Золя. «Жизнь замечательных людей».— М. Черненко. Фернандель («Мастера зарубежного киноискусства»).— А. Иойрыш. Атом и право.— Дж. Оринг. Погода на планетах. Перевод с английского.— Волдемар Бааль. Голоса. Рассказы. XI—276.

А. Ф. Шишкин, К. А. Шварцман. XX век и моральные ценности человечества.— Л. Правдин. Ревизор.— В. П. Карцев. Магнит за три тысячелетия.— Александр Дейч. Судьбы поэтов. Гельдерлин. Клейст. Гейне.— Петр Драверт. Северные цветы.— Г. Гальперин. Экватор рядом. XII—275.

От редакции. VII—285; X—286.

В. Каверин. Памяти К. И. Чуковского. X—284.

Письмо в редакцию Виктора Шишова. V—282.

«Новый мир» в 1970 году. VIII—285.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ, I—286; II—287; III—287; IV—287; V—287; VI—287; VII—287; VIII—287; IX—287; X—287; XI—287; XII—279.

Главный редактор А. Т. Твардовский

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорosh, А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров** (ответственный секретарь)

Редакция: Малый Путинковский пер., д.1/2. Тел. 299-81-77.  
Почтовый адрес: Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 27/Х 1969 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 6/1 1970 г.  
А 01003. Формат бумаги 70×108/16. 27,5 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)  
Заказ 3835. Тираж 127.250 экз.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., д. 5.



Цена 70 коп.

70636